Иностранная литература

1966

3

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ЯН ОТЧЕНАШЕК — Хромой Орфей (Продолжение) 4
ЖОРЖИ АМАДУ — Мы пасли ночь (Окончание) 116

РАССКАЗЫ

АНДРЕ СТИЛЬ — Сосед 103

СТИХИ

ПАВЕЛ МАТЕВ — В походе 3
МЭРИ ГИЛМОР — Когда я родилась, отец услышал кулика 99

КРИТИКА

А. ЗВЕРЕВ — Место на земле 181

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ВЛАДИМИР МИНАЧ — Парадоксы вокруг искусства 188

3

МАРТ

1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

ЭРИК ДАНИЭЛЬСЕН — Торжество рассказа (Письмо из Дании) 201

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

АНУАР АЛИМЖАНОВ, Н. РАЗГОВОРОВ — Заметки на полях зарубежных газет и журналов 204

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ПОЭТЫ О ПОЭЗИИ 209

ПУБЛИЦИСТИКА

ОНДРЕЙ МАРУШИАК — В стране нашего завтра (Чехословацкие писатели о Советском Союзе) 218

ТРУМЭН КАПОТЕ — Обыкновенное убийство (Документальная повесть. Продолжение) 227

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

БЕСКРАЙНЯЯ ПЕСНЬ ПОРТИНАРИ (Вступительная статья Л. Новиковой) 248

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Д. ЗАТОНСКИЙ — Немецкие писатели Праги 255

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Борис Слуцкий — История пощечин. ◇ В. Краснокутский — Дневник Жюля Ренара. ◇ Василий Аксенов — Непривычный американец 259

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Б. Левик — Антология русской поэзии. ◇ И. Тертерян — История и патология. ◇ Ф. Наркирьер — Сотый номер «Маржиналь». ◇ Г. Шатков — Движение «Клартэ» в Швеции 264

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 271

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: гравюра на дереве художника ЛИ ШАО-ЯНЯ «Письмо с вестями о победе».

ПАВЕЛ МАТЕВ

В ПОХОДЕ

Перевод с болгарского
Евг. ДОЛМАТОВСКОГО

В дерзновенных мыслях и
волнениях
яростно
пылает наша страсть,
всем указывая поколениям
путь
в коммунистическую власть.
Путь наш
неизведанный, немерянный,
путь —
с него отважным не свернуть,—
осененный
светом и доверием,
романтический и трудный путь.
Станции
не названы пока еще,
но дороги
в даль устремлены,
где нас будущие
ждут товарищи,
наши речь и дружба
им нужны.
Путь наш —
к звездам,
к молодому месяцу,
не страшна нам буря —
мы тверды.
Может быть,
не суждено нам встретиться,
только наши
встретятся следы.
Там,
за горизонтами истории,
там,
на стрежне рек,
на грани лет,
на таких опасных траекториях,
где еще
дорожных стрелок нет.
Пусть
не остывает вдохновение,
пусть братаются
мечта и страсть
и берут равненье
поколения
на коммунистическую власть.

ЯН ОТЧЕНАШЕК

Хромой Орфей

РОМАН

Перевод с чешского Т. АКСЕЛЬ, Н. АРОСЕВОЙ, Д. ГОРБОВА

2

...открывая коробку с инструментами, Гонза испытывал волнение восьмиклассника, которому учитель заглядывает через плечо. Мелихар небрежно взял бумажку пальцами, окинул его возмутительно беглым взглядом, фыркнул и стал читать, скребя ногтями в затылке. Заметив вопросительный взгляд подручного, сунул ему бумагу сквозь отверстие в крыле.

— Гляньте, ежели любопытно.

Мелихар зевнул и попробовал пальцем острие сверла. Он был на редкость невозмутим.

Гонза прикинул, сколько времени нужно, чтоб прочесть двадцать строк, и ему казалось, что он неплохо изобразил удивление.

— Что скажете на это? — спросил он небрежно.

— Чепуха!

Гонза облизал сухие губы.

— Почему вы так думаете?

Напарник смерил его укоризненным взглядом, словно его спросили, какое впечатление произвела на него порнографическая картинка, и сплюнул.

— Я такой ослятины вороха читал.

Этими резкими словами он будто поставил точку на разговоре, но через минуту, опробовав спуск пневматического молотка, остановился в раздумье:

— Может, это крем какой для загара?

— Вы про что?

— Да про Орфея. Или как там его.

— Вряд ли,— вырвалось у Гонзы с излишним раздражением.

Опустив красные от недосыпания глаза, он сделал вид, будто ищет на земле свою по́ддержку. Смеется, что ли, Мелихар? Неужели ради этого я встал на час раньше и трясся первым поездом? Да еще без нее. Гонза почувствовал, как в нем снова загорается ненависть к этой туше, которой с грехом пополам придано подобие человека.

— Вы и вправду думаете, что это дело нестоящее?

В проходе появились Гиян с Падеветом. Мелихар втиснулся в отверстие крыла, чтоб можно было говорить вполголоса.

* Продолжение. Начало в №№ 1 и 2.

— А мне-то что до этого, молодой? Всему свое время, говорил папаша...

— Это как? — не сдавался Гонза.

— Коли кто хочет что сказать, должен знать время и место.

Довольный, видимо, своим изречением, Мелихар, однако, ворчливо добавил:

— Что наци — свиньи, это новость разве что для моего сверла, понятно? И потом — экая каша! Пролетарская революция, Советы, Сталин, папаша Масарик — только Иисуса Христа да Белой горы * не хватает. У людей другие заботы. Не в том дело.

— А в чем?

Может быть, только оттенок грусти в голосе Гонзы удержал бывшего ярмарочного борца от взрыва.

— Да что я, двоюродный брат Сталину, что ли?! Не задавайте вы таких дурацких вопросов, гимназистик.

Мелихар страдал вспыльчивостью, и Гонзе было ясно, как божий день, что пора прекратить вопросы; впрочем, не успел он опомниться, как напарник сунул ему бумажку в руки.

— Уничтожьте сами, а то как бы не попало в лапы кому не надо. Тогда пропащее дело. Лучше всего в нужник, бумага-то довольно деликатная.

Догадался он? Дзуб, дзуб, Мелихар долбил по заклепкам так, что кончики пальцев у Гонзы колко немели,— угрюмый потный истопник адской котельной, вид которого вселял страх. Ничего нельзя было прочесть на его одутловатом лице, до самого полдника работали они молча, хотя нависшую между ними напряженность можно было чуть ли не пощупать руками.

Дзуб, дзуб! И так до полдника.

— Баста! Третьего крыла не будет, я с Лишкой говорил...

Мелихар схватил поддержку и, миролюбиво осклабившись, подбросил ее в воздух, словно карандашик. Сколько раз? Гнев его был вулканический, но недолгий, и когда Гонза сумел поднять поддержку тридцать раз, Мелихар ощупал его мускулы под мокрой от пота рубашкой.

— Ну что ж, вас теперь уже соплей не перешибешь, молодой!

Он уже не обращался к Гонзе с обидным словом «гимназистик», но к начатому разговору они вернулись только по дороге в столовку. Июньское солнце кусало им щеки, раскаляло серо-зеленую стену моторного цеха. Мелихар показал на надпись, наспех сделанную мелом на стене печатными каракулями: «ОРФЕЙ». И расхохотался.

— Потеха с этим кремом. И нагонит же он нынче страху на самого Каутце.

Гонза бровью не повел, только выплюнул погасшую сигарку.

— Вряд ли. Но люди хоть будут знать, что кто-то борется.

— Станет им от этого легче, особенно как увидят вон ту надпись!

— Вы думаете, они единственные?

Вопрос, брошенный так небрежно, заставил Мелихара замедлить шаг.

— Не знаю, единственные ли, но уж наверняка отменные дурни. А ежели угодно знать больше, спросите у Каутце. У него, может, есть точный список.

— Но я спрашиваю именно вас,— упрямо настаивал Гонза.

— О чем?

---

* Белая гора — местность под Прагой, где в 1620 году чешские войска потерпели поражение в битве с имперско-баварской армией и на три столетия потеряли независимость. Здесь выражение «Белая гора» употреблено в смысле исключительного по своему трагизму и значению события в истории чешской нации.

Позже Гонза старался понять, что́ побудило его задать следующий вопрос, хотя он знал, что на успех рассчитывать нечего. Он окинул двор внимательным взглядом.

— Может, и вы состоите в какой-нибудь такой?..

В том, что ничего не произошло, было что-то неестественное; они шагали рядом, Мелихар щурил в небо глубоко сидящие глазки; он отозвался не сразу, с подозрительной любезностью:

— А больше вы ничего не желаете знать, миленький?

— Вы тоже коммунист? — дрожащим голосом, чуть слышно прошептал «миленький».

Сейчас взорвется. Он глянул искоса на Мелихара — не пора ли бросаться наутек. Нет. То, что он увидел, было удивительнее всего: великан вразвалку шагал рядом; вот он провел пальцем по синему подбородку, растоптал валявшуюся коробку из-под лампочки. Жара была нестерпимая.

— Как вы думаете, за что его забрали?

— Кого?

— Да того, в «кораблях».

— А вы знаете?

Мелихар только пожал плечами.

— Я не ярмарочная гадалка.

Он шел, глядя прямо перед собой, на ходу кивнул знакомому, потом оглянулся через плечо. В голосе его появился оттенок усталости и безразличия, но Гонзе ясно, что надо быть настороже.

— Я знаю только одно. Кто-то проболтался. Может, нарочно — таких достаточно, а может, просто перед девчонкой бахвалился. Таких еще больше. Хоть убейте, не знаю. Но когда туго приходится, трудно молчать. Может, у тех, кто этими делишками занимается, и оружие есть... я ничего не знаю и знать не хочу... На политику мне ровным счетом наплевать, у меня своих забот хватает. А только думаю, у гестаповцев доносчиков немало.

— Ну и что? Думаете, это значит...

Мелихар вскипел:

— А мне начхать, что это значит! — Но сейчас же овладел собой:— Те, из живодерки, не такие болваны, у них всюду шпики. Мы, которые тут не первый день вкалываем, отлично видим, что к чему, а попробуйте спросите кого! Язык за зубами держат. Особенно перед чужими.

— То есть перед нами, тотальниками? — с горечью уточнил Гонза.

— Пожалуй,— согласился великан.— Я против вас ничего не имею, но вы из этого сброда, никуда не денешься. Чуждый элемент. Вы здесь сбоку припека... а мы не привыкли быть больно доверчивыми. Вот и молчим. Один оттого, что за ним никаких грешков не водится, другой — чтоб ненароком по башке кирпичом не попало. Думаете, среди рабочих мерзавцев нету? Есть. И такие есть, которые не стесняются по этой... Гейдриховой путевке в отпуск ездить... Начальство рабочим задницу лижет, потому что они нужны, и находятся прожоры... Гро́ши не пахнут, молодой! А только не каждый, кто орет да грозится, уж обязательно сволочь. Нынче в людях разобраться нелегко, тут бардак, а не завод.

Прошел веркшуц, Мелихар замолчал и оглянулся.

— Бывало тут всякое... Был, к примеру, такой парень, Бухач звали. С виду порядочный, ругал их, давал на арестованных и даже с нелегальной печатью как-то был связан... очень популярный, за левого полусреднего играл как бог, а здесь это ценят. Футболист... А может, он и не хотел, да прищучили. Ну и пошло. Двенадцать человек — приличная порция, а? Нашли его потом за стеной, у подъездных путей, а узнали только по одежде да документам, голова — всмятку, чем-то железным. Так ни о чем и не дознались, да никто особенно о нем и не жалел. В то воскре-

сенье он должен был играть против Кралупов, и, может, таблица иначе бы выглядела, кабы он играл, ну, ничего не поделаешь... А то еще мастер был в малярке, Бребтой звали, грозился донести в гестапо, глотку драл,— тут уж у нас на него зубы точили, мол, погоди, курва... А цапнули его прямо в конструкторском. Копировал ночью какие-то ихние секреты, которые тот немецкий инженер испытывал в заднем ангаре, то ли турбовинтовой самолет, то ли не знаю что... Отбрехаться-то нечем, ну и выдали ему... Мне с головой расставаться неохота, у меня дочка семнадцати лет... И вообще ступайте вы к...

Они уже подошли к столовке.

— Ладно,— промолвил Гонза; он постарался, чтоб это прозвучало грустным укором.— Вы не обязаны доверять мне. Я понимаю...

— Я этого не сказал. Мне нечего скрывать, молодой...

— Так зачем же вы мне все это рассказываете?

— А для смеху! — сплюнул Мелихар. И прибавил, не повышая голоса, словно сообщал самую обыкновенную вещь: — А только скажу вам, коли вы опять полезете ко мне с дурацкими расспросами, я вам вот этими самыми руками голову оторву, баран ученый! Плевать я хотел на все это. Понятно?

■

Гонзу одолевали сомнения. Стоит ли игра свеч? Может, все это глупость, детская забава? Слышал? Уничтожь в нужнике. Бумага, мол, больно деликатная. Он чувствовал эту «деликатную бумагу» в заднем кармане обтрепанных брюк, она прямо жгла его.

Увидев Павла за одним из столиков, Гонза незаметно кивнул ему, но не подошел. Они уговорились общаться друг с другом на заводе как можно меньше, чтоб не навлекать подозрений.

В сущности, это было первое дело, на которое они согласились после бесконечных споров в Павловой каморке. Пора переходить от слов к делу. Павел больше всех горел нетерпением. Хватит болтать, ребята! Он вытащил из-под развалившейся кушетки револьвер и бросил его на столик. «Ты что! Спрячь сейчас же! — закричали на него с испугом.— Эффекты побоку!» Листовки? Гм... Средство довольно затасканное, но и оно чревато опасностью, и кто знает, оправдает ли себя? Разве для начала... Чья это была идея?

Гонза задумчиво тер виски, Милан сухо покашливал, потом не спеша кивнул. А что? Это тоже может сыграть какую-то роль, попробуем. Бацилла горячо поддержал его, но остальные в душе подозревали, что этот пухлый маменькин сынок готов поддержать любое, самое бессмысленное предложение. Войта согласился без оговорок, хоть и не знал, чем сможет помочь, поскольку еще в школе сочинения всегда наводили на него ужас. Больше всего намечаемая акция не нравилась Павлу: бесплодная, слишком замедленная и малодейственная. Он сидел с мрачным видом, упорно молчал и блуждал взглядом по галерее за грязным окном. В конце концов он признал, что это все же лучше, чем просто чесать языком, а зря спорить — в самом начале подорвешь единство; но поставил условие — это только для начала.

За дело! Не зажечь ли свет? Здесь как в склепе. И дышать нечем! Откроем окно и будем говорить тихо.

Кто напишет?.. Достаточно набросать, отредактируем вместе.

— Ясное дело,— отозвалась от окна тень Павла,— напишет Гонза.

— Почему именно я? Милан...

— Ты пишешь лучше нас всех.

Что он — серьезно или втайне надо мной смеется? Другие представления не имели об упражнениях Гонзы, и у него было такое чувство, будто Павел неделикатно выдал его. Он оглядел товарищей — взгляды

вопросительные, но не удивленные, а выражение лица Павла успокоило его и даже чуть-чуть ему польстило.

— Ладно,— скромно кивнул он.— Попробую.

Видали — думал он уже ночью, беспомощно кусая кончик карандаша,— видали, теперь я, оказывается, умею писать! Господи Иисусе! Все такое знакомое — столик у окна, светлый круг от лампы, кухонные запахи, садик на подоконнике с луком в цветочном горшке, в полутьме за спиной с присвистом похрапывает дед. Гонзе грустно. Он скучает по ней. Часа не прошло, как он стоял рядом, опираясь на парапет над рекой; он еще слышит ее слова и ее смех, он до сих пор полон ею; он привык с нею беседовать, даже когда бывал один; это был бесконечный диалог, но сейчас надо ее отогнать — погоди, сейчас мне некогда!

Застрял он в самом начале. Нужно обращение, но какое? В черепе что-то пусто. Чешский народ? У-у! Такой жирный пафос, прямо шпик, хоть ножом режь. Нет! Нация? Нет! Товарищи рабочие? Но листовка предназначена не только рабочим... Товарищи по труду? Товарищи по страданиям? Одно глупей другого! Братья? Но разве мы Соколы? Отчего так моргает лампочка? Или я совсем обалдел от усталости? Спать, спать! Он сравнил себя с чеховской нянькой, которая до того хотела спать, что задушила ребенка. Если б хоть дед так не храпел. Может, в нем свисток зашит? Что сказала бы она, если б заглянула мне через плечо? Довольно, уходи, просит Гонза. Значит, так: «Трудящиеся, чешские мужчины и женщины, тотальники, товарищи, братья и сестры...» Какие-то сопли, а не боевое обращение. Он зачеркивал и писал, зачеркивал и приходил в отчаяние. Трудился, как вол, все выбрасывал и начинал сначала. Как же это я не знаю, что писать? Я ведь ненавижу их, как чуму; закрою глаза — и вижу их перед собой и перечисляю эти потерянные дни, пустые месяцы, пропащие годы жизни; закрою глаза — и всплывает озорное курносое лицо, обрызганное веснушками,— Пишкот! — он кукарекает петухом и воет сиреной. Но имею ли я право писать от его имени, от имени всех, у кого слетела голова с плеч, от имени евреев и ребят, погибших при налетах в рейхе? Как, собственно, пострадал я, как пострадали мы пятеро? Разве что не по своей воле болтаемся на заводе и все ждем чего-то? Павел прав. Еще раз, попроще, без красноречия! Фразы вздувались, намокали чернилами, разбухали от слов и тотчас опадали, как проткнутые рыбьи пузыри,— в жизни он так не потел над одной-единственной страницей. И наконец сдался, хотя не испытывал ни малейшего удовлетворения. Лучше не могу. Снова задумался над обращением, и вдруг его осенило — он начал совсем просто: «Люди!» Это пленяло своей безыскусственностью и показалось ему возвышенным и благородным. Люди!

Гонза заснул, уронив на стол опустошенную голову.

Свое творение он представил на суд товарищей с еще неизведанным волнением, хоть и делал вид, будто ничто не может его задеть. Неправда — задело! Потому что вокруг этой с таким трудом составленной страницы разгорелся отчаянный спор, какого меж ними еще не бывало. Разумеется, непримиримый тон спору задал Милан, он морщился, его некрасивое лицо пылало, как в лихорадке, и казалось, пожалуй, еще некрасивей обычного.

Нет, это не то, черт побери! — кричал он, постукивая пальцем по бумаге. Гонза смотрел на него с кушетки, прищурясь. Почему? По-моему, очень хорошо, растерянно пищал Бацилла. Ведь там все правда? Войта смущенно молчал, а Павел был бледен от гнева. Классное сочинение на патриотическую тему! — наседал Милан. Одно обращение чего стоит: «Люди!» Что это? Кому адресуется? Ну, людям, ты что, читать не умеешь? Чушь, слишком общо! Болтовня! Ну и пиши сам, коли ты такой умный! — не выдержал обиженный Гонза. Он старался держаться спо-

койно, с достоинством, но каждое его слово выдавало уязвленное самолюбие. Тем более что возражения Милана казались ему слишком резкими, чтобы быть принципиальными. «Знаю, откуда ветер дует. Завидует»,— предвзято думал он, глядя на фанатическое выражение Миланова лица. Перестаньте ругаться, останавливал их Павел, так мы ни к чему не придем. Как же договорятся люди во всей стране, когда мы не можем сойтись на нескольких словах? Дело ведь не в словах, правда? Как это не в словах? Ну хорошо, но не будем думать о престиже, сказал Павел, взглянув на Гонзу. Подумаем о существе! Это не беллетристика. Что ты предлагаешь, Милан? Только не ори на весь дом, незачем всем знать, о чем мы говорим. Он встал и прикрыл окно своего логова. Милан устало закашлялся, отер вспотевший лоб и заговорил, понизив голос, но с прежней настойчивостью. Он предложил простое обращение: «Товарищи!» Пусть все знают, что «Орфей» — не какая-нибудь мелкобуржуазная организация, этим никого на заводе не приманишь. Почем ты знаешь? — холодно возразил Гонза. Какие же мы «товарищи»? Кто из нас может себя так назвать? Уж не Бацилла ли? Да и ты еще не товарищ, не выставляйся! Он почувствовал, что задел больное место Милана, но продолжал. Терпеть не могу, когда строят из себя. Это дело слишком серьезное, люди за это жизнь отдают, насколько мне известно... Хорошо, вмешался Павел, но что ты имеешь против такого обращения? Конкретно. Ничего, сник Гонза, абсолютно ничего, хотя думаю, что и оно всего не охватывает. Но я злюсь, когда меня все время поучают и думают, что у кого-то исключительное право на будущее. Вот и все. Новый взрыв предотвратил Бацилла, внеся свою лепту: наверняка раньше многие на заводе состояли в Сокольской и разных других организациях, где все называют друг друга братьями! Может, дополнить обращение? Ведь какое прекрасное слово, правда? Наивность этой аргументации позабавила всех — Бацилла, что с него возьмешь! Возбуждение улеглось, воцарилась более мирная атмосфера, теперь можно было наконец и порассуждать. Милан говорил уже спокойно, но все свои предложения — вычеркнуть то, вставить другое — отстаивал с упрямством, к которому все привыкли. Он их замучил. В каждую фразу вставлял свои излюбленные словечки, так что туда попали и коммунизм, и Сталин, и мировой пролетариат, и никто не находил убедительных возражений. Что ж, ладно, почему бы нет?

Каждая фраза подробно обсуждалась, но потом бензин вышел, и окончательный текст, на котором сошлись все, усталые и волнуемые сложными чувствами, явился результатом смутных компромиссов между первоначальным наброском и Милановыми дополнениями. Один Бацилла громко восторгался. Все перевели дух, словно после утомительной гонки, им было жарко. Давайте голосовать, друзья! — сказал Милан. Глупости! — возразил Гонза. Нас всего пятеро. Но Милан настаивал, и ему уступили — уж по одному тому, что не нашлось довода не уступать. Единогласно! Балаган! — ухмыльнулся Гонза. По такому случаю надо бы выпить, а? — продолжал он нарочно самым разухабистым тоном, чтобы нарушить тягостно-торжественное молчание. Неплохо бы! Только что? Разве вермут марки «из-под крана», в коридоре его сколько угодно! Это явилось веским основанием для того, чтобы перенести данный пункт повестки дня на другое время. Павел спустил штору затемнения и зажег свет, все заморгали, как совы на солнце, сидели и болтали о том, о сем. Гонза хмуро пошарил у себя в карманах, и вдруг перед его носом раскрылся продавленный портсигар с несколькими окурками. Бери, непринужденно предложил Милан, для вас собираю, сам-то не дымлю из-за своих потрохов. Ты немало потрудился, это нужно признать. На «тигра» хватит. Гонза после небольшого колебания взял; натянутость понемногу пошла на убыль, но не исчезла.

На этом заботы отнюдь не кончились. В скольких экземплярах печатать листовки? Сотни хватит! Но как их размножить? Гм... О ротаторе и думать нечего, а переписывать от руки и бессмысленно, и опасно. Бацилла заявил, что по почерку эксперт без труда обнаружит писавшего, он читал об этом в детективах. Ребята ломали голову, не хотелось верить, чтобы такое святое начинание потерпело крах из-за технических трудностей. Черт! Есть ведь машинописное бюро, закартавил Милан, но, сразу поняв несостоятельность предложения, махнул рукой. В конце концов выход нашел Бацилла; он хлопнул себя по лбу и пропищал фистулой: ребята, кажется, я придумал. Они отнеслись к его словам недоверчиво, но когда толстяк, покраснев до корней пушистых волос, прерывисто дыша от волнения, выложил им свой план, вздохнули с облегчением. Ишь ты, Архимед толстощекий!

Он вспомнил, что у его папы в кабинете есть старенький «ремингтон» — вот на нем и можно отстукать под копирку. Десять закладок! Блестящая идея, Милан признательно хлопнул автора по плечу. Но только придется перенести машинку в комнату единственного сыночка и придумать подходящее объяснение для мамули. Догадайся она, в какую историю впутался ее ягненочек, умерла бы со страху. Что бы такое придумать?

Павел предложил: пусть Бацилла представит ей Гонзу как подающего надежды молодого драматурга, он, мол, сочинил пьесу, а остальные помогают ему ее размножить. Чепуха, возразил Гонза. Идея не вдохновила его и даже слегка задела: какие нынче пьесы! Для какого театра? Совершенно неправдоподобно. Почему? Предложение понравилось толстяку. Мамуля доверчивая, ей не придет в голову сомневаться в правдивости ягненочка, и она даже будет отчасти польщена, у нее абонемент в трех пражских театрах. Кто умеет писать на машинке? Оказалось, только Бацилла да немножко Гонза, они могут чередоваться, Милан будет диктовать, а Павел караулить у двери и создавать подходящую обстановку. Ты играешь на гитаре? Вот и славно, прихвати ее, будешь время от времени бренчать. Договорились?

Так и сделали. Три вечера подряд в девственной комнатке роскошной старинной квартиры стучал «ремингтон» под рыдающие звуки гитары. Милан диктовал шепотом театрального суфлера, в то время как Павел с истовой бдительностью напрягал слух и, невыносимо фальшивя, распевал о том, что «на запад дорога дальняя» и «Э-э-эх, засвистал Яноши-и-ик», и опять сначала... Стук, стук-стук-стук!.. Господи, заткнул себе уши Гонза, перемени пластинку, Павел! Тот только беспомощно пожал плечами, на минуту перестал терзать струны, но как человек дисциплинированный, сейчас же повторил свой скудный репертуар: «Э-э-эх!..»

Кто-то идет? Шаги за дверью по вестибюлю, и в глубине квартиры лениво залаял карликовый пинчер Тинто. Я бы чего-нибудь пожрал, вставил Милан между двумя фразами, но никто из присутствующих на это не реагировал. Наверно, мы представляем забавное зрелище, подумал Гонза, настоящий сумасшедший дом. Дело в том, что Милан заставил их работать в перчатках, чтоб на бумаге не оставалось следов; это, пожалуй, было правильно, хотя Гонзе такая мера предосторожности казалась излишней, как почти все, что вынашивалось в Милановой башке. Только замедляет работу. Что-то она теперь делает? — подумал он о Бланке, натягивая истертые замшевые перчатки мамули. Свои он забыл дома. Спит? Он представил себе лицо Бланки над раскрытой книгой — задумчивое лицо погруженного в себя человека, сжатые губы, наморщенный лоб. Слава богу, скоро конец, работа шла гладко — оказывается, толстяк знал своих родителей. Достойный владелец квартиры не отрывался от тома Вольтера, давая понять, что уважает затеи молодежи, пусть самые сумасбродные, а мамуля предстала как воплощение

добродушной наивности, она ни о чем не догадалась бы, хоть пулемет у нее на глазах собирай. Она очень редко заходила к ним и всякий раз деликатно стучала. Можно? Инфантильная тучность Бациллы досталась ему явно по женской линии. Маленькая, пухленькая мамуля словно была обтянута выцветшим плюшем, а голос у нее был сладкий, как микстура от кашля. Робко и с непритворным почтением она осведомилась у Гонзы, когда премьера его пьесы, ей хотелось бы заручиться билетами. Только после войны, брякнул он, вспыхнув, готовый от стыда сквозь землю провалиться. Она понимающе закивала головой. Вот как, да, тяжелые теперь времена, правда? Озабоченная, кудахтала она что-то о судьбе своего ягненочка, пока Бацилла деликатно не прервал ее: мамуля, прошу тебя!..

В хрупких чашках на чеканном подносе благоухал чай из шиповника — с богатым содержанием витамина С, как наставительно подчеркнула мамуля, а кекс с не менее богатым содержанием изюма так и рассыпался в пальцах. Черт!—угрюмо заметил Милан, ну и жрут же у вас, ягненочек!

В его словах были упрек и восхищение, казалось, тут развертывается мучительная борьба ненасытного желудка с убеждениями. Милан переступил порог этого жилища богатеев, словно входил в неприятельский стан — предвзято, защищенный плащом заносчивой гордости, чуждый благодарности; горящими глазами он с явным неодобрением осматривал весь этот изнеживающий комфорт, довольно комически выделяясь на его фоне в своем поношенном костюме. Он даже отказался сесть в кресло. Смешной безумец! Гонза наблюдал за ним насмешливо и неприязненно. А над кексом размяк, не помнит себя от жадности! Или решил уничтожить ненавистную буржуазию, пожирая ее запасы? Ручаюсь, что пламя классовой ненависти полыхает в нем сейчас не особенно сильно. Бацилла обычно подсовывал Милану свою порцию — может, стеснялся есть при нем. Говорил, что не хочется, а сам, наверно, просто боится от сладкого потолстеть. Давай, ягненочек! Милан проглатывал его кусок, не тратя времени на «спасибо», смахивал крошки с губ и сердито, словно корил себя за что-то, предлагал вернуться к работе. Сегодня кончим и баста! А ты, Павел, оставь уж своего «Яношика» в покое, лучше споем потихоньку что-нибудь приличное. «Красного партизана» знаете? Тогда послушайте: «По долинам и по взгорьям...» Голос Милана, его раскатистое «р» зазвучало среди мягких кресел и пуховых подушек так грозно и подмывающе, что Бацилла с готовностью присоединил к нему свою смешную фистулу. Стук-стук-стук...

■

Столовка жужжала и гудела, Мелихар жмурился над стаканом бурды. Молчали. Недобрым молчанием...

Гонза один возвращался в фюзеляжный цех через раскаленный двор; солнце мешало думать, связывало движения. В нужнике! Как бы не так! Никогда! Свет, тень... Из самого пекла он сразу попал в длинный коридор вдоль цеха, его охватил прохладный сквозняк. Коридор был пуст, за дверями конторских помещений стучали машинки, с правой стороны грохотал цех — как фронт. Никого! Ни души!

Идея! Он оглянулся, не вынимая рук из кармана. Еще раз! Черная доска с пожелтевшими объявлениями, плакат противовоздушной обороны, а рядом: „Schweig! Der Feind hört mit“ * Ему стало смешно. Рядом с плакатом торчал гвоздь от сорванного объявления, он-то и привлек внимание Гонзы. Зачем ему тут зря торчать?

---

* Молчи! Враг подслушивает *(нем.)*.

Еще взгляд — и молниеносным, но точным движением Гонза вынул из кармана листовку и, держа за самый краешек, чтобы не оставлять лишних следов, насадил ее на гвоздь.

Где-то от сквозняка хлопнула дверь. Теперь прочь отсюда... Только спокойно!

Насвистывая блюз, он двинулся по темному коридору. На повороте против уборной для служащих остановился, спокойно прислонился спиной к стене и равнодушным взглядом повел назад, сам дивясь своему гордому спокойствию.

Солнце било в открытые двери коридора, и Гонза видел только силуэты входящих в его полутьму. Двое рабочих из фюзеляжного прошли мимо доски объявлений, не взглянув. Барышня из конторы, в подпоясанном халатике, подкрасила губы перед плакатом и проскользнула в одну из дверей. Мимо. Потом силуэт тщедушного старичка. Этот, видимо, заинтересовался листовкой. Он читал ее, как все близорукие, уткнувшись носом и смешно вытягивая шею. Потом засеменил дальше и пропал в теплом грохоте цеха. Двое мужчин в спецовках. Пробежали листовку, перемигнулись и ушли. Из уборной вышел служащий с пыльным лицом, скользнул по доске равнодушным взглядом и прошлепал в ближайшую дверь. Какая скука! Ничего!

И вдруг... Сердце бешено заколотилось: веркшуц. Он лениво брел по холодку, заткнув большие пальцы рук за пояс с пистолетом; цокали каблуки о бетон. Стоп! Цоканье разом прекратилось. Веркшуц читал эти несколько фраз непостижимо долго, словно не верил своим глазам, потом одним движением сорвал бумагу и сунул себе в карман.

Есть! Внутри забили литавры. «Орфей» объявил войну, один, неизвестный и неуловимый,— наперекор всем Мелихарам! А что, если я свалял дурака? Листовка, наверно, уже на столе перед Каутце. Пусть! Когда Гонза медленно проходил по цеху, он отыскал глазами светлое лицо Бланки, склоненное над скелетом руля, и ему захотелось окликнуть ее.

Он удержался.

3

— Почему ты молчишь? — спрашивал он ее.— Укоряешь? Но во мне все равно ничто не изменилось, клянусь тебе, я знаю это, и, когда ты вернешься, я все тебе расскажу. Ничего не скрою. Не укоряй!

Расшатанные половицы, скрипя, заходили под ногами грузного человека. Павел знает эту хромающую походку. Потом увидел, как человек в худой помятой одежде пробирается мимо его окна, опустив руки. Стоит только запустить руку под кушетку, прицелиться ему в голову и нажать. Нет, теперь это уже не только мое дело. Через минуту эта каморка наполнится голосами. Некогда он дал себе слово, что до ее возвращения ни одна нога не переступит этого порога. Он боялся осквернить тот безмолвный мир, в котором жила ее тень. Боялся, что ее вспугнет чужой голос. Вещи, которых она касалась,— столик и лампа с абажуром, подушка и одеяло,— он не трогал. И вот он уже не один, сюда приходят поодиночке, он узнает их по шагам на истоптанной лестнице, по стуку в дверь. Смотри! Вот Бацилла. Вот Гонза. Милан. И Войта. Я уже не один. Все вместе мы носим еще одно странное имя. Тебе нравится? Что молчишь?

Вчера, когда он примчался с завода, отец сказал:

— Тебя какая-то девушка спрашивала.— Отец стоял, наклонившись над лоханью с посудой, лица его не было видно.— Долго ждала. У тебя на столе письмо.

Он попробовал представить себе Монику в этом жилье, откуда ушло тепло, как она сидит за столом с прожженной клеенкой, но это ему не удалось. Он привык видеть ее в желтой гарсоньерке с окном на реку —

видеть ее легкие, стрекозиные движения, брюки, охватывающие невероятно узкие бедра, чувствовать неуловимый и тонкий запах. Да, она была здесь. Наверно, была как райская птица, по ошибке залетевшая в курятник. Конечно, отец принял ее со старомодной галантностью, усадил на единственный стул, с незапамятных времен предназначенный для гостей. Такой порядок завела покойная мама.

Несколько слов было набросано размашистым почерком человека, не привыкшего к экономии. Стихов Китса он не понял, зато понял унылый взгляд, устремленный через стол с прожженной клеенкой. Ответил незаметным покачиванием головы. Нет, нет. Я не сумел избавиться от этого. И не хочу. И не спрашивай ни о чем!

— Зачем ты все портишь, Павел? — спросила Моника при последней встрече. Это не был укор отвергнутой любовницы.— Остался бы у меня. По крайней мере, пока ты здесь.

Он повернулся к ней. Она была утомлена. Она всегда уставала после объятий. Перегорала. Ему показалось, что она не дышит.

— Тебе лучше?

Она ответила ресницами — в такие минуты в ней жили одни глаза. Он попытался уклониться от ее взгляда.

— Ведь я здесь.

— Ты был не здесь.

Павел повернул лампу к стене, чтоб прикрыть желтым полумраком ее наготу. Ее цветом был желтый, она создала вокруг себя желтый мир. Павел вернулся к ней взглядом, попробовал улыбнуться.

— Я тебе не нравлюсь?

Он уловил в ее голосе едкий оттенок иронии.

Вместо ответа он погладил ее, без дрожи желания, по маленьким грудям. Это было безопасней всего.

Она пошевелилась под его рукой, вяло отстранила ее.

— Так не надо! Я не заслужила. У тебя в руке — холод.

Невозможно было обмануть ее, ни словом, ни прикосновением. Ни глазами.

— Не сердись. Я дурак, Моника.

— Скорее сумасшедший. Не говорю, чтоб это мне в тебе не нравилось. Я предпочитаю печального сумасшедшего, чем веселого идиота. Это занятнее. Ключ от квартиры я коварно сунула тебе в карман. Ну, как?

Он отрицательно покачал головой.

— Ты знаешь, что я никогда им не воспользуюсь.

— Боишься, как бы не наткнуться на кого-нибудь еще?

— И этого,— с такой же откровенностью отбил он ее атаку.

— Что вполне может случиться. Я не склонна быть дежурной на телефоне. Скажу тебе кое-что: если бы ты взял ключ, то не встретил бы у меня никого. Ты во всем видишь символы. А это обыкновенный кусок металла, приспособленный к тому, чтобы отпирать дверь. Раньше мне такая пошлость никогда не пришла бы в голову. Видимо, ты оказываешь на меня вредное влияние.— Она хрипло засмеялась.— Любовник с ключом в кармане! У-у! Однако из того, что я с тобой сплю, еще не следует, что мы любовники. Любовники — от слова «любить», а мы не только друг друга не любим, но даже не притворяемся, что любим. Так гораздо лучше. Мы только по взаимному согласию пожираем друг друга. Совершенно по-дружески, для здоровья, просто есть у нас свои потребности. Все в порядке. Никто не связан по рукам и ногам. Я хоть по вкусу тебе, сушеный интеграл?

Он слегка отстранился и посмотрел на нее, прищурившись.

— Зачем ты так говоришь? Врешь ведь. Ты же не такая.

— Но это так! Только, пожалуйста, не обвиняй меня в склонности к мелодраме. Не воображай, что я хнычу, как только за тобой захлопы-

вается дверь. И не думай! Мне хочется жить, а не хныкать. У меня нет времени. И ты не ломай себе голову, как ты это обычно делаешь. У тебя бесстыдное тело, а душа протестантского проповедника. Ключ останется здесь. Раз и навсегда. Как символ взаимной свободы.

— Мне пора,— сказал он.— А-то запрут дом.

— Если хочешь...

Он не вставал, знал, что не в силах оставить ее, испытывая отчуждение и горечь, хотя ее излияние не было для него неожиданным; он знал, что она любит ранить. Себя и другого. Знал и то, что есть другая Моника. Видел ее растроганной, и в следующий миг — ядовито-злой, эксцентрично-самонадеянной — и все же беспомощной, сумасшедше-веселой — и сквозь смех печальной, мудрой, а иногда беспечно-поверхностной. Она умела быть целомудренной и тут же становилась вызывающе-бесстыдной, ее окружали какие-то хлыщи, и все же она была одинокой, одинокой со своей кротко переносимой болезнью, о которой запретила себе не только говорить, но даже думать. Она внушала ему жалость, возмущение и непонятный страх, была ему чем-то близка, ближе, чем кто-либо другой, и в то же время далека, даже тогда, когда лежала рядом; их ласки имели привкус горького миндаля и подчас казались ему унизительными для обоих. Всякий раз, уходя от нее, он давал себе зарок не возвращаться, но уже чувствовал, что опять наберет знакомый номер.

— Послушай,— прошептал он ей как-то,— что мы, собственно, собой представляем?

— Какое это имеет значение? — отозвалась она неохотно, а через некоторое время прибавила:— Я не люблю определений. Мы два человека. Разве не достаточно? Они встретились, а вокруг стужа. И пусто. Тьма. Война. Что еще? Может, то, что оба совершенно голые.

— А почему же они встретились?

— Почему? Сейчас наверняка спросишь, какой в этом смысл, так? — Она вспомнила какие-то стихи и прочла их на своем неуверенном, но красиво звучащем английском.— Не понял? Попробую перевести: «Жизнь — только летучая тень, жалкий актер, который, когда настает его час, чуть не ломает подмостки, а после пустота... Жизнь — история, рассказанная дураком. Много крика и беснования, а смысла никакого».

— Спасибо,— сказал он.— Кто это так отвел душу?

— Некий господин Макбет. Попробовал стать королем, да сорвалось.

— Тогда нет ничего удивительного. Ты тоже так думаешь?

— Не знаю. Впрочем, это написал мужчина. Размышлять о смысле чего-нибудь, особенно жизни,— чисто мужская черта.

— При всем уважении к классикам, я все-таки думаю, что должен же быть какой-то смысл в том, что двое встретились.

— Погоди! — перебила она со вздохом.— Пожалуй, он есть.— Она ласково прижалась к нему голой грудью.— Хотя бы в том, что они согреются друг другом. Пусть на минуту. Ну, начинай греть, мне х-х-холодно...

Он обнял ее. Что ты о ней знаешь? Живет в этой желтой норке, словно оранжерейный цветок. Тому, кто с таким вкусом обставил маленькую квартиру, не приходилось учитывать каждый лишний крейцер. Папа, понимаешь? Даже на пятом году войны ей не надо было себя ограничивать, здесь Павел впервые отведал шоколаду и пил коньяк, какой ему и не снился. Моника не курила, но ларец чеканного серебра был полон австрийских сигарет, и это когда за три обыкновенные «викторки» платят по сотне крон. Книги, книги, по большей части английские, граммофонные пластинки — радио она принципиально не слушала: это меня не интересует. И половодье цветов. Она любила лежать на

полу, на толстом ковре, и когда он как-то раз спросил, что это она делает, она ответила с ленивой усмешкой. Просто живу. Это иногда страшный труд. Он понял и перестал спрашивать. Он знал фамилию ее отца — громкую фамилию, которую больные произносили как заклинание. Моника, видимо, обожала его, но почему она жила отдельно, было неясно. Она никогда не заводила речи о себе, но если он спрашивал, отвечала со спокойной деловитостью человека, которому нечего скрывать.

— Откуда у тебя такое имя?

Она зевнула.

— Очень просто. Моя мама была немка.— Заметив его удивление, поспешила прибавить: — Надеюсь, тебя это не смущает. Она давно умерла, и ни папа, ни я не имеем с ними ничего общего. Нет. Когда папа с мамой поженились, о Гитлере еще и слыхом не слыхали. Мне это совершенно безразлично. Как и то, что мой старший братец примкнул к ним и теперь месит грязь где-то на Востоке. Ну его к черту! Даже немецкий язык не выношу. Ты страшно настроен против них, это твое дело, но, уверяю тебя, если бы ты был за них, мне и это было бы все равно. Ты мне понравился, когда разъярился у этих девочек Карасовых,— хотя бы потому, что меня всегда восхищает темперамент.

Он нахмурился. Нет, у нас с ней ничего общего.

— Зачем же ты туда ходила?

— От скуки.— Она, видимо, не поняла, чем задела его.— В общем, это балаган, и я рада, что ты не попался на удочку. Старик Карас снюхался с немцами, когда им еще везло на фронтах, прикарманил целый воз старинных вещей из еврейских квартир, а теперь трясется от страха. Думает, наверно, что после войны скорей забудут его грешки, если узнают, что он предоставил квартиру для группы Сопротивления. Отсюда и вся комедия, понимаешь?

Он понял, и его замутило от гнусности этого мира. Но все позади, от унизительного знакомства осталась только Моника. Он глядел на нее и спрашивал себя с горьким удивлением, почему ей, именно ей вверился он безраздельно. Еще один вопрос без ответа.

Как это произошло? Они стояли у окна, и он рассказывал ей ту историю без окончания, выдавливал из себя подробности, и запинался, и глядел в окно. На реку спускался сумрак, прозрачный, почти нереальный, по мостовой гремела колонна военных грузовиков, оконные стекла тихонько дребезжали. Тогда впервые прозвучало вслух имя *той,* и Павел стискивал зубы, совсем забыв о другой, живой, стоящей рядом. Он договорил в оглохшей тишине, очнулся: в него вперились округлившиеся глаза на худеньком лице, внимательные, печальные, понимающие. Он притянул ее к себе, положил голову ей на плечо. Она ничего не сказала, только погладила его по волосам; в этом целомудренном прикосновении было все, и он был благодарен, что она не попыталась утешать. В ту ночь они впервые не ласкали друг друга. Моника не настаивала. Что-то неслышно встало между ними. Имя! Произнесенное вслух, оно становилось более реальным и правдоподобным, он не мог им насытиться. Моника всегда терпеливо слушала, когда он заговаривал о той, другой, она молчала, может быть понимая, что говорить им не о чем, что ему необходимо воплощать это имя хоть в звуке. Он находил в этом какое-то утешение; у него блестели глаза. Эстер! Он витал где-то далеко. Но однажды заметил ее странный, непостижимый взгляд, осекся на полуслове и схватил тревожно за руку.

— Ты что?

— Ничего,— спохватилась она с усталой улыбкой.— Продолжай.

— Нет. Скажи мне, что ты сейчас думала? Только правду.

Вздохнув, она стряхнула тягостное чувство, и губы ее слегка искривила самобичующая ирония.

— Ничего особенного, Павел. Просто любопытно, что тебе нужнее: спать со мной или разговаривать о другой. Что ж, пожалуйста, не стесняйся! Я жива и могу слушать.

Он моментально понял, что поступает дурно, эгоистично, что рассказывать ей между двумя объятиями о другой женщине, хоть и утерянной и нереальной,— извращенность.

— Не сердись.

— Говори, говори, я крепкая, выдержу. А тебе это необходимо.

С тех пор он упоминал то имя лишь изредка, но ничто не изменилось. Оно по-прежнему стояло между ними.

— Мы составляем довольно своеобразный треугольник, тебе не кажется? — говорила Моника.

И опять в этом не было укора. Только констатация. Почему она меня не выгонит?

— Ты думал о ней? — спросила она как-то раз.

Не имело смысла запираться. Павел кивнул.

Он лежал, закинув руки за голову и вперив взгляд в желтоватый потолок.

— Послушай... я сказал тебе все. Может, мне не следовало... Не знаю. Теперь ты обещай сказать мне, что ты на самом деле думаешь!

— Спрашивай!

— Она вернется?

Ему казалось, что она окаменела и дыхание у нее замерло.

— Как я могу это знать?

— Я спрашиваю, что ты думаешь, а не что ты знаешь. И спрашиваю, как близкого человека, Моника.

Он настаивал с нелепым упорством, словно все зависело от ее ответа, и следил за ее сжатыми губами.

Она отклонилась в тень.

— В этом мире чудес почти не бывает. Мне ведь тоже нужно чудо. Совсем маленькое и даже не особенно важное — только для меня. Например, пусть бы такие-то люди ошиблись... Однако в том, что для нас важнее всего, Павел. обычно прав бывает этот серый и злобный разум!

— Значит, ты думаешь...

— Не спрашивай!—вырвалось у нее.—Не спрашивай меня! К тому же тебе, с твоим мозгом, было бы страшно жить в мире, где совершаются чудеса. Довольно! Погаси свет и открой окно! Не думай! Не думай ни о чем, я хочу, чтоб ты перестал говорить и взял меня впотьмах. Иди, Павел!..

Уснула?

Он с величайшей осторожностью освободился из слабеющих рук и оделся в темноте, чтоб не разбудить ее. В кармане пиджака нащупал маленький холодный предмет. Ключ! Положил его на край стеклянного столика и подался к двери, не заметив, что за ним следит пара округлых глаз.

■

Вот и Войта! С обычным для него спокойным видом он сел на диван и положил руки на колени. Здоро́во! Жара какая, а? Открою окно.

Они и на заводе-то были немногословны, им хватало привычных жестов. Протянутая рука означала: подай молоток. Кивок в сторону термички: сбегай за заклепками! Взмах руки в сторону: отойди! Отношения их определялись не тем, что один был квалифицированным рабочим, а другой его «тотальным» подручным — они основывались на безмолвном уважении второго к первому, в них не было напряженности, а следовательно, и взволнованности. Иногда во время тревоги взгля-

нет Войта на небо, прислушается и тоном профессионала заметит: глобмайстеры! Монотонное гудение звучит для его ушей райской музыкой, и мысленно он там, наверху, за рулями управления. Были ли они друзьями? Пожалуй, если дружба может обходиться без общительности и проявления интереса к судьбе другого: им было хорошо вместе, хоть каждый оставался в своем личном мирке. Что нового? Ничего. Как живешь? Да так... Павел принес из столовки свеженький анекдот о Моравце. Войта, вполне оценив его, заулыбался: откуда только люди это выкапывают? Как дела, не слышал? Слышал — бьют немцев. Отлично. К рождеству, может, все кончится. Павел знал, что Войта недавно женился на «законной девчонке», как утверждала молва, но Войта ни словом не обмолвился о своем свежеиспеченном счастье. Только раз Павел спросил:

— А каково это — жениться на женщине, которую любишь, и можешь быть с ней каждый день?

Войта отвел пневматический молоток, он, казалось, не понял, о ком этот странный вопрос. Потом только шмыгнул носом и нагнул голову:

— Да так...

И грохот пневматического молотка разорвал тишину, вставшую после ответа.

— Бацилла,— возвестил Павел, открывая дверь в коридор.

Толстяк вкатился в комнату, запыхавшись, как старая кляча; несмотря на это, он чуть не лопался от ликования.

— Ура! Выпьем!

Он вытащил из-под полотняной куртки бутылку чистой водки и с гордым видом поставил ее на стол.

— Стоило бешеных денег, ребята.

— А мы не ослепнем? — осведомился Павел.

— Вздор! Я пробовал и вижу лучше, чем раньше.

В комнату проскользнул Милан.

— Смерррть оккупантам!

С раскатистым «р». Увидев бутылку, откупорил и понюхал.

— Ржаная. Не буду. Я голоден и, если выпью, сразу с катушек долой. Пожевать нету, Бацилла? Воображаю — сам-то набил брюхо, а? Где Гонза?

Он сухо покашливал и трогал влажный лоб.

Сквозь полуоткрытое окно в комнату лился теплый воздух с накаленных солнцем крыш, где-то наверху вопила радиола.

«Море, мечта-а моя-а-а»,— надоедливо рыдал скопческий тенорок.

— Черт возьми,— выругался Бацилла,— неужели у этого типа всего одна пластинка?

Гонза влетел, запыхавшись, сослался на трамвай, отразив инквизиторский взгляд Милана.

— Не было и не было. Что будешь делать?

Милан отмахнулся, закрыл окно и важно кивнул.

— Начнем!

— Минутку! — умоляюще воскликнул Бацилла.— Может, сначала выпьем?

Не дожидаясь согласия, он открыл бутылку и наполнил до краев банку из-под горчицы.

Вкруговую! Павел первым глотнул, и его даже передернуло. Банка в благоговейном молчании пошла по рукам, в конце концов и Милан дал себя уговорить, а Бацилла отважно опрокинул в себя остаток.

— А, черт... вот... сила! — Он поперхнулся и стал тереть мокрые от слез глаза.— Я не знал, что она такая крепкая.

В желудке запылал костер, волны приятного тепла распространились по всему телу; было в этом роскошное чувство освобождения и смелости.

— Еще по одной, ребята!

— Постой, балда,— проворчал Милач.— Мы собрались не водку хлестать... Будем пить понемногу и при этом работать. У меня уже малость закружилась башка.

Завязался тихий разговор; горячей всех говорил Бацилла, которому водка явно ударила в голову. Поверить его восторженным словам, так можно было подумать, что весь завод, как один человек, вот-вот подымется против оккупантов. Еще несколько таких листовок, и вы увидите! Он так и подскакивал на стуле, качавшемся под ним, как утлый челнок на волнах. Спокойней, Бацилла, скувырнешься! Он выполнил задачу на сто процентов: сумел не только, улучив момент, рассовать свою долю листовок по шкафчикам в раздевалке, но даже незаметно вернуться потом на место действия, чтобы проверить произведенное впечатление. «Ну и как?» — с нетерпением спросил Милан, но Бацилла его не слушал. Один экземпляр он очень тонко сунул в свой собственный шкафчик, нашел его там на глазах у ничего не подозревающего Леоша и показал ему. Что скажешь? Леош только сонно зевнул и махнул рукой. «Постарайся отделаться от этого, дурачина,— говорит.— я не хочу влипнуть в историю из-за ерунды. У меня своих забот полон рот». Впрочем, это ведь Леош, он думает только о девчонках да об этих своих нарядах. Правда, большинство людей поскорее комкали листовки и кидали их в корзину у двери, но Бацилла готов биться об заклад, что кое-кто их спрятал. «Завертелось дело,— горячился он, стуча пухлым кулачком по колену,— завертелось!»

Остальные были гораздо сдержанней. Войта, которому был поручен моторный цех, признался, что обнаружил очень много копий в унитазах, причем некоторые были гнусно использованы. Павел видел то же самое в ангарах и в малярке. Все равно что плевать против ветра. Никакого отклика. Писк в лесной чаще.

У Гонзы от водки слегка кривилась физиономия. Когда он, с неуверенностью в голосе, сообщил о своем личном почине в коридоре возле канцелярии, последовало растерянное молчание. Значит... Ясно, попало в живодерку. К Каутце! Милан сердито насупился, видно, собрался читать нотацию, но Павел успел предупредить его:

— Ну и что? Надо было считаться с тем, что листовки попадут к ним в руки. Наверняка у них уже много копий, конечно нашлись сволочи, сами отнесли. Пускай. Это ничего не меняет, Гонза! Меня больше тревожит другое. Такое равнодушие! Откуда оно? Вы понимаете?

— Не беда,— нетерпеливо прервал его Милан.— Очень уж мы разнылись. Долой пораженческие настроения! А чего вы ждали? Реки начинаются ручейками, большевиков сначала тоже была горстка, а в конце концов они перевернули все вверх дном и устроили революцию. Главное — иметь идею и быть готовыми отдать за нее жизнь... Тем более, с какой стати оставлять листовки себе на память, Бацилла? Это не билетики на танцы! Важно, чтобы слова западали в души и чтоб люди знали: кто-то борется. Нечего ждать, что все разразятся ликованием при виде куска исписанной бумаги. Прочь субъективные чувства — и не ослаблять нажим.

— Правильно! — воскликнул Бацилла.

Миланова речь пришлась ему по вкусу своей мужской решительностью, он потянулся к банке и основательно хлебнул.

— Черт побери! Я — за, ребята! — он яростно застучал кулаком по столу.— Не ослабляй нажима! Бей нацистов! Смерть оккупантам!

— Заткнись! — осадил его Милан и отобрал банку.— И перестань хлестать, а то мамулю кондрашка хватит, как увидит тебя такого развеселого, ягненочек!

— Болтай, болтай...— пролепетал Бацилла,— вот посмотрим, когда...

— ...Когда состязание в жранье устроим — известно!

— Ты несправедлив, Милан,— хмуро вмешался Павел.

— И к твоему сведению...— обрадовался такой поддержке Бацилла,— я не буду жрать! Я не виноват, это у нас в семье так... Сдохну, а не буду! Я обязательство беру — не жрать!

Милан почувствовал, что пересолил, и примирительно махнул рукой.

— Ладно, Бацилла, будет об этом! Лучше поговорим о том, как все прошло и не заметили ли кого из вас. Это страшно важно.

Все растерянно замолчали: трудный вопрос! Кажется, операция прошла гладко и незаметно, только Павлу не удалось пристроить несколько экземпляров, остальные все были розданы, но кто может твердо сказать, что не был замечен случайным свидетелем? Такой риск не исключишь ни сейчас, ни в будущем, и, конечно, чем дальше, тем будет трудней; особенно теперь, когда название «Орфей» уже не совсем неизвестно в живодерке; придется выдумывать все новые, более хитрые приемы. Думайте, ребята! Милан захватил инициативу, он выложил кое-какие соображения по части конспирации: в любом случае освобождаться от листовок как можно скорей, не держать у себя в шкафчике оставшиеся. Именно на этом завалились ребята из моторного цеха, помните? А если... Что если?.. Бацилла проглотил слюну. А если у кого из нас найдут? Милан оборвал его резким жестом. Тогда немедленно уничтожать! Хоть съесть. Не бойся, от этого не растолстеешь. А если не выйдет? Тогда твердить Каутце прямо в рожу — дескать, нашел. Воды в рот набрать. Признаться — значит предать остальных, это же ясно? Ну да.

Душно. Невыносимо.

Разговор растекся, утратил связность, слова неохотно сползали с одеревеневших языков, головы были как в чаду. Павел заявил, что пора переходить к действию, не ограничиваться одними листовками, хотя в принципе он не возражает и против них. Мысленно он уже отвинчивал гайки на рельсах, и направляющийся на фронт военный состав с оглушительным грохотом рушился с насыпи... Но как? Как это осуществить? Он стискивал зубы.

Бациллу, распаленного водкой, снова охватил прилив кровожадности. Застрелить свинью Каутце! Ведь есть же у нас... А что? Он недоуменно вытаращил глаза, когда на него прикрикнули, помолчал — алкоголь тряс его, как полицейский бродягу,— но через минуту предложил поджечь завод. Чем, дурак? Тогда — взорвать! Опьянение у него было назойливое; Бациллу строго осадили, и он расплакался. Плаксиво стал жаловаться, что на последнем собрании у него в доме кто-то спер из библиотеки три книги, и папа это обнаружил. Все замолчали, переглянулись, испытывая неприятное чувство; не случайно вопросительные взгляды остановились на Милане. Ты? Думает, поди, что обокрасть буржуя — не кража? Милан заерзал, с кривой улыбкой процедил:

— Подумаешь! Я их только почитать взял, потом верну. Велика важность! У них там тысячи, всего и не перечитают. Ну давайте дальше, у нас мало времени!

Даже своим помутневшим сознанием они понимали, что придется им довольствоваться пока скромными действиями, незаметным мелким вредительством — попросту вредить нацистам на каждом шагу, начиная с отвинчивания шурупов у тележек, на которых перевозят крылья в малярку, и кончая порчей сверл и дюралевых листов; отбивать на карточках как можно больше неотработанных часов и заставить оплачивать их, красть уголь и все, что нужно для производства. Но только, заметил Павел, надо делать все так, чтоб другим не пришлось отвечать, этого нельзя упускать из вида!

Наибольшую изобретательность по части разрушительных идей в области техники проявил Войта. Он умел указать именно на тот винтик, порча которого принесет наибольший вред. Великолепно! Только все делать по договоренности, ничего на свой страх и риск, прибавил Милан, многозначительно глядя на Гонзу. С чего начнем? Опять у Бациллы переписывать в перчатках листовки?

Милан высказал интересную идею, которая, после некоторых разъяснений, всех увлекла. Рыская по заводу, он обнаружил близ помещений конструкторского бюро, над моторным цехом, комнату, где с помощью фотографирования производится копировка планов и чертежей; рядом в чулане — склад фотобумаги, ее там горы, и все высокосортная «Агфа». Что вы на это скажете? Ты думаешь, выкрасть? Конечно, как же иначе, а то подведем тех, кто там работает в ночную смену. Они вспомнили, как похитили сахар из военного грузовика, тогда Милан проявил необычайную ловкость, приятно было подсластить житуху, ну а... фотобумага-то на что? Кто из нас занимается фотографией и понимает в этом? Оказалось, что у Павла есть дешевенький «бэби-бокс», отец подарил еще до войны, за хороший табель, и он немного разбирается в фотографии. Послушайте! — стал объяснять Милан вполголоса. Часть бумаги мы продадим, это я беру на себя. Нам ведь нужны будут и гроши, мало ли на что. Гроши всегда пригодятся, верно? Например, послать жене какого-нибудь заключенного, но не в том суть. Да хватит, Бацилла, тебе хлестать! Никто не понесет тебя домой на закорках. На остальной бумаге будем размножать листовки. Так же, как копируют планы, это просто: написать текст на прозрачной бумаге, снять и проявить. Можно, правда? Ты бы справился, Павел? Я-то этим не занимался, но научиться можно. Почему бы не получиться? Гениально! Но как туда попасть, на двери висячий замок. Завтра я это дело осмотрю, сказал Войта, как всегда рассудительно. Нет такого замка, которого нельзя открыть, это уж предоставьте мне! Трое будут стеречь, двое сделают. Оставалось решить, как вынести добычу с завода, но и тут, хорошенько подумав, нашли выход: перебросить через ограду за сараями, через колючую проволоку, только надо действовать наверняка, не то катастрофа! Рискнем? — спросил своим важным тоном Милан, впрочем, совершенно зря, все равно никто не решился бы пойти на попятный. Завтра же и приступим, чтоб уж скорей со всем этим покончить.

За эту идею глотни-ка первый, Милан, бродяга!

Павел спустил штору затемнения, лампочка отбросила на голую стену пузатые тени; все заморгали, глядя друг на друга, облитые унылым светом, бледные от выпитого, от недосыпания; но решение, к которому они пришли, придавало их лицам гордое и торжественное выражение. Кроме лица Бациллы. Неверной рукой он нащупал бутылку, посмотрел через нее на свет. Потом, выпятив губы, радостно фыркнул и объявил, что не вернется домой. Никогда, черт побери! Он сообщил присутствующим, что больше не спит на пуховых перинах, а спит на полу, так как прозрел в их обществе и буржуазный комфорт ему опротивел. Он тоже за революцию.

Допьем, что ли, там еще есть на дне! Они наслаждались дружным согласием перед началом действий, банка пошла вкруговую. Да здравствует «Орфей», ребята! Смерть фашистам и их прихвостням! За скорый конец войны — он уже у порога. Нам не заткнут рот, «Орфей» снова заговорит!

— Да, но о чем? — вдруг послышалось с дивана.

Гонза!

Он изо всей силы сжимал виски.

— Как это — о чем? Опять у тебя зуд в башке, так и ищешь, к чему придраться! — Бацилла наставил на него указательный палец, но

Гонза все-таки объяснил свою точку зрения. По его мнению, это все равно что воду в ступе толочь, и нечего себя обманывать. К чему долбить людям общие истины, которые и без того всем известны? В чем же наша ошибка? — спросил Павел. В чем? В самом тексте, и я это говорю, хоть сам писал: все это одна трескотня, надо придумать что-то другое, что-то совершенно конкретное, а не лозунги о революции и сопротивлении, нужно говорить людям то, чего они, может быть, еще не знают. Легко сказать, но что именно? Может, сообщения с фронтов, не все ведь имеют возможность слушать Кромержиж...* Все призадумались; в сомнениях Гонзы была доля правды. Только Милан усмотрел в них мелкобуржуазное копание и капитулянтство. Ты что же предлагаешь — плюнуть на все это и заботиться каждому о самом себе? — воинственно ощетиненный, накинулся он на Гонзу. Стать каким-то бюро информации?

Гонза тоже перестал владеть собой. Мелешь вздор, Милан! Думать надо! А чем так, лучше уж ничего, махнул он рукой, раскрасневшись. Они швыряли друг в друга слова с тупой неприязненностью, возбужденные алкоголем.

Пламя ссоры перескакивало с одного предмета на другой, обе стороны нелепо перегибали палку. Иной раз казалось, что Милан просто бредит. С горящими глазами он заявил, что Пишкота схватили не как патриотического трепача, а как пролетария! Это и на них налагает обязательства, так ведь они и договаривались, иначе он, Милан, бросит все дело! И если придется ему погибать, то он тоже хочет погибнуть как пролетарий, с мыслью о Советах, о Сталине, с «Интернационалом» на устах! Не иначе!

Гонза взъерошился, но сумел принудить себя к ледяному спокойствию.

— Смотри не завереши поросенком от страха! Не хвастайся, Милан! Что он меня все время подначивает, ребята? Чего болтает? Что я — фабрикант, что ли? Я не говорю, что разбираюсь в этом, но я вовсе не против коммунизма, потому что у меня нет к тому никаких оснований! Но я и не фанатик. Я знаю многих рабочих, может, есть среди них и коммунисты, однако нет среди них ни одного такого тронутого, как ты! Меня ты не запугаешь! Я хочу сперва как следует разобраться и все решить своим умом, свободно...

— Бросьте вы,— вмешался рассерженный Павел.— Несете околесицу какую-то. На оскорблениях мы далеко не уедем, ребята.

— Не я начал,— перебил его Гонза.— Это он вечно нападает. С какой стати я должен переносить его нахальство... тем более, если мне ясно, откуда ветер дует.— Он замолчал, чтоб перевести дух, и впился глазами в Милана.— Если б ты был искренним, Милан, то сам признался бы. Мы ведь оба знаем, в чем дело. Тебя злит, что я не верю тебе. И никогда не поверю! Хотя бы вы все так постановили. Тебе ясно?

Что он — с ума сошел? Тягостное, напряженное молчание. Милан, побледнев, уставился в полумрак, с лицом неподвижным, как после пощечины. Потом встал со стула, сухо покашливая; все отвели глаза.

— Ладно,— хрипло выговорил Милан сдавленным горлом.—Думай так — твое дело. Только ты ошибаешься. Сам потом поймешь!

И тотчас, словно спасаясь от неуверенности собственного голоса, он схватился за ручку и вышел, хлопнув дверью.

«Море, мечта-а-а моя-а-а... море, виденье гре-е-ез...»

Они еще не успели опомниться от изумления, как их внимание привлек Бацилла: неожиданно, как от удара под ложечку, он перегнулся

* Подпольная радиостанция.

пополам, схватился руками за живот; от позыва на рвоту перекосилась его позеленевшая рожица.

— Господи... мне плохо, ребята... я сейчас буду...

Павел, не растерявшись, подбежал, приподнял его за лацкан пиджака.

— Пойдем, свиненок, отведу тебя в уборную... Держись, ты ведь мужчина! Ничего не поделаешь, Войта, проводишь его домой, ладно? А то по дороге еще выкинет что-нибудь. Подъем, ягненочек, только без шума. Удалимся без почестей!

■

— Ну, валяй,— вяло промолвил Гонза, когда Павел вернулся от входной двери.

Гонза лежал на кушетке, прикрыв лицо руками, и ему было скверно физически и духовно.

— Зачем?

Павел наскреб в кармане щепотку табачного сора, молча скрутил тоненькую сигарку, зажег и, затянувшись, передал Гонзе.

Обычно после собраний они оставались вдвоем; иногда сидели в комнате, но чаще выходили бродить по темным улицам, занятые разговором, от которого чудесным образом спадала сонливость и мозг работал на полные обороты. Случалось, что в пылу спора Павел провожал Гонзу до самого дома, они стояли на ветру, у перекрестка на Виноградах, шарили по карманам в поисках окурков, а потом Гонза вдруг понимал, что уже он провожает Павла.

Эти ночные беседы часто тянулись за полночь, заглушая мысль о тиране-будильнике, который через несколько часов безжалостно их разбудит. Говорили обо всем на свете. Что ты думаешь о солипсизме? Этим понятием, вычитанным из «Введения в философию», Гонза оперировал легкомысленно, не высказываясь определенно ни за, ни против; Павел же, который во всем любил твердую почву под ногами, обычно возражал. Иногда Гонза вдруг излагал какую-нибудь не вполне усвоенную им мысль, заимствованную из книг Душана или подхваченную прямо из его уст, и спору не было конца. Ницше и его сверхчеловек. А ну его, отстань! Погоди, не относись ко всему так прямолинейно и предвзято, это не так просто, как кажется на первый взгляд! Проблема религии. Гонза старался быть объективным, он допускал и то, и се, а для Павла все, чего нельзя доказать научно, что противоречило разуму, было неприемлемо. Само существование бога, созданного человечеством в ходе истории, он считал совершенно недоказуемым, а следовательно, опровергнутым естественными науками. Убежденность Павла вызывала яростные атаки Гонзы: но ведь невозможно доказать и обратное, то есть отсутствие бога! Возможно. Все у Гонзы было «возможно» или «вероятно». В сущности, считал он,— это вопрос веры, так же как и древняя проблема первичности духа или материи. Вообще вопрос о человеческом познании и его границах. Однако ничто не могло поколебать последовательный материализм Павла; Гонзе иногда казалось, что материализм — составная часть духовной организации Павла, он лежит в основе его существа и восприятия мира; вот она, ограниченность математического ума! Но есть ведь и другие формы познания. Не верить a priori ни во что, искать, сомневаться! Я—не Милан, понимаешь? Фанатик затыкает себе уши несколькими элементарными истинами. Что было бы, если б Галилей не усомнился в том, что в течение столетий казалось непоколебимым? Да в конце концов и Маркс... Нечаянно набредя на тему, в которой Павел был как рыба в воде — Галилей!—Гонза поспешил протрубить отбой; он взял курс на искусство, чувствуя себя в этой обла-

сти спокойнее, потому что там нет ничего точного и доказуемого разумом, все — вне холодных логических аргументов и тем самым головокружительней. Великолепная уклончивость, полет! Ладно, горячился он, но объясни мне, пожалуйста, почему нас до сих пор волнует Гомер? Что у нас общего с его миром? Как будто ничего, и все же! Если существует какая-то преемственность, то именно здесь. Что нашему современнику до Овидиевых «Метаморфоз»? Он начал вспоминать стихи, но сбился. Тень прохожего бросила горящий окурок. Подождали, пока прохожий скроется, и Павел, мгновенно нагнувшись за окурком, вставил его в закопченный мундштук.

Блеск! Так на чем мы остановились? И они продолжали спорить, засыпая друг друга шаткими аргументами, не обращая внимания на мрак и дождь, на усталость и голод, полные страсти и взаимного предубеждения, словно от их знания, от того, чему они скажут «да», зависит судьба человечества. Что будет после войны? То же, что и до нее? А почем ты знаешь, что было до нее? Коммунизм, как утверждает Милан? Возможно, вероятно, но... как это будет? Что мы о нем знаем? Гонза трудился над Энгельсом, которого взял почитать у Милана. «Происхождение семьи»... Он был в восхищении, хоть понял не все. Это великолепная пища для ума, фантастически умная книга, восклицал он, совсем иное дело, не то что Милановы проповеди. Одновременно он глотал и глотал другие книги, которые брал у Душана; ему казалось, что они утверждают другое, порой обратное, диаметрально противоположное, но и с ними он не мог спорить всерьез. Хаос в голове, продвижение ощупью во мраке. Иной раз рассуждения в этих книгах кружились на месте, как собаки, которые ловят свой хвост, и расплывались в смутной неопределенности.

Что читать сначала? Читаешь подряд все, что попадется под руку, напичкиваешься сведениями в поезде, в трамвае, на заводе под стапелем, крадешь время у сна, и все же, куда ни глянь, всюду пробелы. Что я знаю о биологии? Об истории? О философии? Несколько случайных, скудных фактов, ими еще можно кое-как блеснуть в уличном споре, но все это лишь ничтожные крохи, которые отщипываешь от пирога знания, без системы, без цельного охвата, безнадежно разрозненные — грош им цена!

Если думать об этом, голова кругом идет и ярость охватывает. Злишься на это своенравное, паршивое безвременье, на завод, на немчуру, на судьбу тотальников! Упрямое негодование на всех взрослых без исключения — при них ведь заварилась эта несъедобная каша. Однако что может человек? Одиночка? Что может вообще человечество, когда его закрутит такая смертоносная заваруха! Может, это эпидемия, биологическая необходимость, черт его знает! Сколько лет потеряно зря! Где достанешь в этом болоте нужные книги? С чего начинать, господи Иисусе? Может, эти ночные разговоры — только безобидная детская болтовня, открытие давно открытого, убожество! И вообще, к чему это мудрствование, эти возвышенные рассуждения, если завтра — верней, уже сегодня — хватай портфель и тащись как осел через весь город в битком набитый сумасшедший дом, где толчется несколько тысяч народу, хоть работы там едва для одной трети! Строим *для них* самолеты! Да и те-то учебные. Выучившись на них летать, летчики должны пересесть на боевые машины и громить союзников. Должны! Идиотизм! Теперь их машины едва осмеливаются подыматься в воздух, потому что и над протекторатом превосходство в небе давно у союзников; русские лупят их в Польше, англо-американцы во Франции, и весь рейх уже протекает, как дырявый горшок. Неужто немцы ослепли? Почему же они не хотят признать, что проиграли эту войну, и не плюнут на нее? Спятили, отравились своей собственной ложью, пустыми надеждами или

страхом друг перед другом? Может, они уже потеряли способность мыслить, вот и вопят, и убивают, и до хрипоты орут «хайль» своему идиоту? Абсурд — и мы живем в этом абсурде, во всеобъемлющей бессмыслице! Лучше не думать об этом, лучше думать о будущем, ведь это уже неважно, от этого кошмара проснешься — если вообще проснешься — уже в другом мире. Готовиться к тому, что придет, понять это, потому что то, чем мы живем,— жалкая и подлая временная жизнь. Ну, пора спать. Опять мы с тобой наговорили черт знает сколько, но вино пьется, а жизнь живется. Ну до завтра. Пока. Будь здоров!

■

Павел растоптал окурок и прислушался. За окном, на галерее послышались возбужденные голоса, но, прежде чем он успел открыть окно, где-то наверху хлопнула дверь, и в доме снова воцарилась душная тишина.

Гонза спустил ноги на пол и стал усиленно тереть виски.

— Мне здорово досадно, что так это вышло с Миланом,— сказал он.

— Гм... Я немного боюсь за него.

— Почему?

Павел повернулся на табуретке, лицо его ушло в тень.

— Вчера я застал его за ангаром. Он харкнул кровью. Ему бы к врачу пойти, дуралею, одной жратвой дела не поправить. А он, видишь ли, докторам не верит, заводским и подавно. Спер на складе кусок колбасы и маргарину. Что толку? Поймают как-нибудь... А так он парень что надо.

— Знаю,— вяло согласился Гонза.— Просто мы с ним из разного теста. Одним словом, я неверующий, вот в чем дело! Послушай, что ты обо всем этом думаешь? Я имею в виду то, что он нам тут поет?

Вопрос поверг Павла в легкое замешательство — обычно они говорили чисто теоретически, не ссылаясь на личности. Он повернулся, и его хмурое лицо снова попало в круг желтого света.

— В общем я согласен... Может, я не все понимаю, но то, что я слышал и читал... вполне логично. И справедливо. Может, все это слишком прекрасно, чтобы не смахивать на утопию, но почему бы этому и не быть возможным? В России... знаю, что ты можешь подумать, только меня не соблазнишь на приманку, от которой воняет Геббельсом. Уж это — никак! В принципе-то там ведь явно все на правильном пути. Они воюют против *фашиг*, и я хотел бы, чтоб они были уже где-нибудь у Ржичан, факт, хотел бы! И мне ясно, что Милан больше горячится, чем знает, но это еще не значит, что он не... Ты слыхал о концентрационных лагерях?

Вопрос нарушил мрачное раздумье Гонзы.

— Кое-что слыхал. Говорят всякое, но мне кажется — преувеличивают.

— Что ты слышал?

Его неторопливый взгляд смутил Гонзу, он только растерянно пожал плечами.

— Так... Разное. Что наци — звери, это факт, но... насчет газовых камер и насчет евреев... что их сжигают ни за что ни про что,— этого я не могу себе представить. Если это правда, все должны сойти с ума от страха друг перед другом и сказать адью нашему веку! Прошу меня вычеркнуть, я с вами не еду... Но ведь у всех теперь страшно разыгрывается фантазия. А ты что-нибудь знаешь?

Павел опять отвернулся в тень. Когда он заговорил, Гонза не узнал его голоса.

— Нет. Только то, что и ты! — хрипло выговорил он и откашлялся.— Вот видишь. Уже по одному этому все должно измениться. В корне! Иначе нет ни малейшей надежды.

Он замолчал, успокаиваясь под пристальным взглядом Гонзы; напряжение вокруг рта ослабло, выражение усталого спокойствия вернулось на его побледневшее лицо.

— А ты как думаешь?

Наверху вдруг опять заорала радиола и сразу умолкла. Гонза повалился на кушетку, закинув скрещенные руки за голову, и долго, не шевелясь, смотрел в потолок.

— Не знаю даже,— тихо ответил он.— Конечно, я не против... во всяком случае, во всем, что касается внешнего проявления. Например, чтобы фабрики принадлежали не акционерам и чтоб не было безработицы, голода... Мама перед войной долго была без работы, и, не будь деда, мы бы сдохли с голоду. В школе на меня собирали деньги, когда класс ездил в экскурсию на Ржип, а по воскресеньям я получал крону на киношку и двадцать геллеров на резиновую змею. И все-таки я не уверен, что я — за. Еще нет. То, что рассказывает Милан, ребенку понятно, но мне подозрительна всякая простота, все представляется мне несколько сложней, чтобы можно было свести это к такому уравнению. А человек? Что все это говорит о его жизни? Я имею в виду человека как индивидуума! Или это уравнение его не предусматривает? У человека только одна жизнь. И довольно короткая. История катится вперед, меняются режимы, а что во всем этом человек? Навоз. Скули от страха, человек, здесь творится история, прогресс... на самом же деле это бешеная скачка куда-то через его труп. А ведь в нем, в каждом отдельном человеке, целый мир. Вселенная. Закроет глаза, остановится сердце — и нет ничего. Конец. Кажущийся мир исчез. Меня всегда приводили в ужас утопические романы о будущем, мне казалось, что их действие разыгрывается ночью. Я, наверно, не умею как следует выразить все это, но во мне живет какое-то смутное чувство, что это именно так. И не думаю, чтоб я был каким-то ненормальным.

Павел переплел тонкие пальцы и прогнул их так, что суставы хрустнули.

— Однако,— глухо заметил он,— человек в мире не одинок.

— Ты имеешь в виду — в человеческом обществе? Нет. Он одинок. Невероятно. По-моему, не одинок он может быть только с другим индивидуумом.

— Может быть,— уступил Павел. Он беспокойно пошевелился на стуле.— Но все-таки должно быть у него что-нибудь такое, что он отстаивает. Такое, во что он верит, как в нечто справедливое, ценное,— он должен быть на чьей-то стороне. У тебя есть что-нибудь такое?

— Есть.

От волнения Гонза даже привстал, по лицу его было видно, как напряженно он собирается с мыслями, чтобы выразить их связно.

— Послушай, это, может быть, кощунство, но тебе я скажу: зачем непременно нужно, чтобы человек жил ради чего-то? Объясни мне! И ради чего? Ради еще какой-нибудь истины? Идеологии? Веры? Господи! Сколько их уже сменилось, а посмотри кругом! Такой бойни свет еще не видел. И это после стольких гарантированных истин, за которые люди шли даже на костер и позволяли сделать из себя котлету! Покорно благодарю! Само собой, я постараюсь примкнуть к той стороне, которая относительно права... против любого насилия... так, чтобы примирить это со своей совестью, и в этом смысле я, наверно, не одинок... Но чтоб я поверил, что вон за тем холмиком обетованная земля, где ангелочки в человеческом образе будут от любви кидать друг другу пасхальные яички,— к этому пускай Милан меня не принуждает! Есть какая-то

путаница.. в самой основе, может быть, в самом человеке, не знаю. И ее не разрешит никакая борьба, даже классовая. Почему надо жить всегда ради чего-то? Почему не ради кого-то? Ради одного-единственного живого человека, с точки зрения истории, может, и незначительного, но... понимаешь?

До чего мы договорились? — подумал Павел, чувствуя странное головокружение. Он отвел глаза и прошептал еле слышно:

— Ты очень ее любишь?

— Если тебе случалось испытать в жизни что-нибудь подобное, то ты знаешь — этого не выразить словами. И не написать Этим можно только жить. Я хочу тебе сказать, что это для меня самое ценное. Идеология. Вера. Назови как хочешь. Другой не знаю, а в эту верю. Двое — именно то число, которое необходимо, чтобы человек не был невыносимо одинок. Трое, пожалуй, уже много. А все — ничто. Наверно, ты совсем меня не понимаешь?

— Отчего же? — одним дыханием произнес Павел.

Он встал. Им овладело странное беспокойство, оно заставило его ходить по пыльному полу. Он озирался вокруг, смотрел на пустые стены, словно видел их впервые, и казалось, не замечал присутствия другого человека. Провел ладонью по треснувшей столешнице, потом повернул к Гонзе строгое напряженное лицо.

— Может быть, это и верно. На необитаемом острове.

■

За углом взревел мотор автомобиля, потом хлопнула дверь, и машина ушла во тьму.

Гонза оторвался от фонаря и вынул руки из карманов. Металлическая штора магазина церковной утвари была опущена, и окна верхнего этажа отражали свет месяца, висевшего над крышами. Там спит она. Чего тебе здесь надо? Нет смысла торчать тут, дом давно заперт.

Он пошел было, но сразу же остановился. Стук каблучков, приближавшийся по затихшей улице, заставил его затаить дыхание. Неужели? Из-за угла выскользнула стройная фигура в светлом платье, промелькнула в конусе света и скрылась в тени. Он сразу узнал ее по легкой походке и склоненной голове — ошибки быть не могло.

Она торопливо, мелкими шагами шла к воротам, роясь на ходу в сумочке.

Опомнившись, он перебежал через мостовую, оказался сзади нее, заметил, что она невольно прибавила шагу. Хватит! В несколько шагов он догнал ее, схватил сзади за плечи.

Она вскрикнула от испуга. Быстро повернувшись, вырвалась у него из рук, но сейчас же узнала и уронила руки.

— Гонзик! — Это прозвучало как упрек.— Откуда ты взялся?

— Ничего особенного. Просто свалился с луны.

Она, не улыбнувшись, откинула волосы со лба; ей, видимо, нелегко было прийти в себя от первого испуга.

— С ума сошел!

Он притянул ее к себе и заметил, что она дрожит как в лихорадке. Он хотел ее успокоить, поцеловать в голову, но она в ужасе отстранилась.

— Опомнись! Это же я. Если б я знал, что ты такая пугливая...

— Что ты тут делаешь?

Строгость тона смутила его.

— Ничего. Смотрел на твое окно и представлял себе, как ты спишь. Это плохо?

— Нет.

— Вот видишь. Надо же считаться с инстинктом. Ну, уж помирись со мной!

Она подняла на него глаза, испытующе, со сжатыми губами поглядела ему в лицо, потом молча кивнула — нет, ей это не снится,— и напряженье ее ослабло. Вдруг она уткнулась лицом ему в грудь и вздохнула.

— Послушай, никогда этого больше не делай. Обещай мне, сумасшедший! У меня до сих пор колени дрожат.

И она с облегчением засмеялась собственному испугу. Он обнял ее за плечи и повел к воротам—бог весть почему, она казалась ему ребенком, разбуженным от сна. Бланка остановилась у витрины с опущенной шторой.

— С чего ты это придумал? Что-нибудь случилось?

— Нет. Просто мне вдруг ужасно захотелось быть поближе к тебе.

Она сама порывисто обняла его. Прильнула к нему всем телом, отдавая ему это тело на безлюдной улице, губы ее, сначала чужие, холодные, приоткрылись и будто растаяли под его губами. Ты мой! Теплое, живое тело — он сжимал его с яростной силой, они стояли, врастая друг в друга с каждым вздохом. Желание и страх. Держи ее, держи вот так, вот твой мир, вселенная, ослабишь объятие, и он расплывется в пустоте, умри за него, но не ослабляй! Больше у тебя нет ничего! Гонза испугался, почувствовав у себя на губах влагу слез.

— Что с тобой?

— Не обращай внимания, я просто страшно счастлива... а счастливый человек все время боится.

Он губами закрыл ей рот, слегка встряхнул за плечи и шептал ей в волосы:

— Я тоже. Мне необходимо было видеть тебя сегодня, на меня напал вдруг такой страх... Нет, ничего определенного, это не имело никаких очертаний, просто бессмысленный страх за тебя... за нас обоих, как бы что-нибудь не встало между нами... погоди, дай мне сказать! Может, этот страх — от войны или от того, что нас ждет... не знаю. Мне ужасна мысль, что мы можем потерять друг друга, нет, это не трусость, прежде мне было все равно, только теперь... Знаешь, я шел сюда и говорил себе: не могу так дальше... и я решил сказать тебе, чтоб уж покончить с этим. Ведь это так не нужно, и чего мы ждем?

Бланка выскользнула из его объятий.

— Покончить с чем?

Он взял ее под руку и легким толчком заставил идти. Здесь, в нише входной двери, они всегда прощались. Медная ручка, решетка, черный зев коридора, в котором печально терялся отзвук ее шагов. Он ненавидел эту нишу.

— Ты знаешь... Я пришел просить тебя... верней, сказать, чтобы ты... Вернее: чтоб мы поженились,— выдавил он из себя и глотнул пересохшим горлом.

Сперва она ничего не сказала, словно от этого неуклюжего предложения у нее перехватило дыханье.

— И это ты пришел сказать мне?

— И это я пришел сказать тебе,— уже тверже повторил он.

Чем-то ему не понравился тон ее вопроса, он протянул к ней руку, чтобы предупредить ее ответ.

— Только, пожалуйста, не говори, что я спятил. Выпил немного, но теперь совсем протрезвел.

Он почувствовал ее ладонь на своей щеке. Бланка дотронулась до его губ, но в этом прикосновении было что-то подозрительно-утешающее, и он невольно отшатнулся. Снова это чувство незрелости по сравнению с ней! Откуда оно?

— Я совершенно серьезно тебе говорю, я все продумал... Дай хоть договорить! Я, в сущности, совсем один, хотя... Все, что мне на этом свете принадлежит, поместится в одном чемодане, а остальное — это ты. Слышишь? Ты! Жить мы могли бы у тебя, я человек скромный. Как мышь. Готов спать хоть на полу, лишь бы ты была поблизости. Большего мне не нужно.

Ему страшно захотелось увидеть ее лицо, кажется, эти слова ее тронули. Она помолчала, потом обхватила его за шею.

— Ах, ты... мой дорогой, сумасшедший человек... Не говори больше об этом, если не хочешь, чтоб я разревелась, как девчонка... Ты сам не знаешь, что говоришь... это ведь невозможно, Гонзик...

— Почему? Хоть завтра. Что в этом невозможного?

— Война...

— Плевать на войну! Не я ее выдумал. И этот аргумент я уже слышал от Милана. Разве во время войны жизнь прекращается?

— Прошу тебя, подожди — может, может быть, и так, но я... понимаешь, я не одна, есть еще Зденек, и когда он вернется...

Зденек! Опять этот удар исподтишка... Гонза упрямо перебил ее:

— Когда он вернется, я протяну ему руку и скажу, как мужчина мужчине: я ее люблю. И не сердитесь, что любил, когда вы еще... Не понимаю, что он может против этого иметь?

— Но ты ведь совсем не знаешь меня! — воскликнула она, словно, непонятно почему, защищаясь.— Не знаешь...

Это не обескуражило Гонзу, ее довод казался ему неубедительным, он готов был заподозрить, что Бланка просто упрямится.

— Я, может быть, знаю тебя больше, чем ты думаешь. Потому что верю тебе, слышишь? Верю! И может, ты тоже не знаешь обо мне всего.

Он остановился на краю скользкого спуска. Пришла в голову захватывающая мысль, что, может, и она... занимается чем-нибудь вроде того, что делает он, и не хочет подвергать его опасности, которая грозит ей... От растроганности сдавило горло. Эх, сказать бы ей, намекнуть... Нельзя! И он говорил, и уговаривал ее, и прижимал к себе все крепче, но все яснее чувствовал, что слова его бьются о невидимую стену и не могут, не могут пробить ее... Нет... не надо, Гонзик, не спрашивай, прошу тебя, если я скажу «да», ты, наверно, потом возненавидишь меня и будешь презирать, а я этого не перенесу, ну будь благоразумен, не мучай меня!

Будь благоразумен, не мучай меня! Он замолчал и склонил голову в знак того, что сдается, но им овладело отчаяние.

— Предупреждаю,— слышал он ее шепот,— когда-нибудь, когда все кончится... и если ты еще будешь хотеть меня, дурачок,— слышишь что я тебе сейчас говорю? — если ты будешь способен повторить мне тогда...— нет, не перебивай, пожалуйста!..— Если я этого дождусь — я сойду с ума от радости! Задушу тебя! Ты еще не знаешь меня, вот увидишь. И ты от меня не избавишься, во всю жизнь не избавишься, так и знай! Я пойду с тобой хоть камни грызть, и делать всякие глупости, и драться за местечко под солнцем, и любить тебя до смерти, и отдам тебе все, все, что составляет меня... Потому что люблю тебя и страшно хочу, чтоб ты этому верил... Ты должен этому верить, мне нужно, чтоб ты безусловно этому верил...

Гонза больше не мог слушать, он закрыл ей рот поцелуем, которым печально все смывал, но в то же время он чувствовал, что тело ее жжет, оно напряглось от желания и зовет его — и он совершенно потерял голову.

— Послушай...— хрипло вырвалось у него почти с мольбой,— не прогоняй меня сегодня...

В тот же миг он остался один, с пустыми руками, ключ загремел в замке, и звук этот болезненно отдался почти на самом дне сознания, ко-

ридорные потемки раскрыли зев, дохнули в лицо ему затхлым холодом. Он, как во сне, протянул руку, чтобы удержать ее, войти вслед за ней, но легкий толчок остановил его. Как всегда. Он еще раз почувствовал на губах ее губы, но прежде чем успел опомниться, дверь с грохотом захлопнулась, и шаги стали уходить в тишину, слабеть, и вот их уже нет, не слышно...

4

...я нес свое разбитое тело домой, с ненавистью оглядываясь на блестящую лепешку в небе.

Точка. Откладываю карандаш, за окном хлещет ливень ранней осени, я думаю о солнце. Половина седьмого, а на улицах уже тоскливо клубятся сумерки! В кафе еще пусто, мы тут вдвоем с паном Кодытеком, я потому, что мне удалось смотаться с завода, а он потому, что служит здесь кельнером. Он живой инвентарь кафе и примечателен тем, как трогательно старается сохранить хотя бы идею кафе; никогда не забудет осведомиться, чем может служить, хотя выбор блюд, которые он в состоянии вам принести на своих плоскостопных ногах, до смешного скуден: пахнущее желудями и цикорием текучее уныние либо эрзац-чай с двумя щиплющими язык таблетками сахарина.

Я сижу тут, под руками холодный мрамор, и пишу свою повесть, первую повесть, которую не выдумываю, которую переживаю. Может быть, это единственное ее достоинство, так как до сих пор она страдает отсутствием всего, что делает повесть повестью,— завязки, интриги, нарастания.

Впрочем, это всего лишь наша история. Мы с Бланкой в разливе летнего света. Мы бежали из города, охваченного июльским пожаром, и трясемся в пыхтящем пригородном поезде, который ползет среди зреющих нив и важно свистит на переездах, а потом валяемся на поросшем травой откосе, и вокруг чудесное безлюдье, потому что наш выходной день во вторник. Жужжат насекомые, словно оркестранты настраивают инструменты перед концертом, а под нами томится в предполуденном зное знакомая река, и раскаленный воздух дрожит над стеблями трав; пчела с гудением переваливается с цветка на цветок, а внутри нас — благоговейная тишина, в которой время замедляет свой бег и лишь медово каплет в жарком удушье.

Солнце жжет мне лицо, я переворачиваюсь на живот и, подперев подбородок ладонями, могу теперь молча любоваться лежащим рядом стройным телом. Я ощущаю близость Бланки с блаженным замиранием.

Приоткрыв глаза, она жмурится на солнце.

— Лежи! — говорю я.— У нас уйма времени. Вообще — что ты такое?

Она, мурлыкнув, смыкает ресницы.

— Примерно пятьдесят шесть кило счастливой женщины. Мне так хорошо в себе самой. Давай не вернемся в город!

Я тотчас соглашаюсь:

— Сначала будем питаться лесными плодами и кореньями, потом попробуем ловить рыбу. Может, я открою тайну огня. Соорудим пока шалаш из земли и веток. Я устрою тебе роскошную жизнь, а если ты будешь вести себя хорошо, может, соглашусь на матриархат.

Маленький палец, шершавый от заклепок, нашарил мои губы.

— Ты всегда меня любишь? Сегодня тоже?

— Сегодня я не думал об этом. Слишком жарко.

— Нахал! — восклицает она.— И вдобавок ты же еще плохо побрился, колешься!

Я придвинулся к ней, уткнулся носом в теплую подмышку и вдохнул ее горьковатый запах. Она отстранилась, положила руку себе на грудь.

— Сейчас мир как будто совсем безопасен, правда?

— Да,— соглашаюсь я.— Но он притворяется. Словно нет никакой войны: деревья, трава, глупый жук у тебя в волосах. А что, если именно по этому лугу пройдет танк или здесь разорвется мина? Перед войной мы с дедом не пропускали ни одного дня авиации. Я дрожал от страха за человека, ходившего в воздухе по крылу, дед вытирал глаза платком и говорил: «Наши соколы! Воздух — вот наше море, внучек!» А теперь все самолеты — не наши...

Она поспешно прерывает меня:

— Не говори об этом! Расскажи лучше, как будет потом! В первый день, когда кончится война.

Когда я был маленький, я всегда перед сном заставлял деда рассказывать одну и ту же сказку: о марципанной стране. Я знал сказку наизусть, слово в слово, и если дедушка, задремывая, что-нибудь пропускал, сейчас же поправлял его: нет, нет, не так! В ручьях течет малиновый сок, а под пряничными деревьями растут грибы из взбитых сливок, какие пани Саскова продает по пятаку... Я не заставляю себя просить. А Бланка внимательно слушает, иногда засмеется и дополнит мою болтовню какой-нибудь подробностью...

— Итак,— начал я совершенно серьезно,— первым делом мы затопим печку и сожжем все тряпки, которые пахнут заводом, бросим туда и заводские пропуска, и немецкую «кеннкарту» * и... что еще? Да! Вот эту кастрюльку. Наварим в ней побольше «крупотто» или гнилой картошки с кровяной колбасой и потом торжественно выльем все это в уборную. Прощай, протекторатная блевотина! Мы найдем получше! Это испытанное начало новой жизни после войны.

Конкретность моей выдумки всегда смешит Бланку. Я рассказываю ей об этом на солнце и в дождь, во время вечерних странствий по темным улицам и в неуютном кафе, и тогда передо мной совсем другая девушка. Есть в ней какая-то детская доверчивость, и мне страшно хочется, чтоб это была *настоящая* она, все вдруг становится тогда прозрачным и очевидным, как тот мир, который я строю из мечты и обломков. Я не жалею красок, я безумно расточаю их. Почему бы и нет? В конце концов это только сказка о завтрашнем дне, при мысли о котором у меня уже сейчас кружится голова и за который я трепещу, потому что не совсем в него верю. Откуда этот гнусный скепсис? Не знаю. Ведь довольно было бы, если б осуществилось хоть двадцать процентов, даже десять, пять, одна десятая! В этом завтрашнем дне — маленькая квартирка, за окнами ласково подмигивает город. Мы украшаем ее по своему вкусу: книги, граммофонные пластинки, цветы, огромное зеркало и пропасть света. После горячего спора под ночным ливнем, захватившим нас на Петршине, промокшие до нитки, мы все же «пришли к согласию» насчет цвета занавесок. К согласию? Какое там, я позорно сдался, так как Бланка была неуступчива до ужаса. Терпеть не могу зеленого, а ты ничего не понимаешь! Я чиркнул спичкой и засмеялся при виде ее мокрых, слипшихся волос. Ты похожа на злую лесную фею... Внизу под нами лежал на блюде черный город... Ну довольно! Мне стыдно выкладывать все это на бумаге, для чужих глаз это, наверно, невыносимая пошлость — райская соната, золотой век, мир, начиненный миндальной начинкой. Я вижу его совершенно отчетливо: театральная школа, волнение перед премьерой, потом благоговейно затихший зал с ярко освещенными мостками, на которых Бланка живет другими жизнями, и в них она моя и не моя. Я немного ревную ее, ловлю каждое ее движение, слово,

---

* Удостоверение личности *(нем.)*

оттенок, интонацию,— сейчас будет коварное место, сколько раз она билась над ним перед зеркалом, чуть не плача от бессилия,— я дрожу от блаженного страха и радостной гордости, что та, с которой сотни людей затаив дыхание не сводят глаз,— моя. Чуть пошатываясь, выхожу под градом аплодисментов на свежий воздух и жду на улице, когда примчится она, разгоряченная игрой, и подставит еще жирную от вазелина щеку. Вопросительный и немного виноватый взгляд. Ну как? Заслужила поцелуй. Только зарапортовалась в третьем, но публика не заметила. Хватит, вскидывается она, мы сходим с ума! Ей всегда становится грустно, когда я вторгаюсь в ее мечты, а мне досадно, что она хранит их для одной себя и делается вдруг подавленной, тревожной. Не верит? Может, у меня и нет никакого таланта... А что ты? Расскажи лучше о себе...

Я молчу, настроение упало, и игра наша прекращается. Не думать о будущем.

— Послушай...— спросила Бланка однажды, когда мы тряслись с ней в поезде, возвращаясь с прогулки.— Почему ты, собственно, это бросил?

Когда я понял, о чем она спрашивает, я стиснул зубы и пожалел, что неосмотрительно рассказал ей о своих литературных выкидышах.

— Не знаю,— с трудом выдавил я, изобразив на лице беспечную улыбку. Но получилась она невеселой.—Как-то вдруг опротивело. Что ж, по крайней мере у меня хватает духа признаться: бьешься, бьешься над чем-нибудь, как проклятый, а вернешься к этому через несколько дней, и всякий раз кажется, что где-то уже читал. Не мое это. В общем, чего-то не хватает, и боюсь — самого главного.

— Почему ты не дашь мне почитать?

Я испугался.

— Хочешь, чтоб я сгорел от стыда? У тебя тонкий ум, ты сразу поймешь, а я не желаю, чтоб ты мне наклеивала пластырь на «бо-бо». Упасть в глазах дорогого тебе человека? Нет! Это не поза... Но пока что мои писания никуда не годятся.

— Почем ты знаешь? — возразила она.

— Почем знаю? Да вот так. Чувствую. Нужно писать, только если у тебя есть, что сказать людям, и к тому же, если это стоящая вещь. А я что? Я и сам в себе-то плохо разбираюсь, и у меня нет ничего, кроме тебя! Может, у меня только инстинктивная потребность писать, но этого явно мало. Вчера просматривал, так чуть не стошнило. Брр! Одиночество человека, ощущение бессилия, какая-то паутина, скепсис... Что до этого людям? Печаль, безысходность, тягостность... Может быть, жизнь совсем другая, и я другой, и на самом деле я чувствую совсем не так, по крайней мере с тех пор, как со мной ты. Все, что я за эти годы нацарапал, кажется мне дурацким позерством. Туман. Отчаяние ныне в моде. И не удивительно. Я даже уже и не хочу, чтоб это было правдой. К тому же, когда ты так занят собственной судьбой, как теперь я, то не особенно интересуешься чужими судьбами. Тем более плохо выдуманными.

— Значит, ты сомневаешься в себе?

Я устало махнул рукой.

— Я сомневаюсь во многом, и гораздо более важном.

Испытующе заглядываю ей в лицо и читаю в нем огорченное неодобрение. Я разочаровал ее. Что делать? За окошком вагона замелькали толевые крыши пристанционных домиков, столбы семафоров, потом вагоны, набитые серо-зелеными солдатами, орудие танка под зеленым полотнищем; металлический стук колес на стрелках заставляет ее повысить голос.

— Боюсь, как бы ты не просомневался всю жизнь... Я еще не сдалась.

Встрепенувшись, я запускаю ей пальцы в волосы, упрямое мужество, озаряющее ее лицо, передается и мне.

— Ты думаешь, я сдался! — кричу я ей на ухо под этот адский грохот.— Ничуть не бывало! Хочу, чтоб ты когда-нибудь страшно гордилась мной, чтоб лопалась от гордости! Куда там Стендаль! И не говори больше об этом!

Иногда мы ездим за город на велосипедах, катим по пустынным дорогам, ветер бьет в лицо, и мы насвистываем в такт оборотам. У нее свой велосипед; мой, который я получил когда-то от деда за хороший табель, мама давно выменяла в деревне на мешочек ячневой муки и на кролика. Я беру Иткин дамский велосипед у ее родителей. Они охотно дают его мне, а я в свою очередь терпеливо выслушиваю двухголосое причитание о дочери.

Ох, эти налеты! Мы трогательно вспоминаем об Итке, и в заключение старики засыпают меня упреками, от которых мне становится стыдно за то, что и я принадлежу к нынешней бессердечной молодежи: бедняжка Итка вдруг превращается в негодницу, вот уж две недели она не шлет ни словечка.

Мужчина и дамский велосипед! Сначала я чувствовал себя униженным в своем мужском достоинстве, но Бланка не придавала этому никакого значения. Ей даже нравится такая оригинальность. А не надеть ли тебе юбку?

Мы плаваем в текучей воде, она, намного впереди, ныряет как утка и фыркает от наслаждения, я набираю воздуха и хватаю ее за пятку. Яростная борьба под водой, и, когда мы выныриваем, наш смех оглашает лесистую долину, по которой течет река. Сидим на горячих камнях разрушенной плотины, машем одиноким лодкам. Из-за поворота реки беззвучно выплывают плоты, весла на носу и корме чуть слышно шлепают по воде, смотрим, как ловко маневрируют загорелые, мускулистые плотогоны... Потом Бланка, смежив веки от солнца, начинает декламировать стихи; память изменяет ей, я подсказываю, и мы общими усилиями вспоминаем строки. Но это бывает редко, память у нее изумительная. Знаешь это? Гм, Томан? А вот это? Отгадай! Сóва? Незвал? «Одна вода»... Ну и не хвастайся! А вот это: «Как уж та ли вода измученная, та ли вода — печаль...» К Галасу она относится с такой же страстью, как и я, знает его, наверно, наизусть. Что тут общего с рекой? Зато это — о дожде. А это знаешь? Это Ортен. Я слушаю, слова слетают с губ ее естественно и непринужденно, они живут в ней. Хватит, тут есть эхо, слушай: Хо-хо... Хо-о!.. Ты умеешь «блины печь»? Я нашел плоский камень. Один, два, три, восемь. Ловко для пражанина! А ты отличишь гуся от утки? Эй, эй, не задавайся! Я делаю вид, что душу ее.

Она бежит от меня к воде, кидается всем телом, вода — ее стихия.

— Сними купальник, я подержу,— нарочно предлагаю я, догнав ее; знаю, что она любит плавать голая. Она оборачивается, показывает мне нос. Не пройдет! Потом мы с жадностью уничтожаем содержимое наших тощих сумок, скромное протекторатное угощение: прилипающий к нёбу сырой хлеб, кусок маргарина и тонкий плавленый сырок, иногда — кружок колбасы, в котором не сразу заметишь квадратик сала; бумажная коробочка со сладко щиплющим мармеладом; морковка—мы выдернули ее по дороге, она чудесно хрустит на зубах. Блаженно переворачиваюсь на спину и закуриваю сигарку из травки от ревматизма, а Бланка рядом отдувается, гладит свой загорелый живот. Вот видишь, браню я ее, это все твои трюфели, надо быть умницей, не налегать чересчур. Ничего подобного, возражает она, это ты виноват! Знаешь, что я терпеть не могу икры... Встряхиваю бутылку с содовой, чтобы хорошенько запузырилась. На, запей. «Пóмери» — приличная марка. Куда мы поедем в отпуск, милый? Что ты думаешь о Монте-Карло, дорогая?

Когда Бланка весела и беззаботна, все у нее превращается в игру; это у нее в натуре, а я с неловкостью любителя только подыгрываю ей. Порой я с трудом нахожу в ней то таинственно молчаливое, замкнутое в себе существо, которое привык видеть у немытого окошка в утреннем поезде или над остовом хвостового руля; она изменилась и продолжает неуловимо меняться у меня на глазах. Какая же она вся? Этого, пожалуй, не поймешь умом, она все время чем-нибудь поражает, я воспринимаю ее скорей ощущением и чувствами и готов поклясться, что тут у меня больше надежды на успех. Любить — наверно, единственный путь к подлинному познанию. Проводник в поезде, сморщенный старичок с рассеченным карнизом бровей, прощелкивает наши билеты, смешно надув щеки. Видел? Как только за ним закрывается дверь, она сейчас же надувает щеки, двигает бровями — изображает его обветшалое величие, и я покатываюсь со смеху. Ты обратил внимание на ту даму в трамвае? Да, с готовностью отвечаю я, это Барашкова, Ружена Барашкова, ее муж мелкий служащий в налоговом управлении, он разводит кактусы, страдает бронхитом от пыли в учреждениях, а их сын Яроушек болел зимой коклюшем. Еще что? Да, сумка... Ружена Барашкова возвращалась от сестры Марии из Розток, та положила ей в сумку несколько клубней кольраби, уверенно добавляю я и с удовлетворением замечаю, что Бланка поверила. Ты ее знаешь? Нисколько, объявляю я, и ни за что не ручаюсь, я все выдумал, а что? Бланка укоризненно толкает меня под ребро: плохо выдумал! У нее в сумке была цветная капуста, и никакой сестры в Розтоках у нее нету, и Яроушек ее здоровехонек. И озорник отчаянный. Ты обратил внимание на ее пальцы? Нет. А что? По-моему, она портниха, портнихи так шевелят пальцами. Ты ничего не замечаешь, а только выдумываешь. Смотришь на мир трагически, иногда корит она меня, ты как мизантроп, и за это я жутко тебя ненавижу. Она ошибается — может, раньше так и было, но теперь нет, наоборот: люди кажутся мне замечательными и красивыми, они такие милые и добрые, и всех хочется любить — в этом определенно заслуга Бланки. Все стало светлей, даже солнце...

Вдохновляющие дни! Но бывают другие, когда она как бы ускользает, хоть и топает, склонив голову, рядом со мной. Я провожаю ее домой, мы стоим в нише входной двери, и я вижу, что в ней происходит борьба, она какая-то сама не своя, рассеянная. В ней непонятное мне нетерпение, я стараюсь преодолеть его, болтаю какую-то веселую ерунду, но она смотрит на меня отсутствующим взглядом, словно сквозь пустоту. Я касаюсь пальцем ее руки, напоминая о себе:

— Здравствуйте, барышня!

Она моргает, словно ее разбудили, проводит привычным движением рукой по волосам.

— Говори, я тебя слушаю,— лжет она и заставляет себя улыбнуться. Это у нее получается неважно.

— В чем дело? Что-нибудь плохое?

— Нет, ничего.

— Зденек?

Она отводит глаза, а лицо у нее бледное и словно стянутое.

— Не знаю. Может, получу сегодня весточку. Я видела дурной сон.

— Я буду думать о тебе.

— Нет. Сегодня не думай обо мне. Обещай!

Я уж научился соглашаться, даже когда не понимаю.

— Ладно. Выключу тебя в голове вот так: щелк! Странно, что до сих пор его не судили.

— Нет,— говорит она задумчиво.— Если дойдет до суда, то конец, понимаешь?

Вижу, она кусает губу.

— Я кажусь себе отвратительной, что вот счастлива и хохочу как дура, когда он... Поплачусь я за это, наверно...

Как ее разубедить? Я даже, кажется, немножко понимаю ее угрызения, по крайней мере стараюсь понять, и только беспомощно глажу ее по волосам. Она сейчас же спохватывается:

— Довольно! Я дура. Надо взять себя в руки! Не обращай внимания, я сегодня не в форме. И, пожалуйста, уходи! Завтра все будет в порядке. Скорей бы это завтра!

Так и получается. Весь следующий день я слежу за ней на заводе ястребиным взглядом и, встретившись с ней глазами, среди этого грохота показываю на пальцах час встречи. Она кивает, а вечером вихрем вылетает из ворот, кидается мне на шею:

— Ты давно меня ждешь? Не занесло тебя снегом?

— Почти,— с упреком осаживаю я ее, показывая на витрину.— Я уже стал специалистом по предметам культа: облачения, ризы, кропильницы... Тебе не кажется, что Христос на горе Елеонской чем-то напоминает нашего Павла? Я взывал к святому Антонию, вон смотри, с полированной лысиной,— поскольку он покровитель отвергнутых влюбленных... А знаешь, сколько голубых квадратиков в узоре тротуара? Ничего-то ты не знаешь.

Все в порядке, в будни у нас есть город, жаркий даже по вечерам, он наш со своими проспектами и тихими кривыми улочками Малой Страны, с рекой и островами, со скамьями в парках, с набережной и навесами кровель, под которые мы прячемся от ночного ливня, со статуями, полными страсти, и с каштанами над рекой, со всеми его холмами и ложбинами, крышами и тенистыми уголками, известными, может быть, только нам двоим, с его музыкой, и дыханием, и красками, со сложными запахами пассажей, где гуляют сквозняки, запахами трамваев, хлеба и генераторного газа. Никогда раньше не воспринимал я до такой степени физически его морщинистое очарование, и никогда раньше я не дрожал от холодящей мысли, что эти стены могут разлететься во все стороны и лопнуть от жара, как это случилось с другими городами в нашей части света. Только теперь, при ней, я стал думать об этом. Странное чувство: тот, кто родился в деревне, наверно, носит в себе образ своего родного края; и как бы ни бомбили этот край, как бы его ни терзали, ни жгли, край останется, и, вернувшись, ты узнаешь его. Но мой край создан руками, это дома и улицы, та, на которой я родился, и та, по которой бегал в школу, и потому мне страшно, найду ли я их под грудами развороченных каменных обломков. Что останется мне, кроме как ползать тараканом по безымянным развалинам, напрасно стараясь отыскать под ними свою улицу, квартал, свой родимый край? Чем-то ты кончишь, город? Что тебе до этой войны? Это наш город, говорю я с яростной гордостью, пусть его разграбили и все еще грабят, пусть он наводнен чужими мундирами, пусть по нему бродят забинтованные калеки на костылях, без рук, без глаз, с руками на проволочных каркасах, сшитые так, что и на человека непохоже, одуревшие от ужаса, который принесли с собой со всех фронтов, пусть его мостовую дробят гусеницы танков, пусть в нем тюрьмы и застенки, пусть сама жизнь в нем похожа на горячечный бред...

Не понимаю, почему она отказывается ходить со мной в мое кафе. Ну, думай, что она не хочет делить себя с твоими знакомыми. Я не верю этому, но подчиняюсь, зная, что она умеет быть упрямой, и в дождливые вечера мы сидим в маленьких ресторанчиках, согревая ладони о стакан эрзац-чая. Я обиженно молчу, делая вид, будто она виновата, что вокруг так неуютно. Заметив, что я в дурном настроении, она щелкает меня пальцем по носу, и я стараюсь, чтоб улыбка моя получилась как можно неискренней. Отвожу взгляд. В чем дело? Тебе нехорошо со мной? Я делаю нетерпеливый жест. Не говори глупостей, ты ведь знаешь, но толь-

ко... Ох, это «только»! Что мне с ним делать? Разве все это не сущая бессмыслица — торчать здесь и говорить чуть не шепотом, чтобы никто из этих хрычей не услыхал, о чем мы говорим, если она живет одна? Отчего она не разрешает мне прийти к ней? Боится сплетен. Но это совсем на нее не похоже. Нельзя, милый, уверяю тебя. Будь терпелив. Потом. Но почему? Я не понимаю, и мне уже надоело слышать ее вечные «потом». Когда же? Потом! Что это значит? Когда вернется ее брат — опять неразумный укол! — или когда? Но всякий раз ее загнанный взгляд обезоруживает меня. Прошу, если ты любишь меня, не говори об этом и верь мне... Я верю, но... Чего ждать? Три месяца мы встречаемся и с каждым вздохом становимся все ближе — по крайней мере, мне так кажется. Для нее я готов, наверно, украсть и убить, значит, сумею и ждать, но, по-моему, слишком жестоко и непонятно то, что я до сих пор не проник дальше ненавистной ниши у входной двери. Зачем? Зачем она меня мучит? Разве не знает, что я желаю ее всем своим голодным телом, которое как будто уже не принадлежит мне, что даже ее мимолетное прикосновение волнует меня, и я не знаю, что делать, я высох от этой непрестанной тоски по ее телу! Ночью и днем... Я нисколько не скрываю этого и готов поклясться, что она знает об этом не хуже меня. Я знаю, потому что и она себя выдает: слабеет в моих объятиях, каждый день мысленно отдается мне на темных улицах или на уединенной скамейке в парке; я чувствую, как ее тянет ко мне, она едва не теряет сознания, но все-таки... все-таки всегда вовремя приходит в себя! На самом краю милосердного обрыва, когда уже некуда больше шагнуть. Прошу тебя, не надо! Неужели она не чувствует всей муки и унизительности этих воровских объятий? Наверно, чувствует, и все же, когда я однажды в пустом парке, потеряв голову, попытался действовать решительно, то встретил такой отпор, что сейчас же отступил. Она отрезвела. Ей стало холодно. Я испугался отчуждения, пронесшегося между нами, мне слишком дорога была наша пусть платоническая близость, чтобы я мог взять ее силой или воспользоваться ее минутной слабостью. Иногда я подозреваю ее в обыкновенном упрямстве, и тогда во мне растет укоризненный гнев. Я упорно молчу. Может быть, набивает себе цену? Не оскорбляй ее! Не сердись, Гонзик, говорит она, робко притрагиваясь ко мне. Ладно, я мгновенно таю, как восковой шарик, и больше не сержусь. Я тебя мучаю, правда? А ты не сердись!

Это непрекращающееся напряжение превратило нас в странных противников, которые любят и в то же время подстерегают друг друга с настороженностью хищника; мы, даже не сговариваясь, начинаем избегать уединенных мест. Да, это борьба, тихая и ласковая, но она приводит в отчаяние! Чего она боится? Я перебираю все возможности, которые способен измыслить со своей чисто мужской точки зрения. Меня? Чепуха! Боли? Смешно так думать о ней. Последствий? Или риска, что от всего останется неприятное впечатление, которое могло бы что-то нарушить между нами?.. О, эта мысль повергает меня в смятение, я поспешно ее отгоняю, чтоб она не застряла во мне. Чепуха! Или она боится неизведанного? Но было ли это для нее неизведанным? Этот вопрос до тех пор не давал мне покоя, пока однажды, за столиком в пустом кафе, я не высказал его прямо, ничуть не стыдясь захватить им Бланку врасплох.

— Послушай,— начал я равнодушнейшим тоном,— я давно хотел тебя спросить... У тебя уже был мужчина?

Она отразила первую атаку ненужным вопросом, но от меня не укрылся ее испуг.

— Ты что имеешь в виду?

— Ты меня поняла,— уличил я Бланку, накрывая ладонью ее руку.

Она еще попыталась превратить все в шутку, но рука ее тревожно задрожала.

— Ты уверен, что джентльмен может задавать даме такие вопросы?

— Я не джентльмен.

Я не даю сбить себя и чувствую в себе печальную решимость. Она ищет спасения в игре. Усталый зевок, видимо, должен служить прелюдией.

— Да... было, кажется, штук двести... Или меньше? Кто в таких случаях считает, правда? Еще что угодно, сэр?

Я сжимаю ей руку, холодную, как металл, и качаю головой.

— Больше ничего. Я спросил серьезно, но ты можешь не отвечать!

Светлая прядь волос соскользнула ей на левую щеку, когда она наклонила голову; глядит в сторону, вертит в пальцах ложечку, потом кладет ее на мрамор. Ложечка звякнула.

— Тебе будет очень неприятно, если я скажу — да?

Рука ее выскальзывает из-под моей ладони, и при взгляде на ее глаза меня сокрушает чувство жалости. Мальчишка, сопляк! Идиот! Лучше б она надавала мне пощечин! Стыд охватывает все мое существо. Получил? Я зачем-то ерошу себе волосы, кривлю губы улыбкой.

Говори, говори скорее, каждая секунда молчания затягивает в болото!

— Я не умею лгать,— произносит она еле слышно.— По крайней мере тебе.

— Господи,— слышу я свой собственный голос, но будто откуда-то издали.— Разве мы живем в средневековье?

И мной овладевает неудержимая болтливость; я возмущаю стоячую тишину и беспечно смеюсь, но мне скверно от каждого слова.

— Забудь об этом. Ничего не было. Ведь тогда мы друг друга не знали...

И так далее.

— А ты?

Спасительный вопрос — он пресекает мою болтовню, я легкомысленно махнул рукой.

— Я? Ах да, конечно... Я пошло нормален.

Она просительно кладет мне ладонь на руку.

— Не будем больше об этом, хорошо? Ты проводишь меня домой, Гонзик? У меня глаза слипаются...

Я перевожу дух. Знаю, что к этому нелепому вопросу я больше никогда не вернусь, но знаю также, что он застрял во мне и будет возвращаться при каждом соприкосновении, и если мы его порой хоть мельком затронем, то поспешим разрядить напряжение рискованной откровенностью, а то и шуткой.

Мы поднимаемся по Замковой лестнице, под нами волнуется город, и я нарочно отстаю на несколько шагов.

— В чем дело, старик? Задохнулся?

— Хочешь, бегом взлечу?

— Так чего же отстаешь?

— Хотя бы оттого, что у тебя великолепные ноги.

Она укоризненно сдвигает брови и ждет, чтоб я подошел.

— Знаешь, ты кто? Бесстыдник.

— Пусть будет так,— смиренно соглашаюсь я.— Но я уверен, что никогда еще не смотрел на женские ноги так целомудренно. Я открою тебе одну тайну мужчин: большинство из нас начинает оценку с ног. Душа сначала на одном из последних мест. Здóрово?

— Гм... Ну так и я открою тебе тайну женщин: вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что большинство из нас не знает об этом. Здóрово?

— Однако вы не можете нам этого запретить. Один — ноль в мою пользу.

— Однако нам и в голову не приходит запрещать. Я, пожалуй, тоже бесстыдница, оттого что мне приятно, что мои ноги тебе нравятся. Ничья?..

■

Война и город! У нас нет в нем дома, и крыши над нами чужие; это безличные крыши неуютных кафе, кино и железнодорожных вагонов. Неважно: оттого, что у нас нет дома, нам домом становится целый город. Возможно, если б люди не придумали заборов, им принадлежали бы сады на всем земном шаре.

Или все-таки есть? Однажды в разгаре лета, когда мы купались в ерике на левом берегу Влтавы, из-за Глубоченских скал налетела буря с проливным дождем, да так коварно, что не успели мы одеться, как сразу вымокли до нитки. И куда ни кинешь взгляд — ни одной крыши. Скорей, лесная фея! Под потоками воды мы побежали по каменным плитам дамбы, в моих тапочках противно хлюпала вода, а гром гремел у нас за спиной. Куда деться? Мы углядели деревянную ограду у самой реки и, задыхаясь, вбежали внутрь. Между пустыми бочками из-под смолы и деревянными козлами валялись лодки всех типов — от элегантных каноэ до обыкновенных рыбацких плоскодонок; в ограде были навесы с нагроможденными под ними лодками, переломанными рейками, мотками проволоки, уключинами. Видимо, больница и кладбище лодок... Два-три деревянных сарая с латаной толевой крышей. Мы влетели в ближайший из них в тот самый момент, когда небо вспыхнуло синим огнем и раскололось у нас над головой. В сарае не было никого, спасены! Мы еле переводили дух. Ну и мчались, господи! Ох,— выдохнула она, в блаженстве отводя со лба мокрые волосы... Я тебя предупреждала...

Я стал выжимать ей мокрую прядь волос. Подумаешь! А ты боишься грозы? Грохнуло так, что стекла зазвенели, она в испуге прижалась ко мне. Слишком много эффектов! Я, подчеркивая свое мужское превосходство, обнял ее за плечи.

Куда мы попали?

Я огляделся: полумрак, запах дегтя и затхлая сырость холостой берлоги. Полуразвалившийся шкаф, топчан, стол, сколоченный из досок, два старых стула с продавленным сиденьем, у задней стены рассохшаяся лодка; закопченные стены оклеены цветными изображениями полуобнаженных красавиц, хорошенькие кинозвезды слащаво улыбались этому убогому жилищу, а в углу раскорячилась остывшая времянка с облупленной кастрюлей. По толевой крыше бегал дождь и хлестал за запотевшим окошком речную гладь.

— Тут, пожалуй, лучше, чем в малярке. И совсем не каплет.

Я не успел ответить — снаружи послышались тяжелые шаги, дверь открылась, и весь проем заняла фигура: толстый старик в стоптанных сапогах; с мешка, которым он накрыл голову, капала вода.

— Чего вам тут? — Запавшие глазки смотрели на нас, как на забравшихся в курятник хищников.— Убирайтесь! Я тут за все отвечаю.

Старик, видимо, был зол, потому что ему пришлось выйти под дождь, и решил выгнать под дождь и нас. Он красноречиво не отпускал ручку двери, вид у него был грубый, и лицо под мешком-капюшоном казалось вытисненным из выветрившейся опоки. Меня охватил досадливый гнев, но я благоразумно сдержался, так как преимущество было явно на его стороне. Я объяснил ему, в какое положение мы попали, и даже назвался. Пока я говорил, он заметно смягчался, но еще некоторое время недовольно хрипел. Не теряя присутствия духа, я воспользовался его колебанием и довершил его превращение с помощью последней промоченной «викторки», которую обнаружил у себя в кармане.

Он принял сигарку, сохраняя мрачное достоинство, и пошел опять под дождь.

На прощанье он еще всунул голову в дверь и брюзгливо промолвил:

— Не пяльте глаза, сушитесь! Хррр... За печкой есть маленько дров.

Дождь пошел на убыль, по крыше стучали последние капли, погромыхивало уже вдали. Мы вдруг оказались одни и стали хозяйничать. Пока я пытался развести огонь, Бланка рассматривала картинки на стене.

— Ты когда-нибудь видел Грету Гарбо? У нее меланхолический вид, тогда это было в моде. Обязательно, чтоб была чахотка.

Спички отсырели, я долго чиркал.

— Не видел. На фильмы, в которых она играла, до шестнадцати лет не пускали, и, кроме того, я презирал тогда розовую водичку о любви. Я был без ума от Тома Микса, от кольтов и Техаса. В клубе пилотов по воскресеньям с двух часов — и всего за крону. Звуковое кино наводило на меня скуку, там слишком много болтали.

Дрова затрещали, и в сарайчике стало разливаться тепло. Я поставил стулья один к другому спинкой, поближе к времянке, и протянул бечевку от шкафа к стене, а Бланка следила за мной.

— Не пойти ли нам домой? — смирно спросила она.

— Ерунда! Я уже растопил. Будьте добры раздеться, мадам!

Она заколебалась, глаза ее округлились от удивления.

— Все снимать?

— Ты промолка до нитки... И что тут такого?

— Да в общем ничего. Но ты не будешь смотреть. Клянись, негодяй!

Я поднял два пальца.

— Этого довольно? Становись сюда, и по команде повернемся друг к другу спиной.

— А если кто придет? — возразила она, уже уступая.

— Я запер дверь на ключ. Ну, кру-гом!

Это было совсем просто, потом наступила теплая тишина, и мы сидели на стульях спиной друг к другу, голые, и упорно молчали. Одинокие капли еще постукивали по толю, вода журчала в водосточном желобе, по железнодорожному мосту прогрохотал поезд... Динг-донг, звенели капли, ударяясь о жесть желоба. Потом солнце разом затопило противоположный берег предвечерним светом, мир был выстиран, надежен и благоухал влажной свежестью.

Сколько времени сидели мы так — не знаю. Я прислушивался к дыханию у себя за спиной и чувствовал тепло, исходившее от ее обнаженного тела.

Шаги снаружи вывели нас из забытья. Она встала у меня за спиной и пощупала одежду на шнуре. Я, как ни старался сдержаться, громко чихнул.

— Ну вот! Оденься, уже высохло. Не оборачивайся.

Когда она причесывалась перед обломком зеркала, я обнял ее сзади и заставил обернуть ко мне лицо.

— Любишь?

Я покачал головой, и мне показалось, будто я открыл ее заново. Вообще не могу описать, что она в это мгновенье излучала.

— До смерти. Нет! Больше: на всю жизнь!

Прежде чем уйти, я отыскал под одним из навесов деда, чтобы поблагодарить. Я был преисполнен благодарности ко всему миру и распространил ее на старика. Сперва он не понимал, чего еще от него хотят, его лицо из опоки не изменило своей брюзгливой неподвижности, а на мою благодарность ответил взмахом руки, в которой держал малярную кисть; тем более удивило меня предложение, которое он сделал, может быть, только затем, чтоб заставить нас поскорее уйти.

— Ну, как? — прохрипел он, причем морщины его болезненно раздвинулись под напором чего-то, что можно было, при известной фантазии, назвать улыбкой.— Видать, встречаться негде?

К счастью, в словах его не было ни скользкого любопытства, ни свинской проницательности, и я кивнул.

— Кабы люди нынче умели себя вести... хр-р-р. Ключ лежит под порогом. Теперь, значит, как Карел, парень мой, в рейхе, никто там не живет. Только с печкой-то поосторожней!..

Под хриплой неприветливостью — недвусмысленное приглашение; в душе я благословлял неведомого Карела. Когда я все это передал Бланке, она сперва засмеялась, а потом с женской практичностью заметила:

— Нужно дорожить теми местами, где тебе хорошо. Их не так уж много. Чем не Итака? Дым родного очага, оглянись скорее!

И мы возвращаемся туда, мы как перелетные птицы, и так как дом — это очаг, то мы, иной раз совершенно без нужды, разводим огонь во времянке и снова рассматриваем выутюженные лица кинозвезд на стене. Вечером внутри ограды никто не бывает, иной раз мы не видим даже нашего деда. Как ты думаешь, почему он сюда нас пустил? Откуда я знаю. Может, тоскует по Карелу. Знаешь, кого он мне напоминает? Это — Гефест... Мы убираем, подметаем пол, поддерживаем здесь образцовый порядок; как-то раз Бланка принесла вазочку на стол, чтобы у нас было здесь что-то свое, и теперь ставит в нее бедные цветы лета и стебли трав, которые растут меж камней набережной. Итака! Мы любим этот овеваемый ветрами сарай и всякий раз, как между нами нелады, идем туда мириться. Мы не переносим за его порог никаких ссор и неприятностей. Это стало неписаным законом, ведь здесь — наше убежище и приют радости. Минутку, останавливаю я Бланку перед дверью. Символически комкаю все досадное в невидимый ком и, преувеличенно размахнувшись, швыряю в ленивые струи реки.

Бланка понимает, и сейчас же за дверью губы ее встречают мои.

— Знаешь что? — сказала она как-то, когда мы в добром молчании возвращались в город, и нащупала мою руку.— Обещаем друг другу — что бы ни случилось, понимаешь, например, если мы вдруг потеряем друг друга в той неразберихе, которая надвигается, то сойдемся там. Разведем огонь, и все дурное уйдет, и опять останемся только мы вдвоем. Согласен? Договорились?

Вероятно, у каждого человека есть свое лето, одно лето, которое останется в нем на всю жизнь, одно яркое, неповторимое лето. Мое лето — вот это, тощее и голодное, может быть, последнее лето страшной войны, и я знаю, оно останется во мне до последнего моего вздоха, останется со своими пожарами и внезапными грозами, с рекой и вывороченным наизнанку городом, с самым близким человеком во Вселенной. Счастье? Я боюсь этого захватанного слова, мне кажется, у него вкус дешевых леденцов, но как сказать иначе? Я просто счастлив — счастлив так, что мне почти стыдно людей, их слез, того, что у Павла в глазах; и если бы мне суждено было умереть той осенью, я, не задумываясь, благодарно и честно признал бы: стоило жить, стоило!..

Карандаш стукнул о мрамор, кафе понемногу наполняется посетителями — кафе, где знакомые лица и знакомые речи. Здорово, как делишки? Курнуть нету? Пан Кодытек, порцию картошки да двадцать пять граммов жиров! Слыхал про Эвжена? Балда. Все там будем. Пойдешь с нами на аукцион? Не валяй дурака!

Я с тоской гляжу на окно: за спущенным затемнением непрерывно чавкает ливень ранней осени.

5

Два часа!

Сентябрьская ночь пронизывала тело холодом, пахла дымом, железом и гниющим деревом. Милан лязгал зубами и постукивал озябшими ногами. Пора бы уж им кончить. Быть мне папой римским, если я не

схвачу здоровый катар! Проклятые легкие! А может, они и ни при чем, может быть! Кому охота торчать в диспансере в очереди с харкающими туберкулезными, где тебе просвечивают ребра, простукивают, как трухлявое дерево, и дрожать в ожидании приговора? Пока буду держаться — ни за что не пойду!

Милан делал усилия, чтобы почти не дышать, не кашлять, и желудок его сжимался от голода. Поторопитесь, молодцы! Что такое для опытного металлиста — оторвать от сарая две доски и просверлить жестяные банки с маслом? Ерунда! Он засвистел было тихонько «Красного моряка», но сейчас же перестал.

Осторожно выглянул за угол: мрак, безлюдье, веркшуцы пьянствуют в караулке у главных ворот со своими шлюхами из фюзеляжного — вряд ли кто из них высунет нос на холод. Однообразное жужжание токарных станков доносится из моторного цеха; жидкий отсвет льется сквозь щель двери в жирную тьму.

Проклятый страх! И откуда только он берется в человеке? Живет в тебе, хотя ты твердо знаешь, что за первым строением сторожит Гонза, а позади него, у заводской стены, возятся те двое; их совсем не слышно. Только бы им что-нибудь... Опять эти непрошеные мысли. Сами собой ворочаются в мозгу, высасывают все мужество. Глупость! У Милана есть его труба, медная, тяжелая! От этого металлического предмета передается удивительное ощущение сладостной отваги. Пока труба у него в руках, с ним ничего не может случиться. Он нащупал ее конец правой ногой, другим концом труба ободряюще холодила ладонь. Надо же за что-нибудь держаться в этом мире. Размахнуться, ударить!.. Или лучше просвистеть, как условились? А? Сегодня Павел взял «пушку» с собой, но решили стрелять только в крайнем случае. Нет сомнений, у Павла-то рука не дрогнет, у него железные нервы. И в Войте сомневаться не приходится — твердый парень: единственный рабочий среди нас, его классовое лицо ясно. Красноречие не из сильных его сторон, но уж скажет — так метко. Что я знаю о нем? Помирает по летному делу, с персоналом на аэродроме заводит профессиональные споры, а чешские заводские летчики, застрявшие здесь поневоле после бегства остальных за границу, для него полубоги. Ты летал когда-нибудь? — спросил его как-то Бацилла. Войта печально качнул головой и сплюнул. Летал... из дверей! Запрещено. У машин горючего всего на десять минут, нашим парням не шибко доверяют. Полечу когда-нибудь. Гляньте, как от ветра трава клонится, вот это скорость!

Подсыпать уголь в сверлильный станок было дело опасное, головой можно было поплатиться, но Войта уперся и сам проделал операцию. Его ругали. Чего дуришь, сказал Гонза, ты — женатик, зачем оставлять молодую вдову! Целую смену работа над крыльями стояла, несколько сволочей матерились; Войту заставили дать слово, что он не будет такими сольными выступлениями ставить под удар весь «Орфей». На него можно положиться. Вполне. Даже в случае провала. Он уже начинает разбираться что к чему, и его мужество обходится без медной трубы. У-у! Никаких иллюзий, никакого классового братанья после войны не будет, мелкие и крупные буржуи уже теперь сбиваются в группки, надеются на Запад и только мечтают, чтоб к нам явились американцы. Скоты! Ошибаетесь, господа паразиты, фабриканты и акционеры,— уже с ненавистью обращается к ним Милан,—пролетариат даст вам по рукам, если вы вздумаете пойти на попятный, да сгинет старый подлый мир! И потом настанет коммунизм! Милан думал об этом всякий раз, когда у него скребли на сердце кошки, когда он чувствовал себя ничтожным и слабым, и это его выпрямляло. Может, я и погибну, да недаром. Кто пал просто так, ни за что ни про что, тот, может быть, храбрец, но кто пал за великое дело, за идею, за человечество, тот — герой.

Он видел себя с винтовкой в руке, потом — с углем и кистью. Все увидят! И Лекса тоже. Только бы легкие выдержали. Неплохо стоять в бою рядом с таким Войтой, да еще с трубой в руке. А может, и рядом с Павлом. По разговорам судя, он вроде в порядке, хоть и нету в нем той ответственности, с какой принимает вещи Войта. Что ж, сын ремесленника, в этом все дело, классовое сознание нетвердое. На мой взгляд, уж больно он трезвый и мудрит, соглашается только после сложных размышлений, будто решает запутанное уравнение со многими неизвестными, и в этих самых размышлениях, видно, растрачивает настоящий энтузиазм, когда перестаешь думать о своем жалком, незначительном «я» и растворяешься во множестве. То, что придет, должно быть не только разумным и логическим выходом, оно должно быть как вихрь, как захватывающая поэма! Павел слишком закопался в самом себе.

Милан не удержался — чихнул. Ну вот, начинается. Он не чувствовал ног. Четверть третьего! Не надо думать! «Орфей» — это мы пятеро. Бациллу, несмотря на его жалобные протесты, оставили в цеху; он подчинился только тогда, когда для него с грехом пополам придумали боевую задачу: явиться и доложить, если б кого из них хватились. Глупости! Кто кого станет искать в этом бардаке после полуночи? Часть рабочих дрыхнет, остальные работают налево, режутся в карты либо притворяются, что заняты делом. Но Павел горячо настаивал, чтоб толстяка не обижали недоверием, для которого нет оснований. Для Павла-то нет! Впрочем, Бацилла действительно за все так и хватается, прикидывается самым лихим парнем, а когда деньги нужны, тащит из дому. Смехота! Но все равно он псих, и ему, Милану, просто непонятно, зачем он сует нос туда, где ему могут его прищемить, это плохо вяжется с представлением о буржуазном маменькином сынке. После нескольких посещений этого логова богачей, то есть дома Бациллы, подозрительность Милана не притупилась, наоборот обострилась. Эти ковры и люстры, и весь этот сволочной комфорт! Папаша адвокат, из тех пиявок, перед которыми до войны бедный человек был совершенно беззащитен, и пусть Бацилла не божится, что он таким не был! В последний раз Милан не сдержался, пересолил маленько, правда, он грозил не всерьез, а только хотел проверить толстяка: подумай, искренне ли ты радуешься тому, что будет, Бацилла? Не жди, что социализм остановится перед вашим домом. Домишко-то тю-тю, не бывать тебе домовладельцем, еще спасибо скажешь, если рубашку оставят пузо прикрыть. Бацилла, весь красный, божился, что готов от всего отказаться, что плевать ему на имущество и на частную собственность, но черт ли ему поверит!

Это привело к одной из безобразных яростных ссор между ним и Гонзой, который вышел из себя. А ты не пугайся, Бацилла, он брешет!— сказал Гонза и повернул к Милану побледневшее лицо. Если ты так это представляешь, то я против! Потому что я против всякого насилия, как бы его ни называли, понятно? И еще вот что: было бы страшно жить в мире, если б им завладели такие сумасшедшие фанатики, как ты.

По обыкновению, вмешался Павел. Вообще пока речь шла о конкретных делах, умели кое-как приходить к согласию, над листовками работали дружно, но при всякой дискуссии ощетинивались друг против друга и на каждом шагу находили повод для ссоры. Гонзу, у которого протест против обожествления авторитетов был в крови, благоговейное преклонение Милана перед Сталиным до того возмущало, что он как-то не удержался от едкого замечания: Ну как, Милан, будем думать или петь хором «Te Deum» * Сталину? Моментально разразилась перебранка, в которой противники не скупились на оскорбления. Слышали, что он сказал? Так может говорить только болван либо троцкист! Троц-

* Te Deum laudamus — «Тебя, боже, хвалим» *(лат.)* — католическая молитва.

кист! Об этом слове Гонза имел явно весьма смутное представление, да и сам Милан недалеко от него ушел. Троцкисты ведь против Сталина, так? Заразился газетными пакостями! — крикнул Милан. Нет! — процедил сквозь зубы Гонза; лицо его перекосилось от обиды. Но я терпеть не могу идолопоклонства. Ни Архикова, ни твоего! Это относится не к Сталину, а к тебе, Сталина тут все ждут, и я не меньше других, и продажные суки из газет меня не запугают, но ведь он тоже только человек, верно? Меня бесит, что ты говоришь о нем так, словно он господь бог! Ты на все сейчас ярлык наклеиваешь! Ссору замяли, но всем было ясно, что отношения между двумя этими членами «Орфея» все обостряются.

Но особенно разгорелись споры однажды вечером, когда Гонза вынул потрепанную брошюрку в красной обложке: Андре Жид «Возвращение из Советского Союза». Это ты к чему? — проворчал Милан. Как к чему? — так же раздраженно возразил Гонза. Книги существуют для того, чтоб их читать, разве не так? Можно читать все, не обязательно подпадать под чужое влияние. Кроме того, Жид не какой-нибудь вульгарный пасквилянт, это крупный писатель, а я не настолько туп, чтобы не интересоваться его взглядами. Читал «Фальшивомонетчиков»? Ну и не бреши зря! Аргумент был убедителен, и Милан не сумел помешать тому, чтобы книжку прочли все по очереди. Она произвела сильное впечатление, увеличив хаос в головах, без того немалый, и когда снова собрались, они не стеснялись заговорить о ней. Не знаю, ребята... Гнусность, лаконично определил Милан и протянул язвительно: мелкобуржуазные слюни, хоть и кру-у-упный писатель. С...ть я на нее хотел, так и знайте! — брякнул он. И выложил на стол другую книгу: «Анти-Жид» Станислава Костки Неймана. Товарищи глотали ее ночами и вздохнули с облегчением. Ну как? — спросил Милан, испытующе глядя на них. Блеск! — дружно отозвались они: у них будто камень с плеч свалился. По-моему, точно! Только Гонза был другого мнения. Ну, конечно, с ненавистью подумал Милан, едва Гонза открыл рот, господин «Но»! Слушайте! Я тоже согласен, сказал Гонза, в принципе безусловно, но все-таки... у меня такое чувство, что некоторые факты из Жида Нейман не опроверг. Может, я ошибаюсь, но хотел бы... Тут уж Милан не выдержал, вскипел. Ладно, раз ты этому веришь, тогда что же тебе остается делать — шагай прямо к немцам! Они ведь освобождают мир от жидо-большевизма, черт возьми! Обвинение было до того предвзятое, что вывело из равновесия даже Павла. Ты демагог, Милан! Гонза ведь не утверждает... Так нельзя спорить. Милан неохотно отступил. Ладно, пускай, но все равно они мелкие буржуа, способные на любое колебание. Если им непрерывно не вправлять мозги...

Демагог, назвали его. Но еще хуже было, когда скверный случай дал в руки Гонзе сомнительный козырь. Как-то раз, когда они шепотом спорили на квартире у Милана, из соседней комнаты вышел Лекса. Его заметили, когда он стоял уже у них за спиной, и сразу замолчали под его насмешливым взглядом. Он ухмыльнулся и с обычным пренебрежением к ним бросил: Не смущайтесь, детки, валяйте! Выговаривайтесь, пока можно. А то, когда Сталин на самом деле сюда доберется, не до того вам будет. Вкалывай, не то тюрьма, Ге-пе-у. Он вам покажет свободу, насидитесь за колючей проволокой! Смех его прошиб их до костей, а он сразу скрылся в соседней комнате, оставив всех в тупом изумлении. Что он сказал? Вы слышали? Кто он такой, собственно говоря? Все растерянно посмотрели на уничтоженного Милана: эти несколько слов, казалось, доконали его. Это ничего, ребята, прошептал он не сразу, некрасиво морща лицо и не зная, куда девать руки. Я Лексу очень уважаю... Он добрый и художник талантливый... Хотя в этом и ошибается. Я с ним не согласен! Не со-гла-сен! Выглядел он так, будто сейчас заплачет. Ну ладно, сказал Гонза. Мы тоже не согласны. Но я этого от него не ожи-

дал. Задавала! Предлагаю сюда больше не ходить, ребята! Против этого никто не возразил, и они ушли со смятением в душе. Что это он сказал?

С такими надутыми интеллигентами труднее всего. И потом будет трудно. Всегда! На все они смотрят с высоты своего величественного «я», капризны, как беременные женщины, и кичатся тем, что не имеют точки зрения. За что, например, Гонзе отдавать жизнь? Не за что, потому что он ни во что не верит, собачья морда! Разве за бабу! В фюзеляжном каждый слепой увидал бы, как он в этом погряз!.. А опыт говорит, что как только в борьбу встрянет баба, так и пойдет неразбериха, недисциплинированность и еще того хуже: человек слабеет, запутавшись в юбке. В борьбе нет места личным переживаниям! Где это я читал?

Половина третьего! Милан закашлялся, сердито сплюнул; в темноте он чувствует себя потерянным и бессильным. Э-э, брат, заговорил в нем другой Милан, отчего бы тебе правду не сказать. Он попробовал заглушить этот голос, но голос был до отвращения упрямым. Познай себя, милый! Проверь себя хоть перед самим собой! Боишься? Эх ты, революционер! Я? Ни чуточки! Тогда начинай. Все проповедуешь, а сам в своем плаще и шляпе — шут, смешная марионетка, в фюзеляжном едва ли кто принимает тебя всерьез. Даже рабочие! Вот ты теперь среди них, они — будущие хозяева мира! И что? Признайся, ты представлял их себе иначе, пока с ними не жил. Может быть. Но как? Немножко более героичными и романтическими: Чапаев, Максим, Павел Власов! По книгам, по фильмам... Эти тебя малость разочаровали, а? Революционный класс! Они кажутся тебе слишком уж обыкновенными, есть среди них хлопотливые папаши и добычливые мужья, владельцы домиков с садиками, Гиян — страстный голубятник, Падевет — левый полусредний, есть среди них и халтурщики, и добряки, и мерзавцы, все они друг на друга непохожи, любят говорить о футболе, а совсем не о революции. Может быть, но что я знаю? Погоди... а когда ты с кем-нибудь из них пробовал заводить разговор о том, что будет, и открыто выкладывал свое мировоззрение, что получалось? Ужас. Они будто не слушали. Недоверчивые, хмурые взгляды: ты что, спятил, молодой? — скажут с недоумением, и точка. А этот Шейна — «Араб» его называют, малый как кремень, этот больше других отвечал твоим представлениям о революционере,— помнишь, как он тебя отделал, когда ты к нему пристал? Чего мелешь, балда? — грубо оборвал он тебя в полумраке уборной. Видали, как работать, так он левша, а языком трепать горазд не хуже попа, знаем таких! Было это? Было, честно признался себе Милан, ну и ладно, что я за фигура. Все равно они — рабочие, и это сидит в них, пускай даже они и говорят о чем-то другом, пускай... Да, но то, что они тебя в свою среду не пустили и видят в тебе шута горохового и подозрительного болтуна и нескладеху,— все это кажется тебе обидной до слез несправедливостью. Черт бы побрал! Это недоразумение, товарищи рабочие! Хочешь крикнуть им, ведь я ваш! Слушай, заткни пасть, пренебрежительно сплевывает лохматый Маречек, и сыпь с заклепками в термичку, стахановец! Просто с ума сойти, ты не познал их, а они тебя не познали, так оно и есть, сознайся! Вот так же и с бабами. Это почему же? — вяло возмутился он. С ними я вообще не вожусь... Факт, не возишься, а как тебе обидно-то, что ни одна на тебя и глядеть не хочет, ты в зеркало посмотрись! Глаза выпучены, нос кверху задран, зубы — что ноты для барабана! Ну какая польстится? А я о том не тужу, ежели хочешь знать! Не ври! Не бреши! Признай попросту, тоскливо тебе становится, и чувствуешь ты себя бездомным псом, когда у Лексы в гостях женщина, а ты слоняйся по мокрым улицам, стучи зубами! Ну да, но... Погоди... а может, если б нашлась такая, погладила бы твои рыжие патлы, ты бы заскулил от счастья и руку ей лизал бы, как щенок. Нет, это неправда,

человек, который решил... Да что ты знаешь о любви? Несколько жалких встреч с потаскухой — это было слишком омерзительно. Она сама тебя пожалела, слопала твою любопытствующую невинность, как ягодку. А у тебя забавный паяльник, мальчишечка! Помнишь? Нет! Тебя чуть не вырвало, ты ревел, руки на себя хотел наложить. Поэтому и убежал от папаши к Лексе. Нет, я убежал из принципа, потому что папаша бездельник, выпивоха и паразит и кормится людской дурью. Таких революция должна вымести. Когда-то и он был рабочим — что, если таким его сделали нужда, безработица, почем ты знаешь? Э, тогда многие рабочие голодали, но никто из-за этого не стал предсказателем. Это уж у папаши в натуре, ты его не выгораживай. Любит себя, только о себе думает. Чем было мое детство? Вонючие трактиры, пьяницы, пятикронные курвы, драки, Лекса таскал ящик с рыбешками и маринованным луком, меня заставляли петь «Бе-елая ака-ация», а папан подыгрывал на гармошке. Никогда ему не прощу, что он, вместо того чтоб бороться, бунтовать, растягивал мехи гармошки да вино хлестал. И не прощу, что он сжил со свету маму и привел эту шлюху... Хватит об этом, теперь я совсем другой — у меня есть мировоззрение. Я знаю, чего хочу. И это все? Все. Этого довольно. Потом будет все иначе. Ладно, но теперь-то ты просто прозябаешь, и тебе скверно, признайся!.. У тебя только все человечество, а ни одного близкого человека. Что ж? Это, между прочим, самое большое! Не обольщайся! Ты только выдумываешь, будто потрясешь весь мир, такие картины напишешь, а на деле ты просто мазилка, понаслушался да понахватался от Лексы, и не больше! Брр! А все великое и прекрасное ты поневоле передвинул на будущее, потому что сейчас-то у тебя нет ничего, ровным счетом ничего! И кто знает, дождешься ли ты чего-нибудь в этом светлом будущем!

Милан топтался на месте, все тело одеревенело, он кашлял, потекли слезы. Одна только зависть, продолжал внутренний голос, вот что у тебя есть! Ведь завидуешь ему, признайся! Кому? Не прикидывайся, знаешь кому! Отсюда и это предубеждение. Нет, нет, неправда!.. Во всяком случае, не совсем правда. И чему мне завидовать? Этому бедламу в башке?.. Нет. Ты завидуешь ему за нее. У них любовь, а ты только следишь за ней, как паук, только рисуешь ее до одури в своем блокноте и гонишь из головы. Ты запретил себе думать о ней. Да ничего не выходит, видать? Вот по ночам... Замолчи! Замолчи, черт побери! И вообще — разве важно, что я чувствую? Я отдал свой билет революции, так я прочитал где-то, и если понадобится, отдам жизнь за ее победу. Моя жизнь мне не принадлежит! А не хвастаешь? Не хвастаю. А что? А то, что вдруг наложишь в штаны, когда до дела дойдет. В тебе это есть, признайся как большевик! Страх! Такой слепой, животный страх, где-то во внутренностях. Неистребимый. Может, на Гонзу-то скорей можно положиться, вспомни, как получилось, когда выкрадывали фотобумагу. А что? Хорошо получилось. Да, но заслуга-то не твоя. Ты караулил в углу коридора, возле конструкторского бюро, а когда вдруг появился веркшуц, ты, вместо того, чтобы предупредить ребят или отважиться на какое-то действие, чуть со страха не помер... Все в тебе ходуном заходило, и ты сжался в своем углу в комок и глаза закрыл. Я не знаю, что тогда со мной сделалось... И труба тебе не помогла, суеверная баба! Ты держал ее, как морковку. У Гонзы оказалось больше хладнокровия, а кто свалил этого веркшуца? Павел. И Войта. И без всякой трубы... А тебя при этом не было, ты смылся и вернулся, когда все было кончено, да еще с дурацкой, паршивой отговоркой. А они? Они, наверно, ничего этого не заметили, так они перепугались, ведь они совсем обыкновенные ребята, не какие-нибудь Аль Капоне. Бацилла чуть не помер, Гонзу стошнило... Ребята, лепечет, я, наверно, не могу... бить человека... А что, если он загнется? Павел даже в темноте был белый как мел, только носом потягивал, бумага из рук

посыпалась, а заговорил — вроде всхлипывает. Я тоже не могу... но надо... Если б кто другой подвернулся, а не эта скотина, было б еще хуже... Когда война кончится, ребята, я никого не ударю, честное слово. И Войта был сам не свой, хоть и промолчал. И все-таки... в решительный момент все они хоть недолго, но держались как надо. Только ты, ты один подвел, обманул их и даже не нашел мужества в этом признаться, сказать им, что с тобой случилось. Таскать книжки у Бациллы — это ты можешь, а когда дело до головы дошло — не хватило нервов. Не знаю, что это такое, я не могу преодолеть... Какой-то странный холод в животе, понимаешь, вроде студень, и... Но скажи-ка, почему ты, собственно, дрожишь? Боишься за свою жалкую жизнь, за эту безобразную рожу и разрушенные легкие, за свое никому не интересное «я», которое ты сам презираешь? Как все это согласуется с твоим мировоззрением, позер? Всегда так выходит, и сейчас ты будто из творога. Творожный революционер! Просто хоть плачь от злости. Ты должен им сказать, а то когда-нибудь подведешь их под монастырь. И чем дальше, тем хуже, человек имеет право трепаться и хвастаться только после того, как испытает себя, увидит, что он не старая просвирня,— не раньше!.. А они? Догадываются? Поверили тебе в тот раз, когда ты караулил в коридоре? Кажется, поверили. Может, Гонза и догадывается — помнишь, что он сказал однажды, когда ты расхвастался? «Смотри не завизжи от страха поросенком». Лекса это за тобой знает, потому и презирает тебя. Брехун, зас... ц, мазилка! Помнишь ту ночь, когда ты струсил? Убедил себя, что преодолел это, что тогда это была случайность, а теперь опять — бац! Ты обязан сказать им, сумей хоть это! Погоди, еще раз постараюсь преодолеть. Но как? Может, это сидит где-нибудь в подсознании. У Лексы есть дома полный Фрейд, я его еще раз перелистаю, нет ли там о страхе, как излечить страх с помощью психоанализа, наверно, это можно. Открыть в себе причины, может, они застряли в каком-нибудь забытом впечатлении детства, какой-нибудь шок, нервная травма, надо это выдрать из себя, клянусь, я сумею, или сам о себе все скажу и пойду в обыватели, черт побери меня совсем!

Трах! Взрыв потряс воздух, отдаленный, будто на другом конце заводской территории. Милан сперва не поверил своим ушам — это мне чудится, потому что я трус! — но последовало еще два раската, которые покончили с его сомнениями.

Странная, нелогичная тишина первого испуга. Завод упал в эту тишину, словно взрывы его не касаются, двор все еще был пуст... Милан схватил свою трубу, мозг подавал противоречивые повеления, а ноги не двигались. Так и есть, предчувствовал, инстинкт не обманул меня! В животе проснулся холод, но сильный толчок в плечо вывел его из прострации.

Мимо промчалась чья-то тень, под ногами дребезжали обрезки жести. За ней — другая.

— Сматывайся.— узнал он голос Павла.— Что-то случилось... Все врозь! Сбор в нужнике!

■

— Чистая работа,— заметил Гонза, когда они встретились в следующую ночь. В отхожем месте было пусто, но они все равно разговаривали уголками губ. Павел кивнул, лоб его прорезала вертикальная морщинка.

— Большинство ребят из дневной смены там вкалывали. Подъездные пути вышли из строя по меньшей мере на неделю, рельсы перекрутило, два вагона с металлом — вдрызг и цистерна. Эх, жаль — пустая...

— Значит, мы не одни,— сказал Гонза.

— Давно ясно,— пробормотал Павел.— Они-то свое дело знают. Похоже на динамит, но не обязательно... Тсс... А мы возимся с дурацкими бочками... Посадили несколько человек из моторного, да вроде не тех...

После взрыва завод стал похож на развороченный муравейник, но суетились только служащие заводоуправления и охрана; рабочие оставались спокойны, в глазах у одних можно было прочесть опасение, у других — ехидную насмешку. Взрыв грянул в самый разгар веркшуцевской пирушки, развеселившихся шлюх успели спровадить, прежде чем на завод примчался Каутце со своими прихвостнями. От стапелей было видно, как они бегут по цехам. «Работайте,— сипел Даламанек,— все на своих местах! Уже прикатили из уголовной полиции и из «Печкарны»* приехали, сейчас они в живодерке. Проверка и обыски...» Даламанек сидел за своим столиком и смердил от страха. Вот... вот они! Он увидел их сквозь половинки стекол, свора загонщиков в пиджаках и шляпах с опущенными полями, среди них с видом удрученного хозяина шел Каутце, рядом с ним — немец, директор завода, худой, в элегантном костюме, со значком на лацкане. Даже и его разбудили! А за ними спешили несколько ошалелых веркшуцев. Даламанек потупился, стараясь уменьшиться, стать невидимым; топот сапог он улавливал сквозь треск пневматических молотков. Отлично, ребята стараются или хоть делают вид, грохот как на фронте, Гиммлер и то порадовался бы... Прошли, не обратив на него внимания, цоканье подкованных сапог потерялось где-то в темноте малярки. Даламанек отер лоб платком, но он знал, что этим дело не кончится. Пойдут аресты, и если схватят кого с участка...

— Куда! — взвизгнул он, вскочив на ноги.— Подвести меня хочешь, скотина?

Гонза с недоумевающим видом вынул руки из карманов.

— Что ж, мне из-за них в штаны наделать?

На это ничего нельзя было возразить, Даламанек только очумело махнул рукой.

— Смотри вернись... Да побыстрее, лодырь!

Только б успеть! Гонза с ужасом вспомнил, что забыл листовку в кармане пальто, в шкафчике, и ринулся вниз по лестнице в раздевалку. Дверь! Дверь отперта, в раздевалке никого, он нашел листовку, разорвал ее в мелкие клочья и кинул в желоб под умывальниками.

Где Бланка? Вернувшись в гудящий цех, он не увидел ее. Жаба крутился вокруг ее стапеля, принюхиваясь, как злой бульдог. К счастью, Гонза знал, где ее искать. Он прошмыгнул между крыльями в темную малярку, через которую за минуту перед тем прошли *они,* взобрался по железной лесенке на крышу будки и нащупал под мешками женскую ногу. Бланка проснулась со сдавленным вскриком, но сейчас же узнала его.

— Тс-ссс, беги на место... что-то стряслось. В случае чего, говори Жабе, что была в уборной.

Между стапелями Гонза наткнулся на Войту с Павлом, они перемигнулись, что означало: все в порядке! Сверло? Концы в воду! Он увидел Милана — тот невозмутимо брел в гермичку с тиглем в одной руке и неизменной трубой в другой.

Когда процессия пронеслась по фюзеляжному обратно, Бланка уже была на месте, в своем платочке, и с обиженным видом объясняла что-то Жабе. Порядок! Гонза искоса следил за физиономиями, проплывав-

---

* Так называли дворец Печека, где находилось пражское гестапо.

шими мимо стапелей. Они внушали страх, не смотри лучше, еще привлечет твоя вывеска кого-нибудь из них... Скрылись во тьме, теперь, наверно, засядут в живодерке и оттуда поведут атаку на завод. В фюзеляжном остались одни веркшуцы, они шныряли по участкам, мрачно-неприступные, кидали на рабочих мстительные взгляды. Сволочь неблагодарная, грозили они невидимым злоумышленникам, коли втянете нас в историю, в ад пойдете первыми! От нас пощады не ждите!

Веркшуцы облазили темные углы, и вскоре все увидели, как они гонят перед собой несколько человек, обалдевших от внезапного пробуждения.

— Что им сделают? — спросил взволнованный Гонза напарника.

— Ничего.— Мелихар с треском швырнул молоток в ящик, лохматые брови его поднялись над красными глазками.— Оштрафуют для острастки. С этими выгодней покончить счеты на месте. Не станут же хвастать перед гестаповцами, как тут сладко спится.

— Что, собственно, произошло?

— А я знаю? Спроси тех, которые взорвали, черт побери! Например, у этих, с сапожным кремом...

Гонза глотнул пересохшим горлом, но и бровью не повел.

— Что будет дальше?

Напарник махнул своей лапищей и фыркнул.

— А что? Нас не касается. Наша хата с краю. Черт побери, столовку закрыли! А пить жутко хочется.

Это холодное безразличие взбесило Гонзу. Увидел бы ты, как это меня бы коснулось, будь у нас взрывчатка, эх ты, обыватель в рабочей одежке! Левачок! Тебе бы только гроши были, а больше ничего!

Под утро была объявлена перекличка, все должны были выстроиться вдоль прохода с личными карточками в руке, выкрикнуть свое имя и показать карточку. В этой церемонии принял участие Каутце, и казалось, он с трудом удерживается от желания пустить в ход кулаки. Несколько карточек осталось на полках у контрольных часов — их владельцы, ни о чем не подозревая, смотались домой. Их ждало мало радостное пробуждение.

Готово! Каутце, расставив ноги и засунув большие пальцы за пояс, обратился к рабочим с одной из своих коротких, но резких речей. «Рабочие! — сурово начал он и залпом выстрелил множество угроз, склоняя во всех падежах слово «саботаж».— ...Обольшевиченные элементы все время пытаются помешать вам работать, они хотят лишить вас и ваши семьи заработка, поставить под удар мир вашего семейного очага. Своей работой вы содействуете спасению Европы и этой страны от жидо-большевистской заразы. Империя не будет смотреть на это сквозь пальцы... Кара будет суровой, но справедливой. Преступники будут пойманы и уничтожены, и каждый, кто о них знает и не донесет немедленно, станет их соучастником...» Потом он сказал о мирном труде, которым они обязаны доблестному героизму немецких солдат. Это растрогало его самого, после чего он опустился до грубой брани. Судетский немец, он сносно говорил по-чешски, но, раз уж перешел на «неполноценный» язык, то выискивал самые грубые выражения. «Грязных свиней вытащат на свет божий и растопчут, будьте покойны! В интересах собственных семей не поддавайтесь провокации и докажите своей работой...»

При виде безучастных физиономий рабочих у него затылок налился кровью. Он кончил, повернулся на каблуках и удалился, подобный оскорбленному божеству.

Вскоре после его ухода начались аресты и допросы, крики и избиения в деревянных бараках живодерки продолжались в течение всей дневной смены. На заводе воцарился ужас, панические слухи переходили из уст в уста, но аресты были беспорядочны, производились наугад, и уже

одно это показывало, что виновников не удалось нащупать. Видимо, задача состояла в том, чтобы создать на заводе атмосферу страшного суда, чему должны были содействовать и нацистские марши, гремевшие из громкоговорителей весь следующий день. После полудня полил бесконечный осенний дождь, большую часть тотальников погнали на подъездные пути, чтобы они, разбирая обломки, своими глазами убедились в размерах нанесенного ущерба и рассказали другим. Последовало несколько путаных, противоречивых приказаний — заводоуправление явно не нашло общего языка с гестапо и старалось поскорей восстановить пути, в то время как честь мундира гестапо требовала разыскать злоумышленников. Только к началу ночной смены наступило некоторое успокоение, машины уголовной полиции и гестапо с ревом выскочили из главных ворот, поднятая пыль оседала, и большая часть арестованных вернулась из живодерки; они были бледны, угрюмо молчали, к ним подходили с бережливой осторожностью, как к живым покойникам. Не было сомненья, что самоуверенное спокойствие гестапо — только притворство и что шпики получили особые инструкции.

— Вот эта овчинка уже стоила выделки,— сказал Гонза Павлу, вспомнив их недавний разговор.— Ты был не совсем прав, будто у нас никто ничего не делает.

Павел повернулся, лицо его закрыла тень.

— Но сколько здесь таких?

— Не все ли равно?

— Нет! Представь себе, если б за дело взялись все! Как в Словакии*. В целом протекторате!

— Ну и получилась бы бойня первый сорт.

— А если нет? Я вчера слушал Лондон. Немцы убрались из Львова... Надо делать все, чтобы как можно скорей покончить с немцами...

Старая песня. Гонза уже знал все доводы, подсказанные нетерпением Павла, но все-таки оно казалось ему преувеличенным...

— А вдруг еще не пришло время? Ты хочешь рисковать? Я — нет. Играть чужими жизнями...

Может быть, подумал Гонза, после войны нам с ним не о чем будет говорить, и мы разойдемся в разные стороны, но сейчас это правильный парень. Товарищ в невзгодах и ненастье... Да. Где настоящие слова, такие, чтоб не пахли грошовым утешением и бессильным сочувствием, унизительным для человека? Как они звучали? Говори, ты захлебываешься ими, и я тебя понимаю. После войны — вот чем живет Павел. Как будет после войны? Закроются тюрьмы и концлагеря, поток живых принесет и ее. А если не принесет? Если она давно уже где-нибудь сгнила? Какие у нее были шансы? Какие вообще были шансы пронести через этот смертоносный сумасшедший дом нечто столь безмерно тяжелое, как голая жизнь? Если холодно взвесить — ничтожнейшие. Пожалуй, никаких. Молчи, есть что-то невероятно заразительное в его вере, в его безумии, кажется, вот-вот разревешься, но я начинаю его понимать. Стоит мне заменить это незнакомое лицо тем, которое я могу целовать в губы, которое могу трогать, и я кричу от страха. И если б мне не было стыдно, я бы сказал тебе, что тоже ее жду. Павел, если она вернется, это будет один из самых лучших дней и в моей жизни, и я поверю, что жизнь — не одно дуновение слепой случайности, и Душан болтает зря, он ошибается. Но что будет с Павлом, если она не вернется? Он будет по-прежнему ждать, ждать, может быть, искать ее, обыщет все темные углы Европы, все тюрьмы, и лагеря, и кладбища и будет расспрашивать всех, кто там был, расспрашивать как безумный, не видали ли черноволосую девушку. Такой-то рост, звали так-то...

---

* В августе 1944 года в Словакии вспыхнуло национальное восстание.

От запаха аммиака и хлорки щипало глаза, в тишине плескалась вода. Гонза встряхнулся.

— Придется, пожалуй, на несколько дней прекратить все. Они совсем взбесились. Как ты думаешь?

— Пожалуй,— Павел протер глаза с таким видом, словно вернулся откуда-то издалека.— Все равно дурака валяем. Чепуха эти листовки, и вообще!

■

Он неправ, подумал Гонза. Я не питаю чрезмерных иллюзий, но разве не удалось нам кое-что сделать? Не только бумага! Не только угольки в сверлильных станках! А вагон угля у котельной? Ночью высадили дверь, и, прежде чем веркшуцы хватились утром, люди почти все растаскали в сумках. Мы спорим, но делаем дело. Другой раз, конечно, и глупости... Зачем, к примеру, после каждой операции выводить мелом «Орфей»? Романтическая чушь, вычитанная в детективных романах. Такое ребячество могло кончиться плохо: едва-едва не поймали Войту. Первым взбунтовался Павел. Мы что — выслужим себе популярность или диплом, когда все это кончится? Он убедил всех. И больше того, выдвинул странное предложение: пусть «Орфей» останется анонимным и после войны. Но почему? Послушайте, сказал он, уже теперь пропасть обывателей, а есть среди них и *колобки*, заготавливают для себя военные заслуги. Или алиби. Я это знаю. Вот увидите, что будет! Кто только, оказывается, не участвовал в Сопротивлении! Не было и не будет в природе стольких актов саботажа, сколько найдется на них очевидцев, а то и удостоверений с печатью. Мы ведь действуем не ради этого? Ясно, нет. Так пускай же «Орфей» исчезнет в первый день после войны! Они торжественно обещали поступить так, и это решение породило замечательное чувство. Пока все шло хорошо,— тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить! — и, хоть внешний эффект отсутствовал, они были убеждены, что листовки, подписанные необычным именем, все же хоть немного да прижились. Каморка Павла превратилась в примитивную лабораторию, листовки выпускались на заводской фотобумаге марки «Агфа»; на ней можно было рисовать буквы, карикатуры на Гитлера или Каутце — что с переменным успехом выполнял Милан,— обозначать на схемках фронтов наступление армий по сводкам Москвы и Лондона, предостерегать от мерзавцев на заводе, жестоко высмеивать их и сулить им виселицу. Мало-помалу текст утратил свой лозунговый характер, и распространение наладилось, хотя никогда нельзя было исключить возможность, что никто из них не был случайно замечен за этим делом. А если нам пустить в ход анекдоты? — спросил как-то раз Гонза. Только новенькие! Слыхали о Гитлере и черепахе? Они не слыхали, посмеялись, согласились. Через два дня Леош рассказал этот же анекдот Павлу, а Гонза услыхал его из других уст и наградил ничего не подозревающего рассказчика двойной порцией смеха — наглядное доказательство, что анекдот из листовки пошел гулять по заводу. Только бы не превратиться в юмористический листок, заметил Милан. Решили помещать по одному в каждой новой листовке. При условии, чтоб он не был с бородой.

Странно было, что в живодерке делают вид, будто ничего не знают, не обращают внимания ни на листовки, ни на «Орфея». Не заблуждайтесь, твердил Милан с видом опытного человека, спорю на что хотите, что каждая листовка на другой же день лежит у Каутце на столе, и он бесится. Это хитрость, он ждет нашего промаха! Сколько групп провалилось из-за легкомыслия, уж это железно!

■

— Что ты хочешь делать еще?

Павел чуть пожал плечами.

— Одни мы ничего не можем. Бумага скоро кончится...

— Мне ничего не приходит в голову. Голыми руками...

— Есть одна возможность. Надо ее обмозговать.

— Какая именно?

— Установить связь с ними,— промолвил спокойно Павел.

— С кем?

— С теми, кто вчера устроил взрыв. Или с другими, это все равно.

Только сейчас Гонза почувствовал, что совсем отсидел зад на ребрах калорифера, и приподнялся.

— Как ты это сделаешь? — Мысль взволновала его своей простотой и неосуществимостью.— Что ж, нам ходить от человека к человеку и спрашивать?..

— Нет. Я сам еще не знаю. Но мы должны суметь, листовками многого не добьешься... А у них есть возможности, может быть, есть оружие...

— Рабочие нам не очень-то доверяют, в этом я убедился на собственной шкуре. Мы для них — сволочь, сброд...

У Павла на скулах выступили желваки, это ему шло.

— Значит, мы должны доказать им, что на нас можно положиться.

— Но ведь они нас не знают. Для них «Орфей» — только название.

— Значит, надо придумать способ, как дать им знать о себе.

Бац! Как просто он это сказал! Гонза только покачал головой.

— Ты уверен, что не сбрендил?

— Да вроде нет.

— Гм... послушай: я, конечно, не герой и знаю это довольно точно. Если меня схватят и станут избивать, я, может быть, сумею не раскрыть рта, по крайней мере, надеюсь, но к чему у меня начисто нет таланта — и это наверняка,— так это к самоубийству. Несмотря на все, во что я добровольно впутался, я страшно хочу жить. Это плохо?

— Пожалуй, нет. Я тоже хочу.

— А тут так и пахнет самоубийством. Абсолютное безумие.

Павел поднял на него измученные глаза:

— Ты уверен, что то, как мы живем,— не безумие?

Гонза не успел ответить: кто-то пинком ноги открыл дверь, заставив их замолчать. Пепек Ржига! Он еще с порога заметил Павла и чуть нахмурился, но все-таки приосанился и подошел к ним, вынимая на ходу портсигар, набитый «викторками».

— Помешал, что ли?

Пепек помочился, потом предложил им сигареты. Павел с гордым пренебрежением отказался.

— Черт возьми, от вашего курева вонь одна,— сказал Пепек, разгоняя рукой облако зловонного дыма.— Говорят, курево и колбасу больше выдавать не будут. Будто бы Каутце запретил, все из-за этого саботажа, мол, пока не найдут виновных. И еще в приказе есть что-то о штрафах. С правого и виноватого. Я-то с какой стати страдаю?

— Факт. Ты вне подозрений.

— Ясное дело. Динамит не в моем ассортименте.

Пепек постукивал носком башмака по калориферу, и дым, который он, смакуя, выпускал через округленные губы, извивался по его щучьему лицу.

— Я на политику чхать хотел. Причем с высокого дерева! — прибавил он.

— Говорят, у тебя были неприятности? — без всякого интереса спросил Гонза.

— Ничего, порядок.

Прошел слух, что после того, как в централке у него признали ревматизм, контролер из больничной кассы не нашел его вечером дома, отправили раба божьего к немецкому врачу, и там все рухнуло.

— Балда,— сказал Гонза.— Надо было торчать дома да ковылять с палкой...

— Ха-ха! Думаешь, я пошел на такой риск, чтоб валяться дома в постели? Хотите сигаретки? Австрийские, первый сорт. По сотняге за десять штук, как честный человек. Или две банки эрзац-меда. Этот немецкий доктор ужасный гад.

— В живодерке как было?

— Да так,— сплюнул Пепек.— Схлопотал по морде от Мертвяка, знаешь, этого холуя при Каутце... вылитый покойник в очках. Ничего, запомним! — Он хитро осклабился.— Придется мне с Богоушем потолковать насчет этого самого... как его... С ревматизмом я утерся,— и он вразвалку пошел к двери.— А как Геббельс в рай попал, слышали? Во анекдот!

Гонза остановил его, не дав рассказать.

— Эй, иди ты к лешему! Держи язык за зубами, коли хочешь дожить до старости!

■

Если события минувшей ночи не входили в чьи-либо расчеты — и не по принципиальным соображениям, а ввиду возможных последствий,— так это в расчеты Леоша. Он открылся Павлу, когда сидел с ним во время ночного перерыва за грязным столиком в столовке. Ошметки кнедлика с повидлом противно приставали к нёбу. Леош отшвырнул ложку.

— Свинство! В глотку не лезет... Если после вчерашнего все не перероют, тогда, значит, я ничего не понимаю.

Он схватился за свою маленькую птичью голову, плаксиво засмеялся.

— Что-то не хочется мне при сем присутствовать! Если тебе нужна лампочка, приходи сейчас! Теперь уж наплевать... Все равно не хватает несколько тысяч. Господи Иисусе!

Может, их всех сразу повесят на фонарях в главном проходе между цехами. Так, сволочи, ну-ка высуньте язык! А что, если устроить пожар? Да разве поговоришь по-умному с Канькой, с заведующим этой разворованной лавочки? Спокойно, мальчики, с блаженным всхлипыванием успокаивает он свою команду, у меня в гороскопе сказано, что я взорвусь под столом, когда после бутыли спирта неосторожно закурю сигаретку...

Павел попробовал немного ободрить Леоша:

— У них теперь другие заботы — им не до копанья в вашем хлеву.

Но отчаявшийся Леош совсем не слушал, бубнил свое:

— Глаз не сомкну... Лучше бы всего задать стрекача, испариться, зарыться хоть в землю и вылезть, когда все провалится в тартарары. Пока не поздно...

— Что тебе мешает?

— Тебе легко говорить. А куда я денусь? Ты такое местечко знаешь?

Гм. Пожалуй! Пожалуй, в крайнем случае Леоша можно бы спрятать. На одной сходке об этом уже толковали. Например, у Бациллы, потому что поселить его в каморке Павла значило бы парализовать всю

работу или втянуть в нее Леоша. И как быть с кормежкой? Самим жрать нечего. Милан был бы против, но если бы вопрос шел о жизни, мы бы взяли верх большинством голосов. Ох, этот Леош! Флегматик, совершенно невосприимчивый к какой бы то ни было мысли, от которой хоть издали пахнет серьезностью, балагур и бабник. Снял у одного рабочего ветхий домишко над песчаным карьером на краю городка — якобы чтоб не ездить далеко — и время от времени устраивает там с некоторыми родственными тотальными душами такие оргии, о которых рассказывают затаив дыхание.

— Почему ты живешь в этой развалюхе, а не дома? — спросил Павел.

Леош явно смутился, заерзал на стуле, отвел глаза.

— Так... Из-за мамы.

— Можешь не говорить, если не хочешь...

— Нет, почему же? — помолчав, промолвил Леош с невеселой улыбкой.— Тут нет ничего. Во всяком случае, ничего особенного. Раньше меня это здорово донимало, я и сбежал, а теперь уж не так. У меня папаша сидит, с сорокового еще, влип в грязную историю, сейчас он в каком-то Маутхаузене, иногда и письма доходят — милая Блажа и сынок, я жив и чувствую себя неплохо,— пойми, это на бланке, иначе им писать не разрешают. Когда его зацапали, я думал, мама с ума сойдет, все бегала по судам и вообще...

Птичье лицо окаменело от воспоминаний.

— Но ведь ты же не из-за этого смотался?

Леош как бы очнулся, поднял светлые брови.

— Не из-за этого. Только... у нее теперь другой.. Понимаешь? Отец-то ведь, пожалуй, у каждого один... А этот, к тому же, на семь лет моложе, может, он и неплохой человек, но все равно выходит нескладно. Ладно, пускай она с ним... да первый-то жив ведь. И он вернется. Сперва я скандалил, ревел, как мальчишка, ничего не помогло. Мать тоже плакала, камень бы дрогнул, говорит — упаду перед папой на колени, когда вернется... Великая любовь... Ну, любовь, так любовь, я и смотался, чтобы хоть не видеть этого.

Если б он только не похохатывал так идиотски!

— Не можешь ей простить?

— Да могу. Все равно ведь не поможет. Когда это с женщиной случается — крышка. Мол, тебе не понять, и сейчас же — это великая любовь. Мать не плохая, нет, хотя бы потому, что тоже мучается страшно. Молодая еще, тридцать семь, и довольно красивая. За отца вышла замуж в семнадцать лет... Вот и пойми. Просто не всякая женщина может это выдержать — жить одной и ждать. Сперва она ужасно тосковала, плакали мы с ней вместе, а потом... да, вот и пойми... Однако все это отравило мне ту минуту, которой я ждал с такой радостью, все думал— вот кончится, вернется отец... Не хочу я жить с ними, и концу войны уже не так радуюсь. Вот шлепнут нас в этом бардаке...

Гудок возвестил конец перерыва, и Павел встал.

— Я подумаю, куда бы тебе скрыться.

Отсутствующий взгляд заставил его замолчать. Леош покачал головой.

— Э-э, все равно ничего не выйдет,— сказал он,— так что брось...

— Чего дуришь?

— Да так. Еще матери расплачиваться придется, ты пойми, у нее муж в концлагере. И что скажет отец, когда вернется... Чему быть, того не миновать, от судьбы не уйдешь,— прибавил он безнадежно и без всякой охоты сполоснул тоску остатком потеплевшей бурды. Выругался,

встряхнулся — и вот уже перед Павлом сидел знакомый Леош. Carpe diem *. С пошловато-заговорщическим видом он прищурился на девчонку из «Девина» и многозначительно подмигнул Павлу.

— Недурна, а? Титьки что мячики, игры не испортят. Да я ее тебе не предлагаю,— попятился он, поймав осуждающий взгляд Павла.

Со двора в столовку ворвался веркшуц. Это был Заячья Губа. Его свирепый взгляд поднял засидевшихся.

— Вас гудок не касается, что ли? Марш работать, лодыри! Чтоб в два счета были в цеху! Конец забаве!

6

В городе осень не похожа на пьяного Вакха с аллегорической картины, это скорей подозрительного вида бродяга либо торговец тайным товаром, упорно навязывающий сырое уныние и насморк. Улицы плавали в липком сумраке, подобные разграбленным кораблям, и площадка третьего номера трамвая пыталась опровергнуть утверждение, что вагон не резиновый. Меня давило в спину колесо тормоза, вагон трясся на рельсах, будто в сильной лихорадке.

— В шесть? — спросил я ее в ненавистной нише входной двери.

Она кивнула и подставила мне мокрую щеку, но я заметил, что все ее существо охвачено спешкой, хоть она и старается это скрыть. В общем, это ей удалось: когда я уходил, она меня остановила и прислонилась лбом к моему плечу.

— Не уходи от меня так. Не надо!

Я погладил ее во влажным волосам, но не шевельнулся.

— В чем дело?

— Ты в гневе. И в печали. Я знаю, хоть ты и молчишь.

Она говорила правду, у меня кошки скребли на сердце. С карниза на нас падали капли вечернего дождя, затекали за шиворот, холодили.

— Скажи еще что-нибудь. Любишь? — спросила она, робко подняв глаза.

— Люблю. Но хотел бы большего. Жить с тобой. Не хочу тебе надоедать, но... пойми! Я просто не понимаю, почему ты против того, чтоб мы поженились, не понимаю, отчего мне нельзя переступить вот этот порог, почему ты не хочешь, чтоб мы были вместе, этого я понять не могу. Боюсь — и сам не знаю чего. Может быть, этой осени. Неужели трудно понять? Я тебя люблю и не хочу ничего скрывать от тебя. Больше я не могу...

Потом я остался один. Шагал в смятении чувств по неприютной сырости улиц, стучал зубами и раздумывал над тем, почему я ей все выложил. Почему? В своем роде проступок совершенно непростительный, я знал это, но мне было все равно. Ведь это она. Я верю ей. Может, надеялся, что такое признание сблизит нас, может, наивно рассчитывал, что развяжу ей язык. Нет! Она выслушала меня без единого движения и заговорила только после короткого раздумья.

— Не знаю, надо ли мне было слышать это.

Я отстранился, разочарованный, так как уловил в ее фразе легкий упрек, и в тот миг подосадовал, что не сумел держать язык за зубами. Дьявольщина!

— Ты рада или не согласна?

Такое чувство, будто поскользнулся. И упал.

— Как тебе могло прийти в голову? Конечно рада.— Она сама нашла мою руку и сжала ее.— При одном условии... что ты будешь осто-

* Лови момент! *(Лат.)*

рожен. Обещай мне. Я с ума сойду, если с тобой что-нибудь случится, ведь я совсем обыкновенная и люблю тебя. Ты у меня — единственный близкий человек на свете. Понимаешь?

■

Он застал маму в тот момент, когда она уже уходила, надевала свою пропитанную дымом и запахом вагонов тяжелую шинель и простуженно потягивала носом. В сущности, мы не живем вместе, а только встречаемся. Жалость коснулась его. В кухне неприютно, холодно, свет слабой лампочки не доходил до углов.

Надо бы что-нибудь сказать ей... Но что? Ему казалось, что все пути к самым задушевным словам между ними давно уже поросли быльем.

— Ну вот...— сказала она уже в дверях.— Мне пора...

Он поглядел на нее растерянно, потом, движимый мгновенным порывом, подал ей пузатую сумку.

— Береги себя,— пробурчал он, избегая ее взгляда.— Ты простужена.

На большее его не хватило. На какую-то долю секунды поймал выражение ее глаз; в них было удивление молодой девушки — она ведь еще молодая,— что-то в ней робко дрогнуло, и рука ее, эта опухшая от холода рука, уже поднялась было, чтобы погладить его, но словно не решилась, упала. Дверь захлопнулась, от плиты послышался сиплый голос деда:

— Тебе посылка. Недавно какой-то мальчишка принес.

Вот новости! Кто и что может мне посылать? Пакет был не тяжелый, он пощупал его, потом разорвал бумажную бечевку, и оттуда выпала большая толстая тетрадь в плотном охровом переплете под кожу — ни названия, ни инициалов. Он перелистал. Страницы заполнены незнакомым мелким, но очень разборчивым почерком. Почерк интеллигентного человека.

В пакете было еще и письмо. Он скользнул глазами к подписи — «Жму руку. Душан» — и вернулся к началу. Каждая строчка леденила его. Сперва он не верил своим глазам. Протер их, опять стал читать, сначала кусал себе губы, и физическая боль убеждала, что он не спит.

«... за окном снова дождь, я допиваю чай и совсем спокоен, клянусь тебе, невероятно спокоен, так что сам удивляюсь. Пульс нормальный, температура в обычных пределах, вижу четко, воспринимаю все, кажется, даже еще лучше, мыслю, и рука моя не дрожит. Но хотя сейчас, в решительный момент, все представляется мне чуть ли не подозрительно легким, я не питаю иллюзий: могут возникнуть осложнения по чисто физиологическим причинам. Других препятствий нет. Страх? Перед чем? Перед чем-то неизвестным, перед тем... что может нам присниться в том смертном сне, когда мы лишимся тела,— понимаешь, о чем я говорю? Я знаю, что в него впадали и величайшие жизнелюбы и отрицатели жизни, почувствовав чуть пригорный запах собственной гибели, приближаясь к этой неслыханной, непостижимой бездне... Ах, Леопарди бежит из Неаполя, спасаясь от холеры, и Монтеня охватывает паника при мысли о моровом поветрии, наконец, даже Шопенгауэр слышать о ней не хочет, умом открыв в ней ее благо... У меня не возникает ни одной мысли, от которой не веяло бы смертью,— пишет Микеланджело. Но я знаю совершенно определенно, что это для меня единственный выход, самый правильный и добровольный шаг, на какой я только способен, для которого я созревал с утомительной медлительностью. Уж по одному этому я спокоен и верю, что выдержу до конца. Надеюсь. Нынче я, пожалуй, последний раз вернулся с завода, насадив восемьдесят медных головок к шлангам... значит, квиты! Долго лежал в абсолютной тишине на дива-

не и снова прочувствовал это, уставившись в пятно на потолке, да, оно похоже на собачью голову, на тучку, вот — последние очертания! А что дальше? Дальше только ждать и дождаться наконец того единственного полезного мгновения в этой бесконечной идиотской веренице бесполезных мгновений, щелку в шипящем времени, в которую вошло бы настоящее действие. Сосредоточиться на ней всем остатком воли и сильно сдавить пальцы. Вот и все. Во мне — светлая уверенность, что найдется такое разумное мгновение, пожелай мне этого, если хоть немного меня понимаешь, и ничего не предпринимай, потому что все будет бессмысленно! Надеюсь, что, когда ты будешь читать эти строки, со мной будет покончено. Не могу больше, и то, что я хочу сделать,— результат тщательного, а не минутного раздумья. Я никогда не пил и не напьюсь, так как не намерен обременить эту минуту собственной трусостью. Мне невыносимо дышать, и смотреть, и думать, я ни к чему не испытываю ни малейшего любопытства, всей душой ненавижу это зрелище вокруг себя — и не знаю поэтому, что могло бы удержать мою руку...»

Дед беспокойно шмыгал взад и вперед по комнате, туфли шлепали о босые пятки. Будильник, секунды. Дождь играл на железной изгороди за окном монотонную мелодию в мажоре, за спиной шипела спиртовка, где-то звучал устарелый вальсик. Аккуратная буковка плясала по странице письма, чудовищно вспухая.

Пахнет чаем.

«...мне ничего не жаль, даже себя. Слышу голос матери, он доходит до меня из безмерной дали, бессильный, а так — тишина. Ни одно воспоминание о близком человеке не ослабляет меня, потому что нет у меня такого, право! Но пойми меня правильно! Я не утверждаю, что мне легко удалось не осквернить себя фикцией какой бы то ни было человеческой близости, ты понимаешь, о чем я говорю. Ни до кого мне нет дела, абсолютно никому я ничем не обязан, потому что ничего не обещал. Каждый одинок, совершенно и абсолютно одинок, я признал это, потому что познал и отверг жалкий обман. Существую только я. Я, безнадежно закупоренный и закованный в собственном теле. Посылаю тебе эту тетрадь с несколькими ничтожными опытами, оставшимися от прошлого, от времен зеленой наивности, и не понимаю, отчего у меня нет силы уничтожить их, как все остальное. Может быть, потому, что все написанное отчаянно хочет быть прочитанным. Видно, человеческое безумие — штука упорная, не сдается до самого конца. Ты чувствуешь иначе, чем я, знаешь ты пока немного, но у тебя недоверчивый, непокорный ум. Это мне в тебе нравилось, потому что непокорный — значит самостоятельный. Ты знаешь, я никогда никого ни к чему не принуждал — да и не к чему было, поэтому и тебя я не принуждаю портить глаза этой выспренней беллетристикой. Удерживаюсь от соблазна перелистать ее. Vanitas vanitatum *. Кинь потом это в реку и ополосни руки, я говорю чертовски серьезно, потому что вовсе не стремлюсь, чтоб эта словесная требуха отравляла кому-то жизнь. Особенно Р.!!! Я отослал тетрадь, чтоб она не попала в руки обоим Полониям, особенно папочке. Мне противно думать, что он станет в этом копаться, пытаясь понять и решить меня своим филистерским мозгом. Он по профессии взрослый, и я убежден, что и без этой писанины великолепно объяснит меня. Как и весь мир, и эту войну, и все! Его ограниченность относится к разряду надменных и, значит, беспредельна. Он не выносит ничего неясного, это мешает ему наслаждаться жизнью. Так пускай заблуждается, как настоящий Полоний, я уже слышу, как он после всего скорбно и болтливо рассуждает напоказ...

---

* Суета сует *(лат.)*.

Безразличие! Знаешь, как умирают пингвины?... Свернутся в комок на оторвавшейся льдине и уплывают на ней в морозную тьму, никто не знает куда. Боэция * этого и «Замок» оставь себе. Habent sua fata libelli ** — мне бы хотелось, чтоб особенно «Замок» не был осужден на вечную немоту в фамильном склепе. Вот и все, и я кончаю последний разговор с живым и совершенно случайным человеком. За окнами все льет, остается еще допить чай. Во мне — дивная тишина и покой...»

— Погаси лампу,— заныл дед за спиной.— Надо экономить.

...оглянулся. Все правильно. Дрожащими руками заложил письмо между страницами и повалился в изнеможении на диван. Нет, нет. Бессмыслица. Безумие. Нет. Удалось вздохнуть. Зажег лампочку у себя над головой и в тусклом свете прочел надпись на первой странице: «Октябрьский разговор с Иваном Карамазовым»! Он не воспринял слов, были только расплывчатые образы и шумы, и из них послушно выплыл индиговый мотив блюза. Чай. Чай.

■

Опять этот нафталиновый запах прихожей, пальто на вешалке напоминало повешенного, оно висело до странности одиноко, в глубине квартиры чьи-то пальцы ласкали прелюдии на рояле, сквозь стеклянные двери брезжил свет. Он был здесь две недели назад и теперь входил с тем же чувством подавленности и неуверенности, как прежде.

Девушка, которая ему открыла, рассеялась в сухом воздухе, но он успел узнать в ней Душанову сестру. Дверь хлопнула.

В комнате он увидел другую девушку — вспомнил, что ее зовут Рена,— в чем-то она показалась ему изменившейся, пожалуй, не такой холодной, как при первой встрече. Легкими прикосновениями пальцев она поправляла прическу перед зеркальцем, вынутым из сумочки, не смутившись его появлением, потом провела по губам помадой и застегнула мятую блузку у горла. Ему показалось, что она даже как будто дружески ему улыбнулась. Он понял все, взглянув на Душана. Оба слабо излучали то, что отличает двух людей после только что состоявшейся близости: взволнованная тишина и оттенок смущения при посторонних. Гонза остановился в нерешительности на пороге, и Душан оживленно пригласил его войти. Приветствие было более шумным, а может, и более сердечным, чем обычно, и это немного сбивало с толку.

— Бросай портфель. Рена все равно уходит.

Все произошло очень быстро: рука Душана оказалась теплей, чем последний раз, улыбка — менее непонятной. Вдруг Гонзе подумалось, что Рена совсем не обратила на него внимания.

— Желаю вам приятно провести время,— сказала она.

— Я на самом деле не помешал? — спросил Гонза с виноватым видом, когда Душан вернулся из прихожей.

— На самом деле не помешал,— откликнулся почти весело хозяин. Потом, догадавшись, кивнул на дверь:— Ах, ты про это...— Он засмеялся, откинув голову на спинку кожаного кресла.— Ну что ж, если б ты пришел пораньше — тогда пожалуй...

Смех его звучал немного искусственно и слишком легкомысленно, и Гонза подумал, что ему никогда еще не приходилось слышать, чтобы Душан так беззаботно смеялся. Потом сразу и столь же непостижимо, будто в нем повернули выключатель, Душан стал серьезным, поднялся и быстро заходил по ковру, щелкая пальцами.

— Наоборот,— говорил он на ходу.— Ты, может быть, помог мне.

---

* Аниций Боэций (480—524) — римский философ.

** Книги имеют свою судьбу *(лат.)*.

— Не понимаю.

— Это неважно. Что сказать тебе? — опять улыбнулся он.— Это латинское post coitum *... и так далее распространяется, видимо, только на нас. Хуже всего, когда потом начинаются слова. У них ненасытная потребность в нежностях.

Поймав взгляд Гонзы, он остановился.

— О чем ты думаешь?

— Думаю — она не заслуживает, чтоб ты так о ней говорил,— строптиво ответил Гонза, опускаясь в облюбованное им кресло.

— Если б она знала, какого имеет в твоем лице защитника! Но ты прав. Извини! Она действительно восхитительна, лучше, чем сотни других. Великолепная любовница и верный человек. Так?

— Кроме того, я думаю, ты говоришь неправду.

Эти слова остановили Душана в светлом кругу под лампой.

— Как?

— Что-то заминаешь.

Душан помолчал, потом понимающе хлопнул себя по лбу.

— Умница! Из тебя выйдет толк. Не пишешь, случайно? Попробуй! — Он снова стал серьезным, закинул руки за голову, потянулся всем своим стройным телом в черном свитере.— Гм. Кажется, о нас двоих я все рассказал тебе. То есть, насколько я в себе, она во мне, я в ней, она в себе и мы друг в друге разбираемся! Это все еще в общих чертах... Теперь она в своей смешной борьбе прибегла к новой тактике.

Гонза решительно тряхнул головой.

— Не говори так о ней.

— Разве я на нее клевещу? Ни на столечко! Наоборот. Милый мой, в ней столько целеустремленной самодисциплины, и силы воли, и настойчивости — хватит на двадцать генералов. С такой силой воли, какую ты обнаружишь в этом хрупком создании с худенькими руками, можно выиграть самые безнадежные сражения. Удивляюсь, как этого до сих пор не заметили организаторы войн! Я на нее клевещу? Нет. Когда я это обнаружил, мне захотелось отослать ее, и если что меня остановило, так только то, что я не мог удержаться от удивления. И восхищения. Если так называемая любовь способна на все, даже на чистое безумие — шапку долой! Стихия! Но это дела не меняет. Я больше так не могу!

Волнение неожиданно овладело им, выразившись в судорожно преувеличенных жестах, не соответствующих его равнодушному спокойствию.

— Я тебе все скажу! — воскликнул он, отодвинувшись в тень.— Она задумала иметь от меня ребенка! Понимаешь? Любой ценой. От меня! В это страшное время! Это...— слова будто душили его, он потер лицо.— Где же граница между хитростью и святостью? Ты знаешь? Я разочарую ее! Старик Достоевский на пражской улице, да еще в сорок четвертом, в век промышленности и пустоты чувств. Ты, наверно, думаешь — я заурядный мерзавец, так? Говори, не стесняйся!

— Нет.

Душан остыл, погрузился в кресло, долил себе холодного чая.

— И на том спасибо. Однако... Скажи, что ты обо мне думаешь?

Спрошенный заколебался, но именно это колебание заставило его ответить:

— Если б я тебя не знал как следует, я бы думал — во всяком случае, иногда,— что ты позер. Только прошу — не пойми меня дурно.

Душана это вовсе не задело.

---

* После совокупления *(лат.)*.

— К чему условности, скажи на милость? Может, ты отчасти и прав, поживем — увидим. Позера окончательно изобличает неспособность к действию. И вообще, что такое поза? А вдруг — все? И в том числе жизнь. Иллюзии, нелепая игра во что-то. Только в одном нет позы...

— Знаю, что ты хочешь сказать,— поспешно прервал его Гонза.— Но ты никогда не убедишь меня в этом.— Я — примитив и не могу себе этого позволить. У меня такое чувство, словно ты все разобрал на части, как будильник, и теперь не в состоянии собрать. Но я...

Душан опять засмеялся с незнакомым Гонзе поражающим легкомыслием, и вид у него был чуть ли не плутовской.

— Но ты... у тебя, правда, тоже нет твердой почвы, на которой ты мог бы стоять, ты тоже довольно шаток, только отчаянно держишься блаженной веры, что такая почва все-таки существует. Что ж, ищи — стоит закрыть, когда нужно, глаза и ухватиться за что-нибудь, не имеющее цены. Вот разница между нами: я-то знаю, что такой почвы не существует. Не верю, что можно что-то построить, потому что отсутствует смысл, нет ни малейших шансов... И если что-нибудь доказывает мне, что я не позер, так то, что это знание не доставляет мне никакого эстетического наслаждения и не кажется особенно эффектным. Я не литератор, и от сознания этого мне худо. Не хочу разыгрывать Мефистофеля, ты сам дойдешь до этого, а остальное — уже только вопрос ощущений и свойств организма: решишь ли ты продолжать...

Он помолчал и вопреки своему обыкновению коснулся чего-то очень личного:

— Я не любопытен, но готов побиться об заклад, что ты влюблен...

Гонза поднял голову.

— И ты не проиграл бы... Ну и что?

— Ничего. Все в порядке. Теперь это — твоя почва. Стой на ней, если тебе это доставляет удовольствие. Хоть на время. Замерз, так и горячей картошке обрадуешься.

— Мне вовсе не хочется припутывать ее к этому разговору, но я ее люблю, понимаешь? Больше жизни. По крайней мере, мне так кажется! И плевать на то, что когда-нибудь нас не будет. Это печально, но естественно. У меня совсем другие заботы. Оставим это! Я не хочу обсуждать это с тобой.

Душан ударил ладонями по подлокотникам и, словно оттолкнувшись, вскочил на ноги.

— Отлично! Впрочем, у меня нынче хорошее настроение. Предлагаю плюнуть на все.

— Видимо, с тобой произошло что-то очень приятное.

— Да нет,— засмеялся Душан.— Ничего особенного. Просто я немножко выпил... У меня замечательная идея...

Он подошел на цыпочках к дверям, прислушался к тишине в квартире, потом повернул ключ в замке. Минуту с озабоченным видом копался у массивного письменного стола и наконец вытащил из нижнего ящика бутылку. Посмотрел ее на свет. Выпито совсем немного. Он показал бутылку недоумевающему гостю и принес хрустальные рюмки.

— Где это ты достал?

— Тише.— Он приложил палец к губам, похохатывая приглушенным, но озорным смешком.— Коньяк. Умопомрачительной марки, ты такого не пил,— объяснял он, пока драгоценная жидкость лилась в пузатые рюмочки.— Каждая капля стоит бешеных денег. Когда его закладывали, нас с тобой еще на свете не было,— лет этак сорок назад. Целый клад, обнаруженный в недрах квартиры. На вид — изразцовая печь, обыкновенная изразцовая печь, которую давно уже не топят, а вот, пожалуйста! Я нашел тайник. Обнаруживать такие хитрые тайники — привилегия дураков. Его тайник, понимаешь? Полония. Пей!

Возражать было нечего, Гонза опрокинул в себя первую рюмку и слегка закашлялся. В первую минуту напиток показался ему безвкусным, вернее, вкус был какой-то мятный, слабый, сладостно-мягкий, потом по внутренностям разлилось приятное тепло. Он заметил, что Душан успел опрокинуть вторую рюмку. С ума он сходит? Пей! После третьей он почувствовал себя слабым, и будто закачался на волнах, но восприятие не притупилось, свет стал резче, а глаза — зорче. Он осторожно поставил рюмку на стол и встряхнулся. Стоп!

— Ты не подумай,— сказал ему Душан через стол,— что пьешь обыкновенную бурду!..

Душан уже начал пьянеть, бутылка дрожала у него в руке, но он не пролил ни капли.

— Прочти вот на этикетке, Полоний написал своей рукой. Ты пьешь коньяк, хранившийся к торжеству победы. За мир! Я уже слышу, как он всхлипывает: «Дети, дети, вот мы дождались!..» Наверняка выдаст самые высокопарные фразы... из газет.. Ну же, пей! Чокнемся за то, чтоб был мир... для всех деятельных папаш Полониев, пускай суетятся, пока следующая война всех их не сметет! Тсс, он уже, кажется, пришел домой! Пей благоговейно, момент исторический, чувствуешь? Мы пьем за мир, а он черт знает куда запропастился. Допивай! Да здравствует мармеладное будущее!

— Не глупи,— противился Гонза,— я больше не буду...

Он пытался прикрыть рюмку рукой, потом его слабеющая воля растворилась в вихре, закружившемся в голове, он рассмеялся без всякого повода. Пил еще и еще.

Как он выбрался из этой квартиры? Последнее, что у него смутно осталось в памяти, был Душан: измученный, он спал, утонув в мягком кресле, голова запрокинулась, руки свесились до самого пола. Если бы не подрагивающие веки под спутанными волосами, его можно было бы принять за мертвого. Гонза мучительно сознавал, что Душана надо разбудить, чтоб тот его выпустил. Он стал его трясти и потом помнил только, как шел за ним, качаясь, по линолеуму прихожей с диким ощущением, что внутри у него дребезжит сломанная машина.

■

Ночь свистела за шторой затемнения, брякала железной загородкой, он расслышал за этими жалобными звуками кашель деда, и этот звук обыкновенной жизни казался теперь ему странным. Читай!

Лампа над головой и слова. Люди, скользившие по этим странным и выпукло-нереальным событиям, утратили третье измерение, это унылые призраки, отбрасываемые лихорадочной фантазией на серую стену. Силуэты — и все же чем-то они реальны. Может быть, точностью, с которой они были подмечены и выхвачены, отблесками и мерцаниями, но он чувствовал в них известную логику, совсем особенную, не столько выраженную, сколько ощущаемую, и небо, под которым они дышали, было мутное, взвихренное. Здесь был целый мир, особый мир, мало похожий на тот, что за окном, и все же мучительно реальный — его мир, он находил в нем себя. Он сопротивлялся. Нет! Это не твой мир. И не ее. Не наш. Он дрожал в этом мире от пронзительного холода даже под одеялом, изо всех сил стараясь воссоздать в памяти ее лицо. Глаза. Руки. Удержаться за нее. Что-то болело и трепетало от леденящего страха перед небытием, он отчаянно сжимал ее в руках, чтобы осень не унесла ее — не читай дальше! Или: разорви и сожги это в печке, пусть даст хоть немножко тепла! Нет! Это будет преступление! Боже мой, уметь так писать! Может быть, для этого нужно продать душу дьяволу. Уверенность, точность и в то же время трепетная прозрачность фраз, улавливающих самые хрупкие, мерцающие ощущения, это исписанное стек-

лю, и слова прилегают к мимолетнейшим трепетаниям мысли с бесспорностью, которая тебе, бумагомараке, жалкому честолюбцу, и не снилась. Память и эрудиция, каким с мучительной завистью отказываешься верить! Пожарище, обнаруженное за кулисами самой обыденной повседневности, маски, развешанные в пустоте. Небытие. Жестокость. Гибель. Война. Отчужденность, прикованная словами к бумаге. Некоторые заглавия казались, на первый взгляд, невинными: «С бухгалтером Н. произошло нечто неслыханное», и тянется в рассказе жизнь обыкновенного, ничего не подозревающего человека — семья, канцелярия с тупой, выдохшейся от бесконечных повторений болтовней, спокойствие жвачного животного, а потом вдруг — точка! Непостижимо, неизбежно, неумолимо, неслыханно — смерть! Смысл? Никакого. Многоточие. Сострадание? Где там! Ничего, ничего. Любовь? Двое людей, окутанные в чувственность, в броне собственных тел, все происходит незаметно, не вызывая никаких подозрений, а потом что-то разладится, и история обертывается гримасой, заскулит писклявым дискантом, и ты всматриваешься во тьму ощущений, которых не переступишь в себе, и тебе хочется кричать. Скрыться. Смерть. Справиться с ее угрюмой нелогичностью, признать ее с отвращением, как все, что исключает возможность перемены. По логике смерть должна бы последовательно соответствовать процессу рождения: случайный выбор, совершающийся в другом месте, вне тебя, воспламенение в гостеприимных недрах, подготовка — и медленное, независтное движение к бессознательности. К ней! Противоположность! Мгновенность, чем-то унизительная, как удар в барабан,— похоже на оргазм у мужчины: ты существуешь, а через несколько секунд, даже через секунду ты — уже вещь, смешная в своей ненужности и тягостно мучительная для живых, которые со смущенной стыдливостью, с нелепой помпой, но и с поспешностью, подстегиваемой страхом, удаляют, нет, выкидывают на свалку. И ничего не изменишь, потому что и ты подчинен этому! И тут же сложное рассуждение о музыке. О маленьких, беззащитных зверюшках, рассуждение непостижимо простенькое и трогательное, как детская песенка. Мимолетные портреты: проходят лица с оружейного завода, коллаборационисты, рабочие, тотальники, усталые потрепанные женщины, те, кто собирается у Коблицев,— картинка с надписью: «Блюз, или Наслаждение невольным воровством». Папаша Полоний с подзаголовком: «Опыт биологического исследования о честном и полезном человеке». Он описан с леденящим беспристрастием, без признаков антипатии и — что уже совершенно непонятно — с еле заметным восхищением, как перед чужим, непонятным миром, где взгляды, мысли и чувства подчинены иным законам: папаша Полоний и не осуждается ни с моралистической, ни с какой иной точки зрения, он только холодно констатируется. Стихотворение? Еще одна печальная процессия, лица, увиденные в свете тщеты и тайной, скрываемой жалости, колеблются и тают, это корабли в ночном море, вокруг них — ревущая пустота под звездами, а они живут под своим индиговым небом, мыслят, не мыслят, лезут по невидимой нити к обрыву, говорят, но голоса их никуда не доходят, перекрикивают друг друга, отталкивают, яростно давят друг друга в пороках, в страхе, совокупляются, ужасаются друг другу, бессильно пытаются друг к другу прикоснуться чем-то другим, не руками, но не умеют пробить черепаший панцирь идиотского, дрожащего, заранее обреченного на гибель существования.

Спасения нет! Дальше!

...Кто-то трясет его за плечо, будит — дед! Голова вот-вот расколется, и в желудке роется голод.

— Что не гасишь?

Лампочка над головой все еще горит, а в окно уже заглянуло осеннее утро, дождливое и унылое, как нищенский плащ.

Он опомнился, соскочил сразу обеими ногами с дивана, скорей, скорей туда, я должен зайти, скорей — штаны, рубашку; дед обиженно посмотрел на него, когда он только проглотил стакан чуть теплого эрзац-кофе и ринулся к двери. Лестница, вниз через три ступеньки! Дождь!

Подняв воротник, он шел, все быстрей и быстрей мчался по знакомым улицам; на проспекте остановился у обочины тротуара, чтоб отдышаться.

Военная машина обдала его водой из лужи.

Еще две улицы! Смятение его росло с каждым шагом.

А потом произошло что-то непостижимое. Завернув за последний угол, он вдруг увидел Душана в нескольких шагах!

Не поверил глазам своим. Изумление приковало его к месту. Душан!

Шедший навстречу еще не заметил его, он приближался, опустив голову, словно пересчитывая плитки тротуара, в измятом дождевике и без шляпы; в руке он покачивал продуктовую сумку, в ней были бутылка молока, пакетик цикория и полбуханки хлеба в промокшей бумаге. Вид был жалкий, заурядный — услужливый сынок, сбегавший в лавочку.

Только не дойдя двух шагов до Гонзы, Душан остановился — может быть, почувствовав препятствие,— и поднял голову. Лицо его было бледней, чем обычно, глаза, обведенные синими кругами, глядели в пространство. Но вот он понял, растерянно показал сумку и пожал плечами. Дождевые капли стекали по его плащу, мочили волосы.

— Привет! — хрипло выдавил Гонза и откашлялся.

О чем говорить? Все ясно! Что же дальше? Что дальше? Они молча пошли вместе по слонявой мостовой к знакомому доходному дому. Душан простуженно покашливал, дрожа от холода, сумка смешно била его на ходу по коленям. Лишь за несколько шагов до крыльца он поднял голову, рассеянно огляделся и нарушил молчание.

— Ты думаешь, что я выкинул дурацкую шутку.

Гонза постарался придать своему голосу оттенок укоризны.

— Да нет.

Казалось, стоящий перед ним незаметно вздохнул с облегчением, поглядел на носки своих ботинок.

— Но если бы...

— Не надо об этом! — прервал Гонза, тронув его плечо.— Ты хочешь, чтоб я тебе вернул? — деликатно спросил он, как говорят с тяжелобольным, но увидел, что этот спокойный вопрос заставил Душана передернуться.

— А что? — вырвалось у него. Наверно, он все-таки не сразу понял, но теперь раздраженно покачал головой и закусил губу.— Что ты, собственно, думаешь? — с измученным видом прошептал он, побледнев.— Мол, как угодно? Позер! И когда все это кончится? Все время дождь. Чего вы все от меня хотите? Оставьте меня, наконец, в покое! Все! Все!

— Успокойся!

Гонза слегка встряхнул его, но почувствовал, что в нем уже закипает гнев. Он овладел собой.

— Я ведь по-хорошему.

— Знаю.— Душан сразу ослабел, он стоял перед ним с этой смешной сумкой в руке, выражение мучительного стыда застыло на его опустошенном лице. Отводил взгляд.— Знаю.

И потом, словно боясь, что самообладание изменит ему, круто повернулся и, не прощаясь, пошел, верней, побежал, согнув спину, непонятный, замкнувшийся в себе.

Гонза смотрел ему вслед, пока тот не исчез за массивной дверью, и в это мгновение что-то в нем робко шевельнулось. Тоска? Предчувствие? Чепуха. Без очертаний. Что-то перевалилось через гребень на скользкий склон и сползает... Зачем я с ним встретился? Дождь припустил, плеща о камни. Ступай дальше! Он взглянул на грязно-серое небо и зашагал со странным ощущением, что мостовая у него под ногами шевелится и мир перед глазами расплывается.

Куда я, собственно, иду?

часть третья

1

Кружки стучали о залитые столы в заводской столовке.

— Знаете, что с Жабой? — сказал Густик, вдохновенно сияя.

Было известно только, что Жаба — к радости женщин — вот уже две смены не показывается в «Девине». Заболел, может.

— На ладан дышит,— воинственно фыркнул Густик. Самое простое сообщение звучало у него как призыв к ссоре с возможным оппонентом.— Получил по сопатке. Всю рожу ему раскроили.— Он наслаждался кровожадными оборотами, они придавали его тщедушной внешности боевой вид.— Мне ребята из амбулатории говорили... известно только, что их много было. Подстерегли ночью, когда он домой мимо моторного шел, затащили в проулок, а там... Еще увидите, что с другими двумя сволочами сделают...

— Заткнись, трепло,— одернули его.— Как бы по морде не схлопотал...

Как знать, не попадет ли легкомысленное слово не в то ухо, а тогда пойдут молоть жернова! Напряжение после взрыва подъездного пути не ослабло. Наоборот. Это событие послужило началом целой серии актов саботажа, и всем было ясно, что, несмотря на внешнее спокойствие живодерки и многочисленные аресты, подлинные виновники не обнаружены.

Хмурый веркшуц, появившийся в дверях, оборвал разговор в самом разгаре. Под его грозным пристальным взглядом все разошлись молча, с протестующим видом.

— Что ты об этом думаешь? — спросил Гонза Войту, когда они брели по коридору в грохочущий фюзеляжный цех. Он показал ему обрывок обыкновенной бумаги, на котором, явно второпях, было написано печатными буквами одно только слово: *молчать*!

Гонза оглянулся, сложил бумагу и сунул ее опять в карман.

Войта в нерешительности покачал головой, не замедляя шаг.

— Где ты, говоришь, нашел?

— У себя в шкафу перед началом смены. Адресовано, ясно, мне...

Его встревожило это единственное слово. Что оно может значить? При ком молчать? Кому что известно? Почему именно в моем шкафу?

— Странно,— промолвил Войта.— Во всяком случае, надо обсудить. Может, это просто-напросто дурацкая шутка?

— Сильно сомневаюсь.

На пороге фюзеляжного они разошлись, теряясь в догадках.

■

Мелихар смерил входящего Гонзу мрачным взглядом, сплюнул, но не сказал ни слова. Он сам сверлил отверстия и насаживал заклепки; видимо, спешил как можно скорей покончить с крылом, которое за

ними оставалось, чтобы после полуночи заняться с другими «леваками» изготовлением электроплиток.

Дзуб, дзуб! Береги пальцы, Мелихар орудует молотком немилосердно, беспощадно. Что все это значит?

Дзуб, дзуб! Что-то висит в воздухе, дзуб, дзуб!..

Вдруг — тишина, молоток разом умолк.

Выглянув из-под крыла, Гонза заметил, что напарник кивает кому-то в проходе за его спиной; повернул затекшую шею и увидел чьи-то пузатые сапоги. Сапоги стояли, ждали. А сверху глядело приветливое лицо певца-веркшуца Гавла, его сонные глаза смотрели испытующе.

Гонза выбрался не спеша из-под крыла, с недоумением стряхнул с одежды пыль, дюралевые стружки.

— Пошли со мной, амиго,— крикнул певец ему в ухо.

Это прозвучало скорей как дружеское приглашение.

— Куда? — Но он уже знал куда, понял сразу всем существом, испуг был похож на холодное оцепенение, отдался в голове и кончиках пальцев. Вот оно. Вот почему «молчать!».

Сомнительное облегчение принесла эта разгадка.

— Сам знаешь. Головы не теряй, я не знаю, в чем дело.

Ничего не попишешь! Посмотрел по сторонам: разговор их не остался незамеченным; все остановили пневматические молотки, стояли на своих местах, смотрели. Бежать? У конца крыла стоял другой веркшуц — тощий верзила с крысиными глазами, Гонза его плохо знал. Он небрежно упирался ногой в стапель и ковырял спичкой в зубах. Железный грохот терзал барабанные перепонки, глаза, щеки; Богоуш, полуоткрытый рот Бациллы, балагур Гиян, Маречкова зашмыганная физиономия похожа на сушеное яблоко,— Гонза с необычайной остротой воспринимал подробности и все отряхивался, словно это было страшно важно; наконец остановил взгляд на потном лице Мелихара. Что это? Напарник еле заметно качнул головой и облизнул губы.

— Пошевеливайся, не то влетит!

Смешно! А что смешного? Гонза шагал с двумя веркшуцами по бокам вдоль главного прохода и чувствовал сердце. Оно рвалось вон из груди, сдавленной стальными пальцами. Смотрят!

Он заставил себя выпрямиться, чтоб выдержать эти десятки взглядов. Покосился в сторону «Девина», позвал ее без слов, только волей и страхом, но она, с фонарем в руке, наклонилась над рулем и не видела его. Прядь светлых волос выбилась у нее из-под платка, и от этого все внутри у него странно сжалось. Знаешь, почему я тебя так люблю? Потому что ты—высший сорт... Умеешь говорить комплименты! Он целует ее в губы — ее дыхание пахнет яблоками и зубным эликсиром, кончики их языков встречаются, непобедимое желание подымается в них с каждым вздохом, они сидят в «Итаке», печурка гудит за спиной, а за окошком падает на реку похоронный мрак.

Вдруг она подняла голову, он отвернулся с виноватым видом.

— Можно мне...— с трудом выговорил он,— можно зайти в раздевалку? Мне бы...

Певец покачал головой и выразительно оглянулся на другого веркшуца.

— Ты что — спятил?

— Ну хоть в сортир!..

Некоторое колебание, потом Гавел кивнул и остановился у двери уборной. На окнах решетки.

— Только мигом... я ведь не один!

В тусклом свете его ждал Павел. Гонза облегченно вздохнул, но времени на разговоры не было. Он подошел к писсуару. Павел мгновенно понял и сделал то же самое. Никто из толпившихся в уборной ничего не

заметил или сделал вид. Гонза и Павел встали вплотную друг к другу. Гонза говорил уголком рта, неподвижно глядя на исписанную похабными надписями стену.

— Я ничего не знаю. Из меня ничего не выжмут. Сходи к маме... и к ней. Осмотрите шкафы и ящики... я постараюсь... Тихо! Мне пора... пока...

Оглянулся — в полуоткрытой двери уже торчала нетерпеливая физиономия в фуражке с козырьком. Иду, иду, показал он кивком; почувствовал пожатие ниже локтя.

Держись! Темный коридор, ведущий к выходу во двор, дохнул ему в лицо. Держись! Он твердил это про себя, как заклинание, стараясь этой примитивнейшей заповедью выбить из головы все другие мысли; он их боялся. Держись! Молчать! Кто послал мне это? Почем знать? Он лязгнул зубами... Ребята! И она! Что она будет делать? Не думать об этом, держаться и ничего не знать! Все забыть! — приказывали напряженные губы. Мелихар. Стало легче? Нет, меня в самом деле ведут туда. С жестоким удовлетворением отметил, какая в человеке может вдруг возникнуть пустота. Великолепная, ничего не значащая пустота! Взглянул в сумраке на постное лицо Гавла — кажется, даже улыбнулся отважно, но отвага эта только мелькнула и погасла, как блуждающий огонек.

Седой ночной туман поглотил три фигуры.

■

Удивительней всего было то, что Гонза, в сущности, не был особенно удивлен. Словно он уже бывал в этом помещении, обставленном с канцелярской скудостью: стол с глубокими выдвижными ящиками и покоробившейся столешницей, несколько простых стульев, картотечный шкаф со свертывающейся шторкой, умывальник на подставке. По стенам — плакаты с благородными, красивыми лицами солдат вермахта и два портрета: на более крупном всматривался в грядущее тысячелетие водянистым взглядом фюрер, на том, что поменьше,— малоизвестное лицо кого-то помельче, чье имя нельзя было отсюда прочесть. В чертах этого лица было что-то женственное, дряблое, но во взгляде сквозила затаенная жестокость слабого человека. Помещение было жарко натоплено.

— Жди здесь,— сказал певец и, уже взявшись за ручку двери, прибавил: — И без глупостей, компаньеро. Салют!

Дверь захлопнулась, и шаги заглохли вдали.

Один. Вот арена борьбы, надо на ней освоиться. Но очень скоро не на что стало смотреть; Гонза с удивлением осознал, что он почти спокоен и что ему даже немного скучно. Он сунул руки в карманы и переложил всю тяжесть тела на другую ногу. Зачем его заставляют ждать, какую цель они этим преследуют? Ага, вот...

Сердце заколотилось.

Приближались шаги, гремя по полу коридора, маленькая заминка, потом повернулась ручка двери, и вошел человек в штатском; если бы не кавалерийские сапоги да орденские колодки на лацкане пиджака, вошедшего можно было бы принять за озабоченного канцеляриста. Это был Башке, заместитель и тень Каутце, по прозвищу Мертвяк. Прозвище было меткое, вид у него на самом деле похоронный: болезненно-бледная рябая физиономия производила отталкивающее впечатление, провалившиеся глаза глядели на мир с флегматичным, даже почти благодушным безразличием, и страшного в них ничего не было. Ни о каких исключительных жестокостях его не было слышно, он всегда прятался за спину своего рыкающего шефа; он был на вторых ролях, пунктуальный исполнитель распоряжений, тип полицейского чиновника, которому привычнее корпеть над бумагами, чем работать с преступниками; он замет-

но припадал на правую ногу, видимо, ранение на фронте обеспечило ему желанную возможность устроиться в тылу. Мертвяк...

Он посматривал на Гонзу, но в глазах его не было ни злобы, ни враждебной предвзятости.

— Вот и вы! — он кашлянул в кулак и указал на стул.— Что же не садитесь? У нас целая ночь впереди, и вам надо сохранить свежую голову.

По-чешски он говорил почти безупречно — был, видимо, из судетских немцев; голос звучал с сухой учтивостью чиновника.

Гонза сел, но решил по-прежнему быть начеку.

Долгое время ничего не происходило. Башке рылся в карманах, потом стал отпирать ключом ящик стола. Он перебирал бумаги, с головой уйдя в это занятие; можно было подумать, что он забыл о посетителе. Наконец он нашел, что искал — небольшую стопку розовой бумаги,— вздохнул с облегчением и положил ее на середину стола, закрыв надпись на верхнем листе пресс-бюваром. Зажег лампу. Надень он еще саржевые нарукавники, сходство с канцеляристом было бы полное. Но этого не случилось. Он долго тер кулаками усталые глаза и страдальчески вздыхал, потом устремил на гостя скорбный взгляд.

— Вам страшно?

Вопрос был неожиданный, но не смутил Гонзу — он выдержал взгляд Мертвяка, не дрогнув.

— А мне нечего бояться.

Мертвяк на секунду замер, заинтересованный, но и только. Слабо улыбнулся.

— Что-то не верится. У нас обычно боятся даже те, кто вовсе ничего не сделал. Право. Видимо, в этой стране чистая совесть — редкое явление.

К чему эти дурацкие подходы? Гонза ждал, что он сразу пойдет в атаку, и принудил себя к спокойной сосредоточенности, но не дождался. Это было не только странно, но и подозрительно. Вместо грубого допроса — старание завязать интимный дружеский разговор; Башке своим усыпляющим голосом расспрашивал о самых невинных пустяках. Какой может быть для него интерес в том, есть ли у Гонзы родители? Есть только мать, работает на железной дороге. Башке сочувственно кивнул, вспомнил даже свою мать, которая, бедная, погибла во время налета на Эссен. Не надо было посылать ее к брату, тогда она, наверно, осталась бы в живых. Сами знаете, мать никто не заменит, прибавил он с умилением.

Посмотрел на наручные часы.

— Только час!.. Тут жарко, как по-вашему?

Не дожидаясь ответа, стал спрашивать Гонзу о его занятиях, о том, что он собирается делать после войны.

— Вы двадцать четвертого года рождения? Этот возраст пострадал больше всех... Я понимаю, поденщина здесь вас не прельщает, но тотальный призыв — только вынужденная временная мера. Если б вы жили по ту сторону, скажем, в России, либо еще где, вряд ли вам пришлось бы теперь учиться. Скорей всего валялись бы где-нибудь в грязи на фронтах. Вы не знаете, что это такое, мой милый! — Он выразительным жестом указал на свою правую ногу.— Память о Смоленске... Вам несравненно лучше, вы, в сущности, даже не испытали, что такое война. Страшная, тотальная война.— Он печально поник головой.— Что вы о ней думаете? Ничего? Маловато.

Не жди, на такой крючок не попадусь. Да ты и не настолько наивен, чтоб на это рассчитывать. И вызвал ты меня сюда не для дружеской беседы. Вопросы были все глупее, Гонза отвечал сухо и коротко.

— У вас есть девушка? Здешняя, с завода? Если хорошенькая,— Башке ощерил зубы в желтой улыбке, как настоящий мертвяк,— я, ко-

нечно, ее заметил бы. Хотя у нас тут довольно много хорошеньких девушек. И даже — гм,— артисток из бара. Можно бы составить очень приличную эстрадную программу, как вы думаете? Жалко, нет времени.— Наконец он стал расспрашивать о том, как кормят в заводской столовке, и когда Гонза с отчаянной дерзостью обругал кормежку, он несколько раз меланхолично кивнул головой и, казалось, искренне возмутился. Там, видимо, здорово крадут, как и на всем заводе. Иногда мне кажется, что тут работают пятнадцать тысяч воров. Трудно поверить, чего только не крадут...

Он замолчал и снова долго тер глаза. Ну, начинай, Мертвяк, чтоб уж было ясно, чтоб я знал, в чем дело! Не тяни!

Вместо этого Башке сделал невероятное предложение: сыграть в шахматы. Не ослышался ли Гонза? Нет.

Ночь длинная, а у нас пропасть времени. Может, до самого конца войны.

И, не дожидаясь согласия, он вытащил из ящика стола коробку с облупленными фигурами:

— Начинайте! Вам, как гостю, белые...

Как там ребята? Как она? Мелихар? Бог знает, что думают, а я тут бессмысленно передвигаю фигурки. Идиотский сон. Гонза заставил себя смотреть на доску, но мысли были далеко; он никогда не отличался особым искусством в этой игре, но тут допускал совсем уж любительские ошибки. Будь здесь Павел, тот бы тебе врезал, Мертвяк... Время течет лениво. Может, обтекает меня?..

— Неважные ваши дела,— послышался бесцветный голос с той стороны стола.

Внутри все сжалось от холода, Гонза поднял глаза и увидел слабо улыбающуюся физиономию. Ничего. Мертвяк постучал по доске согнутым пальцем.

— Берегитесь. Так нельзя, открываете королеву.

После нескольких ходов Гонза оказался в совершенно безнадежном положении, понял это и посмотрел испытующе на своего мучителя. В каком кармане у него револьвер? Башке делал вид, будто поглощен борьбой на доске, он играл с видимым наслаждением, качал головой по поводу каждого хода Гонзы и осуждающе шипел.

— Туда нельзя, Mensch! Глупый ход...

Тут послышался какой-то непонятный крик, он проникал сквозь деревянные стены, переплетались два голоса, один угрожающий, другой приглушенный; Башке только беспокойно тряхнул головой.

— Не обращайте внимания. Это к вам не относится... Сами понимаете: допрос!

Опять крик и грохот, от которого мурашки по спине забегали. Вскочить, ударить? На окнах решетки. Погляди какой: притворяется, будто заинтересован шахматами, норовит довести до безумия. Это игра кошки с мышью, видно, хочет сперва расшатать мне нервы...

— Ну вот,— постучал Башке пальцем по доске.— Вот и мат. Плохо играете. Жаль. Вам надо бы потренироваться, научиться правильно комбинировать и сосредоточиваться — может пригодиться.

Он с разочарованным видом смешал фигуры, встал из-за стола, без всяких объяснений вышел вон и повернул ключ в замке.

Гонза остался один, жара была невыносимая, в желудке урчало от голода. Время тянулось невероятно. Спокойно, держаться, сосредоточиться! Может, наши успели все спрятать... Он расстегнул ворот рубашки, вытянул затекшие ноги. Внимание его опять привлекла розовая стопка, она так и притягивала взгляд. Надпись. Стоит только приподняться — и все станет ясным. Одно быстрое движение... тело уже напряглось, собралось, еще раз окинуть взглядом деревянные стены, фюрер из мелких

на портрете наблюдал за ним противными глазами... Нет! Прозрачная уловка! А если стены здесь имеют глаза, если он точно заметил положение пачки? Как бы не налететь! Ничего не знаю, не помню!

Господи, который же час?

Вдруг дверь настежь, на пороге — Башке, впился в него взглядом. Тот же Башке — и не тот. Движения его стали быстрей, беглым взглядом он удостоверился: пачка не сдвинута.

— Вижу, вы сдержали свое любопытство,— заметил он.

Сел тощим задом на угол стола против Гонзы, одной ногой уперся в пол, другой стал покачивать в воздухе.

— А жаль. Не люблю лишних объяснений.

Мертвенные глаза с вдумчивой пристальностью уставились в лицо гостя, следя за его выражением. Кончилось тем, что Башке устало вздохнул, вынул из кармана портсигар и раскрыл его перед носом Гонзы.

— Ку́рите?

Вопросительный взгляд, Гонза чуть поколебался, но жажда успокоительного дыма была так велика, что он протянул руку.

Не тут-то было! Портсигар захлопнулся перед его лицом, и — будто его робкое движение было сигналом к атаке — левый кулак молниеносно был выдернут из кармана и мастерским ударом — боксеры называют это левый крюк — поразил Гонзу в нижнюю челюсть. Внезапный сокрушительный удар сбросил Гонзу на пол, опрокинув вместе с ним стул, но не вышиб полностью сознания.

— Наглец! — услышал Гонза.— Спятил! Не знаешь, почему ты здесь? «Не знаю», да? Не знаешь? Не знаешь? Опять не знаешь? — С каждым словом голос его повышался, пока не перешел в смешной визг: — Мерзавец! Курить захотелось! Я тебе вправлю мозги!

Если Мертвяк рассчитывал на внезапность, то снова ошибся: вместо расслабления и покорного страха в Гонзе проснулись ярость и жалость к себе. Он остался на полу, первое время не чувствуя боли, а только тупое сотрясение, сопровождаемое каким-то жужжанием в голове, такое жужжание бывает, если прислонишь ухо к телеграфному столбу.

Словно излив в этом ударе всю скопившуюся ненависть, Башке соскочил со стола и пнул Гонзу носком сапога.

— Не валяйся тут, как потаскуха. Встать, слышишь! Сесть!

Уже сидя на стуле, Гонза обратил внимание, что Башке по дороге к столу удовлетворенно улыбается.

— Признайся, славный удар! Ты не ожидал, верно? — Мертвяк изнеможенно опустился на стул и стал опять прежним Башке. Поднес наручные часы к уху, проверил, не остановились ли от удара...— Только половина четвертого...

Вынул из нагрудного кармана самописку, медленно, заботливо отвинтил колпачок, потом вытащил тяжелый револьвер и положил его, как бы неумышленно, возле опрокинутых шахматных фигур, но в этой подчеркнутой неумышленности было что-то более страшное, чем если б он просто прицелился в Гонзу. Это был жест добросовестного, неподкупного чиновника.

— К делу!

Вместе с ноющей болью вернулась чувствительность в челюсти, но, по-видимому, она осталась целой; желудок схватила странная тошнота. Закрыть глаза, не смотреть на него!

— Это — знаешь?

Знаешь? Перед глазами — розовая бумажка с тщательно выведенной черной надписью: *Орфей*. В верхнем правом углу — индекс дела и входящий номер. Гонза глядел почти равнодушно, опять больше всего поражаясь тому, что не испытывает удивления, но шум в голове нестерпимо усиливался. Как же это я не удивляюсь?

— Странное название. Просто так выдумали или подразумевали что-нибудь? А мне ведь пришлось слазить в научный словарь. Забываешь! Он своим пением укрощал зверей... Попробуй-ка на мне! — Он засмеялся шелестящим смехом, причем лицо его так перекосилось, словно все его морщинки болели.— Ну, давай! — кивнул он с нетерпеливым раздражением.— Мне тоже хочется спать. Знаешь это название, да? — Только теперь от него повеяло сдержанным, но леденящим ужасом.— Конечно, ничего не знаешь... Понятно! Ты — невинная овечка и думаешь только о том, как бы помочь рейху одержать победу. Думаешь, я нагадал про тебя на картах? И ты здесь очутился по чистой случайности? Решил твердокаменно молчать и прикидываться идиотом? Видно, ты высокого мнения о своем мужестве. Брось! Видал я таких на своем веку, даже оскомину набил. Зачем начинать сначала? Перешагнем через это! Признаю, первый раунд ты выдержал с честью, не считая того удара, который я теперь бы охотно взял обратно. Я этого, собственно, не люблю. Но впереди еще много раундов, и ты не выдержишь. У меня для тебя пропасть времени, а у тебя — ровно столько, на сколько хватит моего терпения. Неужто у нас с тобой начнется такая же недостойная канитель, какая разыгрывается тут каждый день? Уверяю тебя, надежды у тебя никакой, и это я могу доказать, если хочешь...

Говорит он неглупо, но это явно обычная прелюдия: он хочет меня размягчить, как отбивную котлету. Но... что если он и впрямь все знает? Что если... Гонза отвернулся в тень, так как начал безотчетно бояться этих мертвых глаз...

— Я тебе удивляюсь,— послышалось после невыносимой тишины.— И этим твоим... соратникам,— прибавил он, растягивая с наигранной серьезностью последнее слово. Коротко засмеялся с сочувствующим пониманием.— Мальчикам захотелось поиграть в индейцев, а теперь пришло время заслуженной порки. По голому заду. Довольно забавное происшествие. Знаешь, ведь у нас даже дело на вас заведено под индексом. Погляди! Можете гордиться, ребята! Не то, чтоб мы придавали вам уж очень большое значение, но у нас — порядок. Один для всего завода. Есть у вас хоть деревянные сабельки и бумажные шлемы? Листовки — и здобавок на краденой копировальной бумаге, первая была отпечатана на машинке... Нападение на сторожей, кое-что вам удалось. У меня все записано. Подробно. И все это, оказывается, было совершенно напрасно — именно теперь... когда близок час справедливого возмездия... когда крррровавый фашистский зверь уже издыхает на всех фронтах!.. Здорово!

Мертвяк читал листовку насмешливо, с пафосом, фюрер из мелких на портрете заглядывал через плечо, угрожающе посмеиваясь. Кто это?

— Вот — черным по белому: Орфей! — Мертвяк покачивал своей лысой головой — лоб его покрывала зеленая тень абажура — и теребил себя за мочку уха.— Поскольку ты с этим ничего не имеешь общего, то я не задену твоего авторского самолюбия, назвав это глупой писаниной. Теперь такое пишется целыми грудами.

Опять покачал головой.

— Ладно.

Он резко встал, обошел вокруг стола, держа розовую пачку в руке, сел, как прежде, на угол стола и низко наклонился к Гонзе. Холодным пальцем поднял его голову и так, глаза в глаза, вперил в его лицо потусторонний взгляд, а затем, после испытующей паузы, выпустил первый залп вопросов. Они следовали один за другим так быстро, что Гонза не поспевал понимать — водопад, водопад в ушах. Говори! Некоторых вопросов Гонза ожидал, другие безнадежно сбивали с толку — видимо, обескуражить противника входило в задачу Башке; вопросы произносились доверительно, тихим голосом, они хлестали по лицу, проникали в мозг и причиняли боль, хоть Гонза и старался их не слушать. Нет. Нет.

Не знаю. Не видел. Не лгу. Он стиснул зубы, завертел головой, потом почувствовал дрожь, невыносимую дрожь во всем теле, и тщетно старался сдержать неудержимый предательский трепет. Не поддавайся, не смей! Сколько вас? Не знаешь? Говори! Не отнекивайся! Хочешь, я сам тебе скажу? Где собираетесь? Громче, я не понял. Та-та-та! Какой-то странный запах, лицо Мертвяка то ближе, то дальше, оно качается в полумраке, запекшиеся губы шевелятся, мерзкое, дряблое лицо мертвеца, уже начавшего разлагаться. Гонза — в мучительно беспомощном, невыгодном положении, он в кресле у зубного врача, и к нему приближается сверкающий инструмент, нет, нет, мама-а-а... Ничего, доктор только чуть-чуть дотронется, и ты получишь мороженое... Не расслышал! Говори, говори, черт возьми! Где размножаете? Забыл? А хочешь знать точный адрес? Пощечина. Это как бешеная гонка, состязание, скачки. И в эту минуту Гонза впервые, но еще отдаленно, почувствовал это в себе: ослабление воли, зажатой в кулак,— еще не сломился, но может сломиться, обвал чего-то внутри. Так вот как это начинается, невинно, с щиплющей влаги в глазах! Может быть, Мертвяк уловил это и усилил нажим; левой рукой захватив лацканы пиджака у самого горла Гонзы, Мертвяк мял их, а правой стал хлестать по лицу розовой пачкой, не сильно, но ритмично, размеренно, как машина, слева, справа, хлест, хлест, без перерыва, без конца! Будешь говорить? Вот тебе, вот тебе, боли не было, но было нечто худшее: мучительное, липкое чувство унижения, обиды и связанности, чувство тошнотворного бессилия, оно чуть не заставляло желать боли,— хлест, хлест,— оттого что это было опасней, оттого что это подстегивало, приближало к гневному взрыву, а это, видно, и нужно Мертвяку, потому что если Гонза взорвется, то все в нем рухнет и хлынет в неслыханном, вожделенном облегчении: да, Мертвяк, я это делал и буду делать... А вы, убийцы, падаль, подохнете! Нет, нет! У тебя на глазах слезы,— хлест, хлест,— сейчас ты не совладаешь с собой, сейчас рванешься к жилистому горлу, сил больше нет!.. Хлопнула дверь, видимо, кто-то заглянул сюда, но они не обратили внимания, охваченные исступлением. Говори! Не знаю.— Хлест, хлест! — Связи? Не имеете? Ишь ты! А кто ты — знаешь? Как зовут? Год и день рождения! Говори, скотина! — Хлест, хлест! — В каком месяце родился? Тоже не знаешь? Вот и влип! Выдал себя — все врешь! Врешь, сволочь! И — слушать, когда я с тобой говорю! Не глазеть по сторонам, невежа. Ты — невоспитанный мальчишка. Вбил себе в башку все отрицать? — Хлест, хлест! — Вот я тебя перевоспитаю! — Хлест, хлест! — Еще? Раз, два — кто дольше? А олень? Олень! Не знаешь оленя? Не слыхал о нем? Рассказывай сказки. А парашюты? Тебе их тетя из Америки прислала? Говори, черт! Магнето. Кто вас предупредил? Святой Иосиф?

Кто предупредил?

Говори! Хлест, хлест!

Он вырвался, уже изнемогая, из холодных пальцев, закрыл лицо руками.

— Оставьте меня! — заревело в нем, и он не сумел подавить рыданий, он дрожал всем телом.— Оставьте меня! Я... ничего не знаю... правда... ничего! Я... ничего не знаю!

■

Где-то захрипела радиола, и голос с наигранным весельем запел: Ich brauche keine Millionen, nur du, nur du...*

— У тебя слабые нервы.— Башке уже снова спокойно сидел на своем стуле, вертя в пальцах самописку, и страдальчески улыбался.— А знаешь, еще немного, и ты бы раскололся.

---

* Не нужны мне миллионы, лишь ты, лишь ты *(нем.)*.

В голосе его опять была хмурая приветливость, он посмотрел на свои часы и удивился:

— Пять часов... как время-то у нас прошло, а? Через час — конец смены, твои соратники поедут домой бай-бай, в постельки. Без тебя. Но ты не огорчайся, им тоже будет плохо спаться.

Он шуршал бумагами, перечитывая листовки, и перо его противно скрипело. Канцелярский чиновник работал.

— Ну, значит, так, просто для порядка: ты этих листовок никогда не видал?

— Нет.

— Никогда?

Башке отложил перо и меланхолически покачал головой.

— Многое я могу стерпеть, но не это. Ведь этим ты доказываешь, что врешь. Врешь! И, значит, имеешь к этому какое-то отношение! Ну, подумай сам. Листовок на заводе попадается столько, что даже на стены стали лепить, ты никак не мог их не видеть. Это исключено! Пойми, наконец.

— Я не имею к этому никакого отношения,— сказал Гонза.

Ответ прозвучал не вполне уверенно.

— Ага. Это уже лучше. Значит, все-таки видел...

— Видел... но...

Он сейчас же замолчал, закусил губы. Влип, глупейшим образом влип!

Мертвяк сидел за столом с равнодушным видом и только кивал.

— Ты плохой шахматист. Но, наконец-то, мы хоть до чего-то договорились... Горячо, горячо!.. И что ты с ними делал?

Он не повышал голоса, чтобы не спугнуть противника,— плел петлю с терпением профессионала.

— Не помню. Это было один раз.

— Когда это было?

— Уже давно... Я нашел у себя в шкафу...

— Вижу,— причмокнул Башке,— память просыпается, но еще зевает спросонок. Я знал, что мы договоримся, с первого взгляда понял. Практика! Что ты с ними сделал?

Секундное колебание. Плохо дело.

— Разорвал и бросил.

— Куда, позвольте узнать?

— В уборную...

— Какая точность! Не знаешь когда, а про уборную помнишь. В какой унитаз — тоже помнишь? Кто еще читал?

Скольжение вниз по склону.

— Никто! Я сейчас же выбросил!

— Ошибка! — взвыл Башке чуть ли не жалобно.— Ошибка! Грубая ошибка! Ты должен был передать нам. Разве ты не видел, что это подстрекательство против рейха? Ведь ты, поступая на завод, подписал заявление, так? Все подписывают. Уже одним тем, что ты не сдал листовку, ты совершил преступление против рейха. Измену! Уже за одно это я не могу отпустить тебя. По существу, я должен передать тебя дальше... известно куда! Понял теперь свое положение? — Башке не хватало дыхания, он обтер лоб платком и продолжал уже более мирным тоном: — Ты можешь этого избежать, если будешь благоразумным; я поступлю так только в крайнем случае. Лучше не выносить сора из избы. Да и в сущности это просто мальчишество. Пока ты у нас, и ты, и твои товарищи могут отделаться сравнительно легко. Это я тебе обещаю. Геройский орден ваш под названием «Орфей» мы можем быстро ликвидировать, хоть я и не говорю, что это пройдет совсем уж безнаказанно для вас. Само собой!

Только тут Гонза заметил, что они не одни: в противоположном конце комнаты, у окна, спиной к ним сидел на стуле еще какой-то человек; руки в карманах штатских брюк, он застыл, опустив голову на грудь и совершенно не вмешиваясь в допрос.

— Так как же? Поди, ведь тоже хочешь спать.

В нестерпимой тишине Башке постукивал ручкой по столу — звук ритмичный и усыпительный; тонкие веки, похожие на мигательные перепонки у кур, то медленно прикрывались, то опять открывались.

— Но я действительно...— начал было Гонза.

— Послушай,— прервал Башке уже с оттенком томительной скуки.— Ты исходишь из ложной предпосылки, будто мы ничего не знаем,— так? И не хочешь подводить остальных. Я тебя понимаю, но ты ошибаешься. Вы — совершенно незначительный случай, у нас есть дела посерьезней. Я не хочу подымать из-за этого панику, я этого не люблю. Но нам известно больше, чем ты думаешь. Нам известны все ваши проделки, листовки ваши у меня все, аккуратно пронумерованные, и если б не служебная тайна, я бы показал тебе занятную папочку. Там списки тех, кто нам помогает. У тебя глаза бы на лоб полезли. На заводе ведь не одни герои да саботажники, как ты воображаешь. Ты и не представляешь, сколько народу о вас знает, сколько людей вас видело, я мог бы их перечислить. Хочешь? Времени довольно! Я, собственно, знаю все главное, но хочу услышать об этом от тебя, у меня на то свои причины, которые тебя не касаются. Смотрю вот на тебя, и мне ясно, что ты мне не веришь. Говоришь себе: хитрит. Но я не втираю очков. Я немного помогу тебе... хочешь? Знаком тебе вот этот нож?

Только не выдать себя, не повести бровью! Понадобилось неслыханное самообладание. Удалось? Кажется. Гонза чувствовал взгляд из полутьмы по ту сторону стола прямо физически, как нечто весомое. Нож! Лежит спокойно на столе, никелированные части тускло отражают свет, он узнал его с первого взгляда по обколупанному черенку. Нож Войты! Кончено! Что они знают? Конец, конец!

— Я нашел его на складе бумаги,— послышалось из-за стола.— Дилетантские штучки, одна за другой. Мы можем продолжать. Если тебе надоело мое общество, скажи только, и хозяин придет сюда за ножом. Почему бы нам не потолковать втроем? Не веришь?

Вслед за этим совершенно неожиданно допрос кончился.

— Ну, с тебя довольно. Да и с меня тоже. Я не двужильный. У тебя будет довольно времени для размышлений, как у Марженки из «Проданной невесты»...

С чиновничьей аккуратностью он принялся все убирать со стола, запер розовую пачку в стол, револьвер исчез в кармане. Перед тем как уйти, он кивнул своему немому коллеге, еще раз наклонился над неподвижным Гонзой, теперь еще более похожий на мертвеца, чем обычно.

— Видишь, я не пустые слова говорю. У вас — ни малейших шансов. Теперь слушай: ты останешься здесь, пока я не вернусь, и не пробуй бежать. Впрочем, бежать-то некуда, кончится катастрофой, и не по моей вине. Я позабочусь, чтоб ты не помер с голоду. Вернувшись, хочу услышать от тебя разумное слово. Иначе придется отправить тебя на исповедь в город в один очень солидный дом. Там развязывается язык и у таких борцов, что не тебе чета. Те не занимаются такой школярской чепухой, те кидают гранаты, не моргнув глазом, им палец в рот не клади. Гм... послушай: а не лучше было бы организовать под этим возвышенным названием, ну, хоть певческий кружок? «Орфей», гм... Или шахматный кружок? Жаль, пропадает красивое название!

Ключ загремел в замке, и прихрамывающие шаги мало-помалу затихли в конце коридора.

Далекий гудок возвестил конец ночной смены.

Посадил сверчка в спичечную коробку и приложил ее к уху: слышишь, как шуршит? Выпусти, выпусти его! Вот бы тебя запереть в коробке!.. Это было давно. За шторами затемнения выползал из тумана день, завод наполнился звуком шагов, но здесь застряла ночь, и время было — замерзший поток, отчужденное и неизмеримое, он не воспринимал его бег.

Что будет? Вот откроется дверь, и в нее втолкнут остальных. Этого Гонза боялся больше всего. Этот нож! Просто курам на смех! Самое обидное, что в оскорблениях и насмешках, которыми Мертвяк осыпал их, было много правды. Молокососы с голыми руками вышли на бой, имея один револьвер, которого так и не пустили в ход! Тем сильней чувство поражения. Все зря! Человек бессилен. Душан. Хоть плачь. Зачем мы, собственно, все это затеяли? Красивый жест, потребность дать выход энергии, хвастовство? Пишкот! Веснушчатое лицо балагура — и душащий бессильный гнев, когда его тащили по цеху, атмосфера бойни и неотступная жажда мести. Но это был только порыв, этим не проживешь долгие месяцы. Совесть? Да. Бессилие? Да. Потребность что-то сделать, чтобы всю остальную жизнь не было стыдно смотреться в зеркало, обманчивое чувство свободы действия; нет, меня не волокут на убой, как барана...

Почему объединились именно вы, пять таких различных характеров? Чувство товарищества? Вряд ли. Нас собрал случай, этот завод и жалкая участь рабов двадцатого века, которых, против их воли, тотальный набор загнал в один и тот же цех, на одну и ту же помойку. Да. Мы не выбирали друг друга и, может быть, потом, если выживем, при встрече в другой обстановке нам нечего будет сказать друг другу, кроме захватанного: «Привет! Как живешь? А помнишь? Лучше не вспоминать!» И все-таки есть что-то, что связывает тебя теперь с ними больше, чем со всеми другими людьми на свете. Может, то, что вот распахнутся двери и... заплывшие жиром глазки Бациллы... Три оплеухи, и все из него выскочит с жалобным воем!.. Может, то, что ты должен молчать ради них! Ради этого толстяка? Должен! Даже если это уже бесполезно. И, может быть, неразумно... «У тебя будет довольно времени для размышлений» — но это не выигрыш, наоборот: разбираешь себя на части, как будильник. Угадал: это заколдованный круг. В нем — заливающая меня уверенность в проигрыше, тщета, упорство, измена, жизнь. Откуда ты взялся, Душан, теперь, когда ты мне меньше всего нужен? Нет, не уговаривай меня, я другой, я люблю жизнь и хочу жить, чтобы любить ее...

— Ешь,— слышит он чей-то голос.— А то остынет.

Это не мама и не бред, но прежде, чем Гонза пришел в себя, дверь уже хлопнула, и загремел ключ.

Глиняный горшок на столе, ложка — видно, Мертвяки держат слово. Гонза жадно проглотил содержимое горшка, сам не зная, что такое он ест, потом встал, потянулся оцепеневшим телом, подошел к умывальнику попить и вернулся на прежнее место. Не снится же мне все это. Он положил локти на стол, опустил голову на руки. Она была невероятно тяжелая. Какой сон бывает у осужденных в ночь перед казнью? Лучше усни! Усни!

Он проснулся весь в поту. Жив! Который час? Неразрешимая проблема! Он услыхал гудок. Тишина. Потом шаги.

Шаркающие шаги замедлились у двери — нет, это не Башке! Гонза оглянулся, когда ключ начал медленно поворачиваться в замке. Смерть? Нет, в темном прямоугольнике появилась сгорбленная фигурка, проникла внутрь, и дверь захлопнулась. Вошедший попал в полосу света, и оказалось, что это низенький и какой-то уж совсем обтрепанный старш-

чок. Морщинистое лицо с лукавыми глазками. Пришлепал ближе, со щеткой и ведром в руках, жмурясь на свет. Узнал Гонзу.

— Эге, браток! Ведь мы знакомы, а? Помнишь?

Где я его видел? А, вспомнил: холодный утренний вагон, пустое отделение, рука кромсает кожаный ремень у окна — тот самый старик! Чего ему здесь нужно?

— Знаешь, набойки-то до сих пор держатся! — начал он, показывая свои чиненые башмаки.— Кожа как с бегемота, зря ты не взял. Ну, не беда... держался ты молодцом, нужно сказать...

Он побрызгал пол водой и принялся не спеша размахивать щеткой, время от времени оглядываясь на дверь, непрестанно бормоча всякую чепуху, хотя его мучила одышка.

— Нужно же кому-нибудь здесь подметать, верно?.. А платят неплохо, между прочим, это они молодцы...

Вот пустомеля! Гонза не отвечал, но был рад, что видит знакомое лицо, даже лицо этого болтливого старикашки.

— Ну-ка, братишка, отсядь, надо подмести тут.— Старик подковылял к самому стулу.— А под тобой-то подметать нехорошо, примета такая — тогда ты не женишься и останешься бобылем вроде меня. А плохое это дело — человеку одному на свете жить...

Что это он шепчет? Я не ослышался? Нет. Слышал внятно.

— ...Ничего они не знают... Не поддавайся на ихние штучки! Ни гу-гу! Ржигу знаешь? Из него что-то выудили... будто он тебя где-то видел...

Старик распрямил спину, на лице его не изменилась ни одна черта, он громко произнес, отдуваясь:

— Конец — делу венец! Проклятущий ноябрь. На дворе опять льет, то-то слякоть будет. Ну, спасибо этому дому, пошел к другому.

Не говоря больше ни слова, он поплелся из комнаты, стуча ведром, и не успел Гонза опомниться, как за стариком захлопнулась дверь...

Узнав прихрамывающие шаги, Гонза выпрямился и напряг мускулы лица. После ухода старика протекла, наверно, бездна времени.

Он вздохнул почти с облегчением. Ключ.

— Наконец-то могу уделить вам минуту,— промолвил Мертвяк, усевшись за письменный стол.

И все началось сначала: чиновник опять вынул листовки, тщательно отвинтил колпачок самописки, снял волосок с пера и только после этого вперил в Гонзу свой мертвенный взгляд.

— Надеюсь, вы тут не очень скучали. У меня не было возможности обеспечить вам приятное общество. На дворе ужасная погода!.. Так — начинай!

Короткий приказ был дан утомленным голосом и без угрозы.

Гонза поднял голову.

— Я ничего не знаю. Все, что знаю, я уже вам сказал. Эту листовку я бросил в уборную, не читая...

Решительный тон, каким это было произнесено, вызвал у Мертвяка некоторый интерес, но не вывел из себя.

— Это ваше последнее слово? — спросил он без подъема.

— Да. Не могу ничего больше прибавить.

— Гм... и то ладно.— И после краткого, но сосредоточенного раздумья:— А вы знаете, что я с вами сейчас сделаю?

— Не знаю. Но, кажется, догадываюсь,— промолвил Гонза кротко, чтобы не слишком раздражать его.

— Нет, не догадываетесь,— живо прервал его Башке и встал.

Он удалился необычно твердым шагом, запер за собой дверь на ключ, и вернулся довольно не скоро, с какой-то бумагой в руке. Перестав обращать внимание на Гонзу, он закурил сигарету и стал что-то тща-

тельно переписывать. Канцелярский чиновник с наслаждением работал. Готово. Он с довольным лицом придвинул бумагу к своему побледневшему гостю и подал ему самописку.

— Прошу подписать! Это как будто мелкая формальность, но дружески советую вам отнестись к ней внимательно. Прежде всего прочтите. Если мы узнаем, что вы кому-нибудь рассказали, о чем мы с вами здесь говорили, нам, само собой, придется принять меры.

Текст прыгал у Гонзы перед глазами, он прочел с большим трудом, потом поднял глаза на терпеливо ожидающего Мертвяка:

— Значит...

— Вот именно,— прервал его Башке с довольной улыбкой.— Не говорите, что не рады, все равно не поверю. Понимаете теперь, что разговоры о нашей жестокости в значительной мере несправедливы? Я рад, что могу это сделать. Право. Мы не людоеды и действуем только по закону. Вы не признались — ничего не поделаешь. Может быть, тут в самом деле ошибка, бывает иногда такое странное стечение обстоятельств, и мы не непогрешимы. Бывает, бывает. Хотите закурить, чтоб успокоиться? Да не бойтесь, теперь можно. Представляю себе, что значит для курящего так долго не курить, а паек маленький. На сей раз закроем глаза, что вы не сообщили о той листовке, а то пришлось бы ползавода посадить, и производство станет, верно? Но только на сей раз! Вы теперь знаете, что должны сделать, если натолкнетесь еще на что-нибудь подобное...

Он встал, обошел, прихрамывая, вокруг стола и улыбнулся с самоуверенной благосклонностью.

— Если случайно встретитесь с кем-нибудь из этого... «Орфея»... скажите им, чтоб они бросили! Пока не поздно! Ведь глупо! Переловим их как мышей, жаль молодых людей. И рук, нужных государству. Прошу передать им это от меня лично,— прибавил он с явственным смешком.— А вы научитесь играть как следует в шахматы! Вы играли schrecklich *.

Он отковылял к двери и повернул ключ.

— Можете идти!

И это была, в сущности, самая большая неожиданность, которую Гонзе привелось здесь испытать.

■

Его охватило головокружительное чувство легкости и трепетной радости, хоть и не без примеси подозрения. Нет, это невозможно, не может быть, чтоб этим все кончилось... да, но я на свободе и могу идти, куда хочу, могу шататься, как пьяный, по заводу и дышать полной грудью...

Тьма, агатовая тьма свистела в сплетениях проводов и плескала ему в лицо облачной водой, но это было очень приятно. Он слизывал капли с губ, подставлял лицо дождю. Куда? К ней! Фюзеляжный притягивал его, как свет — ночную бабочку, он протащился мимо караулки, в главных воротах посмотрел на часы: половина десятого, господи, сколько же времени там проторчал! Ребята снова уже на работе.

Услыхал, что кто-то зовет его из ворот, узнал певца.

— Иди сюда, компаньеро, здесь тебя ждут!

Мама. Он увидел ее в жарко натопленной комнатке за караулкой, она встала со стула в своей железнодорожной шинели с сокрушенным лицом и глазами, подведенными бессонной ночью. Она пошла ему навстречу, подавляя рыдания. Он был ей благодарен за это.

— Енка!

---

* Ужасно *(нем.)*.

Он еще не был уверен в своем голосе и предпочитал не открывать рта — наклонился к ней и дал себя обнять и поцеловать, что ж такого, ведь это моя мать, я вышел из этого женского тела, и она имеет теперь естественное право прикасаться к нему с этим особенным жадным чувством собственности, словно лихорадочно стараясь убедиться, что я целый и что ни кусочка меня не осталось там, нет — руки, ноги, голова — все здесь. Ну довольно, прошу тебя! Его смущали глаза веркшуца — этот взрыв чувств как бы застал его врасплох. Он осторожно высвободился из ее объятий.

— Все уже в порядке,— предупредил он ее вопросы, боясь, как бы это свидание не приобрело слишком патетического характера.— Павел заходил? Почему ты здесь?

— Я хотела... хотела идти туда, Енка...

Его смяла внезапная растроганность; к ее материнской тревоге примешивалась почти девичья застенчивость, он не удержался, погладил ее по каштановым волосам. Они были мокры от дождя. Красивая еще, подумал он с горькой гордостью, у меня довольно красивая мама.

— Отпустили меня. Все объяснилось.— Он нарочно сказал это громко, чтоб слышали веркшуцы.— Утром буду дома.

Вот и все, и сразу, словно им больше не о чем было говорить, их охватила обычная неловкость. Балда, надо было бы ей что-нибудь сказать, ну хоть что ты очень рад ее приходу. Он не сумел выговорить этого, его хватило только на самые банальные вопросы — что нового дома, что делает дед,— и все то, что несмело затрепетало между ними в первую минуту, улетучилось. Он даже преувеличенно забеспокоился, как бы не ушел последний автобус в город, а ей ведь утром на работу; она грустно согласилась и унесла во тьму свое безмолвное разочарование.

Он с трудом подавил желание еще раз окликнуть ее и только помахал рукой, наугад, по направлению к автобусной остановке.

— Хорошо кончилось, компаньеро?

— Кажется.

Он откозырял и пулей выскочил из караулки.

Все стало какое-то другое, а может, все прежнее, только я изменился. Видно, взросление — не плавный процесс, он идет скачками в решающие дни, а то и минуты.

В лицо ему ударил железный грохот, запах металла и затхлого тепла. Он втянул ноздрями воздух и зашагал по проходу к стапелям, не глядя по сторонам. Но, сделав несколько шагов, ясно понял, что его возвращение не осталось незамеченным. Сотни глаз следили за ним с показным безразличием, с дружеским удивлением или с безотчетной тоской, как за ожившим покойником, как за каждым вернувшимся оттуда; им казалось, что он отмечен, запятнан злом, но это пройдет. Я понимаю их. И, кроме того, я могу смотреть кому угодно прямо в глаза, оттого что совесть моя как перо ангельского крыла. Факт, господа! Из меня ничего не выудили.

Чей-то голос пробился к нему сквозь грохот цеха, он повернулся на него и в то же мгновение почувствовал ее губы на своих губах. Она обняла его — это была она, он узнал ее по этому шалому поступку, по тому, как она обняла его на глазах у всех, впервые показав открыто, что близка ему. Он понял все это и схватил ее за руку.

— Как только ты выдержала?

Некоторое время они были в забытьи, в полной тишине; они стояли в этой тишине одни, обнимаясь глазами. Потом она опомнилась и сунула выбившуюся прядку волос под платок.

— Не знаю. Я умирала от страха. Тысячу раз, в последний — вот только что... А теперь я до невозможности жива. Вот, потрогай!

Он беспокойно огляделся.

— Потом. Я обыкновенный смертный и чувствую себя на сцене дураком, понимаешь?

— Абсолютно не понимаю. Пускай смотрят, мне нечего стыдиться. Вот человек, которого я люблю, смотрите! — Она опустила ресницы.— Ты не боишься, что я тебя съем?

В проходе между крыльями на него натолкнулся ничего не подозревавший Богоуш, он вскрикнул от неожиданности и выпустил из рук шланг от пневматического молотка.

— Могилы разверзаются! Что с тобой было, друг?

— Ты не поверишь, но они решили спросить моего совета, где пустить в ход тайное оружие — на Западе или на Востоке.

— Вот дерьмо! — выругался будущий ученый и провел рукой по своей бороде.— Врешь ведь?

— Ни капельки. Кроме того, я позорно проиграл партию в шахматы. Ты случайно не видел Павла?

— Нет. А что?

— Да хочу спросить его насчет одного хода слоном. А Бацилла где?

— Болен. Вчера еще скапутился, с желудком что-то. На складах вчера аресты были... Ну, пока!..

Мелихар поправлял изоляцию на подвесной лампе, он кинул на вернувшегося хмурый взгляд и непристойно выругался:

— Наконец-то! Я уж думал, придется мне обучать какого-нибудь нового зас...ца! Нам со вчерашнего дня прибавили еще одно крыло, так что зевать нечего!

И как ни в чем не бывало он взял молоток и с нетерпением стал ждать, когда напарник найдет поддержку и залезет под крыло.

Ну вот, размышлял Гонза под оглушительные удары, пусть-ка теперь Милан врет насчет рабочих! Вот вам один из них. И хоть Гонза уже знал разные капризы своего напарника, но такого он не ждал: в том, как Мелихар его встретил, не было ни капли дружеского участия, даже просто чувства — одна резкость и чуть не гневное осуждение. Словно Гонза прогулял на свой страх. Сволочь, бездушный чурбан! Кретин! Его взяла досада, он работал, стиснув зубы, замкнувшись в гордом молчанье, и не думал скрывать свои чувства. Дзуб, дзуб! Как можно скорей отыскать ребят и успокоить их! Неужели не знают, что я вернулся? Как же это никто из них еще не подошел? Боятся, что ли?

Задумавшись, он не успел снять палец с головки заклепки, железо задребезжало под молотком. От острой боли поддержка вывалилась из рук, Гонза тихонько застонал и сунул палец в рот: обычно это помогало. Зажмурился, претерпевая боль.

— Что такое? — загремело у него над головой.— Работаешь, так не думай о всякой чепухе, черт возьми! На такую работу мне...

Ох, это мучительное желание кинуть в него молотком или хоть швырнуть ему в лицо самые грубые оскорбления! Сдержался. Не опускаться до его уровня! Показать ему свое презрение! Он сплюнул и, чуть не задохнувшись от бешенства, поднял поддержку.

Давай! Меня не заденешь, дикарь!

Только когда закончили крыло и устало перевели дух, с напарником произошла одна из свойственных ему непонятных перемен: он отер пот с лица, осклабился и сам надкусил кислое яблоко примирения; вид у него был как у виноватого мальчишки. Он подбросил поддержку, что обозначало обычный призыв: ну-ну, сколько раз поднимешь?

— Ну что, молодой?

Неохотное пожатие плечами.

Мелихар поскреб себе виски.

— Ежели ты рассчитывал на триумфальную арку с певчими...

Гонзу обозлило, что Мелихар понял причину его строптивости и так бесцеремонно ее обнажил. Он промолчал. Напарник вынул из кармана мятую пачку дешевых сигарет вчерашней выдачи — в ней оставалось всего три штучки.

— Пойдем подымим, что ли, молодой.

Приглашение нельзя было просто отклонить: пошли. Меня не умаслишь, твердил про себя Гонза. Коридор, ведущий во двор, был пустой и холодный, за дверью свистел ветер. Закурили молча.

— Дали вам там хоть кофей-то? — прогудел Мелихар.

Гонза дрожал от холода, но нарочно не спешил с ответом.

— Почти что так.

— Гм... И просто взяли да отпустили?

Гонза выдохнул облако вонючего дыма. Ломай себе голову! Потом с небрежным лаконизмом бросил:

— Взяли да отпустили.

— Ну да! — промолвил Мелихар.— Они ведь добрые, факт.

Он сильно затянулся, огонек сигареты озарил его лицо; он перестал расспрашивать, но Гонза готов был поклясться, что Мелихар усмехается в темноте. Это побудило Гонзу начать самому.

— Ничего из меня не выудили.

Это прозвучало строптиво.

— Понятное дело. Они ведь круглые дураки, это уж как есть. А вы почем знаете, что не выудили?

— Голова-то у меня есть на плечах? — В голосе Гонзы был оттенок неуверенности.— А что вы хотите сказать?

— Ничего. Не выудили, так не выудили.

Мелихар простуженно раскашлялся, потушил сигарету пальцами и кинул взгляд вдоль коридора.

— Только вот что...— равнодушно пробормотал он,— другой раз многое выдашь, хоть и держишь язык за зубами.

Куда он гнет? Почему не говорит прямо, черт бы его побрал!

— Послушайте,— продолжал Мелихар, чуть шевеля губами,— знаете, что такое подсадной? Нет? Старый трюк. Подсадной пьянеет от того, что его выпустили на свободу, и приводит к ним остальных, как на веревке. Тут много глаз.— Ткнув безмолвного помощника в грудь, он прибавил:— Конечно, лучше всего, когда ты ни во что не впутывался, а потому никто из тебя ничего не может выжать, правда?

Что у тебя на уме? Вызывающая беззаботность, с которой говорил Мелихар, задела Гонзу.

— Откуда вы знаете, что из меня нечего было выудить? — вырвалось у него.— Думаете, я трус? Зас...ц с аттестатом? Было, если хотите знать... было!

— Заткнитесь! — резко остановил его Мелихар, не видный в темноте коридора.

Кто-то прошел мимо, дверь скрипнула, шаги удалились, но напарник долго не подавал голоса. Гонза слышал его дыхание, испытывал тягостное ощущение, что на него смотрят в упор.

— Да что я тут с вами время теряю...— промолвил Мелихар уже без всякого пыла.— Неохота мне из-за вашей болтовни беду нажить. Я ничего не слыхал, хоть расшибите свой ученый кочан! Ничего не поделаешь... никогда вам не образумиться, одно слово — гимназистик!

— Главное — вы благоразумны! И такие, как вы...— кинул Гонза, задыхаясь от злобы. Выпрямился лицом к лицу с этой огромной тенью. Взорвался. Теперь-то я ему все выложу! Все, что о нем думаю! Гонза с изумлением слушал себя: — Вам мажут медом по губам... подкупают вас деньгами и водкой, чтобы вы для них вкалывали... вы нужны им для

их войны... Вы благоразумны! Эти ваши электроплитки... эта шарашка... Деньги-то не пахнут! Плевать вам на все, так?!

Он не договорил. Прежде чем он понял, что в бешенстве наговорил лишнее, было уже поздно: крепкая рука схватила его за шиворот и стала трясти, как сухую тростинку, превратив в беспомощный предмет. В лицо ему пахнуло прокуренным дыханием.

— Ты!.. Нахальный зас...ц! Только пикни — пришибу! Ты... будешь меня упрекать, а сам дальше собственного носа не видишь! Кто тебя кормит, дохлятина? Как ты смеешь оскорблять людей, которых не понимаешь... ты, пузырь надутый... кабы ты не был такой дохлый...

Сейчас он меня убьет! Зачем я это сказал, дурак... Ну и пускай, пускай знает! Гонза с бешеной силой уперся ему в грудь.

— Ну и бейте,— прохрипел он, почти теряя сознание.— Бейте... чтоб мне не отвыкнуть... я уже привык там...

Руки Мелихара разом разжались — страшная сила, прижавшая его к стене, чуть не лишила его последнего дыхания, но теперь он был свободен. Шипение, как из лопнувшей трубы парового отопления. Это было все. Мелихар уходил, нет, бежал, может быть, испугался силы своих рук, он распахнул дверь в фюзеляжный, огромная фигура его скользнула в полосе света и скрылась в проходе.

Эхо захлопнувшейся двери отдалось в пустом коридоре.

■

Что же это? Что я наделал? Я там с ума сошел, совсем спятил. Оскорбил Мелихара. Что я знаю? Он прав, прав, он меня предупреждал, он добра мне хотел, конечно! Как же теперь быть? Поправить дело, пока не поздно. Подсадной... А что, если он прав, и мое освобождение в самом деле ловушка? Во что бы то ни стало найти ребят и все им выложить, пока они не наделали глупостей. Ох, этот нож!

Голова трещала от напряжения, в животе урчало от голода. Гонза провел рукой по лицу и вышел во двор глотнуть чистого воздуха, но не мог освободиться от отвращения к самому себе. Извинюсь перед ним, переломлю свою идиотскую гордость!

Вернувшись в цех, он уже с порога стал искать глазами кого-нибудь из ребят, но никого не увидел. Где Павел? Где Войта? Как это они сами до сих пор меня не отыскали? Что с ними случилось? Спокойно! По проходу навстречу ему шел Пепек. Нет, я тогда не ослышался. Посмотри на него, вот кто тебя подсидел, а теперь спокойненько посвистывает себе, выпятив губы, кепчонка ухарски набекрень, вот увидел тебя, изображает удивление, хоть наверняка давно знает, что ты вернулся! Не вотрешь очки!

Спекулянт моргнул и только — на лице его ни один мускул не дрогнул.

— А-а, привет. Ну как дела?

— Как видишь,— отрезал Гонза с кривой улыбкой.— Цел остался.

— Славно, милок. И ничего не выжали, а?

— А ты знаешь, что из меня могли выжать? — В этом вопросе была вызывающая двусмысленность, на которую его подбил вопрос Пепека. Гонзе показалось, что шучье лицо в какую-то долю секунды дернулось, но Гонза сам вывел его из затруднения.

— Какая-то ошибка. Ничего серьезного...

— Да ну? — удивился Пепек. Сопнул носом.— Может быть. Люди— сволочи. А как...— запнулся он,— взбучку... получил?

В вопросе таился животный страх перед побоями. Нет, ничего ему не сообщать, а ребят предупредить! Если он догадается, что я о нем знаю,— это может стать опасным.

— Да нет.

— Славно. Зря болтают. Как и насчет этих евреев...

Спокойно! Это не Яго, эстет, смакующий зло, это просто загнанная в угол крыса. Нетрудно представить себе, как пара оплеух заставила его говорить, как он хныкал, давал обещания и скулил от страха, чтоб только не развеялась заветная мечта о красивой жизни.

— Само собой. Было даже интересно.

— Вот и хорошо,— вздохнул оживленно Пепек.— Курева не нужно? По двадцатке. Набитые гильзы подешевели.

Что же ты им скажешь, мерзавец? Что ошибся?

— Не надо,— мягко отказался Гонза.— Мне бы чего-нибудь пожрать.

Пепек с удовольствием перешел на свою любимую тему: заметил ты новую кошечку в «Девине»? С Коброй работает... Лакомый кусочек. Буфера — во!

— Ну, будь здоров! — прервал его Гонза на полуслове.

Он увидел Павла. Тот медленно шел от конторы к своему участку, тонкий, чуть сутулый, руки у него висели, и он, казалось, безразличен ко всему окружающему. Гонза догнал его, тронул за локоть.

— Привет.

Павел обратил к нему бледное лицо, как будто ничуть не удивившись.

— Привет.

Он опять отвернулся и не замедлил шага, так что Гонзе оставалось только приспособиться к нему. Павел будто спал на ходу.

— Мне нужно с тобой поговорить.

— О чем? — шепнул Павел, не пошевелив губами.

Все стало другое, и в Павле какая-то перемена. Гонза, озадаченный, помолчал, потом высказался напрямик:

— Что дурака валяешь? Не делай вид, будто не о чем.

— Не останавливайся,— пробурчал Павел; он упорно глядел вперед с таким видом, словно хотел отделаться от Гонзы.— На нас глаза пялят...

Замечание было разумное. Гонза признал это и подчинился. Что они все — ошалели от страха? Или что-то произошло? Разве он не рад меня видеть? Перегибают палку с этой конспирацией! Что из того, что кто-то нас видит вместе, ведь это не первый и не последний раз, и тут нет ничего примечательного.

— Все в порядке, кажется. Пока что! Они из меня ничего не вырвали, но, видимо, знают порядочно! Мы наделали кучу глупостей.

Голос его тонул в гуле цеха, он шептал Павлу на ходу, не зная, с чего начать, но с каждым словом усиливалось ощущение, что Павел почти не слушает. Больше того: не хочет слушать, старается ускользнуть от него.

— Где ребята?

— Какие?

Невероятный вопрос, кинутый в пространство перед собой.

— Милан.

— Переведен в погрузочный. Бригада «раз-два, взяли». Только в дневную смену.

— А Войта?

— Завтра приступит на стартовой. На аэродроме. Тоже перевели...

— Как же так?

— А я почем знаю? — прозвучал равнодушный ответ.

— Нас разогнали, но кто? Кто это устроил? Значит, кто-то о нас знает... и так вдруг... Должно быть, это наши люди...

— Молчи!

Они подошли к крылу, у которого работал Павел, и остановились. Павел неизвестно почему глядел в сторону, и на лице его была написана тревога.

— Мне кажется, я сошел с ума. Что с тобой сделалось, Павел?

— Я ничего не знаю, не задавай дурацких вопросов и шагай дальше! Имей соображение!

— Но надо же нам...

— Что, скажи, пожалуйста? Советую тебе ничего не предпринимать, никого не разыскивать и обо всем забыть! Ясно? Так нужно, понимаешь? Когда все успокоится, мы тебя сами позовем...

Он повернулся и отошел от остолбеневшего Гонзы, как будто сразу забыв о нем; взял молоток и нажал спуск.

Трррррра! Залп карательного отряда!

Шагай дальше! Но почему? Или мне просто кажется? Ты прокаженный, отмеченный, можешь заразить всех, держись подальше! Один! Выброшен на пустынный берег посреди шумного множества знакомых людей. Что тут произошло? И что делать? Забыть, не искать их? С ума сойдешь. Мы тебя сами позовем! Не звучит ли это как вызов на суд? Сами позовем. Кто? Мы, остальные. Но почему? В чем они подозревают меня?

Он поплелся к своему стапелю, а на душе у него кошки скребли, он насильно заставлял себя передвигать ноги. Мелихар, копавшийся в жестяной коробке, окинул подошедшего загадочным взглядом. Он не дал Гонзе открыть рот, отмахнулся от его извинений и указал ему на поддержку под крылом. Стук молотка зазвучал для Гонзы прелюдией к примирению без слов, но в воздухе не рассеивалась напряженность, и неуловимое ощущение, будто почва уходит из-под ног, осталось.

Больше того — оно усиливалось.

2

Дверь чуть заметно приоткрылась, кто-то глянул сквозь щель во тьму коридора и сейчас же закрыл опять. Он узнал голос Бациллы.

— Ребята, это Гонза.

И снова тишина, словно они там внутри шепотом совещаются, впускать или нет. Он потоптался на месте и еще раз отстукал по деревянной филенке условленный сигнал.

Наконец дверь приоткрылась, послышался голос Павла:

— Входи!

Он вошел в темноту. Только после того как дверь за ним захлопнулась, на столике зажглась лампочка. Невнятное бормотание было ответом на его приветствие. Глаза привыкли к свету и начали различать лица. Здесь были все. Они смотрели, как он снимает мокрый плащ, и молчали. Возникло гнетущее, хоть ничем и не обоснованное ощущение, будто он — непрошеный гость, но он сейчас же отогнал его. Глупости!

Он хотел занять свое обычное место на кушетке, но кто-то подставил ему стул; это немного его удивило, но он сел и стал дуть на застывшие пальцы.

Почему они молчат? Он растерянно огляделся. Павел пристально смотрел на него из охровой тени — неподвижно и печально; Войта отвернулся, смущенно сложив большие руки на коленях, Бацилла, сидя на расклеившемся стульчике, избегал прямого взгляда, и его жирное лицо все обвисло, как жидкое тесто. Милан рассматривал Гонзу, пытливо прищурившись; его все время душил кашель. «Орфей!» Весь «Орфей»

палицо, опять они все вместе, все по-прежнему — и в то же время по-другому. В чем? Гонза не понимал, но это было в воздухе. Да уже в том, что сидит он против них на стуле, как бы отдельно. Это намеренно? В их поведении нет ничего враждебного, но напряженность такая, что ее можно пощупать.

Он вздохнул с облегчением, когда Павел тихо нарушил молчание:

— Никто не видел, когда ты шел сюда?

— Будьте спокойны. Это исключено.

Он стал поспешно описывать, как добрался, но уже во время рассказа понял, что не в этом дело, и оборвал на полуслове; смутившись, стал рыться в карманах, но ничего не нашел. Милан протянул ему потертую коробочку, в которую собирал для других окурки. Гонза поблагодарил его взглядом и с преувеличенной тщательностью стал свертывать сигарку, а все следили за его действиями, как за священником, совершающим обряд.

Он закурил и поднял глаза.

— Ну, давай!

Павел не пошевелился, по-прежнему лицо его было в тени.

Только заговорив, Гонза почувствовал какое-то облегчение. Он старался рассказывать как можно подробнее обо всем, что ему пришлось пережить, боясь забыть самую незначительную, пусть даже ничтожную мелочь; он опустил все, относящееся к его личным чувствам, зато изложил свои соображения. Нужно все хорошенько продумать, ребята! Этот старикан, я его знаю, мы должны найти его и попробовать, что можно... Не знаю... Может, его кто-нибудь послал, и через него найдем нить. Что он там делает? Не знаю. Может, случайно услышал что-то, а может, и так сбрехнул — следует допустить и это. Нет, я не ослышался, в этом готов поклясться, хотя, признаюсь, я там совсем обалдел. Там знают обо всем, что мы до сих пор затевали.

Пепек Ржига. Факт. Нам надо повести дело иначе и быть осторожней, ребята, а то нас сцапают, как пить дать! Твой нож, Войта, я сам видел, собственными глазами, в лапах Мертвяка.

Они слушали, затаив дыхание, ошеломленные, и волнение их достигло высшей точки, когда он передал им оскорбительный совет Башке. Они были явно задеты. Милан плюнул, Бацилла, выпучив глаза, заерзал на стульчике. Страх, загнавший его в кровать, снова овладел им. Господи! Какая скотина!

Они были задеты, от Гонзы не ускользнуло, что они с трудом подавляют свои чувства, но странно было, что никто его не перебивал; как будто они натянуто и строго молчат, заранее сговорившись предоставить ему самому запутаться в противоречивых соображениях и вопросах, на которые нет ответа. У него снова возникло леденящее чувство, что он перед судом. Вздор! Он отбросил его и продолжал говорить, как граммофон, который забыли остановить. Допустим, они хотели сделать из него подсадного — термин, который он впервые услышал от Мелихара,— и накрыть через него весь «Орфей», а может, и еще кого... тех, о ком мы даже не знаем. Но ясно одно: кому-то безусловно про нас известно!

Он кончил, скользнул взглядом по лицам товарищей и с замиранием сердца увидел, что они отводят глаза в сторону. Тут он взорвался:

— Да говорите же, черт побери! Что у вас — язык отсох?

Бацилла испуганно опустил голову на грудь, Милан харкнул в платок, Войта кусал губы, блуждая взглядом по стенам. «Орфей»! Так вот чем все кончается, и это после всех торжественных клятв! Возможно ли это?

— Как будто я пришел не по тому адресу. Ну же, Павел! Войта! Неужели я не заслужил... Что случилось?

Павел, собравшись с духом, обратился ко всем:

— Кто хочет высказаться? Что же вы молчите?

Не получив ответа, он устремил из полумрака на ничего не понимающего Гонзу сочувственный взгляд и слабо махнул рукой.

— Нет... ничего особенного. Дело не в том, и нет смысла...— Он както странно запинался, будто каждое слово стоило ему мучительных усилий.— Понимаешь... никто из нас против тебя лично ничего не имеет. Не может иметь. Мы верим, что ты держался молодцом. Если б ты проговорился, ни один из нас не сидел бы сейчас здесь. Этого никто у тебя не отнимает. Мы хотели тебя позвать, когда ты придешь в себя, и сказать тебе о нашем решении, но ты сам пришел... Ну, что поделаешь? Оказалось, что ты нарушил главное обещание, которые мы дали друг другу в самом начале... и это... пойми...

— Обещание?

— Погоди, мы долго об этом толковали, поругались даже, но... Все, что ты нам сказал сейчас, мы учтем, но...— тут и Павел отвел глаза в сторону и слегка задохнулся.— Но без тебя!

Кто-то прошел по галерее, половицы жалобно заскрипели. Все остановилось. Два слова невыносимо долго звучали, отдавались в четырех стенах; Милан выпустил коробочку из рук, она шлепнулась на стол, все, вздрогнув, обернулись. Стыд, темная печаль и сомнения.

— Значит...— хрипло вырвалось у Гонзы.

— Да. Так необходимо.

Приговор был вынесен, и все почувствовали предательское облегчение; только осужденный не понимал. Рассматривал свои пальцы, траур ногтей, потом снова стал бессмысленно шарить у себя в кармане, и Милан снова протянул ему свою коробочку. Гонза устремил на него неверящий взгляд, и пальцы у него так дрожали, что он не мог скрутить сигарку. Пепел падал с бумажки на пол. Без тебя!

— Вы ошалели, ребята? Играете в аутодафе?

— Мы не играем,— возразил уже твердо Павел, выпрямившись.

— Но ведь я... я же, правда, ничего не выдал! Я не хвастаюсь... Не знаю, как было бы, если б меня прижали в гестапо, мне повезло, но клянусь вам, ребята... Мертвяку я ничего не сказал! Ничего! Поверьте мне! Ровно ничего! Подохнуть на этом месте, если вру!..

— Никто и не утверждает, что там...

— Так где же, черт побери? — воскликнул Гонза, уже вне себя, но приятельный и словно неумолимый взгляд Павла лишил его уверенности.

— Ей.— Павел наклонил голову.— Я сам с ней говорил. Все ты ей про нас выболтал. Этого ты не станешь отрицать.

Удар был нанесен с неожиданной стороны. Свет лампочки резал глаза, в теле была слабость. Да, этого он не отрицает. Это так. Они правы. Мелихар, Павел, Милан, все. Зачем я тогда рассказал ей? Сам не знаю.

Он встал, бледный, нагнулся, чтоб взять пальто, никто его не удерживал. Ждут, когда я испарюсь,— пришло ему в голову, пока он одевался. Жаль. Он заметил расстроенный и сочувствующий взгляд Бациллы, этот жирный добряк с трудом сдерживал желание сказать ему что-нибудь утешительное; Павел сидел подавленный, полный отчаяния; но лицо Милана — лицо беспощадного судьи после приговора — заставило Гонзу заговорить.

— Мне нечего объяснять,— выдохнул он, с усилием выпрямляясь,— это было. Если б я мог, я взял бы обратно все, что сказал ей,— хоть в этом-то поверьте мне, ребята. Я подчиняюсь вашему решению...

Понимаю вас. Ну что ж. Но я прекрасно представляю себе, кто здесь торжествовал,— кончил он, вперив взгляд в Милана.

— Оставь,— прервал его строго Павел.— Ты ошибаешься.

— Может быть. Но теперь это уже не имеет значения. Я не стану выклянчивать милости.— Он говорил, чувствуя, как слова беспомощно хлопают крыльями.— Надеюсь, вы не думаете, что это она меня выдала! Вчера на Вацлаваке забил фонтан нефти... Не верите? Но это куда правдоподобней. Я знаю, что мог бы сказать Милан, наизусть знаю. Личные чувства — в сторону! Может, он и прав со своей точки зрения, но это — холодная, нечеловеческая правота, она для меня неприемлема. Я пошел на это добровольно, потому что до конца жизни не простил бы себе, что уклонился, когда затевалось большое дело. Но больше не могу! — Комок подкатил к горлу, он продолжал: — У меня нет никакого мировоззрения, как вот у Милана, и я этого не скрываю... никакого бога, никакой философии, я ни с кем и ни с чем не связан. У меня есть только она. И я не променяю ее ни на что, ни на какую фикцию будущего рая, в который я не очень-то верю, ни на какую идеологию. И ни на какое будущее! Без нее я никакого будущего даже не представляю. Мне наплевать на все. Я гордился «Орфеем»... но могу обойтись и без него. И не останусь одиноким. Не пожертвую ради этой глупости самым важным, что я нашел. Что я должен был сделать? Отказаться от нее? Нет — можете считать меня хоть скотиной... Тебе, Павел, я удивляюсь... неужели ты не понимаешь...

— Нет, не понимаю! — Павел нервно взъерошил рукой свои светлые волосы.— Этим не объяснишь, почему ты проболтался!

— Почему? Я и сам теперь не знаю. Но это уж все равно... Может быть, потому, что верю ей. Как самому себе Может быть, более того — потому что не сумел что-то скрывать от самого близкого человека... потому что... это...

Довольно! Довольно! В глазах у него уже накипали слезы, и все в нем собиралось взорваться; он на ощупь искал ручку двери, чувствуя, что больше не в силах говорить.

Ему удалось бы уйти, если б Милан, все время сдержанно молчавший, не пригвоздил его к месту.

— Я одного не пойму. Если ты так ее любишь, то хоть не должен быть таким слепцом и не знать, с кем она встречается... С кем таскается по ночам...

— Заткнись! — остановил его Павел.

Поздно.

— Что ты сказал? — промолвил дрожащими губами Гонза. Новый удар и опять с незащищенной стороны — он зашатался под ним, но тотчас словно оцепенел.— Повтори!

Дрожь охватила его.

Милан успел только поднести руку к лицу для защиты.

— Зачем же я буду... Сам проверь, черт возьми!

Он не договорил. Попробовал освободиться, оторвать пальцы, с судорожной силой вцепившиеся ему в горло. Гонза тряс его, поднял со стула, как тряпку, он боролся с ним, вонзил в него ногти.

— Говори! — хрипел Гонза у самого его лица.— Скажи еще раз, ты... скотина... я убью тебя, убью, если ты коснешься ее своей ядовитой слюной, ты, грязная крыса...

Только теперь все опомнились от неожиданности. Кинулись разнимать и вырвали Милана, который уже хрипел; шум, падение стульев, сиплое кряхтение отвратительной драки, в этом рехнувшемся дьяволе не узнать было прежнего Гонзу, он обезумел, он убил бы, если б Павлу и Войте не удалось общими усилиями вырвать у него из рук совершенно обессилевшего Милана.

Хватит, опомнись, сумасшедший!

Они охали и пыхтели от усталости, ошеломленные происшедшим, но не успели прийти в себя и собраться с мыслями, как Гонза, резко метнувшись в сторону, вырвался из рук Войты,— и дверь за ним захлопнулась. Оглушительный удар грохнул по засыпающему дому и разлетелся по галереям, промчалась буря торопливых шагов по деревянной спирали лестницы, и настала тишина, испуганная, зыбкая тишина.

■

Они старались не смотреть друг на друга. Милан сидел, неестественно наклонившись вперед, измученный, судорожно кашляя и вытирая взмокший лоб грязной рукой. Он дышал открытым ртом, как загнанная птица, и глядел в пустоту.

— Послушай! — взорвался Войта.— Если ты это выдумал...

— Что вы на меня таращитесь? — раскатилось картавое «р» — голос Милана сорвался смешной фистулой.— За кого вы меня принимаете? Что я — из пальца высосал?.. Мне Лекса сказал, значит, железно! Он знает всю историю с ее братом, не станет врать. Лекса не врет! Он все знает. Что же мне было — молчать? Он обязался — значит, это уж не его личное дело! Знаете, что могло с нами быть!

Это звучало убедительно, но он все же чувствовал, что слова его вызывают в них какой-то молчаливый и в корне нелепый протест, который заставил его продолжать:

— Конспирация имеет свои законы,— опять он говорил как проповедник.— Вы до невозможности сентиментальны. Я сказал это и для его пользы, факт! Я тоже представляю себе, каково ему будет, но в таких делах сострадание побоку, слишком многое поставлено на карту.

Никто не возражал, но атмосфера была отравлена.

— Так что же? — послышался из тени голос Павла.— Нас ведь еще четверо, а?

Он вытащил из-под кушетки картонку с бумагой и поставил ее на стол.

— Я составил текст новой листовки. Надо ее как можно скорей выпустить, иначе Мертвяк убедится, что напал на след. Правильно?

Ответа не было. Растерянность. Никто не пошевелился.

Кроме Бациллы.

— Я...— промямлил он с затуманенными глазами.— Я не знаю, ребята... я больше не могу... я не уверен, что мы правы... ведь он нас не выдал... и мне как-то не по себе.

— Не мели зря, Бацилла,— прервал его с отвращением Павел.— Мы что, вчера слова на ветер бросали? Это уж чушь.

— Нет, ребята, не чушь, и я...

Беспомощный жест пухлой руки повис в воздухе. Как им растолковать? Словами не опишешь: этот постоянный страх, который медленно сдавливает тебя, и вот ты раскалываешься, как орех между створок щелкунчика.

— Должен вам сказать, ребята... я дерьмо. Не гожусь я, видно, для этого дела и не знаю, выдержал бы, как Гонза, если б меня начали бить...

Позорное признание растаяло в смущенной тишине, и никто не был удивлен. Лучше не думать, что было бы, если б Мертвяк поприжал его! Павел оглянулся на Милана — сейчас Милан обрушится на этого несчастного, обдаст его целым ливнем отборных ругательств: буржуй, обжора, трусливое брюхо! Катись отсюда! К мамуле! Под перинку!

Но тут Милан поднял голову, обвел присутствующих взглядом и, увидев их ожидающие взгляды, откашлялся.

— Что вы на меня уставились? Он хоть сумел об этом прямо сказать. Никто из нас ни в чем не может его упрекнуть.— Потом он прибавил с лихорадочным блеском в глазах: — И я — меньше всех...

Изумление, которое он прочел в их глазах, не остановило его, он не позволил своим глазам уйти от их взглядов и рассказал им все о себе. Он запинался, он вонзал себе ногти в ладони и не щадил себя:

— Я думал, что преодолею, но это сильней моей воли, моих убеждений, моего разума, этот холод в животе, Лекса знает это за мной, помните, как он предостерегал вас насчет меня... Тот раз, возле конторы, когда нас заметил веркшуц,— помните? Я тогда ведь смылся, ребята. Сбежал, как зас...ц,— не думал ни о чем, кроме как о своей шкуре. И не признался вам в этом, да! Я не хочу отступаться от дела, не хочу, мне тошно было бы жить, но теперь я должен был сказать вам это. Решайте сами! — успел он прибавить перед тем, как новый приступ кашля заставил его замолчать.

Что-то всплывало на поверхность — такое, чего никто не ожидал. Гнусный вечер! Выломился один кирпич — и другие посыпались, вся стена вот-вот рухнет, конец, конец «Орфею»!

Первым встряхнулся и заговорил Павел.

— Тебе надо прежде всего лечь в постель и лечиться, Милан. Болтаешь черт знает что, у тебя просто жар.— Он положил руки на колени и совершенно спокойно оценил ситуацию: — Похоже на то, что мы промахнулись. Корить друг друга бессмысленно. Уговаривать тоже. Жаль. Конечно, войну выиграют и без нас, это ясно, и никто не должен ни в чем себя упрекать. Желание у нас было. Я хотел сказать вам сегодня важную вещь. Я встретил старого знакомого, это замечательный химик. Пожалуй, пора бы нам перейти от листовок к другому — понимаете? Взрывчатка... Может, ему удалось бы, хотя вообще-то он не хочет иметь с этим ничего общего... Но теперь уж о чем толковать...

Он встал, обвел взглядом грязные стены каморки, задерживая его на отдельных предметах убогой обстановки, коснулся подушки с выцветшим рисунком, провел пальцем по абажуру на лампе, поиграл шнуром от шторы затемнения. Встал у окна спиной к остальным и засунул руки в карманы дешевеньких брюк.

— Что касается меня,— промолвил он глухим, но совершенно твердым голосом,— то я буду продолжать. Я не бахвалюсь. Я не герой и испытываю страх, как все люди. Но я должен, ребята... Есть вещи похуже страха...

Дом засыпал, но еще жил — корабль, неосвещенный корабль с живым грузом боли, и счастья, и отчаяния, и гнева, и памяти, и надежды, шурша плыл ноябрьской ночью к берегу, которого не видно. Павел вздрогнул от холода и прикрыл глаза. Обернулся на голос Бациллы.

— Может, возьмемся за дело, ребята? Уже страшно поздно, и мне пора домой. А там и передача из Лондона...

Когда они ломали голову, редактируя листовку, Войта вдруг обратился к Павлу со странной просьбой:

— Послушай, Павел, мне бы надо... пожить у тебя. Хоть некоторое время.— И в ответ на изумленные взгляды прибавил с краткостью, заранее исключавшей всякие расспросы: — Я не могу вернуться домой...

■

Блюз, это был блюз, его блюз, название которого выскользнуло из памяти, индиговый голос кларнета забирался ввысь, чтоб потом вдруг сорваться в рыдании. Не было ничего, кроме этого блюза; он бежал рядом в хлопающей тьме, развеваясь.

Сквозняк вдоль улиц играл полами плаща. Гонза опустился на мокрую скамейку в парке, перевел дух. Ветер прочесывал ободранные кусты, капли шлепали о бетон. Вода и ветер.

Он узнал угол дома по запаху свежего хлеба из пекарни, витрину с церковной утварью забила тьма, а вот и ниша входной двери! Час, когда запирают дома, должен скоро наступить... Подъезд, голубая лампочка; он побежал вверх через две ступеньки, придерживаясь за перила.

Нащупал в кармане отсыревшую коробку спичек, только третья с треском вспыхнула, дрожащий огонек пополз по дощечкам с фамилиями. Чужие, ничего не говорящие имена: Иозеф Клика, д-р Жалуд... Ага, вот! Он чиркнул новой спичкой и постучал в деревянную дверь. Ничего. Нажал кнопку звонка. Ничего. Попробовал повернуть ручку двери. Не повернулась. Обыкновенная дверь с прорезью для писем, он всунул пальцы в эту прорезь — изнутри повеяло легким сквозняком. В пустых квартирах своя особая, застывшая тишина.

Постучал еще раз, настойчивей, и ему было безразлично, что удары разносятся по пустой лестнице. Приоткрылась соседняя дверь, на плитки брызнул свет электрического фонарика, подполз к его башмакам.

— Разве не видите, что нету дома? — произнес ворчливый голос.— И поторопитесь, а то запрут дом!

Это была правда. У входной двери он наткнулся на кряхтящую фигуру — дворник брел по коридору, гремя связкой ключей, и Гонза прошмыгнул мимо, как улепетывающий вор. У него за спиной враждебно загремел ключ, и опять перед ним тьма.

И дождь.

И улица.

Он стал глядеть вдоль улицы, напрягая слух, чтоб не пропустить знакомый топот туфелек, прижался спиной к опущенной металлической шторе пекарни — хоть от дождя укрыться — и оцепенел, перестал воспринимать время. Превратился в статую, которую можно назвать «Ожиданье». Ее поставили перед булочной. Шелест дождя усилился, убаюкивал, погружал в полусон; Гонза сосчитал до ста, потом до тысячи, закрывая глаза и поспешно открывая их, когда слышались приближающиеся шаги. Нет, это широкий мужской шаг, шлепанье калош слабеет и сливается с чавканьем дождя, вот бьют часы на башне — бам-бам. Сколько же пробило? Никого. Он все стоял и ждал. Ждал. Долго ли?

Ах, не все ли равно?

А потом... это произошло с ошеломляющей внезапностью и так быстро, что он успел сделать всего два неуверенных шага от металлической шторы — под дождь. Рокот. Легковая машина с голубыми огнями — темный призрак, раздавшийся вширь, мотор еле слышно ворчал под капотом — остановилась у края тротуара, дверца, выпустив стройную фигуру, захлопнулась, и машина уплыла вниз, в темную улицу, может быть, в мир сновидений.

Дождь.

За сеткой дождя — стройная фигура.

Перед ним была она. Их разделяли всего четыре шага.

Он узнал ее сразу, но не тронулся с места.

Видимо, она его тоже узнала. Он заметил, что она остановилась как вкопанная, рука опустилась в сумочку за ключом, но не окончила этого тысячу раз повторенного движения... Это не она, не может быть! Он воспротивился этой возможности. Отверг ее. Простуженно потянул носом, дрожал от холода, но все еще не двигался: в неосмотрительном движении могла таиться развязка, неприемлемая, как смерть, как безумие или действительность. Он отчаянно пожелал, чтоб она тоже не

шевелилась — не двигайся, хотелось ему крикнуть, предупредить ее, а то произойдет что-то ужасное, непоправимое, пусть лучше она растает так же неожиданно, как появилась... Завтра расскажем друг другу об этом и посмеемся...

Он не верил, пока она не протянула к нему руку и слуха его не коснулся мучительно знакомый голос:

— Я знала, что этим должно кончиться. Пойдем!

3

И все-таки! Он здесь и, как ни удивительно, проник сюда без затруднений и без унизительных упрашиваний, был введен по бесконечным лестничным маршам, как благовоспитанная собачка, вошел в дверь и вот торчит здесь и жмурится от света, и с плаща его капает вода.

— Может быть, ты хоть плащ снимешь?

Он подчинился молча, избегая ее взгляда, ему казалось, что его движения до смешного неловки и словно чужие. Он обтер ладонью мокрое от дождя лицо.

Здесь было тепло, его удивило, что в доме центральное отопление, хоть дом не из новых.

— Ты сядешь?

Да. Почему бы нет? Он сел на край широкой постели и тотчас понял, в каком он невыгодном положении — сидеть было слишком низко, колени под подбородком, и руки казались ему длинными, как у обезьяны. На круглом столике валялась раскрытая книжка, он заглянул в нее по привычке. Рамю. За цветастыми ширмами — умывальник и плитка. Над постелью миниатюрное радио на полочке, забитой книгами. Дальше! Мягкий комочек чулок на шкатулке для шитья. Приличная репродукция Коро. У молодого человека на фотографии правильные черты Аполлона. Тонкие, строгие губы. Завоеватель. Ее глаза. Нет сомнения! Подавив предубеждение, он признал это лицо интеллигентным. В воображении эта комнатка являлась ему призрачно-нереальной; на самом деле — самая обыкновенная комната, здесь хозяйничает ее рука, ее вкус, все говорит о ней. Нарушало цельность лишь большое и, видимо, дорогое зеркало, суетной своей пышностью оно не подходило к этой бедной обстановке. Он представил себе, как она глядится в него с критической сосредоточенностью, так обычно женщины рассматривают себя в зеркалах.

Смотреть больше было не на что, и он перевел взгляд на нее.

Она стояла недалеко, лампа озаряла ее волосы, она глядела на него с той умоляющей жалобностью, с какой глядят на безнадежно больных. Это ему не понравилось. Говори, просили его такие знакомые глаза.

— Мне бы надо было представиться,— промолвил он.

— Нет. Я тебя узнала.

— Но ты — это не ты. У тебя есть сестра? Она страшно на тебя похожа. Такие же руки, губы, такие же глаза и такие же сросшиеся брови. Я расстался с ней несколько часов назад у входной двери. Ты не знаешь, где она?

Она сжала руки, шагнула к нему, заколебалась, не посмела его коснуться.

— Гонзик...

Закрыла лицо руками, но потом их резко отдернула, подошла к зеркалу и принялась расчесывать волосы гребнем. Он смотрел на нее с изумлением, склонный видеть в этом бесчувственность содержанки. Она повернулась к нему уже с невозмутимым выражением лица. Черт побери,

как умеет притворяться! Такая трогательная невинность разоружила бы целый суд присяжных, кто не попался бы на удочку.

— Говори, пожалуйста!

— О чем? Ты ведь запретила мне задавать вопросы. Как может тебя интересовать, что скажет идиот?

— Не говори так!

— Почему? — воскликнул он.— Прикажите осведомиться, как протекал обряд, мадам? Или почем берете за любовь? — Он хрипло выбрасывал из себя слова, но внешне ему удалось сохранить хладнокровие.— Мне-то уж можно сказать. Я тотально мобилизованный подсобный рабочий, нечто вроде портянки, и машины у меня нет... И вы мне не по карману. Я — голытьба.

Только ее вскрик заставил его замолчать.

Он опустил голову — в нем заговорили ужас и стыд.

Ее голос зазвучал совсем близко. Гонза брезгливо отодвинулся, чтоб избежать прикосновения, и подавил минутное, но сильное желание ударить ее. Она стояла перед ним, уронив руки, и ее отчаяние казалось таким искренним, что он на мгновение смешался. Полюбуйся — актриса в высшем взлете своего искусства! Браво, вопит зрительный зал. Тем хуже! Чего ты домогался? Куда тебе до нее! Ты — забавный шут с нищенским узелком в руке, печальный паяц, чье выступление кончится пинком под зад. А эта далеко пойдет! Камень, и тот разжалобится. Он не пошевелился, даже почувствовав ее пальцы в своих волосах.

— Чего тебе от меня еще... Оставь меня, пожалуйста! Чего ты хочешь?

— Чтоб ты взял себя в руки... на минуту... Чтоб выслушал меня!

— Зачем? У меня глаза есть. Пока еще есть.

— Теперь мне нечего таить... скрывать! Теперь — нечего, все равно я не могла больше... я боролась, но потом пришел ты... застал меня врасплох!.. И вот — кара, я знаю, но только не так, прошу тебя, так мы не должны разойтись! Только не так!

■

Он заметил, что у него невольно дрожат пальцы, надо вычистить траур из-под ногтей, как-то раз она уже меня за это отчитывала. «Ты как мальчишка»,— сказала она тогда.

Нет завтра, есть только сейчас.

— ...мне страшно,— шепчет где-то над ним знакомый голос,— страшно...

Не надо было ходить сюда, нельзя было позволить затащить сюда себя. Где-то он читал, что раненный пулей в первое мгновение не чувствует никакой боли. Именно так.

— Я струсила... Я боялась тебя потерять. Я не умею лгать... и теперь я тебя боюсь... Ты — другой... Гонзик! Очнись! Стань хоть на минуту самим собой, кричи или бей меня... только не будь таким!

Он неохотно выбрался из отупения, кивнул головой.

— Этого не проси,— промолвил он бесцветным голосом.— Если б я стал самим собой, я должен был бы убить тебя. А зачем? Я убил бы человека, которого не знаю.

«Остается поставить точку! — напишет он потом в тетрадь.— И этот эпизод не сумел ты довести до конца, до того, что называют катарсис! Человек учится только на собственном опыте, каждый проходит свою школу. Это вот твоя школа. Ты понесешь ее в себе, но по твоему лицу этого не будет видно; до последнего твоего вздоха в тебе будет жить медленно действующий яд, от которого умирают понемногу, непрерывно, но на протяжении всей жизни. Сумеешь ли ты когда-нибудь еще про-

тянуть руку к чему бы то ни было без подозрения, без скепсиса, без неверия, без леденящего страха увидеть изнанку? Не сомневайся!..»

— Кто тебе сказал?

Он поднял глаза, она загораживала свет лампы, она была тень. Силуэт. Без третьего измерения.

— Милан.

— Так и знала. Всегда я его боялась.

— Но он не лгал. Да и все они были правы. Выгнали меня как раз сегодня за то, что я все тебе рассказал. Как собаку. Сегодня мой вечер.

— Я просто голову потеряла, когда ты был там...

— Это уже неважно.

— Что ты сказал?

Он пренебрежительно махнул рукой.

— А ничего. Это уже неважно.

И в этот самый момент в нем будто прорвался нарыв, внутри отдалось какое-то странное, почти звериное завывание; это было как удар, его швырнуло к стене. Он закрыл глаза. Способность чувствовать вернулась. Он повалился навзничь на постель, пальцы нащупали подушку. «Это уже неважно!» Когда он открыл глаза, над ним плыл серый потолок, томительно чужая поверхность, растекшаяся слезами. Он перестал существовать. Осталась лишь брошенная бесформенная материя. На этом дне он смутно почувствовал, что она легла рядом. Но не придвинулась, не прижалась.

— Знаешь, когда я впервые понял, что хочу с тобою жить? Еще тогда, в поезде. Но я как-то стеснялся перед тобой. Как подросток перед взрослой женщиной. Ты казалась мне гораздо старше и была слишком красива для меня. Теперь-то я знаю, что за всем этим во мне всегда таилось эдакое скверное ощущение... что-то во мне все время ждало. Кто ты?

Прошлое удивительным образом переплеталось с настоящим, искривленное, выпяченное.

Она молчала; он предложил:

— Говори же... если, конечно, хочешь. Но ты не обязана. И я вообще могу просто встать и уйти... Может, это было бы разумней всего. Кто он?

Как будто имя имеет значение! Она отчетливо произнесла его в обессиленной тишине. Одно имя, но от этого у него перехватило дыхание, хоть он никогда его не слышал. Он повернулся на постели.

— Немец?

— Да.

Он закрыл глаза.

— Ты хочешь совсем свести меня с ума? Опомнись!

— Но это правда.

— Еще что? Не хватало только, чтоб это был какой-нибудь зверь из «Печкарны»... Да? Гестаповец?

— Нет... и не кричи. Он не оттуда... но, кажется, еще выше... у него большая власть, это я знаю!

Она назвала учреждение, название было знакомо, Гонза определенно где-то его слышал, но имел о нем лишь туманное представление; оно не так явственно пахло кровью и не имело той ужасающей репутации, как гестапо. Видимо, компания головорезов более высокого полета. В перчатках...

— И ты там шпионишь...

— Нет. Я знаю только его. Он мне нужен.

— Да? Он дает тебе деньги? Побрякушки? Или сигареты? С каких пор ты куришь?

— Я не курю. Эти просто остались тут. Зачем ты меня оскорбляешь?

— Извини...— прохрипел он.— Ты не погасишь лампу? Я не хочу ничего видеть. И не щади меня. Обещаю, что теперь выдержу все.

■

Странно! Только теперь в этой пустой тьме она осознала, что ей очень мало о нем известно, что она знает его скорей как человека — да и это довольно сомнительно,— чем как сотрудника некоего всемогущего учреждения. В этом сказалось чисто женское безразличие. Да и он не любил говорить о месте своей службы, он вообще мало говорил о себе, о своем прошлом и о теперешней работе. Он как будто не придавал ей значения, во всяком случае делал такой вид. Когда она однажды прямо спросила его, он снисходительно улыбнулся.

— Ничего возвышенного,— и махнул узкой, крепкой рукой.— Ты все равно не поймешь.— И продолжал, разговаривая как бы сам с собой.— Страшно путаное дело! Должность — формальная вещь, моя милая, все зависит от случайных влияний, от связей наверху, в общем, от того, какая у тебя власть. Система — если во всем этом есть какая-нибудь система — даже для меня самого подчас загадка. Все друг друга подстерегают — точная картина света! Поняла? Нет. Ну вот, а я ведь выболтал что-то вроде служебной тайны. Пей и не ломай голову над проблемами Новой Европы.

Иногда, особенно подвыпив, он говорил с насмешливым презрением о делах, с которыми был связан всей своей жизнью. Пошлый кретин! Он не назвал имени, но и так было ясно, кого он имеет в виду. Вероятно, он испытывал потребность облегчить душу перед человеком, который не смеет его выдать; ему нужно было кому-нибудь вышептать свои сомнения.

— Ты меня очень ненавидишь? — спросил он ее, когда они лежали рядом.

— Зачем вам это знать?

— Опять «вы». Не дурачься. Когда двое спят вместе, они могут говорить друг другу «ты». Ненависть — другое дело. Ты — чешка, у тебя брат — патриот, борец против нас... а я! Ненависть я бы понял. Не утруждай себя этим.

В мягком полумраке рисовался острый профиль с выступающим, упрямым подбородком; поросшая черными волосами выпуклая грудь вздымалась и опускалась. Правое плечо было отмечено шрамом — вероятно, от пулевого ранения. Он был не стар — ему едва перевалило за сорок. Сильное, самоуверенное мужское тело отдыхало после объятий. В такие минуты он любил поговорить.

— Хотел бы я встретиться с тобой в другом месте и в другое время, как равный с равной, даже жениться на тебе, иметь от тебя детей, зажить самой обыкновенной жизнью, быть сентиментальным и, может быть, даже немножко скучать. А что? Скука не всегда плохая вещь. Человек, переживший то, что пережил я, сумел бы ее оценить. Говорил ли я тебе, что когда-то изучал медицину? Бросил, заинтересовался другими вещами, но иногда немного жалею об этом. То ли годы берут свое. Врач! На этом поприще можно состариться и умереть с добрым чувством. Если только вообще можно умереть с добрым чувством. Я видел, как многие умирали, и сильно в этом сомневаюсь. Умирание всегда нечто противоестественное, это насилие, совершается ли оно в постели, среди рыдающих родственников, или после выстрела в затылок. Результат один: герой-патриот, мученик, дюссельдорфский убийца—ни к одному из них не приложимы все эти выдуманные понятия, после того как жизнь покинула их тело. Ты, конечно, не согласишься, и я тебя не принуждаю. Жаль. Мы с тобой друг другу вполне подошли бы. Все зависит от обстоятельств. При других обстоятельствах я мог бы оказаться на месте твоего героического братца, а он на моем...

— Нет, не мог бы,— решительно промолвила она, натягивая на себя одеяло. Ей вдруг стало неловко своей наготы.

Он улыбнулся, глядя в потолок.

— Упрямая! В человеке есть все, все свойства: от ангела до черта. Моя профессия позволяет много видеть, я мог бы тебе это доказать. Все зависит от того, какие твои свойства вызываются к действию обстоятельствами. Думаешь, твой музыкальный народец, который теперь кичится своим голубиным нравом, не восстал бы против своего крысолова, если б вас было в десять раз больше? Я не склонен его недооценивать. Сила — тоже обстоятельство, да еще какое! Ощущение силы — это магическое чувство, оно похоже на опьянение...

— Нельзя все сводить к обстоятельствам,— возразила она.— Человек — не марионетка на ниточке...

— Разве я это говорю? Но его характер, склонности, чувства, любовь к жизни и так далее, все это тоже обстоятельства. Их он не выбирал — они у него с рождения, так же как не выбирал он семью, национальность, часть света, расу, интеллект.

— В таком случае, он даже не виноват, даже не...

— Умница! Он и не виноват. Что такое вина? Суеверие, выдумка тупиц. Виноват всегда побежденный, потому что проблему виновности крепко держит в руках победитель. Так же, как право, историю, мораль и всю эту возвышенную белиберду. На это у него после победы предостаточно времени. Впрочем, в том, что я говорю, нет ничего нового, и хоть все это кажется тебе отвратительным и бессмысленным, но это так. Не думай, что это доставляет мне особенную радость, я не вижу в мире ничего хорошего...

Он лжет, лжет, говорила она себе, он — зло, живое, темное зло, особенно опасное тем остатком человечности, который в нем, кажется, сохранился! Он не убедит меня, пусть хоть разорвется! Ну и что ж? Мы выполняем по отношению друг к другу неписаный договор, он принес мне сегодня весточку, и потому все в порядке. Какое значение имеют мои взгляды? И вообще — я?

— Жаль, что мы встретились так не вовремя. Все могло быть совсем иначе. А знаешь, ведь скоро у нас с тобой маленький юбилей! Три четверти года! Это надо отпраздновать! По нынешним временам невозможно ждать крупных дат, многие серебряные свадьбы не будут отмечены!

Три четверти года! Он говорил во тьму, и она слышала его близкое дыхание. Слова его были острые осколки камней; они ранили ее, но она строго-настрого запретила себе жалеть и себя, и его.

— Уже тогда, когда я впервые тебя увидел,— продолжал он,— я знал, что у нас с тобой будет. Есть в тебе нечто...

Лучше б он молчал! Она даже не помнит, когда увидела его впервые, не заметила его тогда, жила как во сне, в вечном страхе, что сделают со Зденеком, полубезумная от чувства беспомощности, а потом ее вызвали, она стояла среди них, и вокруг были чужие лица, она не отличала их друг от друга, были только лица да ненужные, ничего не говорящие предметы: массивная чернильница, и портреты, и толстый ковер с бахромой, у стоячих часов с чеканным циферблатом был приятный, мелодичный бой, за окнами вот так же лило... Она искала глазами, не увидит ли Зденека,— страстно желала этого и в то же время боялась себя,— нет, его здесь нет, может быть, им устроят очную ставку. Нет. Она не видала его с того последнего вечера, когда он сидел у нее, вот здесь, на этой широкой тахте, с рассеянным лицом. «Ну, сверчок,— сказал он ей с улыбкой, в которой была видна тревога,— он с детства называл ее «сверчком» в те редкие минуты, когда они не ругались,— теперь ты должна стать на ноги — война, детка». А потом вышел на улицу в пальто, оставшемся от отца, и вот она стоит перед теми, кто его схватил и держит его жизнь

в своих руках. Она, наверно, бледна, но старается, чтоб они не увидели ее страха и отчаяния — она знала, что и он хотел бы видеть ее такой,— а они рассматривают ее, как экзотического зверька в клетке, и задают непонятные вопросы; по которым она даже не догадалась, что он, собственно, сделал, и спрашивают о людях, которых она никогда не знала — он ни во что ее не посвящал из осторожности,— теперь она воспринимала это как несправедливость,— и это длилось без конца, без конца, а потом ее вдруг отпустили, видимо, поняли, что она ничего не знает; ей не хотелось уходить. Она спросила их: что с ним, где он? Не ответили.

Дни, часы, минуты. Поиски его товарищей, с которыми она была знакома: одни ничего не знали, во всяком случае делали вид, что не знают, другие утешали, обнадеживали, кое у кого от страха подергивались углы рта, иные посылали сказать, что их нет дома, а некоторых она совсем не нашла, следы терялись в песке, и остались ей только отчаяние, слезы; она могла лишь бессильно метаться в постели без сна, без облегчения. Что делать? Куда обратиться? Как спасти его? Или опять пойти к ним, упасть на колени: отпустите его, пожалуйста, отпустите, он невиновен, ручаюсь — невиновен, ведь это Зденек, я знаю его с детства. Дни, недели. Потом она снова очутилась в той вилле, но там уже никого не было, за столом сидел только он, на среднем пальце у него блестел перстень с халцедоном, он не кричал и, казалось, вовсе ее не допрашивал. Выглядел он человечней, чем другие, держался дружески, и она мало-помалу привыкла к его лицу, а потом осознала, что не боится его больше. Он шагал по ковру в элегантном штатском костюме и, говоря, даже улыбался.

Дни, недели. Чего ему от меня надо? — невольно подумала она, когда он однажды проводил ее до выходной двери. Я ничего ему не скажу! Он предложил отвезти ее на своей машине, а потом они сидели в незнакомом, когда-то, видимо, фешенебельном кафе как старые знакомые, и перед ними стояли бокалы с вином. Она ничего не могла понять.

— Мне с первого взгляда было ясно, что вы ничего не знаете,— успокоил он ее с открытой улыбкой. И положил ей ладонь на руку.— Вы не обидитесь, если я скажу, что сижу с вами не по долгу службы, хотя дело вашего брата, скажем так, на моем попечении? Тем, что вы здесь сидите, вы нисколько не грешите против него, скорей наоборот.

— Пожалуйста, скажите, что с ним будет? Чем я могу ему помочь?

Ее самоотверженный порыв как будто тронул его, он долил бокал и задумался, устремив взгляд в окно на покрытую слякотью улицу.

— Трудно сказать... Сами вы — абсолютно ничем. Дело еще в стадии расследования, и пока, собственно, ничего не решено, но... не хочу вас обнадеживать. Это невероятно сложное и тяжелое дело...

— А надежда?

После небольшой паузы он участливо покачал головой.

— Никакой. Для него никакой... Его действия, которые уже сейчас неопровержимо доказаны, такого сорта... вы понимаете? Нет такого суда, который не вынес бы единственно возможного приговора...

Лицо его расплылось за пологом ее слез.

— Но ведь должна же быть какая-нибудь возможность...

— Трудно сказать. Пожалуй, она есть. Но единственная и довольно неверная. Успокойтесь, прошу вас! Не плачьте! На нас уже смотрят. Вы курите? Пожалуйста!

Она знаком отказалась; тогда он наклонился к ней через стол и снова, может быть, неумышленно коснулся ее руки.

— Необходимое условие — чтоб он не предстал перед судом. Понимаете? Случай необычайно сложный, и для расследования, может быть — повторяю, может быть — потребуется, чтобы он жил. Очные ставки, свидетельские показания и так далее, все это может длиться месяцы. Сколько понадобится. А по всему видно, что война не затянется.

Понимаете? Как бы состязание со временем. Но это единственная возможность.

Она поняла. Пораженная, подняла на него глаза:

— И вы... вы могли бы...

Он не ответил, только с еле заметной улыбкой прикрыл веки. Потом оглянулся и велел кельнеру подать кофе.

— Где он? — спросила Бланка.

Слабенький, робкий росток надежды.

— Давайте договоримся с вами, что вы преодолеете женское любопытство и не будете задавать ненужных вопросов.

Она заметила, что у него открытая, голубая улыбка, минутами в этом твердом лице появлялась почти мальчишеская нерешительность.

— Друзья, да? — Он поднял бокал.— Вы должны понять,— прошептал он, улыбаясь шутливо-заговорщицкой улыбкой,— что все имеет свои пределы. Служебная тайна! Не кажется вам это вино слишком кислым?..

— А я что должна для этого сделать?

— Ничего, не терять мужества и беречь нервы. И желать, чтоб скорей кончилась война. И снова улыбаться! Попробуйте, не забыли, как это делается? Браво! Я сумасброд, правда? Итак, за вашу улыбку!

Он не торопил события, был изумительно терпелив и приносил ей короткие весточки. Брат жив, все в порядке. Писать он, само собой, не может. Здоров. Она была переполнена благодарностью, хотя в ней скрипел песок опасений. Она нарочно не подводила губы и, когда шла на свидание с ним, надевала самые старые платья. Он понял почему и улыбнулся. «Вы были бы хороши и в мешковине, Бланка». Как-то раз он приехал прямо к ней в блестящем мундире, черная машина барственно расположилась перед обыкновенным доходным домом на обыкновенной улице, вызывая нежелательный интерес, который Бланка скоро прочла на лицах жильцов. Сучонка продажная, вся тут сказалась! Ну как она может им объяснить? Она ужаснулась и попросила его больше к ней не ездить и не носить при ней мундира, потому что всякий мундир внушает теперь страх. Он обещал со смущенным недоумением. Но и в штатском осанка его оставалась военной. Он сказал ей свое имя — Георг, то есть Иржи, Ирка, звучит неплохо, но она никогда его не произносила. И, задетая, отказалась, когда он с дружеской непринужденностью предложил ей денег — у него ведь больше, чем нужно. В комнате ее осталась только вот эта коробочка сигарет, больше ничего она не приняла, даже его предложение пустить в ход свое влияние, чтобы освободить ее от тотальной мобилизации с тем, чтоб она могла найти себе более подходящую дневную работу. Нет, ей не надо никаких льгот, она останется на заводе, как остальные. Его забавляло ее упрямство, но он ни к чему ее не принуждал, держался безупречно, временами был весел, временами печален — как все люди. И ее не удивило, когда он однажды пригласил ее к себе на квартиру: глупо слоняться по неуютным кафе, на глазах у людей; он сказал это без тени угрожающей настойчивости, но она поняла, что надо согласиться. Он занимал прекрасную квартиру на Летне с видом на парк Стромовку и даже не подумал скрыть, что до него здесь жил врач еврей, угнанный в концлагерь. Книги, вазы, радиола, миниатюрная кухонька, о которой она всегда мечтала, сухое тепло калориферов. «Вы здесь у себя дома, пожалуйста, хозяйничайте, я живу один как перст». Нет, она ни к чему не прикоснулась, брезгливо уселась в кресло и с бьющимся сердцем стала ждать неизбежного. Он не торопился Вино, музыка, мягкий свет торшера. Она почувствовала его за спиной и замерла, когда он легко положил руки ей на плечи.

Подняла покорные глаза:

— Это — условие?

Он погладил ее по волосам.

— Нужно ли так об этом говорить, Бланка? — укоризненно промолвил он.— Зачем тащить в наши отношения грязь, в которой мы неповинны? Ты мне нравишься, как женщина, и нравилась бы когда угодно и где угодно.— Он первый раз заговорил с ней на «ты».— У тебя есть кто-нибудь?

Она, не лукавя, покачала головой,— тогда у нее никого не было.

— А был у тебя уже мужчина? Я хочу сказать: ты еще девушка?

Она почувствовала, что вспыхнула.

— Нет.

— Ну вот видишь. Тебе нечего бояться. И меньше всего — меня.

Он погасил свет, и она стала вещью. «Война, сверчок,— говорила ей ожившая тьма,— не смей думать о себе». Да, да, я знаю: где-то гремят орудия и умирают люди, а здесь только жгучая тишина прикосновений и дыхания, не кричи, не сопротивляйся! Нет, это не я, не я, еще нет! Так надо! Надо, чтоб Зденек остался жив, ведь ты ничего не теряешь, не думай, не чувствуй, не участвуй в этом! Зачем играет музыка? Она закрыла глаза, и ее подхватил вихрь, призрачный и мягкий, она сопротивлялась ему, стиснув зубы и комкая пальцами материю, я не здесь, я не здесь, здесь только мое тело, не имеющее значения, жалкое, ничтожное тело, захватанная монета,— но она была здесь, хоть и сопротивлялась тому, что близилось, полыхая на нее из этого горячего и сильного тела...

— Зажги! — тишину прервал ее крик.— Ради бога, зажги!

Свет облил Гонзу, он перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку.

«— Ты восхитительна,— благодарно промолвил тот, другой, и поцеловал ее в ладонь.— Ты восхитительна, знаешь?»

Если б он молчал, если б он только молчал!

Она обхватила Гонзу руками, прикрыла своим телом, словно желая оградить от того, что должна была рассказать ему, и уже не сдерживала слез. Он не видел их, не слушал ее больше, а когда поднял голову — у него было другое лицо. Она его испугалась. Он отстранил ее рукой, стряхнул с себя и встал с постели. Куда он? К окну. Обратно к постели. Провел ногтем по листу пальмы, сжал виски, застонал. К стене. Банальный трафаретный узор. Кто живет по ту сторону стены? Где я? Потом успокоился, но не повернул головы.

— Тебе ясно, что я должен его убить? — Он произнес это неестественно спокойным голосом.— Должен. Я знаю, как. Должен, потому что он не имеет права жить, пойми!

Он прижался лбом к стене, почувствовал ее неровности, и ему захотелось боли, физической боли, которая оглушила бы. Он закрыл глаза.

— Не смей! — Это донеслось издалека, он не поверил.— Нельзя, ты должен понять, что нельзя этого... Опомнись!

Он вздрогнул, повернулся и пошел к ней с безумием в зрачках.

— Почему? Ты его защищаешь? От меня! Он доставляет тебе наслаждение. Понимаю. Наверно, делает это хорошо, этот сверхчеловек, он сильный самец?..

Он знал, что бьет в больное место, но продолжал говорить, потому что ее ужас доставлял ему горькую отраду, в этом было облегчение, ему хотелось терзать ее, ему нужно было, чтоб она страдала, чтоб упала перед ним в слезах, как библейская грешница. Этого он не дождался. Что она говорит?

Ах, хорошо бы не существовать, не жить...

— Пойми! Если ты это сделаешь, ты убьешь Зденека. Тогда все было напрасно... и я не позволю. Пойми! Никогда не позволю...

Он остановился, опустив руки и дрожа, к горлу подступала тошнота, хотелось плакать,— он только вяло махнул рукой. Опомнись! Он не

узнавал ее, его потрясло упорное сопротивление, она другая, это уже не та девушка, что была летом в «Итаке». Эту не сломишь, хоть избей до смерти и как ни старайся вытряхнуть из нее упрямство.

— Не смей! Если сделаешь, я сама тебя выдам, слышишь? Сама!

Он подошел, прищурившись, к фотографии на стене, поклонился правильному лицу Аполлона, подавляя желание сбросить его на пол.

— Милостивый государь,— сказал он портрету,— ваше геройство чем дальше, тем обходится дороже. Вы это знаете? Меня оно только что доконало. Для кого вы все это совершили? Да здравствует это ваше человечество! Ваше будущее! Я плюю на них!

Он умолк, увидев ее глаза. Изумление, разочарование, стыд.

— Нет, так ты не должен говорить! — услышал он.— Тогда лучше уходи и не оскверняй того, что было... И имей в виду — я его одобряю! Одобряю все, что он делал, и горжусь им... Чего бы это ни стоило, чего ни будет стоить... И никому, слышишь, никому не позволю его оскорблять. Даже тебе! Я не хочу, чтоб ты любил меня и был глух и слеп, пойми, такого я тебя не хочу!

Он был потрясен. Он стоял перед ней, испытывая удушающий стыд, и ожесточенно тер лицо. Нет. Все равно это только кошмарный сон. Бред. Только завтра ты от него не проснешься, потому что нет ни завтра, ни послезавтра, потому что...

— Хорошо, я не буду,— прошептал он, отводя взгляд.— Что было, то было, и я забуду. Если хочешь. Должен забыть, потому что люблю тебя, потому что, несмотря на все, не могу себе представить, как жить без тебя... встану перед тобой на колени и буду просить как нищий, я не стыжусь этого, но ты должна мне обещать, что больше... что больше никогда к нему не пойдешь...

Он выдирал из себя комки слов, дрожа от бессилия перед той почти нечеловеческой непреклонностью, которую чувствовал в ней. Слушай, что она говорит!

— Но я не могу, пойми! Не могу, хоть знаю, что для тебя это ужасно... я не лгала тебе, я тебя страшно люблю... И все-таки должна... я буду к нему ходить, пока нужно, пока это не кончится, буду ходить, потому что не могу иначе...

Он не мог постичь того, что она говорила.

— Так знай же все... Он мне нужен, чтобы Зденек остался жив... клянусь тебе, я его ненавижу, хоть он и лучше других и он тоже рискует... И я не только ради Зденека, но и ради... Думаешь, был бы ты на свободе, если б... если б...

Она проглотила конец фразы, увидев его глаза, но было поздно...

«— Значит,— говорил ей тот, другой, с непонятной улыбкой, за которой он всегда прятался,— у меня есть соперник.— Он стоял у окна, спиной к ней, голову его окутывало облако дыма; он не шевельнулся.— Браво, Бланка! Признаюсь, этого я не ждал, но в конце концов понятно, что ты не делаешь ставку на меня. Это теперь рискованно. Ну что ж! Попробую, хотя все зависит от того, в чем суть дела.— Он слабо улыбнулся и кивнул.— В общем, беда мне с твоими героями, голубушка. Кто же этот мой соперник, ты понимаешь, мне это надо знать...

— Он тебе не соперник,— возразила она.— Ведь я его люблю.

— Правильно. На это я, конечно, рассчитывать не могу. Понимаю. Меня ты, как патриотка, должна только ненавидеть. Что ж, хоть какое-то чувство...»

— Нет... неправда,— прошептал Гонза запекшимися губами и закрыл ладонями лицо.— Ты с ума сошла.

Она глядела на него широко раскрытыми глазами, кусая губы; не выдержав его взгляда, она склонила голову. Прядь волос упала ей на плечо; волосы тускло светились.

— Ты не знаешь, что я пережила. Я боялась за тебя, пойми! Пойми ради бога! Я не хочу больше утрат!

— Прошу, разбуди меня... Не говори, что ты так гнусна! Я не хочу тебя ненавидеть. Ведь это неправда... Почему меня не забили там насмерть? — как в бреду шептал Гонза. Трясина теплая, разлагающая, засасывала и была бездонна. Он отвергал ее.— Все могло кончиться гораздо лучше... без грязи, если б меня там убили...

Он не слышал ее плача, он оглох.

— Пойду туда и все скажу о себе... Я все делал один... Ты понимаешь хоть, что не могу я принять такую свободу?

«— Хорошо, успокойся,— улыбнулся он ее негодованию.— Не отрицаю, гнев тебе к лицу, но он напрасен. Я привык держать слово. Узнаю, в чем там дело. К тому же мне любопытно, чем все это кончится. Довольно забавный треугольник, не правда ли? Мне нетрудно было бы его разрубить, но я этого не сделаю. Вероятно, я лучше, чем мог бы себе позволить. Не знаешь, что он там натворил? Ты что, онемела? Очнись! Ты могла бы больше доверять мне, раз уж я ради тебя позорно предаю интересы рейха. Мой начальник лопнул бы, как жареный каштан, если б услышал наш разговор. Должен сказать, что я не специалист по мелким мальчишеским выходкам.

Он откашлялся и ласково подмигнул ей, но в глазах его светилась насмешка, за которую она его ненавидела. Он забарабанил ногтями по ночному столику и прибавил с подчеркнуто-серьезным выражением:

— Ты, надеюсь, понимаешь, что я не жажду его благодарности? Вообще не обязательно ему знать о моем существовании и твоих визитах ко мне. Это даже может повредить его здоровью. Сильно сомневаюсь, чтоб он был вне себя от счастья, если уж он так страшно тебя любит.— Он вздохнул с наигранным мелодраматизмом.— Что поделаешь? Остается хоть пользоваться телом. Жаль, но и это немало.

— Замолчите! — она заткнула уши.

— Разве не так? Ведь чувство принадлежит другому. Впрочем, по нашим временам ревность — излишняя роскошь. Если так пойдет дальше, нам придется отказаться вообще от всяких чувств. Что ж, желаю счастья — купайся на здоровье в этой водичке, пока есть время. В конце концов у тебя все равно останусь только я. Хочешь пари?..»

— Нет, нет! — она обхватила Гонзу, в страхе прижалась к нему.— Ты не должен этого делать! Не должен! Если с тобой что-нибудь случится, я не переживу! Пусть что угодно, но я твоя, только твоя, клянусь тебе... Но поступила бы так снова. Тысячу раз! Ты должен понять, должен, у нас нет другого выхода...

■

— Я понимаю тебя,— слышал он ее шепот,— пойму и тогда, когда ты встанешь и уйдешь, и я тебя больше никогда не увижу.. Но я боюсь этого... мы с тобой не виноваты, это — война... Если она скоро не кончится, все будет напрасно. Я хотела бы быть с тобой одна на свете... Ты не знаешь, каково мне было все это время, когда я видела, как ты счастлив... Ты ничего не подозревал и мог быть счастлив... а во мне уж это было, эта ночь, она отравляла мне каждое мгновение... хотя мы вместе и плавали, и обнимались... это было во мне все время, даже под смехом. Ты это замечал иногда, спрашивал, что со мной. Помнишь? Я знала, что придется платить, я торговалась сама с собой, за каждый день, каждую неделю, еще раз, говорила я себе, хоть разок еще увидеть его, почувствовать его губы... Если б ты знал, каково мне было сегодня вечером, когда мы расстались, и мне предстояло *это*... Пока я тебя не знала, пока не полюбила тебя, это не было так ужасно, потому что я была одна, принадлежала только себе — так какое это имело значение?

Я ведь получала анонимные письма, меня обзывали немецкой шлюхой, грозили, но даже это мне было не так больно, как все, что потом... Вечный страх перед тем, что будет, гнет, ощущение грязи, сознание, что я недостойна тебя, что должна буду однажды причинить тебе такое... Если б ты знал, сколько раз я в душе отступалась от Зденека... и спохватывалась в последнее мгновение... и выхода не было... и нет... не избежать... Ты меня понимаешь? Обними меня, если в тебе еще осталось что-нибудь, кроме отвращения, если ты не гнушаешься мной, обними!..

Он, уже не владея собой, прижимал ее к себе, что есть силы, словно желал защитить ее, не позволить, чтоб ее вырвали у него из рук; слиться с ней в одно тело, спрятать ее в себе, он захлебывался от жалости, дышал ей в волосы, целовывал слезы с ее глаз, неловко гладил ее тело и не мешал своим слезам течь; милая, все говорило в нем, я не отдам тебя, никому больше не отдам, не бойся, я здесь, с тобой, и не оставлю тебя, не плачь, не плачь, не могу больше!.. Было в нем головокружение, и бессильный бунт, и были в нем печаль и ужас перед тем, что их обступило. Говори, говори, прошу тебя! Я хочу тебя слышать!

— ...Теперь ты знаешь, почему я не могла быть с тобой вполне, жить с тобой... я боялась затащить то чистое, что было между нами и что было нашим, в эту грязь. Что бы ты сказал, если бы узнал все? И мне было страшно, когда я чувствовала в тебе то горькое, непонимающее желание, чувствовала, как ты борешься с собой и не знаешь... Ведь и я, я сама желала тебя и желаю, как безумная, ты должен был это заметить, я с ума сходила от желания, когда ты меня касался, я ведь обыкновенная женщина... если б ты знал, если б я только могла передать тебе все, ох, милый... Теперь ты все знаешь, и вот я, я... И если ты еще желаешь меня, даже теперь, не жди, возьми меня, ведь я твоя... Нет, я не сошла с ума, я хочу тебя... давай убежим сейчас, сейчас же забудем обо всем, ничего нет, только мы двое — ты и я, возьми меня без колебаний... я хочу... смотри на меня...

Он весь трепетал, он опомнился, только когда она с неожиданной стремительностью высвободилась из объятия.

Это был не ее голос. Он услышал шорох материи.

Свет. Она не погасила, решила отдаться ему в потоке света. Сейчас, сейчас, свистело в смятенном мозгу, сейчас свершится то, чего он так страстно желал бессонными ночами, и уж нельзя отступать, смотри, смотри на меня — нет, не делай этого, хотелось ему закричать, ради бога, не надо! Не сейчас! Распущенные волосы раскинулись по подушке, и теплая, дышащая нагота выступила из скорлупы и открылась его глазам, и отдавалась им, а он жмурился от ее сверкания и смотрел на нее сквозь ресницы. Он не дышал. Вот! Она лежит перед ним нагая, неправдоподобно белая, он не знал, что она так прекрасна,— иди сюда, звали руки и тянулись к нему в мягком свете — это была статуя, она принимала его с томным блеском в глазах, шептала полуоткрытыми губами, это было как тихий стон; он не двинулся, пока руки не охватили ему шею с суровой, упрямой силой, которой он не умел воспротивиться. Вот это тело, тысячу раз познанное в беглых прикосновениях и все же мучительно недоступное, бери ее, ведь это она, ее тело, ты узнал его...

Нет, не узнал, оно было другое сейчас! Чужое! Оно обжигало ладони, но тепло его не проникало внутрь, это тело молчало, и были на нем руки чужие, алчные руки завоевателя, горячившие ее своими прикосновениями. Не думать! Преодолеть это! Он оттолкнул эти чужие руки... которые несколько часов назад, всего несколько часов... Не думать, господи ведь это она, ее тело... может, еще горячее от чужих объятий, в котором еще замирают отзвуки чужого наслаждения,— нет! Не думать! Он закрыл глаза и со знобящим страхом почувствовал, что все в нем остывает, он мертв, а рядом — прекрасная, но отнятая вещь,

уже не принадлежащая ему, и его душит стыд, и он цепенеет в позорном бессилии от этой мертвой тишины в теле.

— Не могу!

Он лег на бок, чтоб она не видела его лица, и тут, только тут, сразу, с ошеломляющей ясностью понял, что уже никогда, никогда не сможет ее взять, что это конец, что он проиграл, предал ее, что в эту страшную минуту навсегда уронил ее в пустоту.

Он уткнулся лицом в подушку и впился в нее ногтями.

■

Дождь по карнизу стучал слабее, щелкнул выключатель, и их милосердно накрыла тьма; он лежал в этой тьме и пил ее губами — наконец-то он на льдине, и она уносит его в ревущую бездну. Он уже не чувствовал ее рядом, понял, что она отстранилась. Здесь ли она еще? Он услышал дыхание. Тем хуже! Уйти, прежде чем рассветет,— его охватил безумный страх перед ее глазами. Перед словами. Ключ от дома! Завтра? Послезавтра? Через десять лет? Теперь это уже неважно. История их любви увязла в грязи, и ему больше нечего ждать, нечего — даже конца войны, для него все только что кончилось, и остается только уползти прочь.

Свет показал ее уже одетую, она стояла перед зеркалом и расчесывала волосы. Он осмелился украдкой взглянуть на ее лицо. Оно было бледно, окаменело-серьезно, без слез. Она поняла, что произошло, и укрылась за свою особенную непроницаемую гордость. Он знал это лицо: оно принадлежало той девушке, с которой он когда-то не решался заговорить в коридоре утреннего поезда.

Звякание ключей вывело его из забытья — многозначительный звук! — потом щелкнул замок двери, он встал и двинулся за своим собственным гробом по темной лестнице, ощупывая перила, и спускался как на чужих ногах, падал все ниже и не осознавал, что идет. Как давно проходил он здесь? Год назад или больше, вечность? Запах высохших цветов и штукатурки...

Металлический лязг ключа в замке. Он вышел из двери, остановился в нише и больше не оглянулся. Тьма перед ним раскрылась, смотрела ему в лицо, дождь перестал, мокрый ветер, пробегавший по каменным руслам улиц, обнюхивавший углы, навалился на него, ударил по лицу, пробирался сквозь одежду к телу.

Он его не чувствовал, потому что не чувствовал теперь ничего.

Снова загремел ключ — теперь уже за его спиной.

Шаги удалялись.

Один. Какая-то пропасть в нем. Посмотрел по сторонам.

Куда идти? Пошел вперед. свесив голову и опустив руки, жалобный голос кларнета сорвался в рыданье, упал в индиговый омут.

Он прокладывал себе дорогу в шевелящейся темноте, ударился лбом о фонарный столб на углу, застонал, зашатался на мокрой мостовой: но физическая боль, тупо нывшая под черепом, пробудила его к неведомой действительности.

Пошел дальше. На ощупь, как слепой. Улица была выметена. Вдруг повеяло знакомым запахом свежего хлеба, пальцы коснулись спущенной металлической шторы и скользнули по ее рифленой поверхности. Дальше идти не было сил. Вот здесь. Он сел на истоптанное крыльцо булочной и, подперев лоб ладонью, разразился почти неслышным плачем.

(Окончание следует)

МЭРИ ГИЛМОР

КОГДА Я РОДИЛАСЬ, ОТЕЦ УСЛЫШАЛ КУЛИКА

К 100-летию со дня рождения народной поэтессы Австралии

Вступление и перевод стихов
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Шел 1941 год. На Тихом океане японцы одерживали победу за победой. Вторжение в Австралию могло начаться в любой момент. Плохо подготовленная к отпору Австралия лихорадочно собирала силы. В эти дни страну облетело стихотворение Мэри Гилмор «Враг не пожнет наше поле». Простыми и сильными словами поэтесса выразила в нем патриотические идеи, призывая соотечественников на борьбу.

Чтобы понять творчество Мэри Гилмор, заглянем в историю. Капитан Кук открыл Австралию в 1770 году, а уже в 1788 в Ботани-Бей было основано первое каторжное поселение. Из Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса сюда везли бедняков, которые осмелились бунтовать против общества, обрекавшего их на безработицу и голодную смерть. Для современного австралийца каторжник — это отец-основатель Австралии, своими трудами превративший ее из проклятого края земли в родной дом. Чем больше вчитываешься в стихи Мэри Гилмор, тем яснее видишь, как органически национальны все написанное ею, она австралийка во всем, в великом и малом. Читая ее стихи о лебединой стае, слившейся с мраком ночи, сразу понимаешь, что речь идет не о наших, белых, лебедях, а об австралийских, черных.

И еще одним особенным образом связана поэтесса со своей страной. «Когда я маленькой девочкой тяжело заболела, аборигены сказали моему отцу, что я не выживу, если буду питаться нашей вываренной, «мертвой» пищей.— вспоминала Мэри Гилмор.— И мой отец, зная глубину их познаний, отпустил меня жить с племенем на берегу речки Муррумбиджи». Мы знаем чудодейственный результат аборигенского лечения: Мэри Гилмор прожила на свете около ста лет. Племя уораджери, исцелившее Мэри Гилмор, исчезло, ибо враги его оказались сильнее его друзей, остались лишь песни, записанные поэтессой.

Если мы скажем, что душа Мэри Гилмор вмещала в себя весь мир, это будет точной констатацией факта, а не стершейся метафорой. Для одних она была любимой поэтессой. Для других — кладезем бесценных воспоминаний о временах давно прошедших. Третьи гордились тем, что заслуги ее перед литературой отмечены в Лондоне: она была кавалерственной дамой ордена Британской империи. Для кого-то она была просто доброй старушкой. Многие регулярно читали ее еженедельные заметки в коммунистической газете «Трибюн». Многие восхищались ее темпераментом прирожденного общественного деятеля, тред-юнионистки, защитницы аборигенов. Такова была Мэри Гилмор, поэтесса австралийского народа.

Враг не пожнет наше поле

Внуки шотландских нагорий,
Внуки английских болот,
Потомки теснин валлийских,
Зеленого Эрина род,
Мы грудью встречаем вызов,
Пусть небо черно кругом —
Враг не пожнет наше поле
И не постучит в наш дом.

Женщинам нашим гордым
Не знать, что такое страх,
Детям нашим веселым
Вовек не ходить в цепях.

Кровью свою свободу
Сполна оплатил народ —
Враг не пожнет наше поле
И руку нам не пожмет.

Мы, дети земли и неба,
Услышали зов беды.
Мы выйдем на перекличку
И дружно сомкнем ряды.
Что там грозит нам — пушки
Или небес глагол?

Враг не пожнет наше поле
И не сядет с нами за стол.

Мы — сыновья австралийцев,
Создавших страну трудом,
Мы — сыновья австралиек,
Обживших ее как дом.
Памятью их клянемся
Спасти страну навсегда —
Враг не пожнет наше поле,
Не увидит наши стада!

Ботани-Бей

«Я прародитель
Ботани-Бей.
Ломит в костях
На склоне дней.

Я в старину
Вздымал целину,
Чтоб вы имели
Свою страну.

Я каторжанин,
Собрат беды.
Смотрите — всюду
Мои следы:

Леса я валил
И пути торил,
Под бешеным солнцем
Колодцы рыл,

Скалы дробил,
Кандалами звеня.
Нация встала
Из-за меня!»

Под ласковым солнцем
Ботани-Бей
Косточки греет
На склоне дней

Старый-старый
Ворчун, нелюдим...
Позор тому,
Кто гнушается им!

Племя ураджери

Травили и гнали нас
Из отчего края.
Мы журавлями с глаз
Исчезли, рыдая.

Навеки умолк звук
Нашей печали.

Мы, словно копья из рук,
Наземь упали.

Птицы летят домой
Порой весенней.
Бродят родной землей
Наши тени.

Нас гнали, и мы ушли,
Скрылись за склоном,
Сгинули, как журавли,
В осень, со стоном.

Национальность

Я злобу и ненависть переросла,
Весь мир для меня един.
Но хоть ко всем справедлива я,
Мой сын это все же мой сын.

Все люди сидят за круглым столом,
И каждый должен быть сыт.
Но этот хлеб у меня в руке
Сыну принадлежит.

Лебеди в ночи

Вдали, в ночи, над головой
Я услыхала шорох крыл:
По мраку чей-то темный рой,
Следа не оставляя, плыл.

Я услыхала странный стон,
Он полнил болью небосклон,
Он обступал со всех сторон,
И в мире были я и он.

Неясный клич, неясный зов
Пронзал собой небесный свод,
Летел в пределы тех краев,
Где он вовеки не замрет.

Лебяжий клик, лебяжий клик,
Лебяжий клик в ночи ночей.

Меня во тьме призыв настиг
Не видных глазу лебедей.

Как необъятна ночи мгла,
Как страшно пуст небес провал,
Как средь миров земля мала,
Как человек во мраке мал —

Я осознала в час ночной,
Когда раздался надо мной
Щемящий, дальний и родной
Стон лебедей, сокрытых тьмой.

. . . . . .

Как безграничен мрак ночей,
Как давят ночи тьмой своей,
Я поняла, услышав в ней
Далеких, темных лебедей.

Песня Евы

Подобно Еве, плету я нить,
Чтоб сердце друга связать,
полонить.
Но сердце друга легко, как птица,—
То там порхнет, то тут примостится.
Мой друг живет без дум, без забот—
То тут помедлит, то там подождет.

Подобно Еве, плела я нить,
Чтоб сердце друга поймать,
полонить.
Плетешь, плетешь и вдруг
понимаешь,
Что нитью этой себя оплетаешь.
Цепью становится легкий вьюнок.
Глядишь — и дети толпятся у ног.

А в их глазах и любовь, и покой,
И все, чего не дал друг дорогой.
Но в сердце Евы и в сердце моем —
Досада, и грусть, и тоска по нем.

Он говорил мне: «Смотри, я
сильный»,—
А сам плясал, как пузырик
мыльный.
Он говорил: «Ты мое
спасенье»,—
И спичкой вспыхивал на мгновенье.
Он говорил: «Я тебе не вру»,—
А сам болтался, как дверь на ветру.

И все-таки, все-таки если вдруг
Ко мне на миг возвращался друг,
Я голову друга клала на грудь,
Чтоб мог с дороги друг отдохнуть.
И вновь, чтоб сердце его полонить,
Подобно Еве, плела я нить.

Джиндра *

Когда я родилась, отец услышал
кулика,
Когда меня крестили,
В воздухе носились семена.
Так как же мне теперь сидеть одной
у камелька,
Забыв, что ярран ** на ветру
рокочет, как струна!

Давным-давно у речки
Муррумбиджи ввечеру
Аборигенки травы связывали надо
мной.
Мне было ладно и тепло в постельке
травяной,
Как маленькому кенгуру.
Девчонкой я любила все, чем жив
предел родной:
Стрекоз, жуков, дроздов, зуйков,
Опоссума, спешащего по дереву
домой,

---

* Место, где гнездятся кулики *(на языке австралийских аборигенов)*.
** Поющее дерево *(на языке австралийских аборигенов)*.

И подметенные дороги муравьев.
Когда ночные муравьи ведут свои
пути,
Пересекая пыльные дороги стад,
Они умеют на путях такой порядок
навести,
Что пыли просто стыдно вниз по
склону оползти,—
Пылинки в равновесье удивительном
лежат.

Часами я могла смотреть,
Как паутину ткет паук,
Я думала, что даже паука любить
могу,—
Ловила на ладонь, и он по ней
катился вдруг,
Как камешек на берегу.

Коровы наделяли меня лаской и
теплом,
И жеребята мне навстречу
мчались во всю прыть,
Я восхищалась каждым
жавороночьим гнездом —
Весь мир дружил со мной и приучал
с собой дружить.

Я все любила... Мой отец услышал
кулика,
Когда я родилась, и в воздухе
носились семена,
Когда меня крестили...
Так как же мне теперь сидеть
одной у камелька,
Забыв, что ярран на ветру рокочет,
как струна!

Заклинание детских коленок

(Из фольклора аборигенов)

Крепкими, крепкими станьте,
коленки!
Крепкими, словно коленки птицы,
Птицы эму,
Крепкими, крепкими станьте,
коленки!

Быстрыми, быстрыми будьте,
коленки!
Быстро-быстро бегает птица,
Птица эму,
Быстрыми, быстрыми станьте,
коленки!

Хитрая, хитрая, хитрая птица,
Птица эму —
Хитрыми, хитрыми станьте, коленки.
Хитрыми!

Крепкими будьте во дни переходов,
Крепкими будьте в пути по горам,
Крепкими будьте в пути по водам,
Крепкими будьте на войне и на
охоте,
Будьте неутомимы, как птица,
Птица эму!

Я заклинаю вас песней птицы,
Я заклинаю вас голосом птицы,
Громким голосом птицы эму,
Я придаю вам силу, силу —
Сильными, сильными станьте,
коленки!

Завещание

Земле мой прах, друзьям вверяю
славу —
Пусть помнят иль забудут, как
хотят.
Я для себя не требую наград,
Своими их не чувствуя по праву.
Пусть сочинитель сплетен льет
отраву,
Пусть лицемер меня низвергнет
в ад —
Греми, посмертных новостей парад,
Любителям сенсаций на забаву!
Стервятничьими взглядами ощупав
То, что когда-то называлось «я»,
И предвкушая вожделенный тлен,
Уже ликует похититель трупов.
Но если вспомнят обо мне друзья,
Не состоится пиршество гиен!

АНДРЕ СТИЛЬ

Сосед

РАССКАЗ

Перевод с французского
Е. ШИШМАРЕВОЙ

Когда папаша Гобер в 1945 году потерял жену, он сказал: «Коли так — хватит!..» Он остался один. У него был сын, но он умер в лагере для военнопленных. После смерти жены папаша Гобер уже не стал каждый день ходить на сахарный завод. Только для нее, вернее, только потому, что их было двое, ему приходилось откладывать кое-что на черный день, на старость, и работать в надежде на пенсию из социального страхования. Вот каким образом он из крестьянина превратился в рабочего. Конечно, участок у него был не бог весть какой, он и теперь все так же обрабатывал его, да и жена была ему хорошей подмогой. По существу, он делал то же, что и всегда, только в обратном порядке. Прежде каждую осень, когда на сахарном заводе набирали сезонников, он спешил закончить работы по хозяйству и нанимался туда на месяц-другой. Он и там не плошал. А сейчас ему это ни к чему. Один он и так обернется.

Теперь он стал ходить другой дорогой. Он и всегда ходил пешком на завод, в поле, зачем ему большие дороги, он сам выбирал путь, шел себе один, напрямик, и постепенно прокладывал собственную тропинку, не обязательно прямую, порой делал дугу, порой зигзаг, чтобы не перечить холму, склону или камню, пожалуй, сам того не замечая, а иногда просто так, чтобы порадовать глаз.

Когда он стал ходить на завод, он понемногу проложил себе тропинку через фруктовый сад, под некоторыми яблонями он нагибался, другие обходил, хотя под ними было бы легче пройти. Почему? Из каких-то своих тайных соображений, пустяковых соображений, разумеется: тут выступает из земли корень, что толку делать больно и себе и ему, и так он ободран, как подошва у сабо в дождливый день; там местечко заросло густой травой, надо подумать и о козе; а дальше всегда небольшой крюк, чтобы взглянуть на раздвоенный ясень, куда по вечерам и на заре забредает фазан, и даже идя с пустыми руками, без ружья, по дороге на завод или с завода, он не забывал взглянуть, нет ли там птицы — просто так, рефлекс.

А когда отправлялся в поле, то ничего не придумывал, шел всегда по той же протоптанной тропинке, которая вьется по склону, а потом вновь поднимается и, словно вычерченная циркулем, огибает рощицу, принадлежавшую раньше его брату.

Вот тут-то он и начал прокладывать новую тропу. Брат его умер два года назад, не оставив детей. К счастью, у него был еще брат, и у того их было пятеро — два мальчика и три девочки, иначе, пожалуй, имя Гоберов... Вот чепуха! Да разве имя Гоберов может исчезнуть! Ну нет, приятель! Гоберов полным-полно, и никогда они не переведутся!

в них не моя кровь? Ну и черт с ней! Моя ли кровь или не моя, какая разница, коли они живут!.. Среди добра, доставшегося ему в наследство от брата, был виноградник на склоне против рощи по ту сторону тропинки, из того винограда, бывало, делали шампанское. Сюда ноги сами вели его, ведь рядом тянулась щебенка, достаточно широкая даже для трактора... а подальше на вершине холма стоял целый гектар леса и за ним кусок земли, которую уже два года приходилось оставлять невозделанной, как, бывало, оставлял и его брат, потому что тот работал еще и на лесопилке, а земля эта была очень уж «строгая», как говорят в здешних краях. Вот где ему придется попотеть! И он сразу стал прокладывать туда тропку покороче, прямиком через рощу, на глазок.

Вот тогда-то они и познакомились.

Десятилетняя поросль тут не бог весть какая: маленькие, выросшие из пней тополя, все больше серебристые, ясень, ольха, две-три жалкие березки, уголок, заросший акациями, и, в глубине, орешник, да такой густой, что стволы только и делали, что тянулись вверх, а орехов никогда не собирали, вот они и размножались с неправдоподобной быстротой; росли там и дикие вишни, голуби повсюду разбрасывали вишневые косточки, и они легко приживались. Вот так и со всеми деревьями — за орешник, скажем, берутся белки, они разносят по лесу орехи, и маленькие побеги орешника прорастают со всех сторон. Порой говорят, будто земля устала; а ты посмотри, что будет, если ее оставить хоть на минуту в покое! Сколько тут дикой смородины, не говоря уж о калине, вот эта так прямо королева, она заполоняет все вокруг, а корни у нее подчас толщиной с кулак. На такой мягкой, на такой сырой земле, как эта, с подземными ключами и ямами, полными воды,— памятками войны — маленькие годовалые ясени тянутся вверх так же буйно, как колосья в поле. Впрочем, у них нет никакой надежды выжить, как у девяноста девяти процентов диких вишен и почти у всего орешника, потому что здесь все, что не растет так же быстро, как тополь, обречено на гибель, особенно когда рядом калина. А она, наша земля, надо отдать ей справедливость, хочет вырастить еще и еще, во всяком случае, старается и делает все, что может, просто невероятно, чего только не лезет из нее каждый год, а сколько еще спит в глубине, дожидаясь своего часа,— все эти орехи, орешки, косточки, корешки, черенки, росточки, побеги... Так вот, когда идешь по такой поросли, то всегда глядишь себе под ноги и так давно с любопытством наблюдаешь все это, что тебе уж не до любопытства, и если кто-нибудь скажет, что тебе все еще любопытно, ты не поверишь, просто глаза твои сами смотрят, ничего не упуская, они видят и каждый новый росток, и каждый след, оставленный зайцем или птицей; а в тот день, день первой встречи, настало время сморчков — ранние уже сходили, маленькие, черные и серые, с остроконечной шляпкой, их почему-то здесь называют «пёсий зад», а поздние еще только появлялись — крупные сморчки цвета кофе с молоком, эти бывают чуть не с два кулака. Вот тут-то, как я говорил, папаша Гобер чуть не наступил на него. Громадный снаряд. Чуть ли не в метр длиной, а главное пузатый, гораздо толще, чем «семидесятипятимиллиметровки». У него екнуло сердце, и он поскорей опустил ногу рядом, неловко, как пришлось, тем более, что было это на откосе, и тут же обошел снаряд, чтобы поглядеть, какая у него головка, но не притронулся к нему.

Головка у него, у этого снаряда, застряла между корнями старой бузины, потому что бузина тоже подлинный бич здешних мест, и вклинилась туда, как инструмент зубодера под коренной зуб. Снаряд лежал кверху задом. Чуть наклонившись вперед. Конечно, он весь заржавел. Засел слишком глубоко, чтобы можно было сказать, цела ли у него го-

ловка или вскрыта. Пожалуй, скорее вскрыта, но поди разберись, разве скажешь наверняка... Последний раз взглянув на него со склона, папаша Гобер снова пустился в путь, бормоча про себя:

«Ну и ну! Ну и ну, старина!»

В следующие дни он определял по снаряду, как и по другим приметам, где проходит его новая тропка, да только снаряд был приметнее всего.

На четвертый день папаша Гобер снова остановился возле снаряда, протянул руку к застрявшей головке, заколебался, решился, снова заколебался и отдернул руку. Нет, не притронется он к нему. И тут же подумал: почему он знает, что не притронется?

Он и сам не понимал. Знал только одно — не притронется. Здесь, в Шампани, пониже дороги Шмен-де-Дам, снаряды не з диковинку. Стоит только копнуть поглубже, вырыть канаву, подровнять склон, и тотчас натыкаешься на них, они лежат не по одному, а целыми гнездами, более или менее помятые, заржавленные, позеленевшие, покрытые плесенью, как старые монеты, и более или менее опасные. Дети постоянно выкапывают их. Те, кто умеет их вскрывать, собирают запасы пластинчатого пороха. Потом набивают им бидоны из-под постного масла или просто бутылки, вставляют в них фитиль подлиннее или покороче, а сами спешат укрыться за какой-нибудь стеной. Папаша Гобер никогда не боялся снарядов. Еще за полгода до смерти жены он вскрыл целых семьдесят шесть штук за какой-нибудь час. Он очищал пруд, который не чистили лет пятьдесят,— пруд весь зарос тиной, воде уже некуда было деваться, а несчастной рыбе и подавно. В деревне давно болтали, будто на дне можно найти невесть что, говорили, даже целую пушку (а еще дохлую лошадь, от которой уж наверняка ничего не осталось); пушки там не нашлось, а только два-три штыка вместе с чехлами, пулеметные части, тиски, весы, да вот эти снаряды, лежавшие рядами, словно в ящиках, английские противотанковые снаряды, чуть побольше пятидесяти сантиметров длиной, и тина их совсем не повредила. Стоило только начистить медные гильзы, и они бы тотчас засверкали. Много народу с почтением глядело на этот арсенал. А он, папаша Гобер, не откладывая на завтра, взялся за них сам, устроившись в риге у самой двери, где к косяку была прибита подкова. Он засовывал головку снаряда в подкову, раскачивал его влево, вправо, вверх, вниз, и медная шейка гильзы раскрывалась без долгих просьб и уговоров. Оставалось только вынуть заряд и вытащить пачки пластинчатого пороха — полный стиральный бак нетронутых, перевязанных новеньким шнурком пластинок, от которых пахло аптекой, больницей, особой пропитавшей их жидкостью, совсем свежей, сразу высыхавшей на пальцах. Если хотите, за этот час он мог семьдесят шесть раз взлететь на воздух. Но он об этом даже не подумал. Просто устроился так, чтобы никого не было вокруг. Он не стал кричать на весь базар: «Идите сюда, идите сюда, сейчас я буду вскрывать их все подряд!..» Мэр хотел обратиться к властям, чтобы прислали специалистов заняться этим делом. Папаша Гобер сказал: нечего им сюда ходить. Как знать, может они раздуют историю, вздумают наложить лапу на часть, а то и на всю его добычу, а медь стоит денег, и он предпочел сделать это своими руками, как всегда все делал сам в своем хозяйстве — малярничал, столярничал, чинил электричество, когда в том была нужда. Может, работал он как любитель, но этак ему было спокойнее. И вот вам доказательство — он же не взорвался. Ему не впервой раскупоривать их, эти снаряды.

Так почему же не этот? Этот гораздо больше. Если он все еще заряжен, в нем будет не меньше ста кило. Но ведь и небольшого английского снаряда вполне бы хватило, чтобы папаша Гобер разлетелся на кусочки по всем углам риги. Тут уж десять, двадцать и даже пятьдесят

сантиметров ничего не добавят, что верно, то верно. Но есть вещи, которые трудно объяснить. Раздутое тело снаряда вызывало в нем недоверие, как будто он имел дело с человеком. Что ни говорите, а в снаряде есть что-то человеческое! Это не растение, не камень. Смерть притаилась в его нутре, и сами люди впустили ее туда. Быть может, давным-давно, быть может, люди из другой страны, но все равно в нем заложено человеческое зло — вот чем он набит! Снаряд вроде застывшего человека. А этот был такого роста, что еще больше наводил на мысль о человеке.

Папаша Гобер не притронулся к нему, отступил немного назад среди корней и валежника и пошел своей дорогой. Ему пришло на ум, что с этим снарядом надо быть поосторожней; наступит день, и снаряд взорвет на воздух всю рощу и, разумеется, выберет как раз ту минуту, когда он будет идти мимо. И не случайно, конечно нет, земля слегка дрожит у него под ногами, а впрочем, перегной здесь на славу, но вся почва под рощей ненадежна, и легкого толчка достаточно, чтобы разбудить мертвеца. А тогда — крышка!

Эта мысль мелькнула у него в голове, только мелькнула, но не напугала, как можно было бы ожидать, он и не подумал из-за нее ни на шаг изменить свой новый путь ни завтра, ни в следующие дни, ни в следующие годы, ни в один из дней всех дальнейших лет. Только с тех пор, каждый божий день проходя мимо, папаша Гобер бросал взгляд на «соседа», как он про себя окрестил снаряд. Все такой же ржавый, он не менялся ни от дождей, ни от туманов, которые нависали над деревьями, как будто с отяжелевшего неба вот-вот посыплется снег, ни от морозов, трескучих морозов — почему же он не треснет? И всякий раз, проходя мимо, папаша Гобер — поставьте-ка себя на его место — думал мельком, думал рассеянно, по привычке: «А может, нынче?» Тут хочешь не хочешь, а призадумаешься...

На другой день после того, как он вскрыл семьдесят шесть английских снарядов, к нему вдруг явился какой-то тип на черном велосипеде с моторчиком, приехал он за тридцать километров, этот тип, было ему лет тридцать пять — сорок, что-то вроде мелкого чиновника, не слишком богатого с виду. Ему дали знать о находке на дне пруда, как видно, он держал связь с местными полицейскими, со сторожами из Лесного ведомства, с фермерами, которые сообщали ему о таких случаях, и он приехал узнать, не может ли он получить или купить у папаши Гобера один снаряд для своей коллекции, если в ней нет такого же. Он, видите ли, собирал коллекцию, этот тип, коллекцию военных сувениров. В другом округе никому бы и в голову не пришла такая мысль. Разве что какому-нибудь парижскому богачу. А вот он, за несколько лет и, как видно, без больших затрат собрал у себя в доме что-то вроде музея, освободил для этого комнату, а потом занял подвал и сад. Ему уже не хватало места, только это его и беспокоило. У него было все, от обычной семидесятипятимиллиметровой пушки до каски с султаном и, конечно, всевозможные снаряды и гранаты, уж что до гранат, то у него был почти полный набор. Все это было смазано, начищено, ухожено... И разряжено? Ну нет! Коли их разрядить, будет совсем не интересно! В самом подлинном виде, все как полагается.

— Послушай, приятель,— сказал папаша Гобер,— если в одном из них есть хоть маленький изъян... Вокруг тебя домов-то много?

— Нет,— ответил тот,— я живу на отлете.

— Тогда горе в том, что мои уже все разряжены...

И горе сразу отразилось у того на лице, горе и разочарование. Дело было в воскресенье утром, и накануне он сказал себе — вот ведь удача, я сразу же поеду туда. И все-таки приехал слишком поздно. Видя, как он огорчен, папаша Гобер сказал, искоса взглянув на жену:

— А вдруг там в тине еще один найдется, можно пойти поискать!..

Нельзя сказать, что ему было нечего делать в воскресное утро, сразу после ранней мессы. Но так уж водится в деревне, у тебя может быть работы выше головы, но если кто-нибудь зайдет, даже чужой, всегда выкроишь время, чтобы ему помочь. Добрый час они копались в куче тины, которая за два дня уже покрылась коркой и начала трескаться под горячими лучами солнца. Они осмотрели все трещины, надеясь, что где-нибудь блеснет медь. Терпеливо засовывали в тину тоненький железный прутик через каждые десять сантиметров, и оба волновались, когда он натыкался на что-нибудь твердое; вытаскивали из тины камни, куски черепицы, проржавевшие консервные банки. Но ни одного снаряда. Однако тот тип сто раз благодарил папашу Гобера, сто раз извинялся, что отнял у него столько времени, и под конец старик почувствовал к нему симпатию.

— На худой конец,— сказал папаша Гобер,— можно снова сделать один снаряд таким, каким он был. Выйдет почти то же самое. Ты будешь знать, а никто другой и не догадается...

Он взял самую целую гильзу, засунул в нее сколько влезло пачек пороху, наполнив ее по самую горловину, это дело простое, и вставил зад снаряда в раскрытую, к сожалению, слишком широко раскрытую, пасть гильзы.

— Дайте мне, я и сам могу это сделать,— сказал тот,— но только...

— Надо еще хорошенько обжать ее большими щипцами.

— ...но только на ней все-таки останутся кой-какие следы.

— Ну тогда можно... конечно не надо колотить слишком сильно... Но все же можно легонько постукать молотком. Давай-ка попробуем.

В сарае на верстаке помаленьку, полегоньку, так осторожно, что на это ушел еще добрый час, папаша Гобер стучал молотком, а тот, другой, держал снаряд, поворачивая его сантиметр за сантиметром; они стояли плечом к плечу и порой, казалось, дышали одной грудью. Зато теперь незнакомец был счастлив, снаряд получился совсем как новый. Он завернул его в газету, положил на багажник велосипеда, хорошенько прикрутил двумя зелеными проводами и, с силой нажимая на педали, поднялся по щебенке, выехал на гудронную дорогу, и папаша Гобер никогда больше его не видел.

Итак, день за днем проходя мимо снаряда, папаша Гобер как бы обменивался с ним взглядом, рассеянно спрашивая его: «А может, нынче?» Но прошло три года, а так ничего и не случилось. Однако что-нибудь должно же было случиться. Все сущее, а особенно то, что сделано руками человека, не может вечно оставаться без движения. Бузина выросла и стала еще толще и корни ее тоже. Наверно, застрявший в ней снаряд понемногу сместился, чуть приподнялся, но незаметно, во всяком случае папаша Гобер этого не замечал. Однако нынче утром, увидев снаряд, он задал свой вопрос по-новому и почувствовал, как сердце его забилось. Снаряд, казалось, подался вперед, подняв свой зад сантиметров на десять и засунув головку еще ниже под корень, так что ее было почти не видно. Похоже, что раньше под землей его что-то удерживало, а теперь отпустило — либо перегнило, либо оборвалось с ростом дерева, либо его перегрыз какой-нибудь зверек, может, сурок, их тут целые полчища!.. Папаша Гобер еще раз почувствовал искушение, воспользовавшись этим изменением, осторожно обхватить снаряд руками и попробовать чуть-чуть оттянуть назад, только чтобы взглянуть: не тронут или вскрыт? И еще раз что-то сильней его воли заставило папашу Гобера отступить; с каждым шагом он шел все осторожней, а мысли его неслись все быстрей, пока он поднимался к старому участку брата с мотыгой на плече. Думал он о грызунах под землей, о движении переплетающихся корней, а еще о том коллекционере и обо всей их округе, которую тот обшаривал от Супира до Краоннеля и Тагюра, от Сезанна

до Суасона, об их округе, где всевозможные снаряды, не говоря уж о всем прочем, разбросаны повсюду под землей, точь-в-точь как вишневые косточки, орехи и орешки, каштаны и желуди и все, что растет, толкает их и порой даже выталкивает на поверхность, не считая ударов, которые раздаются над ними на каждом шагу, то киркой, то заступом... Тот коллекционер при первом ударе молотка все-таки спросил:

— А может, это немного рискованно?

— Чего там, и не таких видали,— беспечно ответил папаша Гобер. И это была правда.— Ты еще человек молодой. Небось участвовал в войне сорокового? А я чуть-чуть целых три не увидел. Учти, что у меня есть шансы дожить и до третьей. А уж эта будет похлеще всех!..

А тот потом был так доволен, что хотел заплатить.

— Ты что, в своем уме?

— Тогда,— сказал тот,— вы, может, возьмете у меня что-нибудь взамен, такое, что доставит вам удовольствие, немецкий штык, например, хороший штык, совсем как новенький, или еще что-нибудь...

— Ну нет, приятель, не надо! — ответил папаша Гобер.— Я и без того на них нагляделся. Мне теперь ничего не надо, я о них не забуду.

И это была правда. Папаша Гобер родился в 1879 году. Стало быть, теперь ему было всего шестьдесят пять или шестьдесят шесть лет. Он как сейчас помнит, что еще мальчишкой видел развалины после войны семидесятого. Дома в ту пору отец только о войне и говорил...

Снаряд, когда он проходил мимо, частенько наводил его на мысль о всех этих войнах. Не будь войн, земля не была бы набита всем этим добром, а теперь попробуй не думать об этом — вот что самое трудное. Рассказы его отца... А потом и его собственные, времен четырнадцатого — восемнадцатого, когда он сдружился с самым лучшим в своей жизни другом, приехавшим издалека, из Бретани, быть может, со своим единственным настоящим другом, но ненадолго — тот погиб 12 июня 1915 года в Багателе, когда появились первые огнеметы, до того их еще никто не видел; а самое худшее было то, что потерять в этом кошмаре своего лучшего друга — это еще не самое худшее, да, старина, бывало кое-что и похуже, и хоть говорят, что лучше всего выкинуть все это из головы, да видишь, вот уж почти сорок лет прошло, а оно вдруг как накатит на тебя, когда ты вовсе не ждешь! А потом война сорокового, не подумайте, будто она была ему нипочем. Да, он был штатский, однако во время бомбежки вынес на плечах женщину с одной рукой, другую руку и обе ноги ей оторвало, и она выжила, живет и по сию пору, весь народ здесь ее знает, и всем известно, что это папаша Гобер спас ей жизнь. Он столько всего насмотрелся, что не пристало ему теперь на старости лет бояться какого-то снаряда. Кроме вот этого. Да и то, по правде говоря, он не очень его боялся. Порой даже сам посмеивался над собой: по крайней мере один шанс из двух, что он выпотрошен, этот ветеран. Выпотрошен, как и ты, старый осел, совсем пустой внутри... Однако смех скоро замирал у него на губах. Он предпочитал считать, что снаряд все еще заряжен. Почему? Об этом он никогда не задумывался. Но в глубине души ему казалось, что смерть его притаилась тут, на его земле, совсем рядом с жизнью, и от этого он еще сильнее чувствовал себя живым. О будущей войне он тоже думал, да, он думал и о ней, а как же иначе? А здесь, в этой привычной смерти было даже что-то успокаивающее. Потому что, если хорошенько поразмыслить, весь мир, как говорят, набит атомными бомбами и сам заряжен точь-в-точь как этот снаряд. Как этот снаряд, который, может, вовсе и не заряжен...

Так день за днем прошли десять лет. После смерти жены не было у папаши Гобера никого на свете, кого он видел бы так часто, как свой снаряд. Он по-прежнему бывал у младшего брата, последнего оставшегося в живых, но встречались они с холодком, у них вышла неболь-

шая стычка из-за наследства от старшего брата, такое забывается быстрее, чем война, но все же оставляет какой-то осадок. С тех пор, как он овдовел, племянники чаще навещали его, но при таких обстоятельствах трудно говорить о горячих чувствах, это было бы слишком хорошо, чтобы походить на правду. Его сосед, живший повыше на склоне, единственный его сосед на краю деревни, был огородником, они разговаривали, здоровались, но и тут была заковыка, они ссорились по меньшей мере раз в год из-за воды, которую тот задерживал как раз тогда, когда ее становилось мало. Если между ними заходил разговор о следах, оставленных войной, или о взрыве — а они все еще случались то тут, то там,— папаша Гобер не считал нужным хранить свою тайну:

— А я, старина, знаю, где лежит один здоровенный, прямо пузан! — и он тут же давал его координаты.— Видишь там, где проходит старая межа от Гран Бука к Тису, участок тысяча четыреста шестнадцатый, тот самый, что мой брат купил в апреле 1927 года, так вот там, на склоне, если спускаться прямо на меня, как раз там он и лежит...

В один из дней десятого года глупо, бессмысленно — всякое происшествие всегда бессмысленно — к папаше Гоберу подошла его смерть. Но не она, а он сам нес косу на плече. Он был жестоко простужен и, можно сказать, тащил на том же плече и свой старый ревматизм, сидевший там уже сорок лет, а теперь простуда его еще разбередила. Ох, как плохо он себя чувствовал, нос заложило, глаза заплыли, он только и делал, что чихал, просто не мог остановиться, либо чихал, либо сморкался, а порой и то и другое сразу. И вот, проходя мимо снаряда и, как всегда, мельком взглянув на него, он вытащил из кармана штанов большой, уже совсем мокрый носовой платок и тут услышал, но слишком поздно, как что-то глухо звякнуло по снаряду. Точильный брусок, который тоже лежал у него в кармане. Слишком поздно, потому что брусок сломался, правда, он еще послужит, обломался только треугольный кончик, но все равно этакая досада, совсем новый точильный брусок, у него даже сохранилась на боку красная наклейка. Слишком поздно еще и потому, что если б он вздумал лопнуть от удара, этот снаряд, то папаша Гобер даже не увидел бы свою смерть. Недаром говорят, что нет на свете ничего коварнее простуды. Он подобрал под самым боком у снаряда оба куска точильного камня, маленький тоже, он еще мог пригодиться, и сказал себе:

«Теперь уж, наверно, можно его потрогать; если от такого удара он не лопнул...— Но тут же спохватился.— Как бы не так! Все осталось по-прежнему, ведь я так ничего о нем и не узнал. Пока его не стукнули, он не хотел лопаться. Но от удара у него внутри, может, что-то сдвинулось, как раз то, что нужно, и теперь он ждет только предлога...»

Короче говоря, годы продолжали идти, день за днем, такова жизнь. И вот вчера, 11 октября 1963 года, папаша Гобер умер в своей постели. Умер спокойно. Один, среди бела дня, но совсем спокойно. У него хватило времени умереть не спеша, подумать, о чем ему хотелось, совсем как мы стараемся ничего не забыть, отправляясь в путешествие. Он еще раз вспомнил о жене. Не очень-то он верил, что снова ее увидит. Всю свою жизнь — или почти всю жизнь — он исправно ходил в церковь каждое воскресенье, но думать теперь, что жена и вправду где-то ждет его... Ну что ж, если это случится, он увидит своими глазами, но лучше не тешить себя побасенками... Он подумал о жене, пожалуй, для того, чтобы в последний раз попрощаться с ней, на сей раз навек, окончательно.

А потом, в самый последний миг, когда он уже знал, что не вернется назад, он подумал, и мысли его не пришлось лететь далеко, подумал еще раз о своем снаряде:

«Вот видишь! Не ты меня укокошил!»

ЖОРЖИ АМАДУ

МЫ ПАСЛИ НОЧЬ

РОМАН

Перевод с португальского
ЮРИЯ КАЛУГИНА

Захват холма Мата-Гато,
или
«друзья народа»

1

Мы не станем подразделять их на подлецов и героев — да разве можем мы, подозрительные бродяги с рыночного холма, судить о делах, выходящих за пределы нашего разумения? Захват земель Мата-Гато вызвал шумиху в газетах, правящая партия и оппозиционеры поносили друг друга, восхваляя лишь себя и стремясь извлечь наибольшую выгоду из этой истории. С самого начала, еще до того, как закончилось вторжение, никто, казалось, не противостоял захватчикам, никто не выступал против них, а у некоторых, например у депутата от оппозиционной партии Рамоса да Куньи и журналиста Галуба, взявших их сторону, были серьезные неприятности.

Мы не суд и никого не обвиняем, но никто не пытался установить виновного или виновных в гибели Жезуино Бешеного Петуха — слишком все были заняты тем, чтобы достойно почтить его память. Однако мы не примем участия в хоре похвал губернатору и оппозиционерам, владельцу этих участков, старому испанцу Пепе Два Фунта, он же Хосе Перес, хозяин нескольких пекарен, скотоводческих ферм и крупных земельных участков, а также доходных домов. Куика превозносил его в своих стихах как человека великодушного и благородного, способного пожертвовать своими интересами ради блага народа. Можете себе представить?! Изрядную сумму, должно быть, получил поэт, в общем неплохой парень, ничего против него не скажешь, только всегда он готов расхвалить или изругать кого угодно, если ему кинут монетку. А ему, бедняге, обремененному огромной семьей, нужно зарабатывать на жизнь. И мог он это делать, прибегая к помощи исключительно своего интеллекта. Он писал истории в стихах, некоторые из них получались удачными, сам набирал и печатал свои творения, рисовал обложки и торговал книжками на рынке и в порту, выкрикивая названия своих шедевров и расхваливая их достоинства.

Окончание. Начало в № 2.

Итак, он превозносил испанца Пепе Два Фунта, забыв упомянуть, почему тот получил свое прозвище, а получил он его благодаря килограммовым гирям, в которых на самом деле было всего восемьсот граммов и которые положили начало его богатству. Куика еще превозносил губернатора, вице-губернатора, депутатов и муниципальных советников, всю прессу и, в частности, бесстрашного репортера Галуба:

Герою Мата-Гато
Редактору Жако
Они грозят расплатой...
И это лишь за то,
Что драться он готов
В любое время года
За кров для бедняков...
Галуб, он — друг народа!

Куика восхвалял всех или почти всех, кто ему платил, а с Пепе Два Фунта, наверно, сорвал солидный куш. И все же он был единственным из всей огромной армии журналистов, кто упомянул о Бешеном Петухе и его выдающейся роли в этой истории. Газеты и радио ни слова не сказали о нем. Они рассыпались в похвалах губернатору, депутату Рамосу да Кунье, отважным полицейским, начальнику полиции, осторожному и в то же время бесстрашному, и т. д., и т. п... О Жезуино же ни слова! Только Куика в своей брошюре «Захват земельных участков Мата-Гато, где народ за двое суток построил целый квартал» посвятил ему волнующие строки; ибо Куика, хотя и исказил истину, все же знал, как в действительности разворачивались те или иные события, если отбросить хвалебную болтовню и последующие попытки приукрасить случившееся. Бедняга Куика нуждался в деньгах, и ему приходилось поступаться правдой.

К чему осуждать его? Он был популярным на рынке поэтом, сам торговал своими нескладными виршами с убогими, подчас ужасающими рифмами, среди которых редко-редко проблескивала жемчужинка подлинной поэзии. Его убеждения менялись в зависимости от того, кто ему платил. Но разве не поступают так же многие крупные популярные поэты, которым даже воздвигают памятники? Разве не приспосабливаются они к сильным мира сего, не продают им свое перо? Такова правда, и пусть она будет сказана здесь в полный голос. Разве не отказываются они от своей литературной школы, своих тенденций, убеждений, мировоззрений за те самые деньги, за которые менял свои взгляды Куика? За деньги или власть, роскошь или солидное положение, за премии, рекламу, хвалебные отзывы, не все ли равно?

Мы никого не обвиняем, мы здесь не для этого, а для того, чтобы рассказать историю, разыгравшуюся на холме Мата-Гато, ибо в ней, как во всякой истории, есть забавное и печальное, и об этом все должны знать. Мы не станем лить воду на чью-либо мельницу, просто мы были там — и знаем правду.

На фоне этих важных событий началась связь (впрочем, началась ли?) Капрала Мартина и Оталии, а также страсть чувствительного Курио к знаменитой индусской факирше мадам Беатрис (родившейся, кстати, в Нитерое *). Мы намерены рассказать об этих любовных историях и постараемся связать увлечения Капрала и Курио с захватом земельных участков, принадлежавших ранее командору Хосе Пересу, видному столпу испанской колонии, достопочтенному сыну церкви, пользующемуся влиянием в различных сферах баиянской жизни, и выдающемуся гражданину. Простите, если здесь вперемешку будут упоминаться губернатор и Тиберия — хозяйка дешевого публичного дома, депутаты

* Нитерой — главный город штата Рио-де-Жанейро.

и бродяги, солидные политики и озорные мальчишки, депутат Рамос да Кунья и Ветрогон, журналист Галуб и Капрал Мартин, впрочем, уже ставший тогда сержантом Порсиункулой. Иначе поступить мы не можем, события перемешали их всех — бедных и богатых, беззаботных и серьезных, людей из народа и людей, которых в газетах называют друзьями народа. Повторяем, однако: мы никого не хотим обвинить. Хотя бы потому, что никого не заинтересовало, кто же виновен в гибели Жезуино Бешеного Петуха, чтобы можно было наказать виновного... Оказалось, все были очень заняты тем, чтобы достойно почтить его память. Говорят, будто губернатор, у которого глаза на мокром месте, расчувствовался и всплакнул, обнимая депутата Рамоса да Кунью, своего политического противника, автора законопроекта об отчуждении земель. Однако он просиял, когда показался на балконе, чтобы поблагодарить за аплодисменты собравшуюся на площади толпу.

2

Куика допустил поэтическое преувеличение, когда в длинном названии своей книжки упомянул, будто квартал был построен за двое суток. На самом деле потребовалась неделя, чтобы холм, захваченный первым в Баии, приобрел вид городского квартала. Ныне же Мата-Гато ничем не отличается от других кварталов; в частности, там — как раз напротив домика негра Массу — высится нарядный фасад пекарни «Мадрид», принадлежащей Пепе Два Фунта. Впоследствии были успешно проведены захваты других земельных участков, выросли новые кварталы в районе Дороги Свободы, на северо-восток от Амаралины, был занят также холм Шимбо у Красной Реки, где вырос поселок. Надо же и беднякам где-то жить, нельзя вечно оставаться под открытым небом, всем нужна крыша, но не все могут платить за аренду.

Ведь и мы, гуляки-полуночники, время от времени должны отдохнуть у себя дома. Нельзя жить без собственного угла, и даже Ветрогон, человек легкомысленный, без определенных занятий, зарабатывающий на продаже лягушек, мышей, змей, зеленых ящериц и других животных, привыкший к ветру и дождю и к ночевкам на песчаных пляжах вместе с мулатками, по которым он сходит с ума, даже Ветрогон, который и сам, как животное, быстро ко всему приспосабливается, почувствовал необходимость иметь какую-нибудь нору, чтобы укрываться в ней. Он явился, если можно так выразиться, предтечей вторжения.

На холме Мата-Гато из листьев растущих там кокосовых пальм, реек, досок, ящиков и других бросовых материалов он соорудил себе подобие хижины и бродил по окрестностям в поисках животных. В ближайшем овражке не было недостатка в лягушках и жабах, надо было только пройти немного к устью реки. Мышей всех сортов и размеров водилось неподалеку тоже вполне достаточно, в особенности в лачугах вдоль дорог. А в зарослях кустарника на окрестных холмах он мог найти ящериц, ядовитых и неядовитых змей, гусениц, игуан, иногда даже зайца и лису. Кроме того, он ловил для себя речную и морскую рыбу, раков и креветок.

Долгое время Ветрогона никто не тревожил. Здесь, вдали от города, у него мало кто бывал, разве что он иногда приводил приятеля полакомиться рыбой, а то девушку — полюбоваться луной. Ни разу Ветрогон не попытался узнать, принадлежат ли кому-нибудь эти заброшенные земли и не совершил ли он незаконного акта, воздвигнув там свою жалкую лачугу.

Именно так он и сказал Массу, когда тот пришел однажды по приглашению Ветрогона отведать ухи. Ветрогон отлично стряпал, осо-

бенно ему удавалась мокека из морского окуня, красной рыбы, карапебы и гароупы, которых он сам ловил. Он не раз носил в подарок Тиберии и Рулевому Мануэлу большие рыбины весом в четыре-пять кило или связки сардин, спрутов и скатов и готовил мокеку на паруснике Мануэла, перебрасываясь игривыми шуточками с Марией Кларой, либо в окружении девушек на кухне заведения Тиберии. Уха, сваренная Ветрогоном, всегда получалась такой, что пальчики оближешь!

Иногда он готовил ее у себя в лачуге на Мата-Гато и приглашал полакомиться приятеля. Обычно же он ел кусок вяленого мяса, немножко муки и рападуры *. Ветрогон довольствовался немногим, а ведь как-то случалось, что у него не было даже вяленого мяса — одна рападура да мука. В те времена он бродил по провинции и занимался благочестивой профессией — помогал помирать.

Знаете, как бывает: иные упрямцы, готовящиеся перейти в лучший мир, долго тянут со смертью, отравляя существование родственникам и друзьям. Возможно, это объясняется тем, что они должны расплатиться за грехи и нуждаются в молитвах. И Ветрогон помогал этим медлительным людям переступить через порог иного мира, оставив в покое семью, погруженную в подобающую случаю скорбь и приготовления к похоронам, занятую закусками и выпивкой для ночных бдений у гроба. Усопших, как правило, поминали на широкую ногу — наедались и напивались до отвала.

Те, у кого оказывался такой приговоренный к смерти упрямец, не желающий умирать и цепляющийся за светильник жизни, знали, что делать: посылали за Ветрогоном, который прежде всего договаривался об условиях оплаты — он не был рвачом и добросовестно относился к делу. Ветрогон садился у постели больного и начинал читать молитвы, воодушевляя умирающего.

— Давай-давай, ведь тебя сам бог ожидает. Бог и вся его небесная свита!..— А потом своим низким голосом запевал: — Ога pro nobis...**

Были, конечно, и другие молельщики и молельщицы, но никто из них не добивался столь быстрых и надежных результатов, как Ветрогон. Через полчаса, максимум через час, умирающий отдавал концы и отправлялся наслаждаться прелестями рая, обещанными Ветрогоном. Обычно тот выдвигал семье, которой предстояло надеть траур, единственное, но непременное условие: оставить его на время с умирающим и не мешать своим присутствием. Все выходили, и из комнаты, где был Ветрогон, некоторое время доносились молитвы и наставления:

— Умирай в мире, брат, да будут с тобой Иисус и Мария...

Однажды какой-то любопытный родственник заглянул в двери и воочию убедился, насколько серьезна помощь Ветрогона, которая отнюдь не ограничивалась молитвами. Он помогал умирающему также локтем, давил ему на живот, отчего бедняга совсем переставал дышать.

Родственник, разумеется, не стал молчать, и карьера Ветрогона кончилась. Угроза мести заставила его переехать в столицу штата. Тут он построил лачугу на Мата-Гато и познакомился с Жезуино Бешеным Петухом, предложив свои услуги его куме, муж которой никак не хотел покидать бренную землю. В то время Ветрогон еще не посвятил себя науке и не сотрудничал в лабораториях.

Однако интересное и богатое событиями прошлое Ветрогона не имеет никакого отношения к захвату холма Мата-Гато. Мы упомянули о нем лишь потому, что Ветрогон в то время, еще задолго до появления там Массу, был единственным жителем этого района.

---

* Паточный сахар низшего качества.

** Молись за нас *(лат.)*.

Негр Массу, растянувшись на песке, потягивал кашасу и, вдыхая аппетитный запах мокеки, любовался пейзажем — голубым морем, белым берегом, кокосовыми пальмами; он спрашивал себя, почему до сих пор не поселился здесь — в этом прекрасном уголке, лучше которого, пожалуй, и не найдешь.

Положение негра Массу в тот момент было весьма серьезным. Хозяину барака, где он обитал уже несколько лет вместе со своей столетней бабкой и маленьким сыном, наконец надоело требовать плату за жилье. Четыре года и семь месяцев — ровно столько, сколько негр проживал в этом бараке,— он не платил ни гроша. И не потому, что был мошенником, наоборот, мало нашлось бы еще столь серьезных и обязательных людей, как он. Не платил Массу лишь потому, что к концу месяца у него никогда не оставалось денег. Иногда Массу удавалось скопить несколько монет, которые он предполагал отдать хозяину, но обязательно возникали какие-нибудь непредвиденные обстоятельства или надвигался праздник, поглощавший все его скудные сбережения.

Однажды хозяин барака, он же владелец находившейся по соседству мясной лавки, сам пришел за деньгами. Он застал только старую Вевеву, которую у него не хватило духа выгнать, и оставил Массу записку. В другой раз он застал Массу, который чинил дырявую крышу барака; негр разбушевался — крыша ни к черту, барак — дерьмо, а плату требуют большую, и этот мясник еще смеет орать, думает, ему сейчас же выложат денежки. Задыхаясь от ярости, негр спустился с крыши, его мускулистое тело блестело на солнце. Массу совсем разошелся, и хозяин, отказавшись от дальнейших переговоров, пообещал прислать рабочего заделать дыры.

И вот недавно мясник относительно дешево продал и участок и барак какой-то компании, так как не мог ни получить с Массу за аренду, ни выселить его.

Эта компания собиралась строить фабрику, приобрела много земли, стала сносить дома и бараки, дав всего месяц на выселение и предложив желающим работу сначала на стройке, а потом на фабрике. Негр Массу понял, что должен подыскать себе новое жилье, иного выхода у него не было.

Развалившись на песке и поедая превосходно приготовленную рыбу, он спросил Ветрогона:

— А кому принадлежит этот участок?

Ветрогон задумчиво ответил:

— Не знаю... Здесь нет хозяина...

— Ну, это положим!.. Ты когда-нибудь видел землю без хозяина? Все в мире имеет хозяина...

— Я думаю, она принадлежит правительству...

— Ну что ж, отлично, если правительству, значит, и нам...

— А разве это одно и то же?

— Конечно! Ведь правительство это и есть народ!

— И ты этому веришь? Правительство заодно с полицией, это я знаю точно.

— Ничего ты не знаешь. А я это слышал на митинге. Ты вот не ходишь на митинги, поэтому ничего не понимаешь...

— А зачем мне понимать? Какой в этом толк?

У негра Массу жир тек по подбородку... Какая вкусная уха! И какой чудесный уголок нашел Ветрогон.

— Знаешь, Ветрогон, я буду твоим соседом... Построю здесь себе лачугу и поселю в ней Вевеву с малышом...

Ветрогон сделал широкий жест.

— Места тут всем хватит, пальмовых листьев тоже...

И через несколько дней негр Массу пришел на холм вместе с Мартином, Ипсилоном, Гвоздикой и Жезуино Бешеным Петухом. Он привез на тележке кое-какие материалы, пилу, молоток, гвозди. Помощь Ветрогона выразилась в том, что он сварил для друзей уху. Не пришел только Курио, в то время он был по уши влюблен в мадам Беатрис.

Массу соорудил домишко, который казался даже красивым. Гвоздика, бывший в молодости маляром, выбрал колер для дверей и окон — голубой и розовый — и взялся за кисть, но исключительно для того, чтобы помочь другу. В душе он чувствовал непреоборимое отвращение к труду.

Ипсилон, набив живот рыбой, наблюдал за тем, как Гвоздика красит окна и двери, а Массу, Маргин и Жезуино возводят глинобитные стены.

— Я даже смотреть устал, как вы работаете...— наконец вздохнул он.

Таков уж был Ипсилон: что бы ни случилось, он никогда не оставлял друзей, всегда был с ними, готовый помочь советом и участием. Этот эрудированный и культурный человек, читающий журналы, однако, обладал хрупким телосложением и быстро уставал.

Всем очень понравилось местечко, где поселился Массу. Вечером, ужиная в заведении Тиберии, Жезуино расхваливал Мата-Гато.

Когда Массу переехал, Тиберия пришла навестить его и повидать крестника; они с Жезусом тоже были очарованы красотой тамошнего пейзажа.

За много лет тяжелой работы (она управляла заведением, он кроил и шил сутаны для священников) они не сумели скопить денег на покупку дома, где могли бы поселиться на старости лет. Так почему бы им не построиться здесь, исподволь приобретая кирпич и известь, немного камня, немного черепицы?

Со строительства этих двух жилищ — глинобитной хижины Массу и кирпичного дома Жезуса — по сути и начался захват холма.

Как об этом узнали люди, неизвестно. Но через неделю после того, как Жезус начал строить свой дом, на Мата-Гато уже стояло около тридцати лачуг из самых разнообразных материалов, и в каждой была куча детей всех цветов и возрастов. Ежедневно продолжали прибывать тележки с досками, ящиками, жестяными банками, листами старого железа — словом, всем, что годилось для постройки.

Ветрогон скоро переселился подальше, оставив свою лачугу, куда сразу же въехала дона Фило, торговка, которую преследовали полиция и суд по делам несовершеннолетних за то, что она торговала детьми — впрочем, своими собственными. Их у нее было семеро, самому младшему исполнилось всего пять месяцев, и она давала их напрокат знакомым нищим. С маленьким ребенком гораздо легче растрогать прохожих. Фило рожала каждый год, и никакие средства не могли помешать этому. Она знала всех отцов своих детей, но никого из них не беспокоила, предпочитая зарабатывать на жизнь с помощью детей. Самый старший был уже настолько хорошо подготовлен, что его однажды арестовали за налет на кондитерскую.

Так начался захват Мата-Гато.

3

На землях Мата-Гато царило необычайное оживление — все строили лачуги на холме, откуда открывался очаровательный вид на море и где постоянно веял легкий ветерок, смягчавший жару. Лишь Капрал Мартин не поддался этой горячке. Все его друзья суетились, выбирая место для

жилья, он им, чем мог, помогал, но не больше. После печально окончившегося брака с красавицей Мариалвой Мартин не помышлял об устройстве домашнего очага, тем более о постройке дома. Ему навсегда опротивела семейная жизнь, и он довольствовался крохотной комнатушкой в большом доме на площади Позорного Столба.

А ведь он был сейчас влюблен, как никогда... Страсть буквально пожирала Мартина, он совсем потерял голову, ходил как дурак, вроде этого сумасшедшего Курио, когда тот влюбляется,— помните случай с Мариалвой? Капрал Мартин, этот опытный и тщеславный соблазнитель, сейчас мало чем отличался от Курио. Вы уже, конечно, знаете предмет его страсти: это была Оталия, приехавшая из Бонфима, чтобы обосноваться в публичном доме Тиберии.

Она не выходила у Мартина из головы с того самого дня, когда праздновалось рождение Тиберии и Оталия, танцуя с ним, схватилась с Мариалвой. Некоторое время он ее не видел, но часто вспоминал, не сомневаясь, что в один прекрасный день они встретятся и наступит конец его непродолжительному одиночеству. После того, как Мариалва решила покинуть поле боя и уйти из домика в Вила-Америке, Мартин вскоре уложил вещи, облачился в свой лучший костюм, начистил до блеска ботинки, причесался, изведя довольно много бриллиантина, и отправился к Оталии.

Эта Оталия была очень своенравной и капризной девчонкой, и в заведении у нее имелась своя клиентура. Она нравилась пожилым господам, так как была нежная и хрупкая, словно девушка из благородной семьи. Тиберия любила ее, как дочь. Кроме клиентов, она ни с кем не имела дела, не была привязана ни к одному из друзей дома, которым, подобно Мартину, кое-что перепадало от девушек и которые иной раз разыгрывали трагические сцены. Например, Теренсио выхватил однажды кинжал и прикончил тут же, в заведении, Мими с кошачьей мордочкой. И все из-за дурацкой ревности.

Оталия не привязалась ни к кому; если она не очень уставала, то спала с тем, кто выбирал ее, а на праздник отправлялась под руку с тем, кто был ей по душе. Бедная девочка была очень нежная и позволяла за собой ухаживать, не то что Мариалва, у которой все было показное. Оталия к тому же была очень молода, ей, видимо, не исполнилось еще и шестнадцати.

Капрал Мартин без труда нашел к ней подход. Оталия, казалось, ждала его, и когда он, чтобы произвести соответствующее впечатление, явился с томным лицом, изображая покинутого мужа с разбитым сердцем, жаждущим утешения, она приняла его спокойно, будто встреча с ним была предначертана судьбой. Мартин даже подумал, что, пожалуй, она слишком доступна, и это его несколько обеспокоило.

Капрал, разумеется, не собирался тратить время на ухаживание за Оталией и говорить ей нежности, на которые так щедр был Курио. Но, с другой стороны, ему не понравилось бы, если бы она легла с ним, едва он этого пожелает; он заявил, что ему наплевать на Мариалву, так как с того дня, когда он танцевал с Оталией, он только и думает о ней и не смотрит на других женщин. Он сам прогнал Мариалву; наверно, Оталия слышала об этом? Сделал он это ради того, чтобы снова стать свободным и прийти к Оталии.

Оталия улыбнулась и сказала, что знает обо всем. Знает о страстной любви Курио — кто в городе не знает о ней? — и его отчаянии, о планах мести, которые вынашивала Мариалва, о решающем свидании друзей, она знает все и о многом догадывается. Она видела, как Мариалва пришла в заведение с унылой, как у лошади под дождем, мордой и, никому не сказав ни слова, заперлась с Тиберией в гостиной, а потом отправилась в заднюю комнату, освободившуюся после отъезда Мерседес

в Ресифи. С тех пор Оталия стала поджидать Мартина, она была уверена, что он придет. Но она и раньше ждала его, даже раньше, чем они познакомились, еще с тех пор, как она услышала разговоры о его женитьбе. Это было в первый же день ее приезда в Баию, куда она бежала из Бонфима от преследований судьи — его сын сошелся с ней, мать подняла шум, отец тоже. А едва она приехала в Баию, у нее украли вещи... Потом оказалось, что это якобы пошутил Гвоздика, как объяснил ей Жезуино. Так вот, в тот день только и разговоров было что о Мартине и его свадьбе с Мариалвой. Кстати сказать, Мариалва и сейчас видеть не может Оталию, а когда входит в заведение, так на нее не смотрит... Но Оталия не сердится, она не злопамятна. Что касается Мартина, то она наверняка знала, что он никуда не денется, рано или поздно бросит эту куклу и придет к ней, Оталии. Откуда знала? Не спрашивайте, такие вещи нельзя объяснить, как и многое другое на свете.

Она протянула ему руки и губы для поцелуя и улыбнулась своей чистой детской улыбкой. Уж слишком доступна, подумал Мартин, даже неприятно.

Но оказалось, что Капрал, столь опытный в сердечных делах, ошибся. Оталия взяла его под руку, и они отправились прогуляться. Она обожала гулять. Капрала такая программа устраивала, постель остается на потом, когда Оталия закончит работу. Он придет в заведение около полуночи, закусит с Жезусом, выпьет бутылку пива, поговорит о том, о сем. А когда Оталия отпустит последнего клиента, примет ванну, переоденется в домашнее платье и снова станет наивной маленькой девочкой, они отпразднуют свою первую ночь любви. И даже это слишком скоро, обычно Мартин ухаживал три-четыре дня. Но было бы хуже, если бы она пригласила его в постель сразу, едва Мартин заговорил с ней. Поначалу он решил, что так и будет, настолько покладистой она показалась — не прикинулась недотрогой или ничего не понимающей дурочкой, а без обиняков сказала, что он ей нравится и что она уже давно ждет его.

Они прогулялись по берегу бухты, пособирали раковины. Ветер развевал пушистые волосы Оталии, она бегала по песку, он ее догонял, а догнав, обнимал и целовал в губы.

Они вернулись к вечеру, Тиберия была строгой хозяйкой, и если Оталия не работала после обеда, она никак не могла пропустить вечера. Мартин договорился встретиться с ней после полуночи.

Он отправился на поиски партнеров — за игрой и время пройдет быстрее, и немного деньжат можно заработать на подарок для Оталии.

Но в эти дни новый начальник полиции, зловредный и хитрый тип, решивший покончить с азартными играми, яростно преследовал «жого до бишо», многих маклеров посадил в тюрьму, наводнил агентами места, где играли в карты или кости, словом, разошелся вовсю. Правда, он не совался в притоны богачей — в их отели и фешенебельные дома, где играли даже в баккара и рулетку. На это он закрывал глаза, считая противозаконной лишь игру бедняков.

Поэтому Мартин с трудом нашел себе партнеров, у которых и выиграл несколько монет в кости. Больше остальных проиграл Артур да Гима, ему не везло в тот вечер, и его святой не раз уже приказывал ему бросить кости, но страсть к игре одерживала верх.

Было уже за полночь, когда Мартин вернулся в заведение. Оталия ждала его в гостиной, сидя за столом с Тиберией и Жезусом. Мартин принес кулек шоколадных конфет и всех угостил. Жезус налил ему стакан пива, выпили. Немного погодя Жезус отправился спать, Тиберия пошла проверить, все ли гости ушли.

— Пойдем, красотка, и мы? — предложил Мартин.

— Что ж, пойдем прогуляемся... Луна очень красиво светит.

Мартин, разумеется, имел в виду совсем не прогулку. В этот час он ложился в постель, а не отправлялся гулять. Но он ничего не сказал — каждая женщина имеет право покапризничать, и он был готов удовлетворить прихоть Оталии. Они вышли на улицу и стали любоваться луной, клянясь друг другу в своих чувствах и вечной верности, нежно воркуя, как настоящие влюбленные. Столь нежной и искренней женщины Капрал еще не встречал и всей душой наслаждался этой прогулкой при луне, этими объятиями в подворотнях, этими поцелуями.

Наконец они вернулись в заведение, и у двери Оталия протянула Мартину на прощание руку:

— До завтра, мой негр.

— То есть как это до завтра? — удивился Мартин.

Он все же попытался войти в дом, однако Оталия осталась непреклонной. Они должны немного подождать — день, другой... А сегодня она очень устала и хотела бы отдохнуть, побыть одной, чтобы вспоминать снова и снова проведенные с ним часы, этот долгий и счастливый день. Она протянула ему для поцелуя губы, на миг прижалась всем телом, затем убежала к себе в комнату и заперлась. Пораженный Мартин остался стоять, ощущая на губах вкус поцелуя Оталии, тепло ее тела, все еще отказываясь верить в то, что произошло.

— Кто там? — донесся изнутри строгий голос Тиберии.

Мартин ушел взбешенный, твердо решив не видеться больше с этой сумасшедшей девчонкой, вздумавшей посмеяться над ним.

Снова Мартин был недоволен. Сначала ему была неприятна мысль, что Оталия слишком доступна и роман с нею будет лишен всякой поэзии. А теперь, когда он увидел, что попасть к ней в постель не так легко, что девушка хочет, чтобы он какое-то время за ней поухаживал, он обозлился и яростно отшвыривал камни, попадавшиеся ему под ноги.

Проклиная все на свете, Мартин отправился разыскивать приятелей, но нашел только Жезуино Бешеного Петуха, который сидел в баре «Сан-Мигел» и с кем-то разговаривал. Мартин тоже сел и заказал вина. Однако кашаса казалась ему безвкусной в эту ночь. Он все еще чувствовал губы Оталии на своих губах, ее тело в своих руках, его ноздри вдыхали ее аромат. И больше для него ничего не существовало.

Жезуино, ничего не знавший о последних событиях, был поражен: неужели уход Мариалвы настолько расстроил Капрала, что тот утратил хорошее настроение и вкус к выпивке? Однако Мартин заверил его, что совсем не переживает из-за Мариалвы, этой наскучившей ему до тошноты бабы, пошла она к черту! Курио же остался ему другом и братом, и их родство сильнее, чем родство кровных братьев, рожденных одной матерью. Он взбешен по другой причине. Но Жезуино не стал допытываться, почему именно... Когда люди поверяли ему свои горести и надежды, затруднения и мечты, он внимательно слушал и старался помочь. Однако никогда не вырывал признаний насильно, даже если умирал от любопытства. Кроме того, он был очень заинтересован разговором со своим собеседником.

Итак, Мартин решил не возвращаться к Оталии, но вся его решимость испарилась к вечеру следующего дня. Когда он явился, Тиберия, завидев его, рассмеялась:

— Влюблен? Наверно, в нашу девочку?

Капрал услышал в ее голосе одобрение. Тиберии нравилось покровительствовать увлечениям Мартина, она всегда следила за его связями. А Оталию любила, как дочь. Это совсем иное дело, нежели женитьба на Мариалве, состоявшаяся тайком от нее, когда Капрал забыл даже о самых верных своих друзьях.

Оталия приняла его все с той же нежной улыбкой, так же доверчиво и восторженно, счастливая оттого, что любима и любит.

— Почему ты так поздно? Куда мы пойдем сегодня?

У Мартина было твердое намерение сегодня же покончить с этим делом и во что бы то ни стало уложить девчонку в постель. Но перед ее наивным простодушием его мужество отступило — обезоруженный ее бесхитростностью, он ничего не сказал ей, и они снова пошли гулять. В тот день был праздник с кермессе* на церковной площади и оркестром. Когда они вернулись, Оталия снова простилась с ним горячим поцелуем.

Мартин был в замешательстве: сколько же это продлится? Несомненно, дольше, чем он предполагал. Шли дни, прогулки становились все дольше, они бродили по всему городу, посещали праздники, кандомблэ, пирушки, балы и всюду появлялись, взявшись за руки, влюбленно глядя в глаза друг другу. У двери заведения они прощались. Оталия не спала с Капралом, но и ни с кем другим из своих поклонников, она просто работала, и не было иного мужчины в ее жизни, кроме Мартина.

Даже с невинной девушкой у Мартина не бывало более целомудренного флирта. Прямо удивительно! Ведь он ухаживал за продажной женщиной, проституткой, тело которой доступно для каждого, кто за него заплатит.

А между тем отношения их с каждым днем становились все более чистыми. С другими, даже приличными, женщинами ласки день ото дня нарастали кресчендо, пока Капрал не добивался своего. С Оталией же получилось наоборот. Наиболее успешным был для него первый день, когда он смог ощутить ее маленькую грудь, округлость ее ягодиц, тепло ее бедер. В последующие же дни она пылко целовала его и прижималась в момент расставания, но и только...

И чем дальше, тем сдержаннее вела себя Оталия. Между ними крепли доверие, нежная дружба, росла близость, однако Мартину и шагу не удалось сделать по направлению к постели Оталии, к ее желанному телу. Самое большее, чего он добивался во время долгих прогулок или на веселых праздниках,— это поцелуй в губы либо в затылок, иногда ему разрешали дотронуться до груди, поиграть волосами.

Так продолжалось больше месяца, и друзья Мартина уже начинали возмущаться. Оталия же сделала своей поверенной Тиберию: рассказывая ей о своей любви к Мартину, о своей бесконечной нежности, она называла себя его невестой.

Однако жених и не помышлял о том, чтобы построить дом на Мата-Гато. Домашним очагом он уже навсегда был сыт по горло. Один или вместе с Оталией он приходил на холм помогать друзьям. Тиберия тоже строила себе дом, и даже издали было видно, что это лучший дом в поселке: кирпичный, крытый настоящей черепицей, оштукатуренный. Курио тоже сооружал себе лачугу, не говоря о Массу, который давно переселился сюда с вещами, бабкой и малышом. Иногда Мартин приносил с собой гитару и пел.

Быстро росло число лачуг. Беднякам нечем было платить за аренду домишка или комнаты даже в самых грязных и ветхих хибарах, даже в вонючих домах старого города, где семьи ютились в тесных и темных клетушках. Здесь, по крайней мере, у них было море и песчаный берег с кокосовыми пальмами. И все же эти бедняки из бедняков, люди, у которых не было ни кола ни двора, живущие случайными заработками или работающие непосильно, не смирились. Они старались побороть нищету, не предавались отчаянию, не горевали и не теряли надежды. Наоборот, в самом тяжелом положении они не утратили способности смеяться и веселиться. Быстро воздвигались крошечные убогие лачуги из фанеры, досок, кусков жести. А по вечерам жизнь здесь кипела, били ба-

* Благотворительный базар в день религиозного праздника.

рабаны, стонали самбы. Атабаке звали на праздник богов, беримбау — на ангольскую игру капоэйру.

Только к концу первой недели — в субботу, когда на холме уже стояло около двадцати хижин, Пепе Два Фунта, владелец всей этой прибрежной полосы и холма Мата-Гато, узнал от своего управляющего о захвате небольшого участка и появившихся там сооружениях из жести и досок.

Пепе купил эти земли за гроши много лет назад. Он месяцами не вспоминал не только о холме Мата-Гато, но и о более крупных своих владениях, хотя у него и был план разбить их на участки для строительства жилого квартала, если город станет разрастаться в сторону океана. План недурной, но осуществить его удастся не скоро, так как прежде будут осваиваться пустующие участки в районе гавани, на горе Ипиранга, на Грасе, на берегу бухты, и только потом строители доберутся до дороги, ведущей к аэродрому. Тогда эти земли повысятся в цене.

Но, как бы там ни было, он не мог допустить, чтобы на его землях кто-то строился и селился, тем более эта шайка бродяг. Он прикажет снести грязные лачуги, испортившие красивый пейзаж.

В один прекрасный день здесь вырастут настоящие дома, а не жалкие хибары. То будут просторные особняки с большими верандами и многоквартирные дома, спроектированные знаменитыми архитекторами, выстроенные из самых дорогих материалов. Дома и квартиры для богатых людей, которые в состоянии хорошо заплатить за земельные участки Пепе и построить красивые и комфортабельные здания. Что же касается холма Мата-Гато, то он думал оставить его внукам — Афонсо, который изучал право, и Катэ, изучающей философию. Чудесные ребята с левыми взглядами, как и подобает их возрасту и эпохе, а их чувству независимости весьма способствуют собственные автомобили и яхты.

Здесь вырастут сады, прекрасные женщины будут расхаживать среди цветов; в купальных костюмах они станут загорать на пляже, купаться в море, чтобы их тела были еще более желанными, более гибкими и соблазнительными.

4

Прекрасна стройная мулатка Дагмар! Ее появления на субботних танцах всегда с нетерпением ожидали все мужчины. В последнее время ее любовником был Курчавый, признанный мастер капоэйры, а в свободные часы — каменщик. До того, как к Дагмар пришла любовь и она вступила во внебрачную связь, она работала горничной и нянькой в богатых семьях. Но Курчавый, считавший, что отныне он несет ответственность за совершенную красоту мулатки, не разрешил ей портить фигуру и терять грацию, вытирая пыль с мебели в доме какого-нибудь подлеца, либо терпеть выходки невоспитанных и плаксивых мальчишек. Он не хотел, чтобы у его возлюбленной были издерганные нервы.

Из любви к Дагмар он взялся за мастерок и сложил глинобитную лачугу на Мата-Гато. А потом помогал другим: за небольшую плату тем, у кого были деньги, и даром остальным: он был великолепным каменщиком и охотно протягивал руку тому, кто в нем нуждался. Вот и сейчас, в воскресное утро, пока Дагмар, которой надоело его ждать, загорала на пляже, Курчавый помогал Эдгару Шевроле, бывшему таксисту, ушедшему на покой после несчастного случая, лишившего его правой руки и левого глаза.

На пляж отправилась и дона Фило с пятью из семерых своих детей. По воскресеньям она не давала их напрокат, сколько бы денег ей ни предлагали. Воскресенье было ее днем, который она с утра до вечера

проводила с детьми: купала их, причесывала, выбирая насекомых, наряжала во все чистое. Приятно было смотреть на семью, сидевшую за вкусным завтраком, приготовленным самой Фило; потом она рассказывала ребятам сказки. Так Фило вознаграждала себя за неделю, проведенную без них: в будни дети бродили с нищими по улицам, стояли на папертях, заходили в рестораны и бары — грязные, оборванные, с голодными глазами. Два старших мальчика играли сейчас в футбол на импровизированном поле позади лачуг. Младший из них подавал надежды: он не пропускал в ворота ни одного мяча; так что, если будет на то божья воля, в один прекрасный день он станет профессиональным игроком, зарабатывающим большие деньги.

Утро стояло мягкое, солнечное, не очень жаркое; листья кокосовых пальм шевелил ветерок, море было спокойно, по небу плыли редкие облака. По шоссе в аэропорт неслись автомобили, и многие юноши оборачивались, чтобы полюбоваться смуглым телом Дагмар. Вдруг в стороне Амаралины взвыли сирены полицейских машин. На холме и на пляже никто не обратил на это внимания, подумали, что они едут в Итапоа.

Жезуино, Мартин и Ипсилон пришли сегодня к Массу с утра. Не хватало только Курио, его дом был еще недостроен, а сам он устраивал дело мадам Беатрис, которая готовилась предстать перед публикой Баии с сенсационным номером: заживо погребенная, она месяц пролежит в гробу без еды. Мартин перебирал струны гитары, устроившись на ящике; голова Оталии, сидевшей на земле, покоилась у него на коленях. Из всех, кто еще строился, работал в воскресенье только Эдгар Шевроле. Остальные отдыхали, растянувшись прямо на земле.

Три большие машины, которые везли свыше тридцати полицейских и агентов, однако, не проследовали на Итапоа. Перед Мата-Гато они свернули с шоссе на глинистую дорогу и остановились у подножия холма. В зарослях кустарника новоселы уже проложили несколько тропок.

Все произошло внезапно и быстро. Полицейские поднялись на холм, вооруженные топорами и кирками, некоторые несли канистры с бензином. Начальник отряда, свистнув, дал сигнал. Этого типа, который приобрел печальную известность после событий на Мата-Гато, звали Шико Ничтожество, и он действительно был ничтожеством, как мы увидим дальше.

Полицейские прошли к баракам, не сказав ни слова. Впрочем, это, пожалуй, неправда: когда отряд автоматчиков остановился против бараков, Шико Ничтожество предупредил:

— Если кто-нибудь попытается мешать нашей работе, получит пулю в живот... Тот, кто хочет жить, должен вести себя разумно...

Другой отряд направился к лачугам; топорами и кирками полицейские стали крушить все подряд — и дома, и мебель, если только ящики, колченогие столы, стулья, дырявые матрасы и старые скамейки можно было назвать мебелью. Но иной здесь ни у кого не было.

Третий отряд принес канистры с бензином, который вылили на доски, солому, тряпье и подожгли. Взметнулось пламя, один за другим разгорались костры. Отовсюду бежали ничего не понимавшие люди: они хотели спасти свое имущество, но, отступив перед автоматами, сбились в кучу. Их глаза сверкали гневом и ненавистью.

Негр Массу словно обезумел от ярости; не обращая внимания на автоматы, он видел перед собой только Шико Ничтожество с его свистком. Массу бросился на него, но был схвачен пятью агентами и, поскольку продолжал драться, был избит. «Проучите хорошенько этого наглого негра!» — приговаривал Шико.

С берега моря прибежали Дагмар и дона Фило с пятью ребятишками. Но уже было поздно: полицейские выполнили свою славную миссию, и от двадцати с лишним домишек со всевозможной утварью остались

только кучи пепла, на которые налетал ветерок. Фило смогла лишь крикнуть:

— Сволочи! Черти собачьи!

Шико Ничтожество приказал:

— Взять и ее!..

Два агента втащили Фило на тот же грузовик, где полицейские держали скрученного Массу. Но когда они захотели уехать, это оказалось невозможным: все до единой шины были проколоты. Постарались мальчишки. Изгнанные из домов люди наблюдали, как полицейские в ярости мечутся около ставших ненужными грузовиков, а Шико Ничтожество стоит на шоссе с поднятой рукой. Агенты, которым угрожала опасность возвратиться в город пешком, остановили наконец машину, ехавшую порожняком из аэропорта. В начавшейся сутолоке они отпустили Массу и дону Фило, решив, что и потом будет достаточно поводов арестовать их. Полицейские и агенты набились в машину, несколько человек остались караулить грузовики, пока не подвезут новые шины.

Люди с холма Мата-Гато все еще не пришли в себя. Огонь, уничтожив их лачуги, перекинулся было на редкий кустарник, но вскоре потух. Наступило тяжелое, полное бессильной злобы молчание, которое прерывалось рыданиями женщины. У нее впервые в жизни был дом, и тот простоял всего лишь два дня.

И тут Жезуино Бешеный Петух шагнул на середину выгоревшего участка и сказал:

— Не надо унывать, друзья! Они снесли наши дома, но мы выстроим новые...

Женщина перестала плакать.

— А если они опять их разрушат, мы опять восстановим. Посмотрим, кто кого.

Негр Массу, по лицу которого еще струилась кровь, прокричал:

— Ты прав, папаша, как всегда прав! Я отстрою свой дом заново и буду настороже. Пускай ко мне сунется хоть один полицейский и попробует разрушить мой дом, я его так проучу...

С выражением твердой решимости негр подошел к старой Вевеве, державшей на руках ребенка. Он был один, но грозен, как целое войско.

Люди тут же принялись сооружать себе жилье, ведь им негде было жить. Трудились все: и красавица Дагмар, и Оталия, и дона Фило со своими детьми, и даже мальчишки. Даже Ипсилон, усталый от рождения *, работал. Мартин играл на гитаре, остальные пели. Сегодня воскресенье, и вечером можно будет устроить танцы.

Полицейские, стоявшие у подножия холма, рядом со своими грузовиками, наблюдали за кипевшей наверху работой. Это было любопытное зрелище, и оно заинтересовало журналиста Галуба, репортера оппозиционной газеты. Он возвращался из аэропорта, проводив своего приятеля, когда густой дым, а также мечущиеся на холме фигуры привлекли его внимание. Галуб остановил автомобиль и отправился спросить, что тут происходит. Жезуино Бешеный Петух подробно рассказал ему о подвигах полиции.

5

Во вторник сенсационный репортаж появился на восьмой полосе «Газета до Салвадор» — органа оппозиции, который после поражения на выборах весьма нуждался в деньгах и читателях. Директор газеты Айртон Мело, баллотировавшийся кандидатом в федеральные депутаты, угробил на избирательную кампанию немалые средства, в основном

* В Бразилии популярна поговорка «Бразилец родится усталым».

чужие, а заодно и фонды газеты. Он не был избран, получил пост лишь четвертого заместителя депутата и еще не сумел найти достойный способ примкнуть к правительственной группировке. Разглядывая снимки жителей Мата-Гато (куда Галуб вернулся в понедельник с фотографом), этот честный журналист, «страж общественных доходов» (как называла его газета во время избирательной кампании), скривился при виде изображения доны Фило, растянувшей в широкой улыбке свой беззубый рот, и ее детей, вцепившихся в мать.

— Пожалуй, не мешает немного потрясти испанскую колонию,— сказал он.— Эти галисийцы становятся все более жадными, не дают нам теперь ни гроша. Прижмите этого мошенника Переса, связав историю захвата холма с его аферой с гирями. Однако не надо клеветать на испанцев вообще, поэтому порассуждайте о благородстве большинства из них. Увидите, они сразу подожмут хвосты, а нам это и нужно. Дела идут туго, сеньор Жако...

— А правительство?

Айртон Мело улыбнулся, он считал себя тонким и чрезвычайно ловким политиком, наследником принципов старых баиянских бонз.

— Ударьте и по правительству, мой дорогой. Ударьте крепко, рук не жалейте. Но,— понизил он голос,— пощадите губернатора, взывайте к его совести, он, мол, должен знать, что творится вокруг, и тому подобное, в общем, вы и сами умеете разводить турусы на колесах. Потом ударьте по начальнику полиции! Он ведь поклялся искоренить все азартные игры, в том числе и «жого до бишо». К сожалению, мы не можем выступить в защиту маклеров, но эта история с Мата-Гато поможет нам взяться за начальника полиции Нестора Албукерке и даже свалить его. А средства на эту кампанию мы получим от заправил «жого до бишо»...

Он закурил сигару и, выпустив клуб дыма, ласково посмотрел на Жако:

— Если дело выгорит, мой дорогой, я вас не забуду. Вы знаете, что я не забываю услуг...

Директор был настроен великодушно, поскольку появилась возможность получить солидную сумму. Жизнь на два дома стоила ему недешево, как и соревнование «кто больше потратит» между его женой Ритой и любовницей Розой. Пара грызунов — как он сам называл их немного цинично, но остроумно — уничтожала его заработки.

Жако Галуб взглянул на директора, развалившегося в кресле. Может быть, на свой лад он и был великим человеком, но если бы Галуб доверился его обещаниям и стал ожидать его щедрот, то умер бы с голоду. А Жако Галуб с голоду умирать не собирался. Он был тщеславен, играл на свой страх и риск и если не отказывался от скудного жалованья, которое ему платил Айртон Мело, то лишь потому, что использовал страницы газеты в своих интересах. Энергичный и умный человек, он был хорошим, опытным журналистом и считался одним из лучших репортеров в городе, лишенным всяких предрассудков, а также ненужной чувствительности. Галуб был хладнокровен, несмотря на внешнюю горячность; он мечтал создать себе имя и уехать в Рио-де-Жанейро, а там, завоевав большую прессу, заработать побольше денег и основать собственное дело... Он был уверен, что достигнет этого. Отвечая «честному журналисту», Галуб тоже улыбался.

— Можете быть спокойны, мы организуем шумную кампанию. Престиж газеты сразу возрастет, тираж тоже. Я сам возглавлю это мероприятие.

— Вложите в репортаж как можно больше души, заставьте читателей плакать от жалости к этим беднякам, не имеющим ни гроша, к этим бездомным людям...

— Можете на меня положиться...

Как только Галуб вышел, Айртон Мело снял телефонную трубку, быстро набрал номер и стал с нетерпением ждать, когда ему ответят. Затем он сказал:

— Отавио тут? Это Айртон Мело.

Отавио Лиму, хозяина «жого до бишо» в столице штата и близлежащих городах, подозвали к телефону.

— Это ты, Отавио? Нам нужно встретиться, дорогой, у меня, наконец, появилась возможность свалить Албукерке...

Выслушав ответ, он продолжал:

— На этот раз козыри у меня... Могу объяснить голько при личной встрече...

Директор улыбнулся.

— В твоей конторе? Да ты с ума сошел?! Если меня там увидят, сразу пустят слух, что ты купил мою газету... Давай у меня...

Снова пауза.

— Где именно?— переспросил журналист и, подумав, предложил:— У Розы, я думаю, нам будет спокойнее.

Итак, во вторник репортажем, подписанным Жако Галубом и занявшим всю восьмую полосу с крупно набранным, броским заголовком на первой, где сияла беззубой улыбкой многодетная дона Фило, сделавшая душераздирающее заявление, «Газета до Салвадор» начала кампанию «в защиту бездомных бедняков, вынужденных занимать пустующие земли», кампанию, которая стала эпохой в баиянской печати.

Первую неделю Жако Галуб трудился не покладая рук. Большую часть времени он проводил на Мата-Гато, воодушевляя тамошних жителей и заверяя их, что теперь, когда в их поддержку выступила «Газета до Салвадор», они могут строить сколько угодно. И действительно, репортажи сыграли роль приманки. Первыми на холм вторглись Массу, Жезус, Курио, Курчавый — все они были друзья или просто знакомы между собой, а то и родственники. Но после того, как туда прибыла полиция, а затем стали публиковаться репортажи в «Газета до Салвадор», люди потянулись со всех концов города. Они везли с собой доски, ящики — все, что было пригодно для постройки. Через десять дней домов уже насчитывалось больше полсотни, но и на этом строительство не кончилось.

В своих репортажах Жако точно следовал указаниям Айртона Мело. Удар по правительству: начальник полиции, применивший силу и превысивший свои полномочия, подкуплен испанской колонией. В своем первом репортаже, основываясь на рассказах Жезуино и других обитателей холма, Жако описал, как все началось: бездомные люди нашли эти заброшенные земли и стали сооружать там лачуги. Потом в полицию поступила жалоба от Пепе Два Фунта — «миллионера Хосе Переса, уже много лет известного под этим метким прозвищем»,— и были предприняты насильственные действия, которыми руководил Шико Ничтожество — опытный истязатель, действовавший по распоряжению Албукерке, «начальника полиции, этого невежественного и недалекого фанфарона». Избиение Массу было описано во всех деталях: негр защищал свое жилище, жизнь своей столетней бабушки и своего сынишки, а полицейские скрутили его и подожгли его дом. Все это имело место, хотя Массу, в изображении Жако, был избит прежде, чем набросился на полицейских. Об этом репортер умолчал, что не понравилось Массу. Он выглядел беззащитным бедняком, который покорно дал себя избить. Жако стоило большого труда уговорить обидевшегося негра.

Однако, нападая на правительство и в особенности на начальника полиции, журналист пощадил губернатора. Он даже воздал должное его доброте и мягкосердечию, а также его патриотизму. Правительству по-

ра вспомнить, писал Жако, что мы живем в независимой стране, а не в «испанской колонии». Хотя многочисленная испанская колония состоит в большинстве своем из честных и трудолюбивых людей, которые много сделали для прогресса штата, там процветают еще отдельные мошенники, нажившие состояния незаконным путем. И это «Газета до Салвадор» берется доказать в следующей серии репортажей. В Баии существует испанская колония, но Баия не должна превращаться в колонию испанской колонии — это разные вещи. Однако начальник полиции г-н Албукерке, король зверей, прозванный так из-за своих яростных преследований маклеров «жого до бишо» (интересно, с какими целями он это делает?), с готовностью выполнил просьбу Пепе Два Фунта и попытался изгнать с заброшенных, никому не нужных земель честных бразильских тружеников, единственное преступление которых — их бедность. Для начальника полиции трудно придумать более тяжкое преступление, утверждал Жако, тем более, если он состоит на службе у богатых галисийцев, наживающихся на обвешивании покупателей.

Давно в баиянской прессе не появлялось столь сенсационных и резких разоблачений столь важных персон. Этот выпуск был целиком раскуплен, и в последующие дни тираж газеты значительно возрос.

Некоторые из обитателей холма, чьи фотографии были опубликованы в газете, сделали заявления, отредактированные Жако,— например, красавица Дагмар, запечатленная в купальном костюме, словно кинозвезда, за что и получила несколько затрещин от Курчавого, полагавшего, что его милашка не должна демонстрировать свои прелести на страницах газет. Получив взбучку, Дагмар обвинила фотографа в том, что он снял ее без ее ведома; утверждение, правда, весьма сомнительное, чтобы не сказать — ложное. Но не будем вмешиваться в их семейные дела. Сообщим только, подытоживая наш опыт по части женщин, что Дагмар после пощечин стала не только скромнее, но и ласковее.

Много шума наделала дона Фило — худая и растрепанная, в черном дырявом платье, со своими семью ребятишками, облепившими ее, она казалась олицетворением нищеты. Даже журналы Рио-де-Жанейро опубликовали ее фотоснимки, купленные, разумеется, у фотографа. Фило же не получила ни гроша, зато ужасно гордилась своим портретом, напечатанным в газетах. Она стала брать дороже за прокат детей, поскольку теперь у нее была реклама. Жако приписал ей слова Жезуино: «Они снесли наши дома, но мы отстроим их заново», а потом эти слова стали приписывать самому Галубу, часто повторявшему их в своих репортажах. И журналист, который забыл вскоре, кто их автор, сам поверил, что знаменитая фраза принадлежит ему. Впрочем, авторство Галуба оспаривалось депутатом Рамосом да Куньей, лидером оппозиции в законодательном собрании и пламенным трибуном, сделавшим в одной из своих речей следующее заявление:

— Опираясь на всемогущество начальника полиции, наглость миллионера Переса и попустительство правительства, власти и их наемники могут сжечь дома. Но мы, народ, отстроим их заново. На пепелище разбойничьих пожаров мы восстановим наши дома, если понадобится, десять, двадцать, тысячу раз.

Рамос да Кунья был сложной фигурой — адвокат, сын провинциального полковника и владелец огромных латифундий, он, однако, не имел участков в столице штата, поэтому с чистой душой громил правительство. Он лишь недавно закончил университет, и отец сделал его депутатом. До тех пор, пока дело не касалось аграрной реформы, юный лидер, обладавший незаурядным красноречием, оставался человеком прогрессивным, и этот эпитет часто употреблялся в прессе рядом с его именем. А в ходе кампании, развернувшейся в связи с захватом холма Ма-

та-Гато, его даже обвинили в коммунистических взглядах. И хотя обвинения эти были ни на чем не основаны и измышлены его политическими противниками, они все же принесли ему известную популярность.

Возвращаясь еще раз к доне Фило, мы должны сказать, что, пожалуй, в репортажах Жако Галуба именно она предстала в наиболее выгодном свете. Журналист изобразил ее любящей матерью, трудящейся не покладая рук, чтобы прокормить семерых детей. Туманные упоминания о покинувшем малышей отце превращали ее в жертву негодяя-мужа и социального строя. Мы не будем отрицать достоинств доны Фило; она весьма почтенная и работящая женщина, каких редко встретишь. Однако не следовало изображать ее жертвой мужа, поскольку такового у нее никогда не было; она не хотела связываться ни с одним мужчиной, которые, по ее мнению, годятся только на то, чтобы делать детей. А потом лишь прибавляют хлопот и вносят беспорядок.

Жако удалось сфотографировать всех обитателей холма, кроме Жезуино. Галуб часто видел там Бешеного Петуха, чувствовал, что он руководит остальными, что к нему в трудную минуту обращаются за советом, но когда появлялся фотограф, бродяга исчезал...

Бешеный Петух не был менее тщеславен или более скромен, чем остальные. Просто он был стар и мудр, поэтому не хотел, чтобы его портрет появился в газете. Как-то давно была опубликована его фотография: Жезуино лежал, загорая на солнце, на откосе возле рынка, с окурком сигары во рту и со счастливой улыбкой. Этот снимок иллюстрировал поэтичный репортаж известного Одорико Тавареса. А потом несколько месяцев полиция преследовала Жезуино, под любым предлогом забирала его и сажала в тюрьму. Каждый агент носил в кармане газетную вырезку со снимком Жезуино. Не помогло и то, что лирик Одорико назвал его «последним свободным человеком города» — свободный человек не вылезал из кутузки. Так что хватит с него фотографий!

6

Как уже упоминалось, Курио в эти недели, пока происходили события на Мата-Гато, раздирался между постройкой лачуги, которую он сооружал с большими претензиями, и безнадежной любовью (увлечения Курио, как правило, были безнадежными) к гадалке и факирше — мадам Беатрис. В результате постройка дома затянулась, у Курио на это почти не оставалось времени; он был поглощен рекламой грандиозного номера: мадам Беатрис в честь жителей Баии похоронит себя заживо и целый месяц пролежит в гробу без еды и питья. Волнующее, единственное в своем роде зрелище, настоящее чудо, и за вход — всего пять милрейсов!

Мадам Беатрис, обладавшая медиумическими способностями и белокурыми, отливающими серебром волосами, бросила якорь в Баии, «объехав несколько зарубежных столиц», как утверждалось в афише, расклеенной на улицах Салвадора. Разумеется, Аракажу, Масейо, Ресифи — столицы штатов Бразилии — были не за границей, но ведь мы не всегда получаем то, что нам хочется. И такие крупные города, как Пенеду, Эстансиа, Проприа, Гараньюнс, Каруару, тоже удостоились посещения факирши, из-за которой спорили далекая Индия («единственная в мире женщина-факир, способная месяц пролежать в гробу, ясновидящая Беатрис, уроженка Индии, в настоящее время разъезжающая по миру как буддийский мессия» — так гласила другая реклама сенсационного номера) и приятный городок Нитерой, тоже претендующий быть ее ро-

диной. Она вернулась из недолгой и неудачной поездки в Амарозу, Крус-дас-Almac и Алагоиньяс, где гадалкам верили, однако не могли достойно вознаградить их, поскольку финансовое состояние клиентов находилось в противоречии с этой пылкой верой. Мадам Беатрис прибыла в Баию с пустыми руками и менее чем через неделю, когда был констатирован экономический крах, ее покинул красавец секретарь Дуду Пейшото, пернамбукский мошенник, который жил на содержании у женщин. Он встретился с мадам Беатрис в Каруару, когда та была в зените славы, и получил титул секретаря, а заодно и доступ к ее накрашенным губкам. Дуду был чрезвычайно требователен: он привык к комфорту, у него был капризный желудок, и вообще он был исключительно деликатен. Его тошнило, если он замечал клопа и если к столу подавали плохой рис. Факирша, очарованная томными глазами и черной шевелюрой Дуду Пейшото, не видела его недостатков, она просила прощения за все неудобства, которым подвергала его, и сулила ему златые горы в более крупных и более передовых городах, где люди способны понять ее искусство.

К несчастью, граждане Салвадора-да-Баии не проявили должного интереса к знаменитой гадалке («научная точность, знания, располагающая обстановка» — говорилось еще в одной афише).

Мадам Беатрис вступила в контакт с Курио через хозяйку дешевого пансиона в Бротасе, где остановилась,— старую знакомую зазывалы. Она поручила ему распространение афиш, на которые потратила свои последние деньги. Дуду гарантировал: едва публика ознакомится с афишами, потоком хлынет к мадам Беатрис.

Как только Курио взглянул на ее серебристые кудри, почувствовал, что умирает от любви. Никогда он не видел волос прекраснее, разве только у кинозвезд. Он посмотрел на Дуду Пейшото с презрением и ненавистью. Каким образом этому типу, явному педерасту, с глазами навыкате и женским тазом, удалось обмануть такую женщину? Видно, она просто слепа, если не замечает, как этот субъект скалит зубы и вихляет бедрами. А жаль!

И все же Курио не отказался от распространения афиш, чем он и занялся, получив пока обещание, что за работу ему будет заплачено, как только появятся клиенты, а это случится, и очень скоро. Беатрис нисколько не сомневалась в эффективности рекламы, Дуду Пейшото был настроен более скептически. Но, чтобы выяснить, кто из них прав, мы лучше сами прочтем афишу.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БАИИ!
МАДАМ БЕАТРИС
ЗАИНТЕРЕСУЮТСЯ ВСЕ!

Объехав несколько зарубежных столиц, мадам Беатрис остановилась в этом замечательном городе, обещая удовлетворить своим искусством всех, кто прибегнет к ее услугам. К ней вы можете обратиться с вопросами, касающимися науки, вашего материального положения и вашего будущего, а также судьбы близких вам людей. Одним советом она разрешит все ваши недоумения. Мадам Беатрис, обладающая замечательным талантом, поможет вам в коммерческих и семейных делах, в любви, поможет преодолеть трудности, измену, физический или моральный недуг—словом, все, что мешает

ВАШЕЙ ЖИЗНИ ИЛИ ВАШЕМУ БУДУЩЕМУ!
ОНА РАБОТАЕТ ЧЕСТНО, БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО!

Мадам Беатрис имеет к тому же чудесный порошок, привезенный из Индии, гарантирующий успех в любви и делах. Обратитесь немедленно к этой знаменитой ученой, которая принимает у себя на дому. Ее ни в коем случае нельзя сравнивать с шарлатанами и мошенниками, превращающими благородную оккультную науку в источник доходов.

Научная точность, знания, располагающая обстановка! Обратитесь срочно, мадам Беатрис может прийти к вам на дом, ее советы доступны всем. Располагающая, интимная обстановка!

ПРИНИМАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ.

От 8 до 21 часа знаменитая хиромантка принимает у себя по адресу: УЛИЦА д-ра ДЖОВАННИ ГИМАРАЭНСА, 96,— БОА ВИСТА ДЕ БРОТАС.

МАДАМ БЕАТРИС МОЖЕТ ПОСЕТИТЬ ВАС НА ДОМУ!

Только чрезмерно требовательный человек мог бы пожелать более ясного и четкого изложения. И если клиенты все же не появились, то виновата в том была не афиша, а наш суровый век.

Волна скептицизма и неверия захлестнула теперь все большие города. Грубый материализм отвращает мужчин и даже женщин от хиромантов, от их «честного и эффективного труда», от лекарств, которые они предлагают против духовных и физических недугов. Мы живем во времена неверия в оккультные науки, но не мадам Беатрис повинна в нем, она сама жертва этого неверия. Поэтому Дуду, у которого не было денег даже на сигареты, обвиняя ее, поступал несправедливо.

Когда Курио, движимый профессиональной добросовестностью и желанием услужить красивой женщине, в два дня распространил афиши, он явился, согласно уговору, получить плату за свои труды. С трамвая он сошел в кульминационный момент разыгравшейся драмы: томный Дуду, держа в левой руке чемодан с крикливым костюмом и шелковыми рубашками, а правой иронически помахивая на прощанье, покидал неудобный пансион и удобные, пылкие объятия мадам Беатрис. Рыдающая хиромантка вовсе не была похожа на решительную и неустрашимую оккультистку, «обладающую замечательным талантом и помогающую в коммерческих, семейных делах и в любви». Она была вне себя, и ее торопливая речь изобиловала выражениями, не очень идущими ее приятному, одухотворенному лицу. Стоя на пороге дома, мадам выкрикивала грязные ругательства вслед этому профессиональному любовнику, утонченному и недосягаемому Дуду:

— Мошенник! Кот! Дерьмовый альфонс! Продажная шкура! Педераст ты, жулик паршивый!

Дуду, даже не взглянув на номер, впрыгнул в тот трамвай, из которого вылез Курио, и, улыбнувшись ему, сказал:

— Займись ею, если она тебе нравится. А с меня хватит!..

С превеликим удовольствием Курио дал бы ему ногою в зад или съездил по уху, но трамвай тронулся, и мерзавец принялся поглядывать на кондуктора своими масляными глазками. Конечно, педераст!

Слезы и жалобы мадам Беатрис вылила на Курио. Хозяйка пансиона, толстая, медлительная мулатка, оставила их в гостиной — ей пора было готовить завтрак, и она не могла тратить время на покинутых любовниц.

Само собой, Курио не получил ни гроша. Если бы у мадам Беатрис были деньги, и тогда он не посмел бы заговорить о столь низменной материи с бедняжкой, у которой кровоточило сердце. Курио даже оставил ей кое-что, правда немного, но больше у него не было. А если бы было, он, конечно, оставил бы ей все — ради женщины с такими роскошными волосами он был готов на любую жертву. В порыве отчаяния, покинутая любовником и клиентами, мадам Беатрис решила прибегнуть к сенсационному номеру — «погребенная заживо» — и в связи с этим предложила Курио должность секретаря.

За скромную плату Курио пока в долг арендовал на Байша-до-Сапатейро магазин, пустовавший после пожара. Прежде в этом магазине,

носящем название «Новый Бейрут», Абдала Кури торговал по дешевым ценам цветастыми ситцами и другими хлопчатобумажными тканями, а также атласом и шелком. Он же, по единодушному выводу экспертов, присяжных и судьи, был признан ответственным за пожар, уничтоживший магазин «Новый Бейрут». Было установлено, что он сам облил товар бензином и сделал короткое замыкание. Абдалу посадили, а владелец дома стал хлопотать о получении страховой суммы, но страховая компания воспротивилась, считая, что платить должен виновный, тем более что он осужден всего на несколько месяцев, после чего сможет возобновить торговлю. Курио арендовал помещение на месяц и сам намалевал плакат, возвещавший о сенсационном номере, затем были отпечатаны новые афиши, сообщавшие всем о талантах мадам, ее индийском происхождении и буддийской вере. Курио лез из кожи вон.

Мадам Беатрис была в восторге и не уставала выражать ему свою признательность: бросала благодарные взгляды, иногда доверчиво протягивала руку, иногда даже склоняла на плечо Курио свою белокурую головку. Но дальше этого не шла. Курио ринулся было в наступление и однажды, прижав ее в темном магазине, впился в полные губы мадам, намазанные яркой помадой. Она как будто не была против, но потом закрыла на мгновение глаза, словно желая уйти в себя, а когда открыла их снова, то, потупившись, сказала каким-то потусторонним голосом:

— Никогда больше не делай этого... Никогда...

Никогда? Курио, как раз собиравшегося повторить поцелуй, просьба мадам поразила, как удар кинжалом.

— Почему? — спросил он, не скрывая своей досады, и Беатрис почувствовала ее в голосе Курио.

— То есть... Сейчас не надо... Сейчас мне нужно сосредоточиться...

Дело в том, что в данное время она готовится к тяжелой работе — к своему сенсационному номеру. Только при полной сосредоточенности и духовной чистоте она сможет остаться живой, пролежав месяц в гробу без еды и питья. Однажды она попробовала исполнить этот номер в Буэнос-Айресе, но лишь из-за того, что накануне в разговоре у нее вырвалось нехорошее слово, она пролежала в гробу всего две недели, поскольку осквернила себя. Она и думать не смеет о «плотских» отношениях («плотских» она произнесла почти с отвращением) до того, как встанет из гроба, на месяц отрешившись от всего земного. И тогда, быть может... Мадам вздохнула и закатила глаза.

Эту речь, пересыпанную возвышенными словами вроде «оккультизм», «магнетизм», «спиритизм» и прочими того же ряда, Курио выслушал благоговейно. Но ему захотелось получить гарантию.

— Значит, я тебе нравлюсь? Правда?

Мадам Беатрис не ответила, однако крепко сжала руку Курио, посмотрела ему в глаза пламенным взглядом и глубоко вздохнула. Это было самое красноречивое подтверждение. Курио чуть не подпрыгнул от радости, но из грубого практицизма, о котором мы упоминали раньше, пожелал уточнить:

— Ты хочешь сказать, что, когда ты встанешь из гроба... мы будем...— и он сделал недвусмысленный жест.

Мадам Беатрис, эту нравственную женщину, последовательницу буддистской морали, смутила непристойность Курио, и она, потупившись, запротестовала:

— Нехорошо так...

— Но ведь потом... Потом мы сможем, да?

Она еще раз сжала его руку, еще раз вздохнула, и в этом вздохе Курио услышал робкое «да», впрочем, достаточно ясное, чтобы сделать его счастливым и всецело преданным мадам Беатрис. Курио с воодушевлением взялся за подготовку номера, поскольку дел еще оставалось мно-

го. Убрать и оборудовать помещение, побывать в редакциях газет и попросить там дать сообщение об опыте мадам Беатрис, пригласить коммерсантов и других солидных людей, в присутствии которых будет запечатан гроб, а также заблаговременно достать самый гроб и стеклянную крышку.

Труднее всего оказалось последнее. Однако Курио нашел выход: он объявил покровителями мадам Беатрис хозяина маленького похоронного бюро на Табуане и торговца стеклом и фарфором с площади Позорного Столба, которые теперь приобретали право упоминаться во всех ее афишах. Похоронное бюро предоставило ему за это старый, полуразвалившийся гроб без крышки, а торговец — стекло, чтобы накрыть гроб. Артур да Гима, мастер на все руки, по просьбе Курио приладил стекло к гробу, и гроб оказался герметически закрытым, как возвещалось в афишах, которые раздавали на улицах. В головах и ногах, однако, было просверлено несколько дырок, чтобы открыть доступ воздуху.

Понятно, что озабоченный всеми этими делами, Курио совсем забросил строительство своей лачуги и не проявлял особого интереса к событиям на холме Мата-Гато. Он приходил туда, если у него выдавалась свободная минута, узнавал новости, возмущался действиями полиции, делал кое-что в своем домишке и исчезал. Мадам Беатрис, ходившая теперь с сосредоточенным видом, ожидала его обедать. Ела она много, поскольку, как она объясняла Курио, нуждалась в усиленном питании, чтобы перенести длительный пост. Курио чувствовал себя счастливым: надо подождать всего лишь месяц, и он станет хозяином этих белокурых волос и всего прочего.

Менее счастлив был Капрал Мартин — и в любви и в делах, если можно назвать делами игру в карты и кости. Хотя начальник полиции, казалось, был всецело занят событиями на землях Пепе Два Фунта, он тем не менее не прекращал своего упорного, повседневного преследования игроков. Полиция составила список шулеров, и в этом списке имя Капрала — Мартина Жозе да Фонсеки — было одним из первых. Ежедневно совершались облавы на притоны и вертепы, как выражалась правительственная пресса, и многие отличные игроки были посажены в тюрьму. Мартин пока ускользал, он умел это делать, когда требовалось, не показывался в своих обычных местах — на рынках у Семи Ворот и Агуа-дос-Менинос. Но как достойно заработать на жизнь, если полиция и правительство лишают тебя этой возможности?

Бедный Гвоздика тоже был арестован и предан суду вместе с восемью подозрительными типами, застигнутыми в доме Жермано за игрой в рулетку. Гвоздика вышел из тюрьмы худой и грязный, его продержали в сыром подвале восемь дней и ни разу не дали помыться.

Мартин еще кое-как держался, благодаря обширным знакомствам среди игроков и знанию мест, где пока можно было играть в карты и кости. Перепадали ему гроши, но он довольствовался немногим.

На Оталию Мартину почти не приходилось тратиться. Она позволяла угощать себя мороженым и лимонадом, однако отказывалась принимать подарки, угрожая порвать с ним, если Капрал осмелится купить ей на платье, туфли или какие-нибудь безделушки. Что же касается его любовных дел, то они продвигались, пожалуй, медленнее, чем дела Курио, которому хотя бы дали надежду на будущее, когда факирша, восставшая из гроба, откажется от воздержания. Оталия же не обещала ничего. Мартин гулял с ней по холмам, вел долгие беседы, обменивался нежными клятвами. Но дальше этого не шло. Он даже начал подозревать, что у нее есть возлюбленный, с которым она тайком встречается. Несколько ночей, после того как девушка поднималась к себе, он дежурил у заведения, караулил счастливого соперника, но тщетно. Расспросы, как и слежка, тоже ничего не дали. Все сходились в одном — никого, кро-

ме Мартина, у Оталии нет. Разумеется, у нее были клиенты, но они не в счет. Они ложились с ней, расплачивались и уходили.

Мартин ломал голову над поведением девушки. Если он ей нравится, почему она ему не отдается? Ведь она не невинна и мужа не ищет. Иногда он решал оставить ее, исчезнуть навсегда и больше никогда не появляться. Однако на другой же день снова хотел видеть ее, слышать ее голос, смотреть в ее детское личико, касаться ее мягких волос, в прощальном объятии чувствовать тепло ее тела. Никогда с ним не случалось ничего подобного, тут было от чего прийти в отчаяние.

Мартин ходил мрачнее тучи: агенты угрожают ему тюрьмой, а эта притворщица и ломака Оталия играет им, как мальчишкой. Капрал растягивался на солнце и пытался понять эту девчонку. Теперь он совсем как Курио, его брат по вере, страдает от неразделенной любви. Однако он не станет с этим мириться, повторял себе Мартин, и завтра же потребует от Оталии решительного объяснения. Но всякий раз почему-то откладывал этот разговор.

В ожидании, когда кончатся сумасбродства Оталии и гонения на игроков, он помогал друзьям на Мата-Гато, и не только в роли подручного каменщика или плотника, но и своей игрой на гитаре и участием в собраниях наиболее активных жителей холма, обеспокоенных угрозой, нависшей над ними в последние дни. Это была серьезная угроза: начальник полиции заявил представителям печати, что любым способом покончит с анархией, подрывающей общественный порядок и выразившейся в захвате холма Мата-Гато. Он не допустит беззакония в Баии. Священное право собственности гарантировано конституцией, и он заставит уважать это право хотя бы ценою крови. Он стоит на страже закона, и его долг — не позволить шайке бродяг попирать его, устанавливать царство коммунизма. Так он и сказал — «царство коммунизма». Сеньор Албукерке питал слабость к поэзии, сочинял сонеты и любил поговорить о литературе, но сейчас он объявил войну. Войну обитателям Мата-Гато, которых уже было четыреста и у которых на новом месте уже родился ребенок. Родила его Изабел Дедо Гроссо, любовница Жеронимо Вентуры, кузнеца. Дона Фило была повивальной бабкой, она сама нарожала столько детей, что научилась этому искусству, как говорится, на собственном опыте. Жезуино Бешеный Петух помогал ей, ибо когда начались схватки, Жеронимо Вентура в панике прибежал за Жезуино, будто старый скептик был дипломированным врачом. Впрочем, на Мата-Гато Жезуино брался за все: улаживал спорные дела, чинил стены, давал советы, писал письма, делал расчеты, решал, как действовать в тот или иной момент.

Теперь по вечерам Мата-Гато казался иллюминированным. Жезуино велел Флоренсио, безработному электромонтеру, поселившемуся на холме, подвести электричество от клуба, который был на пляже. Поставили пока фонарные столбы, подвели проводку к домишкам, но утром приехала машина электрокомпании и перерезала провода. А к вечеру Флоренсио при активной помощи обитателей холма опять соединил провода, и электрический свет снова засиял над лачугами Мата-Гато.

7

Проведение электричества на холм Мата-Гато Жако Галуб приветствовал с воодушевлением: «Трудящиеся, построившие себе дома на пустующих землях миллионера Хосе Переса, он же Пепе Два Фунта, подвергаясь преследованию со стороны полиции и не имея никакой поддержки со стороны префектуры, несмотря ни на что продолжают благоустраивать новый квартал. Теперь они провели туда электричество, хотя и про-

тив воли компании. Смельчаки с Мата-Гато достойны всяческого уважения, как истинные носители прогресса».

Даже если бы вторжение само по себе не явилось в достаточной степени нашумевшим событием, оно обратило бы на себя внимание обилием литературы, посвященной этому вопросу: репортажи Жако (за которые он был удостоен ежегодной журналистской премии), речи Рамоса да Куньи (собранные в брошюру, изданную законодательной ассамблеей штата), слащавые корреспонденции Марокас — известной журналистки из «Жорнал до эстадо», героико-социально-конкретистская поэма Педро Жова — «С ВЫСОТ МАТА-ГАТО ПОЭТ СОЗЕРЦАЕТ БУДУЩЕЕ МИРА», представляющая собой нечто среднее между поэмами Пабло Неруды и наиболее передовых «конкретистов».

Откровенно говоря, Педро Жов никак не мог созерцать будущее мира с высот Мата-Гато, так как никогда там не был. Он создал свое творение, не выходя из бара, где он и другие молодые гении с азартом спорили о литературе и кино. Здесь-то его и подняли к небесам руки «сестры Фило с ее материнским чревом, оплодотворенным героями», далее Фило превозносилась уже совсем неприкрыто. Он, Педро Жов, «народный поэт, воспитанный на борьбе и виски», восходит на холм, чтобы увидеть будущий мир, рождающийся на ладонях людей, которые собрались на Мата-Гато, чтобы его построить. Поэма, без сомнения, была сильной, хотя местами напыщенной, но остропамфлетной. Ее иллюстрировала гравюра Лео Фильо, на которой был изображен Геркулес, поднявший сжатый кулак и чем-то напоминавший Массу.

На холме, однако, поэма не имела успеха, какого заслуживала. Те, кто ее прочитал, ничего не поняли, даже Фило — столь возвеличенная и облагороженная в поэме: «о, мадонна стали и электроники, твой холм — звездный корабль и твои замечательные сыновья — зодчие коллектива»,— не почувствовала красот этого шедевра.

И все же поэма Педро Жова и гравюра Лео Фильо были единственно бескорыстным выражением солидарности с обитателями Мата-Гато. Остальные репортажи, речи и выступления преследовали совершенно определенную цель, а именно — ту или иную выгоду для автора. Педро Жов ни на что не претендовал: ни на государственный пост, ни на премию, ни на голоса избирателей, ни даже на благодарность людей, воспетых в его поэме. Он хотел лишь издать ее, увидеть напечатанной. Ни он, ни Лео Фильо не получили ни гроша. Айртон Мело не платил литераторам. Он считал, что делает поэту или художнику великое одолжение: публикуя их творения, открывает перед ними врата славы. А разве этого не достаточно? За репортажи ему приходилось платить, от этого он уклониться не мог, хотя платил скупо и неаккуратно. Но за литературные произведения никогда — это было бы недопустимой ошибкой.

Однако через некоторое время бескорыстие Жова было вознаграждено — его поэма стала классическим произведением новой социальной поэзии. Она цитировалась в статьях, включалась в антологии, служила предметом ожесточенных дискуссий, хотя обо всем этом Жов и не мечтал, когда взялся за перо. До глубины души взволнованный репортажами Галуба, с сердцем, преисполненным сострадания к этим беднякам, гонимым полицией, Жов слагал свою поэму, и так же искренне иллюстрировал ее Лео Фильо.

Этим они и отличались от многих других, в частности, от начальника полиции, борьба которого с азартными играми, в особенности с «жого до бишо», пришлась не по вкусу некоторым влиятельным людям. Однако, защищая с пылом и непоколебимой решимостью частную собственность, он надеялся, прежде всего, восстановить свой авторитет и укрепить свое положение.

Пожалуй, стоит рассказать поподробнее об этой кампании, направленной против игроков. Дело в том, что никогда прежде сеньор Албукерке и не думал преследовать «жого до бишо».

Наоборот, когда стали поговаривать о возможном его назначении на пост начальника полиции при новом правительстве, то самым соблазнительным и заманчивым в этой должности ему представлялось господство над «жого до бишо», установление связей с крупными маклерами и, прежде всего, с Отавио Лимой, игорным королем штата. Пришла, наконец, его пора, размышлял сеньор Албукерке, оглядывая свою многочисленную семью — жену, тещу, восьмерых детей, а также двух младших братьев-студентов, сидевших за обеденным столом. До сих пор его деятельность приносила ему главным образом огорчения и неприятности: все эти годы сеньор Албукерке находился в оппозиции, а он был упрям и по-своему последователен в отстаивании своих принципов.

Он полагал, что следует установить полезные контакты с хозяевами «жого до бишо» и повысить налог, который платили полиции эти могущественные дельцы. При прежнем правительстве игра была узаконена: часть выручки ежедневно отчислялась благотворительным учреждениям, власти же не участвовали в доходах — так, по крайней мере, считалось, и похоже, так оно и было. Одному из полицейских инспекторов был поручен контроль над лотереей, и за это он получал немалое вознаграждение.

Как только Албукерке был назначен, он вошел в контакт с Лимой и изложил ему свои соображения: очевидно, маклеры предполагают и дальше действовать совершенно открыто, под контролем полиции? Пожалуйста! Однако, кроме отчислений на благотворительные цели, теперь точно такая же доля должна поступать полиции. Лима заерзал на стуле: это слишком много, ни один маклер не выдержит таких расходов. Неужели сеньор Албукерке верит, будто отчисления поступают только на благотворительные учреждения? Ведь это же просто болтовня, которой дурачат губернатора, человека честного, чтобы он думал, будто покончил с системой подкупов в «жого до бишо». Все же лотерея потихоньку кормила всех: полицейских инспекторов и комиссаров, депутатов, секретарей, агентов, детективов — словом, едва ли не половину города. Повысить налог? Но полиции никакого налога не выплачивалось. Налог взимался только в пользу благотворительных учреждений, монастырей, обществ слепых, глухонемых и т. д. О каком же налоге в пользу полиции может идти речь? Если сеньор имеет в виду вознаграждение — Отавио подчеркнул это слово, как бы бросая его в лицо самоуверенному бакалавру, славившемуся своей честностью,— то вознаграждение это, выражающееся в крупной сумме, будет по-прежнему ежемесячно выплачиваться начальнику полиции.

Албукерке почувствовал, что краснеет. Вознаграждение! Этот невоспитанный субъект, привыкший командовать своими подчиненными, в том числе и видными политиками, этот мерзавец Отавио Лима, с нахальным видом посасывающий сигару, не без умысла употребил это слово да еще подчеркнул его интонацией. Ничего, он его проучит! Ведь он, Албукерке, был одним из тех, кто обеспечил новому губернатору победу на выборах, и у него была сильная рука в федеральном полицейском управлении. Он кинул взгляд на «предпринимателя», самоуверенно развалившегося в кресле. Вознаграждение... Ничего, он ему покажет.

Итак, если отчисления полиции не будут увеличены до суммы, предназначенной благотворительным учреждениям, положение «жого до бишо» изменится. Его, Албукерке, не касается, что́ там получают отдельные инспекторы, агенты, комиссары, детективы. Он хочет получать деньги на финансирование наисекретнейших служб полиции, ведущих борьбу с подрывными элементами; суммы эти, разумеется, не будут подлежать огласке, но будут выплачиваться пунктуально и непосредственно началь-

нику полиции. Что же касается вознаграждения, о котором было упомянуто, то оно служило для того, чтобы подкупать прежних начальников полиции, он же, Албукерке, не желает его получать.

Отавио Лима был человеком добродушным; он разбогател на игре, начав с самого низу — шулером в порту вместе с Капралом Мартином, с которым служил в армии, только повышения не получил и остался солдатом. Еще до того, как стать опытным профессиональным игроком — впрочем, намного хуже Мартина, ибо у Лимы не было ни его ловких рук, ни его острого зрения, ни тем более его исключительных шулерских способностей,— он был прирожденным организатором. Сначала соорудил жульническую рулетку, потом занялся «жого до бишо» — уже после смерти старого Бакурау, который двадцать пять лет держал в своих руках весь «фараон» в районе Итажуипи, а состарившись и заболев, довольствовался малым.

Из Итажуипи Отавио Лима отправился на завоевание всего города и завоевал его. Он прижал остальных маклеров, потом возглавил их, соединив разрозненные группы игроков в единое, крупное и экономически мощное предприятие. Лима стал владельцем доходных домов, отелей, компаньоном банковских обществ. Однако основным источником его богатств оставалось «жого до бишо», существовавшее на гроши бедняков. Когда правительственным декретом казино были закрыты, положение Лимы не пошатнулось, тогда как другие игорные короли обанкротились. Никому не удалось запретить «жого до бишо», покончить с этой игрой. Лима наслаждался жизнью и женщинами — он содержал с полдюжины любовниц; и ото всех у него были дети, на воспитание которых он продолжал давать деньги, даже когда порывал с матерью. Наслаждался также выпивкой, вкусной едой и время от времени игрой в покер со старыми приятелями — игроками класса Мартина. Однако играл он все реже, все больше удаляясь от своего прошлого и от прежних друзей. Кстати, большинство из них работало на него, чтобы кое-как прокормиться. Только независимый и гордый Капрал да ленивый Гвоздика не состояли в его организации, оставаясь вольными бродягами.

Бросаясь деньгами, без сожаления тратя их, Лима знал, какую пищу дает продажным журналистам и политикам, и презирал свору притворщиков: официальных лиц, интеллигентов, а также дам из общества, готовых лечь к нему в постель за хороший подарок. Он чувствовал себя гораздо сильнее сеньора Албукерке. Лима, правда, не поддерживал нынешнего губернатора во время избирательной кампании, он финансировал его противника, но это не имело большого значения. Многие, даже во дворце, были готовы защитить его и «жого до бишо». Взятки он давал щедро.

Несколько небрежно и покровительственно Лима распрощался с новым начальником полиции, пообещав ему в течение ближайших суток собрать всех маклеров и сообщить им о его предложении, хотя сам он был против и не скрывал, что будет отстаивать свою точку зрения. Но другие, может быть, согласятся, и если это случится, то он будет вынужден лишь покориться большинству. Он демократ.

Сеньор Албукерке был человеком бесхитростным, но не настолько, чтобы поверить, будто Отавио Лима прислушивается к мнению своих подчиненных или более мелких компаньонов. Он вышел разъяренным.

Лима позвонил одному из своих друзей, близких к правительству, и поинтересовался, каково положение начальника полиции. Достаточно ли он авторитетен и силен? Друг подтвердил это, и Лима пожалел, что обошелся с ним свысока, оскорбил своим «вознаграждением» и протянул на прощание кончики пальцев. Разумеется, никаких налогов он платить не будет, но он мог бы увеличить сумму вознаграждения и уладить вопрос. Потом он велел Айртону Мело отстегать нового начальника поли-

ции в газете. Под каким предлогом? Да под любым, для Лимы это не важно...

Вот почему на следующий день один из помощников Отавио Лимы разыскал инспектора Анжело Куйабу, близкого друга короля «жого до бишо» и, как говорили, друга Албукерке. Он передал ему новое предложение Лимы, попросив Анжело довести его до сведения начальника. Это было роковой ошибкой.

Во-первых, между Анжело Куйабой и новым начальником полиции дружбы не существовало, они были лишь знакомы и поддерживали вежливые, но отнюдь не близкие отношения. Во-вторых, Албукерке крайне ревниво относился к своей репутации честного человека. Он понимал, что это его основной капитал, и не хотел, чтобы полицейский инспектор был свидетелем того, как он его растрачивает. В-третьих, уже и так ходили слухи о таинственной встрече начальника полиции и короля «жого до бишо». Губернатору, тоже заинтересованному в отчислениях с этой игры, сообщили о состоявшемся свидании, и он спросил Албукерке сурово:

— Говорят, вы виделись с Лимой...

Албукерке почувствовал, как земля уходит из-под ног, и покраснел так, будто ему надавали пощечин.

— Я решил предупредить его, что, пока я начальник полиции, «жого до бишо» в Баии не будет...— ответил он, глядя в глаза губернатору. Таким образом Албукерке отказался от денег, зато сохранил положение и авторитет. Но он и не догадывался, что вопрос об его отставке был решен, как только он это сделал. Губернатор молча проглотил слюну, но не выказал своего разочарования: пропадали доходы от «жого до бишо», такие выгодные и легкие. А все потому, что он окружил себя неподкупными людьми. Он должен как можно скорее избавиться от этого Албукерке с его дурацким бахвальством и честностью... Разумеется, уволить его немедленно нельзя, но это будет сделано при первой возможности.

— Вы поступили правильно, дорогой. Я целиком разделяю вашу позицию и предоставляю вам полную свободу действий.

Достойные всяческого доверия помощники поддержали его превосходительство: совсем не плохо начать правление с преследования «жого до бишо». Новый губернатор, таким образом, проявит себя поборником справедливости, а маклеры станут более сговорчивыми к моменту, когда начнутся переговоры о взаимовыгодном соглашении. Албукерке, конечно, дубина, но принесет пользу, ибо он наиболее подходящая фигура для этой кампании: человек он неповоротливый, твердолобый и упрямее любого осла. Маклеры не поскупятся, лишь бы избавиться от него. Да и Отавио Лиму полезно проучить, раз он финансировал во время выборов противников губернатора.

Через два дня губернатор спросил Албукерке:

— Как идет кампания против «жого до бишо»? По-моему, игра ведется по-прежнему.

— Я и пришел во дворец, губернатор, чтобы доложить вам, что сегодня отдал распоряжение закрыть все игорные притоны.

Он не рассказал губернатору, что через инспектора Анжело Куйабу маклеры сделали ему новое предложение. Он чувствовал, что над ним нависла опасность, под угрозой оказалась его столь тщательно созданная репутация и, что еще хуже, его первый высокий пост, начало его карьеры, его состояние... С негодованием выслушал он предложение Куйабы: Отавио Лима соглашался давать ему лишь четверть того, что он потребовал от него. Выпятив грудь, Албукерке надел на себя маску неподкупности — жесткий, осуждающий взгляд, суровое лицо, презрительно оттопыренная нижняя губа.

— Вы меня удивляете, сеньор инспектор...— прошипел он.— Этот

преступник плохо меня знает. Допустим, я довел до его сведения, что, вступив на пост начальника полиции, я покончу с «жого до бишо» и другими играми. Ну и что? Я ничего ему не предлагал и отказался выслушивать его предложения. Пока я здесь, пока я сижу в этом кресле, «жого до бишо» в нашем штате не будет.

Анжело Куйаба тут же пошел на попятную — напрасно, мол, он взялся за это неприятное поручение.

— Если я и беседовал с Лимой,— продолжал Албукерке,— то только потому, что считался с существовавшим до сих пор положением. Я не хотел действовать неожиданно, пользуясь легальностью «жого до бишо» и доверчивостью маклеров.

Анжело не оставалось ничего другого, как восхититься своим новым начальником. Он же, если и пришел с предложением маклеров, то лишь потому, что его неправильно информировали, иначе он никогда не посмел бы...

— Забудем этот инцидент, инспектор. Я знаю, что вы честный человек.

Так началась решительная ликвидация «жого до бишо», вызвавшая серьезные осложнения как для высокопоставленных особ (в частности, губернатора, от которого друзья и соратники настоятельно добивались смягчения столь строгих мер), так и для мелких агентов, которые получали взятки от маклеров и бюджет которых сразу пошатнулся. Кроме того, совершая облавы на притоны, где играли в рулетку, бакарра, кости и покер, инспектор Куйаба, которому была поручена эта часть кампании, иногда врывался в богатые дома видных граждан, где игра велась на деньги. Провоцируя скандалы, инспектор помогал похоронить дурака Албукерке. Губернатору начинала надоедать эта свистопляска с «жого до бишо», и он лишь искал удобного случая, чтобы сменить начальника полиции, а затем договориться с маклерами. Не мог же он уволить Албукерке только за то, что тот боролся с азартными играми. К тому же начальник полиции пользовался поддержкой духовенства, некоторых общественных организаций и имел репутацию неподкупного человека, способствующего укреплению престижа правительства.

Албукерке, однако, чувствовал, что его авторитет поколеблен. Ежедневно губернатор сообщал ему, что на него поступает много жалоб, и говорил о гибкости, необходимой в политике; он пришел в бешенство, когда инспектор Куйаба вломился в салон сеньоры Батистини, где выдающиеся граждане отдыхали от тяжелых трудов и забот о прогрессе страны и народа, играя по маленькой в рулетку и флиртуя с красивыми женщинами. На губернатора не произвело никакого впечатления заявление Албукерке, который, со слов Куйабы, охарактеризовал роскошный особняк сеньоры Батистини как «публичный дом высшего разряда», а его владелицу назвал хозяйкой этого заведения. Губернатор, конечно, знал, кто посещает этот веселый дом и кто покровительствует бойкой сеньоре, привезшей в отсталую Баию нравы цивилизованной Италии. Ее дом был одним из лучших в городе, которому она оказала честь, поселившись в нем... К тому же сеньора Батистини умела быть полезной. Кто, например, прислал ночью в апартаменты нашего министра пятнадцатилетнюю невинную девочку, когда тот посетил Баию и попросил привести к нему чистую молоденькую девушку, чтобы лучше изучить насущные проблемы страны? Услуга уважаемой сеньоры помогла министру, а значит — и государству...

Итак, когда Албукерке начал ощущать неустойчивость своего положения и серьезную опасность, угрожавшую ему, произошел захват холма Мата-Гато. Тут для него и открылась возможность восстановить свой престиж, отвоевать утерянные позиции, возглавить другую кампанию, придав ей политическую окраску, чтобы стать потом лидером кон-

сервативных кругов, а возможно, и их кандидатом на выборах, которые состоятся нескоро, но о которых уже поговаривали. То, что богатый землевладелец, столп испанской колонии, командор Хосе Перес обратился к нему за помощью, оказалось весьма кстати. Со всей энергией обрушился Албукерке на нарушителей общественного порядка, врагов законности. Правительственные газеты не скупились на похвалы, когда он, действуя, по его собственному выражению, решительно, но разумно, приказал поджечь бараки.

Однако лачуги были тут же снова отстроены, и их число возросло, как и число их обитателей. «Газета до Салвадор» начала публиковать серию репортажей Галуба, борзописца с темным прошлым, без сомнения подкупленного маклерами. Журналист подстрекал население к подрывным действиям и требовал отставки Албукерке, называя его палачом женщин и детей, поджигателем, баиянским Нероном...

Вся пресса откликнулась на эти события, газеты оппозиции проводили ту же демагогическую линию, что и «Газета до Салвадор», сторонники правительства поддержали действия Албукерке, но на свой лад, немного робко, причем наиболее близкая к губернатору газета намекнула на возможность решения, которое удовлетворит всех. Албукерке, однако, почувствовал себя несколько уверенней. Католическая ассоциация под нажимом Переса выразила солидарность с Албукерке, именуя его «самоотверженным защитником порядка».

Однако те, кто его поддерживал, потребовали взамен, чтобы он действовал еще решительнее и разом покончил с поселком на Мата-Гато, подающим дурной пример. Если не положить конец этой скандальной истории, начнутся захваты других участков. А к чему это может привести? Кто же, как не начальник полиции, положит конец этой анархии?

Собрав подчиненных, сеньор Албукерке проанализировал создавшееся положение. Необходимо провести новый штурм холма, снова разрушить лачуги, не оставив камня на камне, и не дать их восстановить. То есть наголову разгромить противника, обратить его в бегство и, заняв выгодные позиции, исключить его возвращение. Хосе Перес, с которым он посоветовался, одобрил этот план. Инженеры и архитекторы по заданию командора уже изучали, как лучше разбить территорию на строительные участки. Вторжение напугало Пепе Два Фунта. Пожалуй, стоило поскорее продать эти участки и навсегда избавиться от них. В наше время только и жди забастовок, демонстраций, митингов да студенческих волнений. Представьте себе, как это ни нелепо, но даже у его внуков левые взгляды.

Албукерке отдал необходимые приказания, одновременно распорядившись усилить кампанию против азартных игр, что было весьма неосторожно. Он атаковал на двух фронтах, чувствуя себя генералом, командующим войсками, славным полководцем. Только это не принесло ему ни желанного богатства, ни даже суммы, на которую можно было бы прокормить его большую семью... И все же он становился влиятельным лицом, понемногу приобретал имя, а значит, шел по верному пути...

8

Они не заняли выгодных позиций, никого не выселили, ничего не подожгли, не сумели даже достигнуть вершины холма. Больше того, они были с треском разбиты, тактика и стратегия начальника полиции потерпела позорный провал. Агенты и полицейские обратились в беспорядочное бегство, побросав машины. На следующее утро в своей статье Жако Галуб приветствовал храбрых жителей Мата-Гато — победителей во вчерашнем сражении.

Однако надо сказать правду; обитатели холма не были застигнуты врасплох. Слухи о подготовке новой карательной экспедиции, ставящей своей целью разрушение лачуг и захват холма, просочились, в частности, в газеты и так или иначе дошли до Мата-Гато. Одним из вестников был негр Массу. Как-то вечером он появился на холме вне себя от ярости. Кто-то из его знакомых, родственник агента секретной полиции, сообщил ему тревожную новость: через несколько дней полиция займет холм Мата-Гато и на этот раз добьется своего. Негр уселся рядом с Жезуино и заявил, покачивая своей большой головой:

— Вот что я тебе скажу, папаша: мой дом они подожгут только после того, как убьют меня. Но прежде я постараюсь уложить хоть одного из них. Быть беде, папаша, если они сюда заявятся...

Бешеный Петух знал, что негр слов на ветер не бросает. Он выслушал других обитателей холма и понял: они тоже готовы защищать свое добро, только не знают как. Большинство склонялось к тому, чтобы отправиться в редакцию «Газета до Салвадор» и попросить у Галуба помощи. Курчавый, впрочем, пошел дальше: почему бы им не повидать того депутата, что так бурно протестовал против первого нападения полиции? Можно выбрать делегацию. Если они заручатся поддержкой журналистов, депутатов, муниципальных советников, полиция отступит. Больше они ничего не могли придумать. У Жезуино, однако, были другие планы. Пусть посылают делегацию, он не против, пусть обращаются к журналисту и депутату, быть может им и удастся пресечь произвол полиции. Но он, Жезуино, сомневается в успехе. Они не должны зависеть от других, от доброй воли политиков и репортеров. Или они сами за себя постоят, или их в конце концов выгонят отсюда. Что им делать? Сейчас он скажет. Жезуино озорно улыбался, непокорные седые волосы падали ему на глаза, казалось, для него снова пришла незабываемая пора детских игр — недаром с тех времен у него остался шрам от камня, брошенного противником. Он отправился на поиски Миро, старшего сына Фило, предводителя уличных мальчишек.

Делегация, в состав которой вошла Фило с кучей своих детишек, побывала в редакциях некоторых газет и в муниципальном совете, где их принял и выслушал депутат Рамос да Кунья. Затем в сопровождении депутата и муниципального советника Лисио Сантоса делегация явилась к начальнику полиции. К этому времени она несколько уменьшилась, так как, услышав, что предстоит посетить Центральное полицейское управление, многие, в том числе и Капрал Мартин, вышли из делегации, поскольку участие в ней становилось рискованным. Остались главным образом женщины, да еще Курчавый Сеньор Албукерке принял их в своем кабинете стоя. Пожал руки депутату и муниципальному советнику, сухо кивнул остальным. Беззубая дона Фило улыбалась, заняв со своей детворой место в первом ряду.

Депутат Рамос да Кунья в высокопарных выражениях сообщил о тревоге жителей холма в связи со слухами о готовящемся на них нападении. Он не желает сейчас обсуждать юридические права обитателей Мата-Гато, не желает также вдаваться в сложную проблему: кто прав— они или командор Перес. Не это привело его к уважаемому сеньору Албукерке. Его привел долг человечности, заповедь Христа помогать друг другу. Он пришел во главе этой делегации, чтобы призвать начальника полиции оставить бедняков в покое, призвать и его выполнить наставление великого учителя. Сеньор Рамос да Кунья кончил дрожащим голосом и вытянул вверх руку с поднятым пальцем, будто говорил с трибуны. Дона Фило захлопала в ладоши, другие женщины поддержали ее.

— Тише... Если не будете вести себя как следует, всех удалим...— пригрозил им один из агентов.

Сеньор Албукерке выпятил грудь, откашлялся и с не менее торжественным видом заговорил. Однако он не обладал таким мягким, поставленным голосом, как депутат, и, волнуясь, то и дело срывался на крик.

— Если я и согласился принять делегацию от этих смутьянов, незаконно захвативших чужие земли, то сделал это, уважаемый сеньор депутат, исключительно из уважения к вам как к лидеру оппозиции. Иначе эти люди вошли бы сюда только под конвоем.

Потом он принялся пространно и горячо доказывать незаконность захвата холма. Может быть, сеньор депутат все же сочтет нужным обсудить эту сторону вопроса, единственно важную? Албукерке знал, что депутат не станет ввязываться в спор с ним, незаурядным юристом, особенно когда дело касалось этих преступников, завладевших чужой собственностью, почти все из которых имели приводы в полицию. Если бы эти подонки, опасные элементы оказались в тюрьме, общество от этого только выиграло бы. А прогнать их с Мата-Гато обязан каждый, кто занимает пост начальника полиции.

Но поскольку депутат воззвал к его совести христианина, он согласен дать захватчикам отсрочку на сорок восемь часов. В течение этого времени они должны покинуть холм, им предоставляется возможность унести свои вещи, их не станут арестовывать и судить. Задержаны и отданы под суд будут лишь те, кого полицейские найдут на холме, куда по истечении срока они непременно поднимутся, чтобы сжечь лачуги.

Театральным жестом он показал на большие стенные часы: было 15 часов 43 минуты. Значит, в пятницу, точно в 15 часов 43 минуты, ни минутой раньше, ни минутой позже, полиция поднимется на холм. Все, кто там окажется, будут задержаны и ответят перед судом. Во имя великодушия он нарушил свой долг, но сделал это из уважения к достопочтенному лидеру оппозиции, а также из христианского милосердия и любви к ближнему.

На этом беседу ему хотелось бы кончить, так как его ждут журналисты. Но муниципальный советник Лисио Сантос, возможно, намеренно обойденный начальником полиции в его пространной речи, на свой страх и риск взял слово, пришлось его выслушать. Этот господин, избранный с помощью Отавио Лимы на средства от «жого до бишо», славился своей беспринципностью и был замешан во многих грязных делишках. По выражению Жако Галуба, он был «весьма симпатичным человеком, хорошим приятелем, хотя и не следовало оставлять поблизости от него кошелек или хотя бы бумажку в пять милрейсов». Его странная речь, лишенная логики и смысла, лилась водопадом:

— Сеньор начальник полиции, я здесь потому, что мое присутствие здесь необходимо. Люди пришли за мной, нашли меня, и я пришел с ними. Хотите вы того или нет, вы должны меня выслушать.

Его выслушали, хотя и с явной неохотой. Неподкупный сеньор Албукерке не скрывал своей неприязни к этому представителю политических низов, во всем ему противоположному. Они олицетворяли собой враждебные и непримиримые тенденции и всегда руководствовались совершенно различными принципами. За сеньором Албукерке стояли поколения государственных деятелей, восходящие к дворянам времен империи *, у него была респектабельная внешность, предполагавшая честность и благородство. У Лисио Сантоса ничего подобного не было, никто не знал о его семье, он появился из городских клоак и был избран на деньги «жого до бишо». Но в одном они были схожи: и тот, и другой стремился разбогатеть с помощью политики и запустить поглубже руку

* Имеется в виду Бразильская империя, существовавшая с 1820 по 1889 год, когда был установлен республиканский строй.

в государственную казну. Впрочем, и здесь была некоторая разница: начальник полиции не желал при этом терять репутацию сурового, честного и неподкупного гражданина, а Лисио Сантос даже не пытался скрывать своей алчности, он торопливо хватался за любое дело, лишь бы оно сулило ему деньги. Они представляли в корне различные школы, являя собой различные типы политических деятелей, имеющих заслуги перед родиной. Их отличали друг от друга способы, с помощью которых они намеревались поживиться за счет государства, поэтому сеньор Албукерке поглядывал на «крысу Лисио» (как его прозвали друзья), брезгливо сморщившись. Но мы, простые граждане, не занимающие государственных постов, не будем принимать сторону ни одного из этих двух мошенников. Ведь известно, что воруют и те, и другие: благородные албукерке и холуи лисио. Поэтому мы не станем критиковать образ действий одного и хвалить образ действий другого, мы сохраним нейтралитет в этом споре между великими людьми.

Крыса Лисио выкрикивал бессмысленные фразы, требуя продлить отсрочку, даже цитировал Руя Барбозу *. По правде говоря, он был не очень в курсе дела, делегация захватила его врасплох, и он отправился с ней, чтобы разнюхать, не удастся ли чем-нибудь поживиться в этой неразберихе, к тому же, как человеку Отавио Лимы, ему надлежало действовать против начальника полиции.

Остальные муниципальные советники избегали обитателей Мата-Гато: префект, друг командора Переса, был связан с испанской колонией и целиком поддерживал действия начальника полиции, большинство палаты тоже. Муниципальные советники из оппозиции, боясь вызвать недовольство крупных коммерсантов и землевладельцев, также не хотели впутываться в эту ссору. Лисио Сантосу, однако, нечего было терять, а его тесная связь с Отавио Лимой делала его союзником захватчиков, хотя, сопровождая делегацию, он не знал подробностей дела. И только в кабинете начальника полиции, слушая депутата и Албукерке, он отдал себе отчет в важности происходящих событий и своим острым нюхом почуял огромные возможности, которые они сулят.

Лисио видел явное презрение Албукерке, как и желание депутата Рамоса да Куньи, принадлежавшего к той же школе государственных деятелей, отмежеваться от него, но только мысленно ухмыльнулся, ведь он мог засунуть их в карман, мог заставить их есть из своих рук, если бы пожелал.

Его речь становилась все более взволнованной и резкой. Он требовал отсрочки, по крайней мере, на неделю, а то и две, чтобы компетентные люди нашли за это время решение, которое могло бы удовлетворить справедливые притязания владельца и не менее справедливые притязания бедняков. Знает ли, между прочим, начальник полиции, что такое голод? «Голод, сеньор начальник полиции, это нечто весьма неприятное»,— провозгласил Лисио.

Сеньор Албукерке воспользовался драматической паузой, чтобы прервать его. Он еще раз повторил, что дает 48 часов и ни минуты больше. Что же касается притязаний этих смутьянов, то да будет известно сеньору муниципальному советнику, что они противоречат законам!

— Закон и преступление, собственность и воровство, порядок и анархия несовместимы... И либо мы пресечем подрывные действия, либо падем их жертвой...

Этим страшным пророчеством и кончилась беседа Когда делегация уходила, дона Фило вытянулась по-солдатски, щелкнула каблуками старых ботинок и отдала честь начальнику полиции. Даже агенты рас-

---

* Руй Барбоза (1849—1923) — видный бразильский политический деятель, юрист и писатель.

смеялись, а сеньора Албукерке едва не хватил удар — эта нищенка посмела оскорбить власть!

Фило не попала в кутузку лишь благодаря своим отпрыскам, которые со всех сторон вцепились в нее. Начальник полиции задыхался от гнева: не будь ребятишек, никакие просьбы, никакое вмешательство не помогли бы ей.

Известие о сорокавосьмичасовой отсрочке, которую предоставили захватчикам, чтобы они покинули холм, было встречено различными людьми по-разному.

Рамос да Кунья, выйдя из полиции, отправился к Жако Галубу. Это дело обещало депутату известный престиж в столице, где до сих пор у него не было избирателей. Он хотел поговорить с журналистом об усилении кампании против полиции, которая, конечно, не даст практических результатов. Дело кончится тем, что бедняки будут выселены, но он и Жако заработают популярность. А это было бы кстати: тогда он сможет создать в столице базу для своего политического будущего. Что же касается Галуба, то его репортажи пользовались очень большим успехом, они нашумели даже за пределами Баии. Один журнал, издающийся в Рио-де-Жанейро, запросил у него материалы об этом деле и фотографии. На предстоящих выборах Галуб, судя по всему, сможет выставить свою кандидатуру в муниципальный совет.

Лисио Сантос вышел из полиции с задумчивым видом и тут же отправился поговорить с Отавио Лимой. У него зародился смелый план. Лисио слегка улыбался, вспоминая неприязненное лицо сеньора Албукерке. Эта каналья прикидывается порядочным человеком, но Лисио знает цену его показной честности, он был в курсе беседы начальника полиции с королем «жого до бишо», который подробно рассказал ему об этом разговоре. И этот мерзавец еще имеет наглость обрывать его и смотреть на него свысока! Лисио задумчиво улыбался: нужно использовать эту историю и хорошо заработать на ней. А заодно свалить с поста начальника полиции эту язву Албукерке с его лжечестностью и глупой спесью.

Жезуино Бешеный Петух, узнав о сроке, нашел его достаточным. Оборонные работы продвигались успешно. Миро поддержали все мальчишки. С их помощью Бешеный Петух и возводил оборонительные сооружения; он рассчитывал еще на женщин и в последнюю очередь на мужчин. Жезуино всех заразил своим энтузиазмом: ребята были просто в восторге, взрослым его план тоже начинал нравиться. А когда что-нибудь делаешь с охотой, всегда получается хорошо.

В пятницу, ровно в 15 часов 43 минуты, агенты под моросящим нудным дождем высадились из машин. На этот раз, чтобы избежать сюрпризов, машины оставили на дороге, рядом с пляжем, и к холму шли пешком.

Несмотря на дождь, шедший всю ночь и утро, отчего окрестности холма превратились в болото, явилось несколько журналистов, а Жако Галуб в порыве храбрости даже поднялся на холм, чтобы стать рядом с жителями поселка — пусть и его арестуют вместе с ними. Радиостанция установила свой пост, чтобы информировать слушателей о событиях, и радиорепортеры сообщали о каждом передвижении агентов. До этого было передано заявление доны Фило, которая держалась на редкость твердо и мужественно, она сказала, что готова умереть вместе со своими семью детьми, защищая свою лачугу. Подошел к микрофону и тщеславный Мартин, одетый в мундир с погонами капрала; он разразился угрозами. Но Жезуино сказал, что это было ошибкой, и был прав, как мы убедимся позднее. А пока торопиться нам некуда, будем двигаться вперед потихоньку, у нас еще есть время, раз из перегонных кубов льется кашаса...

Шико Ничтожество, в непромокаемом плаще, тоже дал интервью по радио. Он прибыл во главе своих людей выполнить приказ начальника полиции: снести с лица земли эти грязные лачуги и охранять участок, чтобы не допустить нового вторжения. Полиция и так проявила снисходительность, предоставив захватчикам время для того, чтобы они убрались отсюда, но они не пожелали. Поэтому сейчас на дороге в ожидании груза стоят три машины. Полиция уже начала следствие по этому делу. Будет ли арестован журналист Жако Галуб? Будет арестован даже сам дьявол, если он окажется на холме.

Две крутые, почти отвесные тропинки вели на вершину холма. Из-за дождя они стали скользкими. Обе тропинки были проложены на той стороне холма, которая была обращена к пляжу, другая его сторона была обращена к гнилому, вонючему болоту, поросшему низким кустарником. Только самые отчаянные мальчишки рисковали пробираться там. Таким образом, агенты, нагруженные бидонами с бензином, могли рассчитывать лишь на крутые тропинки, размытые дождем. Начали потихоньку подниматься.

Они сделали лишь несколько шагов, когда из примитивных окопов, вырытых на холме Бешеным Петухом и мальчишками, на них обрушился град камней. Мальчишки оказались меткими стрелками: одному из агентов камень угодил прямо в лоб, полицейский потерял равновесие и скатился с холма, вывалявшись в грязи, у другого была до крови расцарапана шея. Остальные остановились. Шико Ничтожество выхватил револьвер и стал взбираться с криком:

— Ах так, бандиты? Ну, вы у меня еще увидите!..

Он медленно, скользя по грязи, поднимался в сопровождении трех-четырех агентов. Дикторы объявили: «Комиссар Франсиско Лопес пытается взобраться на холм. Решительный и отважный, с револьвером в руке, он готов преодолеть любое препятствие. Комиссар Ничтожество, то есть, извините, комиссар Лопес ведет за собой остальных». И сразу вслед за этим: «Внимание! Комиссар уже не идет впереди. Комиссар бежит обратно, за ним катится огромный, как скала, камень...»

Действительно, Массу и Курчавый подтолкнули большой камень, лежавший на вершине холма, и камень покатился в сторону Шико Ничтожества. Все побежали: агенты и любопытные, журналисты и радиорепортеры со своими микрофонами. Каменная глыба, подняв столбом грязь, тяжело плюхнулась у подножия холма.

Репортер, считавшийся лучшим радиокомментатором футбольных матчей, закричал: «Гоооооол!» — будто вел передачу об интересной встрече, и добавил:

— Два ноль в пользу бандитов с холма!

Три раза пытались полицейские подняться на холм и три раза отступали. Репортеры кричали в микрофоны: «Агенты стреляли, но без успеха, зато почти все камни достигли цели. Пострадал и наш коллега Ромуалдо Матос, который, чтобы лучше наблюдать за происходящим, приблизился к месту сражения и получил удар в плечо. Камень разодрал одежду и оцарапал его кожу. И все же Ромуалдо Матос продолжает вести репортаж прямо с поля боя. Слушайте объявления! Стройте дома на холме или на побережье, на купленном или захваченном участке, но обстановку приобретайте в магазине «Превосходная мебель» на Седьмой авениде, номер...»

В восемнадцать часов пятнадцать минут, через два с лишним часа после начала штурма, прибыла губернаторская машина. В ней находились полицейский комиссар, чиновник канцелярии губернатора и аккредитованный при губернаторском дворце журналист. Комиссар направился к Шико Ничтожеству, за ним последовал чиновник, журналист остановился поболтать с группой репортеров.

Шико Ничтожество в перепачканной одежде, с измазанными в грязи руками и лицом, пылающий ненавистью и жаждущий крови, ждал, что ему на помощь прибудет военная полиция, а он сам получит приказ стрелять.

Только так можно договориться с этой сволочью...

Губернатор действительно отдал приказ, но не тот, которого ждал Шико,— прекратить начатую операцию. Полиция была вынуждена убраться с Мата-Гато.

Аккредитованный при дворце журналист рассказал, что там собрались на секретное совещание с губернатором правительственный лидер, еще два-три депутата, адвокат Торговой ассоциации и муниципальный советник Лисио Сантос. Два с лишним часа они провели за закрытыми дверями. Начальника полиции вызвали туда в середине совещания, и, когда он вышел, вид у него был не очень довольный. Губернатор лично приказал ему прекратить наступление на холм. Чувствовались какие-то новые веяния...

Побежденные полицейские расселись по своим машинам. Когда моторы заревели и автомобили сорвались с места, им вслед с вершины холма раздался оглушительный свист, к которому присоединились радиорепортеры и журналисты, а также зрители. Жезуино дирижировал. Он удовлетворенно смеялся — этот генерал оборванцев, командир уличных мальчишек, ему казалось, что и сам он стал таким же — в остроконечной шляпе, сделанной из жести и картона и полуразвалившейся от дождя, играет в бандитов и полицейских. Никогда еще он так не веселился. Ни он, ни Миро, ни адъютант Миро, худющий паренек — кожа да кости, с окурком во рту и перочинным ножиком за поясом.

Но, пожалуй, самый торжествующий вид был у Жако Галуба, «героя холма Мата-Гато», как его назвал депутат Рамос да Кунья в своей памятной речи в ассамблее, посвященной этим событиям: «Народ не одинок, господин председатель, мы с ним, и нашим посланцем там был неустрашимый журналист Жако Галуб, герой холма Мата-Гато». Сам Жако в очередном сенсационном репортаже также дал понять, что его поведение на холме имело решающее значение. Взять хотя бы заголовок: «Я видел битву на Мата-Гато, я участвовал в ней». В репортаже он смешал с грязью Шико Ничтожество и беспощадно высмеял этого глупца. Таким образом, Галуб предстал перед читателями в ореоле героя, и его репортажи опять наделали много шума.

В тот же вечер на холме произошла новая волнующая сцена. Жители поселка еще переживали радость победы, когда там появился муниципальный советник Лисио Сантос в сопровождении нескольких заправил предвыборной кампании и фотографа из «Жорнал до эстадо». Советник преподнес обитателям холма радиоприемник — дар крупного предпринимателя Отавио Лимы — и заверил их, что он, Лисио Сантос, полностью с ними солидарен. Он останется на их стороне и будет заодно с ними, что бы ни произошло, а если понадобится, то и умрет, защищая их очаги, которым угрожает опасность...

Жезуино Бешеный Петух не присутствовал при вручении дара, который приняла в свои руки дона Фило, как лицо, уполномоченное всеми жителями. После победы Жезуино счел нужным исчезнуть на несколько дней, а сейчас отправился в заведение Тиберии выпить пива с Жезусом. На холм мог заявиться какой-нибудь агент, осведомленный о его действиях во время штурма, и увести его. Жезуино захватил с собой Капрала, чья горячность перед микрофоном показалась ему неосторожной, а также негритенка Миро, старшего сынишку доны Фило.

Он со смехом рассказал Оталии, Тиберии, девушкам и Жезусу о том, как перепугался журналист Жако, когда агенты стали палить из ре-

вольберов в воздух, и спрятался в домике Курчавого, рассчитывая найти там надежное убежище.

Таким образом, Жезуино не слышал заявления Лисио Сантоса, не видел знака симпатии Отавио Лимы и ничего не знал о поддержке жителей холма выдающимися людьми, о которой упомянул в своей речи муниципальный советник. Указав на Миро с его грязными курчавыми волосами, живыми глазками и мышиным личиком, Бешеный Петух сказал:

— Вот этот плут не дал агентам подняться на Мата-Гато. Он и другие мальчишки. Когда мужчины решили, что проиграли сражение, они, не растерявшись, стали бросать камни... Если наши дома не спалили, то этим мы обязаны им.

Но Жезус пожелал защитить журналиста.

— И все же, испугался он или не испугался, он помог нам. И депутат тоже.

Жезуино пожал плечами, вертя в руках стакан с пивом. Старый бродяга был скептик и не верил ни в чье сочувствие.

— Никто нам не поможет, кум Жезус. Но мы, бедняки, вроде той травы, которую чем чаще вырывают, тем глубже она пускает корни и разрастается все пышнее.

Миро слушал его, улыбаясь. И Жезуино положил слегка дрожащую от изрядной порции кашасы и пива руку на плечо мальчишки.

— Хороший малый... Настоящий молодчина!

Но Миро знал, что на самом деле всем заправлял старый Жезуино Бешеный Петух. Знали это и жители холма, хотя и не придавали тому большого значения. Как знали уже давно мудрость Жезуино, его готовность помогать всем, его самоотверженность. Как знали его страсть к кашасе и его умение разбираться в достоинствах этого напитка. Как знали его любовь к женщинам, которые, несмотря на его седину, морщины и немалые годы, предпочитали Жезуино более молодым. Старик обладал настоящей мудростью, и, наверно, именно поэтому люди удивлялись его прозорливости.

Сейчас на холме все собрались у приемника. Приемник включили, и раздалась оглушительная самба. Первой не выдержала дона Фило: оставив своих детишек, она вышла танцевать, другие последовали ее примеру.

9

После провалившейся затеи полиции события, связанные с холмом Мата-Гато, прошли одна за другой две различные стадии. Сначала они вызвали много шума.

В прессе без конца появлялись статьи, репортажи, передовые и заметки, авторы которых выступали за или против жителей поселка, в зависимости от политической ориентации газеты. Однако все хвалили осторожность губернатора, его гуманизм, выразившийся в том, что он распорядился приостановить штурм холма во избежание кровопролития и человеческих жертв. В ассамблее штата лидер оппозиции, депутат Рамос да Кунья, произнес пламенную речь, в которой возложил на правительство ответственность за волнения и беспорядки. В ответ лидер правительственного большинства, депутат Рейс Собриньо, обвинил оппозицию и персонально Рамоса да Кунью. Чтобы создать трудности для администрации и поставить правительство в невыгодное положение, оппозиция, дескать, поощряла этих смутьянов, эти отбросы общества. Но зная, что люди эти стали жертвами сладких речей лидеров оппозиции и желая избавить их от еще больших страданий, губернатор распоря-

дился прекратить действия полиции и отсрочить изгнание захватчиков... Не следует, впрочем, путать великодушие со слабостью. Правительство будет твердо стоять на страже закона.

В муниципальном совете Лисио Сантос, ставший теперь самым ревностным защитником обитателей холма, под стать Жако Галубу, поднял невероятный шум. Его поддержали два-три члена муниципального совета, которые стремились создать себе рекламу, чтобы заручиться голосами избирателей.

— Позор! — ревел с трибуны Лисио Сантос.— Действия начальника полиции, этого палача игроков, этого Робеспьера, состоящего на службе у торговцев,— преступление против народа. Почему он преследует «жого до бишо»? Да потому, что ему не дали крупной взятки, которую он запросил... И я не бросаю слов на ветер, я могу это доказать. Сеньор Албукерке, эта растленная весталка, не довольствуясь пытками, которым подвергаются арестованные, решил убивать трудящихся, построивших себе лачуги на Мата-Гато. Но дом бразильца — слушайте и запоминайте, сеньор начальник полиции! — дом бразильца священен и неприкосновенен, это гарантировано конституцией...

Лисио Сантос был полон гнева. Он стремился наверстать упущенное, изображая из себя непреклонного защитника Мата-Гато. Вторжение на холм представлялось ему золотой жилой, которую надо только суметь разработать...

И вот после этих волнений, казалось, потрясших весь мир, наступило полное затишье. Правда, продолжали ходить слухи, будто созываются совещания, вносятся разные предложения, ведутся переговоры, но все это оставалось в тайне. В газетах появилось было сообщение, что сеньор Албукерке подал в отставку, недовольный соглашательской позицией губернатора. Однако оно тут же было опровергнуто самим начальником полиции. Губернатор, заявил он журналистам, принял решение о прекращении штурма только после того, как посоветовался с ним; между ним и губернатором не было никаких расхождений. Что же касается новых мер, которые будут приняты с целью выселения захватчиков, то они сейчас обсуждаются и скоро будут приведены в исполнение.

Разъяренные агенты кружили вокруг Мата-Гато, не решаясь подходить близко. А некоторые жители холма, наиболее отличившиеся, в частности негр Массу, избегали спускаться, чувствуя себя надежнее наверху. Агенты не простили им своего позорного поражения: того, как они скользили по крутым глинистым тропкам, были избиты камнями и освистаны.

Жезуино еще раз доказал свою осторожность и благоразумие, когда укрылся на несколько дней в заведении Тиберии, найдя там приют у толстозадой Лауры, и когда посоветовал Капралу Мартину не появляться на оживленных улицах. Капрала губила страсть к саморекламе. В день штурма, например, он выступил по радио только ради того, чтобы порисоваться. Он не мог устоять перед соблазном сказать в микрофон несколько слов. В микрофоне вообще есть какая-то притягательная сила — подойдя к нему, человек сразу начинает болтать. Таким же свойством обладает и фотоаппарат: появляется репортер с лампой-вспышкой — и ты принимаешь позу, скалишь зубы. Мудрый Жезуино не только не дал себя фотографировать, но и не стал болтать перед микрофоном, не то что Мартин. Не подумав о последствиях, он, которому больше чем всем остальным следовало бы держаться в тени, натворил бог знает что, ругал полицию, рассказал (и это было совсем глупо) о том, как однажды на танцах избили Шико Ничтожество.

Мартин не внял совету Жезуино, когда тот порекомендовал ему скрыться. В результате он чуть было не попал в руки полиции. Это случилось близ церкви Розарио дос Негрос на площади Позорного

Столба. Мартин выходил из бара Алонсо после решающего свидания с Оталией.

Преследуемый полицией и оставшись без денег, поскольку играть было негде и все его партнеры скрылись из-за беспощадной кампании против азартных игр,— никогда он так не нуждался в конкретных доказательствах любви. Об этом он и заявил Оталии, с грустным видом облокотившись на стойку бара перед пустым стаканом. Он и так был слишком терпелив, но больше это продолжаться не может. В конце концов Оталия не робкая девственница, а он не привык оставаться в дураках...

У Оталии задрожали губы, она заморгала и, казалось, была готова заплакать, Мартин же едва не раскаялся в резкости своих слов. Но Оталия не заплакала, а снова подтвердила свое решение не ложиться с ним в постель, во всяком случае, так скоро. Капрал потерял голову и схватил ее в объятия. В этот час в баре не было ни одного посетителя. Алонсо находился в задней комнате. Однако Оталия оказала сопротивление и, когда ей удалось высвободиться, спросила жалобным голосом:

— Неужели ты не понимаешь?

Нет, он не понимал, он только желал ее, а она издевалась над ним.

— Если это не случится сегодня же, всему конец...

Она молча повернулась и ушла. Мартин бросился к двери и увидел, как она огибает угол, направляясь к заведению. Прежде чем уйти, он выпил еще стакан кашасы, недовольный всем на свете: тем, что не было денег, тем, что его преследовала полиция, Оталией и самим собой.

Едва сделав несколько шагов по улице, он наткнулся на агента, который сейчас же подошел к нему и объявил, что он арестован. Капрал быстро оглянулся по сторонам; не заметив поблизости ни шпиков, ни полицейских, он неожиданно размахнулся, ударил агента и скрылся. Когда тот поднялся и стал звать на помощь, Мартин уже исчез, сбежав вниз по склону.

Вечером, безмерно страдая оттого, что ему, судя по всему, наставляют рога, и с трудом заставляя себя не ходить к Оталии, он, забыв всякую осторожность, направился к Карлосу Вонючему Мулу, чье игорное заведение было одним из немногих, еще не разгромленных полицией. Между тем, именно этот притон нужно было бы уничтожить в первую очередь. Он был настоящей западней. Вонючий Мул, прозванный так потому, что от него всегда пахло потом, работал грубо, пользуясь мечеными колодами и костями, которые не могли обмануть даже слепого. Мартин знал об этих махинациях; сам Артур да Гима, искуснейший мастер, рассказал ему, как изготовлял кости для Вонючего Мула, конечно, меченые. Артур даже показал их Мартину. Отличная работа.

Капрал пошел в притон Вонючего Мула не за тем, чтобы рискнуть монетами, одолженными у Алонсо. Он хотел убить время, поболтать, посмотреть на фокусы хозяина притона, возможно, так ему удастся забыть Оталию и упрямую страсть к ней. В конце концов мужчина должен быть хозяином своего слова. Он не желает больше ее видеть, он ей не игрушка — все кончено. К тому же, может, найдутся желающие сыграть партию ронды, разумеется, с колодой Мартина.

Притон Карлоса Вонючего Мула находился в заднем помещении механической мастерской. По вечерам вход туда охранялся. Обязанности караульного уже некоторое время выполнял Гвоздика. Мартина встретили, как всегда, хорошо: хозяин притона уважал его.

Несколько человек сидели за столом и играли в кости. Банк держал Вонючий Мул, но кто мог выиграть его шулерскими костями? Каково же было удивление Мартина, когда он заметил среди игроков Артура да Гиму, ремесленника, который своими руками изготовил эти кости. Что он — сумасшедший или работает на хозяина притона, исполняя роль

приманки? Ответив на любезное приветствие Вонючего Мула и отвергнув приглашение рискнуть на небольшую ставку, Мартин незаметно показал ему на Артура, как бы спрашивая, что это означает. Вонючий Мул пожал плечами и, немного погодя закончив игру, отпустил партнеров, заявив, что должен поговорить с Капралом. Артур да Гима удалился с угрюмым видом, что-то бормоча себе под нос.

— По-моему, он обругал себя дураком и еще почище.

Вонючий Мул рассмеялся, объяснив Мартину, что он не виноват перед этим сумасшедшим Артуром. Ну, где это видано? Человек сам изготовляет кости для его притона, естественно, знает об их особенностях и все же садится играть и ставит деньги? Да разве можно его удержать? Он попытался было сделать это, но Артур будто спятил, в драку полез. Совсем на игре помешался. А поскольку играть сейчас было негде, он пришел сюда и подсел к столу. Если бы он был один, Вонючий Мул мог бы ему проиграть. Но ведь за столом были другие партнеры, и, в конце концов, Артура никто не заставлял являться сюда. Он ведь не мальчик, давно уже вышел из детского возраста... А теперь, наверно, бьется головой о фонарные столбы и проклинает себя.

Потом они посетовали на трудные времена, и Мартин согласился выпить стопку кашасы. Вонючий Мул посоветовал Мартину немного подождать: возможно, его удастся подключить к партии в покер, которую он собирался организовать. Есть тут трое растяп из конторы по экспорту табака, причем только один что-то смыслит в игре, двое других едва знают комбинации. Правда, много с ними не выиграешь — не очень-то они богаты, да и рисковать не любят, но лучше хоть это, чем ничего. Мартин потер руки. Он сидит без гроша и согласен на все.

Действительно, полчаса спустя пришли трое простофиль. Мартин был представлен им, как военнослужащий, находящийся в отпуску, и они уселись вокруг стола. Но едва начали играть, как нагрянула полиция. Гвоздика не успел даже крикнуть, как агенты схватили его и бросили в полицейскую машину. Однако Вонючий Мул, который всегда был начеку, вовремя услышал подозрительный шум и успел крикнуть Мартину:

— Сюда, дружище!

За шкафом была потайная дверь, выходившая на пустырь позади мастерской. В нее они и выскочили, а агенты схватили и стали загонять в машину трех простаков из конторы, награждая их пинками и оплеухами.

Мартин попросил приюта у своего кума Зебедеу, докера, живущего в Барбальо. Кум одолжил ему денег, но посоветовал уехать из города. Полицейские усиленно разыскивали Мартина; сегодня, например, они заявились к торговцу Алфредо и спрашивали о Капрале. Его ищут повсюду; шпик Мигел Шаруто, заклятый враг Мартина, действует заодно с Шико Ничтожеством, получив специальное задание схватить Мартина и засадить его в тюрьму.

Лишь теперь Капрал понял всю серьезность своего положения. С помощью Зебедеу и Рулевого Мануэла он перебрался на остров Итапарику и велел о своем местонахождении сообщить только Жезуино. На Итапарике он стал именовать себя сержантом Порсиункулой, не уточняя, впрочем, служит ли он в армии или в полиции. Устроился на острове Мартин неплохо. Здесь игроков не преследовали, и хотя сейчас был не сезон и большого оживления не наблюдалось, все же на жизнь он зарабатывал. А вскоре красивая мулатка Алтива да Консейсан до Эспирито-Санто помогла ему забыть Оталию и ее нелепое упрямство. И все же иногда он вспоминал о ней и, желая ее, скрипел зубами. Тогда он накидывался на Алтиву, которая очень напоминала ему русалку, и говорил под шелест ветра в кокосовых пальмах, поглаживая ее медно-красный живот:

— Ты похожа на Йеманжу...

— А ты разве спал с Йеманжой, черный развратник?

В Баии свирепствовал полицейский разгул. Ветрогон угодил в кутузку, хотя и покинул Мата-Гато задолго до первого налета полиции. Его побили резиновыми дубинками и освободили только благодаря вмешательству одного из его клиентов, д-ра Менандро, которому срочно понадобились лягушки, и он, начав разыскивать Ветрогона, обнаружил беднягу в тюрьме, спящим глубоким сном.

Еще избили Ипсилона. Но его также освободили, ибо сеньор Абилафия, тюремный адвокат, по распоряжению муниципального советника Лисио Сантоса потребовал соблюдения habeas corpus* для граждан, арестованных без предъявления обвинения. Все освобожденные не преминули отдать свои голоса Лисио Сантосу.

Если не считать этого усиления полицейских репрессий, достоин упоминания еще, пожалуй, один факт, связанный с вторжением на холм Мата-Гато. Один из крупных юристов города от имени командора Хосе Переса возбудил судебный иск, требуя восстановить командора в правах на земельные участки, захваченные третьими лицами. Адвокат требовал также, чтобы полиции было отдано распоряжение немедленно принять решительные меры против нарушителей закона и конституции.

10

И только Курио держался в стороне и сохранял полное безразличие ко всей этой суматохе. Он вообще не реагировал бы на кампанию против азартных игр, если бы она не затронула таких его друзей, как Мартин. Мы уже знаем твердые принципы Курио в отношении дружбы, а Мартин был для него больше, чем друг. Вот почему Курио все же забеспокоился, хотя игра никогда его не интересовала.

— Моя слабость — женщины...— говорил он, когда ему предлагали сигарету или приглашали сыграть в покер. В таких случаях он забывал о кашасе, возможно, считая, что пьют ее не из слабости, а по необходимости, как верное средство от различных недугов, в том числе и любовных.

Без Мартина жизнь его друзей изменилась. Хотя, по правде сказать, это случилось раньше, до того, как Мартин превратился в сержанта Порсиункулу, проводящего на побережье Итапарики медовый месяц с Алтивой да Консейсан до Эспирито-Санто. После вторжения на Мата-Гато неразлучные прежде друзья стали собираться реже, чтобы решать сообща, что делать вечером, праздники были забыты, наступил разброд.

Даже самые бурные события на холме оставили Курио равнодушным, будто он не собирался жить там и не начал сооружать свой домик, кстати сказать, самый вычурный из всех. Если бы не бдительность Жезуино и Массу, этот домик, выстроенный наполовину, уже давно бы был занят бездельниками, всегда ищущими, чем бы поживиться. Курио не видел ничего, кроме мадам Беатрис, феноменальной факирши, сейчас лежавшей в застекленном гробу на Байша-до-Сапатейро и голодавшей — за что каждый посетитель платил пять милрейсов.

Жезуино привык к любовным перипетиям Курио, кончавшимся, как правило, неудачно. Бешеного Петуха уже не удивлял его слащавый романтизм, его иллюзии и разочарования. Но даже Жезуино, великолепно изучивший Курио, отказывался понимать подобную наивность: Курио действительно верил, что Беатрис постится, даже не пьет, и так пролежит целый месяц, он клялся в этом душою своей матери и готов был сунуть

* Habeas corpus *(лат.)* — начальные слова закона о неприкосновенности личности (впервые принятого английским парламентом в 1679 году).

руку в огонь. Жезуино покачивал головой. Курио должен успокоиться и простить его, но он в это не верит. Человек не может месяц ничего не есть, а тем более не пить, он не выдержит и недели... Пусть Курио перестанет валять дурака и скажет, в чем состоит фокус, в конце концов ему нет никакого смысла обманывать друзей, они не станут болтать. Правильно, Ветрогон?

Ветрогон, знаток по части поста, подтвердил: никто не продержится месяц. Змея жибойя может, но только проглотив теленка, которого будет долго переваривать. Люди же на это не способны, они не могут жить без еды, без выпивки и без женщин. Говорят, есть мужчины, которые способны месяц обходиться без женщины, он слышал о таких невероятных случаях. Что же касается его, Ветрогона, он уже через пять дней становится раздражительным и угрюмым и готов наброситься на первую попавшуюся женщину. Кстати, а как эта дамочка? Она тоже целый месяц будет воздерживаться или Курио ночью залезает в гроб и развлекает покойницу? Она не только в течение месяца не ест, не пьет и не имеет дела с мужчинами — а что это так, каждый может убедиться, взглянув на герметически закрытый гроб,— но уже недели за три до этого начинает морально готовиться к длительному испытанию, на которое способна только она, любимая ученица буддистов...

— А что это за чертовщина?..

— Индийская религия. Буддисты вообще не едят и лишь раз в полгода выпивают каплю воды. Они ходят в набедренных повязках.

— Враки это все...— решительно заявил Ветрогон.

— А я как-то читал книгу, где рассказывалось об этом. Они живут в Тибете, на самом краю света,— вставил Ипсилон.

— Враки...— повторил Ветрогон.— Набедренные повязки носят индейцы, а они едят очень много...

Но Курио стоял на своем. Как она может есть или пить, если он не носит ей ни пищи, ни воды, а кроме него, ее личного секретаря, никто к ней не приближается. Разве не торчит он целыми днями в старом магазине Абдалы, продавая входные билеты и поднимая полог перед посетителями, впрочем, немногочисленными и не проявляющими особого энтузиазма, чтобы они могли видеть красавицу Беатрис, лежащую в гробу?

Вопрос этот не на шутку заинтересовал Жезуино.

— А когда ты уходишь выпить глоток кашасы, кто остается вместо тебя?

Он действительно каждый день уходит после обеда часа на два, чтобы съесть что-нибудь (в полдень он довольствуется сандвичем и несколькими бананами) и повидать друзей. А у дверей магазина остается хозяйка пансиона, мулатка Эмилия Каско Верде, хорошая знакомая Беатрис, которая вызвалась помогать им.

— Эмилия Каско Верде? Та, что живет на улице Джованни Гимараэнса и держала ларек на рынке до того, как сошлась с турком и открыла пансион?

— Она самая...

— Ну тогда и голову нечего ломать... Она носит ей еду и питье...

Курио продолжал не соглашаться, но червь сомнения все же зашевелился у него в душе. Неужели они правы? Неужели мадам Беатрис, за которую он головой ручался, способна на такое жульничество? Неужели она могла усомниться в нем и довериться Эмилии? А если это так, нельзя верить и ее словам, сулившим ему счастье, когда кончится этот пост.

Вот какие заботы помешали Курио участвовать в последних волнующих событиях. Он только раз поднялся на Мата-Гато, чтобы побывать у Массу и старой Вевевы.

Между тем недостатка в новостях не было. Пока иск Пепе Два Фунта, выигранный в первой инстанции, ожидал нового судебного разбира-

тельства в трибунале, депутат Рамос да Кунья, поддержанный оппозицией, представил законопроект, в котором правительству предлагалось произвести отчуждение земельных участков на холме Мата-Гато и сделать их собственностью штата, чтобы граждане могли строить там дома. Проект был встречен с интересом, который оппозиция использовала в своих целях. На Соборной площади был созван большой митинг, где выступили многие ораторы, в том числе автор законопроекта, журналист Жако Галуб, муниципальный советник Лисио Сантос и кое-кто из жителей Мата-Гато.

Мы не станем утверждать, как это сделала одна официозная газета, что «демагогическая шумиха оппозиции по поводу штурма холма Мата-Гато провалилась, так как широко разрекламированный митинг собрал лишь полдюжины зевак». Но и не станем поддерживать экзальтированное сообщение «Газета до Салвадор», в котором говорилось, будто бы десять тысяч человек собрались, «чтобы послушать пламенные речи Айртона Мело, Рамоса да Куньи, Лисио Сантоса, Жако Галуба и горькие сетования обитателей холма». Не было ни того ни другого! Тысячи полторы людей, среди которых были и участники митинга и случайные прохожие, ожидавшие трамвая или автобуса, слушали ораторов и аплодировали им. Особенно бурными аплодисментами были награждены зачастую бессмысленные, но неизменно звучные тирады Лисио Сантоса. Его витиеватая речь гармонировала с пышным барокко Соборной площади. Жителей холма на митинге, собственно, не было. Они не решились прийти, опасаясь провокаций со стороны полиции. Только Фило, за которой сходил Галуб, поднялась на трибуну, чтобы показаться народу вместе со своими детьми, причем двое младших сидели верхом у нее на бедрах. Ее появление было встречено одобрительным гулом. От имени жителей Мата-Гато все же выступил Данте Веронези, честолюбивый портной из Итажуипе, тесно связанный с Лисио Сантосом, своим политическим боссом. Речь Данте Веронези была великолепна и вполне соответствовала этому месту, где когда-то падре Виейра * призывал к сопротивлению голландскому владычеству. Портной не пожалел красок для описания нищеты жителей холма: лишенные домашнего очага и крова, они обречены мокнуть под дождем вместе со своими женами и ребятишками. Картина та была вполне достойна сурового итальянского тезки Веронези, но и он, гражданин современной Бразилии, непосредственно ощущал на себе бремя этих ужасов. И вот бедняки решили построить себе лачуги на заброшенной земле миллионера-испанца, который нажил свое богатство, обвешивая честных людей. Но пришла полиция... Далее следовало описание полицейской расправы и страданий народа. К счастью, не перевелись еще такие люди, как Айртон Мело, уважаемый директор «Газета до Салвадор», репортер Жако Галуб — «герой Мата-Гато», депутат Рамос да Кунья, выступивший с освободительным законопроектом, и, наконец, муниципальный советник Лисио Сантос, отец бедняков, защитник голодных, мужественный гражданин, которого можно сравнить лишь с великими людьми прошлого — Александром Македонским, Ганнибалом, Наполеоном, Жозе Бонифасио **...

Право, хотя Данте Веронези и не принимал непосредственного участия в захвате холма, вряд ли можно было сказать лучше и убедительнее. Даже дона Фило, женщина, закаленная в жизненных невзгодах и отнюдь не сентиментальная, почувствовала, как у нее на глаза наворачиваются слезы, когда Данте Веронези торжественно указал на нее, свою сосед-

---

* Падре Антонио Виейра (1608—1697) — видный оратор и писатель, пользовавшийся большой популярностью в Бразилии.

** Жозе Бонифасио де Андраде э Силва (1763—1838) — известный бразильский политический деятель и писатель, выступавший за освобождение Бразилии от португальского гнета.

ку и мать двенадцати детей, которая день и ночь убивает себя у корыта и гладильной доски, чтобы прокормить семью. Многие годы она влачит жалкое существование, питаясь со своими несчастными сиротами чем бог пошлет; эта честная вдова ни у кого ничего не просила, а своими собственными руками да руками бедняжек-детей построила домишко на холме Мата-Гато. И разве не преступление выселять эту горячо любящую мать, эту святую женщину?

Фило была растрогана громом аплодисментов, которые раздались по ее адресу. Это был настоящий успех.

Законопроект Рамоса да Куньи, получивший поддержку на митинге, взволновал самые различные круги. Губернатор, довольный тем, что обрел популярность, не хотел уступать завоеванные рубежи какому-нибудь демагогу из оппозиции. В свою очередь, трибунал под нажимом адвоката Пепе Два Фунта — профессора факультета права Пиньейро Салеса, а также торговцев и землевладельцев, назначил дату пересмотра судебного иска командора. Суд уже решил в его пользу, вынеся постановление в четыре строки, которое предлагало полиции выселить бедняков с холма. Поговаривали, что решение это обошлось кое-кому в пятнадцать конторейсов, а в те времена это была изрядная сумма, не то что теперь, когда и пятидесяти конто не хватит на то, чтобы купить хотя бы полсвидетеля, не говоря уже о целом судье. Но тут адвокат Абилафия, защищавший интересы жителей холма, обратился в трибунал с кассационной жалобой и таким образом помешал исполнению приговора. Судьи апелляционного трибунала, в руках у которых оказалась эта горячая картошка, принялись маневрировать, оттягивая решение. Они знали, что оно представляет широкие возможности для политических спекуляций, и хотели сначала выяснить, куда дует ветер. Однако после законопроекта Рамоса да Куньи и выступлений на митинге адвокату командора Переса, поддержанному коммерческими и консервативными кругами, удалось добиться от трибунала назначения точного срока рассмотрения кассационной жалобы. От председателя трибунала адвокат вышел в весьма радужном настроении, полагая, что дело уже выиграно. Ибо основная трудность как раз и состояла в том, чтобы вопреки уверткам трибунала, весьма чувствительного к интересам партий и общественных деятелей, все же заставить его назначить дату судебного разбирательства.

Именно потому было столь велико удивление юриста, когда, сообщив радостную весть командору Пересу, он не встретил со стороны своего могущественного клиента особого энтузиазма. Пепе Два Фунта, считавший благоразумней медлительность апелляционного трибунала, ожидавшего развития событий, не торопился сделать поворот на сто восемьдесят градусов. Проект Рамоса да Куньи встревожил адвоката Салеса и вынудил его нажать на председателя трибунала, и вдруг позиция командора в этом деле меняется, он даже не поносит захватчиков на своем ломаном португальском языке. Адвокат несколько раз выругался про себя, он ничего не понимал.

Да и откуда ему было знать, что несколько часов тому назад главный инженер одной крупной конторы по планировке и строительству жилых зданий вручил Пепе схему разбивки участков на холме Мата-Гато и прибрежной полосе. Чертежи были выполнены великолепно, и вообще контора заслуживала полного доверия. И вот когда были закончены все исследования и составлены планы, инженеры единодушно высказали сомнение в успехе предприятия. Они полагали, что понадобится ждать еще очень долго, возможно, десятки лет, прежде чем стоимость этих участков повысится и их можно будет продать по выгодной цене. Если командор все же собирается настаивать на немедленной реализации земель, то ему придется продавать их за гроши, но и при этом условии вряд ли удастся найти покупателей...

Чертежи и схемы остались на столе у Пепе Два Фунта. Они лежали рядом с «Диарио да ассамблеа», где был опубликован проект Рамоса да Куньи. А не может ли адвокат дать делу обратный ход? Неплохо бы подождать несколько дней, чтобы посмотреть, куда приведут все эти запутанные ходы. В конце концов он, Хосе Перес, не хочет прослыть жестоким человеком, врагом народа, когда некоторые, сидя у него на шее, только и думают, как бы поживиться за его счет. Ведь даже его внуки, эти невыносимые, но славные ребята, называют его реакционером и эксплуататором трудящихся. Его, Хосе Переса, который всю жизнь только и знает, что работать, работать, как лошадь или вол, лишь бы обеспечить детям и внукам приличное существование. Да, он эксплуататор, работает не покладая рук. Он и сейчас, уже старый и немощный, встает в четыре часа утра и начинает работать в пять, когда так называемые трудящиеся спят мертвым сном. Это он трудящийся, а его эксплуатирует множество никчемных людей, болтунов, вроде этого адвоката, которые стоят ему очень дорого, да к тому же ничего не знают, а только и думают, как бы прикарманить его деньги...

11

Возможно, именно с этого переломного момента в триумфальной карьере профессора Пиньейро Салеса, когда, спрятав поглубже свое самолюбие и поджав хвост, он вернулся к достопочтенному председателю трибунала и заявил ему — с каким лицом он это делал? — что изменил мнение и что его клиент вовсе не торопится,— быть может, именно с этого злосчастного момента события, связанные с захватом холма, стали напоминать фарс.

Впрочем, председатель трибунала, старый хитрец, имевший большой опыт в различных политических маневрах и грязных махинациях правительственных кабинетов, сразу учуял в воздухе, как говорил его зять, будущий прокурор, «запах падали», которую клюют урубу*... И в самом деле, профессор Пиньейро Салес в своем черном костюме и рубашке с накрахмаленной грудью и стоячим воротом напоминал сейчас грустного урубу с поникшим хохолком. Но где же гниющая падаль? Почтенный председатель догадывался, что в этой запутанной истории что-то неладно, что она дурно пахнет. Почему, черт возьми, профессор Салес, обычно высоко задирающий нос, вернулся, понурившись, в его кабинет и просит отложить разбирательство дела, хотя накануне рычал, требуя назвать точную дату. И вдруг оказывается, это не так срочно. Нет, тут что-то не так...

Заботясь о сохранении своего высокого престижа, а также желая в какой-то мере отомстить профессору Салесу, председатель отказался удовлетворить его просьбу: дата была назначена по согласованию с адвокатом и по его просьбе, теперь уже поздно ее менять. Он не допустит, чтобы трибунал подчинялся прихотям адвокатов и противных сторон и тем более рисковал оказаться замешанным в какие-нибудь махинации. Председатель оставил в силе намеченную накануне дату рассмотрения кассационной жалобы.

Разбор дела в суде стал очередной сенсацией. Газеты много писали и о суде, и о «чудовищном митинге», и о готовящейся мощной демонстрации, которую организует муниципальный советник Лисио Сантос и другие «народные руководители», как они именовались в манифесте, распространяемом по городу. Среди последних был уже знакомый нам Данте Веронези, взявший на себя роль представителя жителей Мата-Гато, их глашатая. Демонстранты, то есть жители холма и солидарные

* Вид стервятника, обитающего в тропиках Латинской Америки.

с ними горожане, должны были собраться у Дворца юстиции и «потребовать от досточтимого трибунала приговора, который обеспечил бы народу всю полноту его прав». (Формулировка Лисио Сантоса.)

Уж кто никогда не забудет этой демонстрации, так это Курио! И не только потому, что его избили. но и потому, что вслед за этим его любовь неожиданно увенчалась успехом.

Невиданный номер мадам Беатрис приближался к своему окончанию — истекали тридцать дней строгого поста погребенной заживо факирши. Впрочем, если говорить откровенно, то уже на одиннадцатый день объявление на дверях возвестило о том, что мадам Беатрис голодает 26 дней. Цифра, указывавшая число дней, прошедших с момента положения во гроб, менялась каждое утро. Однако уже на пятый день, после того как накануне побывало лишь шесть равнодушных посетителей, уплативших всего тридцать милрейсов, Курио, вместо того, чтобы написать 5, поставил 15, и на этом они выиграли целых десять дней. Мадам Беатрис на десять дней предстояло меньше голодать, Курио тоже, хотя его голод был иным. На восьмой день он прибавил еще три дня, так как число любопытных резко упало: в тот день у них побывало всего двое мальчишек и солдат, который как военнослужащий не заплатил.

Несмотря на подстрекательства Жезуино, Курио не хотел выяснять деликатный вопрос, касающийся профессиональной честности мадам Беатрис; все свои сомнения он похоронил в непоколебимой вере в несправедливо подозреваемую факиршу. Однако, поглядывая на нее через стекло, он каждый раз убеждался, что мадам превосходно выглядит и у нее отличный цвет лица, не слишком соответствующий недельному посту. При этом она улыбалась Курио и многообещающе закатывала глаза, поэтому все его сомнения тотчас улетучивались, ему становилось стыдно, что по наущению приятелей он пытался шпионить за ней.

Впрочем, когда она оставалась наедине с Эмилией Каско Верде, Курио вновь охватывали неясные сомнения. А что, если он вдруг вернется? Жезуино, завидя его, обычно спрашивал:

— Ну как, разоблачил обманщицу?

Но Жезуино, как известно, был скептиком, никому не верил, даже таким людям, как муниципальный советник Лисио Сантос, депутат Рамос да Кунья или честнейший Данте Веронези, который был настолько любезен, что заказал для Курио несколько стопок кашасы и выпил вместе с ним, пригласив его на демонстрацию.

С помощью Фило, щеголявшей в платье, подаренном ей сирийцем, хозяином магазина на Байша-до-Сапатейро, Данте всячески старался обеспечить успех демонстрации. Против ожиданий, Бешеного Петуха эта идея не воодушевила; он не пожелал возглавить людей, как это бывало раньше, и остался в стороне.

— Ты пойдешь? — спросил он Курио.— Я лично нет. Маленький человек не должен вмешиваться в дела больших людей. Иначе нам придется платить за разбитую посуду... Одно дело, когда мы на холме, другое — здесь, внизу...

И все же Курио явился, польщенный приглашением, исходившим от лидера Веронези. Вообще народу собралось мало: пришло несколько студентов-юристов, которые, случайно оказавшись в этом месте, решили принять участие в демонстрации, а один из них даже произнес пламенную речь. С холма спустились лишь немногие, большинство же до решения суда осталось наверху.

Может быть, демонстрация и увенчалась бы успехом, как заявил Лисио Сантос репортеру «Газета до Салвадор», если бы председатель трибунала, узнав о сборище у ворот величественного храма правосудия и увидев студента, повисшего на ограде и подстрекавшего этот сброд,

не потребовал срочного вмешательства полиции для поддержания порядка, гарантирующего трибуналу свободу волеизъявления.

Вслед за этим агенты и конная военная полиция набросились на собравшихся. Без предупреждения и каких бы то ни было объяснений полицейские стали избивать людей резиновыми дубинками, в результате чего через пять минут демонстрация была разогнана. Курио получил несколько сильных ударов по спине и от тюрьмы спасся только чудом.

Муниципальному советнику Лисио Сантосу удалось прорваться в здание трибунала; он проник в зал судебных заседаний и пытался протестовать против действий полиции, но председатель прервал его и пригрозил выгнать, невзирая на его депутатскую неприкосновенность. Что же касается нашего дорогого трибуна Данте Веронези, то он оказался в тюрьме. Ему не помогло даже то, что он закричал:

— Я секретарь муниципального советника сеньора Лисио Сантоса!..

Один из агентов сказал другому:

— Это и есть их вожак, хватай его.

И его забрали. Взяли также двух студентов; остальные продолжали еще некоторое время шуметь, улюлюкая и освистывая солдат. Однако скоро им это надоело, и они разошлись. Жители холма тоже отправились восвояси, еще раз убедившись, что Жезуино был прав.

Курио, спина которого горела от ударов, заторопился на Байша-до-Сапатейро. Перед уходом на демонстрацию он попросил Эмилию Каско Верде заместить его на то время, пока он выполняет свой гражданский долг.

Неожиданное возвращение Курио вызвало панику. Дверь он нашел запертой, табличка была перевернута. Курио сильным пинком распахнул дверь. Он был в ярости, уже предвидя, что старый мудрый Жезуино и тут оказался прав.

Удобно усевшись в гробу (стеклянная крышка была снята и поставлена рядом), мадам Беатрис, которой прислуживала Эмилия, с аппетитом уписывала фасоль с жареной мукой и мясом. Связка серебристых бананов дожидалась своей очереди. Оказывается, в кожаной сумке Эмилия приносила с собой миску, котелок, еду, ложку и вилку, прикрыв все это шерстью для вязания и старыми журналами. Она не забыла даже о щеточке, чтобы смахивать крошки, что говорило об отличной организации дела. Кроме того, в сумке была бутылка пива и два стакана. Курио задохнулся от злости.

Эмилия выскочила на улицу с легкостью, которую трудно было предполагать в человеке ее комплекции, а мадам Беатрис отставила миску, закрыла лицо руками и разразилась рыданиями.

— Клянусь, что это в первый раз...

У нее и в мыслях не было обманывать публику, тем более Курио; она действительно хотела поститься целый месяц. Но из-за Курио...

Курио был разъярен, спина у него горела, а вид розовых, круглых щек мадам Беатрис, которая за эти дни прибавила по меньшей мере килограмма два, совсем взбесил его. Курио не был расположен выслушивать ее объяснения, однако насторожился, когда она обвинила его. Интересно, как далеко может она зайти в своем цинизме...

Да, из-за Курио... Слабая, совсем без сил, запертая в этом гробу, она смотрела через стекло, как Курио ходит, улыбается ей, и, помимо ее воли, у нее начали возникать дурные мысли, она стала представлять себе, будто лежит рядом с ним, и эти грешные желания сломили высокую духовную сосредоточенность — она не могла больше поститься...

В других обстоятельствах эта ложь, может быть, и тронула бы Курио, наполнив его глаза слезами жалости, заставила бы его нежное сердце забиться. Но он, избитый полицейскими, был взбешен и счел под-

лостью издевки этой особы, которая рассказывала басни о бесстыдных мыслях, будто бы вызвавших у нее голод... Он сам жил впроголодь, во всем урезая себя и почти целиком отдавая свои скудные заработки Эмилии, которую мадам Беатрис уполномочила ведать ее финансами и набивать ей брюхо. Даже пиво она пила, значит ни в чем себе не отказывала. В жизни Курио было много трагических увлечений, на своем веку он встречал немало бесстыжих женщин, но такой, как эта, никогда.

Спина его болела, руки были в ссадинах, плечо вывихнуто. Курио с грохотом захлопнул дверь и отвесил мадам звонкую пощечину, потом вторую. Одухотворенная индусска испустила крик, схватила Курио за руку и стала просить прощения, но он вцепился ей в волосы. Тогда она повисла у него на шее и, получив третью пощечину, принялась бешено его целовать. Курио почувствовал вдруг, что сливается с ней в бесконечном поцелуе. Наконец-то эта женщина — и какая женщина! — влюбилась в него, она покорно отдавалась ему, сломленная своей страстью. Курио выпустил ее волосы, торопливо разорвал на ней платье из красного тюля, имитирующее индийское сари, и здесь же в гробу разговелся после длительного поста. Наконец-то Курио был вознагражден за все: за злобу и отчаяние, за голод и побои. Но гроб, сделанный для мертвых, не выдержал пыла живых, и его старые доски рассыпались. Любовники упали на пол, стеклянная крышка разлетелась на тысячи осколков, а они ничего не услышали, ничего не заметили. На дереве и стекле они утолили свой голод, посмеялись над простодушными зрителями и снова запылали, как два горящих костра.

После подробного обсуждения провала сенсационного номера мадам Беатрис они решили закрыться в тот же вечер и отдать ключ приказчику соседнего магазина. Не осталось даже гроба, в котором можно было бы продолжать пост. Курио достроит свой домишко на холме, мадам Беатрис отдохнет там, восстановит силы после изнурительного номера. Для Курио работа всегда найдется, а она займется гаданием по руке либо на картах на холме, где уже есть бар и что-то вроде лавки; у нее будут клиенты.

Пока Курио шел к победе столь бурными и сложными путями, трибунал, свободный от давления извне, собрался, чтобы вынести решение по иску командора Хосе Переса против захватчиков Мата-Гато. Прокурор, хотя и выразил сожаление по поводу краткости постановления суда и чрезвычайной сжатости его обоснований, все же признал иск справедливым. Два члена трибунала проголосовали «за». Однако третий пожелал подробнее ознакомиться с материалами дела, в результате чего окончательное решение было отложено на неделю. Профессор Пиньейро Салес облегченно вздохнул: просьба третьего члена трибунала спасла его в последний момент, когда он считал, как это ни нелепо, все потерянным, хотя дело практически выиграл.

Так начали запутываться нити клубка этой истории с холмом Мата-Гато, и запутываться так, что потом никто уже не смог их распутать, отличить дурное от хорошего, здравый смысл от глупости, вред от пользы.

Жако Галуб и Лисио Сантос вышли из суда, возбужденно обсуждая необходимость срочных мер, ибо уже сейчас была ясна тенденция трибунала: через неделю жители холма будут выселены из своих лачуг. Лисио торопился: настало время собирать посеянный урожай. В ассамблее штата депутат правительственного большинства разгромил проект Рамоса да Куньи, назвав его демагогическим и антиконституционным, и сообщил палате о решении этого большинства провалить проект, если он будет поставлен на голосование.

Что же касается профессора Пиньейро Салеса, то он не знал, выиграл ли он этот процесс или проиграл. А может, даже вдвойне выиграл...

Однако его клиент, невежественный и грубый испанец, выслушав его отчет, заявил:

— В общем, это хорошо, что решение отложено. Наверно, недели мне хватит. А вы, сеньор, можете теперь дело передать мне, я сам им займусь.

На столе у командора Хосе Переса лежала визитная карточка Лисио Сантоса с просьбой о встрече. Муниципальный советник жил в одном из доходных домов командора и иногда не платил ему за квартиру по пять-шесть месяцев. Ловкий тип, бывали у него иной раз осложнения, но вообще он популярен и в этой истории с земельными участками может оказаться не менее полезным, чем Рамос да Кунья или Айртон Мело, а обойдется наверняка дешевле... Хосе Перес позвал секретаря и послал записку Лисио Сантосу.

12

За неделю, минувшую между двумя заседаниями трибунала, на которых разбирался иск двухфунтового командора против жителей Мата-Гато, произошло более четкое разграничение позиций, занимаемых в этой истории, а также усиление кампании в печати и ассамблее. Казалось, готовится настоящая война, обе партии угрожающе росли; сеньором Албукерке вдруг все стали интересоваться, как кинозвездой.

Все это производило на обывателей большое впечатление, и уже некоторые предсказывали важные, чуть ли не трагические события, выражая опасение за судьбу штата и безопасность режима. Однако наблюдательный человек, умеющий читать между строк и прислушиваться к шепоту на пленарных заседаниях палат, а не к речам, произносимым с трибун, пожалуй, не поддался бы подобному пессимизму. Никогда еще не звучали столь решительные обвинения и угрозы по адресу захватчиков, и в то же время никогда еще кампания солидарности с обитателями холма, организованная журналистами, депутатами, народными лидерами и даже целыми партиями, кампания, в которую были вовлечены также студенчество и профсоюзы, не достигала такой мощи. Но, может быть, весь этот шум, вся эта полемика и угрозы кровопролитием должны были заглушить шаги посредников и их голоса? Впрочем, не нам, стоящим в стороне от всех этих переговоров,— поскольку мы не занимаем здесь ни политической позиции, ни видного общественного положения,— не нам разоблачать эту кампанию в пользу мира и спокойствия, в которых, в конечном счете, были заинтересованы все.

Единственным исключением был поэт Педро Жов; в пьяном виде он заявил, что это — «всеобщее жульничество» за счет жителей Мата-Гато. Но мы-то знаем цену резким выступлениям поэтов, к тому же пьяных. Может быть, раздражение Жова объяснялось тем, что он повздорил с Галубом из-за одной девушки из заведения Дориньи на Ладейра-да-Монтанья? Ей он посвятил вдохновенный, лирический шедевр, гениальный, по мнению его близких друзей и завсегдатаев бара: «ДЕВСТВЕННАЯ БЛУДНИЦА, ЗАБЕРЕМЕНЕВШАЯ ОТ ПОЭТА И ПРОПОВЕДИ». Но пока Жов работал над поэмой, «имевшей подлинно революционный резонанс», как выразился критик Неро Милтон, журналист позвал к себе девицу, оставив поэту славу и боль от выросших рогов.

Чтобы дать представление о полемике, развернувшейся вокруг Мата-Гато в течение недели, предшествовавшей финальным событиям, стоит упомянуть о трех-четырех фактах, взволновавших общественное мнение. Первый — это позиция, занятая вице-губернатором штата, крупным старым дельцом, любимцем консервативных кругов. Правда, некоторые не очень-то считаются с вице-губернатором, рассматривая его

пост как более или менее почетный, и только. Но представьте, что дух губернатора расстается с его бренным телом и возносится на небо во славу божью... Кто тогда занимает место губернатора, кто начинает издавать и отменять приказы, распоряжаться служебными постами и казначейскими средствами?

Избранный оппозицией, вице-губернатор мало интересовался общественными делами и важными проблемами, избегая разногласий с губернатором. К тому же его тесные связи с коммерческими кругами, где он был видной фигурой, позволяли думать, что он разделяет официальную позицию правительства, выражавшуюся в «лишении захватчиков воды и хлеба», как сказал начальник полиции, сеньор Албукерке, в своем интервью, о котором мы еще расскажем. Каково же было всеобщее изумление, когда канцелярия его превосходительства вице-губернатора опубликовала ноту солидарности с жителями Мата-Гато. Нота, конечно, не одобряла вторжения, наоборот, в ней критиковался ошибочный метод, с помощью которого бедняки хотели разрешить мучительную и острую проблему жилья. А что проблема эта существует, отрицать было невозможно, она-то и явилась причиной захвата участков командора Переса, и значит, дело должно рассматриваться и решаться в совокупности всех вопросов. Придя к таким выводам, вице-губернатор выразил свою солидарность с жителями Мата-Гато и понимание их позиции. Захватчики, говорилось в ноте, не должны считаться преступниками, поскольку не являются таковыми. Они достойны уважения, с которым относятся к мятежникам, хотя их действия не подчиняются обычной логике и здравому смыслу. Однако не вторжение является главной проблемой (возможно, именно поэтому здесь вице-губернатор не предлагал никакого решения), а отсутствие жилья. И для этой важнейшей социальной проблемы, угрожающей нормальной жизни города, он предложил справедливое решение. Правительству следует изучить вопрос о скорейшем строительстве дешевых и комфортабельных домов для трудящихся — ведь пустующих земель на окраинах сколько угодно, хороших специалистов тоже достаточно. Работать на стройках могут будущие обитатели этих домов. В ноте излагался подробный проект будущего строительства, заслуживший всеобщую похвалу, в нем чувствовался ум государственного деятеля и руководителя. Очень многие убежденно заявили: «Был бы он губернатором, и все наши вопросы были бы решены». Нашлись, разумеется, и вечно недовольные злопыхатели, намекавшие на какие-то махинации, которые будто бы крылись за проектом вице-губернатора. А кому, спрашивали они, принадлежит крупная строительная фирма, специализирующаяся на постройке фабрик и рабочих поселков? Что ж, вице-губернатор действительно осуществлял контроль над этой фирмой, но нечестно приписывать ему столь низменные намерения, когда он печется лишь о благе общества. Заканчивалась нота выражением солидарности с захватчиками холма и заверением в том, что сердце вице-губернатора бьется в унисон с сердцами этих простых людей.

Тем временем в ассамблее штата депутаты правительственного большинства наседали на Рамоса да Кунью, резко критикуя его проект отчуждения земель. Никогда будто бы не существовало более демагогического проекта, и как вообще можно пойти на отчуждение земель, захваченных народом? Представляете себе, что получится? Если депутаты создадут прецедент, хотя бы один-единственный, то потом, пока не кончится срок их полномочий, они только и будут заниматься тем, что утверждать проекты отчуждения земель. Ведь бездомные бродяги и всякие мошенники тут же начнут строить себе дома на пустующих землях. Пройдет немного времени, и лачуги появятся у маяка в бухте и возле статуи Христа на набережной порта. Какой ужас! Желая показать себя

преданным другом народа, лидер оппозиции забыл о здравом смысле и представил проект, преследующий единственную цель — популяризировать имя его автора, известного, быть может, в Бурити-да-Серра и среди избирателей глухого сертана, но не в столице штата. А именно известности и ничего больше хотел добиться автор своим проектом.

Рамос да Кунья снова возвращался на трибуну и снова отстаивал свой проект. Он демагогичен? Тогда почему правительство не представит лучший, который сможет разрешить проблему? Он с удовольствием поддержит такой проект. Правительственная фракция может осыпать его оскорблениями, высмеивать его, пытаться поссорить с народом, но этим она ничего не добьется. Честные труженики, вынужденные из-за своей нищеты строить дома на холме Мата-Гато, знают, на кого они могут положиться, знают, кто их друзья и кто враги. Он, Рамос да Кунья,— друг им. Многие ли из его политических противников найдут в себе смелость утверждать то же самое? Суровые критики его проекта — наверняка нет. А может быть, они хотят получить на выборах поддержку крупных землевладельцев или даже угодить некоторым иностранным колониям? И если он, Рамос да Кунья, стремится, по утверждению его противников, завоевать расположение народа, то они, которых большинство, стараются выслужиться перед отечественными и иностранными магнатами...

— Да разве можно называть трудящимися эту шайку разбойников, обосновавшихся на холме? — это вышел на трибуну другой депутат и стал поносить Рамоса да Кунью, а также жителей Мата-Гато, называя их сборищем воров, профессиональных шулеров, нищих, проституток, бродяг и подонков.

Разумеется, на холме можно было встретить людей, не очень любящих работать, но было бы преувеличением считать лентяями всех жителей. Там поселились каменщики, кузнецы, плотники, вагоновожатые, возчики, электромонтеры, ремесленники. На каком же основании сеньор депутат называет их подонками? Какая бы профессия ни была у трудящегося человека, он достоин уважения. Разве легок труд проститутки? Может быть, он и не очень почетен, но большинство женщин не выбирают эту профессию по доброй воле, их толкает на это жизнь. А что касается виртуозной работы Мартина, то она не только тяжела, но и настолько красива, что ею можно любоваться. Многие ли из господ депутатов, даже из тех, у кого самый тонкий нюх и самая легкая рука, смогли бы сдавать карты или бросать кости с таким высоким мастерством, как Мартин? Поэтому, как мы уже сказали, мы не будем становиться на чью-либо сторону или обвинять кого-нибудь, мы просто хотим рассказать о вторжении на холм Мата-Гато, которое послужило фоном для любовных историй (являющихся нашей главной темой) Мартина и Оталии, Курио и знаменитой гадалки мадам Беатрис. Но признаемся, нам нелегко хранить молчание, когда какой-нибудь депутат, без сомнения, занимающийся темными махинациями, грабящий казну и живущий за наш счет, поносит честных граждан и уважаемых гражданок. Лучше бы эти депутаты на себя посмотрели.

Вот какие бурные дебаты развернулись в ассамблее во время обсуждения вопроса о холме Мата-Гато. Проект Рамоса да Куньи, похоже, был окончательно похоронен, и отношения между депутатами настолько обострились, что дело уже доходило до угроз.

В частности, журналист Жако Галуб выступил на страницах «Газета до Салвадор» с заявлением, будто бы ему угрожает полиция и жизнь его в опасности. Агенты и комиссар Шико Ничтожество на всех углах изрыгали ругательства по его адресу, не скрывая своей решимости «проучить» журналиста. И Жако, поддержанный профсоюзом журналистов, возлагал ответственность на начальника полиции, сеньора Албу-

керке, в случае, если с ним что-нибудь случится. «У меня жена и трое детей,— писал он.— Если я подвергнусь нападению со стороны Шико Ничтожества или других полицейских, то буду действовать, как мужчина. Если же я останусь лежать, сраженный врагами народа, начальник полиции штата, сеньор Албукерке, будет виновен в том, что дети мои останутся сиротами, а жена вдовой».

Начальник полиции созвал журналистов и заявил, что Жако Галуб может спокойно ходить по городу, полиция на него нападать не станет. Вообще никто из полицейских никогда не угрожал журналисту, лучше пускай остерегается шайки, с которой он связался. Они могут напасть на него, а свалить это на полицию. Эти люди, по его личному мнению и мнению его подчиненных, не достойны «хлеба и воды», а чтобы окончательно изгнать их с Мата-Гато, полиция ждет лишь решения достопочтенного трибунала. Тогда никто не сможет говорить о насилии или превышении власти. С этим сбродом, попирающим закон и моральные устои, скоро будет покончено. Он, сеньор Албукерке, уже ликвидировавший азартные игры и «жого до бишо», окажет городу еще одну важную услугу: пресечет опасную и подозрительную попытку нарушить порядок, конечная цель которой, очевидно,— разложение общества. Смириться с этим бесчинством означало бы создать условия для хаоса, восстания, революции... Революция (трагическая дрожь в голосе и взгляд, полный ужаса) — вот о чем мечтают те, кто стоит за кулисами этих событий, инспирируя захваты чужой собственности, митинги, демонстрации, манифестации и тому подобное.

Итак, для правительственного большинства жители холма Мата-Гато были подонками. А для сеньора Албукерке, трусливого и недалекого бакалавра, который не успел еще воспользоваться преимуществами своего положения, запутавшись с самого начала в переговорах с маклерами, и сейчас пытался выпутаться из этой истории, показывая себя защитником интересов городских землевладельцев,— грозными революционерами. Правда, от этого они не переставали быть бандитами, бродягами и развратниками. Просто кутались в плащ революционной романтики. Сеньор Албукерке так много говорил об этом, что под конец сам убедил себя. Ему уже на каждом углу и в каждом переулке мерещилась революция и большевики с ножом в зубах, готовые выпустить ему кишки. С тех пор минул не один год, свершился не один захват чужих земель, над манговым болотом вырос целый город свайных домов, события на Мата-Гато уже всеми забыты, и только мы вспоминаем о них, потягивая кашасу, но еще и сегодня сеньор Албукерке продолжает страшиться революции. Причем страх его день ото дня растет, а сеньор Албукерке предсказывает, что революция произойдет в самое ближайшее время, если у правительства не хватит здравого смысла призвать его снова руководить полицией. О, если бы он вернулся на этот пост, он не стал бы валять дурака, преследуя «жого до бишо».

Мы не станем тревожить ни муниципального советника Лисио Сантоса, ни директора «Газета до Салвадор» сеньора Айртона Мело, ни других менее известных лиц, поскольку все они заняты важным делом: носятся из конторы Хосе Переса во дворец, из дворца в ассамблею, из ассамблеи в дом вице-губернатора — где подают превосходное виски, из дома вице-губернатора к Отавио Лиме — тот угощает не только виски, но и французским коньяком и итальянским вермутом, ибо умеет и о себе позаботиться и гостей принять. Пусть они занимаются своими тайными переговорами — мы не будем говорить об этом только потому, что переговоры в данный момент не освещаются на страницах газет или на заседаниях палаты,— не будем подвергать сомнению их решимость защищать жителей холма и сомневаться в том, что они подлинные друзья народа!

И командор Хосе Перес тоже? А почему бы нет? Если мы углубимся в биографию этого выдающегося столпа частной собственности, то убедимся, что в свое время он оказывал обществу различные услуги — факт, нашедший отражение в печати,— и некоторые из них были значительными... Разве не он внес крупную сумму на сооружение церкви св. Габриэла на Дороге Свободы, густо населенной рабочими, ремесленниками, торговцами и прочим бедным людом? В квартале ведь еще не было церкви, в которой ощущалась такая нужда, ибо до щедрого пожертвования командора здесь процветали секты спиритов и язычников. Пепе Два Фунта, который нынче держит в этом квартале и его окрестностях пять пекарен, сунул руку в карман, вытащил деньги и помог верующим беднякам. Какие еще услуги он оказал обществу? А разве не довольно сооружения церкви? Впрочем, он еще помогал своими пожертвованиями испанским миссионерам в Китае и обращению в христианскую веру диких африканских племен. Неужели мы лишены гуманной солидарности и можем оставаться бесчувственными к страданиям язычников на других континентах?

13

А как жители холма Мата-Гато, эти пресловутые захватчики, ставшие центром всеобщего внимания? Что поделывают они, как реагируют на весь этот шум? Не забыли ли мы о них, уделяя слишком много внимания командорам, депутатам, журналистам, политическим деятелям и коммерсантам? Может быть, мы против воли поддались тщеславию, вступив в близкие отношения с известными людьми, имена которых мелькают на столбцах светской хроники? Кто же в конце концов наши герои? Разве не захватчики земель командора — негр Массу и Курчавый, дона Фило и Дагмар, Миро и старый Жезуино Бешеный Петух, а также многие другие? Разве не они подлинные герои нашей истории? Так почему же они забыты, когда столько страниц посвящается депутату Рамосу да Кунье, муниципальному советнику Лисио Сантосу и прочим политическим ловкачам и продажным журналистам? Хотите знать, чем объясняется это?

Мы не говорим о них потому, что нам нечего рассказать; на холме не происходило никаких событий, которые могли бы представить интерес. К тому же эти люди меньше всего были склонны к рассуждениям и разглагольствованиям. Они просто жили в своих лачугах — и все тут. Жили без каких-либо высоких стремлений, без волнений, без показного героизма. Кто-то решал их прогнать с холма, а кто-то их защищал; кто-то называл бандитами, подонками, бунтовщиками, а кто-то — достойными, добрыми людьми, терпящими гнет и унижение (в зависимости от направления газеты и взглядов комментаторов), и они добились главного: сумели жить, когда все было против них. Как говорил Жезуино, бедняк, который умудряется жить в этой нищете и лишениях, борясь с болезнями и нуждой, в условиях, подходящих разве что для смерти, делает огромное дело, хотя бы потому, что не умирает. Да, они живут, эти упрямые люди, и не дают себя уничтожить. Свою закалку против нищеты, голода, болезней они получили давно, еще на рабовладельческих судах, а в рабстве достигли невероятной выносливости.

Жизнь мало радовала их, но жили они весело. Чем хуже шли дела, тем больше они смеялись, играли на гитарах и гармониках, пели, и песни эти разносились по холму Мата-Гато, Дороге Свободы, Ретиро, по всем бедным районам Баии. Они смеялись над своей бедностью и продолжали жить. Детишки, если не умирали в грудном возрасте по воле божьей либо из-за болезней, голода, недосмотра, то получали воспита-

ние в трудной и веселой школе жизни, наследуя от родителей выносливость и способность смеяться в любых обстоятельствах. Они не сдавались, не гнулись под ударами судьбы, гонимые и презираемые. Наоборот! Они сопротивлялись, смело шли навстречу трудностям, не боялись голода и холода. Их жизнь была полна смеха, музыки и человеческого тепла, они никогда не теряли своей приветливости, этого ценного качества всех баиянцев.

Таковы эти обыкновенные, привыкшие к лишениям люди, таковы мы, простые бразильцы,— народ веселый и упорный. Не то что вялые и апатичные представители высшего общества, от скуки занимающиеся психоанализом, страдающие комплексами Эдипа и Электры, считающие, что быть гомосексуалистом или заниматься другими подобными безобразиями изысканно.

А вот жители холма не стали страдать бессонницей от шумихи, которая поднялась вокруг них. Когда полиция появилась в первый раз и сожгла их лачуги, некоторые хотели было уйти с Мата-Гато, поискать себе другое место. Однако Жезуино Бешеный Петух, из-за своей мудрости пользующийся большим уважением, заявил: «Отстроим лачуги заново». Так они и сделали. Сопротивляться и жить — такова была формула их существования. Они последовали совету Жезуино, потому что верили ему. Старик всегда решал правильно.

Люди все приходили, строились новые лачуги. Полиция еще раз появилась на холме, Жезуино и мальчишки вырыли, как бы играя, окопы, запаслись камнями, подкопали скалы, чтобы их легче было обвалить. Полиция отступила, это было забавно, и они смеялись и торжествовали.

Постепенно весь город оказался вовлеченным в это дело, вокруг него велись нескончаемые споры, полиция стала преследовать жителей холма, бросая в тюрьму невинных людей, избивая их; газеты подняли шум, затем последовал законопроект Рамоса да Куньи, иск Хосе Переса и еще черт знает что. А они жили по-прежнему. Если бы полиция попыталась опять напасть на них, они оказали бы сопротивление. Жезуино снова принял на себя командование мальчишками, они проложили тропу через манговое болото, приготовились еще раз сразиться с агентами и судьями апелляционного трибунала.

Люди строили лачуги, они были упрямы и оставались в них, несмотря на все угрозы. И никто не пытался покончить с собой, если не считать негритянки Женовевы, которая облила керосином платье и подожгла его, но виновата тут была любовь: мулат Сириако, игравший на кавакиньо, бросил ее ради другой. Нужно было жить, не падать духом, не предаваться отчаянию. Они смеялись и пели; в одной из лачуг по субботам и воскресеньям устраивались многолюдные балы, по вечерам смотрели капоэйру, поклонялись своим божествам, выполняли религиозные обряды. Они жили и любили. Курчавый грозился перерезать горло Лидио, красавчику с внешностью киноактера, если тот посмеет еще раз подмигнуть Дагмар.

Жасинто, парень довольно пустой, но с претензиями, о котором мы уже упоминали, тоже построил себе лачугу на Мата-Гато и поселился в ней с Марией Жозе, девушкой нестрогого нрава. Но очень скоро произошел скандал, так как Мария Жозе, вызвавшись помогать Вевеве присматривать за ребенком, спуталась с Массу. Негр не мог спускаться с холма, поскольку его внизу поджидали агенты. Лишенный возможности свободно разгуливать, видеться с приятелями, бывать в барах, тавернах, доках, Массу напоминал зверя в клетке. Именно поэтому утешение Марии Жозе пришлось как нельзя кстати. Однако Жасинто нарушил их лирический дуэт. Вместо того чтобы возгордиться успехом своей подруги, которой удалось пролить бальзам на страждущее сердце Массу, видного человека, кума Огуна, он вошел в раж, выпил несколько

стопок кашасы, схватил нож и явился требовать сатисфакции. Негру Массу, хотя и умиротворенному ласками Марии Жозе, подобная шутка не понравилась, он не любил, когда на него орали. Этот грубиян Жасинто дурно обращался с девушкой и еще, видите ли, пришел ругаться с Массу — соседи были возмущены. Негр поволок Жасинто к широкой тропе, наиболее удобной для спуска, дал ему пинок под зад и посоветовал больше не возвращаться, а при разделе имущества — оставить лачугу Марии Жозе. Тем более что Жасинто получил рога довольно крупного размера.

Однако через несколько дней, когда на холме появилась Оталия, Жасинто вернулся. К Оталии он уже давно был неравнодушен, с того самого времени, как она приехала в Баию, а еще точнее — с того самого вечера, когда Гвоздика, пошутив, спрятал ее вещи. Ему ни разу не довелось лечь в ее постель, потому что не было подходящего случая, как думал он. Он издали следил за перипетиями флирта Оталии и Мартина, о чем было столько разговоров в порту и на вечеринках. Жасинто, не обладающему большим воображением и не склонному к романтизму, эта платоническая идиллия казалась смешной. Не станет же он верить подобным басням! Ведь он хорошо знает Мартина и даже стремится подражать ему в отношениях с женщинами: держаться высокомерно и позволять любить себя, не давая им воли. Этой басне, которую он слышал повсюду, будто бы Капрал помирает от любви и гуляет, держась за пальчик возлюбленной, Жасинто ни на йоту не верил. Хотя понимал, что Оталия ему не достанется, пока не надоест Мартину и тот не бросит ее.

И вот ему неожиданно повезло. Правда, Мартин не бросил Оталию, но его стала преследовать полиция, и он исчез куда-то. Во всяком случае, Жасинто не удалось узнать это, хотя он и расспрашивал всех знакомых. Жасинто не хотел лезть к Оталии, если Капрал где-то поблизости — Мартин не из тех, которые готовы принять в долю незваного компаньона. Но когда Оталия, чтобы поправить здоровье, на время поселилась в домике Тиберии, Жасинто снова стал появляться на холме, всегда при галстуке, держался он подчеркнуто вежливо.

Тиберия и Жезус построили этот домик, чтобы поселиться в нем, когда они состарятся и не смогут работать. Пока же они иногда отдыхали там сами, или посылали отдохнуть девушек из заведения, либо прятали их от какого-нибудь скандалиста, надоевшего любовника или назойливого поклонника. Только для этих целей служил сейчас домик Тиберии — впрочем, после случая с Оталией она настолько огорчилась, что хотела даже продать его чуть ли не даром.

Как только Мартин был вынужден исчезнуть, а известил об этом всех друзей и знакомых Жезуино,— здоровье Оталии пошатнулось. Ее болезнь нельзя было ни вылечить, ни объяснить: она чувствовала слабость в ногах и во всем теле, глаза стали тусклыми; Оталия могла лежать целыми днями, ничем не интересуясь. Не хотела видеть своих постоянных клиентов, даже таких шедрых и почтенных, как сеньор Агналдо, хозяин аптеки в Террейро-де-Жезус, неизменно приходивший к ней каждую среду вечером. А между тем сеньор Агналдо не только хорошо платил, но всегда приносил какой-нибудь подарок — коробочку таблеток от кашля, флакон сиропа, кусок мыла. Оталия дала отставку также старому Милитану из нотариальной конторы, богатому филантропу; доктору Мисаэлу Невесу, стоматологу, имевшему кабинет на Соборной площади, и многим другим случайным клиентам; она не принимала никого. Девушка никуда не выходила, с трудом заставляя себя спускаться в столовую, где едва притрагивалась к еде. Она лежала в постели со своей куклой, устремив глаза в потолок, бледная, без кровинки в лице.

Тиберия всполошилась. Недаром девушки звали ее Мамочкой, она и вправду заботилась о них, как о дочерях. Но ни к одной из них она так не привязалась, ни одну из них так не любила, как маленькую Оталию, совсем еще девочку, такую наивную и бесхитростную и уже обреченную заниматься ремеслом проститутки.

Старый Батиста, ее отец, владелец небольшой плантации близ Бонфима, был строгих правил и, когда узнал о том, что сын судьи лишил его дочь невинности, то, озверев, схватил палку и избил бедняжку до полусмерти. А затем заявил, что не желает держать в своем доме потаскуху. Оталия отправилась к сестре, которая уже два года занималась проституцией, но попала в публичный дом не из отчего дома. Сначала она вышла замуж, муж ее бросил, уехал на юг, и тогда ей пришлось торговать собой, чтобы как-то прожить. А вот Оталия шагнула на панель прямо из-под отцовской крыши: старый Батиста, взбешенный тем, что его красивая, как картинка, пятнадцатилетняя дочь лишена невинности и годна теперь только на то, чтобы стать шлюхой, выгнал ее.

Многое из этого Капрал узнал лишь потом из уст Тиберии, женщины почтенной, лучшей в Баии хозяйки публичного дома. Не подумайте, что мы хвалим Тиберию из дружеских или родственных чувств. Кто же не знает Тиберии и не восхищается ее достоинствами? Трудно найти более известную и уважаемую сеньору; в ее заведении все жили одной семьей, а не каждый для себя — Мамочка никогда бы этого не потерпела. Единой семьей, в которой Оталия была младшей дочкой, балованой и кокетливой.

Когда сын судьи, красивый студент, обесчестил Оталию, ей не исполнилось и пятнадцати лет, но грудь и фигура у нее были как у сформировавшейся женщины; все же женщиной она была только внешне, оставаясь в душе девочкой. Даже в заведении она продолжала играть в куклы, шила им платья, укладывала их спать и мечтала о том, как обручится с Мартином, станет его женой. Такова была Оталия.

Студент впервые увидел ее на улочке, где она жила, и после этого несколько раз приходил туда. Он угощал ее глазированными фруктами и однажды сказал: «Ты уже созрела для замужества, девочка. Хочешь, я буду твоим мужем?» Ей хотелось, правда, чтобы сначала состоялась помолвка, это было бы так красиво, но все же она дала свое согласие и только попросила подарить ей фату и флёрдоранж. Бедняжка не знала, что молодой человек выражается иносказательно, что среди интеллигентных, светских людей это означало попросту лишить девушку невинности на берегу реки. Вот почему Оталия и по сей день ждет фату и флёрдоранж, а пока получила побои старого Батисты и оказалась выгнанной на улицу. Что ей оставалось еще, как не отправиться по пути своей сестры Терезы, ставшей на редкость раздражительной и злобной?

И все же Оталии удалось каким-то чудом сохранить душу невинного ребенка, не знающего никакой мерзости; она мечтала лишь о почтительных ухаживаниях Капрала, о прогулках с ним рука об руку, пока не настанет день помолвки.

Но Капрал исчез, преследуемый полицией, а также потому, что ему надоело это платоническое ухаживание. Он не знал ее истории и считал Оталию не совсем нормальной: ну где это видано, чтобы проститутка влюблялась, мечтала об обручальном кольце и венчании, прежде чем лечь с мужчиной и отдаться ему?! Итак, в силу этих двух причин Мартин снялся с якоря и, чтобы вернее обезопасить себя, сменил имя и произвел себя в сержанты. А Оталия, когда узнала об его исчезновении, совсем пала духом, слегла в постель и с каждым днем слабела все больше. Тиберия сочла за лучшее на время удалить ее из заведения и посе-

лить в домике на холме, где жили ее друзья — негр Массу, Курио, у которого сейчас был роман с крашеной блондинкой-ясновидящей, не говоря уже о Жезуино, который не имел ни кола, ни двора, однако, взяв на себя обязанности главнокомандующего, руководил обороной и нападением, что весьма развлекало его.

А Жасинто, как только узнал, что Оталия появилась на холме, тут же пришел в надежде завоевать ее любовь своей самоуверенностью и красотой. Но девушка, казалось, ни на кого не обращала внимания, поглощенная игрой в куклы и воспоминаниями о своем возлюбленном Мартине, с которым она должна была обручиться, а потом обвенчаться. Оталия не выходила из дома и целыми днями лежала на топчане, ничем не интересуясь, и только когда сынишка негра Массу приходил поиграть около нее, она ласкала его и улыбалась. С Оталии хватило бы и того, если б она вышла замуж, а о таком счастье, как иметь ребенка, она и мечтать не смела.

Что ж вам еще рассказать о жителях холма? В общем, они живут, а это уже немало, если ты беден и полиция угрожает поджечь твой домишко. Живут, как могут, не придавая большого значения шумихе, поднятой политиками, журналистами и прочими видными людьми. Живут и ладят друг с другом.

Итак, ничего особенного на холме не случалось, впрочем, пожалуй, стоит упомянуть об одном событии. Уже некоторое время, быть может, из-за различного рода осложнений население Мата-Гато перестало увеличиваться, новые дома перестали строиться. Одной из причин тому была нехватка воды: колодец, вырытый жителями холма, не мог удовлетворить потребности даже уже поселившихся на Мата-Гато; то же было и с электричеством — тусклый свет устраивал только влюбленных. Однако к концу бурной недели, прошедшей между двумя заседаниями трибунала, на Мата-Гато появились каменщики и плотники с лопатами, отвесами, пилами и принялись строить. Грузовики управления коммунального обслуживания подвозили к подножию холма мешки с цементом, кирпичи и черепицу. Очень быстро были построены изящные, совершенно одинаковые домики, побеленные снаружи и внутри, с нарядными голубыми дверями и рамами. Никто не знал ни владельцев этих домиков, ни производителя работ — молчаливого человека, который если и мог раскрыть тайну, то не желал никому об этом сообщать. Но ведь должен же быть у этих домов хозяин! Посматривая на грузовики, Ветрогон высказал предположение, что домики принадлежат государству и, наверно, в них будут жить семьи чиновников. А может быть, поселятся мулатки. Ветрогон все еще ожидал своих красавиц, заказанных во Франции некоторое время тому назад, но уже опасался, что произошло кораблекрушение или девушек — в общей сложности более четырехсот — по дороге украли...

Ветрогон выдвинул свою версию, главным образом, чтобы удовлетворить любопытство Жезуино, которому не терпелось узнать, кто хозяин новых построек. Неугомонный старик вместе с Миро и другими мальчишками снова готовился как следует встретить полицию, когда трибунал вынесет решение. Он с недоверием поглядывал на эти дома, которые были совсем как настоящие, покачивал головой, однако не прекращал своих приготовлений на случай внезапной атаки. «Холм Мата-Гато будет защищаться до последнего человека,— писал Жако Галуб, возлагая ответственность за все, что может случиться, на правительство.— У губернатора еще есть время сменить начальника полиции и удовлетворить требования народа». А Жезуино размышлял, расхаживая в своей странной шляпе. Он знал, что белые люди там, внизу, белые, то есть богатые, ибо они совсем не всегда были белыми, в конце концов договорятся между собой, и тогда начнется потеха. Они ведь все важные

персоны, а важные персоны всегда договариваются друг с другом, ссора между ними не может быть долгой.

И Ветрогон был с ним согласен. После того, как его избили в полиции, он очень хотел помочь Жезуино обратить полицейских в бегство. Бешеный Петух раздобыл бог знает где металлическую каску, вроде той, в которых ходят инженеры, и напялил ее, однако его седые растрепанные волосы выбивались со всех сторон, и это не позволяло ему принять воинственный вид; он скорее напоминал поэта.

Легкий ветерок шевелил листья кокосовых пальм на холме, заселенном упрямыми людьми, которые, несмотря ни на что, продолжали жить, смеяться, петь, работать, плодить детей. Теперь, когда были построены новые дома, Мата-Гато превратился в городской квартал.

— Ведь вот какой мы народ...— говорил Ветрогон.— Не так давно здесь была пустошь да еще рос колючий кустарник, а сейчас настоящий город. Вот мы какие, и этих сукиных сынов прогнали...

Жезуино смеялся своим хриплым от простуды и табака смехом. Ему определенно нравилась вся эта история, и он уже начинал подумывать об участках за Дорогой Свободы. Может быть, кто-нибудь из его приятелей захочет строиться там. Почему бы Ветрогону не сходить вместе с ним посмотреть эти участки?

— А мулатки там есть? Настоящие?

Если есть, он сходит, но жить там не станет. Ветрогон любил одиночество и покой.

14

Начало связи Курио и мадам Беатрис, гадалки, для которой будущее не представляло никаких тайн, совпало с первым заседанием трибунала, созванным для пересмотра иска командора Хосе Переса, или Пепе Два Фунта — старого мошенника, обвешивавшего покупателей, а ныне ставшего столпом общества и блюстителем нравственности, ворующим на электронных весах; второе заседание трибунала, на котором был вынесен решающий приговор, совпало с женитьбой Капрала Мартина на Оталии.

Оталия умерла ранним вечером, когда приговор был вынесен, но его оставалось еще переписать начисто и передать начальнику полиции для исполнения. Тиберия пришла в свой домик на Мата-Гато накануне днем, Жезус же появился к вечеру и тоже остался там. Девушки подошли позднее, когда врач уже сказал, что надежды нет. Вечером, воспользовавшись присутствием Жезуса и тем, что Оталия забылась неспокойным сном, Тиберия отправилась на поиски Жезуино. Старый бродяга спустился в город выпить кашасы, ибо завтра, поскольку трибунал вынес постановление выселить их всех с Мата-Гато, он не сможет покинуть холм. Тиберия без труда нашла Жезуино, так как знала, где он обычно бывает. Она хотела узнать адрес Мартина и послать ему записку.

Поначалу Жезуино с невинным лицом твердил, что ему ничего не известно о Капрале, но когда Тиберия объяснила ему причину своего прихода, рассказал, что Мартин, ставший теперь сержантом Порсиункулой, живет на острове Итапарика, как говорят, с прекрасной мулаткой Алтивой да Консейсан до Эспирито-Санто. Жезуино взялся отправить записку Тиберии и немедленно пошел к Рулевому Мануэлу, чтобы тот выехал на рассвете и привез Мартина. А потом Жезуино возвратился на холм и уже не вспоминал о заседании трибунала, назначенном на вторую половину дня, им овладели горькие мысли. Он так любил бедняжку Оталию, но почему-то умирает она, когда на свете столько стариков и злых людей, смерть которых никого не огорчила бы и по которым никто не стал бы лить слезы. Так почему же умирает именно она, такая

веселая, нежная, грациозная, кокетливая, любящая смех и танцы? Она, которая едва начала жить, когда осталось столько подлецов, заслуживающих смерти! Это было вопиющей несправедливостью, а старый Жезуино Бешеный Петух ненавидел всякую несправедливость.

Сержант Порсиункула получил записку после обеда. Он как раз вернулся из плавучего клуба, который основали в открытом море рыбаки. У этого клуба не было ни помещения, ни казны, единственным его достоянием было несколько карточных колод. Узнав об этом, сержант поспешил примкнуть к любителям-спортсменам, чтобы оказать им квалифицированную помощь.

Возвращаясь в Баию на паруснике Мануэла, он неподвижно стоял у руля, крепко стиснув зубы, его лицо, выражавшее тревогу, походило на застывшую маску. Мартином владело одно желание: поскорее добраться до Баии, взбежать на холм и, взяв руки Оталии в свои, молить ее, чтобы она не умирала. Как-то она его спросила: «Неужели ты не понимаешь?» Тогда он не понимал. Задавая этот вопрос, она смотрела ему в глаза, а он хотел лишь поскорее добиться своего и злился на ее упрямство. Мартин бежал не только от полиции, но и от Оталии, желая забыть ее. На горячей груди Алтивы да Консейсан до Эспирито-Санто сжег он воспоминание о девочке Оталии, о ее невинных поцелуях. Торопясь забыть ее, он наполнял свои дни азартной игрой, а ночи любовью на берегу при свете звезд. Но сейчас он все понял, глаза его открылись, он чувствует, как его сердце сжимается и страх потерять Оталию все растет. Почему не дует ветер, почему так медленно движется парусник?

Когда в сумерках он, наконец, прибыл на холм Мата-Гато, Оталия уже не могла говорить и только искала его глазами. Тиберия передала Капралу просьбу девушки, чувствовавшей приближение смерти: Оталия хотела, чтобы ее похоронили в подвенечном наряде, с фатой и флёрдоранжем. Тиберия знала, что ее жених — Капрал Мартин, с которым она решила обвенчаться в июне.

Безумное желание! Где это видано, чтобы проститутку хоронили в подвенечном наряде?! Но желание это было предсмертным, и его нельзя было не исполнить.

Увидев Мартина, Оталия снова обрела дар речи; еле слышным шепотом она повторила ему свою просьбу: у нее никогда не было праздничного платья, тем более подвенечного. Мартин не знал, как устроить это: во-первых, понадобится много денег, во-вторых, уже вечер и магазины закрыты. Но неужели он не сможет найти выход? Умирающая Оталия ждала, глядя на него. И тогда женщины — девушки из заведения Тиберии, соседки, старые, изможденные проститутки взялись тут же сшить подвенечное платье с фатой и смастерить венок из флёрдоранжа. Быстро собрали деньги на цветы, раздобыли материю, кружева и вышивки, достали туфли, шелковые чулки, даже белые перчатки! И закипела работа.

Даже мадам Беатрис никогда не видела столь роскошного подвенечного платья, с такой изящной фатой, а ведь гадалка не только много путешествовала, но и знала толк в таких вещах. До того, как заняться утешением скорбящих, она держала ателье в Нитерое.

Потом женщины одели невесту, шлейф платья спускался с постели, красиво падая на пол. Комната была полна народу, Тиберия принесла букет и вложила его в руки Оталии. Подушку положили повыше, приподняв больную. Никто никогда не видел невесты красивее, нежнее и счастливее.

Капрал Мартин сел на край кровати и взял руку своей невесты. Замужняя Кларисе со слезами сняла обручальное кольцо и дала его Мартину. Тот медленно одел его на палец Оталии и посмотрел ей в глаза. Оталия улыбалась; никто бы не поверил, что она при смерти, глядя

на ее довольное, озаренное радостью лицо. И тут к жениху и невесте обратилась Тиберия, превратившаяся в священника, одетая, как полагается при венчании, с венцом и всем прочим; она подняла руку, благословляя жениха и невесту. Мартин склонил голову и поцеловал Оталию в губы, едва уловив ее замирающее дыхание.

Оталия попросила всех выйти, в последний раз улыбнувшись счастливой улыбкой, и все тихо вышли, за исключением Мартина, которого она удержала за руку. Оталия с трудом отодвинулась, освобождая для него место рядом с собой. Капрал лег, он не мог говорить,— что он станет делать без Оталии, как сможет жить без нее? Оталия приподняла голову, медленно положила ее на широкую грудь Капрала и закрыла глаза.

За дверью Тиберия разразилась рыданиями, но Оталия продолжала улыбаться.

15

К вечеру следующего дня, когда полицейские машины, которых было столько, будто готовилось генеральное сражение или штурм неприступной крепости, приближались к холму Мата-Гато, по его крутым склонам спускалась похоронная процессия с гробом Оталии. Агенты и полицейские, возглавляемые Шико Ничтожеством и Мигелем Шаруто, были вооружены пулеметами, винтовками, бомбами со слезоточивым газом и охвачены жаждой мести. На этот раз они не отступят — они твердо решили не оставить от поселка камня на камне и до отказа набить свои машины этими бунтарями.

Жезуино Бешеный Петух, стоя на вершине холма, наблюдал за исчезающей вдали похоронной процессией и прибывающими полицейскими отрядами. Он теперь щеголял в каске, заменившей его старую шляпу. Рядом с ним стоял Миро, его адъютант, и ожидал приказаний. Вчера вечером мальчишки наносили груды камней и сейчас расхаживали между ними. Часть из них жила на холме, однако большинство пришло снизу, с самых дальних улиц, собираясь сразиться с полицией из солидарности с обитателями холма. Этой многочисленной и могущественной корпорации без устава и выборного руководства многие побаивались. Одетые в лохмотья беспризорные мальчишки с худыми крысиными мордочками обучались на улицах Баии трудной науке жить и смеяться над нищетой и отчаянием. Это их журналисты, судьи и социологи именовали врагами города.

Похоронная процессия, в которой участвовала Тиберия и ее девушки, шла довольно быстро: женщины провели у гроба минувшую ночь, но никак не могли терять еще одну. Сумерки спускались на море, Оталия совершала свою последнюю прогулку, одетая в подвенечное платье с фатою и цветами флёрдоранжа. Она лежала в гробу вся в белом, и несли ее Капрал Мартин и Жезус, Ветрогон и Курио, Ипсилон и Гвоздика.

Это были первые похороны на холме Мата-Гато, родилось же там за это время четверо малышей — три девочки и один мальчик. Накануне вечером журналист Жако Галуб приходил сюда вместе с этим симпатичным Данте Веронези и сказал, чтобы они не обращали внимания на рычание начальника полиции, дело будет решено к общему удовлетворению: никого с холма не выселят и ни один домик не будет снесен. Почему же тогда появились полицейские? Бешеный Петух и мальчишки, предчувствуя недоброе, заняли свои посты. Один из мальчишек был послан предупредить Жако.

После решения трибунала события стали разворачиваться очень быстро. А как же вели себя люди, занимавшие столь непримиримые

позиции? Ради любви к народу, ради твердой защиты его интересов и требований были преодолены все трудности и разногласия — противники примирились. Это было подлинное торжество патриотизма, объединившего оппозиционную и правительственную группировки, представителей консервативных кругов и народных лидеров; сердца всех их забились, подчиняясь одному ритму: любви к народу. Простите, что мы так часто повторяем эти слова; но если любовь действительно велика, если все преисполнены этой любви и живут ею, мы не видим причины, почему бы не повторять это слово даже в ущерб стилю. В конце концов мы не классики, и не следует требовать от нас чрезмерной чистоты и изысканности языка. Мы просто хотим рассказать свою историю и похвалить того, кто заслуживает похвалы, а чтобы никого не забыть, самое лучшее — хвалить всех без исключения.

Примирение стольких выдающихся людей, разделенных политическими разногласиями, было основной темой всех многочисленных речей, статей и передовых, произнесенных или написанных в заключительной фазе событий на Мата-Гато.

«Наша кампания увенчалась успехом! Народ и «Газета до Салвадор» одержали историческую победу!» — горделиво возвещал крупный заголовок, подкрепленный изображением сирены, созывающей всех и вся. А изображение это появлялось лишь в самых важных случаях, когда публиковались сверхсенсационные новости.

Нашумевший конфликт на холме Мата-Гато разрешен к общему удовлетворению, писала газета, менее чем через двое суток после постановления трибунала, то есть в рекордно короткий срок, какого еще не знала парламентская практика. Воистину любовь к народу творит чудеса. Молодому поколению, зараженному экстремистскими идеями, не мешало бы последовать этому незаурядному примеру патриотизма. Честная журналистика, стоящая на службе народа, победила.

Председатель трибунала, хитрый старикашка, был полностью информирован о ведущихся переговорах, в которых участвовали заинтересованные лица: уважаемый командор Хосе Перес, непримиримый лидер оппозиции Рамос да Кунья, губернатор, вице-губернатор, префект, муниципальные советники, в том числе неутомимый Лисио Сантос, крупный издатель Айртон Мело, а также отважный Жако Галуб, репортерская деятельность которого заслуживала не только похвал, но и вознаграждения. Не говоря уже о видном бизнесмене — очевидно, единственном по-настоящему популярном человеке — Отавио Лиме, присутствие которого на переговорах могло бы показаться странным. Но никто не удивился. Так почему же должны удивляться мы и искать объяснение этому факту? К чему нам проявлять любопытство, если его не проявили столь выдающиеся личности, вовлеченные в это дело? Присутствие Отавио Лимы было воспринято с абсолютным спокойствием — больше того, мы можем утверждать, что именно он определил успех переговоров, ибо при решении этого сложного вопроса губернатор, следуя своим демократическим взглядам, пожелал выслушать самые различные мнения.

Не выслушали лишь обитателей холма, но это и не было нужно. Разве не в их интересах организовывались все эти встречи и собрания? Разве не участвовало в них, и к тому же участвовало активно, столько искренних патриотов, преданных друзей народа? Например, скромный и обаятельный Данте Веронези, уже всеми признанный представитель и вожак жителей Мата-Гато, лучшим подтверждением чему были недавно построенные хорошенькие домики, которые он сдавал внаем. В перерывах между заседаниями Данте бегал на холм и убеждал Жезуино и его друзей в бесполезности их приготовлений. «Эти люди решат все вопросы». Не баррикады, траншеи, камни и бидоны с кипятком он советовал готовить, а флажки, приветственные плакаты, шутихи и фейерверки для

празднования на площадях города. Полиция оцепила холм, однако Данте Веронези бесстрашно пробирался между машинами и пулеметами. По инициативе и за счет молодого лидера был написан плакат со следующим лозунгом:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДАНТЕ ВЕРОНЕЗИ, НАШ КАНДИДАТ!

Как мы видим, конкретно не указывалось, куда именно и от кого он выдвигается. Дело в том, что Данте, вдохновленный успешным ходом событий, начал серьезно подумывать о своем избрании в депутаты ассамблеи штата. Конечно, вернее было бы попытаться стать муниципальным советником, но как знать, может, удастся и депутатом... Словом, так или иначе, а он уже был кандидатом, и дона Фило, у которой Данте согласился крестить младшего сына, занималась агитацией в его пользу.

Итак, председатель трибунала был в курсе всего этого,— разумеется, мы имеем в виду не трогательное единство между Данте и Фило, но беседы и переговоры, имевшие столь важное значение. Председатель был вовсе не дурак, не то что этот наглец Албукерке, занимавший пост начальника полиции, и хорошо понимал ответственность трибунала, а также свою собственную ответственность и свой долг: стоять на страже закона и в особенности конституционной статьи, гарантирующей неприкосновенность частной собственности. А уж улаживать это дело он предоставлял политикам, они знают, как за это взяться, для того и существуют и занимаются своими махинациями. Трибунал же обязан защищать священные права землевладельцев и сурово осудить тех, кто пытался их попрать — захватчиков Мата-Гато. Постановление трибунала являло собой шедевр юриспруденции и хитрости. Правосудие слепо, говорилось в нем, однако к этому избитому изречению было добавлено несколько слов, выражающих сожаление по поводу судьбы таких людей, как несчастная дона Фило, любящая мать многочисленных детей, лишенных крова. Итак, правосудие слепо, и судьи должны быть глухи к голосу сердца. Представители законодательной и исполнительной власти — вот кто обязан заняться решением проблемы, чтобы, не нарушая права собственности, гарантированного конституцией, удовлетворить интересы этих бедняков. Трибунал верит, что бог в своей безграничной мудрости поможет правителям и депутатам найти способ воздействовать на полицию — за невозможностью сделать что-либо иное,— на которую возложено исполнение приговора: выселить захватчиков с холма и возвратить земли их законному владельцу.

Поистине блестящее постановление! Трибунал еще раз напомнил всем, что бдительно охраняет частную собственность, и в то же время намекнул на необходимость решить этот вопрос политически. А значит, любое соглашение, которое будет принято впоследствии, можно будет рассматривать как вытекающее из мудрого постановления трибунала. Председатель отлично знал, что губернатор и депутаты строят козни за спиной правосудия и полиции. Начальник полиции — самонадеянный дурак, но он, председатель трибунала, не даст себя провести: приняв свое хитроумное постановление, трибунал показал, что допускает возможность любого компромиссного решения данного вопроса. Председатель велел виновникам не отправлять постановление в полицию вплоть до его особого распоряжения.

Только тщеславный и чопорный Албукерке мог не заметить явного оживления в полемике вокруг холма Мата-Гато. Никогда его положение не казалось ему столь прочным. Совсем недавно, желая проверить некоторые слухи, просочившиеся в печать, он получил от губернатора еще одно подтверждение полного доверия ему, Албукерке. Его превосходительство сказал, что проблема Мата-Гато совершенно не входит в

компетенцию губернатора, решать это дело обязан трибунал, полиция же должна проследить за исполнением судебного постановления. Сеньор Албукерке вышел из дворца окрыленным. В дверях он столкнулся с Лисио Сантосом и сухо ответил на его панибратское приветствие. Не пользуйся этот мерзавец депутатской неприкосновенностью, он засадил бы его в тюрьму.

Начальник полиции вполне серьезно считал, что, изображая его человеком жестким и волевым, оппозиционные журналисты, сами того не сознавая, оказали ему большую услугу: консервативные круги теперь увидели в нем нужную им фигуру. Пока другие колебались, заискивая перед чернью и желая завоевать лишние голоса, он проявил себя непреклонным защитником землевладельцев. Так кто же теперь может стать лидером тех, кто боится революционных волнений и социализма, о котором, согласно просвещенному мнению сеньора Албукерке, возвестили горны с вершины холма? В критический момент кто лучше и тверже сможет править штатом? Сидя в своем кабинете и ожидая постановления трибунала, сеньор Албукерке уже рисовал себе, как в губернаторском дворце он разносит Отавио Лиму, стоящего перед ним с униженным и покорным видом.

Впрочем, отнюдь не один сеньор Албукерке был удивлен последующим развитием событий. Не подозревали о том, что готовится, и некоторые депутаты, а также министры штата, имеющие обыкновение витать в облаках. К тому же все произошло так быстро, что, например, депутат Полидоро Кастро — бывший сутенер — попал в смешное положение. В студенческие годы он пользовался скандальной славой и не раз оказывался в полиции нравов, а потом удрал в провинцию, женился там на дочери фазендейро * и стал добропорядочным человеком. В столицу штата он вернулся изрядно облысевший, с полномочиями первого заместителя депутата от правительственной партии, чтобы исполнять его обязанности, так как сам депутат, к общему удовольствию, отправился путешествовать по Европе за счет ассамблеи. Кастро мнил себя великим оратором и законопроект Рамоса да Куньи расценил как повод блеснуть своим даром. Он стал самым дотошным и свирепым критиком этого проекта, громил каждый его параграф с навязчивой эрудицией провинциального адвоката и картезианской логикой любителя немолодых французских потаскух, разнося в клочья эту «груду демагогических глупостей нашего пылкого Мирабо из сертана...» Его жара хватило на три длинные речи, оставшиеся без ответа.

На следующий день после решения трибунала он произносил третью речь, упиваясь своей аргументацией, своими цитатами, иногда латинскими, наконец тоном своего голоса; он рассуждал о «мудром уроке, преподанном трибуналом». Как раз в это время лидер правительственного большинства, вернувшийся от губернатора, вошел в зал. Взглянув искоса на оратора, он пошептался с некоторыми депутатами, а затем направился к Рамосу да Кунье, который готовил ответ Полидоро, и они, усевшись в стороне, принялись о чем-то говорить. Полидоро Кастро, весь во власти собственного красноречия, даже не посмотрел на лидера и не заметил, как тот подошел к столу президиума и что-то сказал на ухо председателю. Очнулся от своего опьянения Кастро лишь тогда, когда прозвенел звонок и председатель предупредил:

— Время почтенного депутата истекает...

Не может быть: у него в запасе было два часа, а еще не прошло и часа, председатель ошибся. Нет, ошибается почтенный депутат, его время действительно истекло. Возмущенно повернувшись к председателю, Полидоро бросил взгляд на лидера и понял, что тот собирается сделать

---

* Крупный землевладелец.

какое-то важное сообщение. Для этого ему и понадобилась трибуна. Ну что ж, придется произнести четвертую речь.

— Сейчас заканчиваю, сеньор председатель...

Он пообещал уничтожить своего противника в следующем выступлении. Но Рамос да Кунья почему-то улыбнулся, услышав эту угрозу. А потом даже сел рядом с Кастро, чтобы выслушать лидера большинства, который уже откашливался в наступившей тишине. Разгромленный почти наголову, Рамос да Кунья спокойно поглядывал в потолок; видно, из толстокожих, решил Полидоро.

Лидер правительственного большинства попросил у своих коллег внимания, он прибыл из дворца и будет говорить от имени губернатора, в напряженной тишине слова эти прозвучали особенно внушительно. Он прибыл из дворца, повторил лидер еще раз, наслаждаясь воспоминанием о залах и коридорах, куда он был вхож в любое время, пользуясь правом не согласовывать аудиенцию заранее. Он только что вместе с сеньорами губернатором, вице-губернатором, префектом столицы штата, министром путей сообщения и общественных работ, а также другими представителями власти участвовал в заседании, на котором сложный вопрос о холме Мата-Гато рассматривался в различных аспектах.

Лидер сделал паузу, торжественно подняв руку. Губернатор штата — выдающийся государственный деятель, продолжал он, именно его в высшей степени гуманному вмешательству обязаны мы тем, что не пролилась кровь людей, которые оказались вынужденными захватить Мата-Гато. Теперь же его превосходительство, всегда чутко относящийся к народным нуждам, связан по рукам и не имеет возможности воспрепятствовать действиям полиции, обязанной привести в исполнение решение трибунала. Его превосходительство, этот выдающийся государственный деятель, этот гуманист, депутат не прекращал грубо льстить, опираясь на постановление, в котором исполнительной и законодательной власти рекомендуется найти политическое решение данной проблемы, еще раз доказал свое великодушие, свою объективность и свою любовь к народу. В ассамблее штата, здесь, в этом доме, где неуклонно соблюдаются интересы Закона и Народа, сейчас обсуждается законопроект отчуждения земельных участков Мата-Гато, автором которого является уважаемый лидер оппозиции сеньор Рамос да Кунья; и надо сказать, что талантом и эрудицией этого депутата может гордиться не только оппозиционное меньшинство, но вся ассамблея, весь штат Баия, вся Бразилия (аплодисменты, одобрительные возгласы и голос Рамоса да Куньи: «Это уже слишком, почтенный коллега!»). Так вот, от имени сеньора губернатора он сообщит ассамблее о поддержке правительственной фракцией, то есть большинством депутатов, патриотического проекта уважаемого лидера оппозиции. Когда дело касается интересов народа, депутаты должны забыть о своих разногласиях. Так сказал сеньор губернатор, и лидер правительственного большинства повторил эти замечательные слова. А теперь он, лидер большинства, вручит сеньору председателю ходатайство о немедленном голосовании по данному вопросу, подписанное им и лидером оппозиции. В заключение ему еще раз хотелось бы подчеркнуть: он счастлив быть соратником столь выдающейся личности, как нынешний глава правительства. Его замечательный и великодушный акт может сравниться лишь с актом принцессы Изабел Освободительницы, подписавшей декрет об отмене рабства. Да здравствует сеньор губернатор — наша принцесса Изабел, наш Освободитель! Под бурные овации оратор спустился с трибуны.

Еще не стихли аплодисменты, еще кое-кто обнимал оратора, а проворный Полидоро Кастро вернулся на трибуну, вызвав замешательство среди депутатов. Некоторые подумали, будто главный критик проекта

настолько безрассуден, что готов порвать с правительством и остаться изолированным от большинства и меньшинства.

— Сейчас начнется шумиха...— оживился Мауро Фильо, сидевший на скамье для журналистов.

А на трибуне гремел Полидоро Кастро:

— Сеньор председатель, я хочу первым поздравить достопочтенного сеньора губернатора с историческим, я бы сказал, бессмертным решением, о котором почтенный лидер большинства торжественно сообщил палате. Я подробно проанализировал законопроект коллеги Рамоса да Куньи, талант которого, как утренняя звезда, блистает на небе Отчизны, и если и оспаривал его с этой трибуны, то никогда не пытался умалить его высокие достоинства. Сеньор председатель, я целиком поддерживаю этот проект и пользуюсь случаем выразить свою безоговорочную солидарность с сеньором губернатором.

— С этим Полидоро не так легко справиться. Недаром он ухитрялся добывать деньги у француженок. С ним шутки плохи...— прошептал Мауро Фильо.

Приступили к голосованию. В редакциях газет началась суматоха: журналистам понравился смелый образ лидера большинства, сравнившего губернатора с принцессой Изабел. Некоторые удивились горячей тираде Полидоро Кастро. Но кто мог помешать ему выразить свой патриотический пыл?

Вскоре стало известно, что техники и эксперты министерства путей сообщения и министерства общественных работ совещаются с командором Хосе Пересом, его адвокатами и инженерами. Соглашение относительно цены на земельные участки все еще не было достигнуто. Эксперты указывали на то, что они расположены далеко от города, еще не налажено сообщение, нет коммунальных услуг, а также на то, что спрос на земли этого района невелик. Но командор Хосе Перес, опираясь на планы и проекты, не соглашался со смехотворно низкой ценой, определенной посредниками. Они хотят изображать из себя добряков? Хотят аплодисментов и голосов? Хотят похвал в прессе? Пожалуйста! Но не за его счет, он за это платить не собирается. Как они могут называть столь низкую цену, когда все исследования проведены, расчеты и планы готовы и уже назначена дата начала торгов? А знают ли они, во сколько обошлось ему решение трибунала? Должен же он как-то оправдать свои расходы.

Лисио Сантос так и вился вокруг командора и экспертов, он всегда был там, где пахло деньгами, и от каждой взятки, от каждого тостана, переходившего из одного кармана в другой, получал процент. Он сновал от губернатора к вице-губернатору, от префекта к председателю ассамблеи, от Айртона Мело к Жако Галубу, выполнял поручения Отавио Лимы, поскольку вместе с вопросом о земельных участках на холме решалась судьба «жого до бишо». В это же время формировался единый фронт, который объединял различные партии, оказавшие поддержку правительству. Рамоса да Кунью и Айртона Мело называли как возможных кандидатов на министерские посты и уже поговаривали о новом начальнике полиции.

К концу дня первый тур голосования был закончен. Оба лидера обратились с ходатайством о внеочередном созыве совещания юридической и финансовой комиссий, чтобы тем же вечером проголосовать проект в последней инстанции и на следующий день обнародовать.

Нервничая и уже теряя терпение, сеньор Албукерке ожидал постановления трибунала. Он не понимал, почему оно до сих пор не у него в руках, если вынесено сутки назад. Нерасторопность чиновников или что-нибудь похуже?.. Новости поступали тревожные, и он попытался связаться с губернатором, но его превосходительства не было, и никто

не знал, где его найти. Тогда сеньор Албукерке сам решил ускорить события.

Он приказал оцепить холм. Вооруженные до зубов полицейские, прибыв на машинах, расположатся биваком вокруг Мата-Гато и не дадут никому сойти вниз. Первый, кто спустится, будет задержан и брошен в машину, предназначенную для перевозки арестованных. А едва будет получено постановление трибунала, отряды займут холм и разрушат бараки. Ждать этого придется, самое большее, день. Шико Ничтожество, которому поручалось возглавить эту операцию, спросил, как далеко простираются его полномочия.

— Вы должны действовать с максимальной твердостью. Если они попытаются оказать сопротивление, применяйте силу. Резко пресекайте любую попытку напасть на полицию или деморализовать ее. Я не желаю, чтобы нарушители порядка еще раз посмеялись над нами...

— Будьте покойны, теперь ничего подобного не случится.

Почти у самого холма агенты встретили похоронную процессию. Шико Ничтожество осклабил в улыбке свои гнилые зубы и сказал Мигелу Шаруто, сидевшему рядом с ним в машине:

— Если они начнут дурить, придется им потаскать покойников...

А Мигел Шаруто мечтал засадить Капрала Мартина в тюрьму. И еще было бы здорово набить ему морду!

Он не знал, что Капрал исчез, едва вышел с кладбища. Мартин пожал руку друзьям, поцеловал полное, сразу постаревшее лицо Тиберии. Большой трехмачтовый баркас Милитана ожидал его, готовый поднять паруса. Милитан направлялся в Пенеду, в штат Алагоас, и взял Капрала по просьбе Рулевого Мануэла. Но Мартин уже не был прежним Мартином; в его суровом, окаменевшем лице ничего не осталось от прежней плутоватой веселости. Сухие, не пролившие ни единой слезы глаза утратили свою живость и тепло. Навсегда он расстался со своим званием. Капрал Мартин перестал существовать. Среди пустынного ночного моря одинокий Мартин все еще ощущал голову покойницы у себя на груди, прикосновенье ее шелковистых волос и подвенечной фаты. Как он станет жить без Оталии?

Он приедет в незнакомый город и начнет все сначала. Его руки будут так же ловки, взгляд так же остер, по-прежнему мастерски он будет сдавать карты и метать кости, но лукавство и обаяние никогда не вернутся к нему. Плечи сержанта Порсиункулы согнутся, будто под тяжким бременем, этим бременем, от которого он ни на миг не захочет отдохнуть, станет смерть Оталии. Никогда и никому он не расскажет своей истории, никогда ни с кем не поделится ею, но всегда будет помнить мертвую Оталию, одетую в подвенечный наряд.

16

Данте Веронези свободно поднялся на холм, прошел мимо вооруженных полицейских, мимо наведенных на Мата-Гато пулеметов. Агенты не попытались остановить его и ничего ему не сказали. Но когда Веронези и подрядчик, ведущий строительство новых домов, захотели вернуться в город, их схватили и бросили в машину. Они просидели бы там всю ночь, если бы Мигел Шаруто не узнал Данте и не шепнул что-то на ухо Шико Ничтожеству, а тот решил отвезти его в полицию. Пусть сам начальник решит, что с ним делать.

Жители холма видели сверху, как был арестован их лидер. Вернувшись на боевые позиции, Жезуино послал одного из мальчишек в город сообщить о случившемся Жако Галубу. Мальчишка отправился по недавно проложенной среди болота тропинке, он тихо крался, прячась меж

кустов, и ни один полицейский на свете не мог бы поймать его в топкой болотной грязи. Немного погодя паренек уже бежал по шоссе, а потом прицепился к попутному грузовику.

Но раньше, чем мальчишка вернулся,— он задержался в редакции «Газета до Салвадор», где его сфотографировали и взяли интервью,— на холм поднялся муниципальный советник Лисио Сантос, принесший известие об освобождении Данте Веронези и подрядчика, о которых он будто бы хлопотал, а распоряжение отдал сам губернатор. Он сообщил также, что проект Рамоса да Куньи принят ассамблеей единогласно. Сейчас проект рассматривают юридическая и финансовая комиссии. Завтра они проголосуют, губернатор подпишет закон об отчуждении земель, и жители холма станут хозяевами своих лачуг. Лисио Сантос был счастлив сознанием того, что словом и делом помогал этой победе народа, другом и истинным представителем которого он всегда себя считал.

Все это он взволнованно изложил, стоя на пороге одного из домиков, построенных Данте. На дверях этого домика красовалась следующая надпись:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТНИКА ЛИСИО САНТОСА
И ДАНТЕ ВЕРОНЕЗИ.

Жители холма собрались послушать его, и Лисио сыпал не только туманными фразами в кондорском* вкусе («поэт рабов уже сказал, что земля принадлежит народу, как небо кондору»), но и шутками («а я говорю, что холм принадлежит народу, как кость собаке»). Люди смеялись. Потом советник обрушился на начальника полиции и объявил о его неминуемой отставке, которая, возможно, уже состоялась; Албукерке получил под зад коленкой.

Но Албукерке был еще на посту. Правда, распоряжение губернатора об освобождении Данте Веронези было получено вместе с настоятельным советом действовать против обитателей холма весьма осторожно, и начальник полиции впервые почувствовал, что почва под ним заколебалась. Он велел освободить Веронези из тюрьмы. Ему доложили, что пришел Лисио Сантос, но Албукерке отказался его принять и отправился во дворец. Ему необходимо было повидаться с губернатором и переговорить с ним. Однако дворец был погружен в темноту; после утомительного дня Его превосходительство отправился прогуляться, не сказав, куда пойдет и когда вернется. Начальник полиции немного подождал и решил возвращаться в управление, оставив губернатору записку: он будет всю ночь ждать приказаний в своем кабинете. До двух часов никаких приказаний не последовало, и сонный Албукерке с мрачным видом отправился домой. Но сердце у него было неспокойно. На углу он увидел группу агентов, которые со смехом что-то обсуждали. При его приближении подчиненные замолчали, чтобы приветствовать начальство, все же он уловил конец фразы, произнесенной инспектором Анжело Куайбой:

— ...поговаривают о депутате Мораисе Нето, он как-никак лучше нашего болвана...

Албукерке сел в машину с таким чувством, будто прочел некролог о себе. Так он и не получил ни денег от маклеров, ни признания консервативных кругов. Однако падал он с достоинством. «Я падаю стоя»,— сказал он жене, которая, не ложась спать, ждала его, встревоженная болтовней соседок.

---

* Кондорская школа — литературное течение в Бразилии, возглавлявшееся крупнейшим бразильским поэтом и борцом за освобождение негров от рабства Кастро Алвесом (1847—1871). Для этой школы характерен приподнятый, торжественный стиль.

Как бы то ни было, у него осталось еще доброе имя и репутация неподкупного человека. Но жена, уставшая от этих высокопарных тирад и бесполезного тщеславия, возразила, что падать стоя очень трудно, а неподкупность хоть и добродетель, однако обеда из нее не сваришь. Сеньор Албукерке сел на край постели и закрыл лицо руками.

— А по-твоему, что я должен делать?

— Постарайся хотя бы опередить события и сам подай в отставку.

— Ты думаешь? А если положение изменится и губернатор вдруг решит оставить меня на этом посту? Зачем торопиться?

Жена пожала плечами. Она устала, и ей хотелось спать.

— Если ты не подашь в отставку, то у тебя не останется даже достоинства... Ты лишишься последнего.

— Я подумаю и завтра решу...

На следующее утро его разбудила жена: пришли от губернатора, который просил начальника полиции немедленно явиться. Когда жена сказала об этом Албукерке, он так взглянул на нее, что ей стало жаль своего беднягу мужа, такого самоуверенного и такого недалекого. Уж она-то знала, как никто, истинную цену его бахвальству. Но у него был такой несчастный вид, что она не выдержала и подошла к нему. Сеньор Албукерке опустил голову: это была катастрофа.

— Губернатор хочет тебя видеть.

— В такой час это может означать только одно...

— Не расстраивайся... Как-нибудь проживем... В конце концов ты выполнял свой долг.

Но он знал, что на самом деле думает о нем жена. Не стоило снова заводить разговор о честности, становиться в позу героя, все равно ее не обманешь и ни в чем не убедишь.

— Эта банда одолела меня...

Жена не поняла, говорит ли он о губернаторе и депутатах или о жителях холма. Она помогла ему одеться, сеньор Албукерке все еще носил туго накрахмаленные воротнички.

Губернатор горячо заверил его в своем почтении, выразил благодарность и заявил, что хочет по-прежнему видеть в своем правительстве столь честного и уважаемого человека, но на другом посту. На каком именно, они потом обсудят. А начальником полиции сейчас, когда настало время примирения и взаимных уступок, должен быть человек менее принципиальный и непреклонный, чем сеньор Албукерке. Эта его непреклонность является ценным даром, которым может гордиться не только правительство, но вся баиянская общественность. Сеньор Албукерке всегда будет служить примером для грядущих поколений. Однако у политики свои законы, она не всегда остается честной, прибегает к лавированию, уступкам, соглашательству, иногда даже требует сделок с совестью. А уважаемый друг губернатора не такой человек, он не способен на компромиссы.

Сеньор Албукерке опустил голову: что ему эти похвалы? Он уходит, как и пришел, с чистыми руками, хотя у него были свои планы и, как ему казалось, весьма реальные... Честный, непреклонный, неподкупный болван, размазня. Он смотрел на губернатора, который, любезно улыбаясь, расточал ему похвалы: чистые руки, образец добродетели. Ему хотелось послать губернатора, а также свою честность, непреклонность и неподкупность к чертовой матери.

Он поднялся, застегнул пиджак и склонился перед губернатором:

— Ваше превосходительство, через полчаса вы получите мое прошение об отставке.

Губернатор тоже встал, горячо обнял Албукерке и еще раз, почти искренне, выразил ему свою признательность:

— Спасибо, дорогой...

В прошении об отставке бывший начальник полиции не упомянул ни о «жого до бишо», хотя инспектор Анжело Куйаба, едва он прибыл в управление, поторопился сообщить о скорой отмене запрета на эту игру, согласно достигнутой вчера вечером договоренности между губернатором и Отавио Лимой, ни о событиях на холме Мата-Гато. В тщательно отредактированном документе Албукерке ссылался на пошатнувшееся здоровье, необходимость отдыха и лечения: «Я не раз просил освободить меня от доверенной мне нелегкой работы, однако, не получив отставки, не мог не последовать призыву Вашего превосходительства продолжать службу, хотя это было в ущерб моему здоровью. И все же сейчас...»

Губернатор незамедлительно удовлетворил ходатайство Албукерке и в своем послании не преминул похвально отозваться о бывшем шефе полиции, как о знатоке законов и образце честности. А журналист, которому Албукерке когда-то помог устроиться, готовя передачу последних известий по радио, дал благоприятное для бывшего шефа полиции объяснение отставки, выполнив таким образом долг благодарности. Албукерке, дескать, покинул свой пост, поскольку не хотел впутываться в новый скандал, но с его уходом правительство окончательно погрязнет в игорных страстях и махинациях «жого до бишо».

Весть об отставке начальника полиции достигла Мата-Гато почти в полдень и была встречена с одобрением. Один из мальчишек, исполнявший обязанности связного между осажденными обитателями холма и городом, принес записку от Лисио Сантоса. В ней сообщалось, что начальник полиции снят, законопроект да Куньи одобрен комиссиями и теперь будет обсуждаться на внеочередном пленарном заседании, после чего его наверняка обнародуют. А жители холма пока должны готовиться к всенародной демонстрации в поддержку правительства и митингу перед губернаторским дворцом, о которых их оповестят газеты и радио.

И действительно, утренние газеты призвали население города своим участием в митинге на Муниципальной площади выразить одобрение благородной акции губернатора. В «Газета до Салвадор» был опубликован вдохновенный репортаж Жако Галуба, посвященный ужасам последней осады холма Мата-Гато, проводившейся по распоряжению стервятника Албукерке, там же в трагическом тоне повествовалось об аресте Данте Веронези и воспроизводилось заявление Пика-Пау, доставившего записку от Жезуино, а также фотография этого бойкого и симпатичного мальчишки со спадающими на лоб волосами и окурком во рту. Помимо репортажа, сообщавшего об окончании возмутительного гонения на бедняков, газета поместила передовую статью, подписанную директором Айртоном Мело, который вообще редко ставил свое имя. Но в это утро и он хотел приветствовать великодушный жест сеньора губернатора, своего политического противника. Айртон Мело ценил благородство, даже если его проявлял враг. А Его превосходительством восхищался весь штат. Вот почему Айртон Мело согласился выступить на митинге, который наметили провести после обеда.

Жители холма готовили для демонстрации плакаты, флаги, лозунги, приветствующие губернатора. Мальчишек послали узнать новости, и они спустились с холма, оцепленного полицией, бесшумно, как волки, прокрались через кусты, растущие на болсте, а когда агенты спохватились, были уже далеко на шоссе и просились на попутные грузовики.

Теперь единственной трудностью, которую еще осталось преодолеть, была цена на земли Мата-Гато. Командор Хосе Перес твердо стоял на своем, поэтому кое-кому пришлось вмешаться и устроить встречу губернатора со столпом испанской колонии. Только после этого соглашение было достигнуто. Командор Хосе Перес тоже пожелал облагодетельство-

вать бедняков на холме и сделал незначительную уступку или пошел на большие жертвы — это уж кто как расценит, сообразуясь со своими интересами и вкусами. Эксперты изменили первоначальное заключение. Впрочем, один из них отказался подписать новый документ, находя сделку слишком скандальной. Многие подкормились из этой кастрюли, и уж наверняка Лисио Сантос, по-прежнему отлично настроенный и неутомимый.

А между тем холм Мата-Гато продолжала осаждать полиция, о которой позабыли в суматохе; выполняя распоряжение своего бывшего начальника, она хватала и бросала в машины всех, кто осмеливался спускаться. Три человека уже было арестовано, однако Жако и Лисио обещали освободить их, как только найдут для этого время. А сейчас они были по горло заняты подготовкой к демонстрации, которая обязательно состоится к концу дня; о точном часе жителям холма сообщат позднее.

Жезуино — поскольку надобность в военных играх отпала — руководил теперь подготовкой массовой демонстрации, что забавляло его ничуть не меньше. К тому же Лисио Сантос пообещал выставить кашасы и пива вдоволь, чтобы как следует отметить победу. Бешеный Петух, профессию которого никто не знал и который слыл непримиримым врагом всякой работы, собирался теперь стать захватчиком земель, как он со смехом заявил Миро, когда они мастерили картонные на длинных рейках плакаты. Жезуино уже замышлял новое вторжение: на земли за Дорогой Свободы, носящие странное название Впадина Турчанки.

В два часа дня в обстановке большого подъема депутаты одобрили окончательную редакцию законопроекта Рамоса да Куньи. Председатель хотел было выделить делегацию, которая отнесет ее губернатору, но Полидоро Кастро предложил пойти во дворец всем депутатам. Подписание декрета было назначено на шесть вечера, так что еще оставалось время для подготовки демонстрации.

Все радиостанции через каждые пять минут призывали власти и население в шесть часов собраться на Муниципальной площади перед дворцом, чтобы присутствовать при историческом акте обнародования принятого ассамблеей закона об отчуждении земель Мата-Гато. В числе ораторов будут лидеры правительственной и оппозиционной фракций, журналист Айртон Мело, муниципальный советник Лисио Сантос и сам губернатор. Для добровольной народной демонстрации были мобилизованы все средства; префектура предоставила в распоряжение горожан свои грузовики.

17

Итак, за массой дел и хлопот: заседаниями во дворце, переговорами, совещаниями, обсуждениями кандидатур на пост начальника полиции и переформированием кабинета совсем забыли о полицейских, в боевой готовности оцепивших холм, и о самих жителях холма. Муниципальная площадь уже была заполнена народом, из автобусов и грузовиков высаживались все новые демонстранты с плакатами и лозунгами; в одном автомобиле прибыли забывшие о разногласиях лидеры правительственной и оппозиционной фракций, прибыли и члены этих фракций, последовавшие их примеру; сеньор префект уже спустился по лестнице муниципалитета, чтобы перейти площадь и присоединиться к губернатору, когда Жако Галуб в одном из залов дворца вдруг вспомнил о людях на холме. С ним был Лисио Сантос.

— А как же те, с холма?

— Э! Надо скорей послать за ними.

Жако вспомнил о мальчишке, сидевшем в редакции в ожидании срочных поручений. «Хоть бы телефон работал». Ему удалось соединиться с редакцией, и несколько минут спустя мальчишка мчался в такси с запоздалым приглашением Жако. Для перевозки жителей холма был предоставлен грузовик, им только надо поскорее спуститься.

И тут вспомнили о полицейских. Отправились на поиски нового начальника полиции, вступившего на этот пост всего полчаса назад. Это был один из депутатов ассамблеи, кузен супруги губернатора и друг Отавио Лимы. Таким образом, судьба «жого до бишо» будет теперь решаться в семейном кругу. Новоиспеченный начальник испугался: холм оцеплен? Да, он что-то читал в газетах. Но, по правде говоря, не очень был в курсе дела, поскольку отдыхал в Крус-дас-Алмасе на своей фазенде, когда губернатор срочно вызвал его. Они могут быть спокойны, он примет необходимые меры, впрочем, какие именно, он не знал... Все очень просто, сказали ему. Надо послать туда инспектора или комиссара, чтобы полицейские вернулись в управление. По распоряжению этого болвана Албукерке они уже более суток осаждают холм, питаясь одними бутербродами, которые запивают кипятком. Агенты уже начинали роптать.

Хотя это, пожалуй, слишком сильно сказано, просто им страшно надоело сидеть там, и полуголодные, невыспавшиеся, искусанные москитами, они были злы. Полицейские все еще ничего не знали о готовящемся празднестве и, томясь от скуки, мечтали, чтобы кто-нибудь из этих негодяев спустился, а уж они тогда набросятся на него и изобьют. Накануне, правда, удалось схватить троих, они до сих пор сидят в душной машине, изнывая от голода и жажды. Шико Ничтожество ходил вокруг холма, задыхаясь от ненависти, а Мигела Шаруто все еще не оставляла мысль поймать Капрала Мартина и проучить его.

В это время на холме появилась толпа. Шико Ничтожество показалось, будто у людей какой-то угрожающий вид, вооружены они палками и камнями, а впереди с дубиной в руке идет Жезуино Бешеный Петух. На самом деле жители холма шли к грузовику, который должен был отвезти их на Муниципальную площадь. Жезуино же нес свернутый плакат.

Мальчишка, посланный Жако, вышел из такси, не доехав до холма, пробрался через болото, незаметно поднялся на Мата-Гато и передал поручение журналиста и Лисио. Жезуино сейчас же собрал людей, которые, взяв лозунги и плакаты, последовали за Бешеным Петухом, снова одевшим свою устрашающую каску.

— Они собираются напасть на нас...— Мигел Шаруто указал на спускавшихся людей.

Тогда Шико Ничтожество выхватил револьвер и напомнил полицейским о распоряжении Албукерке. Сейчас они рассчитаются с ними за прошлое поражение, за москитов, за жару, за плохую еду и грязную, теплую воду. Они вознаградят себя за все.

Жители холма исчезли за поворотом дороги. Но скоро они будут хорошо видны. Шико Ничтожество довольно засмеялся. Мигел Шаруто занял позицию, не оставляя своей мечты поймать эту собаку Мартина.

Фигура Жезуино Бешеного Петуха четко вырисовывалась на красноватом вечернем небе. «Огонь!» — скомандовал Шико Ничтожество, и пулеметная очередь, срезав ветви кустов, пробила грудь Жезуино. Он покачнулся, схватился было за голову, но тут же рухнул и, ударяясь о выступы скалы, упал в болото, которое поглотило его. Остальные отступили на вершину холма. Плакат, который нес Жезуино, остался висеть на скале. «Да здравствуют друзья народа!» — было написано на нем.

Вскоре почти одновременно прибыли автомобиль с инспектором Анжело Куйабой и грузовик для жителей Мата-Гато. Инспектор привез

приказ снять осаду, освободить арестованных, если таковые имеются, и полицейским немедленно возвратиться в управление. Все желающие, добавил он, могут принять участие в демонстрации.

Затем инспектор поинтересовался, как обстояли дела. Шико Ничтожество сообщил, что все шло нормально, арестовали трех человек, когда те пытались спуститься с холма, сейчас он их освободит. Кроме того, как только несколько минут назад местное население попыталось напасть на полицию, он приказал дать пулеметную очередь, чтобы попугать их, и они отступили.

— Раненых не было? А убитых?

— Не было...

Полицейские машины уехали. Кое-кто из жителей холма снова взял лозунги и плакаты. Возглавила колонну дона Фило со своими детьми. Впрочем, двое старших не пошли. Миро спустился к болоту.

Митинг на площади был в разгаре. Речь лидера правительственной фракции имела бурный успех, так как он, снова прибегнув к полюбившемуся сравнению, назвал Его превосходительство принцессой Изабел нашего времени. Не меньший успех имели выступления Айртона Мело и Рамоса да Куньи. А губернатор, подписавший на балконе дворца под аплодисменты собравшихся декрет об отчуждении земель Мата-Гато, не смог удержаться от слез. И со слезами в голосе он начал свою речь, надолго всем запомнившуюся. В соседнем окне, посасывая ароматную сигару, улыбался Отавио Лима, довольный энтузиазмом толпы, в которой было немало его знакомых и подчиненных, снова получивших возможность свободно заниматься своим ремеслом. Дисциплинированные люди, все пришли как один.

Что же касается волнующей сцены, когда губернатор, глава штата и отец бедняков, обнял дону Фило, пробравшуюся на балкон со своими детьми, то описать ее и увековечить было бы под силу только Камоэнсу.

Праздник продолжался до глубокой ночи, Отавио велел угощать народ пивом и кашасой, а на подмостках, сооруженных на Соборной площади, были устроены танцы.

Ночь стояла темная, безлунная, небо было затянуто облаками, душный воздух предвещал грозу. Мальчишки во главе с Миро длинными палками искали в вонючем болоте тело Жезуино Бешеного Петуха. Им помогали Ветрогон, Курио, Ипсилон, Гвоздика и еще кое-кто. Искали всю ночь, но так и не нашли. Грязь поглотила Жезуино, и при слабом свете коптилок не удалось обнаружить даже места, где он упал. Нашли лишь его невероятную каску, в которой он хотел походить на командира, однако из-за непокорных седых волос напоминал поэта.

18

Так всенародной демонстрацией, кончившейся веселым праздником с танцами и выпивкой, завершился захват холма Мата-Гато. Ничего не скажешь, хороший конец, или, как выражается теперешняя молодежь, «happy end». Все остались довольны, все были вознаграждены по заслугам.

Губернатор — горячей народной любовью, вылившейся в никем не подготовленную (по словам Отавио Лимы) и искреннюю демонстрацию. Не говоря уже о поддержке оппозиции, которую он теперь будет кормить из рук и держать на короткой узде. Рамос да Кунья — постом министра сельского хозяйства, Айртон Мело — министра юстиции. Правительство упрочило свое положение, заключив перемирие между фракциями.

Командор Хосе Перес, продав свои земли по очень хорошей цене, подарил внукам, заядлым бунтарям и теоретикам, новый автомобиль;

Лисио Сантос, по своему обыкновению, не упустил случая поживиться, раз уж была такая возможность. Он стал популярным человеком и, судя по всему, скоро будет избран в ассамблею штата. А его друг Данте Веронези — муниципальным советником. Этого выдвинут захватчики чужих земель, ибо, хотя уже нет в живых Жезуино Бешеного Петуха, их становится все больше. И в каждом новом поселке на захваченных землях Данте строит свои дома Жако Галуб, герой холма Мата-Гато, назначен редактором бюллетеня законодательной ассамблеи и, как уже было сказано, удостоен премии за репортажи о событиях на Мата-Гато.

Что же касается обитателей холма, то они упрямо продолжают жить, как жили, несмотря ни на что. Дона Фило теперь занимается политикой, она возглавляет избирательную кампанию, агитируя за Данте. Умей она читать и писать, сама бы стала депутатом.

А как сеньор Албукерке? Неужели этот неподкупный знаток законов оказался единственным, кто проиграл? Можем сообщить хорошую весть: он также в некоторой степени был вознагражден. В кредитном суде штата открылась вакансия, и хотя претендентов на это место было множество, губернатор вспомнил о бывшем начальнике полиции. Пусть в истории с Мата-Гато, в отличие от друзей народа, он вел себя как отъявленный бандит, было бы несправедливо забыть его, когда все позади.. Оставаясь на высоком посту советника кредитного суда, он ждет, что в один прекрасный день консервативные круги выдвинут его в правительство штата либо снова поручат руководить полицией. Он предпочел бы последнее, поскольку «жого до бишо» продолжало оставаться бельмом на его глазу. Ходили слухи, будто губернатор и его семейство наживаются на выручке с этой азартной игры. Сеньор Албукерке, все еще носивший туго накрахмаленные воротнички, задыхался от возмущения.

Что же еще? Тело Жезуино так и не обнаружили. Находились такие, что вообще не верили в его смерть и уверяли, будто он, сменив имя, как Капрал Мартин, уехал. А через несколько месяцев на праздничном кандомблэ в поселке Ангола появился никому не знакомый кабокло, сразу обративший внимание на Антонию да Асунсанн — необыкновенно красивую мулатку, у которой еще не было святого.

Он объявил, что его зовут Кабокло Бешеный Петух, и начал танцевать. Танцевал Бешеный Петух великолепно и мог не отдыхать целую ночь. Кроме того, он лечил все болезни, решал все трудные вопросы и авторитетно судил о сердечных делах. А еще любил выпить и хорошо говорил.

Без сомнения, это был Жезуино, ибо Кабокло Бешеный Петух ни разу не остановил свой выбор на старой дочери святого. Он выбирал только самых красивых и молодых, нисколько не смущаясь тем, что они могли быть избранницами других кабокло. Если девушка была красива, он танцевал с нею всю ночь. Жезуино Бешеный Петух, маленький бог Баии, стал теперь божеством кабокло.

А. ЗВЕРЕВ

МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

У Жака Бреля есть песенка «Буржуа». В воскресенье по главной улице городка чинно вышагивает «хорошее общество» — стряпчие, дельцы, а в некотором отдалении следует компания студентов, Жан, Пьер и Анри, осыпающие достопочтенных обывателей бранью и насмешками. Проходит тридцать лет. Все тот же городок, все та же главная улица, и в воскресенье направляются по ней преисполненные самомнения мэтр Жан и мэтр Пьер, чтобы выпить кофе у мэтра Анри. И снова им вслед улюлюкают студенты, снова доносится словечко «свиньи» и градом сыплются издевательства. Но Жан и Пьер возмущаются и зовут полицию.

Брель находит точные слова, и его обыватели — совсем не обязательно французы. В США его песенка пришлась бы вполне к месту. Здесь во все времена не было недостатка в разговорах о конфликте отцов и детей и загадочной «мятежной» молодежи. Но по большей части ничего угрожающего в этом конфликте не было. Действительно, молодежи часто не нравилось, как живут отцы, а люди постарше не всегда понимали своих сыновей, но чаще всего так продолжалось недолго, до первого настоящего испытания. А затем все шло своим чередом: на место буржуа старых являлись в избытке буржуа новые, пылкий радикализм забывался, и из нестройной когорты «мятежных» лишь немногие сохраняли бескомпромиссность ранних лет на всю долгую серьезную жизнь.

И все-таки, когда в 1962 году «Лайф» отметил, что «настроения недовольства... захватывают юношей из самых различных социальных прослоек, с разными интересами», это было не просто данью своеобразной традиции. Вопрос о молодежи встал по-настоящему остро. Дело не могло больше ограничиваться сетованиями на угар твиста, цинизм и нравственную распущенность.

Недовольство, о котором с тревогой говорил «Лайф», выявилось еще где-то в середине прошлого десятилетия. Год за годом все средства официального воздействия, от ФБР до начальной школы, направлялись на то, чтобы отучить молодого американца думать, иметь убеждения и руководствоваться своей совестью. В судьбе поколения, юность которого совпала с эпохой кризиса всей американской жизни, как никогда остро проявилась болезнь века. Вот как говорил об этом Джон Стейнбек: «По-моему, основная черта, присущая нынешней американской молодежи,— это какая-то тревога или, скорее, беспокойство, охватившее ее в послевоенные годы. Чем это вызвано? Пожалуй, главное — это отсутствие определенной цели, конкретного дела, к которому можно было бы приложить свои силы, и недостаточная ответственность за свои действия».

Чувство собственной неприкаянности оказалось особенно болезненным у молодых интеллигентов, отдававших себе отчет в том, что происходит с ними и с Америкой. Почти все они уже в школах и колледжах столкнулись с пошлостью и ложью общепринятых установлений. Их не могли удовлетворить телеидеалы воинствующего мещанства и радиофилософия примитивного счастья. Эта молодежь подсказала американской литературе нового героя из числа, по выражению Артура Миллера, «легионов мальчиков и девочек, сбитых с толку, искавших немного человеческой теплоты, надежды в жизни, какого-нибудь символа, в который они могли бы верить и с помощью этой веры восстановить свои разбитые сердца и надломленные души».

Герой пришел в образе подростка, ищущего, разочарованного, по-своему непримиримого, решительного в отрицании и не уверенного в том, чего он хочет,— в образе, созданном Джеромом Д. Сэлинджером. Своеобразно и убедительно рассказал он, каким болезненным бывает первое столкновение с окружающим миром. «В Америке так трудно думать и жить духовной жизнью,— говорит маленький философ Тедди из одноименного сэлинджеровского рассказа.— Если же ты пытаешься это делать, на тебя смотрят, как на урода». Конфликт интеллектуальной молодежи с мещанством во всех его обличьях у Сэлинджера — центральный.

Отказ от путеводителей по жизни и поиски духовной самостоятельности были самой характерной чертой «недовольной» американской молодежи последнего десятилетия. Сэлинджер различил эту особенность раньше других, и молодой герой сегодняшней американской литературы часто чем-то напоминает Холдена Колфилда из романа «Над пропастью во ржи».

Холдену весь действительный мир кажется ложным, порабощающим, оболванивающим. Ведь он не из тех, для кого цель жизни — «гнать деньгу, играть в гольф, бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и ходить этакими франтами». Его стремление «все делать задом наперед» — чисто мальчишеское средство защититься от грязи буржуазных отношений. Холден неисправимый фантазер, потому что только в фантастическом, им самим созданном мире жизнь становится прекрасной.

Он создает одну иллюзию за другой, но иллюзии рушатся, и его в который раз болезненно ранят грубые прикосновения действительности. Ибо замкнувшись в себе, поверив в символы и отвергнув действительность, Холден оказывается обречен на долгую, безысходную драму. Оттого так грустны книги Сэлинджера. Всеобъемлющее отрицание заводило в тупик, и порывы к истинной, радостной жизни оставались бесплодными, пока герой с порога отвергал весь мир как недостойный. США 50-х годов не давали ему возможности найти дело, которому стоило себя посвятить, и драма протестующей молодежи получала выражение в щемящем одиночестве и духовном надрыве, который легко было различить за шумными декларациями вождей «разбитого поколения».

Поворот в изображении молодого героя, намечающийся в самое последнее время, вызван, несомненно, тем новым, что принесли в американскую жизнь 60-е годы. В центре книг о молодежи по-прежнему — вчерашний школьник или студент, который не ладит со взрастившим его миром. Но изменилось содержание конфликта — он начал конкретизироваться. В романах Рота, Брайена, Уэбба герой больше не сознает себя случайным гостем на планете. Тема сопричастности судьбам других людей выдвигается в этих книгах как центральная. Карибский и берлинский кризисы, вьетнамская война, трагедия в Лос-Анжелесе, выстрел в Далласе, многотысячные демонстрации студентов под лозунгом «Мы не нация убийц», митинги молодых борцов за равные гражданские права — все это заставило по-новому оценить кредо индивидуалистического «невмешательства», которое исповедовал герой произведений о молодежи в 50-е годы. Новое поколение все больше ощущает, как велика мера личной ответственности за все, что происходит в Америке. Нарастание гражданского чувства среди молодых американцев — факт, который сейчас едва ли кто-нибудь решится оспаривать.

Один из старейших американских журналов «Атлантик мансли» даже сравнил недавно нынешних студентов с русскими народниками — сравнение, конечно, поверхностное, но красноречиво свидетельствующее о том, что «брожение вообще» отходит на второй план. Попытки преодолеть собственную вознесенность над миром, попытки найти свое место в нем — наиболее примечательные черты нового героя, которого представили молодые романисты последних лет.

Изменение почувствовали даже писатели, раньше подчеркнуто далекие от существенных проблем времени. Журналист Лоуренс Липтон, долгое время живший среди битников, на вопрос «Не лучше ли присоединиться к какой-то партии или подписывать протесты и петиции против испытаний ядерного оружия?» получил в 1959 году характерный ответ: «Есть лишь одна защита против всеобщего разрушения — творчество. И в тот момент, когда упадет атомная бомба, мы будем писать стихи, картины и сочинять музыку». Через два года «родоначальник» битников Джек Керуак сделал в «Книге снов» не менее характерное признание: «А мы, мелкая сошка, копаемся в себе, в ничтожных поисках собственного спасения, когда страшные взрывы сотрясают весь взрослый мир».

Молодой герой американской литературы у Керуака, Сэлинджера, Ральфа Эллисона отказывался принять реальность с ее светлыми и темными сторонами, бежал от нее, бросал ей вызов всем своим поведением; сегодня он делает первые, пусть робкие и неуверенные шаги, осознавая себя не наблюдателем, а участником событий.

■

Книги о молодежи, появившиеся в США за последние годы, привлекают не только заостренностью проблематики, но и тем, что авторы их, как правило, принадлежат к тому же поколению, что и герои, и это сообщает их произведениям особую достоверность. Уэббу, Олдсу, Роту, Брайену, о которых ниже пойдет речь, от двадцати пяти до тридцати лет, и за плечами у них по одной, а у Рота две книги. Все они дебютировали в 60-е годы, и поэтому, несмотря на художественные различия, в их романах есть общность проблем и характеров, своеобразная преемственность. Взятые вместе, они словно фиксируют все более заметные в последнее время перемены в сознании молодой американской интеллигенции. Ощущение кризиса индивидуалистического протеста присутствует у всех этих писателей.

Само название романа Чарльза Уэбба «Выпускник», вышедшего в 1963 году, определяло намерения автора. Уэбб задался целью показать в своей книге все прихотливые формы «бунта» вступающего в жизнь американца против окружающей его действительности. У его юного героя Бена Брэддока самые возвышенные помыслы уживаются с весьма неблаговидными поступками. Однако история Бена не просто повторяет давнюю тему; Уэбб одним из первых попытался наметить в своей книге новый тип героя.

«Выпускник» написан ради центрального характера, все другие персонажи обрисованы бегло и отодвинуты на второй план. В Бене быстро угадываются знакомые «колфилдовские» черты, разве что он чуточку наивнее и веселее смотрит на жизнь. И сюжет Уэбб выстроил как непрекращающееся столкновение патетической бескомпромиссности героя с полной компромиссов жизнью, непорочной романтики с низменной реальностью

Весь роман — цепь неожиданных развязок. Бен не удовлетворен «липовой» жизнью и отправляется «на дорогу, лет на пять — десять», захватив с собой смену белья и семь долларов. «На дороге», однако, его ждут не философствующие бродяги, а воры и гомосексуалисты. Попав в основательную переделку, Бен быстро излечивается от позывов к богемной свободе. Впрочем, неудовлетворенность остается, как и чувство вины перед собой за попусту прожитые годы. Что ни день, Бен выкидывает новое коленце. Но вот, кажется, пришла любовь, а с ней и дело, которому можно себя посвятить,— своя семья и преподавание в школе. Правда, Бен и здесь успел наделать массу глупостей, но искупив свою немалую вину перед Элейн, он избавится, наконец, от укоров совести.

Иллюзорное избавление. Ибо ни замысловатые причуды, которыми Бен ошарашивает своих почтенных родителей, ни смутные мысли о труде, ни чувство нелепости «подобающего» пути, ни любовь не решают преследующего его вопроса о смысле жизни. Его по-человечески жалко, когда он врывается в церковь, где его девушка венчается с нелюбимым человеком, грустно смотреть, как он мечется по равнодушному Лос-Анжелесу, чтобы спасти от добровольного закабаления пусть только одно, зато очень дорогое ему существо. Кажется, хоть это ему удалось: трогается автобус, увозя перепачканного Бена и Элейн в нарядном свадебном платье,— куда? К счастливой жизни в деревенском поселке, где они станут школьными учителями и будут говорить детям о добре, гуманности, любви? Или к знакомой пустоте ненастоящей жизни?

На последней странице книги так и вырисовывается вопросительный знак. Бен недоволен жизнью и собой; его сознание протестует, он ищет выхода, но рисующиеся ему планы наивны. Выход останется ему закрыт, ибо он не преодолел до конца «горизонт одного»; ему еще очень далеко до гражданской зрелости. Перелом в его сознании только начался.

Когда Бену было восемнадцать, его сверстник Барри Дуглас сбежал из школы и отправился лесорубом на Аляску, считая, что «там нет никакой липы и настоящая богема». О судьбе этого подростка, забавного в парадоксальности своих суждений, неудовлетворенного, остро чувствующего собственную духовную неполноценность, рассказал в романе «Нестерпимое солнце» Ли Олдс.

Образный мир этой книги поражает причудливостью — поистине «большая путаница» размышлений и событий. Но она оправданна: разорванное, внешне беспорядочное изложение помогает показать, что душевный мир Барри являет собой полную сумятицу. Мечтательность соседствует у него со скепсисом, и горькая ирония над собой сменяется фантастическими планами. Стиль романа несет в себе характеристику его героя.

Барри неспроста расписывается в книге краеведческого музея Холденом Колфилдом, но между ними есть разница. Барри походя отрицает все на свете, у него нет своей Фиби, а девушка, которую он полюбил, оказалась потаскушкой. Он готов ухватиться за любое дело, да только ничто ему не по душе, все хочется чего-то необыкновенного, увлекательного, а вокруг течет жизнь, где царит стяжательство, жизнь с ее жалкими радостями и огорчениями.

И за «большой путаницей» в романе выступает цементирующая мысль, лучше всего выраженная в словах Барри о том, что «можно понять, почему люди несчастны в Индии — они попросту голодают, но у нас у человека есть все, и он должен быть счастлив... а я несчастен». Несчастен потому, что ему скучно. Было скучно в Сан-Франциско, где родители сделали по мещанским понятиям все, чтобы он не знал тревог. Неуютно и на Аляске, потому что он не научился жить мелочными заботами, а другого здесь не дано. Слышал он, что есть люди, которые за что-то там борются, за что именно он не усвоил, но кажется, за власть. А раз так, для Барри они чужие, ведь он убежден, что все власть имущие — прохвосты. Понятия Барри настолько путаны, что в какую-то секунду юный «бунтарь» доходит до того, что изъявляет готовность покорять мир вместе с Гитлером — все равно из этой затеи ничего не выйдет, но пока жизнь будет не такой уж однообразной. Но не надо принимать это всерьез — Барри тут же самому становится стыдно, это он «так», ради вызова. Ведь он не пойдет и просто солдатом в американскую армию — не по убеждению, а потому что он не желает, чтобы им кто-то командовал. Он не поедет в Париж и не напишет философскую книгу, не останется на Аляске и не вернется домой, потому что и армия, и завоевание мира, и философия, и труд, и деньги — все это «липа», иллюзия цели, но не цель. И поэтому жизнь Барри проходит в сбивчивых мечтах и сомнительных романах, драках, пьянстве до одури, а ведь это очень ранимый мальчик, которому совсем не нравится его невеселое существование. Но мир велик, а за плечами только восемнадцать. Быть может, он найдет выход.

Олдс не щадит своего героя; жизнь Барри безрадостна, но виноват прежде всего он сам. Требуя для себя абсолютной свободы, он отказывается признать со своей стороны какие-нибудь обязательства по отношению к миру. Все на свете рано или поздно внушает ему отвращение; примириться с этим

А. ЗВЕРЕВ
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

для него все равно что плюнуть себе в лицо. Но жить в безвоздушном пространстве невозможно. Барри страстно хочет вырваться из тягостного одиночества, каким обернулся для него индивидуальный мятеж. Ему, конечно, трудно пока понять, что в своих порывах он выступает подчас истым, более того, агрессивным обывателем. Зато для Олдса не секрет, что, Барри реально угрожает судьба студентов Жака Бреля.

Но что-то уже изменилось в душе Барри, в мыслях Бена Брэддока. Кажется, выяснилось, что нельзя жить бесконечным отрицанием, что есть другие пути и надо их искать. Ведь эти ребята не сродни юным прожигателям жизни, не ведающим укоров совести. Пусть они не всегда это осознают — они ищут духовного здоровья. Кодекс «сумасшедшей скорости и безумного секса» больше не увлекает. На повестке дня — поиски серьезной жизни. Об этом красноречиво говорят последние книги Джека Керуака, одного из самых талантливых и хаотичных американских писателей послевоенного поколения.

Керуак выступил от имени большой группы молодежи, называвшей себя битниками и доводившей протест против общественного лицемерия до истерии и абсурда. По своего рода традиции все, что он пишет, воспринимается критикой только как вариации старой темы. До последнего времени к тому были основания, но сейчас дело изменилось. «Бродяги, ищущие Дхармы» и «Биг Сур» разделены небольшим промежутком всего в четыре года, но какая разница между этими книгами! На смену апофеозу индивидуального несогласия и протеста, утверждению безграничной свободы делать то, что хочется, пришли сомнения в истинности пути «разбитых». Все более ощущающийся кризис битничества коснулся и Керуака.

В «Биг Сур» Керуак рассказывает, как однажды к нему явилось несколько молодых людей в ярких куртках, на которых было написано «Бродяги Дхармы». Они надеялись увидеть вождя битников во всей его красе и были глубоко разочарованы, узнав, что Керуаку под сорок и он совсем не горит желанием участвовать в их шалостях. «Бедняги действительно верят, что во всей этой битнической премудрости есть что-то благородное и идеальное... а я устал от бесконечного энтузиазма все новых и новых подростков, которым хочется излить передо мной душу и услышать от меня «да, да, правильно», но я больше не могу им этого сказать».

Это не случайная сцена. Стержнем, держащим весь каркас «Биг Сур», становится настроение усталости и разочарования. Происходит отчуждение авторского «я». Как и прежде, неистовый лирический герой Керуака не признает никаких границ эмоциональному самовыражению. Мир — абсурден, природа — божественна. И то и другое — в крайней степени. Но теперь в попытке подвести итог Керуак стремится уже не уберечь своих героев от «страшных взрывов, сотрясающих весь взрослый мир», а сопоставить их судьбы с общей судьбой и много выигрывает как художник. Теперь прежние герои не несут в себе истину, их путь — никчемная растрата лучших порывов юности.

«Биг Сур» — книга как бы с двойным освещением. Сознание лирического героя то и дело сталкивается с сознанием автора, которому «слова, постигавшиеся всю жизнь, вдруг открылись во всей их убийственной серьезности и точности». Герой ведет бесцельную, лишенную мысли и дела жизнь, именуя ее приближением к нирване. Но каждый его поступок проверяется сомнением, и возникает неожиданный для Керуака вопрос: истинна ли эта жизнь? В контексте идет непрерывный диалог — спор автора с самим собой, с теми мыслями о человеке, обществе, мире, которые он высказывал раньше.

Переоценка ценностей — процесс мучительный, а для Керуака в особенности. Но и перед ним во всей сложности встал вопрос: что несет истинную свободу от буржуазного сознания? В «Биг Сур» Керуак впервые заговорил об обязанностях человека перед другими людьми, о его общественном долге. От этого, конечно, еще далеко до признания антибуржуазной цели в жизни. Пока Керуак ограничивается призывами уйти на «молчаливые таинственные тропы Америки», в непреходящий мир природы. В «Биг Сур» снова звучит мысль о том, что жизнь неповторимо прекрасна, и нужно одно — уметь наслаждаться каждым ее мгновением, бродя по залитым осенним солнцем горам и долам вселенной. Но «руссоизм» у Керуака уже не центральная тема, а скорее отголосок прежних настроений; показательно само его стремление освободиться от пут индивидуализма. В «Биг Сур» Керуак сделал первые шаги по этому пути. И здесь сказалось то усиление чувства ответственности молодых американцев за судьбу страны, которое характерно для лучших книг о молодежи, созданных в США в последнее время.

■

«Реальность всегда смертельно серьезна, и не что иное, как нравственное начало, в единении с жизнью действующее, возбраняет нам оставаться верными нашей реальностью не запятнанной юности».

Слова Томаса Манна, предпосланные Ф. Ротом роману «Попустительство», выражают его центральную тему — юность в ее конфликте с окружающим злом.

Книги Рота «До свидания, Колумб!» (1960) и «Попустительство» (1962) показали, что в американскую литературу пришел писатель незаурядного, хотя и не до конца определившегося дарования. Филип Рот обладает умением выделять вещи из привычных связей и как бы наново открывать знакомый мир. Он стремится к созданию реалистической картины жизни и остро чувствует современность. Правда, материал его романов не всегда позволяет сделать широкие обобщения, а их этический конфликт подчас получает натуралистическое освеще-

ние. Однако характер у Рота всегда многосторонен, а ситуация выразительна.

Происходит это потому, что и условные подчас характеристики героев, и схематизм отдельных решений искупаются действительной актуальностью проблем, поднятых Ротом в его книгах. Рот стремится всесторонне исследовать трагическое противоречие американской действительности, в силу которого стремление к чистой, одухотворенной жизни неизменно сопровождается чувством отчужденности от непостижимо-нелепого мира. Его герои отказываются следовать примеру «отцов» и ищут свой путь — в любви, творчестве, религии, наконец, в протесте,— но всякий раз этот путь приводит к очередному поражению и безнадежным поискам спасения от действительности. Романы Филипа Рота привлекают настойчивым стремлением автора найти выход из этого порочного круга, связать судьбы героев со сложными конфликтами американской реальности середины века.

История, рассказанная в небольшом романе «До свидания, Колумб!», не содержит ничего ультрасовременного. Нейл и Бренда любят друг друга. Нейл окончил философский факультет, но работает простым библиотекарем и живет в Ньюарке — районе небогатых. Бренда из состоятельной семьи и учится в «шикарном» Бостонском университете. Правда, и перед героем открывались «шикарные» возможности — он мог быстро сделать карьеру в конторе по продаже недвижимого имущества. Но земельные участки его не интересуют, и он — странный человек — предпочитает библиотеку, где можно целый день болтать с приятелем негром о «тихом Гогене».

Разумеется, в глазах папаши Бренды, владельца магазина кухонных раковин и ванн, Нейл совсем неподходящая пара для дочери. Впрочем, и самому Нейлу кажется, что встань он на хозяйское место и покомандуй рабочими хоть час, дело кончится язвой желудка. Предпринимателя из него явно не выйдет, пора вернуться в библиотеку к испытанным друзьям — книгам и людям. Милая, симпатичная Бренда никогда не свяжет судьбу с человеком не ее круга. Милый, симпатичный Нейл никогда не преодолеет отвращения к «аду с кафельными стенами», каким предстает в романе быт рядового буржуазного семейства. Но и для нее и для него лучшая страница жизни осталась позади.

Традиционный сюжет, знакомые герои. Перипетии отношений Бренды и Нейла несложны, но они воспроизводят характерный конфликт. Вокруг слишком много пошлости, и с первых шагов приходится определить свое отношение к тому образу жизни, который повелевает юности отказаться от самого в ней дорогого — романтики.

«До свидания, Колумб!» — роман о молодых американцах, впервые всерьез задумавшихся об окружающем. Вместе со студенческой скамьей уходит в прошлое и наивный оптимизм, навсегда утрачивается беспечная радость существования. «Смертельно серьезная реальность» диктует нелегкий вопрос: как жить? Нейл и Бренда выбирают разные пути.

Но и дорога Нейла неизбежно заводит его в тупик. Да, он взрослее и серьезнее Бренды и не верит в те шаблонные поучения, которые сыплются на него в ее доме: «чтобы чего-то добиться, нужно работать»; «успех легко не приходит»; «сам Рокфеллер трудился в поте лица». Его антибуржуазность — своего рода самозащита от яда материального благополучия, но именно *самозащита*. Удержавшись на краю пропасти, он равнодушно наблюдает, как в нее скатываются другие. Стремление Нейла остаться духовно самостоятельным, его отказ от дешевого спокойствия последовательны, но это отказ индивидуалиста.

Души героев Филипа Рота отравлены добровольной самоизоляцией; они не выходят за круг своих трудностей, своих надежд, своего горя. Трагическая развязка их отношений друг с другом предопределена тем, что не может быть ни подлинного понимания, ни искреннего участия, ни глубокого чувства между людьми, в чем-то очень похожими, но разобщенными всем ходом жизни. Основной момент книги Рота — несовпадение движущейся, противоречивой реальности с замкнутым миром героев, отключившихся от волнений и тревог других людей. Стремление героев избавиться от ненавистной созерцательности и их неспособность это сделать — вот мотивы драмы, разыгравшейся на его страницах.

Рот пишет о молодежи неудовлетворенной, но не верящей в общественный прогресс. Сознание порочности того мира, в котором она живет, вызывает у нее не возмущение, а глубокий пессимизм. Героев Рота угнетает бессмысленность их жизни, сознание собственной капитуляции перед обществом. Американская трагедия для Рота заключается не в социальной неустроенности, а в том, что современная жизнь лишила людей общности, которая одна могла бы разрушить трагическую замкнутость человека в себе.

Противоречие между стремлением человека к самоопределению и общественной унификацией предстает у Рота неразрешимым. Поэтому самоопределение его героев выражается не в осознанном протесте против обезличенного общественного порядка, а в стремлении всюду и во всем изолировать свое бытие от бытия других людей. Объявив себя свободным от пагубного, по его мнению, воздействия реальности, человек еще не приходит к истинной свободе. Самоопределение не завершает поисков своего места на земле.

Герой «Попустительства» Гейб Уоллек не только человек бесконечно одинокий и бесконечно никому не нужный; не сознавая того, он преступен в своей философии невмешательства, неучастия в тяжелых испытаниях окружающих его людей. «Усовершенствованный» мир устранил с

А. ЗВЕРЕВ
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

пути Гейба заботу о хлебе насущном, но материальное богатство потребовало духовного опустошения. Пример рядом. Это Уоллек-старший, преуспевающий дантист, который проводит время в чтении газет и путешествиях по всем — обязательно всем без исключения — европейским странам с фотоаппаратом и туристическим справочником-минимумом в руках. В поисках собственной индивидуальности, одухотворенной полноценной жизни Гейб, для которого индифферентность в общественных вопросах естественна, не мог не прийти к глубокому скепсису и вошедшему в плоть и кровь равнодушию ко всему на свете, кроме себя самого. Искания духовного богатства закончились духовным параличом невмешательства. Преступление Гейба Уоллека состоит в том, что в страхе перед всесильной буржуазностью он самоустраняется от жизни и несет страдания всем, с кем его сталкивает судьба. Но в этом и его драма.

Герои «Попустительства» чуть старше Бренды и Нейла, но принадлежат к тому же кругу, и перед ними стоит та же проблема — обуржуазивание или одиночество. В метаниях Гейба от полного безверия к осознанию простых истин человечности, в трудной судьбе супругов Поля и Либи Герц, которых мытарства по жизни не сблизили, а разъединили,— в каждой ситуации, каждом характере этой тревожной книги как бы ставится под вопрос справедливость высказанного одним из героев принципа: «никто никому ничего не должен».

Роман Рота — спокойно, эпически развивающееся повествование со стройным сюжетом, складывающимся из судеб нескольких людей. Но его структура определяется особым подтекстом, который возникает из образа повседневности, обладающей магической силой ограничивать человеческую жизнь лишь одним временным измерением, текущим часом и лишать ее какого-либо смысла.

Человек словно забыл о своей высокой сущности, исчезнувшей за ничтожными заботами дня. Восторжествовав над демонизмом повседневного, герой Рота найдет непреходящее значение своей жизни и ее оправдание. Для Либи оно в преодолении внутреннего одиночества и страха перед людьми. Для Поля — в духовной независимости. Для Гейба — в целенаправленности поступков, действенной, а не немощной интеллектуальности.

Но герои Рота — сами дети ненавистной им повседневности, и преодолеть ее им не под силу. Отказываясь от вульгарно-материального идеала буржуазного бытия, они отворачиваются и от антибуржуазного общественного действия и сами закрывают себе путь из одиночества к единению и духовному богатству. Но третьего не дано, и это значит, что в перспективе у них — все то же незавидное будущее студентов, о которых рассказал Жак Брель.

Вопрос, волнующий Рота, приобретает сейчас для молодежи США особое значение. И хотя за пределами его книг остались многие «смертельно серьезные» проблемы реальности, ответственность человека за каждый свой поступок, за судьбу других людей получает убедительное выражение. По мысли Рота, только во взаимопонимании, к которому, вопреки всему, должен стремиться человек, обретет он гармоничный мир, ушедший вместе с юностью.

■

Тема ответственности молодого поколения перед лицом времени сегодня стоит острее, чем раньше,— об этом свидетельствует первый роман Кортленда Брайена «Уилкинсон», который получил Харперовскую премию 1965 года. Рядом с книгами Олдса, Уэбба, даже Рота роман Брайена выделяется гораздо более активным отношением автора и героя к основным конфликтам современности. Брайен сам еще очень молод, и книга его во многом автобиографична — он разделил судьбу тех американцев, чья юность совпала с грозными событиями в мире на пороге 60-х годов. Эти события вошли в роман его неотъемлемым элементом и открыли перед Брайеном возможности публицистически заостренного изображения жизни. Книга его оказалась поэтому теснее связанной с острыми проблемами современной американской действительности.

Герой Брайена лишь отдаленно напоминает Бена Брэддока или Барри Дугласа. Его роднит с ними настороженное, критическое отношение к происходящему и искренняя потребность в «правильной» жизни. Как и они, Фил Уилкинсон болезненно воспринимает ущербность окружающего общества, но он отказывается перед ним капитулировать. Его протест перестает быть умозрительным, жизнь Фила сложилась так, что ему непрерывно приходится чем-то жертвовать, от чего-то отказываться, чтобы сохранить в себе человечность и духовную чистоту. Мир все время открывается ему самыми непривлекательными своими сторонами, и смутное недовольство Фила постепенно перерастает в возмущение. Шаг за шагом Фил приходит к осознанию себя как гражданина Америки. Ему претит официозный патриотизм и его фразеология, но Фил чувствует свою нерасторжимую связь с судьбами всей страны, а судьбы эти зависят от миллионов таких, как он. Конфликт героя и общества получает у Брайена новое истолкование.

Мы знакомимся с Филом накануне 1959 года в Корее, где он командует группой фоторазведки при штабе оккупационных сил. Сразу же по окончании Йельского университета он был призван в армию и теперь с нетерпением ждет демобилизации. Бесконечные учебные тревоги, пьянство в борделях да пережевывание недельной давности газетных новостей — вот и вся жизнь американских офицеров в Сеуле. Кругом нищета и разруха. На площадях охранники дряхлого диктатора Ли Сын Мана пулеметным огнем разгоняют студенческие митинги. В разоренных деревнях обманом и насилием заставляют голосовать за гнилой режим. Вокруг казарм околачиваются в поисках легкого заработка жалкие, грубо размале-

ванные женщины. Начальник штаба, тупой майор Стерджес, отдает приказ остричь наголо первую же из них, которая проникнет в расположение части без пропуска. Филу все это ненавистно, он не считает себя и своих товарищей вправе распоряжаться на чужой земле. Но исполнить приказ выпадает именно ему. Так перед Филом впервые возникает альтернатива — пойти против убеждений или принять удар на себя. Он помогает кореянке бежать и отправляется под арест. Увольнение в запас откладывается на неопределенный срок.

Но вот наконец Фил дома. Впечатления от Кореи еще так свежи, что картина благополучия, открывшаяся ему по возвращении в Балтимору, режет глаза. Здесь, дома, словно не догадываются, сколько в мире страданий и слез. Между Филом и людьми, некогда ему близкими, сразу вырастает отчуждение. Никто не хочет выслушать его, попытаться его понять. Фил чувствует себя так, точно его предали. Он утратил всякий интерес к тому, что составляет для других цель жизни,— прибыльной службе, удачному браку, церкви, поездкам во Флориду и на Бермудские острова. Пребывание в Корее сделало его другим человеком — требовательным к себе и другим.

Инстинктивно он чувствует: благополучие — только видимость, и его сверстники в погоне за жизненными благами исковеркали свою судьбу. Как ни тяжело ему приходится, он стремится жить согласно своим убеждениям, пытается чем-то помочь людям, открыть им глаза на ужасающую пустоту их существования, преодолеть их усталое безразличие к чужим бедам. За фасадом спокойствия и невозмутимости Фил различает драму, приближающуюся катастрофу. Одиночество невыносимо ему, и он ищет своего места на земле — ошибаясь, многого не замечая, но настойчиво и упорно. Фил немало плутает по жизни, но все же он с детства крепко держится принципов честности и гуманности, а когда они нигде не находят понимания, ему становится стыдно за духовное падение своей страны, которую он любит глубоко и преданно. Фил готов к любому испытанию, чтобы доказать эту любовь.

А над миром собираются тучи, и в августе 1961 года берлинский кризис вновь делает Фила солдатом. В числе тысяч резервистов его вторично призывают в армию. В Америке начинается военный психоз, раздаются требования призвать из запаса миллион человек, не допустить «второго Мюнхена», и только облачившиеся в форму резервисты понимают всю нелепость таких мер. За много тысяч миль от Берлина, окруженные пустыней, давно разучившиеся владеть оружием, они сами себе кажутся злой карикатурой на армию. И Уилкинсон решается открыто сказать правду. Он публично обвиняет президента и Конгресс, потому что призыв резервистов — не стратегическая, а политическая акция, поставившая под угрозу жизнь миллионов людей. Он убежден в том, что прав, и не собирается каяться. День ото дня нараставший гнев, все переживания с минуты возвращения из Кореи получили, наконец, выход. И хотя Филу грозит трибунал, он счастлив тем, что в решающую минуту нашел в себе мужество остаться человеком.

В финальных сценах Брайену удалось достичь поистине драматического звучания. Книга его написана неровно, автору предстоит еще шлифовать свое мастерство. И все же «Уилкинсон» стал заметным достижением американской литературы последних лет. Объясняется это прежде всего тем, что, рисуя своего героя, Брайен сумел полнее осознать смысл событий, определивших его судьбу.

■

Романы о молодежи, вышедшие в США в 60-е годы, отмечены стремлением связать судьбы героев с общественными проблемами более тесно, чем это делалось в предшествующее десятилетие. Они подводят к мысли об ответственности человека перед лицом времени. Тема «места на земле», активного вмешательства в жизнь не случайно выдвинулась в книгах Рота, Уэбба, Брайена как основная. У всех них критическое отношение к «мятежному» индивидуализму ощущается достаточно полно. Лучшая часть американской молодежи преодолевает настроения бесперспективности и безнадежности, и писатели, говорящие от ее имени, стремятся показать эту перемену во всей сложности. Но, исключая Брайена, мысль о необходимости антибуржуазного действия принадлежит в этих книгах еще не герою, а самому художнику. Изменился пока не сам герой, а отношение к нему автора; но и этот сдвиг, пусть опосредствованно и сложно, выразил те изменения в социальной и политической жизни, какие принесли последние годы. Роман Брайена примечателен как раз тем, что судьба героя воссоздана в нем в прямой связи с американской действительностью этих лет.

Еще не появилось социологических исследований о поколении американцев, пришедших в жизнь в бурные шестидесятые годы. Но литература уже отметила в них новое. В условиях, когда реакционная политика правящих кругов вызывает стихийный протест, когда движение за демократию охватывает все больше и больше американцев, молодежь не может дольше оставаться «над схваткой». Какой дорогой она пойдет? Дорогой студентов Жака Бреля? Или трудным, требующим самопожертвования путем Фила Уилкинсона? Перед таким выбором стоят сегодня молодые американцы — и в литературе, и в самой жизни. Лучшие романы о молодежи, появившиеся в США за последние годы, проникнуты стремлением помочь молодому человеку найти достойное его место на земле, выбрать трудный, но единственно верный путь.

ВЛАДИМИР МИНАЧ

ПАРАДОКСЫ ВОКРУГ ИСКУССТВА

Всякий раз, как я разговариваю с теоретиками искусств, меня не покидает ощущение, что они снисходительно посмеиваются: мол, что с него взять, он всего лишь практик, то есть взрослый ребенок, который имеет право на глупости; человек, делающий литературу,— следовательно, не разбирающийся в ее сути. В свое время было в Братиславе кафе, где собирались глухонемые шахматисты. Кто случайно заходил туда, попадал в особый мир, в мир жестов, в мир необыкновенной тишины, полной непонятного значения. Среди теоретиков я чувствую себя как среди глухонемых. У них — свой язык жестов, это — религиозная секта со своим особым обрядовым языком. Есть среди них, несомненно, люди хорошие и солидные, есть даже такие, которые чувствуют искусство. Но — для себя, ибо, как только они начинают размышлять о нем публично, они утрачивают способность непосредственного восприятия. Тогда им важно уже не само искусство, важна система, в которую его надо втиснуть. Тиски системы — как объятие «железной девы», легендарной Елизаветы Батори *. Умершие девочки! Бедное искусство! Теоретик, возможно, черпает жизненные силы, соприкасаясь с искусством, но искусство в его руках умирает. Всякого рода неуклюжие подхалимы, всякие мелкие рецензентики без конца поставляют предписанным образом пережеванный корм в железные тиски системы. К счастью, тем дело не кончается — умершие девочки восстают из мертвых, конечно, если они когда-нибудь были живыми. Я вовсе не хочу сказать, что практика искусства дело ангельское, теория же — от дьявола. Хочу только обратить внимание на основной парадокс. Теория не может жить без системы: строгая система — необходимое условие ее существования. Но искусство — это то, что вырывается из-под власти системы, что отрицает ее, отрицает не только конкретную систему, но самое возможность системы; это — то, что вновь и вновь, в каждом отдельном случае, строит новые закономерности. Опасаюсь: то, что отвечает строгим граням системы,— не подлинное искусство, это лишь решенный кроссворд. Итак, теория искусства висит в воздухе, это до некоторой степени самодовлеющее установление. Публике она недоступна. Художники немножко боятся ее и в достаточной мере пренебрегают ею, а главное — она им не нужна. Им всегда хочется сказать: что с него возьмешь, он всего лишь теоретик.

Правда, у нас трудно встретить чистого теоретика — вот одно из немногих преимуществ малого народа. Есть, однако, теоретизирующие критики. Они отличаются тем, что хотят выделиться из толпы прочих рецензентов: odi profanum *. Они желают иметь собственные системы, собственные школы, собственных учеников. Если им не хватает собственных мыслей — а обычно так

* Венгерская графиня, по преданию тайно умерщвлявшая маленьких девочек, чтобы принимать ванны из их крови, которые якобы придают коже особую красоту. Изобличенная в преступлениях, она была брошена в темницу и умерла в 1614 году.

* Отойдите, непосвященные *(лат.)*.

и бывает,— они повторяют чужие. Возводят свои теоретические дворцы, которые на деле оказываются собачьими будками. Цепи, в которых они держат нескольких своих избранников,— воображаемые. Школа хороша для школяров, подлинный художник рвет цепи, опрокидывает школу, даже ту, из которой сам вышел. Нет последовательных импрессионистов — они существуют только в теории. В действительности импрессионисты интенсивнее всего ощущали как раз то, что отличало их друг от друга, они исходили из общего, но строили на неповторимом, на своем Обобщение, система возникли только как следствие художественной практики, всякая новая практика опровергает старую систему и дает простор новому толкованию. Практика есть — должна бы быть — всегда вначале. Если дело обстоит иначе — горе практике! Искусство неотделимо от жизни, неотделимо от движения, оно само движение. Как хорошо, что это так! У него лишь один общий закон: оно не выносит методику системы.

Что же делается за теоретическими кулисами и перед ними? Что предлагают нам?

Теоретизирующий практик говорит: *«Зондировать глубины»*. Рецензент дополняет его: *«Зондировать глубины современной души»*. А критикующий теоретик, или теоретизирующий критик, требует: *«Обнажить живое ядро человеческого бытия»*. Как видно, в нашем теоретическом микромире в ходу большие слова. Я имею в виду, естественно,— пустые слова. Несомненно, эти старо-новые слова звучат более патетично и даже более человечно, чем звучали пустые слова несколько лет назад. Но это еще вовсе не означает, что они менее пусты. Пустота остается пустой, «хоминизирована» она или «догматизирована». Обнажить живое ядро человеческого бытия — великолепная программа... для биологии В искусстве это очень древняя фраза. А «зондировать глубины»! Ниже, еще ниже! Но если кто и спустился низко, скажем, к самому нутру, к половым органам, к началам и первичным восприятиям человека, к примитивным ассоциациям — это еще вовсе не означает, что он глубок Наоборот, при такого рода опускании в глубины мы слишком часто находим множество тягостно мелких мест.

Конечно, при доброй воле во всем можно найти рациональное зерно, даже в «зондировании глубин». Это старый лозунг, старый даже для послевоенного развития нашего искусства: от экстенсивности к интенсивности, от широты к глубине. Это постоянно поднятый палец. Но это даже не зародыш программы.

Нет ничего смешнее, чем полемизировать со смешным. Однако помимо смешного здесь есть и серьезное, помимо пустых слов есть действительное движение художественной практики и художественного мышления. Вот здесь-то и обнаруживаются контуры программы, системы, школы.

В самом крайнем, а потому и в самом точном выражении я прочитал о принципах этой системы у французского эстетика Роже Кайюа в «Словенских поглядах»: *«Он (то есть современный художник) принципиально отвергает всякое сознательное вмешательство, всякое колебание и всякий выбор, искусность, контроль. Он хочет, чтобы результат его деятельности (но деятельность ли это еще?) был случаен, и потому стремится оградить его от самомалейшего вторжения, которое могло бы оправдать домысел, будто в творчестве его хоть как-то участвует разумное начало или намерение. Он стремится к тому, чтобы как можно полнее отделить от себя им рожденное произведение, чтобы самый предвзятый судья не мог заподозрить за ним минимального чувства ответственности»*.

Дальше говорится, что возврат к случайности есть обретение былой чистоты. Что, описав гигантскую дугу, искусство возвращается к своим древним истокам. И тому подобное.

Когда ныне говорят о любви, имеют в виду половой акт, а еще больше — извержение семени. Живописец, выстреливающий краски на полотно из хитроумного пистолета, извергает семя. Или, как выразился бы наш теоретизирующий критик, «освобождается в своей глубочайшей аутентичности». Или, как говорит Кайюа, ограждает себя от вмешательства, от разумного начала. Или, как еще говорится, «выражает себя в своей тотальности». Вот мы и подошли к тотальному самовыражению.

Но что же она такое, эта «глубочайшая аутентичность»? Действительно ли это возврат к истокам? Извечное стремление к свободе или лишь признак преходящей, исторической ситуации в искусстве?

Это, конечно, бессмыслица. Нет такой «глубочайшей аутентичности», которая была бы свободной от условностей: она сама —

условность. Художник, стреляющий в полотно из пистолета, заряженного красками, такой же раб условности, как и самый заядлый реалист. Это логично Однако именно здесь-то и не желают признавать логику. «Глубочайшая аутентичность» (этакая словацкая разновидность кьеркегоровского «бога в человеке») находится вне пределов логики, точно так же как и средневековая религия. Искусство отодвигают за пределы человека как разумного существа, за пределы сознания и познания. И за пределы какой-либо дискуссии. Искусство есть Откровение. Антирационализм — один из основных признаков части современного искусства. Очень точно это выразил Марсель Дюшан. *«Задача искусства — исследовать не действительность, но трансцендентные качества предмета».*

Вот мы и дошли: «глубочайшая аутентичность» исследует «трансцендентные качества предмета». Елки зеленые, как говорит мой сын! Я вижу шамана в вонючей козлиной шкуре, он таращит на костер трахомные глаза: с помощью «глубочайшей аутентичности» исследует «трансцендентные качества» огня. (Впрочем, этим он зарабатывал на хлеб.) Юродивые и аскеты, божьи люди и кликуши, барабаны в джунглях и тайные сектантские радения — везде тут «глубочайшая аутентичность» соприкасается с тайной. Нет, это не возврат к истокам — это бегство в самое темное средневековье.

Ренуар говорил о Гюставе Моро: *«Пренебрежение миром, столь восхваляемое у него, я считаю всего лишь леностью».* Действительно ли такое отрицание объективного мира — только душевная леность? В частном случае — возможно. Но пренебрежение объективным миром и его отрицание слишком распространены. Тут дело не только в недостатках отдельного человека — дело в недостатках общества.

В этом действительно отразилась историческая ситуация буржуазного общества. Это выражение исторического бессилия, усталости, отсутствия перспективы. Путь, пройденный буржуазией, сравнительно долог. Она сама уже не помнит своей смелости, своего пафоса, своей веры в будущее, а все это было у нее вначале. Был вначале, например, Пико делла Мирандола: *«Никакими пределами не ограниченный, ты сам определяешь пределы своего естества. Творец самого себя, ты можешь взять себе тот облик и ту форму, какую захочешь».* Смелые слова, сказанные в смелое и великолепное время! Освобождение от средневековья, исторический пафос и вера в человека, близкая нам. Блистательное, чувственное и полное чувства искусство; мужественные люди на носу каравелл; дерзкая хищность еще не сменилась банальной буржуазной жадностью. Время сдвинулось с мертвой точки — все было возможно, доступно, осуществимо. Жажда познания гнала корабли по неисследованным морям, кареты и кибитки — по головоломным дорогам; создала книгопечатание, выпустила первые газеты; познание было союзником тех, кто наступал.

Ныне познание изгоняют из храма искусства, что свидетельствует не против познания, но против общества, в котором это происходит. Тот же, кто не бежит познания, не может использовать его в качестве оружия во имя будущего; такие люди распространяют лишь недоверие и отчаяние. Не хочу говорить один: *«Противоречие между сардоническим «реализмом», который цинично полагает реальностью самое худшее, и «романтикой», которая вполне сознательно избегает какого бы то ни было соприкосновения с действительностью,— бездна, и ее преодолеть может только величайшее искусство. Такое противоречие, известный вид шизофрении искусства, характерно для эпохи перехода и перемен, для того смятения, которое сопровождает путь от одного мира к другому».* (Дж. Б. Пристли)

Этим я хочу только доказать, что форма, которую обрело ныне буржуазное искусство, возникла не по чьему-то произволу, она выражает историческое положение общества, в лоне которого родилась, и что именно поэтому она не может быть единственной.

Искусство есть разграничение, отбор, выбор. Чем свободнее было искусство, тем прочнее покоилось оно на системе выбора. (Знаю, что говорю вещи старые и известные, так сказать, заезженные.)

Выбор — вот единственный всеобщий внутренний закон искусства Свободный выбор предполагает равноправное — или равновесомое — соотношение действительности и искусства: как только это соотношение нарушается, страдает искусство, прежде всего искусство. Когда натуралисты отказались (и еще отказываются) от выбора в пользу действительности, они погубили

искусство, а действительности не помогли. Крайняя форма натурализма поучительна, она бросает свет на другую крайность, на ту часть современного. искусства, которую Пристли назвал «романтикой» в кавычках.

В этом искусстве отвергается не выбор, отвергается действительность. И опять-таки действительность не терпит от этого никакого урона — уничтожено только искусство. Когда искусство рвет связь между собой и действительностью, оно совершает самоубийство; отрицая действительность, оно отрицает только само себя: прекрасная изоляция — не более чем камера смертника.

Место выбора занимает случайность, место личности—«глубочайшая аутентичность», место иерархии — произвол Сдаться на милость случайности и произволу — значит поразить сущность искусства, это меткий выстрел. (Ради бога, только чтоб не было какой-нибудь мысли, какого-нибудь смысла! Сначала о Курбе, потом о Гуттузо говорили, что они имеют значение *вопреки их мыслям.)* Говорят: возврат к случайности есть возврат к чистоте, к абсолютной чистоте выражения. Будто бы это — конец гигантской дуги, в начале которой — начало искусства вообще. Однако и в пещерных рисунках есть своя система выбора, обусловленная, конечно, кругом познаний пещерного человека, его чувственным миром, его восприятием. Нет, тут не конец дуги, тут — тупик. «Глубочайшая аутентичность» плавает, где хочет. О, желанные ветры свободы! Художник извергает свое творение, как онанист — семя: свобода прежде всего! Он освобождает себя от обязанности быть личностью: к чему личность в мире случайностей, произвола и мифологии? Он освобождает себя от предметного мира, поскольку действительность — всего только, как говорил Карлейль, *«тень вечной, бесконечной реальности, которая гонит этот мир-время по огромному безмолвному зеркалу вечности как грозно-загадочное дрожание воздуха...»* Такой сорт свободы сильно смахивает на средневековое рабство духа.

Разлагают формы, образы, слова. Вырывают не только слова из предложений, игнорируя их значение,— выхватывают уже буквы из слов. Наиболее «аутентичную революцию» в литературе до сего дня произвели, конечно, так называемые «леттристы». Их почин возник, правда, вследствие ошибки Изидора Ису *, но так как, по-видимому, это была ошибка «глубочайшей аутентичности», то ее надо рассматривать как открытие. Если слова уже утратили смысл, зачем их придерживаться? К чему вообще слова? Почему не буквы? Леттристов не признают, но это тоже ошибка: ведь такое извращение на диво последовательно. Сначала выламывали слова из их ложа, слова перемешивались, образуя новые формы, корчились в злой конвульсии; теперь уж и буквы выламывают из слов. А дальше что? Можно ли вообще идти дальше? Не это ли легендарная Ultima Thule — место, откуда нельзя сделать ни шагу?

Ах, и впрямь начинает казаться, что
веру утратили лучшие,
дурные владеют огнем убеждения.

■

Несомненно, предметный мир не таков, каким он является нашим чувствам: не впервые на пути к познанию натыкается человек на свою физическую ограниченность. Но если мы не познали объективный мир до конца и основательно, это еще не значит, что он непознаваем: в столкновениях с непознанным, в этой бесконечной и беспощадной борьбе — особый героизм человека. Не думаю, чтобы на нынешнем уровне познания искусство могло открывать тайны, тут я скорее доверяю биологам и физикам, чем «глубочайшей аутентичности». Искусство не может подменять ни политику, ни религию, ни науку, оно должно быть самим собой.

Итак, собаки лают, караван продолжает свой путь; действительность движется вопреки тому, что часть современного искусства не желает принимать ее во внимание. Более того, как бы ни отдалялись художник или искусство от действительности, они все равно составляют часть ее, часть ее конкретных отношений, они — предмет среди предметов. Говорят об оппозиционности, чуть ли не о революционности современного искусства, а, по-моему, это прошлогодний снег. Время подвигов — прошедшее время, нынешняя оппозиционность — мнимая и поверхностная: ею, и не очень даже ловко, прикрывают приспособленчество. Если в нынешнем западном обществе владычествует секс, то искусство, будучи пансексуальным,

* Французский поэт, изобретатель леттризма.

всего лишь выполняет социальный заказ. Секс — не более чем секс, он не неповторим, как любовь; он отдает горечью и пустотой. И он должен выйти из рамок, должен извратиться, чтоб стать интересным, то есть получить сбыт. И вот искусство, приспособляясь, приправляет секс, поставляя педерастов, лесбиянок, кровосмешение. Недавно я читал об одной выставке в Лондоне, на которой было экспонировано множество фаллосов, поменьше, побольше и очень больших. (Что, видимо, отвечает новой эстетической норме: чем больше фаллос, тем выше искусство.) Фаллическую пластику применяли еще древние египтяне при украшении храмов, у них это был символ плодородия. Лондонские подвесные фаллосы — лишь голые предметы на ярмарке сексуального тщеславия.

Даже «самое революционное», «самое свободное» искусство тесно связано с социальными процессами. *«Не вкус приспосабливается к искусству, но искусство — ко вкусу!»* — восклицает Аддисон на заре буржуазного общества. Искусство становится предметом предложения и спроса, товаром. Погоня за новым, необычным, ошеломляющим в искусстве — это в большой степени параллель конкурентной борьбе в других областях производства и торговли. Торговцы искусством незаметно, но упорно следуют по пятам за художниками. Толкователи смахивают на рекламных агентов — и порой сливаются с ними; клики, школы, направления можно сравнить с концернами. Существуют производственные и торговые центры искусства, так же как и производственная и торговая периферия его. Мы являемся сейчас свидетелями попытки перенести производственный центр искусства в Соединенные Штаты; торговый центр давно уже там. Не только «Стандард ойл» или «Юнайтед фрут компани» имеют свои империи, есть и империя Канвайлера. Куда ушли времена мелких лавчонок с холстами и красками, времена добросердечных консьержей и верных гризеток! Это — романтика доимпериалистической эпохи. Ныне судья и бог — оптовый торговец картинами, крупный продюсер, крупный издатель.

Художник должен пробиться, пробиться любой ценой. Он надеется, что тогда он будет свободен. Но рабство успеха ничуть не лучше рабства бедности.

«В Париже художники, мечтая добиться знакомства, которое для них означает счастье, слишком часто, чаще, чем это можно назвать естественным, занимают крылья у случая; они думают, что смогут взлететь, если будут поборниками единственного дела, защитниками единственной системы, и надеются, что можно узкий кружок превратить в общественность». Нет, нет, это сказал не какой-нибудь социалистический зоил, это — Оноре де Бальзак. А во времена Бальзака все ведь было еще в состоянии зарождения, в патриархальных, домашних категориях, в ремесленно-цеховой стадии. Ныне оптовые торговцы скупают не только искусство, но и художников, менеджеризм существует и в искусстве. Старый принцип «cujus regio» * получил современную форму: «чьи деньги». Художники могут делать вид, что думают о трансцендентном качестве предметов: царство торговцев искусством — посюстороннe.

Свет, конечно же, это — Париж, Свет с большой буквы. Художественная общественность привыкла за много веков, что искусство может зарождаться только в узком кружке на берегу Сены. Однако, как кажется, Париж все более и более становится скорее традицией, упрямым воспоминанием, чем новой действительностью. На ярмарке тщеславия в дом двух сравнительно уродливых стареющих барышень ходит жених. Наконец он останавливает свой выбор на одной из них. Та, что не вышла замуж, злословит. Другая, избранная, отвечает: «Во всяком случае, он выбрал меня и мои деньги, а не тебя и твои деньги». Похоже на то, что искусство остановило свой выбор на американских деньгах. Партия сделана. Художники ударились в теорию, теоретики пошли в торговые агенты. «Старая» Европа не скрывает своих подозрений, новые гости всем в тягость, многим кажется, что вещи-то не новые, с них только сдули пыль, но все держат себя более чем осторожно. Ведь с этой партией в современное искусство вошел принцип современного империализма. Ведущая страна должна быть права во всем: и искусство ее должно быть ведущим.

■

В искусстве сокрыты не только жажда неограниченности, стремление перешагивать изведанное — но и способность сохранять ценности, способность не только двигаться

---

* Чья власть (*лат.*).

вперед, но и пребывать на месте, не только преодолевать, но и продолжать.

Да, я имею в виду красный плащ традиции. Красный плащ: молодые бычки снова и снова бросаются на него, как на врага, не ведая, что за ним скрывается их судьба. Все бунты против традиции, с их громкими словами, криком и жестикуляцией, завершаются тихим примирением. Не потому, что молодость, всегда связанная с бунтарством, преходяща. Тут есть причина поважнее — невозможность вырваться из ряда. Ведь бунт против традиции сам становится традицией. Искусство обретает полный смысл тогда лишь, когда мы думаем о нем в его взаимосвязях — я говорю об исторических взаимосвязях. *«Ни один поэт, ни один творец не имеет полного значения сам по себе. Оценить его значение — значит, оценить его отношение к мертвым поэтам и художникам»*. Эти слова Т. С. Элиота справедливы и для направления, школы, эпохи в искусстве, которое есть становой хребет цивилизации, ее память, ее спинной мозг, куда сбегаются нервы, чувствительные к правде, праву, справедливости и прочим возвышенным вещам. Последовательность, наследственность искусства, его преемственность — вот в чем его суть, его главный, если не единственный, смысл.

Все, что было поистине велико в искусстве, стоит в этом наследственном ряду. Нуль рождает нуль, только в сказках прекрасные девы выскакивают из головы. Шекспир немыслим без английского народного театра, Толстой — без русской и французской реалистической школы. Но не только это: они немыслимы без иудейской, греческой и римской культуры, без тысяч родимых пятнышек, которые мы в совокупности называем цивилизацией. Нельзя понимать традицию узко или механически, это ведь не просто передача факела. Отношения между тем, что было, и тем, что нарождается, исполнены напряжения, отрицания, возмущений и уступок, симпатий и неприязни. Не только человек избирает предмет любви: его избирает и эпоха. То, что в одну эпоху важно, нужно и единственно возможно,— то смешно в другую эпоху.

Ох, правда, тяжким может быть бремя традиции. Это если из неисчерпаемой сокровищницы вынут один грош и твердят, что больше там ничего и не было, да если к тому же это утверждают настоятельно, опираясь на власть. Есть что-то бессмысленное в безапелляционном разграничении добра и зла, плевелов и пшеницы по одним внешним признакам — сиречь по принадлежности к школам и направлениям. Это бессмысленно в любом случае — что в официальных, что в противоофициальных высказываниях. Традиция — та, подлинная, о которой я говорю,— живет, не исчезает. Эту традицию нельзя разложить по полочкам, нельзя отмерять порциями; она пробивает себе дорогу — вопреки запретам, вопреки даже воле художника. Есть у традиции свои приливы и отливы, потому что она — море, существующее на самом деле. Пруд, над которым мы наклоняемся, может казаться нам морем, если мы достаточно малы. Но тщетно будем мы объявлять его морем — пруд останется прудом. Да и море не лишится своего соленого ветра над волнами, своей глубины и мощи своей оттого, что мы отринем его: я имею сейчас в виду ту часть моря, которая называется реализмом. Я убежден, что нынешние молодые отвергают не реализм, но искаженное его толкование. Многотрудно и неуклюже изготовили мы увеличительные стекла, через которые смотрим на традицию реализма. Молодое поколение не исследовало заново само явление, то есть реализм, оно только перевернуло стекла. Можно отрицать и то, чего не знаешь, но тогда это религиозное, сектантское, догматическое отрицание. Кто из молодых знает ныне подлинного Толстого? Кто хочет смотреть на него непредвзято, то есть не через толкователей и противотолкователей? Я не собираюсь контрабандой протаскивать Толстого в современный мир — он существует в нем. Если сегодня у нас Толстого из этого мира выбрасывают, то это силовой прием, силовой, а потому напрасный: в искусстве ничего не достигнешь силой.

Традиция доносит до нас не только возвышенные чувства и великие мысли,— она же содержит и другие моменты, необходимые для искусства. Изобразительное искусство, например, в свои лучшие времена не забывает, что было когда-то связано с ремеслом. Оно не стыдится ремесленного мастерства, оно гордится им — вспомните только мастерские Возрождения. Или высказывание одного из величайших импрессионистов: *«Что должно быть целью ее (живописи) усилий? Постоянно укрепляться и совершенствоваться в ремесле; но этого можно достичь только с помощью традиции.*

ВЛАДИМИР МИНАЧ
ПАРАДОКСЫ ВОКРУГ ИСКУССТВА

Нынче мы, конечно, все гениальны, но факт, что мы не умеем нарисовать руку и ничего не знаем о ремесле». По-моему, эти слова Ренуара нацелены точно и в наши дни: ремесленное мастерство презрено в современном искусстве. Роже Кайюа говорит, что современный художник отвергает искусность. Да и на что она ему в царстве произвола и «трансцендентных качеств предмета», в царстве, где властвует «глубочайшая аутентичность»? Профессиональное мастерство несовместимо с так называемым «высоким» искусством; одни никогда не умели, другие во что бы то ни стало хотят забыть, что умели когда-то нарисовать руку или написать предложение, имеющее грамматически точный смысл. Ремесло несовместимо с принципом абсолютной случайности, само в себе оно несет строгую закономерность, а следовательно, ограничения, оно исключает случайность, оно принуждает к выбору. Таким-то образом ремесленное мастерство неизбежно должно было очутиться не то что на заднем плане, а и просто вне «высокого» искусства. Оно допускается только в искусстве «низком», в прикладном, в искусстве для масс. Это парадоксальное противоречие — одно из главных в искусстве нашего времени, и надо сказать, это злосчастное противоречие.

Конечно, в мире «глубочайшей аутентичности» нет никаких национальных границ; как-то не хочется мне думать, что исследователь трансцендентных качеств предметов имеет что-то общее с национальной традицией; того, кто не поддается воздействию хотя бы тени разумного довода, не может ограничивать нечто столь эфемерное, как национальная культура. Знаю — национальная культура есть нераздельная составная часть цельной мировой культуры: ее долг — перешагивать свои границы. А современное искусство — то, о котором я говорю,— на практике и в теории стирает границы, границ нет, ибо нет национальных культур.

Предпосылкой к такой формуле является презрение к действительности. Не знаю, как будет дальше, но в общем и целом ясно, как обстоит дело сейчас. Именно в нынешнем мире помимо центростремительных тенденций действуют центробежные, в мире происходят не только процессы интеграции — в нем происходит еще и пробуждение народов. Я имею в виду не только народы Африки, Азии и Латинской Америки, я имею в виду, например, Италию. Ее духовный расцвет после второй мировой войны — как бы параллель Возрождению, общемировое звучание этого расцвета имеет природные, национальные корни, его новизна основана на традиции. Впрочем, все это хорошо известные вещи: в искусстве невозможно стать чем-то, если ты — никто. Личность художника не имеет никаких иных источников, кроме собственного опыта, а к собственному опыту относится и опыт национальный; он особенно важен в искусстве, являясь носителем преемственности.

«Глубочайшая аутентичность» (в свое время говорили — «раскрытие внутренних сил человека») отрицает аутентичность, подлинность личности, поскольку ограничивает личность деятельностью бессознательной или подсознательной. В таком — и только в этом — случае не нужны ни традиция, ни родники национальной культуры.

■

Один художник ворвался в ателье Дега и, задыхаясь от восторга, воскликнул: «Наконец-то я нашел свой метод!»

Но Дега ответил ему: «Я бы вовсе не радовался, если б нашел свой».

В анекдоте этом заложена, в сущности, глубокая мудрость. Ведь речь-то шла о стиле и еще о том, о чем ныне так много говорят у нас,— об искании. Французская элегантная небрежность, с какой выразился Дега, вызывает в памяти иную ассоциацию: слова патетические, немецкие, а именно — гётевские: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen" *. И еще одна фаустовская реминисценция: все — по крайней мере, люди старшего поколения — помнят из «Фауста» главным образом (а может быть, и только их) крылатые слова: "Verweile doch, du bist so schön" **. Слова эти не так серьезны и напоминают слова из современных шлягеров, если отъединить их от последующих: "Dann magst du mich in die Fesseln schlagen, die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen..." ***. Если упростить, то

---

* Чья жизнь в стремленьях вся прошла,
Того спасти мы можем.
(Перевод Б. Пастернака)

** О, как прекрасно ты, повремени!
(Перевод Б. Пастернака)

*** Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда ты волен — я закабален.
Тогда пусть станет часовая стрелка,
По мне раздастся похоронный звон.
(Перевод Б. Пастернака)

здесь говорится о том, что если искомое найдено, то исполнение — момент исполнения — есть момент смерти.

Увы, это так: исполнение мечты есть одновременно ее гибель. Достигнутая цель — конец пути. Вот почему смешон восторг того неизвестного художника, вот почему мудр ответ Дега. Найти свой метод, свой стиль, найти его как философский камень, как единственную возможность — значит сковать свою личность. Смысл — в непрестанном движении, не в остановке, в поисках — не в обретении.

Я говорю о поисках как о жизненном принципе, как о постоянном стремлении превзойти себя.

Нынче у нас ищут в основном иначе. Открылся доступ в лес, до сих пор заповедный, все отправились на поиски. Собственный опыт кажется им малым и ничтожным — вот и ищут чужой. Однако стиль, как известно, вопрос не техники, а ви́дения, образа мыслей, это вопрос личности. Стало быть, заимствуют личность чужую: юноши влезают в доспехи с чужого плеча. Неважно, что они не подходят ни к фигуре, ни к внутреннему строю! Сейчас так носят — носим и мы. Модные слова сменяются столь же быстро, как и модные танцы. О, где благословенные времена твиста!.. то бишь я хочу сказать — теории отчуждения? Сегодня в моде новый танец — мистика, данс макабр.

■

Искусство обретает смысл — или, как теперь говорят, реализует себя — только в соприкосновении с потребителем, потребитель — необходимая предпосылка существования искусства. Пусть это неприятно — по крайней мере, для некоторых теорий, — но вырваться из-под этой зависимости нельзя. Это основной и глубоко проникающий факт, из него вытекают обязанности искусства. Да, обязанности и, скажу прямо,— служебные обязанности. Ancilla vitae! Служанка жизни! Я не умею представить себе смысл искусства вне служения жизни, вне служения людям. Вы говорите, мир разделен — искусство обладает властью соединять. Вы говорите, мир полон непонимания — искусство способно распространять понимание. Вы говорите, мир полон страха — искусство в силах вознести высоко светлый лик человека. Если миру, как никогда, угрожает опасность — то, как никогда, необходимо искусство сочувствия, необходимо взаимопонимание. Именно поэтому понятность — или доступность — искусства является отнюдь не академической проблемой, но такой, которая в числе других решает судьбы цивилизации.

Когда-то слой потребителей искусства был един. То были узкие круги — королевские и герцогские дворы, салоны вельмож, дворянские гнезда. Вольтер еще мог быть некоронованным королем своей эпохи: его читали лишь избранные и сильные мира сего. Люди, занимавшиеся искусством, то есть те, кто его делал, и те, кто его воспринимал, обладали примерно одинаковым социальным опытом, одинаковым знанием, одинаковым вкусом. Только отношение к искусству было разным: для одних оно было развлечением, для других — смыслом жизни.

Буржуазия уничтожила привилегии и в этой области, она расширила пространство для искусства. Расширение пространства, вторжение в искусство масс означало вместе с тем конец классического единства творца и восприемлющего. И еще — конец равенства между восприемлющими. Возникли среди потребителей элита и плебс и — искусство для элиты и плебейское искусство. Уже во времена Бальзака эта граница выступала очень явственно: предместья — и салоны; бесчисленные книжки, переполненные кровавыми преступлениями, любовью, приключениями,— и «высокая» литература. С того времени и существует эта пропасть в своем первоначальном виде, только на обеих сторонах ее кое-что модифицировалось. Перемены, происшедшие в истории буржуазии, отразились в искусстве для народа. Уже не графы и добродетельные, но бедные девушки, уже не ловкие фехтовальщики — а парни, дьявольски быстро вытаскивающие кольты, не загадочные похищения прекрасных дев и бегства из смрадных подземелий — а детектив и преступник, не многотомные романы — а карманные издания. Плебейская литература приспособилась к современному темпу жизни и к современному восприятию, по ее непомерному распространению можно бы заключить, что она лучшим образом отвечает тому, что высокопарно называют «современным миром чувств».

ВЛАДИМИР МИНАЧ
ПАРАДОКСЫ ВОКРУГ ИСКУССТВА

Избранное искусство для избранных — это выглядит как попытка возродить былое единство ценителей искусства. Но так только выглядит, на самом деле новое единство не могут создать произведения, отворачивающиеся от потребителя. Такое единство могут создать — и создают — великие произведения, великое искусство, перешагивающее все пропасти, потому что оно для всех: и для «избранных», и для масс. Есть такое искусство.

■

Эпика — явление, в котором общество осознает себя как множественность самых разнообразных отношений. Сюжет — попытка изобразить движение. Поэтому эпика вечна, то есть относительно вечна, как вечны культура и цивилизация: пока будет жить на земле человек, будет у него своя эпика.

Форма ее меняется. Она была еще в те времена, куда не простирается память цивилизации. Доисторический охотник, рассказывающий у родового костра — и, дай бог, с преувеличениями — о своих охотничьих подвигах, был чистой воды эпиком; мифы, сказки, легенды; потом — гигантское движение эпики от Гомера до кинематографии.

Из всех искусств эпика наиболее исторична, наименее отделима от эпохи, она теснее прочих связана с естественной и социальной средой. И понять ее нельзя иначе, как только в этой связи.

Роман — современная форма эпики. От эпохи Возрождения и барокко до сего дня, то с научной точностью, то с гениальной интуицией, то как бы с наблюдательной вышки, то из самой гущи перепутанных событий, отражает роман движение общества, все отношения в нем — производственные и любовные, индивидуальные и социальные, их полноту, их недостаток; заключены в романе кружево сентиментальности и резкий холод интеллекта, мифология и философия, религия и наука, телесность и дух, взлеты надежд и горечь разочарований, война и мир, падение и слава. В общем и целом, в исторической соотнесенности это — правдивое зеркало.

Говорят о кризисе романа — одни утверждают, другие отрицают его наличие. Есть ровно столько же признаков в пользу наличия кризиса, сколько и против. И это не главный вопрос, ведь роман — только историческая форма эпики, когда-нибудь он, несомненно, исчезнет совсем. Что мне видится более важным и характерным, так это кризис сюжета в современном буржуазном романе.

Сюжет — признак движения общества. Робинзон Крузо, выброшенный на необитаемый остров,— повелитель и движущая сила собственного сюжета. В известном смысле слова он грюндер: Дефо — писатель грюндерской эпохи. Наперекор тому, что он отрезан от всех социальных отношений, что вначале он поставлен в крайнее, совершенно нетипичное положение, Робинзон Крузо, один из первых selfmademan'ов * в литературе, своими руками, собственным трудом и умением строит типично буржуазные отношения. Он мастерит инструменты, устраивает жилище, обносит его изгородью: кроме большой собственности — острова — есть у него еще собственность в более узком смысле слова. Есть у него животные, есть слуга Пятница и — перспективы, возрастающие с каждым днем: оптимистический сюжет оптимистической эпохи. Именно оптимизм этого сюжета, подлинный, неподдельный, порожденный преобладающим чувством той эпохи, волнует и привлекает все новые и новые поколения. Это — внешний сюжет: отношения между человеком и объективным миром — природой — вот ядро и единственный двигатель сюжета. В нем заключена свобода, свобода действий, свобода человеческого творчества; правда, на эту свободу бросает тень несвобода Пятницы: это свобода основателя царства капитализма.

И как же все изменилось!

Иозеф К.,** занимающий прочное место в отстоявшихся буржуазных отношениях, уже не способен не только строить новые отношения, но даже включить собственное существование в уже наличествующие. Он несвободен, он живет, скованный тяжелыми цепями, которые выковали без его участия, так сказать, в его отсутствие. Он никуда не идет — он блуждает по кругу. Теряет все — и объективный мир, и собственное лицо. Он стремится вырваться из бессмысленных отношений, и трагедия его — в неосуществимости его стремления: суд все равно состоится. Сюжет исчезает, в таком лабиринте сюжет бессмыслен. Все обращено вовнутрь, даже предметный мир, выступающий здесь всего лишь как проекция внутреннего мира героя. Эпика отрицает самое себя. Роман —

* Человек, добившийся всего сам *(англ.)*.
** Герой романа Франца Кафки «Процесс».

но роман ли это еще? — становится философской исповедью, иллюстрацией философского тезиса. Эпик превращается в пророка, проповедника и нередко — как это бывает с пророками — даже в мистификатора. Величайшее преимущество романа — его полифоничность, его многострунность — заменяется монотонностью, с какой отщелкивают на четках молитвы.

Робинзон Крузо и Иозеф К.— крайние примеры: quod erat demonstrandum *. Но постепенное исчезновение сюжета можно проследить не только в промежутке между отдаленными эпохами или между крайне разными писателями; мы найдем этот процесс и в развитии отдельных писателей, и причина тут вовсе не в моде или в снобистских усилиях, а в том, что это — результат глубокого наблюдения над действительностью. Если в «Будденброках» Томас Манн еще сюжетен, если все там еще в непрестанном движении, то в «Волшебной горе» время останавливается, будто и впрямь дальше идти уже некуда. (Это не упрек: я люблю «Волшебную гору», ее спокойное беспокойство, ее мудрую грусть, ее глубокое чувство сострадания и симпатии.) И думается мне, это тоже характерно, что в последней своей книге, в «Феликсе Круле», Манн написал, так сказать, буржуазный сюжет навыворот, памфлет на сюжет.

Итак, сюжет перестает быть самостоятельной стихией, он становится символом, инструментом для выражения единственной навязчивой идеи, которая часто смахивает на одержимость. «Чума» Камю — типичный пример философского эссе, распятого на кресте романного сюжета. (До него это сделал уже Вольтер, в «Кандиде», к примеру. Но это и не выдавали за то, чем оно не было,— за великое эпическое искусство.) Объективный мир тут пропадает, он существует лишь как вспомогательный символ. Все подчинено программному тезису, а под таким бременем эпика умирает. Что же, значит, конец большого буржуазного романа?

Он как будто действительно уходит: с широкообъемлющим эпиком Хемингуэем, для которого сюжет — ядро и смысл; с буйной, нервной доспассосовской эпикой большого города; с темным, почти мистическим сюжетом Фолкнера и великой рекой Томаса Вулфа; с широкими картинами мира у Голсуорси и Роже Мартен дю Гара, с тихой созерцательной эпикой Ибаньеса и стихийной, суровой — Гамсуна, с Томасом Манном, Фалладой и Фейхтвангером... Как будто все умирает или в лучшем случае доживает свой век, доживает главным образом в англо-саксонской прозе. Но где взять сюжет, не воруя? Откуда возьмешь его в отстоявшемся обществе, которое само уже потеряло нить своего сюжета? Как не повторяться в обществе, которое повторяет себя? Невозможность потрясти устоявшийся порядок, устоявшиеся отношения, четкие классовые границы, в которых исправляются уже только мелочи, означает в то же время невозможность взлета и падения для отдельного человека, немыслимость социального сюжета. И вот остаются лишь два рода сюжетов: он и она (или он и он, она и она и т. д.) и — сыщик с преступником. В обоих случаях все уже сказано, тут не скажешь более ничего нового. Поскольку объективная действительность не поставляет достаточного материала для сюжета, проза пренебрегает ею — и обращается к внутреннему миру. Но и там нет неисследованных областей, после Достоевского в этом виде прозы не много нового сказано о человеке. Новы только нетерпимая односторонность, полное пренебрежение объективными отношениями, отрицание сознательного — и подсознание как единственный источник. Интроспекция, изнеженность второразрядной романтики, слюнявые сплетни о человеке. «Participation mystique» *, симпатичная у детей и у примитивов, но смешная у взрослых, разумных существ.

В пренебрежении объективным миром заключено и пренебрежение обществом, то есть буржуазным обществом. Однако пример битников и прочих «сердитых» показывает нам, что мы имеем дело скорее с романтической позой, с кокетством, чем с настоящим спором. Частенько они похожи на озорных детишек, которые со временем исправляются, то есть научаются подписывать чеки. Кризис сюжета существует в новейшей буржуазной эпике, это, конечно, повлияет и на судьбы романа как жанра. Более того, кризис эпики проявляется даже в столь чисто эпическом искусстве, как кинематография. И там, в некоторых экспериментальных фильмах, дело доходит до парадокса: сюжет — это то, чего не произо-

* Что и требовалось доказать *(лат.)*.

* Склонность к мистицизму *(франц.)*.

ВЛАДИМИР МИНАЧ
ПАРАДОКСЫ ВОКРУГ ИСКУССТВА

шло. И сюжет — в том, что ничего не происходит.

Но время от времени что-то да происходит — например, война. Это всегда подстегивает эпику, но какой ценой!

Эпике необходим сюжет; для сюжета необходимо социальное движение; социальному движению нужно пространство, на котором оно осуществляется. Пространство даже в географическом смысле: обратите внимание, большая эпика всегда рождалась в странах с большим пространством, в странах, завоевывавших или открывавших новые земли, или в малых странах, но с самым безбрежным пространством — морем. Движение в географическом смысле — одно из двигателей эпики, экзотика — ее драгоценная приправа. Мелвилл и Лондон, Конрад и Грин; но и молодые советские прозаики, отправляющиеся за полярный круг и в Сибирь, а то и просто в Калугу и Тамбов: эпика несет в себе страсть открывателя, мечту о новом.

Современный образ жизни сузил пространство, которое можно открыть; собственно, его уже просто нет на нашей планете: в конце каждого исследовательского маршрута нас ожидает туристский кэмпинг. Возможность открывать осталась только вне нашей планеты — туда и устремились научные фантасты.

Однако это неподходящая для эпики область. царство ее было и остается на этой земле. Поэтому есть у нее одна лишь возможность — область человеческих отношений, их движение и изменение, их непостоянство и их связанность. Пока жаждет перемен человек, пока он их осуществляет — эпике обеспечено пространство для открытий. Другими словами — пока будет жив человек.

■

Вот мы и подошли к концу, вернее, к началу; без всякого сомнения, все сказанное — не истина, а только кружение вокруг нее: истиной владеют одни безумцы да дети. Меньше всего хотел бы я быть пророком и законодателем, сиречь глупцом. Сомневаюсь, поэтому существую, существую, потому что ищу. Никакого более человеческого — и более коммунистического — определения я не в силах придумать.

Это я говорю для тех, кто подозревает меня во всяких грехах. Я хотел здесь высказать только свою личную правду — могу ли я покушаться на иную? Свое личное убеждение, что выгоды, предлагаемые модернистским искусством (как в его «романтическом», так и «натуралистическом» подобии), весьма проблематичны в аспекте исторических взаимосвязей; что там, где исчезает мир объективных отношений, гибнет и искусство; что тотальный пессимизм освобождает нас не только от нравственных критериев (добро и зло, убийца и жертва, дети в газовых камерах и палач — все это живет в нравственно индифферентной атмосфере), но и от самих человеческих ценностей; что антирационализм современного искусства имеет рациональные, то есть исторические корни; одним словом, что та форма современного искусства, которая так привлекает наших молодых,— не постоянный удел современного человека, а лишь его временная беда.

И далее, что во всем этом абсолютно нет ничего нового, что это только повторение на более высоком витке спирали. Что, например, так называемые «сардонические реалисты», для которых реальность и рок — все самое худшее, жили уже в старозаветных храмах и в римских термах; что отрицатели объективного мира, в просторечии называемые идеалистами, появляются на подмостках цивилизации с определенной периодичностью; что искусство, какой бы ни принимало оно вид,— всегда составная часть и развитие традиции; что как ни странны, как ни случайны повороты современного искусства, как ни многочисленны субъективные случайности, влияющие на его развитие,— их совокупность объяснима и почти закономерна; что, например, нынешние паломничества наимодернейших американцев на Восток, их экспедиции за гашишем и зенбуддизмом (чаще всего, однако, именно за гашишем) — всего лишь бледный отсвет устремлений романтиков. Что задолго до Кафки был Жан-Жак Руссо, было его исступленное и пророческое восклицание: *Вот я, один на свете, нет брата, соседа, друга, нет общества вне меня!*

Интроспекция, граничащая с безумием, безумие, обусловленное действительностью,— все это полными пригоршнями уже поставляли романтики.

(Кстати, о Кафке. Повсюду в мире нас спрашивают: что вы делаете с Кафкой? А мы делаем самое лучшее, что можем и что давно должны бы сделать: издаем его. Насколько я понимаю нашу литературную

общественность, тем дело и кончится. Бунтующие снобы будут удовлетворены, читатели — замучены скукой. Кафка — хороший эссеист, философствующий наблюдатель, но, без всякого сомнения,— не великий эпик. Вот типичный пример современного, то есть искусственного, величия — он велик усилиями своих толкователей. Литература о его творчестве интереснее самого творчества. Он глубже и значительнее, когда мы о нем размышляем, чем когда читаем его. Нет ли в этом чего-то неестественного?)

Итак, sentimiento trágico de la vida—трагическое ощущение жизни, страх, нервозность и истерия, но и жестокость, и садизм (Г. Миллер, Н. Мейлер) тяжелыми, душными тучами повисли над частью цивилизованного мира. Пессимист утверждает: *«Большинство людей живет в тихом отчаянии»*. Но и такой оптимист по природе, как Томас Вулф, принужден пить горькое вино своей эпохи и своего общества: *«Человек родится, чтобы жить, страдать и умереть, и все, что с ним соприкасается,— трагический рок. Отрицать это никак невозможно. Но, дорогой Фокс, мы должны отрицать это, пока мы в пути»*. Смирившийся героизм; смирение героизма, мудрая печаль у лучших; отвратительные ухмылки, безумные жесты; шумный, усталый, тоскливый вечер.

Человек одинок,
И одиноки кусты...

Одинок человек, затерян в непролазной чаще собственного подсознания: нет общества вне меня! Исступленно, жестоко, завораживающе странствие в Дублин современного Одиссея *, оно обличает дьявола и дремлющего зверя, но это странствие по кругу, без начала, без конца, сумасшедшее кружение вокруг собственной оси, оно не приносит очищения от трагизма — лишь открывает переполненное мифами царство безнадежности.

Человек одинок, вырван из взаимосвязей, изгнан из жизни. Нет ему судьи, нет и палача: тому, кто живет в цепях, все дозволено. Все — и ничего, нет уже никаких норм и категорий. Пресловутое «Jenseits voin Guten und Bösen» ** в той же мере следствие деморализации общества, в какой оно причина этой деморализации. Нравственное безразличие стало предпосылкой «высокого» искусства—какое ужасное недоразумение! Какой глупый, какой близорукий протест против девятнадцатого века! До чего явно призывается здесь всеобщая катастрофа!

Человек одинок: он тотально бессилен. Современный индивидуум действительно более или менее бессилен: то, что мы видим,— полное затмение солнца, обломки некой мечты, мифа, иллюзии,— былая буржуазная мечта об индивидуальном человеке. И вот крах индивидуализма выдается за конец света. Уже ничего не ждут, а если и ждут чего, то ничто не приходит.

Говорят: человек, изолированный в искусстве, и искусство, изолированное от общества и человека,— последствия прогрессирующей специализации. Возможно, это отчасти и так. Но искусство, великое искусство, не только механически отражало изменения в действительности — оно возвышалось над ними, именно поэтому оно может смотреть на нас, живое и свежее, из-за ушедших эпох. И сегодня — в особенности сегодня! — не должно бы оно поддаваться давлению. Если специализация в современном обществе чем дальше, тем глубже, если взаимопонимание чем дальше, тем труднее, то единственно искусство призвано и избрано. Оно призвано и избрано ломать преграды, вновь и вновь открывать пути от человека к человеку, от одной изолированной группы к другой, от расы к расе, оно призвано и избрано — и какой иной инструмент имеет для этого цивилизация? — быть посредником, смягчать вражду, исключать недоразумения. Оно призвано хранить целостность человека.

Возможно, я — тупой фантазер. Но не хотел бы я жить без мечты о целостности человека. Возможно, в этом содержится еще старое представление о гуманизме, представление, идущее от прошлого века; пусть так. И несомненно, эта мечта недостижима — тем лучше для человека и для его искусства. Искание, степень исполнения этой мечты есть — для меня — мерило развития цивилизации и ее искусства. Не подсознание, не гипноз неопределенности, не «participation mystique» — вернее, не только. Нельзя низвести человека — разумное существо — до уровня полуавтомата-полуживотного. В человеке действительно заложено все, в том числе неисследованное и неизведанное; но всякая твердолобая односторонность, кажущаяся окончательной истиной, чем-то вроде откровения,— ложь.

Неизбежно во всем мире наступит эпоха,

---

* Имеется в виду «Улисс» Джойса.
** По ту сторону добра и зла *(нем.)*.

которая попытается восстановить разъятого человека, победить разложение. Не сомневаюсь, что это будет эпоха социализма. Ибо нет у цивилизации иного пути. Потрясение, под знаком которого мы все еще живем, которое изменило не только темпы и условия развития социализма, но и глубоко и надолго задело сознание нашего современника,— это родовые схватки. Только дурак может мечтать о прямолинейном развитии. Буржуазии понадобилась по меньшей мере сотня лет, пока она избавилась от детских болезней, казней, массовых преступлений, предательств и реставраций. Первые капиталистические общества — например, кромвелевская Англия — были лишь силуэтом, наброском того, что впоследствии стало всеобщим правилом. В зародыше заключены некоторые черты будущего развития, но — во всяком случае, когда речь идет о развитии общества — далеко не все. Мы не можем сейчас знать все о том, каков будет облик социализма, но мы знаем, что это зависит и от нас. Так вот, социалистическое искусство должно бы стоять на том, чтобы облик этот был создан по образу человека всестороннего, мудрого и свободного, словом, оно должно бы отвоевывать условия для возрождения целостного человека. Вот задача, и — да! — вот служение: служение человеку, братству людей.

Перевод со словацкого Н. АРОСЕВОЙ

ТОРЖЕСТВО РАССКАЗА

(Письмо из Дании)

Год 1965 стал годом торжества рассказа в датской литературе. Хотя давно было очевидно, что у молодых датских новеллистов дела обстоят неплохо,— все же обилие интересных сборников новелл, вышедших в этом году, поразило всех.

Речь идет не только о появлении мастеров новеллы, отличных знатоков этого немногословного, емкого и трудного жанра. Главное — это новые черты, которые можно различить в некоторых из вышедших сборников как в области содержания, так и в области формы. Особенно характерными в этом отношении представляются мне «Теплица» 28-летнего Андерса Бодельсена и «Приют» 26-летнего Кристиана Кампманна.

Ни тот, ни другой не страдают боязнью, характерной для многих молодых датских писателей-экспериментаторов, опасающихся, что их личный опыт окажется недостаточно значительным,— как будто так уж необходимо во что бы то ни стало прятаться за абстракции и фантастические вымыслы. В основе их рассказов лежат действительные и на первый взгляд незначительные происшествия. И все же эти рассказы раскрывают существенные черты тех лет, той среды и того поколения, к которым принадлежат Бодельсен и Кампманн.

Есть логическая связь между всеми четырнадцатью новеллами, вошедшими в сборник «Теплица»,— начиная с рассказа об играх двенадцатилетних подростков, спрятавшихся в запретной теплице, и кончая повествованием о попытке тех же героев — пятнадцать лет спустя — изобрести по случаю рождественского праздника какие-то особо рафинированные развлечения. Во время рождественского кутежа эти люди, взращенные так называемым «государством всеобщего благоденствия», молодые датские обыватели, задумали, потехи ради, обменяться женами. В эту компанию, куда входит также одна разведенная особа, попадает португальский журналист, изгнанный с родины за свои политические взгляды. Его образ противопоставлен всем прочим персонажам, чьи поступки повергают его в изумление,— он видит, что эти люди обеспечены материально, но за материальным довольством, которым так кичится «государство всеобщего благоденствия», кроется страх, неуверенность в завтрашнем дне. Молодые люди сами чувствуют, что они не достойны своих предшественников, у которых было более широкое поле деятельности и весомые идеалы, требующие защиты и борьбы. Герои сборника хотели бы стать ближе к окружающей их действительности. Воздействие событий оккупационных лет еще ощутимо, но эти события уже не включены непосредственно в личный опыт героев. Автор наблюдает за своими персонажами не с насмешкой, а с благожелательной иронией. И в этой особой авторской позиции, без сомнения, заложена надежда на будущее.

В построении новелл чувствуется уверенная писательская рука. То же прочное мастерство мы встречаем в сборнике рассказов Кристиана Кампманна. Но если прежде этот молодой автор грешил холодным или попросту равнодушным отношением к тому, что описывал, то в новом сборнике несравненно сильнее выражено авторское сочувствие героям, хотя писатель в целом рисует довольно мрачную картину человеческих отношений. Недаром один из персонажей сборника восклицает: «Отчего, черт побери, так трудно человеку общаться с другими людьми?»

Кампманн отказывается наделить своих персонажей теми героическими чертами, которых он не видит в жизни. Он подчеркивает их эгоистическую отгороженность от внешнего мира, готовность к компромиссам. Одни порывают с этим образом жизни, другие приспосабливаются к нему, как, например, датская супружеская пара,

приезжающая в Америку и принимающая «американизацию» как благо. Рассказы Кампманна — это реалистические картины того разлада между человеком и окружающей его действительностью, который безусловно характерен для капиталистического общества и прежде всего для его среднего сословия (а Кампманн особенно хорошо знаком именно с этой частью датского общества). Никто до него с такой достоверностью не описывал камерность мирка обывателей. Однако Кампманн серьезно относится к помыслам своих героев сблизиться с другими людьми и рисует их с сочувствием, далеким от всякой сентиментальности.

Та же позиция в принципе характерна и для молодого поэта Бэнни Андерсена, дебют которого в жанре рассказа — только что вышел в свет его сборник «Подушки»— явился для нас крупным и радостным событием. Снова перед нами — писатель, уверенно идущий своим путем, не обращая внимания на модную «литературу загадок», не нуждающийся — самопознания ради — ни в мистическом тумане, ни в каком-либо украшательстве. Он ощущает живую связь со своими современниками и пишет о том, что видит. Повествует он о людях бесхарактерных, робких, неуверенных в себе и потому покорных, позволяющих другим распоряжаться их жизнью. Бенни Андерсен — тонкий психолог и блестящий рассказчик, мастерски владеющий языком.

Картины «отчуждения» человека, изображение быта обывателей, их бескрылого существования, ведущего к духовной смерти, мы находим также в одном из немногих выдающихся романов этого сезона — в книге Ханса Люнгбю Епсена «Деревья». Епсен тоже принадлежит к тем писателям, которые отказываются следовать новой литературной моде. Он упорно продолжает традицию «старого» романа и строит свое творчество на прочном фундаменте. В основе сюжета романа — классический «треугольник»; люди живут, на первый взгляд, в уюте, довольстве и покое, но автор заставляет задуматься над вопросом «На что вы тратите свою единственную жизнь?» — и делает это с тонким и волнующим мастерством.

Люнгбю Епсена знают в Советском Союзе, где ему не раз случалось бывать как председателю датского Союза писателей. Он изложил свои впечатления от путешествия в эту страну в увлекательной книжке.

Другой датский писатель, еще лучше известный в Советском Союзе,— я имею в виду Ханса Шерфига — также недавно выпустил в свет сборник своих путевых очерков «У киргизов», иллюстрированный собственными рисунками. Это гимн советской республике, о которой в Дании до сих пор знают слишком мало.

Шерфиг недавно издал также сборник своих эссе под названием «Беспорядок в природе». Широкие познания Шерфига в разных областях и его богатый жизненный опыт удачно сочетаются в этой книге. Его суждения о жизни, изложенные удивительно чистым и ясным языком, пронизаны боевым сатирическим духом, добрым юмором и зиждятся на непоколебимой классовой принципиальности. Шерфиг-сатирик, как никто умеет заострять проблемы. Его категорическое неприятие модернизма вызвало оживленные споры даже в кругах его политических соратников.

В Дании в общем не так уж много писателей-философов. Один из них — Таге Восс — выпустил сборник своих эссе «Путь между двумя рубежами», книгу, активно способствующую пробуждению мысли. Восс — не только писатель. Он работает врачом на крохотном островке Кристиансё около Борнхольма. Соединение писателя и врача в одном лице соответствует давней традиции, и это закономерно: по своей профессии врачи постоянно общаются с людьми, и их мысли всегда подкреплены серьезным практическим и конкретным опытом. А рубежи, о которых пишет Таге Восс,— это рождение и смерть. Два реальных факта, о которых современные жители европейского Запада стараются пугливо не думать. Люди цепляются за собственное «я», цепляются за вещи, окружающие их. Но за этот культ вещей они расплачиваются ужасающей духовной нищетой. Таге Восс ставит под сомнение слепую веру в то, что материальный прогресс автоматически делает людей умнее и счастливее. Книга Таге Восса — это критика обывательского индивидуализма. Автор учит читателей рассматривать свое «я» не как нечто изолированное, а как часть более крупного целого. Тогда наше «я» приобретает большее значение и масштаб, а индивидуальная жизнь — более прочную основу.

Таге Восс и автор этих строк — два коммуниста, входящие в число участников сборника очерков, выпущенного в свет издательством Гюльдендал. Редактор этого сборника — Эрик Ваги Енсен — охарактеризовал наши работы как «важные выступления представителей левых кругов по вопросам культуры». В сущности, это антология, в которую вошли очерки и статьи, опубликованные за последние годы в газетах и журналах, а также стенограммы публичных лекций и выступлений. Эти материалы справедливо были расценены как убедительное свидетельство активизации левых сил. Книга получила несколько туманное название: «Новый радикализм», что побудило одного из ведущих представителей буржуазной датской партии радикалов обвинить издателей в «подтасовке». Судя по всему, он хотел бы закрепить за своей партией патент на слово «радикал», хотя эта партия давным-давно погрязла в болоте оппортунизма.

Конечно, участвующие в антологии авторы не являются единомышленниками. И все же название книги можно было бы взять под защиту, если под «радикализмом» понимать критическое отношение к действительности, в соответствии с традицией, установившейся в кругах датской интеллигенции со времен Брандеса. «Новым» следует считать интерес к социализму, на-

шедший свое выражение на страницах книги,— такого жгучего интереса не было заметно в 50-е годы, справедливо прозванные «годами молчания», когда атмосфера холодной войны глушила и парализовала обмен мнениями в кругах интеллигенции. Современную дискуссию по вопросам культуры можно сравнить разве лишь с аналогичными спорами 30-х годов. При всем различии статей, включенных в книгу, общим для них является стремление уйти от стандартных оценок и упрощенной проблематики, понимание возросшей сложности современных проблем в сравнении с тридцатыми годами. Тогда главную угрозу представлял открытый фашизм, теперь же мы часто сталкиваемся со скрытым фашизмом, прячущимся под нарочито демократической маской.

Новый и обнадеживающий момент состоит в том, что рост левых сил, о котором свидетельствует появление этой книги, связан с растущим осознанием неполноценности любой радикальной концепции, отрицающей необходимость преобразования общества на социалистических началах или хотя бы коренных реформ социалистического свойства. Именно это обстоятельство — а не спор вокруг названия книги — способно объяснить то раздражение и недовольство, которые вызвал сборник в иных кругах, готовых порой выступить с поверхностной критикой нашего общества, но страшащихся выводов, напрашивающихся из этой критики!

Я нарисовал бы неполную и недостаточно объективную картину литературной жизни Дании, если бы умолчал о том, что одновременно со всем сказанным выше сенсацией на книжном рынке явилась новая волна порнографической литературы. Очевидно, что множество изданий как старых (например, произведений маркиза де Сада), так и современных порнографических книг (в создании которых участвуют даже серьезные, уважаемые датские писатели) продиктовано прежде всего коммерческими соображениями. Но бойкий сбыт этих книг, их огромные тиражи невозможно объяснить только коммерческими причинами. Даже датский фолькетинг вынужден был заняться вопросом об отмене запрета на порнографическую литературу, содержащегося в уголовном кодексе. Во всяком случае, таково требование народно-социалистической партии. Обосновывается это требование ссылкой на произвол властей, подчас запрещавших, как порнографические, книги, которые отнюдь не представляли бóльшей опасности, чем многие другие издания, публикация которых разрешена. К тому же случайные и непоследовательные запреты властей, как и возбуждение ими судебных дел против отдельных фирм, специализировавшихся на издании подобной литературы, вызывают лишь благодарность со стороны издателей, радующихся желанной рекламе, столь важной в условиях острой конкуренции на рынке порнографических книг. Для буржуазных либералов борьба за «сексуальную революцию» часто служила удобным предлогом, чтобы отвернуться от серьезных общественных проблем,— вот почему сегодняшний бурный спор о пользе или вреде порнографии производит до известной степени впечатление искусственного. Трудно сказать, чем вызван спрос на порнографию. Но есть основания думать, что повышенный интерес многих датчан к порнографическому суррогату есть результат одиночества человека в нашем «отчужденном» обществе. Кто знает, быть может, это — еще один симптом, свидетельствующий о недостатке или отсутствии истинно человеческой солидарности в известной своим холодным климатом империи капитала?

г. Копенгаген

Эрик Даниэльсен

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

«ЛИСЬИ ХВОСТЫ» РОБЕРА ЛАКОНТРА

Семьдесят седьмой год пошел с тех пор, как французская журналистка Нелли Блей совершила свое сенсационное путешествие вокруг света. Она объехала земной шар всего лишь за 72 дня и по возвращении в Париж получила восторженную телеграмму от великого фантаста:

«Я никогда не сомневался в успехе Нелли Блей. Она доказала свое упорство и мужество. Ура в ее честь! Жюль Верн».

Путешествие Нелли Блей, быть может, и вдохновило Жюля Верна на создание романа «Клодиус Бомбарнак». На эту мысль меня наталкивает то, что роман был выпущен в свет через три года после путешествия журналистки парижским издателем Этцелем. К тому же один из героев книги мечтает побить рекорд Нелли Блей.

Клодиус Бомбарнак — такой же журналист и странствующий репортер, как и Нелли Блей.

По заданию своей газеты «XX век» он совершает путешествие по Туркестанскому краю, от Каспийского моря до Китая. Все увиденное Бомбарнаком во время странствия легло в основу книги Жюля Верна. И, если я не ошибаюсь, этот роман является первым художественным произведением французской литературы, посвященным жизни народов Средней Азии.

Конечно, Клодиус — плод фантазии великого писателя, никогда не бывавшего в наших краях. Но тем не менее у меня по сей день вызывает изумление та правдивость, с которой автор описал историю, памятники материальной культуры наших народов, природу нашей земли. Меня восхищает прозорливость автора, сумевшего точно предвосхитить трудности строительства Транссибирской железной дороги, которая на самом деле (Турксиб) была возведена намного позже. С благодарностью я ощущаю любовь и уважение автора к народам Средней Азии и Казахстана, его стремление быть точным и объективным в описании жизни и древних городов, и неприметных аулов, кишлаков, станций, разбросанных в песках, в долинах гор, в степях.

Читатели Парижа получили роман Жюля Верна в 1892 году. С той поры в Средней Азии и Казахстане побывало немало французских путешественников, социологов и экономистов, географов и журналистов. Приезжали они и до и после Октябрьской революции.

О казахах, киргизах, каракалпаках, таджиках, туркменах и узбеках, населяющих этот обширный край, написано немало книг. И если когда-то великий фантаст, создавая свой роман «Клодиус Бомбарнак», мог пользоваться (я убежден в этом) лишь «Историей Востока до персидских войн» Франсуа Лонермана да еще кое-какими скудными сведениями, почерпнутыми из ведомостей и отчетов, то теперь любой француз может составить объективное мнение о прошлой и сегодняшней жизни среднеазиатских народов, даже не роясь в архивах, а пользуясь общедоступной литературой. Мог это сделать и господин Робер Лаконтр, чье выступление на страницах «Фигаро» заставило меня вспомнить о Нелли Блей и о Клодиусе Бомбарнаке, хотя вряд ли между ними и репортером из «Фигаро» есть что-то общее.

Нелли Блей, по словам Жюля Верна, «доказала свое упорство и мужество», Клодиус Бомбарнак добросовестно, не теряя объективности, выполнил задание газеты «XX век».

Что же касается господина Лаконтра, то о нем не скажешь ни того, ни другого. Проехав на «волгах» и пролетев на ИЛах минувшим летом по Средней Азии и Казахстану, он опубликовал в «Фигаро» статьи под общим заголовком «30 дней на земле Советского Ислама», менее всего позволяющие назвать их итогом наблюдений объективно-

го репортера. Мой коллега из «Юманите» французский журналист Жан Канапа дал обстоятельный комментарий к этому лживому «свидетельству». Полностью присоединяясь к его выступлению, я бы хотел остановиться лишь на одном «тезисе» господина Лаконтра.

Он пишет, что после Октябрьской революции

«для того, чтобы усилить национальные чувства у казахов, узбеков, таджиков, киргизов и туркмен, профессора извлекли из старых архивов литературные имена, которые до сих пор были **совершенно не известны** (подчеркнуто мной.— А. А.), и сделали из них «национальных» героев, знаменитостей, которым тотчас было приписано мировое значение. Даже «аннексировали» персидских мыслителей и философов, таких как Абу Али Ибн Сина, которого также называли Авиценной, Фирдоуси или Махтумкули, и разделили их между узбеками, таджиками и туркменами...»

«Вокруг этой действительности был создан мир фикции,— продолжает он,— мир мечты: поддельный фольклор, поддельные танцы, музыка, театр...

У цензоров не было даже необходимости выбрасывать из этих искусств то, что там было раньше. Раньше там ничего не было».

Не было — и все тут. Хотите верьте, хотите нет. Одним росчерком пера господин Лаконтр сводит на нет труды и исследования многих поколений европейских, в том числе и французских востоковедов, восхищавшихся древностью цивилизации народов Средней Азии и Казахстана, посвятивших свой ум и талант изучению богатейших произведений их устного творчества, изучению поэтического наследия такого величайшего поэта, как Рудаки, и философских трактатов такого ученого-мыслителя, как Абу-Наср Мухамед Фараби, еще при жизни названного «вторым учителем» — вторым после Аристотеля...

Зря старались ученые мужи! Ничем не докажешь господину Лаконтру, что Рудаки — это Рудаки, что он родился и умер в кишлаке Пянч-Рудак в таджикских горах. Что слово «Фараби» означает название города, в котором родился и долгие годы жил величайший философ Востока Абу-Наср Мухамед, и что этот город — Фараб — находился на территории нынешней Казахской республики. Что поэт Рудаки и философ Фараби жили в IX—X веках и являются сынами народов Средней Азии и потому не могут быть «неизвестными» для них. Они не могут быть «неизвестными» еще и потому, что один из них писал свои стихи на языке, который был прародителем современного таджикского языка, другой изъяснялся на древнекипчакском, являющемся основой современного казахского языка... Я был в местечке Афшан близ Бухары, где родился и жил Авиценна, не раз посещал мавзолей Рудаки в горах и стоял у стен старинного медресе в Хиве, где когда-то учился Махтумкули. У всех этих святынь мог побывать и репортер из «Фигаро», твердящий об иноземном происхождении Авиценны и Махтумкули.

Но не будем стучаться в открытую дверь и перечислять факты, известные каждому студенту, интересующемуся историей.

Дело ведь не только в том, что господин Лаконтр не знает или не хочет знать историю мысли, историю культуры и искусства народов Средней Азии и Казахстана (невежество порой прощают, с невеждами не спорят), а в том, что Робер Лаконтр не может скрыть своего презрения к этим народам.

Разглагольствуя о «советском колониализме», этот господин старается представить дружбу и союз наших народов в чисто колониалистском, расистском виде. Русских людей, живущих в Казахстане, он называет «малыми белыми» — определение, взятое из арсенала расистов Южной Америки. Свои «выводы» о «русском колониализме» он пытается обосновать тем, что народы Советского Союза общаются меж собой на русском языке, а затем курсивом подчеркивает свои слова о том, что якобы в Средней Азии «иерархия языков соответствует иерархии рас»... Позиция, вполне достойная воинствующего расиста, не способного понять разницу между мнимой «иерархией рас» и подлинной дружбой народов.

Господин Лаконтр даже не задал себе вопроса: а может ли какой-либо народ, какая-либо нация жить без своих песен, без танцев и музыки, без чарующих легенд о добре и зле, о счастье и любви? Есть ли на земле такое племя, которое не знало бы, что такое искусство, которое не умело бы смеяться и плакать, не умело бы воплощать в камне, в дереве, в глине и в мраморе свои мечты и чаяния?!

Что же касается народов Средней Азии и Казахстана, то они, так же как и французы, издревле умеют любить, умеют ценить хорошие песни, огненные танцы, душевную музыку. Об изумительных по красоте танцах Хорезма пишут с древнейших времен до наших дней, памятниками архитектуры Бухары, Самарканда, Хивы, Туркестана — древнейших городов Средней Азии и Казахстана — восхищаются по сей день. Звездной картой Улугбека пользуются астрономы всего мира, так же как и математическими формулами Хайяма, Абу Раихана, Хорезми, так же как открытиями Авиценны и Чокана. О песнях степей слагают легенды.

Вот что, например, писал великий француз Ромен Роллан по поводу одной из казахских народных мелодий:

«Я... был поражен силою трогательного настроения... призывной силой песни, которая воссоздает образ города на Сыр-Дарье,— этим цветением прекрасных и здоровых мелодий, украшающих степь».

Подлинник этого письма хранится в Центральном государственном музее музыкальной культуры имени М. Глинки, и Робер Лаконтр, твердящий о поддельности музыки народов Средней Азии и Казахстана, может прочесть это своими глазами, если, конечно, не усомнится в искренности Ромена Роллана.

Кстати, корреспондент «Фигаро» за время своего 30-дневного пребывания в наших республиках вполне имел возможность полистать в наших академиях древние рукописи среднеазиатов, послушать оркестр казахских национальных инструментов имени композитора Курмангазы Сагирбаева или посетить театры в Душанбе, Ташкенте, Ашхабаде, Фрунзе. Тогда, быть может, он все-таки постеснялся бы утверждать, что музыка казахов, узбеков, туркмен, таджиков, киргизов и каракалпаков вышла «прямо из голов русских композиторов, которые сумели Великий Север приспособить к арабескам Юга».

Не для Робера Лаконтра, а для редакции газеты «Фигаро» я хочу процитировать строки, написанные о казахской опере тридцать лет назад замечательным русским прозаиком Алексеем Толстым:

«Я пошел на спектакль «Ер-Таргын» с немалой долей недоверия.

Еще бы: театр «провинциальный», из Алма-Аты, или, по прежнему, дореволюционному, из города Верного, о котором знали только, что там постоянные землетрясения...

Мое недоверие к казахскому театру усугубилось еще тем, что я только что видел, например, парижские театры...

И с первых же тактов народной казахской музыки, с первых движений актеров, с первых звуков их голосов — и страстных, и пленительных — чувствую, как рушатся мои предрассудки.

Передо мной и театр, и что-то большее, чем театр,— раскрываются глаза. Доверчиво, с благодарностью и восторгом. Раскрывается то, с чем мы воспринимаем подлинно редкое, золотое искусство.

Вот они, первые дары великой сокровищницы Азии. Это ответ всему по ту сторону СССР лежащему миру о решении задачи человеческого счастья.

Это наша общенациональная гордость...»

Слова эти многое и о многом говорят, отнести их можно не только к искусству моего народа, но и всех народов Средней Азии.

Сколько бы «лисьих хвостов», которые якобы должны лежать в люльках рядом с детьми киргизских чабанов и демонстрировать грубость, невежество, дикость целого народа (чего не придумаешь ради сенсаций!), ни отыскали роберы лаконтры в своих «вояжах», подобные «поиски» продемонстрируют лишь одно — собственную дикость, грубость, невежество.

Ануар Алимжанов

г. Алма-Ата

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ LSD

Я не люблю боя быков. Не только в документальных фильмах, но даже в описаниях Хемингуэя коррида производит на меня гнетущее впечатление. И поэтому, когда я увидел недавно в парижском еженедельнике «Ар» сатирический рисунок, на котором матадор и бык танцуют под аккомпанемент джаза, сжав друг друга в объятиях, я подумал, что было бы неплохо, если бы когда-нибудь состязания в силе и ловкости на аренах Испании превратились в такой дружеский перепляс.

Прочитав, однако, напечатанную на той же странице беседу известного американского социолога Вэнса Пэккарда и французского журналиста Жана Марабини, я узнал, что, как ни странно, рисунок в какой-то мере отражает нечто имевшее место в действительности. В беседе речь зашла об опытах американского профессора Дельгадо, испанца по происхождению, который... Впрочем, вот как об этом говорит сам Пэккард:

...«Этот испанец произвел подлинный скандал, прикрепив свои знаменитые крошечные электроды ко лбу чистокровного быка. Затем, усевшись на скамье стадиона, как самый обыкновенный зритель, почтенный профессор «телеуправлял» быком, выступавшим против известнейших матадоров. Он по собственному желанию то приводил быка в бешенство, и он становился подвижным, отважным, то делал его нерешительным и трусливым. Эта маленькая басня — которая, однако, не басня, поскольку речь идет о действительно производившемся опыте — дает очень точное представление о размере новой опасности, угрожающей человечеству».

Что же беспокоит американского социолога? В чем он усматривает опасность, угрожающую человечеству? Пэккард задумывается над тем, что произойдет, если подобного рода опыты будут в массовых масштабах производиться над людьми. Он опасается, что в таком случае

«какая-нибудь группа людей сможет превратить человечество в два или три миллиарда пассивных индивидуумов, которые будут лежать и предаваться эротическим мечтаниям».

Чтобы несколько успокоить тех, кого эта перспектива способна привести в замешательство, Пэккард сообщает, что

«опыты наших ученых над человеческим мозгом, к счастью, находятся пока еще в самой начальной стадии...»

Боюсь, что в данном случае весьма компетентный социолог или не совсем в курсе всех аспектов затрагиваемой им проблемы, или предпочитает некоторых из них не касаться.

Совсем недавно «Фигаро», ссылаясь на английскую газету «Дейли мейл», утверждала:

«В настоящий момент в Великобритании производятся опыты с вызывающим галлюцинации наркотическим веществом, которое можно использовать как новое оружие, способное доводить солдат противника до умственного возраста грудных детей... Этот наркотик LSD абсолютно бесцветен, не имеет запаха и вкуса, обнаружить его с помощью обычно используемых приемов чрезвычайно трудно».

Можно было бы напомнить Вэнсу Пэккарду, что не далее как весной минувшего года американцы применили сходного типа отравляющее вещество BZ_7 во Вьетнаме. И тогда министр обороны США Роберт Макнамара на спешно созванной в Белом доме пресс-конференции втолковывал журналистам, которым надлежало «успокоить» мировое общественное мнение, что это вещество выводит солдат противника из строя всего на два-четыре часа и применяется американцами с самыми похвальными намерениями... «гуманизировать войну».

Не правда ли, довольно чудовищное словосочетание? Но оно напоминает мне о том, что в данном обзоре я собирался не выходить за пределы собственно «гуманитарных» областей и ограничил свою задачу лишь проведением некоторых напрашивающихся параллелей между лихорадочными поисками новых способов механического воздействия на человеческое сознание и аналогичными изысканиями в области так называемой «массовой культуры», где стремятся добиться тех же эффектов LSD, но с помощью традиционных средств — книг, кино, телевидения. По правде говоря, даже несколько странно, что Вэнс Пэккард, автор замечательной книги «Скрытые советники», где он блестяще исследует, как реклама управляет сознанием людей в Америке, ныне, предупреждая об опасности «телеуправления», не замечает, что речь может идти лишь о смене технической базы, на которой строится подобного рода власть над умами, а никак не о чем-то качественно совершенно новом.

Мне думается, что западногерманский поэт и эссеист Ганс Магнус Энценсбергер, опубликовавший летом минувшего года статью «Индустрия культуры», подходит гораздо ближе к истине, когда он пишет:

«Промышленность по обработке умов является продуктом последних ста лет. Эта промышленность развилась так быстро и в таких разнообразных формах, что явление, взятое в целом, до сих пор мало понято и почти необъяснимо Правда, теперь оно завораживает и тревожит нас, но споры, обычно вызываемые им, ведутся не на уровне предмета, так как не способны охватить его как нечто единое. Каждая очередная ветвь этой промышленности порождает очередные споры и очередные нападки, словно такие явления, как звуковое кино или телевидение, несут в себе нечто существенно новое. Однако на самом деле природа того, что принято называть средствами массовой информации, не может быть выведена из их технических данных и условий».

Это совершенно справедливые замечания, но, мне кажется, игнорировать новые технические данные и условия ни в коем случае не следует, так как иногда, благодаря их изменениям, отчетливее обнажается сущность явлений, более скрытая при других данных и условиях. Как бы далеко ни отстояли друг от друга опыты по управлению человеческим сознанием с помощью электроники, подавлению его наркотиками типа LSD или BZ_7 от способов приготовления определенного рода литературной продукции, широко выбрасываемой на книжные рынки Запада, мы имеем дело с где-то очень сходными приемами того, как «брать быка за рога», как превращать людей или в грудных младенцев, или в пассивных индивидуумов, «предающихся эротическим мечтаниям».

Какого характера электроды надо прикрепить к челу читателя, чтобы он погрузился в мир видений, описанный, ну, хотя бы в такой книге, как «Ты, моя ночь» Жака Стернбера, вышедшей недавно в Париже? Вот что пишет, рекламируя ее, «Фигаро литтерер»:

«...Представьте себе вслед за автором, что мы накануне 2000 года и что мир целиком во власти того, что мы обычно стыдливо называем любовью. Весь образ жизни, кино, реклама, рестораны — все устроено и осуществляется таким образом, чтобы возбуждать и удовлетворять самые многочисленные желания любви. И словно земных женщин уже недостаточно, можно обратиться к жительницам других планет — кальцидианкам, дрюгинкам с глазами то зелеными, то желтыми, эфемерийкам, умирающим от наслаждения, и триффузийкам, чьи особые качества описываются одно за другим. Ничего не ускользает от эротизма 2000 года: порнографичны даже игрушки и торты, а «Белоснежка и семь гномов» стала . непристойной картиной».

Вероятно, надо изрядно надышаться LSD, чтобы попасть во власть таких «галлюцинаций», которые начинают преследовать читателя с первых же страниц романа «Руки Мэри Констэбл» американского писателя Поля Гелликоу. Тот же услужливый «Фи-

гаро литтерер» сообщает читателям все подробности злополучной судьбы профессора Констэбла, создателя некоего абсолютного оружия и, разумеется, жертвы «русских», которые с помощью спиритизма опутывают несчастного ученого с головы до ног.

Можно подумать, что таинственная «рука Мэри Констэбл» управляет с того света не только поступками своего отца, но одновременно указывает и «Фигаро литтерер», на какие книги следует печатать рецензии. Не прошло и пяти-шести номеров, как еженедельник опубликовал такой же «завлекательный» отзыв на роман английского писателя Дональда Гордона «Цель — Красная площадь».

...«Правительство Советов,— доверительно сообщает «Фигаро литтерер»,— в точно назначенное заранее время направляет в Гайд-парк ракету с угрожающим и в иронических выражениях составленным письмом — на самом деле речь идет об ультиматуме, адресованном премьер-министру. В письме ультимативное требование к Великобритании: либо подчиниться СССР, либо доказать, что она способна, в свою очередь, направить ракету на Красную площадь с тем, чтобы эта ракета достигла цели после того, как преодолеет систему заграждения, которая считается непроходимой. Но шпионы не дремлют...»

Не дремлют и издатели. Хотя они и заняты общим делом оболванивания читателей, это не мешает им вести между собой войну за рынки сбыта и стараться отбить друг у друга наиболее доходных авторов. Две последние названные мною книги вышли в парижском издательстве «Плон». В конце прошлого года «Плон» одержал крупную «победу»: он переманил на свою сторону Джеймса Гэдли Чэйза, одного из корифеев «Черной серии» издательства Галлимара. Имя этого автора говорит вам, вероятно, немного. Но в переводе на язык цифр оно означает 57 названий книг, вышедших общим тиражом в 5 080 000 экземпляров.

«Перебежчик» стал на какое-то время «героем дня»: еженедельник «Нувель обсерватёр» напечатал его портрет и посвятил ему целую страницу. Очень любопытны сведения, сообщаемые о себе этим поставщиком массового чтива. Он явился в «Плон» не с пустыми руками. «За последние тринадцать месяцев,— хвастает Чэйз корреспонденту «Нувель обсерватёр»,— я написал три романа. Два из них — шпионские истории, потому что это хорошо продается...» И отбивая хлеб у будущего рецензента из «Фигаро литтерер», автор так резюмирует свою первую книгу, которая появится в новом издательстве:

«Идея романа — соперничество трех шпионов: русского, китайского и американского, сталкивающихся с массой приключений и с женщиной, совершенно ослепительной, но полностью лишенной памяти. На ее теле вытатуированы три китайских иероглифа, которые в действительности представляют собой инициалы крупнейшего в мире ученого-атомника. Поскольку у этого ученого была привычка отмечать своими инициалами все, что ему принадлежит, все три шпиона приходят к выводу, что женщина — его любовница. Начинается борьба за то, чтобы обнаружить, где скрывается ученый... Американский шпион Джэйрлэнд увозит женщину в деревню на юге Франции и выдает себя за ее мужа (в том числе и ей самой, поскольку у нее нет памяти), одновременно пытаясь выведать, где нашел убежище ее любовник — ученый... Такова общая идея».

Над такой «общей идеей» можно было бы, разумеется, только посмеяться, но когда подумаешь о том, что Чэйз сбывает свою продукцию миллионными тиражами, то становится вовсе не смешно. Абсолютный идиотизм этой «общей идеи» лишь подчеркивает реальный размер огромной опасности, которую несут в себе подобные образчики так называемой «массовой культуры». Я преувеличиваю? Нисколько. Мне просто вспоминаются слова известного французского ученого Жана Ростана:

«Опасно не то, что столько людей верит в астрологию, а то, что они судят о серьезных вещах мозгами, верящими в астрологию».

В наши дни те, кто верит в астрологию, могут и не поднимать глаза к небу, в этом нет необходимости: гороскопы печатаются на последних страницах всех массовых иллюстрированных журналов. Но, как метко заметил французский критик Жан-Франсуа Ревель, рецензируя только что вышедшую книгу Альфреда Сови «Мифология нашего времени», «небо современного мира — это информация». К этому «небу» люди обращают свой взор постоянно, порой совершенно не ведая о том, кто «зажигает звезды», кто составляет созвездия, кто заволакивает их туманом. Информация об окружающем мире, которую получает западный читатель из упомянутых в этом обзоре книг, такова, что он оказывается во власти всякого рода мифических представлений о действительности и в силу этого способен вести себя на арене жизненной борьбы совершенно так же, как бык, управляемый профессором Дельгадо, то есть вне всякой связи с подлинной ситуацией, в которой он находится.

Кому это выгодно? Джеймс Гэдли Чэйз, несомненно родившийся под созвездием LSD, откровенен.

«Я консерватор,— говорит он,— потому что у меня есть деньги и я их охраняю, как делают все, кто их имеет».

Министр обороны США уверяет, что он, применяя BZ_7, охраняет... свободу. Господин Чэйз получает деньги за то, что создает читателей с мозгами, способными поверить господину Роберту Макнамаре.

Н. Разговоров

КРУГЛЫЙ СТОЛ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Поэты о поэзии

Поэты из многих социалистических стран съехались в Москву для участия в десятом Дне поэзии. Редакция журнала «Иностранная литература» пригласила зарубежных гостей к себе, и здесь состоялась одна из их встреч и бесед с советскими коллегами.

Разговор начал вступительным словом член редколлегии журнала поэт ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ.

— В конце 1965 года московская общественность провела десятый День поэзии,— сказал Евг. Долматовский.— Я помню, как он начинался: в 1955 году московские поэты в ответ на сетования книготорговцев о том, что поэзию мало читают и книжки стихов не раскупаются, в одно из воскресений отправились в книжные магазины и встали за прилавки. За два часа все книги стихов с автографами были распроданы. Сотни посетителей магазинов слушали выступления поэтов. День поэзии понравился москвичам. На следующий год он вышел за рамки книжных магазинов, литературные вечера и книжные базары проводились во дворцах культуры и концертных залах. В последующие годы праздник стал еще шире — его ареной стали улицы и площади Москвы, радио, телевидение.

За десять лет этот праздник культуры получил широкое распространение и признание. Дни поэзии стали проводиться в столицах республик Советского Союза, в Ленинграде, Орле, Туле, сибирских городах. Ежегодно к этому дню выпускается большой альманах. День поэзии проводится теперь и в некоторых зарубежных странах — в Югославии, Болгарии. Примерно тогда же, когда шел десятый День поэзии в Москве, большая группа советских поэтов выступала в Париже.

Гостями десятого Дня поэзии в Москве были поэты из разных городов, из республик Советского Союза. Приехали гости и из других социалистических стран. Они выступали на вечерах, по радио и телевидению, встречались с читателями в клубах и библиотеках, на заводах и в подмосковных колхозах. Они совершили поездку по нашей стране.

Надо полагать, что постепенно День поэзии станет международным праздником культуры. Слово «день» уже не совсем точно характеризует этот праздник — литературные встречи 1965 года продолжались около двух недель.

Редакция «Иностранной литературы» пригласила к себе зарубежных участников Дня поэзии 1965 года. Собраться всем вместе оказалось не так-то просто — наши гости были загружены встречами и выступлениями. Все же многие из них нашли время для посещения редакции вместе с известными советскими поэтами и переводчиками.

Эта беседа — не первое наше знакомство. К счастью, в последние годы поэты социалистических стран чаще встречаются, активнее переписываются, больше переводят друг друга. И все же эта общая встреча оказалась знаменательным событием. Мы почувствовали необходимость чаще собираться вот так, всем вместе, потому что дело, которому мы все служим, не только

сугубо личное дело каждого из нас, но и общая наша забота. Хочется верить, что встречи поэтов социалистических стран и вообще международные встречи поэтов умножатся и станут доброй традицией.

Разговор поэтов всегда интересен и многопланов. Но наша беседа была ограничена коротким временем, отнятым у других встреч и выступлений, и поэтому редакция была вынуждена предложить участникам встречи лишь три вопроса, вокруг которых и развернулась беседа. Вот эти вопросы:

1. ЧТО КАЖЕТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ В ПОИСКАХ, ИДУЩИХ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ?

2. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ОБМЕНЕ ПОЭТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ МЕЖДУ ПОЭТАМИ РАЗНЫХ СТРАН?

3. КАКОЙ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДЕТ ПОЭЗИЯ ЗАВТРА?

Рышард Добровольский

ПОЛЬША

Мне кажется, самое важное в поисках, идущих в современной поэзии,— это их разнообразие. Почему я так думаю?

Для меня поэзия интересна, если она богата. Но если нет разнообразия, то и богатства никогда не будет. Я сам в поэзии — социалистический реалист. Но я люблю разных поэтов.

Поэзия — это искусство, по-польски — «штука». Но не шутка. Я не люблю тех, кто шутит с поэзией. Всех других я уважаю, и признателен им за то, что они делают. Я хочу учиться у других, у тех, кто пишет не так, как я. Потому что нет смысла учиться у тех, кто делает то же самое, что и я.

Второе. Что я думаю об обмене поэтическим опытом между поэтами разных стран?

Я думаю, что если за одним столом сядут друзья, то такой обмен будет ценным. Мы можем учиться друг у друга. Но если это враги — это уже другое дело.

Третий вопрос: какой будет поэзия завтра? Я не пророк, мне трудно ответить на этот вопрос. Я не хотел бы ошибиться, но мне, поэту, нужно мечтать. Ленин говорил — надо мечтать. Я хочу мечтать. Я живу потому, что верю, хотя я вовсе не религиозный человек. Я верю, потому что без этого нет для меня художника, нет того, кто занимается не шуткой, а искусством. Я верю в то, что придет день, когда будут говорить: поэт — это человек, который пишет о том, что чувствует и думает его народ и все свободные народы мира. Я верю в этот день. Я хочу, чтобы поэзия была такой, и буду делать все, чтобы она стала такой.

Ласло Беньямин

ВЕНГРИЯ

Там, где разговаривают на стольких языках, обычно возникает много поводов для различных недоразумений, для непонимания. Поэтому трудно рассчитывать на полное, окончательное выяснение всех проблем.

Наш мир полон противоречий. Во-первых, это противоречие между различными общественными системами, противоречие между различными укладами жизни. Но существует также всепроникающее противоречие — противоречие между небывало высоким развитием техники и миром чувств, миром мыслей человека. Если выразить его в самой общей форме, то можно сказать, что это противоречие между стремлением к звездам, с одной стороны, а с другой стороны — стремлением использовать достижения техники для создания атомных бомб и военных самолетов: есть такие места на земле, где именно так используют технику.

Это противоречие, которое существует в разных частях света, проявляется в различных формах. Оно проявляется, в частности, и в человеческой душе. Но человек — существо, которое стремится к гармонии, и мне кажется, что самая насущная и самая важная задача поэзии — выразить это стремление человека. Естественно, схожие процессы могут происходить неодинаково, в зависимости от общественных условий и от условий личной жизни каждого человека и от многих других обстоятельств.

Смысл поисков современной поэзии, как мне кажется,— в попытках найти способы для того, чтобы выразить это стремление к гармонии. Стремление к гармонии я понимаю не как желание приукрасить мир, скрыть существующие противоречия. Нужно вскрывать и показывать противоречия, которые существуют в мире и в человеке,— для того чтобы уметь разрешить их.

Мне кажется, что международные встречи поэтов очень хорошее и полезное дело. И даже не потому, что на этих встречах можно решить большие проблемы, сколько потому, что на этих встречах можно узнать друг друга, познакомиться. Поэтический опыт в настоящем смысле слова, конечно, нельзя передать на таких встречах, тут может помочь лишь знакомство с произведениями друг друга.

Что касается будущего поэзии, то я, конечно, тоже не пророк, но я верю, что хорошей будет считаться та поэзия, которая не упрощает ни общество, ни человека, та поэзия, которая стремится выразить сложность человеческой души, человеческих отношений.

Анна Каменская

ПОЛЬША

Я хотела бы сказать, что в XX веке трудно быть поэтом. Почему? Потому что современный мир наводнен словами. Слова атакуют нас отовсюду — по радио, из газет. Все средства массовой культуры изобилуют словами. Никогда в мире, наверно, не говорилось так много слов, как сейчас, особенно после войны, когда все понятия и слова пережили девальвацию.

Поэтому так выросла и стала столь велика миссия поэта, который должен вернуть словам доверие. Нужно, чтобы слово *друг* — действительно означало *друг*, слово *земля* означало *земля* и т. д.

В нашей современной поэзии, особенно после второй мировой войны, некоторые поэты стали писать простым языком, стали пользоваться языком прозы именно для того, чтобы снова назвать вещи своими именами.

Я думаю, что если говорить об обмене опытом между поэтами разных стран, то надо говорить в первую очередь о проблеме поэтического перевода. Поэтический перевод — это и есть обмен опытом, о котором идет речь. Переводчик поэзии — это тот, кто глубже всех проникает в механизм творчества поэта. Мне остается выразить пожелание, чтобы поэтический перевод делался путем свободного выбора, то есть чтобы каждый поэт переводил то, что ему больше всего по душе.

Возвращаюсь к вопросу о поэзии в современной Европе и Америке. Сейчас все очень интересуются проблемой массовой культуры. Это огромное достижение нашего времени. Но наряду с массовостью культуры возникает некоторое упрощение ее. Поэзия — это то искусство, которое обязано не опускаться, не принижаться до уровня массовой культуры, а, наоборот, проникать в глубину и отражать большие философские проблемы, которые волнуют людей всех эпох.

Рышард Добровольский

ПОЛЬША

Массовая культура, как многое в этом мире, имеет две стороны: хорошую и плохую. Слишком часто мы говорим о плохой стороне так называемой массовой культуры. Я понимаю, почему это происходит. Потому что мы охотно говорим о вещах, которые нас тревожат, и меньше — о тех вещах, которые нас радуют.

Что делать? Снижаться до уровня «массовой культуры» или нет? Идти вглубь, или подниматься в небеса? Простите, что я несколько упрощаю, но это — для наглядности.

Я хотел бы указать на замечательные примеры. Мы в Польше гордимся двумя поэтами: первый из них заложил фундамент национальной польской поэзии — это великий, всемирного значения поэт Ян Кохановский. Он писал в XVI веке, писал так, что сейчас простые люди на память повторяют его стихи, не зная о том, кто их написал. Стихи его стали народными. Другой пример — Адам Мицкевич. Он написал эпопею «Пан Тадеуш» — поэму, о которой, например, Казимеж Вика издал двухтомный труд и которую читает с интересом дворник дома, где я живу.

Вот примеры для меня. Самое трудное в поэзии — это писать так, чтобы и дворник читал, и профессор написал огромный двухтомный труд. Я думаю, что нет противоречия между тем, чтобы творить просто и гениально. Но только это очень трудно.

Д. Самойлов

СССР

Я хочу сказать, что энергия гуманизма, аккумулированная поэзией, в конечном счете мощнее любых идей, направленных против человечества и цивилизации. И пока есть такие поэты, как сидящие за этим столом Анна Каменская, Рышард Добровольский, Ян Пиларж и другие, человечество не погибнет.

Ян Пиларж

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Мой друг, словацкий поэт Мирослав Валек, не смог прийти сюда, но, кстати сказать, просил передать, что, по его мнению, лучше не говорить о поэзии, а писать хорошую поэзию.

Я думаю, что лучшим ответом на вопрос об обмене поэтическим опытом является улучшение переводческой работы в разных странах. Раньше мы много говорили друг другу комплиментов, взаимно рекомендовали поэтов, которых надо переводить, но, к сожалению, эти переводы часто оставались без отклика читателей.

Наши поэты ищут в мировой поэзии то, что созвучно им. Я бы сказал, пишут прежде всего о том, что еще недавно обходили молчанием. Мне представляется, что ситуация в нашей поэзии сейчас очень сложная. Если бы нашим поэтам задать вопрос, в чем сейчас смысл поэзии, то все они ответили бы на него по-разному. Одни поэты связывают поэзию с наукой и считают, что поэзия должна догонять в своем развитии науки и цивилизацию. Есть поэты, которые экспериментируют и которые дошли до предела в своем экспериментировании. Они думают, что можно опустить слова и создавать поэзию, например, из цифр. Есть поэты, которых больше всего занимают вопросы морали. Несомненно, что в этом разнообразии очень много и положительного, и отрицательного. Очень важен вопрос о том, идет ли наша поэзия одним путем с народом, с нашим читателем. Я думаю, что сейчас было бы сложно — да и не нужно — давать определения некоторым явлениям, даже такому явлению, как формализм. Например, поэзия одного из наших лучших поэтов Вл. Голана несколько лет считалась формалистической, а сегодня его стихи понимают и любят не только ценители поэзии, но и более широкий круг читателей. Важно, как я уже сказал, принимается ли наша поэзия читателями. Многие молодые поэты существуют обособленно, и чем дальше, тем больше они удаляются от читателей, но, к сожалению, их поддерживают в критике; в то время как поэты старшего поколения, из тех, которых критики не признают, издаются массовыми тиражами и широко читаются. Я думаю, что читатель является главным судьей в этом сложном споре, бурно идущем сейчас внутри чехословацкой поэзии.

А. Сурков

СССР

Мне хотелось бы вернуться к вопросу о массовой культуре. Десять лет назад я разговаривал с президентом Индии Джавахарлалом Неру. Разговор шел всякий, окольный, а потом перешел на серьезный, и я сказал, что великое счастье наше заключается в достижении всеобщей грамотности населения в нашей стране.

И этот народный, умный и пристальный индийский интеллигент сказал: а не кажется ли вам, что это — трагедия культуры? Я спросил: почему? Он сказал: всякая массовость стирает индивидуальность, всякая массовость лишает культуру потенциала ее роста.

Я тогда с этим не согласился и сейчас не соглашаюсь.

Дорогие друзья, я хочу напомнить вам такую вещь: я считаю Пушкина наиболее современным из всех пишущих сегодня поэтов — по его словесному выражению, по его образной структуре, по доведенной до крайности его гением простоте разговора с читателем. И представьте себе, что Пушкин в нашем обществе, где достигнута всеобщая грамотность, уже выходит миллионами экземпляров.

Маяковский, которого при жизни на моей памяти теснили записками, что мы-де вас не понимаем, зачем вы так пишете, приблизился к 30-миллионным тиражам. Это книги, которые люди покупают на те же деньги, на которые покупается хлеб, сахар и молоко. Я не боюсь возможности строить массовую культуру — ибо это есть источник бесконечного плодородия. Настоящей высокой культуры и настоящего высокого искусства. Мы все свидетели этого.

А вот когда в прошлом году в Женеве Картье — из небезызвестного французского журнала «Пари матч» — хвалился развитием рыболовства и массового туризма, как показателями массовой культуры, и говорил о них, как о явлениях более значительных, чем Октябрьская революция,— это была попытка снизить и унизить культуру.

Здесь совершенно правильно отмечалось, что поэтам приятно встречаться, чтобы просто поразговаривать, а не для того, чтобы выработать общие пути движения. Верно и то, что нам нужно собираться, чтобы не терять духовного контакта. У нас очень много возможностей разговаривать не только о формалистических стихах, но и о вещах, которые нас всех интересуют.

Я не очень верю, что стихи непереводимы. Хорошие стихи переводимы хорошими переводчиками, но все-таки стихотворение очень много теряет — как сосна теряет в обработке, превращаясь из дерева в лесоматериал. Сущность дерева остается, а все остальное уходит.

И правильно, конечно, что надо переводить того, кого ты любишь.

Я уважаю и люблю поэзию Тувима, поразительно нежного, душевного и талантливого поэта, но его мне было труднее переводить, чем Тараса Шевченко, потому что Тарас Шевченко — поэт близкого мне видения мира, хотя он гений, а я маленький, а у Тувима — другое поэтическое сознание и поэтика.

Я согласен, что гадать на кофейной гуще, какой поэзия будет завтра, не стоит, но хотелось бы, чтобы это была поэзия, которая объединяет человеческие души, зовет человека к общению, а не к разобщению, стремится к гармонии. В этом отношении я согласен с Ласло Беньямином. Правда, поэзия всегда шла к гармонии через коллизии, потому что, если бы не было конфликта между ахейцами и троянцами, не было бы «Илиады». Но главной движущей силой развития поэзии являются поиски через коллизии гармонии человеческого сообщества.

Рышард Добровольский

ПОЛЬША

О Пушкине. Я сам переводил Пушкина, это один из моих любимых поэтов. Но не надо упрощать: «Пушкин — наш современник». Недавно получил международную премию Ян Котт за книгу «Шекспир — наш современник». Гомер тоже наш современник, как и другие великие поэты. Это — красивые слова, но кроме Пушкина нам нужны в точном смысле слова великие современные поэты. Нам нужен современный поэт — не Пушкин, совсем другой, и не Маяковский. Другой, современный икс-поэт. Это не будет Пушкин, или Маяковский, или Назым Хикмет, или Данте. Мы не консерваторы, хотя мы знаем, что такое великие традиции.

Джордже Лесня

РУМЫНИЯ

Я старый переводчик. Еще в 1937 году появился в моем переводе Есенин, а затем «Демон» Лермонтова. Мне не кажется, что, переводя великих поэтов прошлого, мы уходим от современности. Подлинная поэзия существует вечно.

Здесь говорили о вашем, но всеми нами любимом поэте Пушкине, и я хотел рассказать, как он представлен в Румынии. Не знаю, известно ли вам, что в Европе первый некролог о смерти Пушкина появился в Румынии, а наш писатель Костаке Негруцци еще при жизни Пушкина перевел его стихотворение «Черная шаль». Таким образом, интерес к поэзии Пушкина в Румынии пробудился еще в прошлом веке. Сейчас в Румынии существует множество переводов Пушкина, и есть в этом и моя лепта.

Чтобы мы лучше узнали друг друга, чтобы нам стало доступно духовное богатство других народов, мы должны лучше понять тех поэтов, которые были близки своему народу. Мы должны больше переводить друг друга. Конечно, переводы надо делать на основе взаимности. Мы много переводим и хотели бы, чтобы нас также переводили, пусть это будет поэзия классическая или поэзия современная. Мы много перевели из советской литературы. Мы хотим больше переводить не только советских авторов, но также и поэтов из других социалистических стран, мы хотим, чтобы был обмен опытом.

Я не только переводчик, я пишу и сам. И мне кажется, что основная характерная черта современной поэзии моей страны — это разнообразие, у нас множество новых поэтов, и все они выражают дух нашего времени.

Никола Фурнаджиев

БОЛГАРИЯ

Из литератур, которые представлены здесь, болгарская поэзия, может быть, самая молодая, исключая, по-видимому, македонскую. Современная болгарская поэзия — это поэзия массовая, и она родилась как массовая. Когда она зарождалась, у поэтов не было возможности печататься, но и у своих истоков это была поэзия народа, которая звала к свободе. Революционные традиции — одна из главных особенностей болгарской поэзии.

В последние годы в болгарской поэзии происходят процессы, которые нас радуют: это — тяга к новому и поиски. Есть известное стремление освободиться от традиционного стиля. Возможно, для польской поэзии это уже пройденный этап. Я говорю о так называемых поисках интеллектуализма. Некоторые в этих поисках доходят

до крайностей, и часто мы, читая стихотворение, не можем отличить поэзию от прозы; кое-кто считает, что именно такой и должна быть современная поэзия, но я, во всяком случае, не смог убедиться в этом.

Я не хочу упрощать вопрос о традициях,— конечно, молодые не обязаны писать так, как писали раньше. И тем не менее наши поэты — поэты социалистические, и они должны творить для народа. Надо сказать, что судьба многих поэтов, которые идут по ложному пути, отказываясь от традиций болгарской литературы, печальна. Они выпускают самое большее одну книгу и затем исчезают.

Вопрос о связях между поэтами социалистических стран. В Болгарии издается Библиотечка советских поэтов, есть также Библиотечка всемирной поэзии и Библиотечка современной поэзии. В Библиотечке советской поэзии вышли уже сорок четыре советских автора. Я и сам перевел книжку Заболоцкого. Близость к русской советской поэзии для болгарской поэзии — традиция. Но болгарские поэты переводят и поэтов других социалистических стран.

На вопрос о будущем поэзии мне трудно ответить. Однако, если судить по тенденциям нашей эпохи, то поэзия завтрашнего дня, вероятно, будет поэзией свободных людей.

Виолета Замфиреску

РУМЫНИЯ

Я работаю в журнале «Лучафэрул», где печатается молодежь, и знаю, как много разнообразных поисков происходит в нашей поэзии. Я говорю сейчас о талантливых поэтах, потому что о бесталанных говорить нет смысла. Поэты стремятся к тому, чтобы выразить чувства нашего времени, чтобы с наибольшей точностью и тонкостью показать огромный мир чувств нашего современника.

Я думаю, что подобного рода поиски — когда поэт стремится выразить себя и таким образом выразить великий гуманизм эпохи — помогают продвижению поэзии по пути больших традиций и вместе с тем делают поэта современным.

В тех духовных контактах, которые существуют между народами, роль поэзии чрезвычайно велика. У поэта большие обязанности не только по отношению к своему таланту, но и по отношению ко всему человечеству. Это касается и переводчиков. Ведь работа поэта, который переводит, значительно сложнее — может быть, вдвое сложнее,— ибо он дает возможность узнать поэзию другого народа, но при этом сохраняет своеобразие своей литературы, своей национальной культуры. Потому что никто не должен, как говорил об этом наш друг из Болгарии, отрываться от своей культуры и своих традиций.

Что касается того, какой будет поэзия, то, может быть, над этим поэты задумывались еще 2000 лет назад. Мы видим, что остается в веках только то, что глубоко человечно, независимо от формы выражения, хотя она не может существовать в отрыве от того, что хочет выразить поэт.

Я принадлежу к числу поэтов, которые больше любят писать и меньше — говорить.

Стеван Раичкович

ЮГОСЛАВИЯ

Из того, о чем здесь говорилось, меня больше всего заинтересовал вопрос о массовой культуре.

В годы второй мировой войны у нас появилась партизанская поэзия, поэзия, созданная поэтами-партизанами. Эта поэзия очень популярна среди читателей, в народе. Потом пришел период, когда югославские поэты стали замыкаться в себе, «выхаживать» в себе «герметическую» поэзию. Я не могу сказать, что этот период окончился, он продолжается и сейчас. Это, конечно, отражается на проблеме «поэт — публика». Книги поэтов в Югославии выходят очень маленькими тиражами, следовательно, мы, югославские поэты, имеем небольшое количество читателей.

В последние годы поэты, конечно, не раз задумывались над этой проблемой. Однако даже те, кто ощущает свою замкнутость в «герметической» поэзии, не в силах выйти из этого состояния.

Но я взял слово, чтобы сказать о самом новом поэтическом поколении Югославии, поколении, значительно более молодом, чем мы. О поэтах, которым сейчас от 17 до 25 лет. У нас в стране в результате нехватки терминов назвали их «эстрадными». Эти поэты имеют большой успех у читателей и у слушателей. До сих пор редко издавались стихи молодых поэтов, а в последние годы они начали издаваться. Поэтов этих очень хорошо встречают на больших поэтических вечерах, которые также проводятся сейчас в Югославии.

Карл Микель

ГДР

Опыт поэзии последних двух десятилетий говорит о том, что поэзия, пользуясь выражением Гегеля, стремится в царство эстетической видимости.

Это мой ответ на первый вопрос.

Что же касается второго вопроса, то естественно, что не каждый поэт может быть созвучен другому поэту. Я говорю о живущих ныне поэтах. Я знаю, например, 20 поэтов, с которыми я охотно поговорил бы на тему о поэзии.

Что касается третьего вопроса, то, поскольку на каждую душу населения Земли приходится 80 тонн тринитротолуола, разговор о будущем поэзии представляется мне невозможным.

Ласло Беньямин

ВЕНГРИЯ

Относительно запасов тринитротолуола. В Венгрии есть очень талантливый поэт примерно одного возраста с Микелем. Это поэт очень «замкнутый», его манера чрезвычайно своеобразна. Очень мало кто его читает, и тот, кто говорит, что понимает его, наверняка лжет.

Один венгерский поэт, очень известный, сказал ему: «Слушай, друг, тебя человечество поймет через две тысячи лет. Только одно плохо — через две тысячи лет человечества не будет». Но я не такой пессимист, как этот поэт. Я считаю, что, несмотря на атомную бомбу, и через две тысячи лет человечество будет существовать. Однако я не представляю себе такого поэта, который не может писать для своих современников, и я не верю в то, что поэт не способен писать понятно для современников, а может писать лишь для тех, кто будет жить через две тысячи лет.

Ацо Шопов

ЮГОСЛАВИЯ

Я, как и мой большой друг Раичкович, принадлежу к числу поэтов, которые не любят много говорить о поэзии, но живут поэзией. Из проблем, затронутых в нашей беседе, меня особенно интересует проблема традиции и современности в поэзии. Это вопрос сложный и важный, и я опасаюсь, что во всей его сложности и многогранности я не смог бы его проанализировать.

Настоящая поэзия содержит в себе великие гуманистические традиции, наполнена подлинно гуманистическим содержанием. И в эту минуту мне приходят на память стихи большого вашего и нашего поэта Маяковского о Пушкине: «Я люблю вас, но живого, а не мумию»... Для меня в этом стихотворении Маяковского заключается суть той проблемы, о которой мы говорим. Я знаю, что Маяковский очень любил Пушкина, но Маяковский хорошо знал, что настоящая большая поэзия неповторима.

Я лично считаю, что подлинная поэзия, поэзия Маяковского, и не только Маяковского, но и многих других русских и советских поэтов, принадлежит не только советскому народу, но и всему человечеству.

Я хотел бы выразить пожелание, чтобы наши дружеские встречи состоялись не только у вас, но и в других странах, чтобы поэты чаще собирались за одним столом и обменивались мыслями о своем поэтическом опыте.

Фолькер Браун

ГДР

1963 год весь прошел у нас под знаком поэтических чтений. В начале 1963 года поэты после долгого перерыва стали выступать перед публикой, залы были переполнены. Начало этим выступлениям положил Стефан Хермлин, который выбрал очень интересные стихотворения молодых поэтов и сам их читал. Но с тех пор интерес к поэзии заметно ослабел. Я вспоминаю в связи с этим наш разговор о массовой культуре. Масса ставит перед поэзией и искусством все более высокие требования. И если выразить одним словом то, что мы должны искать в поэзии, то это — величие.

М. Алигер

СССР

Я люблю, когда поэты разговаривают о поэзии. В таком разговоре неизбежно бывает нечто интересное, хотя и столь же неизбежны моменты, когда начинаешь разделять точку зрения Мирослава Валека: лучше бы поменьше разговаривать и побольше писать хорошие стихи. Я, наверно, буду сбивчива и в ответе на анкету не сумею быть такой стройной и организованной, как наш молодой немецкий товарищ Карл Микель.

Что касается нашего общения, то тут не может быть двух мнений. Разумеется, его нужно всемерно расширять, и расширять в двух направлениях: почаще и посерьезнее общаться и как можно больше, шире и лучше переводить друг друга, чтобы при личных контактах мы встречались бы не со знакомыми именами, а со знакомыми поэтами. Чтобы мы могли разговаривать о наших стихах, о нашей работе, о том, что нам в ней нравится и не нравится. Пока это еще нам не вполне удается.

Что такое перевод? Мы профессионалы и можем все перевести. Я, во всяком случае, думаю без лишней скромности, что я могу все перевести, но я вовсе не все хочу переводить. В работе над переводом — я знаю это по своему опыту — поэт может обрести истинную радость, наслаждение такое же, как и от собственной работы, но это случается не так часто. Чаще это профессиональная деятельность переводчика, которая неизбежна в нашем труде, но стремиться надо к тому, чтобы переводить то, что хочется переводить. Все мы знаем ощущение, когда встречаешь что-то родственное, свое, близкое, понятное, когда существуешь в этой стихии, как в собственном творчестве, и радуешься так же, и мучаешься так же, и в конце концов решаешь задачу, находя и точные ноты, и нужные слова, распутывая самый трудный узел и самый сложный образ, заданный тебе, переводчику, поэтом. Как это получается, трудно сказать. Здесь рецептов нет и не может быть, они обретаются в работе, каждый раз по-новому, и в этом отличие нашего дела от тех работ, где существуют логарифмическая линейка и лакмусовая бумажка. Об этом можно говорить долго, и мы уже говорим долго, и если говорим по-разному, то тем лучше. Главное, что общий ритм и общий язык в нашей беседе безусловно найдены.

Что до того, какой поэзия будет завтра, то этот вопрос поставлен, по-моему, чересчур категорично и недостаточно серьезно. Там будет видно — следовало бы ответить на него. А пока можно говорить о том, какой мы хотим, чтобы она была. А хотим мы — я думаю, все мы этого хотим,— чтобы она была прекрасна. А уж какими средствами она этого добьется, это ее забота. Я, к примеру, идя на то, чтобы прослыть консерватором и ретроградом, не возражаю, чтобы поэзия завтра была такой же, какой была она вчера, когда она бывала прекрасна,— ни в какой мере не возражаю! И не считаю это консерватизмом, ибо все равно твердо знаю, что всегда поэзия существует в своем времени, в абсолютно кровных связях со своим временем и меняется и приобретает новые качества, и свойства, и оттенки совершенно органично и в соответствии с тем, как меняется время, ибо она существует как производное этого времени — порожденное им и выражающее его. Общество растет как человек, и соответственно функции организма растут, обогащаются, но приходит пора, и отдельный человек перестает расти, начинает стареть. А обществу это не грозит — оно всегда растет за счет новых сил, новых людей, вот и будем думать о живущем, о прогрессе, о движении времени. Я уверена, что поэзия от него не отстанет. Одно для меня совершенно ясно: говоря о будущем поэзии, следует исходить не из того, что сегодня пользуется наибольшим успехом, то есть не из того, что сейчас модно. Ибо ни в какой мере, никогда, сколько я ни перебираю в памяти, я не помню, чтобы какой-нибудь истинный новатор, начиная свое новаторство, был бы моден. Скорей наоборот, истинный новатор подвергается гонениям, его не понимают и не принимают — уж какая тут мода! Это противоположные вещи, потому что выясняется, кто новатор, уже потом, когда жизнь это новаторство принимает и берет на вооружение, а мода проходит, меняется, и не из мод следует исходить.

Иные наши молодые и талантливые поэты, и очень модные, иногда путают моду с новаторством и в своем стремлении, в своей подчас жгучей потребности быть модными растрачивают то драгоценное в своем таланте, из чего действительно могло бы произрасти подлинное новаторство.

Эстрадность, свойственная нашей молодой поэзии, представляет, на мой взгляд, для нее настоящую угрозу. В угоду тому, чтобы стихи лихо прозвучали, чтоб они были поэффектнее и произвели впечатление с эстрады, приносится в жертву истинная радость, истинная печаль, истинная поэзия.

Возвращаюсь к первому вопросу нашей анкеты: в чем смысл наших поисков и что кажется мне в них наиболее важным.

Очень характерно, даже грустно,— но, к сожалению, в то же время это почти банально,— что самым большим пессимистом в нашем разговоре оказался самый молодой наш товарищ. Я имею в виду товарища Карла Микеля и его зловещее заключение, что говорить о будущем поэзии невозможно и бессмысленно, поскольку на каждую душу населения земли уже приходится 80 тонн тринитротолуола.

Так вот, мне кажется, что наши поиски в поэзии — все они направлены именно к тому, чтобы так не думать и так не ставить вопрос. Не надо путать все пятаки — это разные вещи. Если мы будем так путать явления, мы мало что сумеем сделать. Наши поиски должны идти в том направлении, чтобы вопреки накоплению тринитротолуола работать, думать, верить и создавать запасы веществ иного свойства, не имеющих химической формулы, но имеющих великую, ни с чем не сравнимую силу, назначение которой — защищать людей, помогать людям делать человечество непобедимым. Все человечество и каждого человека.

А. Сурков

СССР

Будем считать, что первый тур наших поэтических разговоров завершается. Мне только два слова хочется добавить к тому, о чем говорила Алигер, потому что с тем, что она говорила о некоторых поэтических судьбах, я согласен.

Недавно я вернулся из Парижа, куда мы ездили в связи с выходом антологии русской поэзии и где девять советских поэтов выступали перед гигантской аудиторией, примерно в 5 тысяч душ. Мы шли туда с замиранием сердца, с опасением, что «книжные» поэты не пройдут, а «эстрадные» пройдут. Из «книжных» поэтов был Твардовский, Мартынов, ваш покорный слуга и в какой-то мере «книжный» Слуцкий. Остальные были с разными оттенками «эстрадные» поэты. Были: Кирсанов, Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и Соснора, впервые мною услышанный.

В таком «соотношении сил» мы появились перед французской публикой.

Я должен вам сказать, что интерес к этому вечеру был поразительный. Зал вмещал более трех тысяч человек, затем полторы тысячи человек заполнили радиофицированную аудиторию вокруг зала, а тысячи три человек ушли, не получив доступа в зал. Это было в Латинском квартале, и, естественно, слушателями были главным образом студенты и молодые рабочие. Половину того, что читали, читали на русском языке. Правда, переводы исполняли великолепнейшие актеры вроде Жана Луи Барро и др.

Публика не разделила нас на «эстрадников» и «неэстрадников». Хотя Твардовский читал огромный кусок из своей поэмы «За далью даль» и читал в конце первого отделения, его очень хорошо слушали, очень хорошо проводили. Так было со всеми нами.

Видно, хорошим стихам не надо бояться слушающих людей — они разберутся, где качество стиха, а где искусное чтение.

В дополнение к тому, что сказали Маргарита Алигер и Ласло Беньямин, замечу молодому немецкому другу: не надо подсчитывать количество тринитротолуола, заготовленного для уничтожения человечества. Мне кажется, у человечества есть разумный выход из неразумно сложившейся современной исторической ситуации. А если мы начнем только подсчитывать запасы тринитротолуола, мы придем или к револьверу, или в петлю, потому что неинтересно жить, ожидая, когда тебя уничтожат, как кролика.

О том, как писать стихи, говорить поэтам разных народов трудно: на сербском языке это будет по-одному, на болгарском — по-другому, на венгерском — по-третьему, по-польски — по-четвертому и т. д., а об общих, всех нас волнующих проблемах можно договориться.

Я хочу поблагодарить товарищей за ту доверительность, с которой они вели разговор.

ПУБЛИЦИСТИКА

ОНДРЕЙ МАРУШИАК

В стране *нашего завтра*

(Чехословацкие писатели о Советском Союзе)

Свидетельства зарубежных друзей, побывавших в Советском Союзе, неизменно вызывают интерес наших читателей. По-особому воспринимаются эти документы сейчас, в преддверии знаменательной даты — 50-летия советской власти. Публикуемый ниже обзорный очерк О. Марушиака знакомит с впечатлениями четырех известных чехословацких писателей, относящимися к 20 — 30-м годам.

«В небольшой пятнадцатимиллионной Чехословакии свыше миллиона безработных, молодые рабочие, подыскивая случайный заработок, смотрели в облака, не выпадет ли снег, чтобы потом убирать его с улиц, толпились у вокзалов, чтобы поднести крестьянину мешок с поросятами. Единственным питанием пролетарских детей были миски молока и супа, которые они получали в школах на общественные средства из касс взаимопомощи. Неудобно было обедать в закусочных, десятки глаз смотрели, не останется ли что-нибудь на тарелке. Дипломированные профессора и инженеры уведомляли в газетах домашних хозяек, что с удовольствием станут выбивать их ковры за кусок хлеба».

Для сорокалетних это сегодня лишь смутные воспоминания о самом раннем детстве, двадцатилетним все это кажется старческим хныканьем, не имеющим силы существенным образом затронуть ни рассудка, ни эмоций Но те, для кого это — страница жизни, смогут по-другому оценить сегодняшний день. В их воспоминаниях есть острая боль, и грусть. и гордость участием в борьбе за то, чтобы жизнь стала другой.

Именно в ту пору в чехословацкой литературе были созданы произведения, посвященные стране, куда уже с момента ее возникновения устремлялись отовсюду люди с чистым сердцем и открытыми глазами. Вышли в свет брошюры Ивана Ольбрахта и Марии Пуймановой, книги Юлиуса Фучика, Петра Илемницкого, Адольфа Гоффмейстера, Эгона Эрвина Киша, стихи чешских и словацких поэтов о борьбе и труде советского народа, о героических его подвигах.

Все было новым в этих произведениях: оптимизм, который старый мир окончательно утратил, наличие той простой истины, что мир должен стать другим, новая лексика, изобилие слов, фразеологических оборотов и сочетаний, для которых у нас еще не было жизненного содержания. Собственными глазами их авторы видели, как повседневная практика подтверждала обоснованную наукой теорию. Пример Советской России вдохновлял на борьбу и труд.

Отцы и деды наши читали тогда свидетельства о стране, «где наше завтра стало уже вчерашним днем».

Всюду было брожение, шевелились промышленные города, заводы волновались. «Жила крепкая надежда, что освобождение рабочего класса очень близко, слова: Ленин, Ленин, Ленин, и Россия, Россия, и Советы, Советы, и коммунизм — произносили с энтузиазмом все эксплуатируемые»,— вспоминает тридцать лет спустя Иван Ольбрахт в предисловии к первому изданию своих

очерков о самом начале советской жизни. Начало большого и трудного пути. В Чехию и Словакию возвращаются из России последние военнопленные и легионеры. Будущие представители демократической республики ухитрились пробить брешь в традиционных дружеских связях чехословацкого и русского народов: контрреволюционные выступления шестидесятитысячной армии на сибирской магистрали, пули из французских и английских винтовок — это были кровавые плевки в чистое лицо новой жизни, рождающейся в неизмеримых страданиях.

Каждое правдивое слово об этой жизни было дороже золота в тех условиях. Объективное свидетельство очевидца, статья в коммунистической прессе, удачное беллетристическое произведение — это были буквально гвозди, забиваемые в гроб старого мира. Ведь даже левая интеллигенция — сегодня это вполне понятно — по отношению к Советскому Союзу нередко «колебалась между полемикой против Великой России, открытой борьбой против нее или же отчаянием перед лицом «русской трагедии» (как ее понимал, например, Ант. Сова), с одной стороны, и бездумным восторгом, с другой стороны».

■

Одним из первых, кто уехал в Москву из буржуазной республики, был писатель Иван Ольбрахт.

Уехал он нелегально в начале 1920 года, весну и лето прожил в Советском Союзе. Написанные им очерки вышли в свет в трех маленьких брошюрах, а последний раз были изданы книгой (Прага, 1957 г.).

Очерки Ольбрахта до сих пор читаются с неугасающим интересом. Сегодня они уже не сверкают огнем запрещенного откровения, но в них есть обаяние и целеустремленность, свойственные его зрелой прозе. В «Делницке академии» Ольбрахт напечатал статью, где предлагал членам социал-демократической партии поехать в Москву для того, чтобы они могли как очевидцы рассказать партии об истинном положении дел в стране победившего пролетариата. Призыв писателя не встретил отклика. Три коммуниста решили ехать на собственный страх и риск. Председатель правительства, социал-демократ Властимил Тусар, предложил Ольбрахту денежную помощь, но оформить паспорта отказался наотрез, так как гражданам «самой демократической» республики ехать в Советскую Россию строго-настрого запрещено. Ольбрахт от денег отказывается и отвергает предложение информировать антинародное правительство о положении дел в советской стране.

Хождение по мукам, грустно-веселые приключения колумбов нового мира в полпредствах, Берлин, резиденция президента Восточной Пруссии, столицы прибалтийских государств...

Ворота на границе, первые красноармейцы, красный офицер. Ольбрахт взволнованно пишет: «Здравствуй, Советская Россия, страна победившего пролетариата, преклоняюсь перед тобою, мать-Россия, ты показываешь путь нам и всему миру! Мы ждали этого часа всю нашу долгую жизнь, о нем мечтали два поколения моих предков. Будущие поколения будут нам завидовать...».

Несколько месяцев Ольбрахт живет в СССР. Его рассказы о Стране Советов — не поверхностные туристические впечатления, это продуманная, на высоком интеллектуальном уровне осмысленная действительность в развитии, в динамике, в сложных противоречиях. Он смотрит проницательным взглядом исследователя, воспринимает тонкими чувствами художника. Он наслаждается звучанием, человеческим содержанием простого слова «товарищ». Несколько раз он видит Ленина, принимает участие в работе Второго конгресса III Интернационала. Москва, Петроград — мертвые города, сообщают европейские газеты. Но движение, и шум, и яркие краски никак «не вяжутся с представлением о трупах». Мертвец — это Колчак, гибнут последние солдаты из армии Юденича, Деникин у Херсона в кольце красных войск, чехословаки остановились где-то в Восточной Азии, и на родину приедут только уцелевшие остатки «грозного легиона и списки великих потерь».

Ольбрахт был уже однажды в России, тогда ему было всего шестнадцать лет. И вот теперь он сравнивает. Он учится думать масштабно, широко, самому себе и другим объясняет причины дороговизны, нехватки продуктов. Это недостатки роста. Он видит связь между спекуляцией на рынке у Сухаревской башни с таким фактом, что из трех десятков тысяч царских паровозов осталось в распоряжении советской власти только шесть тысяч способных двигаться. Он умеет поднять деталь до художественного образа, выражающего закономерность истории. «Придет наше время, и наша буржуазия тоже привыкнет, у нас ведь не будет по-другому».

Это «у нас не будет по-другому» становится лейтмотивом всей литературы, создаваемой при капитализме писателями-коммунистами. Такая перспектива замечательно расширила умственный кругозор народа, открыла новые возможности для развития демократической литературы. Для мещанина эти слова звучали как похоронная песня. Сегодня это просто очевидность, которая, однако, не теряет своего обаяния от того, что ясна всем. В форме открытого письма «Господину Ярославу Квапилу» писатель, от-

вечая высокопоставленному чиновнику министерства просвещения, отвергает сейчас для нас смешные, а в свое время ядовитые измышления буржуазной пропаганды, утверждающей, что рабочие фартуки у русских плотников скроены из полотен Рубенса. Он пишет об огромной моральной и материальной поддержке, оказываемой культуре со стороны государства. Он убеждает резко и иронически, темпераментно и непримиримо, последовательно и пророчески: «...знаете, когда-нибудь, после неприятного, но неизбежного генерального ремонта». Его фантазия даже набрасывает сюжет будущего чешского драматического произведения: трудолюбивый кузнец начал бунтовать, когда возле его кузницы хотели построить громадный завод. Напрасно бунтовал. Завод построен, кузнец и промышленник давно спят в могиле, а колоссальное предприятие принадлежит народу.

Очерк «Владимир Ильич Ленин». Ольбрахт присутствовал на торжественном собрании, посвященном годовщине смерти Я. М. Свердлова в «красно-золотом» Большом театре, где Ленин произнес речь. Он метко характеризует всю деятельность Ленина и основные ее вехи. Сжатое, емкое публицистическое произведение до сих пор сильно мыслью о целенаправленности каждого намерения, каждого ленинского действия. Много ценного можно найти в этом очерке и сегодня — в поиске правильного пути, тактики, стратегии, которая является не мертвой догмой, а руководством к действию.

Публицистика Ольбрахта интересна с точки зрения формы: строгое, уравновешенное повествование о В. И. Ленине могло бы послужить основой биографического романа. Очерк «Принцесса рассказывает» — набросок интересной психологической повести. Открытое письмо «Господину Ярославу Квапилу» — иронический памфлет, пример боевой сатиры, отрицающей и утверждающей.

■

Летом 1932 года Москву, Ленинград и Нижний Новгород посетила Мария Пуйманова. Никто ее, писательницу, не состоявшую ни в какой политической партии, не посылал в советскую страну. Она уезжает в составе рабочей делегации, едет по велению сердца. Она хорошо знает, эта обаятельная, хрупкая женщина: «...по отношению к СССР у нас не только много недоброжелательства, но и вздорной клеветы». Она берет на себя обязательство написать правду. Она знает, что сделать это будет для нее очень трудно — в Советском Союзе она провела только три недели. А в чешской литературе имелись уже такие замечательные произведения, как книги Фучика и Гоффмейстера.

В пути, к которому человек готовится, о котором мечтает, все интересно, все является стимулом, все вдохновляет. Поезд — это спальня ночью и общественный клуб днем, интересное, совершенно новое впечатление. Масштабы ландшафта и широта русской души — противоположность нашим холмам и низменностям и нашей торопливости. Кипучая жизнь в густозаселенных городах и безупречное «внутреннее поведение» каждого в толпе, не разъединенной по классовой принадлежности,— ведь это буквально опрокидывает все представления, которые буржуазия годами создавала в нас.

Точно так же, как Ольбрахт, Пуйманова сама в себе утверждает веру в «свет с востока». Мы, кто имеет возможность долго жить в Советском Союзе, тридцать лет спустя убеждаемся в том, насколько верно сумела она схватить именно моральную атмосферу нового общества.

Свою брошюру она пишет уже будучи на родине. Она испытывает известные затруднения. Ей очень трудно воспроизвести пером в других условиях настоящий образ советской жизни. Она экспериментирует, обращается к библейскому мотиву о строительстве вавилонской башни, которая на этот раз получится, ибо люди смогут договориться и народы поймут друг друга.

Своим искренним словом Пуйманова заставляет рассуждать и читателя — она знает, что весь мир должен измениться коренным образом. Поэтому пятилетка для нее является только большим началом, для нее слово «просвещение» в условиях культурной революции сохраняет свой первобытный корень «свет». Заботу общества о людях — санатории, детские учреждения, дома отдыха — она осмысляет как мощный фактор новой цивилизации, как утверждение человеческого достоинства поистине равных людей.

Новое в жизни требует нового метода изображения в искусстве. Назначение литературы — художественное освоение новой действительности. Этот новый метод, пишет она, «не только знание узколокальных фактов, не хронологический пересказ директив, не тенденциозный остроумный репортаж. Не это, а что — я не знаю. Я знаю лишь, что должна сюда возвращаться и что приехать сюда должен каждый писатель, если он хочет создать что-нибудь значительное».

Разве отсюда, от этой крошечной книжки «Взгляд, устремленный на новую страну», не виден путь к замечательной трилогии, к послевоенным стихам писательницы?

■

У нас в Чехословакии, в Советском Союзе и везде в мире литературоведов и историков дружбы социалистических наций долго будет волновать, наталкивать на раздумья **Юлиус Фучик.**

Он — уже дымкой времени окутанная личность, безгранично притягивающая к себе, волнующая нас своим трагическим концом, драматической судьбой, пламенной борьбой и радостным трудом. Ему не было суждено дожить до наших дней и принести народу самые лучшие плоды своего ума и таланта.

1930 год. Мы отправляемся в путь по Советскому Союзу. Паспортов у нас нет, на севере Чехии мы переходим границу между двумя буржуазными государствами. Мы нарушаем буржуазный закон. Разве в том дело, что наш путь опасен? Мы ведь давно объявили войну их больному миру.

Фучик одним из первых раздвинул дальше наши горизонты. Он перенес на страницы чешской коммунистической печати победоносное шествие революции, первую пятилетку, советскую действительность самых разнообразных уголков широкой России.

Современный молодой человек должен обладать большим багажом знаний, развитым воображением, если он хочет хорошо представить себе, как же примерно это было, когда маленькая группа «туристов» перешагнула «границу и закон». В самом деле, как же это было, когда цензура калечила «Руде право», «Галлоновины», «Творбу» за то, что эти органы партийной печати позволяли себе отбивать злобные атаки антибольшевистского фронта, от философа и социолога Масарика, выступавшего со «строго научных позиций», разных «собственными глазами видевших» свидетелей — легионеров и эмигрантов и до обычных буржуазных сочинителей дешевеньких сплетен «на темы дня». Современный молодой человек должен представить себе это.

И вот мы вместе с Фучиком разъезжаем по Советскому Союзу. Нас пригласили земляки из далекого города Фрунзе, трудящиеся из коммуны Интергельпо. Чехословацкие подданные — чехи, словаки, венгры, немцы, поляки, кто этого не знает? — покидали в двадцать пятом и следующих годах буржуазную республику и у подножия Ала-Тау создавали основы новой жизни.

Четыре месяца длится наш путь. Мы знакомимся с обеими столицами — Москвой, Ленинградом, с Поволжьем, Украиной, Закавказьем, с горами, городами и пустынями Средней Азии.

Фучик вернется и напишет книгу, которая и сегодня вызывает в нас дрожь. Как он пишет ее! Буквально в промежутках между допросами и тюрьмами и, прежде всего, в самой гуще самоотверженной пропагандистской деятельности. Он почти ежедневно сообщает правду о советской жизни на многочисленных собраниях, которые коммунисты проводили на чешских заводах. «Грандиозные масштабы жизненного материала,— по словам Марии Пуймановой,— преодолевает он терпеливым и добросовестным репортажем: и как всегда, когда человек подчиняет себя целиком своей задаче, он поднимается над ней».

Книга «В стране, где наше завтра стало уже вчерашним днем» — крупная веха истории публицистической эпики чехословацкого социалистического реализма. С появлением этого произведения в нашей литературе наступает время развернутого, умного, вглубь и вширь идущего сопоставления прошлого с настоящим, настоящего в одной стране, на одной шестой части земного шара и будущего человечества. Советский Союз на втором году первой пятилетки, осознание всеобщих связей, время как четвертое измерение, эпоха, в которой резко выражены все социальные и идейные противоречия,— таково содержание книги Фучика. Мы и они, мировой империализм и мировая революция, южное море и ледники на вершинах гор, целый год сырого тумана над Ленинградом и сухая пустыня. Диалектика многих явлений в единственной стране, жизнь рабочего человека, класса, нации...

Фучик работал целенаправленно. Он анализировал факты, стремясь избегать трескучих фраз. Метод его работы? Постоянное сопоставление в образе, мысли, подтексте. У друзей в СССР мы дома, там — у нас в Чехословакии и в целом буржуазном мире — мы пока чужие. Мы знаем, что это такое, революция и контрреволюция, быстро растущее благосостояние, массовая основа новой культуры. Мы сопоставляем голод, нищету, безработицу и социалистическое соревнование. Нищие, бродяги, проститутки, полицейские как явления, внутренне свойственные укладу жизни,— это ведь осталось на улицах Праги. Осуществляющийся идеал лучшего мира за строго охраняемыми границами, которые мы перешагнули,— это безусловно наш завтрашний день.

Сам автор называет свое произведение «историческим репортажем», позже он пишет о «полурепортаже и полубеллетристике».

Книга приобретает характер живого разговора с читателем. Фучик часто соединяет хорошо придуманный — лучше сказать додуманный — сюжет и действительное свидетельство о том, как «натруженные руки рабочих» строят этот мир, который, прежде чем можно было его строить, завоевывали. В развернутой художественной истории сталинградского трактора, публикуемой по частям в «Руде право», Фучик с большим успехом рисует образ красноармейца, рабочего Васьки, приводит разного рода точные данные, цитирует выступления государственных деятелей. Действие «полубеллетристического» репортажа переносится в Прагу: русский эмигрант, соб-

---

ОНДРЕЙ МАРУШИАК
В СТРАНЕ НАШЕГО ЗАВТРА

ственник лавочки грампластинок, рассказывает автору о своем участии в боях под Царицыном. Из умной концентрации многих сторон жизни возникает новое эстетическое качество, новая действительность в искусстве.

Фучик, конечно, не имел возможности в газетных очерках полно, глубоко и всесторонне исследовать новую действительность даже во времена второго, более длительного, пребывания в Советском Союзе. Время требовало от него прежде всего сопоставления миров. В фашизируемом государстве необходимо было в первую очередь отбивать лобовые атаки неистовствующей пропаганды. Противоречия советской жизни, все богатство и сложность внутреннего мира человека революции Фучик не смог ни целиком познать, ни последовательно проанализировать. И все же он никогда не упускал из виду назидательные слова земляков из Интергельпо: «Говори правду, не забывай о препятствиях, которые мы встречаем на пути, не молчи ни о чем, молчание — это ложь».

Мы в самом деле находим в его книжке доказательства таких истин, которые позже многие не хотели знать, хотя советские люди всегда умножали свою славу борьбой с теми препятствиями, которые им приходилось преодолевать. Это ведь были такие трудности в их действительности, в них самих, в людях, коренным образом перестраивающих все унаследованное, перед которыми не стоял ни один народ во всем цивилизованном мире. Мы и теперь, в атмосфере шестидесятых годов, содействующей гораздо больше, чем довоенная, критике и анализу, отдадим должное проницательности автора, который о многих из всех этих препятствий и трудностей написал в ту пору.

Мы едем с Фучиком вторично в Москву. Мы опять переступаем границы и закон. Мы делаем это согласно решению партии, так как издан приказ об аресте Фучика. Ему пришлось бы отсиживать в тюрьме восемь месяцев.

Фучик — корреспондент «Руде право». Статьи, очерки и рассказы этого периода, согласно завещанию во всем мире известного «Слова перед казнью», хорошие друзья — Ладя Штолл и Густа Фучикова — собрали и подготовили для издания книгой.

Три раза за время своего пребывания в Советском Союзе Фучик преодолевает расстояние в тысячи километров на восток от Москвы. Средняя Азия еще раз дает ему возможность осознать рассудком и чувством глубочайший смысл всех революционных изменений.

Итак, мы сидим вместе с Фучиком в тени каштанов старого города Ташкента. Обливаемся потом, слушая местного политработника, рассказывающего о борьбе против стихийного бедствия — нашествия желтой саранчи; или едем в поезде; журналист уверенной рукой живописца пишет портреты целой галереи живых советских людей, мы много интересного узнаем о местах, по которым мчится поезд. И все, что Фучик сообщает нам, удивительно работает на главную его идею о том, как стремительно и быстро изменяется советская действительность.

Глубоким пониманием взаимосвязи явлений, особым взволнованным настроением отмечены рассказы о Средней Азии. Искусство Фучика физически ощутимо. Он уверенно подмечает то, чем этот участок земного шара отличается от всех других. И как раз в этом особенном он умеет постигать развитие всего человечества от первобытных, грубых, примитивных форм жизни к более благородным, культурным, гуманным. Процесс цивилизации в его сознании вполне органически связан с советской властью.

Редакционная корреспонденция из Москвы саботировалась буржуазией, связь с родиной затруднялась, с запозданием приходили письма от жены. Возникали неприятности с редакцией. Вероятно, тяжело и грустно ему бывало, и усугублялось это явным фактом, что был он неумолимо строгим судьей своей работы: «И в твоих письмах я об этом читаю, Густина, да и сам я несчастлив и недоволен своей работой. Но дело тут не в моем хотении (или же в недостатке сильной воли), тут виновата моя бездарность. Я просто не умею. Очень неприятно осознавать это, но факт есть факт».

Не нужно делать вид, будто бы все у Фучика было сильнее времени. То, что в полемике с врагами Советского Союза явилось необходимым, то, что в свое время хорошо стреляло по цели, в новых условиях выглядит иначе.

Естественно, Фучику пришлось в полемике акцентировать при показе нового человека, иногда слишком прямолинейно, новые черты в нем. В полемике ведь очень легко стать односторонним. Во многом теперь необходим новый угол зрения

К тому же надо еще помнить, что он, к сожалению, не смог свои журналистские произведения 1935—1936 годов отредактировать в тиши рабочего кабинета, лично подготовить их для издания книгой. Если бы для него взошло над Прагой и Татрами солнце свободы, он безусловно поработал бы немало над книгой, и изменения в ней шли бы за счет ослабления «полурепортажа» и усиления «полубеллетристики», на пользу художественности.

И все же свежесть фучиковского видения мира, благородство отношения к действительности — это ценности непреходящие.

Фучик до сих пор — новый и молодой искатель интересной формы, которая должна читателю облегчить понимание правды, закрепить богатство содержания в сознании людей. Его искусство начинается, только начинается, со способно-

сти интересно рассказать, сообщить изображаемому подлинность. Мы читаем книгу, и перед нами тянется как будто бы в натуре только что построенная Большая киргизская дорога, мы отчетливо представляем себе колоритный базар в Ташкенте, озеро Иссык-Куль, скептического Мистера-Твистера, нашего попутчика в поезде, идущем на восток, поселок Рыбачье, где пока много водки и мало культуры и все-таки достаточно для того, чтобы понять, куда идет развитие. Шоферы в горах, машины на льду озера в сугробах. Отряд красноармейцев, которые вынуждены «вымостить» крутой перевал шинелями, чтобы можно было пройти лошадям. Астрономы и современная оптика отечественного производства в степях Казахстана, киргиз учитель, один из первых полуграмотных энтузиастов, едет из деревни во Фрунзе, потому что забыл одно из основных арифметических действий, и в пути его убивают басмачи. Басмачи в борьбе против строителей дороги. Героический труд строителей. Галерея женщин, которые сбросили паранджу...

В ташкентской государственной библиотеке Фучик читает книгу воспоминаний Филиппа Назарова о царской колонизации Средней Азии. Он прочтет в ней, как некий казак Любимский прикладом винтовки ударил кокандца. Генерал царской армии Кауфман на полях книги сделал заметку: «Молодец казак Любимский — первый учитель кокандцев». Фучик в конце репортажа пишет, как он сам рассказывал колхозникам о Гитлере, о фашистском терроре и замученных товарищах. Колхозники покачивают головами, рассуждают о Европе, они, «потомки тех, кто отсекали головы старикам и женщинам, чтобы раздобыть себе цветной халат, говорят: «Страшно!»

И в таком простом сопоставлении разных фактов, относящихся к различным эпохам, ключом бьет мысль. Ясна тут ее широта и глубина.

Метафора Фучика, как правило, оправдана всем содержанием очерка и даже книги в целом. «Мираб открывает шлюзы, река вливается в арыки, земля пьет, хлопок пьет, люди пьют, вода из Ходжи-Бакирган переливается, как молодая кровь в жилах...»

Аппарат поэтических сравнений у Фучика остроумен, интересен, изящен. И неизменно свидетельствует о способности воспринимать мир цельно и целеустремленно, о содержательности образа, богатстве мысли и настроения.

Сравнить «нас» и «их» можно прямолинейно, банально, а можно начать, например, так: «По старой, песком засыпанной дороге впервые несшей на себе шины автомашин...» караван устремлялся обратно в столицу. Это об испытательном рейсе колонны автомашин Москва — Ташкент — пустыня Кара-Кум.

И далее: «Я знаю, в капиталистическом мире много одаренных людей, ученых, изобретателей крупного масштаба, мужественных открывателей — столетиями складывался опыт западной цивилизации, а советская культура совсем молода. Но там, на Западе, все подчинено закону прибыли, ничто не становится нашим, не радует нас как собственное приобретение, там все поворачивается против нас или же, в лучшем случае, не имеет к нам отношения... Капиталистический мир тоже смог бы отправить колонну автомашин штурмовать Кара-Кум... Для чего? Чтобы во всех газетах мира появилась реклама: «Машина марки «аполлон» одолела Кара-Кум. Покупайте машины марки «аполлон!»

Субъективное настроение, картинка объективного мира, подсказавшая этот настрой,— и органически вытекающее рассуждение о чем-то большом и важном.

Коммуна Интергельпо на окраине города Фрунзе притягивала внимание Фучика родством крови, голосом сердца, значением совершаемых дел.

В начале 1936 года Фучиком были написаны — и в кругу московских друзей им же прочитаны вслух — целые главы романа об Интергельпо. Рукопись во время войны потерялась и до сих пор не найдена. Но об идейно-художественных качествах ненаписанного романа дает представление сам Фучик в письмах из Москвы в Прагу.

Он намеревался создать большое эпическое произведение. Первоначально он хотел написать небольшую брошюру — по случаю десятой годовщины существования коммуны, потом в его сознании созревает план публицистической книжки и, наконец, романа. «Мысль о «современном деянии» не могла потеряться, и вдруг я ее вижу полностью в истории Интергельпо».

Согласно плану, изложенному в письме, он хотел рассказать, как самые разные люди по самым различным соображениям покидают Чехословакию еще во время относительной стабилизации капитализма и едут в Киргизию строить коммуну. По крайней мере три социальные действительности — Чехословакию двадцатых годов, Киргизию в развитии и Чехословакию вплоть до времени работы над романом — хотел показать Фучик и, само собой разумеется, много человеческих судеб, огромный исторический конфликт.

Можно лишь догадываться о характере творческих поисков Фучика, если бы он был жив. Нельзя сомневаться в том, что его работа над произведением об Интергельпо была бы достойным экзаменом творческих сил сформировавшегося большого художника. Им ведь был задуман роман-эпопея, а обращение к этому жанру — результат и доказательство

зрелости как писателя, так и литературы в целом.

И уж ни в коем случае невозможно усомниться в том, что именно нелегальные путешествия в Страну Советов помогли чешскому патриоту стать великим и бессмертным автором «Репортажа с петлей на шее». Разве в нем трудно почувствовать советский опыт Фучика? Из благородного волнения на Красной площади и путешествий в Среднюю Азию осталась в бессмертном тюремном дневнике немалая доля оптимизма и могучей веры в победу разума и добра.

■

Летом 1926 года со вторым эшелоном Интергельпо в Советский Союз уезжает основоположник словацкой социалистической прозы Петр Илемницкий. У него нет непосредственных журналистских заданий, у него нет и времени, чтобы писать о новой жизни на страницах коммунистической прессы. А все-таки он пишет. Он узнает Киргизию. У подножия Кавказа в течение года он обучает детей чешских и словацких крестьян, которые переселились на берег Черного моря во второй половине прошлого века. Он учится в Московском государственном институте журналистики. В общем он живет в Советском Союзе — как и Фучик — два года.

Жизненный опыт перевоплощается в его произведения медленнее, чем, например, у «неистового репортера» Эгона Эрвина Киша или более темпераментного Фучика. Но два года в Стране Советов в той или иной мере сказываются во всех его произведениях, создаваемых в течение десятилетия перед второй мировой войной, и наиболее полно, ярко и непосредственно — в «Звенящем шаге» и «Компасе в нас».

Публицистика Петра Илемницкого из Советского Союза — это короткие газетные материалы о Москве, о коммунистическом образе жизни в Государственном институте журналистики, о практике студентов в редакциях. Это, например, очерк с дороги из Москвы в Алма-Ату, впервые напечатанный в журнале «Дав», статья о чехах и словаках в Киеве на берегу Черного моря, во Фрунзе.

И это — опять как в произведениях Фучика — сопоставление двух миров, борьба старого и нового в людях. Илемницкий разве только смелее и более последовательно, чем корреспондент «Руде право», пишущий прежде всего на злобу дня, искал в советской действительности борьбу старого в жизни и человеке с тем, что для будущего утверждает настоящий день. Два полюса пока резко противопоставлены друг другу. Для того чтобы выразить переходные типы, состояния, обстоятельства, для того чтобы изобразить движение, Илемницкому нужно развернуться. Его эпический талант пока слишком стеснен рамками жанровой специфики публицистики. Поэтому, например, в поезде, идущем в Алма-Ату, он знакомится пока только с пламенными ударниками и советскими инженерами, окончившими советские государственные вузы. Второй полюс — это раскулаченный крестьянин, деклассированные элементы, не желающие и не способные работать при советской власти.

Это, собственно говоря, только беглое первое знакомство, мимолетные ощущения. Но Илемницкий зорко видит основное.

Для современной творческой практики публицистика Илемницкого поучительна ее духовной атмосферой, настроением, какой-то импрессионистски вещественной образностью. Темная среднеазиатская ночь, звезды пылают как белые розы, широкий вольный ветер над широкой степью. Мы поедем туда когда-нибудь, чтобы увидеть все это. Сверкает снежный, ледяной хребет Тянь-Шаня, блестят белизной зубы киргизов на жарком солнце. Киргиз смеется, он беспечен. Если он богат, он сможет купить себе много жен и спит с ними в своей юрте за домом. Нет, это не цитаты из книги. Такие картины держатся в памяти крепко, их трудно забыть. А вот теперь идут слова из очерка «Плуг»: «Качают киргизы головами, качают, и бабы осторожно ходят вокруг, трогают руками сверкающие части плуга, выкрикивают слова удивления, и могучие груди выползают из грязных рубах». Это жена солдата получила железный плуг в награду за отличную мужнину стрельбу. В степь врывается цивилизация.

Словацкой натуре особенно близок очерк «В Доновалах о доновалчанах», опубликованный в журнале «Дав» в 1931 году. В нем будто многоцветной радугой соединены дали: Тянь-Шань и Татры, советское Интергельпо и словацкая деревушка, затерявшаяся глубоко в горах. Илемницкий возвращается из Советского Союза, родным на родине он рассказывает о родных в Средней Азии. Два мира протянули друг другу руки над вершинами гор, над степями и реками. Этот наш маленький нищий мир, полный забот о существовании, и тот — наш большой и новый мир, осуществляющий первую пятилетку.

Роман «Компас в нас» — не говоря об этом на языке логических понятий — художественно показал не только крайние полюса, но и «полутона, нюансы, переливы красок», ступени на бесконечной лестнице развития. Эта книга, одна из умнейших и красивейших в словацкой литературе, особенно актуальна как раз сейчас. Почему это так? Сейчас, когда последовательно восстанавливаются и внедряются в жизнь ленинские нормы, нравственное сознание человека и его общественная активность должны рассматриваться как существеннейшие элементы решения главных проблем нашего

времени. Именно в наше время после печальных уроков периода культа личности необходимо не в словесных декларациях, а в практике утверждать новое отношение к людям, обществу, труду. В наши дни ведь иные чехословацкие публицисты в культурно-политических и литературных журналах так легко, просто отрицают. Громкое пустословие подчас подменяет необходимый глубокий анализ и последовательную деятельность, с дешевенькой отвагой порой в абсурдный абсолют возводится то скепсис, то односторонняя «узкая вера».

В романе «Компас в нас» классически чистым художественным способом, путем изображения человеческих судеб выражено чувство полноты и напряженной сложности жизни. Тут можно увидеть и прочувствовать революционный скачок от прошлого к будущему и тончайшие переходы от плохого к лучшему. Илемницкий тут проявляет себя — пишет проницательный словацкий критик А. Матушка — «как художник, который видит, и как социалист, который знает».

Роман из шести новелл впервые вышел в свет в 1937 году.

С тех пор прошло почти тридцать лет. Мы роман перечитываем с чувством первой, незабываемой любви, так, будто собираемся опять в дальнюю дорогу. Мы как будто видим Казбек, Тянь-Шань и даже как будто заболеваем малярией в киргизской степи...

Три пары новелл, рассказанные друзьями друзьям в осетинские ночи, глубокие, словно колодцы.

Рассказывает сам Илемницкий — подробно и обстоятельно — об отношениях двух братьев в Словакии, о чехословацких переселенцах у Новороссийска, об Интергельпо. Кроме рассказов от имени автора здесь три коротких воспоминания — столетнего осетина, его сына и внука. Он охватывает, таким образом, по крайней мере полтора столетия на трех участках земного шара, удаленных друг от друга на тысячи километров. Все дали и времена объединены и согреты человеческой мыслью. Писатель словно вклинился в историю человечества. Он отталкивается от далекого прошлого нескольких народов. Примечательно, что эти народы невелики. Он заставляет работать память осетина — деда Тото, словацкой бабушки Бурдовой у Черного моря и старого Гавиара в Словакии. Он сам от своего имени обстоятельно расскажет о своем времени, в полете мысли коснется будущего. Новеллы скреплены философско-поэтическим авторским словом, центральной идеей о счастье, рассуждениями о любви к родине, о вредной страсти к собственности, которая мешает полноте человеческого чувства.

Тут каждая деталь работает на что-то большое, что не назовешь по-другому, как только максимально доступной литературе полнотой жизни.

Почти каждый мотив в книжке Илемницкого можно разложить на несколько значений. Основное на этом свете — условия жизни без эксплуатации, свободный труд на пользу людям. К этому ведет нас логика синтеза и изобразительных средств: пейзажных зарисовок, картин труда, метафор.

Лето и жизнь в разгаре; мчатся по степи ретивые кони, и ленивый казак не в силах преодолеть сладкую дремоту в то мгновение вечности, когда зажиточный чешский крестьянин едет на телеге в лес за шкумпой. Нельзя не откликнуться сердцем на эту картинку, нельзя не понять грустную, но в конце концов победой завершившуюся историю крестьянской дочери как воплощение судьбы миллионов, которым революция подарила жизнь...

Какая разница между предрассудками в столь неодинаковых обстоятельствах и средах? Осетин бессмысленно стреляет из ружья, когда его жена рожает ребенка; в словацких Кисуцях «лечат» и вгоняют в гроб знахарки. И вот другие параллели: с одной стороны — цветущий сад в Интергельпо, артельные пчелы, с другой — полные кадушки приторно сладкого меда как символ уродующего все живое богатства из предшествующей новеллы о Еве Бурдовой.

Илемницкий — точно так же, как Фучик,— умело использует народные обычаи и предания старины. Он, например, легенду о старике с белой бородой на вершине Казбека умеет подчинить идеям времени: могучий столетний старец интересуется тем, господствуют ли в стране чужеземцы, учится ли молодежь, приносят ли деревья хорошие плоды.

Метод социалистического реализма позволил Илемницкому использовать достижения чехословацкой литературы в целом. Тут та способность очень конкретно, материально осязать реальность, которую ни импрессионисты в европейской живописи, ни так называемые «поэтисты» в чешской поэзии не сумели подчинить идеям улучшения социальной жизни. Тут чистота и обаяние чувств, которые авторы словацкой «лиризированной прозы» не сумели объединить с мыслью о революции. Тут гордость за активного человека, которую талантливый словацкий реалист Урбан не смог оправдать социальной перспективой.

Светлые чувства, сопровождающие повторное чтение этого романа, приводят к мысли о том, что критерии, которыми мы пользуемся, проверяются временем. В Чехословакии пятидесятых годов некоторые литературоведы и критики высказывались о «Компасе в нас» довольно сдержанно. На русский язык роман не переведен. Теперь же этому произведению отдают должное, и это хоро-

---

ОНДРЕЙ МАРУШИАК
В СТРАНЕ НАШЕГО ЗАВТРА

шо, но противопоставляют его тем романам писателя, которые раньше поднимались на щит. «Илемницкий на самом деле был не только лишь автором «Невспаханного поля», он написал «Компас в нас». Это обозначает, что эпик в то же время лирик; и это в свою очередь обозначает, что кроме обязательных данностей, политических и экономических, где-то над ними, Илемницкий в лучшие свои минуты видит человека, его счастье и судьбу, эмоциональный и нравственный миры, полноту жизни при социализме». Сказано это А. Матушкой в 1964 году на научной конференции Литературного института Словацкой академии наук. Это очень верно, если имеется в виду синтез человеческого и политического, общественного и личного. Это очень уязвимо, если человек, его счастье и судьба противопоставляются политике, а роман «Компас в нас» — тем произведениям писателя, которые раньше возводились в образцы социалистического искусства.

И, наконец, несколько слов о последней новелле романа с длиннющим названием «Об Интергельпо и о земляках, которые должны были потерять родину, потому что искали счастье в труде».

Нас пленяет ее магическая сила. Наше воображение отчетливо рисует розовые и фиолетовые горы, игру лучей солнца в тихий час заката. Нас радует почетная миссия земляков, построивших мастерские, первые в Киргизии, пустивших в ход фабрики, преодолевших капризы климата и тоску по родине.

Мы встречаемся с ними на десятом году существования их коммуны. Сюжет возвращает нас к самому началу — на вокзал в городе Жилине в двадцать шестом году. Из Чехословакии отправляется второй эшелон решительных людей, пролетариев — переселенцев в Советский Союз. Илемницкий рассказывает сам или же предоставляет слово героям своего произведения. Все конкретно, все поделовому. Пафос новой жизни не в словах, а в героических делах живых людей, которым приходилось трудно, ой, как трудно им было.

Киргиз Ашамузаев, пастух Интергельпо, вносит в наше сознание представление о своеобразных формах революционных изменений. Юрты кочевников, гаремы баев, бои с басмачами, первые железные дороги в степи. Он и старик венгр Варга с его пчелами в горах — это всепобеждающее трудолюбие и звонкая, чистая струна интернационализма.

Воспоминания Петра о трудностях в голой степи — песнь во славу коллективного героизма. Брат Петра умирает от тифа. Молодая женщина умерла от тоски по родному Липтову. Коммунист Валент исключен из партии за нарушение советских законов, так как он послал в письме отцу деньги, чтоб тот мог вернуть в Словакии сумму, взятую в долг перед отъездом сына в Интергельпо... В деловом жанре художественного репортажа героика и трагизм сплетены воедино.

Философствующий в хорошем смысле литературный герой Илемницкого Мах рассказывает о плантациях деревьев необычайно твердой породы, которые растут несколько столетий. Он говорит, имея в виду тех, кто будет жить лет через тысячу: «...мне иногда кажется, будто здесь праздновалось воскрешение из мертвых».

ТРУМЭН КАПОТЕ

ОБЫКНОВЕННОЕ УБИЙСТВО

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с английского
ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА И ВАЛЕНТИНЫ ЧЕМБЕРДЖИ

II. Неизвестные

Действующее в пределах штата канзасское Бюро расследований с центром в Топеке располагает девятнадцатью опытными инспекторами на местах по всей территории штата, к их услугам прибегают в тех случаях, когда расследование происшествия превышает полномочия местных властей. Элвин Адамс Дьюи — сухощавый красавец сорока семи лет, представитель Бюро в Гарден-сити, курировал значительную часть западных районов штата, в том числе и графство Финни. Шериф графства Эрл Робинсон неизбежно должен был обратиться к Элу Дьюи за помощью по делу Клаттеров. Неизбежно и вполне естественно. Предшествующая деятельность Дьюи (с 1947 по 1955 год он — шериф графства Финни, а еще раньше специальный агент ФБР; в период с 1940 по 1945 год служил в Нью-Орлеане, Сан-Антонио, в Денвере, Майами и в Сан-Франциско) была хорошей профессиональной подготовкой в тому, чтобы разбирать именно преступления запутанные, очевидно не мотивированные и не оставившие каких-либо явных следов. Кроме того, он отнесся к расследованию этого убийства как к «своему личному делу». «Мы с женой,— рассказывал он,— всегда были в чудесных отношениях с Хербом и Бонни, каждое воскресенье виделись с ними в церкви, часто навещали друг друга... Впрочем,— добавил он,— даже не будь я лично знаком с Клаттерами, это ничего не изменило бы. Потому что я много чего повидал на своем веку. Но такого — никогда. Даже если мне придется потратить на это всю жизнь, я докопаюсь до того, что случилось в доме: кто это сделал и почему».

С этой целью была организована группа из восемнадцати человек, и среди них три самых квалифицированных сыщика из канзасского Бюро расследований — специальные агенты Гарольд Най, Рой Черч и Кларенс Данц. Когда эти трое прибыли в Гарден-сити, Дьюи был очень доволен.

— «Команда» настолько сильна,— сказал он,— что кое-кому следует быть начеку.

В понедельник днем Дьюи устроил пресс-конференцию в кабинете шерифа.

— Я изложу вам голые факты, без всяких домыслов,— сообщил он собравшимся журналистам.— Итак, самое главное, о чем надо все время помнить, это то, что мы имеем дело не с одним убийством, а с четырьмя. И мы не знаем, кто был главной жертвой. Может быть, Нэнси. Может быть, Кеньен или один из родителей. Некоторые говорят, что скорее всего преступники хотели убить мистера Клаттера: ему перерезали горло и вообще ему досталось больше всех. Но это уже не факты, а домыслы. Кое-что прояснилось бы, если бы мы знали, в каком порядке совершены убийства, но врачебная экспертиза не может этого установить. Единственное, что мы знаем,— убийства были совершены где-то между одиннадцатью вечера в субботу и двумя часами ночи в воскресенье.

Продолжение. Начало в № 2.

Затем Дьюи ответил на вопросы журналистов. Нет, говорил он, ни одна из женщин не подверглась насилию; нет, насколько можно судить, кражи не было; да, он расценивает как «странное совпадение» тот факт, что за восемь часов до своей смерти мистер Клаттер сделал первый взнос по страховому полису с двойной гарантией. Тем не менее Дьюи «почти уверен», что между этой выплатой и преступлением нет прямой связи; о какой связи может идти речь, когда единственными людьми, которые выиграли бы при этом, были оставшиеся в живых старшие дочери мистера Клаттера — миссис Доналд Джершоу и мисс Беверли Клаттер? Да, сказал Дьюи репортерам, есть предположение, что убийства явились делом рук мужчины или двух мужчин, но он предпочел бы сейчас не говорить об этом.

По окончании конференции Дьюи удалился в кабинет шерифа, который временно был предоставлен в его распоряжение. В кабинете стоял стол и два жестких стула. Стол был завален вещами, которые, как надеялся Дьюи, когда-нибудь явятся вещественными доказательствами в суде: липкий пластырь и веревки, снятые с жертв и помещенные теперь в пластмассовые мешки (к сожалению, ключом к разгадке не мог стать ни один из этих предметов, потому что их легко приобрести в любом районе Соединенных Штатов), здесь же лежали снимки, на которых полицейский фотограф запечатлел место преступления, двадцать глянцевых фотографий раздробленного черепа мистера Клаттера, изуродованного лица его сына, связанных рук Нэнси, широко открытых глаз ее мертвой матери и т. д. Впоследствии Дьюи провел не один час, тщательно исследуя снимки в надежде «вдруг что-то обнаружить», какую-нибудь существенную деталь, которая скрыта наподобие животных на загадочных картинках — «сколько животных ты можешь найти на этой картинке?»

— Именно это я и пытаюсь сделать. Найти спрятанных животных. Я чувствую, что они должны здесь быть. Вот только удастся ли их найти! — говорил Дьюи.

И в самом деле, одна из фотографий — мистер Клаттер крупным планом, лежащий на коробке из-под матрацев,— таила в себе сюрприз: отпечатки следов пропыленных ботинок с рифлеными подошвами необычного рисунка. Отпечатки, не заметные для простого глаза, были четко зафиксированы на снимке. Они вместе с найденным на той же самой картонной крышке кровавым следом от подошвы, выпускаемой фирмой «Кошачья лапа», представляли единственные «серьезные улики», о которых могли говорить сыщики, могли, но ничего не говорили. Дьюи и его группа решили пока держать это обстоятельство в секрете.

Среди прочих предметов на столе Дьюи лежал дневник Нэнси. Он уже пробежал его по диагонали, а теперь принялся самым тщательным образом изучать все записи день за днем. Нэнси начала вести дневник в день тринадцатилетия и продолжала его вплоть до неполных семнадцати. В записях Нэнси не было ничего сенсационного: обычные признания серьезной девочки, которая обожала животных, любила читать, готовить, шить, танцевать, ездить верхом. Всеобщая любимица, хорошенькая чистая девочка находила флирт «забавным», но была тем не менее «искренне и по-настоящему влюблена только в Бобби», Бобби Раппа, лучшего баскетболиста класса, с которым она «постоянно встречалась». Дьюи начал читать с конца, с последней записи. Она состояла из трех строк, написанных за час или два до смерти: «Заходила Джолин К., и я научила ее печь вишневый пирог. Занималась с Рокси. Заходил Бобби, мы смотрели телевизор. Ушел в одиннадцать часов». Молодой Рапп был последним человеком, который, по имеющимся пока сведениям, видел Клаттеров живыми. Его подвергли обстоятельному допросу, и хотя он с не вызывающей сомнения точностью рассказал о своем последнем визите к Клаттерам, как о «самом обычном вечере», его собирались допросить еще раз. Было совершенно очевидно, что полиция пока не считала возможным полностью снять с него подозрение в убийстве. Сам Дьюи не верил, что Бобби, тихий, невысокого роста мальчик, сын всеми уважаемого фермера, мог иметь какое-нибудь отношение к преступлению. Однако в самом начале расследования казалось, что Бобби — единственный человек, который мог иметь хоть какие-нибудь мотивы для совершения преступления. В своем дневнике Нэнси много раз возвращалась к ситуации, могущей послужить таким мотивом. Она писала о настойчивых требованиях отца «порвать» с Бобби, «перестать видеться с ним так часто», о том, что, по мнению Клаттера, принадлежность его семьи к методистской церкви, а Раппов — к католической являлась непреодолимым препятствием для будущего бракосочетания дочери с Бобби Раппом.

Смеркалось, и Дьюи позвонил домой жене. Он предупредил ее, что не придет к ужину. Мэри ответила: «Хорошо, Эл»,— но он уловил беспокойство в ее голосе.

— Что-нибудь стряслось? — спросил он.

— Нет, все хорошо,— уверила его жена.— Только, когда ты вернешься, позвони, пожалуйста, в дверь. Я поменяла все замки.

Теперь он понял, в чем дело.

— Не тревожься, милая. Запри все двери и зажги свет на крыльце.

Он повесил трубку. Най спросил:

— Что случилось? Мэри напугана?

— Черт возьми, да. Она и все остальные тоже.

Но испугались не все. Во всяком случае, не вдовая, неустрашимая почтмейстерша в брюках, миссис Мэртл Клэр, которая, не переставая, насмехалась над своими

земляками: «Трусливые зайцы, все вы дрожите и боитесь закрыть глаза. То ли дело я,— продолжала она,— ничто не мешает мне спать спокойно. Пусть кто-нибудь только попробует ко мне подступиться». (Через одиннадцать месяцев группа вооруженных бандитов в масках поймала ее на слове: они ворвались на почту и ограбили ее, унеся с собой девятьсот пятьдесят долларов.) Как обычно, кое-кто разделял точку зрения миссис Клэр. Владелец хозяйственного магазина в Гарден-сити говорил:

— Сейчас хорошо идут замки и задвижки. Людям все равно, какой они марки, главное, чтобы замки работали.

Впрочем, хорошо развитое воображение может открыть любую дверь. Стоит только повернуть ключ, и страх окажется тут как тут. Во вторник на рассвете машина с охотниками за фазанами из Колорадо проезжала через Холкомб. Всех, кто был в машине, поразила открывшаяся перед ними картина: в окнах горел свет — буквально в каждом окне каждого дома. Сквозь ярко освещенные стекла были видны одетые, как днем, люди. Целые семьи просидели всю ночь без сна, прислушивались к каждому звуку. Чего они боялись?

— Это может снова повториться.

Все так говорили. Одна женщина, школьная учительница, однако, сказала:

— Все это не произвело бы такого впечатления, если бы случилось с кем-нибудь другим. Но Клаттеры! Их образ жизни был для многих идеалом. Такие достойные, всеми уважаемые люди! И такое кошмарное убийство! Это все равно, как вдруг узнать, что бога нет. Жизнь потеряла всякий смысл. Мне кажется, что люди не столько напуганы, сколько подавлены.

Но самое очевидное и самое неприятное последствие происшедшего состояло в том, что мирное до сих пор содружество добрых соседей стала разъедать ржавчина взаимного недоверия; можно понять горожан, считавших, что убийца находится среди них: все они разделяли мнение, высказанное братом покойного, Артуром Клаттером. Во время беседы с журналистами в вестибюле гостиницы в Гарден-сити, которая состоялась 17 ноября, он сказал:

— Держу пари, что кто бы ни сделал это, он находится сейчас в пределах десяти миль от того места, где мы с вами стоим.

■

Примерно на четыреста миль севернее того места, где стоял сейчас Артур Клаттер, два молодых человека обедали в закусочной «Орел» в Канзас-сити. Один из них, узколицый юноша с вытатуированной на правой руке голубой кошкой, быстро справился с несколькими сандвичами с курятиной и теперь пожирал глазами мясо, лежащее на тарелке перед его товарищем: нетронутый рубленый бифштекс. Рядом стоял стакан имбирного пива, в котором растворялись три таблетки аспирина.

— Перри, детка,— сказал Дик,— может, ты не хочешь мяса? Я его **возьму.**

Перри со злостью отодвинул тарелку.

— Тьфу ты. Дашь ты мне сосредоточиться или нет?

— Нечего читать это пятьдесят раз подряд.

На первой странице канзасской городской газеты «Стар» от 17 ноября было помещено сообщение под заголовком: «РАЗГАДКА УБИЙСТВА ЧЕТВЕРЫХ ЕЩЕ НЕ НАЙДЕНА». Статья заканчивалась следующим резюме:

«В поисках убийцы или убийц сыщики попали в трудное положение, так как ловкость преступников столь же очевидна, как и отсутствие всяких видимых мотивов. Этот убийца или убийцы перерезали провода обоих имеющихся в доме телефонов, связали свои жертвы и заткнули им рты кляпами. Следов борьбы с потерпевшими не обнаружено. Не оставили в доме никаких улик, никаких указаний на то, что они что-либо искали, за исключением, быть может, бумажника мистера Клаттера. Застрелили четырех человек в разных частях дома, а затем спокойно собрали все гильзы. Приехали в дом с огнестрельным оружием и покинули его, никем не замеченные. Действовали немотивированно, если не считать неудавшейся попытки грабежа, которую сыщики все-таки учитывают».

— «Этот убийца или убийцы»,— повторил Перри вслух.— Неправильно. Грамматическая ошибка. Должно быть так: «Этот убийца или **эти** убийцы».

Прихлебывая начиненное аспирином пиво, он продолжал:

— Что-то мне не верится. И тебе тоже. Сознайся, Дик. Ты ведь тоже не веришь этой болтовне об отсутствии улик?

Перри впервые задал Дику этот вопрос вчера, изучив газеты, и Дик, видимо, напрасно понадеялся на то, что убедил Перри, ответив ему: «Слушай. Если бы эти ковбои доперли хоть до чего-нибудь, мы услышали бы цокот копыт их лошадок за сто миль».

Теперь, когда разговор возобновился, Дик даже не пытался протестовать, Перри осточертел ему со своими вопросами.

— Я всегда все предчувствовал. Поэтому-то я сейчас и жив. Ты знаешь Уилли-Джея? Он говорил, что я «медиум» от природы, а уж он как-нибудь разбирался в этом. Он сказал, что мне свойственна высшая степень «интуитивного восприятия». У меня внутри вроде радиолокатора — я вижу все раньше, чем это происходит. Я пред-

чувствую ход событий. Вот, например, история с моим братом и его женой. Джимми и его жена были до смерти влюблены друг в друга, но он был ревнивый, как черт, и она вечно страдала, потому что Джимми на каждом шагу подозревал ее в измене. В один прекрасный день он убил ее, а на следующий застрелился сам. Когда это случилось (в 1949 году), мы с отцом были на Аляске, в районе Сёркл-сити. Я сказал отцу: «Джимми умер». Неделей позже мы узнали, что так оно и есть. Ей-богу. В другой раз, в Японии, я грузил корабль и на минуту присел отдохнуть. Вдруг внутренний голос сказал мне: «Прыгай!» Я отскочил, наверно, на десять футов, и именно на то место, где я только что сидел, грохнулась целая тонна какого-то груза. Могу привести тебе еще сотню подобных примеров. Мне безразлично, веришь ты или нет. Но вот, например, прямо перед тем, как мне попасть в катастрофу с мотоциклом, я все уже мысленно себе представил: дождь, мокрая дорога, и я лежу, окровавленный, с перебитыми ногами. Вот и сейчас я что-то почувствовал, некое предостережение. Чувствую, что это ловушка.

Он сложил газету:

— Тут не все чисто.

Дик заказал еще один рубленый бифштекс. Последние дни он до того хотел есть, что ни три куска мяса подряд, ни дюжина плиток шоколада, ни фунт леденцов не могли утолить его голода. Перри, напротив, совершенно лишился аппетита. Он довольствовался лишь имбирным пивом, аспирином и сигаретами.

— Ясно, детка, ты перетрухал,— сказал ему Дик.— Ну же, не дрейфь. Счет-то в нашу пользу. Все получилось отлично.

— Принимая во внимание все обстоятельства, я просто потрясен тем, что ты говоришь,— произнес Перри спокойно. Торжественность тона лишь подчеркивала сарказм, звучащий в его голосе. Но Дик будто ничего не заметил. Он даже улыбнулся. Это была улыбка с самого удачного рекламного снимка. Посмотрите-ка на нашего обаятельного парня, казалось, говорила она, на его открытое лицо, приветливое, полное внимания и неподдельной доброты,— такому можно доверить брить себя опасной бритвой!

— Ладно,— сказал Дик.— Может быть, я и ошибаюсь в чем-нибудь.

— Слава тебе, господи.

— Но в общем-то все получилось отлично. Мы спрятали концы в воду. И никто не найдет их. Нет ни одной зацепочки.

— Я могу назвать одну.

Перри зашел слишком далеко. Он уже не мог остановиться:

— Эта зацепочка называется Флойдом.

Удар ниже пояса, но Дик заслужил его. Самоуверенность завела его слишком далеко, пора было дернуть за ниточку бумажного змея, залетевшего бог весть куда. Между тем Перри не без опаски заметил симптомы начинающегося у Дика приступа ярости; челюсть его отвисла, рот раскрылся, на губах выступила пена. Что ж, если дело дойдет до драки, Перри сумеет постоять за себя. Он был пониже Дика, и его короткие, непропорциональные по отношению к туловищу ножки не служили надежной опорой. Но Перри превосходил Дика в весе, и руками он мог бы, пожалуй, придушить медведя. Но как бы то ни было, проверять силу Дика на деле было крайне нежелательно. Нравился ему Дик или нет (раньше Перри больше уважал его), совершенно очевидно, что им в целях безопасности надо держаться друг друга. В этом они были единодушны. Дик как-то даже сказал:

— Если нас схватят, уж лучше обоих разом. Тогда мы сможем скоординироваться. Пусть только они попробуют показать этот фокус с признанием, мы-то точно будем знать, кто из нас что сказал. Нам будет легче.

Кроме того, разрыв с Диком означал для Перри крах всех, столь долго вынашиваемых планов. Потому что несмотря на недавние неудачи Перри связывал свои мечты о подводных поисках сокровищ с Диком. Именно с ним Перри мечтал отправиться на южное побережье Штатов и поселиться там.

Дик сказал:

— Ты имеешь в виду мистера Уэллса? — Он поднял вилку.— Да, пожалуй, я согласился бы снова отправиться в тюрьму за подделку чеков, лишь бы только расквитаться с ним.— Вилка вонзилась в стол.— Прямо в сердце, детка.

— Я не говорю, что он обязательно подведет нас под монастырь,— заметил Перри, стараясь теперь смягчить гнев Дика.— Он, скорее всего, побоится.

— Точно,— сказал Дик.— Скорее всего, он побоится.

Поражала легкость, с какой одно настроение Дика сменялось другим: вмиг с его лица исчезли и злобное выражение, и маска напускной храбрости.

— Насчет этой истории с предчувствиями,— сказал он,— ты мне вот что объясни: если ты был так чертовски уверен в том, что попадешь в аварию, ну что бы тебе слезть тогда с мотоцикла? Ничего и не случилось бы.

— Нет. Потому что если что-то должно случиться, то единственное, что можно сделать,— это надеяться, что все-таки оно не случится. Или случится — это уж зависит от обстоятельств. Пока живешь, тебя всегда что-то ожидает, и даже если это что-то плохое и ты знаешь, что оно плохое, все равно, что ты можешь сделать? Ты же не можешь остановить жизнь. Это — как мои сны. Когда я был маленьким, мне вечно

снился один и тот же сон: я — в Африке, в джунглях. Продираюсь сквозь заросли к дереву, совсем одинокому. Смердит это дерево просто страх, оно так воняет, что мне становится дурно. Но какое же оно красивое: на нем голубые листья, и отовсюду свисают бриллианты, похожие на апельсины. Вот поэтому я и здесь: я хочу собрать с него мешок бриллиантов. Но я знаю, что в ту минуту, когда я доберусь до дерева, на меня упадет удав. Удав, который охраняет дерево. Этот жирный сукин сын спрятался в ветках. Я ведь знаю это заранее, правда? И, клянусь богом, я понятия не имею, как с ним бороться. Но я решаю все же рискнуть. Это все потому, что я больше хочу бриллиантов, чем боюсь удава. В общем, я собираюсь сорвать один, я уже держу бриллиант в руке, я тяну к себе ветку, и в это время удав падает на меня. Мы начинаем бороться, но он такой скользкий, сукин сын, что я не могу удержать его, и он душит меня, и слышно даже, как трещат мои кости. Дальше происходит такое, что даже вспомнить страшно. Понимаешь, он начинает заглатывать меня, сначала ноги. Как будто засасывает трясина.

Перри запнулся. Он не мог не заметить, что Дик вилкой выковыривает из-под ногтей грязь и не проявляет к его сну ни малейшего интереса.

Дик сказал:

— Ну? Змея проглатывает тебя. Дальше что?

— Ладно, неважно.

На самом деле это было очень важно! Финал, полный значения! Источник радости для Перри! Однажды он рассказал сон Уилли-Джею; он описал своему другу гигантскую птицу, нечто вроде «желтого попугая». Конечно, Уилли-Джей совсем другой, человек тонкой душевной организации, «святой». Он бы все понял. Но Дик? Дик рассмеялся бы. Этого Перри не мог вынести, никто не смел смеяться над попугаем, который впервые посетил сны Перри, когда ему было еще семь лет. Всеми ненавидимый и сам всех ненавидящий, мальчик-полукровка жил тогда в Калифорнии в монастырском сиротском доме. Монашки нещадно секли ребенка всякий раз, когда постель его оказывалась мокрой. Одно из таких избиений Перри не забудет никогда. «Она меня разбудила. У нее был карманный фонарик, и она била им меня. Все била и била. Когда фонарик разломался, она продолжала бить в темноте». Именно тогда ему и приснился попугай, птица побольше самого господа нашего, желтая, как подсолнух. Ангел-хранитель, который клювом выклевал монашкам глаза, убил их, хотя они «молили о пощаде». Потом попугай осторожно поднял Перри и в своих объятиях перенес в рай. Шли годы, и одни мучения, от которых попугай спасал Перри, сменялись другими. Вслед за монашками пришли старшие ребята, отец, неверная девушка, сержант, под началом которого Перри служил в армии. Все новые и новые мучения, но попугай, этот крылатый мститель, оставался. Так и с удавом из сна. Кончилось все тем, что не удав проглотил Перри, а попугай проглотил змею. И в довершение всего — благословенное вознесение в рай! Рай являлся ему в двух вариантах. В первом Перри понимал, что он в раю, по ощущению собственного могущества, своего неоспоримого превосходства над всеми. В другом варианте рай представлялся Перри чем-то вполне реальным.

— Наверно, было что-нибудь такое в кино. Иначе, где еще я мог видеть такой сад? С белой мраморной лестницей? С фонтанами? А если спуститься в конец сада, то открывался потрясающий вид на океан. Как у побережья Кармела в Калифорнии. Но самое удивительное — там был длинный-длинный стол. Ты, наверно, никогда и не представлял себе, что вообще может быть столько еды! Устрицы! Индейки! Сосиски! И фрукты — столько фруктов, на целый миллион человек! И подумать только, все это можно есть даром. Я не боюсь дотронуться до всего этого. Я могу есть, сколько влезет. Вот какой это рай!

— Я-то человек нормальный,— сказал Дик,— мне ничего не снится, кроме кошечек-блондинок. Кстати, насчет сноз: помнишь, что приснилось козе?

Таков был Дик. О чем бы ни говорили, он всегда тут как тут со своими сальными анекдотами. Но он хорошо их рассказывает, и даже ханжа Перри не смог не рассмеяться.

■

Четыре гроба стояли в заваленном цветами зале похоронного бюро. Их должны были закрыть к похоронам, потому что несмотря на все старания не удалось приукрасить внешний вид жертв, производивших устрашающее впечатление. Нэнси была одета в платье из алого вельвета, ее брата одели в яркую клетчатую рубашку, мистера Клаттера — в костюм из темно-синей фланели, его жену — в платье из темно-синего крепа. Ужас внушали их головы, целиком закутанные в вату. Непомерно раздутые коконы, вдвое большие, чем обычный воздушный шар. Вата была смочена каким-то блестящим составом, и незолько напрашивалось неуместное сравнение с мерцающей в новогоднюю ночь рождественской елкой.

Сьюзен ушла сразу.

— Я вышла оттуда и стала ждать в машине,— рассказывала она.— Посреди мостовой мужчина сгребал листья. Я все время смотрела на него. Смотрела, как он сгребает листья и собирается поджечь их. Но перед глазами было только это платье. Я так хо-

рошо его знала. Я помогала Нэнси выбирать материал. Она сама придумала фасон, и сама шила. Я помню, как она волновалась, когда надела его в первый раз. На вечер. Я видела один только алый вельвет. И Нэнси в нем. Она танцевала.

■

Канзасская «Стар» поместила на своих страницах подробное описание похорон Клаттеров. Перри прочел его два дня спустя, валяясь на постели в номере гостиницы.

«За пять лет существования методистской церкви такое здесь случилось впервые. Почтить память погибших собралась тысячная толпа. В тот теплый не по сезону день около шестисот человек пришли на кладбище «Вэлли Вью» в северном районе городка. Они молились господу у открытой могилы. Их голоса, слитые воедино, разносились по всему кладбищу».

Тысяча человек! Перри был потрясен. Во что же могли обойтись такие похороны? Мысли о деньгах все еще не оставляли Перри. Правда, они не мучили его так неотступно, как утром, когда за душой не было ни гроша. Дела поправились. Благодаря Дику денег было вполне достаточно, чтобы переправиться в Мексику.

Этот Дик! Хладнокровный. Ловкач. Надо отдать ему должное. Черт его побери, он умеет «втереть очки». Ну хотя бы с этим продавцом из магазина в Канзас-сити. Там Дик начал действовать. Перри-то и в голову не приходило пытаться подделать чек. Никогда он этого не пробовал. Перри нервничал, но Дик был спокоен.

— Ты только стой рядом — больше мне ничего от тебя не надо. Не вздумай смеяться или удивляться, что бы я ни болтал. Вся штука в том, чтобы перестраиваться на ходу.

Дик небрежно вошел в магазин, представил продавцу Перри как друга, который собирается жениться, и быстро продолжал:

— Я буду шафером. Помогаю с покупками. Ха-ха-ха, с его, с позволения сказать, приданым.

Продавец попался на крючок. И вскоре Перри примерял довольно мрачного вида костюм, который продавец счел наиболее подходящим для предстоящей церемонии. Оглядев непропорциональную фигуру покупателя, продавец сказал:

— Боюсь, нам не обойтись без кое-каких переделок.

— О, не беспокойтесь,— сказал Дик.— Свадьба состоится только на будущей неделе.

Уладив дело с костюмом, они выбрали кучу пиджаков и брюк ярких расцветок, которые, по мнению Дика, как нельзя лучше годились для медового месяца во Флориде.

— Вы знаете Иден Рок? — спросил Дик продавца.— В Майами у них там забронированы места в гостинице. Ничего себе подарочек преподнесли ее старики: две недели по сорок долларов в день. Как вам это нравится! Девочка в порядке, да к тому же еще и богата. Неплохо пристроился несчастный коротышка. А красивые парни вроде нас с вами...

Продавец протянул ему счет. Дик полез в карман, нахмурился, щелкнул пальцами и сказал:

— Черт возьми, я забыл бумажник.

Эти слова показались Перри жалкой уловкой, которая вряд ли обманет даже «старого ниггера». Однако продавец не разделял мнения Перри. Он достал чековый бланк и после того, как Дик заполнил его и проставил сумму, на восемьдесят долларов превышающую предъявленный счет, немедленно вернул разницу наличными.

Выйдя из магазина, Дик сказал:

— Значит, на будущей неделе ты собираешься жениться? Тогда надо купить кольцо.

Спустя несколько минут они подъехали на стареньком «шевроле» Дика к магазину «Лучшие ювелирные изделия». Там они таким же способом приобрели два бриллиантовых кольца. Из ювелирного магазина Перри и Дик двинулись в ломбард, чтобы заложить драгоценности. Перри было явно жаль расставаться с кольцами. Он уже наполовину поверил в существование своей выдуманной невесты, хотя его представление о ней отличалось от образа, созданного Диком. Она вовсе не красавица или богачка, просто аккуратная девушка, ласковая, с тихим голосом, может быть, с образованием. Короче говоря, интеллигентная особа. О такой девушке Перри мечтал всегда, но встретить ее никак не мог.

Если, впрочем, не считать Куки, медсестру, которая выходила его в госпитале, куда он попал после катастрофы. Перри пробыл там полгода, Куки жалела его, давала Перри читать разные «серьезные книги», вроде «Унесенные ветром» и «Это моя любовь». Они сошлись друг с другом, и речь заходила уже не только о любви, но даже и о предстоящей женитьбе. Но, выздоровев, Перри сказал Куки «прощай» и, не утруждая себя объяснениями, подсунул ей стихотворение, соврав при этом, что сочинил его сам.

Больше Перри никогда не видел Куки и даже не слышал о ней ничего, но несколько лет спустя он вытатуировал ее имя у себя на руке, и когда Дик спросил его, кто это — Куки, он ответил:

— Да так, никто. Девушка, на которой я чуть не женился.— Перри даже немного завидовал Дику, дважды женатому и имевшему троих сыновей. Жена и дети — через это положено пройти каждому мужчине. Даже если все это и не принесет счастья, как, например, Дику.

Заложив кольца за сто пятьдесят долларов, они зашли в другой ювелирный магазин и вышли оттуда с мужскими золотыми часами. Следующим объектом стал магазин фотопринадлежностей, где они «купили» кинокамеру новейшей конструкции.

— Лучший способ поместить деньги — это купить камеру или телевизор,— заявил Дик.— Их легче всего загнать или заложить.

Они тут же запаслись парочкой телевизоров, а потом взялись за самые шикарные магазины одежды: «Шепард и Фостер», «Ротшильд», «Рай для покупателя». К вечеру, когда магазины закрылись, карманы друзей были набиты деньгами, а машина ломилась от покупок, которые можно было легко «загнать или заложить». Рубашки, зажигалки, дорогие телевизоры и дешевые запонки. Глядя на все это, Перри преисполнялся сознанием собственного величия. Теперь впереди замаячила Мексика. Можно было начать все сначала и пожить «по-настоящему». Но Дик выглядел подавленным. Он лишь пожал плечами в ответ на поздравления Перри:

— Нет, честное слово, Дик, ты был на высоте. Я сам чуть не поверил тебе.

Перри было трудно понять, почему Дик, обычно столь самоуверенный, вдруг скис, загрустил и поник именно теперь, когда у него были все основания для бахвальства.

— Может, выпьем?

Они остановились у бара. Дик выпил три «апельсиновых». После третьей рюмки он вдруг спросил:

— А как же отец? Он — славный старикан. А мать, ты же ее видел. Что же будет **с ними-то!** Ну, я, скажем, поеду в Мексику. Или еще куда-нибудь. Но они-то останутся, когда начнется заваруха с этими чеками. Я знаю отца. Он наверняка захочет оплатить их. Как всегда. А он не может, потому что он старый, больной и нищий.

— Я тебе вполне сочувствую,— искренне сказал Перри.

Перри не был добряком, но всегда отличался сентиментальностью. И привязанность Дика к родителям, его забота о них трогали его.

— Но, черт возьми, Дик, это же очень просто,— сказал Перри.— Мы сможем оплатить чеки. Ведь в Мексике мы добудем кучу денег.

— Как?

Как? Почему Дик спрашивает? Это озадачило Перри. Ведь столько возможностей, о которых они не раз говорили. Золотоискательство, подводные поиски скрытых в пучине моря сокровищ — вот хотя бы два из многочисленных вариантов, которые предлагал Перри. Но есть же и другие способы разбогатеть. Например, рыболовецкая шхуна. Они часто обсуждали возможность приобретения шхуны для ловли рыбы в открытом море. Они собирались водить судно сами, хотя никогда не имели дела даже с каноэ и в жизни не поймали ни одной гуппии. Судно можно сдавать в аренду туристам. Еще можно солидно подзаработать, перегоняя через границы южноамериканских стран краденые автомобили. (За один такой перегон платят пятьсот долларов, вычитал где-то Перри). Но Перри решил напомнить Дику только о сокровищах, которые ждали их на Кокосовом острове, крохотном кусочке земли, примыкающем к Коста-Рике.

— Без дураков, Дик. Это точно,— сказал Перри.— У меня есть карта. Я все разузнал про это дело. В 1821 году там закопали золотые самородки, драгоценные камни, я читал, что они стоят шестьдесят миллионов долларов. Даже если мы найдем не все, и то хлеб. Ты слушаешь меня, Дик?

До сих пор Дик всегда горячо поддерживал россказни Перри о всяких там его сокровищах. Но на этот раз Перри показалось, что Дик всего лишь делал вид, что верит, а на самом деле издевался над ним.

Эта мысль, впервые пришедшая в голову Перри, причинила ему острую боль. Но она мелькнула и прошла, не оставив следа, потому что Дик, ухмыльнувшись и подмигнув ему, сказал:

— Конечно слушаю, детка. Ты прав всю дорогу.

■

В три часа ночи снова зазвонил телефон. Впрочем, час не играл никакой роли, потому что Эл Дьюи, его жена Мэри и двое сыновей — девятилетний Пол и двенадцатилетний Эл Дьюи-младший — не спали. Как можно спать в доме, где каждые пять минут трезвонит телефон? Вылезая из постели, Дьюи пообещал жене:

— На этот раз я сниму трубку и не положу ее. Вот и все.— На самом деле Дьюи не решался сдержать свое обещание, хотя большинство звонков исходило от охотящихся за новостями журналистов, остряков или людей, которые предлагали свои версии раскрытия преступления.

— Послушай, Эл, старина, я разобрался в этом деле. Здесь самоубийство и убийство. Я случайно **узнал,** что финансовые дела Херба пошатнулись. У него уже не было

ни цента. Поэтому, что он делает? Он застраховывается, затем убивает Бонни, детей и, наконец, самого себя. Ручной гранатой, набитой дробью.

Порой звонили анонимные осведомители:

— Знаете этих (далее следовали фамилии)? Иностранцев. Не работают. Устраивают вечеринки с коктейлями. Откуда они берут деньги? Нисколько не удивился бы, если бы узнал, что они замешаны в истории с Клаттерами.

Звонили нервные дамы, обеспокоенные слухами и сплетнями, которым не было ни конца, ни края:

— Слушай, Эл, я знала тебя, когда ты еще был в пеленках. И я хочу, чтобы ты прямо сказал мне, в чем тут дело. Я любила и уважала мистера Клаттера, и я **отказываюсь** поверить, что он был бабником...

Дьюи поднял трубку и немедленно услышал:

— Я хочу сознаться.

— С кем я говорю? — спросил Дьюи.

Мужчина на другом конце провода повторил свое странное заявление и добавил:

— Я сделал это. Я убил их всех.

— Ладно,— сказал Дьюи.— Но все же я хотел бы узнать ваше имя и адрес...

— Ну, нет,— сказал мужчина пьяным возмущенным голосом,— не раньше, чем я получу вознаграждение. Вы высылаете мне вознаграждение, и тогда я говорю вам, кто я. И дело с концом.

Дьюи направился к кровати.

— Ерунда,— сказал он.— Просто еще один пьяный.

— Что ему надо?

— Хотел сознаться. Но раньше получить вознаграждение. (Канзасская газета «Ньюс» обещала награду в тысячу долларов тому, кто поможет найти разгадку преступления.) Да помимо всего прочего, Дьюи был слишком возбужден, чтобы заснуть, даже если бы телефон молчал. Слишком раздражен и расстроен. Ни одна из ниточек следствия никуда не вела, разве только в тупик.

Дьюи решил подвергнуть проверке сотни людей: всех наемных рабочих, когда-либо служивших на ферме «Ривер-вэлли», всех друзей и знакомых, с которыми мистер Клаттер мог иметь какие-либо дела. Черепашьим шагом двинулся Дьюи в прошлое семьи Клаттеров. Он объявил своей группе:

— Мы будем работать до тех пор, пока не узнаем Клаттеров лучше, чем они сами себя знали. До тех пор, пока мы не обнаружим связи между случившимся в воскресную ночь и тем, что происходило хотя бы и пять лет назад. Потерянное звено. Оно должно быть. Должно.

■

Старый «шевроле» выехал из Канзас-сити в ночь на воскресенье 21 ноября. Багажник был так забит вещами, что не закрывался, и часть из них пришлось привязать на крыше. В машине на заднем сиденье стояли один на другом два телевизора. Пассажирам было тесновато: и Дику, который вел машину, и Перри, прижимавшему к себе любимую гитару. Что касается прочего имущества Перри — фибрового чемодана, серого транзистора «Зенит», бутылки с имбирным пивом (он опасался, что в Мексике может не оказаться этого божественного напитка), двух огромных ящиков, набитых книгами, рукописями и дорогими сувенирами,— то оно тоже было засунуто внутрь машины. И все это — несмотря на яростный протест Дика. Он орал, топал ногами и назвал вещи Перри «пятьюстами фунтами дерьма собачьего».

К полудню они пересекли границу штата Оклахома, Канзас — позади! Перри вздохнул с облегчением. Наконец-то они в дороге! В пути. И никогда не вернутся обратно. Ему не о чем жалеть, ему не с кем прощаться, никто всерьез не задумается о том, куда он исчез. Другое дело Дик. Он покидал тех, кого, по его словам, любил: сыновей, мать, отца, брата — людей, которых он не осмелился посвятить в свои планы, с которыми не простился, хотя понимал, что не увидит их больше никогда, во всяком случае, на этом свете.

■

Дик и Перри остановились перекусить. Был полдень. Дик в бинокль обозревал окрестности. Горы, ястребы на фоне светлого неба. Пыльная дорога через пыльную деревню. Вот уже два дня они в Мексике, и пока все вполне прилично, включая пищу. (Как раз в этот момент Дик уплетал холодную жирную тортилью.) Утром двадцать третьего ноября они пересекли границу у Ларедо, в Техасе, и первую ночь провели в публичном доме Сан-Луис Потоси. До Мехико-сити, конечного пункта их маршрута, еще двести миль на юг.

— Знаешь, о чем я думаю? — спросил Перри.— По-моему, мы с тобой малость того. Если могли такое сделать.

— Какое «такое»?

— Ну, тогда.

Дик вложил бинокль в роскошный кожаный футляр с тиснеными буквами Г. У. К. Он был раздражен. Дьявольски зол. Какой черт тянет Перри за язык? Что толку все время вспоминать эту проклятую историю? Ну просто же невыносимо. Они ведь договорились не вспоминать ни о чем. Забыть — и все тут.

— У людей, которые могли сделать такое, не все дома,— сказал Перри.

— Отвяжись,— ответил Дик.— Я вполне нормальный.

Дик не кривил душой. Он считал себя человеком уравновешенным и неглупым, пожалуй, даже поумнее многих. Что до Перри, то да, он уж точно малость не в себе, по меньшей мере у него «не все в порядке». Весной в канзасской тюрьме Дик стал кое-что замечать за ним: Перри «был таким ребенком» — мочился в кровать, звал во сне папу («Папа, я тебя везде искал, где ты был, папа?»), «мог часами сидеть, посасывая большой палец и изучая дурацкие карты». В то же время он мог «нагнать жуть», приходил в ярость быстрее, чем «десять пьяных индейцев». Но никто не подозревал об этом. «Он мог запросто решить прикончить тебя, но и вида не подавал»,— сказал Дик однажды. Потому что внешне он всегда оставался спокойным парнишкой со слегка сонными глазами и ровным вкрадчивым голосом. Было время, когда Дик думал, что имеет власть над этими внезапными вспышками холодной ярости. Но он ошибся. Он не был больше уверен в Перри — он не знал, что думать о нем. Одно Дик знал твердо: Перри следует опасаться, но не понимал, почему он его все-таки не боится.

— В глубине души,— продолжал Перри,— в самой, самой глубине не представляю, как я мог сделать такое.

— А как же насчет черномазого? — спросил Дик.

Молчание. Дик почувствовал, что Перри смотрит на него. Неделю назад в Канзас-сити Перри купил темные очки — шикарные темные очки с зеркальными стеклами. Дику они не нравились будто бы потому, что стыдно появиться где-нибудь с человеком, «который может нацепить на себя такую пижонскую штуку». На самом деле его раздражали зеркальные стекла, которые скрывали глаза Перри.

— Черномазый,— сказал Перри,— это другое дело.

Он проговорил эти слова с явной неохотой, и Дик сразу насторожился:

— А может, ничего и не было? Может, ты вовсе и не убивал его?

Это был очень важный для Дика вопрос, потому что весь интерес его к Перри, мнение о его характере и возможностях вытекали именно из рассказа Перри о том, как он «под настроение» забил до смерти негра.

— Ясно, я убил его. Но ведь то черномазый. Вот в чем разница,— сказал Перри.— И знаешь, что больше всего меня грызет? Насчет того, нашего дела? Не может оно так просто сойти нам с рук. Не может этого быть. Говорить о стопроцентной гарантии — просто бред. Что-то должно случиться. Не могу избавиться от этой мысли.

Хоть Дик ходил в детстве в церковь, в бога он никогда не верил. Да и суеверным его нельзя было назвать. Не то, что Перри. Дик не придавал никакого значения ни разбитым зеркалам, которые сулили семь лет несчастий, ни свету молодого месяца, который, отразившись в стекле, навлекал различные беды. Но Перри со своей тревогой все-таки посеял сомнения в душу Дика. Временами его одолевал страх, особенно когда он задавал себе вопрос: так ли уж все сойдет им с рук? Вдруг он крикнул Перри:

— А ну, заткнись!

Он завел мотор. Впереди по пыльной дороге в лучах теплого солнца трусила собака.

■

Когда Перри задал Дику тот вопрос: «Знаешь, о чем я думаю?», он понимал, что этим начал разговор, который вряд ли придется по душе Дику. Да и сам он хотел поскорее замять дело. Он был согласен с Диком: действительно, зачем снова возвращаться к больному вопросу? Но Перри не мог заставить себя выбросить все из головы. Временами он ощущал странную подавленность, особенно когда «вспоминал это» — вспыхнувшее в темной комнате голубое пламя, стеклянные глаза большого игрушечного медведя и слова, голос, повторявший несколько слов: «Нет! Пожалуйста! Нет! Нет! Нет! Нет! Не надо! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста!»

Он снова и снова слышал звук покатившегося по полу серебряного доллара, топот ботинок по деревянной лестнице, дыхание, хрип, а потом бульканье и клекот, мучительные попытки мужчины с перерезанным горлом втянуть в себя воздух.

Сказав: «Я думаю, что мы с тобой малость того», Перри признался в том, в чем «ненавидел признаваться». Ведь «горько» признаваться в чем-то постыдном, особенно если ты в этом не виноват и, быть может, «таким родился на свет». Посмотрите на его семью. Его мать, алкоголичка, умерла, захлебнувшись собственной блевотиной. Из всех ее детей — двух сыновей и двух дочерей — только младшая дочь, Барбара, жила по-человечески: она обзавелась семьей и растила детей. Ферн, другая дочь, выбросилась из окна гостиницы в Сан-Франциско. (Перри старался убедить себя в том, что Ферн «просто выпала из окна», потому что он любил ее. Она была «такая чудесная», такая «артистичная», «ужасно здорово» танцевала и недурно пела. «Если бы ей хоть немножко повезло, она при своей наружности могла бы стать звездой». Очень

грустно представлять себе, как она карабкается на подоконник и бросается вниз с пятнадцатого этажа!) Был еще Джимми, старший брат, который убил свою жену и на другой день покончил с собой.

Потом до него донеслись слова Дика: «Отвяжись. Я вполне нормальный». Вот смехота! Ладно, пусть. Перри продолжал: «В глубине души, в самой, самой глубине не представляю, как я мог сделать такое». И тут же он понял свою ошибку, потому что Дик немедленно спросил: «А как же насчет черномазого?» Перри рассказал Дику эту историю для того, чтобы завоевать его дружбу и доверие. Перри хотелось, чтобы Дик уважал его, видел в нем такого же «настоящего мужчину», каким был сам. Однажды они прочитали и обсудили статью из «Ридерз дайджест» «Умеете ли вы разбираться в людях?». («Когда вы ждете приема у зубного врача или стоите на вокзале в ожидании поезда, постарайтесь внимательно рассмотреть окружающих вас людей. Обратите внимание на их походку. Несгибающиеся колени скорее всего выдают сильный характер. Нетвердая походка говорит о недостатке решительности».) Перри тогда сказал:

— Я всегда блестяще разбирался в людях; будь это не так, меня бы уже давно не было на свете. Если бы я не понимал, кому можно доверять. Вообще-то, таких мало. Но тебе, Дик, я доверюсь. Сейчас ты в этом убедишься, потому что после того, как я расскажу тебе кое-что, я окажусь в твоей власти. Этого я еще никогда никому не рассказывал. Даже Уилли-Джею. Как однажды я порешил одного парня.

И Перри увидел, что Дик сразу заинтересовался, стал слушать внимательно.

— Все произошло пару лет назад. В Лас-Вегасе. Я жил в старом пансионе, когда-то там был шикарный публичный дом. Но это давно, а теперь от былого шика не осталось и следа. Дом надо было снести десять лет назад, а пока он разваливался сам по себе. Самые дешевые комнаты находились на чердаке, там я и жил. Рядом со мной жил черномазый. Его звали Кинг, он остановился там проездом. Кроме нас с Кингом на чердаке не было ни души... если не считать миллиона тараканов. Кинг был немолод, но он много работал на открытом воздухе, строил дороги, и сложения был — будь здоров. Он носил очки и много читал. Кинг никогда не запирался на ключ, и проходя мимо, я всегда видел его лежащим на постели с книгой и веером в руках. Он тогда не работал, потому что ему удалось скопить немного денег. Кинг хотел отдохнуть, поваляться в постели, поразвлечься и выпить пива. Читал он всякую дребедень, комиксы и разную ерунду о ковбоях. В общем, парень был в порядке. Иногда мы вместе пили пиво, а однажды он одолжил мне десять долларов. У меня не было никаких оснований причинять ему вред. Как-то ночью стояла страшная жарища, мы оба не могли заснуть, мы сидели на чердаке, и я предложил: «Пошли, что ли, покатаемся». У меня была старая колымага, которую я перекрасил в серебряный цвет. Она называлась «Серебряный призрак». Мы поехали кататься. Выехали в пустыню. Там было холодно. Мы остановились и выпили пива. Кинг вышел из машины, и я вслед за ним. Он не заметил, как я прихватил с собой цепь. От велосипеда. Она лежала под сиденьем. В общем-то я и не собирался ничего делать, пока не начал. Я ударил его по лицу. Разбил очки. И пошло. После я ровно ничего не чувствовал. Я оставил его там и больше никогда о нем не слышал. Может, никто его там и не нашел. Кроме стервятников.

Во всей этой истории правдой оставалось лишь то, что Перри действительно был знаком с негром по имени Кинг. Но если он и умер, то уж никак не по вине Перри: Перри никогда не поднимал на него руку. Вполне возможно, что Кинг все еще валялся на какой-нибудь кровати, обмахивался веером и посасывал пиво.

— А может, ничего и не было? Может, ты вовсе и не убивал его? — спросил Дик.

Перри не был прирожденным лгуном, но он уже наврал, и пути к отступлению не было.

— Ясно, я убил его. Но ведь то черномазый. Вот в чем разница. И знаешь, что больше всего меня грызет? Насчет того, нашего дела? Не может оно так просто сойти нам с рук.— Перри подозревал, что Дик разделяет его опасения. Видимо, он успел слегка заразить Дика своими мистическими предчувствиями, иначе чем объяснить его резкий окрик: «А ну, заткнись».

Машина продолжала путь. Впереди них в ста шагах по дороге трусила собака. Дик направил машину в ее сторону. Собака была старая, полумертвая от голода. Хрупкие ее кости четко обозначались сквозь клочковатую шерсть; налети птица на ветровое стекло, удар не был бы слабее. Но Дик остался доволен.

— Так-то! — он говорил это каждый раз, когда представлялась возможность переехать собаку.— Так-то. Была собачка — и нет ее.

■

Миновал день благодарения. Сезон охоты на фазанов окончился. Но чудесное бабье лето продолжалось. Последние из приезжих газетчиков покидали Гарден-сити, убежденные в том, что преступление никогда не будет раскрыто. Но в графстве Финни завсегдатаи кафе Хартмен продолжали живо обсуждать эту историю.

— С тех пор как заварилась эта каша, от посетителей нет отбоя,— говорила миссис Хартмен, окидывая взглядом свои уютные владения. Каждый дюйм кафе занимали стоящие, сидящие, курящие и пьющие кофе фермеры, их наемные работники, пастухи.

— Просто сборище старых трепачей,— так аттестовала почтмейстерша Клэр, кузина миссис Хартмен, собиравшуюся здесь компанию.— Весной они ни за что не торчали бы здесь, будьте спокойны. Работали бы как миленькие.

В начале декабря двое из постоянных посетителей кафе решили собрать свои монатки и убраться из графства Финни и совсем из штата. Один из них, арендовавший здесь участок, говорил:

— Я пытался объяснить хозяину, что здесь творится. Да не только в Холкомбе — и в окрестностях! Ведь никто не спит спокойно. И жена моя не спит и мне не дает. Хоть мне здесь и нравится, но я поищу другое место. Поедем в восточное Колорадо. Может, там будем спать спокойно.

■

Солнце сверкало. Маленькое суденышко стояло на якоре в открытом море. На борту «Эстреллиты» было четверо: Дик, Перри, молодой мексиканец и богатый немец средних лет, по имени Отто.

— Пожалуйста, еще разок,— попросил Отто, и Перри, настроив гитару, запел приятным, с хрипотцой голосом.

После недельного пребывания в Мехико-сити Перри с Диком двинулись на юг: Куэрнавака Таско, Акапулько. Именно в Акапулько в отнюдь не первосортном кабаре они познакомились с добрым Отто. Его откопал Дик. Но к тому времени этот господин, адвокат из Гамбурга, проводящий в Акапулько свой отпуск, уже обзавелся приятелем в лице молодого аборигена, который величал себя Ковбоем.

— На него можно положиться,— говорил Перри о Ковбое.— Подлее Иуды, но в общем-то малый славный, ловкач.— Дику он тоже понравился. Они спелись.

Ковбой нашел для татуированных бродяг комнату в доме своего дяди и взялся подучить Перри испанскому языку. Они вместе проводили время в компании адвоката из Гамбурга, за его счет пили, ели и покупали женщин. Немец был вполне доволен таким времяпрепровождением — хотя бы из-за анекдотов Дика, которые он обожал. Каждый день Отто нанимал лодку, рыболовную шхуну, и компания выходила в море. Ковбой управлял лодкой, Отто что-то рисовал в блокноте и удил рыбу, Перри насаживал на крючки червяков, предавался мечтам, пел и тоже иногда удил. Дик ничего не делал — только ворчал, жаловался на качку и нежился на солнце, как сытая ящерица. Перри говорил:

— Наконец-то. Наконец-то наступила настоящая жизнь.

Но он знал, что долго так продолжаться не может. И действительно, в один прекрасный день их райской жизни пришел конец. На следующее утро Отто отбывал на родину, а Дик и Перри возвращались обратно в Мехико-сити. На этом настоял Дик.

— Конечно, детка,— сказал Дик при обсуждении их дальнейших планов.— Очень мило, когда солнце греет спину. Но, между прочим, финансы поют романсы. Надолго ли нам хватит денег от продажи машины?

Денег оставалось совсем мало. Плоды их чековой махинации в Канзас-сити: камера, запонки, телевизоры — растаяли как дым. Они продали случайному знакомому Дика, полисмену из Мехико-сити, бинокль и серый транзистор «Зенит».

■

В комнате отеля в Мехико-сити стоял уродливый комод с вделанным в него сиреневатым зеркалом. В углу висело предупреждение администрации:

SU DIA TERMINA A LAS 2 P.M.*

Иными словами, нужно было освободить комнату в указанный час или заплатить за следующие сутки полностью — роскошь, которую никак не могли себе позволить нынешние постояльцы. Они сомневались даже в том, смогут ли уплатить по уже предъявленным им счетам. Все получилось именно так, как предсказывал Перри: Дик продал машину, и через три дня от двухсот долларов не осталось и следа. На четвертый день он отправился на поиски «честной работы».

— К черту! — ругался он вечером.— Ты знаешь, сколько они платят? Какая тут зарплата? Механик высшей квалификации — и два доллара в день! Мексика! Я сыт ею по горло, детка. Мы сматываемся отсюда. Обратно в Штаты. Нет, все. Я не желаю ничего слушать. Бриллианты? Зарытые сокровища? Детка, очнись. Сундуков с золотом не бывает. И потопленных кораблей тоже. А даже если они и были бы, дьявол тебя побери, ты ведь и плавать-то не умеешь.

Дик одолжил денег у наиболее обеспеченной из своих здешних подружек, пятидесятилетней вдовы банкира, и купил билеты на автобус до Барстоу в Калифорнии.

— А оттуда двинемся на своих двоих,— сказал он.

Прохладным декабрьским утром с первыми лучами солнца Перри был уже на ногах. Упаковывая пожитки, он двигался почти бесшумно, чтобы не разбудить спящего Дика и младшую из его подружек, Инес.

Перри просматривал старые письма, фотографии, газетные вырезки, отбирая из

* Ваш день кончается в 2 часа пополудни (*исп.*).

них те, которые хотел взять с собой. Среди них был скверно отпечатанный опус, озаглавленный «История жизни моего сына». Автором труда являлся отец Перри. Год назад он отослал это письмо в Совет по условному освобождению штата Канзас для того, чтобы помочь Перри выбраться из тюрьмы, взять его на поруки. Перри читал и перечитывал послание отца, возвращался к нему сотни раз, всегда ощущая при этом острое волнение.

Собственная биография всегда вызывала у него бурю эмоций, главным образом жалость к себе, любовь и ненависть. Причем ненависть обычно преобладала. Воспоминания были печальные, хотя и не всегда. Те из них, которые относились к раннему детству, были полны радостью, аплодисментами, волшебством. Ему было, кажется, всего три года, когда он вместе с сестрами и старшим братом присутствовал на родео. На арене высокая девушка из племени чероки объезжала дикую лошадь. Распущенные волосы девушки развевались, как у танцовщицы фламенко. Ее звали Фло Бакскин, она занималась родео профессионально и была даже чемпионкой. На одном из состязаний и произошла встреча красавицы индианки и простого ирландского парня Текса Джона Смита. Они вскоре поженились и наплодили четверых детей, которые и присутствовали сейчас на состязании в качестве зрителей.

Текс и Фло продолжали участвовать в родео, пока Перри не исполнилось пять лет. Жизнь их отнюдь не текла, как по маслу, вспоминал Перри. «Мы вшестером ездили на раздолбанном грузовике, в нем спали, в нем же и ели — в основном кашу и сгущенное молоко. Это-то сладкое сгущенное молоко, избыток сахара изо дня в день и доконали мои почки».

И все-таки неплохая была жизнь. Маленький Перри гордился родителями, восхищался их мастерством, их смелостью. Это было почти счастьем по сравнению с тем, что пришло на смену. Текс и Фло стали хворать и расстались со своей профессией. Они поселились недалеко от Рено, штат Невада, стали ссориться. Фло пристрастилась к виски, и в один прекрасный день (Перри только-только исполнилось шесть лет) Фло, прихватив с собой детей, отправилась в Сан-Франциско. Отец писал:

«Я послал привет вслед уезжающему грузовику, который увозил ее и орущих во всю мочь детей. Она осыпала их площадной бранью и вопила, что когда-нибудь они все равно сбегут от нее».

■

Действительно, в течение следующих трех лет Перри несколько раз бежал, пытаясь разыскать своего потерянного отца, потому что мать он тоже «потерял», научившись при этом презирать ее: от постоянного употребления спиртного черты ее расплылись, она разжирела, ничто уже не напоминало в ней прежнюю красавицу индианку. Она до того опустилась, что даже не знала имен тех грузчиков и кондукторов троллейбусов, которых бесплатно принимала,— она требовала только, чтобы прежде они с ней выпили и потанцевали.

— Вскоре мать отправила меня в католический сиротский дом, которым заправляли монашки,— рассказывал впоследствии Перри.—Монашки меня ненавидели. Они били меня за то, что я мочился в кровать. С тех пор не выношу монашек. И бога. И религию. Правда, потом я понял, что люди могут быть еще злее. Несколько месяцев спустя меня вышвырнули из сиротского дома и отправили кое-куда похуже. В детский приют Армии Спасения. Там меня тоже возненавидели. По той же самой причине. И еще за то, что я наполовину индеец. Одна воспитательница называла меня «черномазым» и говорила, что никакой разницы между неграми и индейцами нет. Это был сам дьявол во плоти. Она наполняла ванну ледяной водой, сажала меня в нее и держала там до тех пор, пока я не синел и не начинал захлебываться. Но ее накрыли, эту суку. Потому что я схватил воспаление легких. И чуть не сдох. Два месяца меня продержали в больнице. Отец вернулся, как раз когда я помирал. Он дождался, пока я выздоровел, и забрал меня.

Отец повез Перри в Вайоминг, Айдахо, Орегон и потом на Аляску. Там Текс научил сына мечтать о золоте, находить его в песчаных отмелях ледниковых горных рек, на Аляске же Перри научился пользоваться оружием, свежевать медведей и выслеживать волков и оленей.

Теплым вечером 1945 года, во время войны, Перри очутился в Гонолулу, в одном из заведений, где наносят татуировку. Он вышел оттуда с вытатуированной на левой руке змеей с кинжалом. В Гонолулу он попал, поссорившись с отцом. На попутных добрался до Сиэтла, а там подрядился служить в торговом флоте.

— Но я никогда не сделал бы этого, если бы знал, что меня ждет. Я угодил в Корею, там шла война. В армии был на хорошем счету — в общем, не хуже других. Они наградили меня бронзовой медалью. Но повышения я не получил. Воевал четыре года на этой чертовой войне — как будто мог надеяться дослужиться хотя бы до капрала. Но не дослужился, и знаешь почему? Потому что сержант кое-чего хотел от меня. А я не хотел. Еще во время службы в армии, когда моя часть находилась в Форт-Льюис, в штате Вашингтон, я купил мотоцикл (или, правильнее сказать, «мертвоцикл»). Как только срок службы вышел, я сел на мотоцикл и поехал на Аляску, но доехал всего лишь до Беллингема. Шел дождь, и мотоцикл занесло.

На операцию и больницу ушло полгода. Остальные полгода Перри выздоравливал, живя в бревенчатом домике близ Беллингема. Домик принадлежал молодому индейцу, который сплавлял лес и ловил рыбу.

— Джо Джеймс. Он и его жена приютили меня. Между нами было всего три года разницы, но они обращались со мной, как с сыном, и это было прекрасно. А детей у них было много. Уже тогда — четверо. А потом стало семеро. Джо и его семья обращались со мной очень хорошо. Я ходил на костылях, ничего не мог, кроме как сидеть. Чтобы хоть как-то быть им полезным, я устроил нечто вроде школы. Учениками были их дети и несколько их приятелей — мы занимались в гостиной. Я учил детей играть на губной гармонике и на гитаре, рисовать. Проходил с ними каллиграфию. Все знают, какой у меня красивый почерк. Я как-то купил книгу по каллиграфии и до тех пор упражнялся, пока не стал писать так, как было показано в книге. Еще мы читали разные рассказы, ребята читали, а я их поправлял. Это меня забавляло. Я люблю детей. Маленьких детей. Хорошее было время. Но пришла весна. Ходить было больно, но все-таки я уже мог передвигаться.

Покинув Джеймсов, Перри решил поехать в Вустер, в Массачусетсе, к армейскому приятелю. Перри думал, что друг хорошо примет его и поможет найти приличную работу. Но разные отклонения от маршрута затянули это путешествие: он мыл тарелки в ресторане в Омахе, служил на бензоколонке в Оклахоме, месяц проработал на ранчо в Техасе. В июле 1955 года по дороге в Вустер он добрался до маленького канзасского городка Филипсберга, где его настигла судьба в образе «плохой компании».

— Его фамилия была Смит. Как моя. Я даже не помню, как его звали. У него была машина, и он обещал довезти меня до Чикаго. В общем, мы добрались до этой дыры Филипсберга и остановились там, чтобы сориентироваться по карте. Кажется, было воскресенье. Все магазины закрыты. Улицы тихие, пустые. Тут мой дружок, черт бы его побрал, предложил кое-что.

«Кое-что» сводилось к ограблению магазина «Чендлер сэйлс компани». Перри согласился, и они забрались в пустой магазин, откуда вынесли целый набор пишущих и счетных машинок. Все, возможно, сошло бы им с рук, если бы через несколько дней они не нарушили правил уличного движения в Сент-Джозефе, в штате Миссури.

— Барахло было еще в машине. Фараон, задержавший нас, хотел знать, как мы все это приобрели. Навели справки, а там, как говорится, нас «вернули» в Филипсбург. У них очень уютненькая тюрьма. Весь вопрос в том, нравятся ли человеку тюрьмы вообще или нет.

Через сорок восемь часов после ареста Перри с приятелем обнаружили открытое окно, вылезли, угнали машину и помчались на северо-запад к Мак-куку, в штате Небраска.

— Мы со Смитом скоро расстались. Понятия не имею, что с ним стало дальше. Оба мы попали в списки Бюро расследований, но, думаю, он по сей день разгуливает на свободе.

Сырым ноябрьским днем автобус линии «Грейхаунд» довез Перри до Вустера, заводского городка, расположенного в холмистой местности, его улицы то поднимались вверх, то круто сбегали вниз и даже в самую хорошую погоду казались мрачными и недружелюбными.

— Я нашел дом, где жил мой друг по армии. Тот, с которым я служил в Корее. Но мне сказали, что он выехал шесть месяцев назад, а куда — неизвестно. Ну, я попереживал, поплакал, мол, конец света и т. д. Пошел в магазин, где торговали спиртным, купил полгаллона итальянского красного, вернулся на автобусную станцию, сел на скамейку и стал пить, чтобы согреться. Скоро от плохого настроения не осталось и следа, но тут появился один тип и арестовал меня за бродяжничество.

В полицейском участке Перри записали как «Боба Тернера» — он придумал этот псевдоним, памятуя о списках ФБР. Просидев четырнадцать дней в тюрьме и уплатив штраф в десять долларов, Перри вышел из тюрьмы таким же сырым ноябрьским днем.

— Я смотался в Нью-Йорк и остановился в паршивой гостинице на Восьмой авеню,— рассказывал Перри.— Около Сорок второй улицы. С трудом получил работу в ночную смену. Мальчиком на побегушках в «Грошовом пассаже», где открыта круглосуточная торговля мелочью. Это прямо там же, на Сорок второй улице, около ресторана-автомата. Там я и ел, когда было на что. За три месяца ни разу не уходил из этого района Бродвея — не так был одет. Джинсы и сапоги. А на Сорок второй улице это все равно, там хоть голым пройдись. За всю жизнь не видал столько таких кретинов.

Перри провел зиму в этом безобразном районе Нью-Йорка, освещенном неоновыми рекламами; воздух был насыщен запахами воздушной кукурузы, горячих сосисок и апельсинового напитка. Но однажды ранним солнечным мартовским утром произошло следующее:

— Две суки из ФБР разбудили меня. Арестовали прямо в гостинице — трах! Вернули в Канзас, в Филипсберг. Та же уютная тюрьма. Понавешали на меня всех собак: обвинили в воровстве, побеге из тюрьмы и краже автомобиля. Получил срок от пяти до десяти лет и очутился в Лансинге. Спустя некоторое время написал отцу. Сообщил ему приятное известие. Написал сестре Барбаре. Теперь только они и оста-

вались у меня. Джимми покончил с собой. Ферн выбросилась из окна. Мать померла. Уже восемь лет, как ее нет. Нет никого, кроме отца и Барбары.

Пока Перри копался и раскладывал вещи, горка предметов, которыми он очень дорожил, постепенно превратилась в гору. Но что было делать? Не мог же он бросить бронзовую медаль, полученную в Корее, или свидетельство об окончании средней школы (оно было выдано Отделом образования графства Ливенуэрт — в тюрьме Перри закончил курс образования, прерванный столько лет назад)? Жалко расстаться и с толстым конвертом, полным фотографий собственной персоны — с юношеского возраста (на обороте одной из фотографий периода службы в торговом флоте написано «16 лет. Молодо-зелено») до недавних снимков в Акапулько. Или еще полсотни других реликвий: карты с помеченным местонахождением кладов, блокнот с рисунками Отто, две толстые тетради и т. д. Более объемистая тетрадь представляла собой личный толковый словарь Перри, содержавший выражения, которые казались ему «полезными» или «красивыми».

На обложке второй тетради было выведено изысканным почерком «Личный дневник Перри Эдуарда Смита» — заглавие неточное, так как оно не отвечало содержанию тетради. На самом деле это была своего рода антология малоизвестных фактов («Каждые пятнадцать лет Марс приближается к Земле. 1958 год — это такой год»), стихов и цитат («Человек — не остров, он не сам по себе») и отрывков из газет и книг, которые либо переиначивались, либо цитировались. Например: «У меня много знакомых и мало друзей, тех, кто знает меня по-настоящему, еще меньше», «Услышал о новом крысином яде. Действует мгновенно, не имеет запаха, не оставляет никаких следов», «Прочитал интересную статью в февральском номере журнала «Как мужчина с мужчиной». Называется «Как я ножом пробил себе дорогу к бриллиантам», «Человеку, привыкшему к свободе и всей ее прелести, почти невозможно понять, что значит лишиться этой свободы» — слова Эрла Стэнли Гарднера». «Что такое жизнь? Это блеск светлячка в ночи. Это вздох бизона зимой. Это маленькая тень, которая пробегает по траве и исчезает в заходящем солнце» — слова Кроуфута, вождя индейцев племени блекфут».

Последняя запись была сделана красными чернилами и обведена зелеными звездочками; этим, видимо, подчеркивалось личное отношение к ней. «Вздох бизона зимой» — так он представлял себе жизнь. Зачем волноваться? К чему потеть, беспокоиться? Человек — ничто, туман, тень, поглощаемая тенью. Но, черт возьми, все равно беспокоишься, вынашиваешь планы, кусаешь себе ногти и доходишь из-за дурацкой надписи на картоне: «SU DIA TERMINA A LAS 2 P. M.»

— Эй, Дик, ради Христа,— позвал Перри,— поторапливайся! Наш день кончается в два часа.

■

Полуденное солнце палило над пустыней Мохаве. Перри сидел на фибровом чемодане и играл на губной гармонике. Дик стоял у черного, как мазут, шоссе № 66 и не отрывал глаз от пустынной дали, будто сила его взгляда могла заставить появиться машину. Машины иногда появлялись, но не останавливались. Какой-то водитель грузовика затормозил и предложил подвезти путников, но Дик отказался. Они ждали иного случая. Одинокого водителя с приличной машиной, да с набитым бумажником. Такого можно было ограбить, задушить и выбросить на дорогу.

В пустыне ухо часто опережает глаз. Дик уловил звук приближающейся, но еще не видимой машины. Перри засунул гармошку в карман, поднял чемодан и встал рядом с Диком на обочину. (Чемодан был их единственным багажом. В него поместились реликвии Перри, три рубашки, пять пар белых носков, коробка аспирина, бутылка текилы, пара ножниц, безопасная бритва, пилка для ногтей; все прочее добро было частью заложено, частью оставлено в Мексике, частью послано почтой до востребования в Лас-Вегас.) Оба пристально всматривались в дорогу. Темная точка быстро увеличивалась и наконец превратилась в синий «додж», в котором был только один пассажир — сам водитель, лысый, тощий человек. Как раз то, что нужно. Дик поднял руку и помахал. «Додж» притормозил, и Дик подарил водителю обаятельнейшую из своих улыбок. Машина почти остановилась, водитель, высунувшись из окна, посмотрел на пару долгим испытующим взглядом. Она произвела на него далеко не благоприятное впечатление (после пятидесяти четырех часов, проведенных в автобусе по пути из Мехико-сити в Барстоу, да еще двенадцатичасовой прогулки по пустыне путники выглядели бородатыми, пропыленными оборванцами). Машина резко набрала ход и умчалась. Дик приложил руки ко рту и заорал вслед машине:

— Везучая сука!

Он засмеялся, поднял чемодан на плечо. Ничто не могло испортить его хорошего настроения, потому что он был рад снова очутиться «дома в Штатах». Да и какая разница? Появится же еще машина, еще водитель.

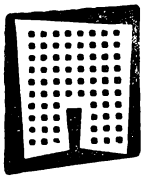
Перри снова достал гармошку (он вчера стянул ее в игрушечном магазине в Барстоу) и сыграл первые такты песни, которая стала их «походным маршем», это была

одна из любимых песен Перри, и он научил Дика петь все пять куплетов. Они шагали по шоссе плечом к плечу в такт песне и горланили:

Мои глаза узрели приход господа;
он уничтожает грозди гнева.

Их молодые, звонкие голоса прорезали тишь пустыни:

Слава! Слава! Аллилуйя! Слава! Слава!
Аллилуйя!



III. Признание

арня звали Флойдом Уэллсом. Он был мал ростом и отличался полным отсутствием подбородка. За свою жизнь Уэллс перепробовал немало способов заработать себе на хлеб: служил в армии, нанимался на ранчо, работал механиком, крал. Последнее обстоятельство привело его в канзасскую тюрьму, где ему надлежало отбыть срок от трех до пяти лет. Во вторник вечером 17 ноября он лежал в камере и слушал радио. Передавали сводку новостей, но монотонный голос диктора и обыденность событий («Канцлер Конрад Аденауэр прибыл сегодня в Лондон, чтобы вести переговоры с премьер-министром Гарольдом Макмилланом...», «Президент Эйзенхауэр в течение семидесяти минут рассматривал проблемы, связанные с космосом, и уточнял бюджет, необходимый для изучения космического пространства, с доктором Т. Кейтом Гленнаном») действовали на него усыпляюще. Внезапно он услышал нечто такое, что сон как рукой сняло: «Следственные органы, занятые расследованием обстоятельств трагической гибели четырех членов семьи Герберта У. Клаттера, обратились к общественности с просьбой сообщить любые данные, которые могли бы пролить свет на это необъяснимое преступление. Рано утром в прошлое воскресенье Клаттера, его жену и двоих детей нашли убитыми в их доме близ Гарден-сити. Преступники их связали, заткнули рты кляпами и убили выстрелами в голову из охотничьего ружья двенадцатого калибра. Следственные органы признают, что им не удается выяснить мотивов преступления, которое, по словам Лоугена Сэнфорда, директора канзасского Бюро расследований, является самым жестоким в истории Канзаса...»

Уэллс был потрясен. Он не мог поверить своим ушам, так он впоследствии описал свою реакцию, хотя ему-то меньше всех следовало бы удивляться: Уэллс не только был знаком с убитыми, но и прекрасно знал, кто их убил.

Началось это давным-давно — одиннадцать лет назад, осенью 1948 года, когда Уэллсу было девятнадцать. Он шатался по стране, работал кем придется.

— Как-то меня занесло в западный Канзас неподалеку от границы с Колорадо. Искал работу. Спрашивал, где можно устроиться. Мне сказали, что человек нужен на ферме «Ривер-вэлли» — так мистер Клаттер называл свое хозяйство. И точно, он взял меня. Я проторчал там что-то около года и ушел только потому, что меня тянуло к перемене мест. Хотелось побродить по свету. Это было в 1949 году. Я женился, потом развелся. Попал в армию. То да се. И в 1959 году — в июне — ровно через десять лет после того, как в последний раз видел мистера Клаттера, я сел в тюрьму. За магазин электротоваров. Хотел стащить там пару машин для стрижки газонов. Продавать их не собирался. Просто думал сдавать в аренду. Взбрело мне в голову организовать собственное дельце. Конечно, ни черта из этого не вышло. Кроме срока «от трех до пяти». Если б не это, я бы в жизни не встретил Дика. И мистер Клаттер не оказался бы в могиле. Теперь-то уж что? Ничего не попишешь. Дик был моим первым соседом по камере. Мы просидели вместе, пожалуй, с месяц. Июнь и начало июля. Он досиживал срок, в августе его должны были досрочно освободить. Дик все время трепался про то, чем займется, когда выйдет. Будто бы он отправится в Неваду, в один из этих «ракетных» городишек, купит себе форму и сделается «офицером» Военно-воздушного флота. В таком виде будет очень удобно обделывать делишки с чеками. (Я не принимал эту его идею всерьез. Он хоть и продувной парень, но в офицеры никак уж не годится.) Еще он вспомнил своего дружка, Перри. Дик с ним сидел. Вроде они с Перри задумали провернуть на воле крупное дело. Я этого Перри никогда не видел. Он отсидел свое и тоже был освобожден досрочно. Но Дик всегда говорил, что если выгорит когда-нибудь стоящее дельце, то на Перри-то можно положиться. Не помню точно, как у нас зашла речь о Клаттере. Наверно, я вспомнил его, когда мы рассказывали, кто кем работал. Я рассказал ему, как работал целый год на пшеничных полях в западном Канзасе на мистера Клаттера. Дик спросил, богатый ли он. Да, сказал я, здорово богатый. Однажды он за одну неделю истратил десять тысяч долларов. Случалось, что таков был его недельный оборот. Потом Дик все время приставал ко мне насчет семьи Клаттера. Сколько их человек? Сколько теперь лет детям? Как до них добраться? Какова планировка дома? Есть ли там сейф? Не буду отрицать, я ответил, что есть. В рабочей комнате мистера Клаттера, сразу же за его письменным столом был сейф, или шкаф, или еще что-то в этом роде. Тут Дик и стал болтать, что убьет мистера Клаттера. Говорил, что они с Перри доберутся туда, ограбят дом и укокошат

всех свидетелей, всех, кто там окажется. Он десятки раз расписывал, как они все это сделают,— как свяжут людей, как потом прикончат. Я говорил ему: Дик, ты с этим делом не справишься. Но если по-честному, я ни разу не пытался его отговаривать. Потому что ни секунды не верил, что он это серьезно, считал все пустой болтовней. В тюрьме о чем только не треплются. То и дело слышишь о будущих грабежах и убийствах. Сплошной свист. Никто не принимает это всерьез. Поэтому, когда я услышал сообщение по радио, я ушам своим не поверил. Подумать только, вышло. Совсем так, как Дик говорил.

Все это Флойд Уэллс рассказал впоследствии, а сейчас он был еще далек от каких-либо признаний. Он до смерти боялся, что другие заключенные проведают о его доносе. И тогда за его жизнь можно будет поручиться разве что шкурой дохлого койота. Прошла неделя. Флойд выжидал. Он следил за всеми сообщениями радио и газет и в одной из них прочел, что канзасские «Новости» обещали награду в тысячу долларов тому, кто сумеет пролить хоть какой-нибудь свет на тайну убийства Клаттеров. Ради этого стоило рискнуть. Уэллс почти решился. Но страх все еще сдерживал его. Уэллса пугали не столько другие заключенные, сколько власти, которые могли счесть его самого причастным к этому преступлению. Ведь в конце концов именно он показал Дику дорогу к дому Клаттеров. Можно было даже утверждать, что он знал о намерениях Дика. В общем, с какой стороны ни взглянуть, положение было двусмысленным, а оправдания сомнительными. И он молчал. Прошло еще десять дней. Наступил декабрь. Сообщения в газетах становились все более краткими, радио перестало упоминать о трагедии в Холкомбе. Видимо, те, кто занимался расследованием, не двигались с места: преступление казалось необъяснимым, улик не прибавилось с того утра, когда оно было совершено.

Но он знал. Мучимый необходимостью «с кем-нибудь поделиться», он доверился своему соседу по камере.

— Близкий друг. Католик. Верующий до мозга костей. Он спросил меня: «Что ты думаешь делать, Флойд?» А я ведь потому и рассказал ему все, что не знал, как мне быть. Он посоветовал сказать обо всем тюремному начальству. Иначе вряд ли я смогу жить с таким грузом на совести. И еще он пообещал устроить все так, что никому и в голову не придет подозревать в доносе именно меня. На следующий день он сумел передать начальнику тюрьмы, будто я хочу, чтобы меня «вызвали». Он сказал, что я, кажется, знаю, кто убил Клаттеров. Ну, ясное дело, меня немедленно вызвали. Господи, до чего же я боялся, что меня сочтут соучастником убийства. Но как только начал говорить, страх пропал. Рассказал все заместителю. Потом самому начальнику. Прямо при мне он снял телефонную трубку и начал набирать номер...

■

В этот вечер, покидая здание суда в Гарден-сити, Дьюи захватил конверт из плотной бумаги.

Пока на кухне жена рассказывала ему обо всех домашних неурядицах, Дьюи наливал кофе. Внезапно Мэри остановилась на середине фразы, тут только обратив внимание на раскрасневшееся лицо мужа.

— Элвин, дорогой! Хорошие новости?

Не говоря ни слова, он передал ей конверт. Мэри наспех вытерла руки, села за стол и, отхлебнув кофе, открыла конверт. Из него выпали фотографии двух молодых людей: светловолосого и брюнета со смуглой кожей — так называемые «полицейские портреты». К фотографии были приложены дела. Первое гласило:

«Хикок, Ричард Юджин. Муж. Возраст: 28. КБР 97093; ФБР 859273А. Адрес: Эджертон, Канзас. Дата рождения 6-6-31. Место рождения: К.—С. Канз. Рост: 5 футов 10 дюймов. Вес: 175 фунтов. Волосы: светлые. Глаза: голубые. Телосложение: плотное. Цвет кожи: красноватый. Профессия: красильщик машин. Преступление: обман, мошенничество, подделка чеков. Освобожден на поруки 8-12-59. Кем: Об. К.— С. К.»

Второе дело столь же кратко излагало историю жизни и деяний его напарника.

«Смит, Перри Эдвард. Муж. Возраст: 27—29. Место рождения: Невада. Рост: 5 футов 4 дюйма. Вес: 156 фунтов. Волосы: брюнет. Преступление: кража и побег. Когда арестован: (прочерк). Кем: (прочерк). Принятые меры: направлен в тюрьму КС 3-12-56 из Филлипса. Срок — 5—10. Освобожден на поруки 7-6-59».

Дьюи рассказал жене всю историю Флойда Уэллса и добавил:

— Любопытно. Три последние недели мы только и занимались тем, что изучали каждого человека, который хоть когда-нибудь служил у Клаттеров. Конечно, сейчас нам здорово повезло. Но еще пара дней — и мы сами бы добрались до этого Флойда, выяснили бы, что он в тюрьме. И правда оказалась бы в наших руках. Черт возьми, это именно так.

■

В тот же вечер другая женщина, в другой кухне, отложив в сторону носок, который она штопала, говорила, тыча очками в сторону гостя:

— Я надеюсь, вы найдете его, мистер Най. Ради его же блага. У нас два сына, он — старший. Мы его любим. Но, господи, я же все понимаю. Он бы не собрался так

скоро. Не удрал бы, не сказав ни слова ни отцу, ни брату. Наверно, опять что-нибудь натворил. Что его толкает на это? В чем дело?

Она посмотрела в угол комнатки, где у печки на кресле-качалке сидел, ссутулившись, изможденный мужчина — Уолтер Хикок, ее муж и отец Ричарда Юджина. Его выцветшие глаза выражали тоскливую безнадежность. Руки огрубели; когда он заговорил, голос его звучал так, словно он им редко пользовался.

— Не могу сказать ничего плохого о сыне. Он самый обыкновенный парень, мистер Най, замечательный спортсмен, всегда был первым на школьных соревнованиях. Баскетбол! Бейсбол! Футбол! И учился хорошо. По некоторым предметам получал высшие оценки. По истории. По черчению. После школы хотел поступить в колледж. Собирался стать инженером. Но мы не сумели помочь ему. Денег не было. У нас никогда их не было. Что наша ферма — всего сорок четыре акра, еле сводим концы с концами. Думаю, Дик затаил на нас обиду из-за колледжа. Он пошел работать, сначала на железную дорогу Санта-Фе в Канзас-сити. Зарабатывал семьдесят пять долларов в неделю. Вообразил, что с такими деньгами можно жениться. Вот они с Кэрол и поженились. Ей было шестнадцать, а ему только исполнилось девятнадцать. Я всегда знал, что это плохо кончится. Так оно и вышло.

Миссис Хикок, полная женщина с мягким овалом лица, на котором повседневная работа от зари до зари не сумела оставить следов, с упреком перебила его:

— У нас три прелестных мальчика, наши внуки,— вот что из этого вышло. А Кэрол была очень хорошая. Она тут ни при чем.

Мистер Хикок продолжал:

— Дик и Кэрол сняли приличный дом, купили шикарную машину и увязли в долгах. Хотя довольно скоро Дик стал получать больше, работая шофером на санитарной машине. Потом его взяли в «Маркл бьюик компани» — в Канзас-сити находилось большое отделение этой компании. Он был у них механиком и красильщиком машин. Но они с Кэрол жили слишком широко, не по средствам, покупали вещи, которые были им не по карману. И Дик стал подделывать чеки. Раньше он никогда этим не занимался. Примерно тогда же он выкинул фортель с этой другой женщиной. Он развелся с Кэрол, и та, вторая, стала его женой.

Миссис Хикок сказала:

— Дик ничего не мог поделать. Ты ведь помнишь, как Маргарет Эдна нравилась ему?

— Выходит, если тебе нравится женщина, значит, нужно на ней обязательно жениться, что ли? — ответил мистер Хикок.— В общем, мистер Най, вы, наверно, не хуже нас знаете обо всем. За что нашего сына отправили в тюрьму. Он отсидел семнадцать месяцев за то, что просто одолжил у одного соседа охотничье ружье. Мне плевать, что говорят: ручаюсь, что он не собирался ничего красть. И парень пропал совсем. Когда он вернулся из тюрьмы, его нельзя было узнать. Он стал чужим человеком. Он решил, что против него — весь мир. Даже вторая жена бросила его, добилась развода, пока он сидел в тюрьме. Потом мне показалось, что он успокоился. Работал в магазине Боба Сэндса в Олейте. Жил вместе с нами, рано ложился спать, никак не нарушал условий досрочного освобождения. Прямо скажу, я не долго протяну еще, мистер Най, у меня рак. И Дик знал об этом, во всяком случае знал, что я болен. Прямо перед тем, как сбежать, меньше месяца назад, он сказал мне: «Ты всегда был мне хорошим отцом. Я больше никогда не сделаю ничего такого, что могло бы тебя огорчить». Он не врал, я уверен. В нем было много хорошего. Если бы вы увидели его на футбольном поле или как он играл со своими детьми, вы бы мне поверили. О господи, дай мне силы понять, что же все-таки случилось?

Миссис Хикок продевала нитку в иглу, ее муж покачивался в кресле и сосал незажженную трубку. Острые глаза сыщика привычно ощупывали чистенькую бедную комнатушку. В углу стояло прислоненное к стене ружье, Най уже давно приметил его. Он подошел к ружью и спросил:

— Вы часто охотитесь, мистер Хикок?

— Это его ружье. Дика. Они охотились с Дэвидом время от времени. В основном на кроликов.—Это был двенадцатикалиберный дробовик «сэведж» модель «30-Д», на прикладе умелой рукой выгравирована стая летящих фазанов.

— Давно оно у Дика?

Вопрос вызвал раздражение миссис Хикок.

— Это ружье стоит больше ста долларов. Дик купил его в кредит, а теперь магазин не хочет принимать ружье обратно. А ведь еще и месяца не прошло, как Дик его купил. Да и пользовался-то он им всего один раз, в начале ноября, когда ездил с Дэвидом за фазанами в Гриннелл. Он купил ружье на наше имя — ему отец разрешил,— а теперь платить надо нам, а ведь Уолтер так болен, и у нас ничего нет, и как подумаешь обо всем этом...

Она задержала дыхание, словно пытаясь остановить икоту.

— Мистер Най, может, вы все-таки выпьете чашечку кофе? Прошу вас!

Най прислонил ружье к стене и отошел. У него уже не оставалось сомнений в том, что Клаттеры были убиты именно из этого ружья.

— Спасибо. Я бы с удовольствием. Но уже поздно, а мне надо ехать в Топеку,— сказал он и, перелистав свою записную книжку, спросил: — Я бы хотел тут кое-что

уточнить. Перри Смит приехал в Канзас в четверг двенадцатого ноября. Ваш сын сказал вам, что Перри хотел забрать деньги у сестры, которая живет в Форт-Скотте. В субботу они поехали в Форт-Скотт и заночевали,— вероятно, в доме сестры Перри?

— Нет,— сказал мистер Хикок.— Они никак не могли ночевать там. Она как будто переехала.

Най улыбнулся.

— Но где-то же они все-таки переночевали. В течение следующей недели, с пятнадцатого по двадцать первое, Дик продолжал видеться с Перри Смитом, а в остальном, как вы говорите, он жил своей обычной жизнью, ночевал дома, каждый день ходил на работу. Двадцать первого он исчез. Перри Смит тоже. С тех пор вы ничего не слышали о них? Он вам не писал?

— Он боится,— сказала миссис Хикок.— Боится, и ему стыдно.

— Стыдно?

— Да, он стыдится того, что сделал. Ведь он опять огорчил нас. Он боится, что мы не простим его. А мы простим его и на этот раз, как прощали всегда. У вас есть дети, мистер Най?

Он кивнул.

— Тогда вы знаете, как это бывает.

— Еще одно. Где, вы думаете, можно искать вашего сына?

— Разверните карту,— сказал мистер Хикок.— Ткните пальцем в любое место,— может быть, он там.

■

День клонился к вечеру, и человек, сидевший за рулем, порядком устал. Это был коммивояжер средних лет, назовем его, скажем, мистером Беллом. Он мечтал передохнуть где-нибудь. Однако ему оставалось проехать еще сто миль до конечного пункта назначения — Омахи в штате Небраска. Там находилась контора огромного мясокомбината, в котором мистер Белл работал. Правила компании запрещали коммивояжерам брать в машину случайных пассажиров, но мистер Белл часто нарушал это правило, особенно когда ему становилось скучно и не было сил бороться со сном. Поэтому он немедленно затормозил, увидев на обочине двух молодых людей.

Они показались ему вполне «симпатичными ребятами». Тот, что повыше, крепкий парень с грязно-желтым ежиком на голове, привлекал к себе обаятельной улыбкой и хорошими манерами. Его спутник, коротышка с губной гармоникой в одной руке и разбухшим чемоданом в другой, в общем тоже производил впечатление славного парня, хотя и несколько стеснительного. Мистер Белл обрадовался, что пришел конец его одиночеству, что будет с кем перекинуться словечком и что ему не дадут задремать. Разве мог он предполагать, что «симпатичные ребята» собираются задушить его ремнем и завладеть его машиной и деньгами?

Он представился первый, затем поинтересовался, как зовут спутников. Приветливый молодой человек, которого он посадил рядом с собой на переднее сиденье, назвался Диком.

— А это Перри,— сказал Дик, подмигнув Перри, сидящему позади водителя.

— Я могу довезти вас до Омахи.

— Большое спасибо, сэр,— ответил Дик.— Мы и хотели в Омаху. Надеемся найти там работу.

А какую работу они ищут? Коммивояжер полагал, что может помочь им.

— Я красильщик машин, имею высшую квалификацию, и еще механик,— сказал Дик.— Привык зарабатывать приличные деньги. Мы вот с корешем только что из Мексики. Думали, было, остаться там. Но они ни черта не платят. Что это за заработки для белого человека?

Ах, Мексика! Мистер Белл, оказывается, провел в Куэрнаваке свой медовый месяц.

— Мы всегда мечтали съездить туда еще раз. Но когда у тебя пятеро детей, нелегко сдвинуться с места.

Перри вспоминал потом, что подумал: пятеро детей — да, жалко все-таки. И, слушая, как Дик самодовольно похвалялся своими мексиканскими «любовными победами», Перри размышлял о том, что странно и эгоистично пытаться произвести впечатление на человека, которого собираешься убить, который через десять минут будет мертв. Если только все пройдет гладко. А почему бы и нет? Это был тот самый вариант, о котором они мечтали все эти три дня, когда на попутных добирались из Калифорнии в Неваду и через Неваду, Юту и Вайоминг в Небраску. До сих пор им ни разу не попадалось ничего подходящего. Мистер Белл, посадивший их к себе в машину, был первым человеком, который ехал один и казался денежным. Те, кто подвозили Дика и Перри раньше, совершенно им не подходили: ни водители грузовиков, ни солдаты, ни тем более два негра — боксеры-профессионалы в сиреневом «кадиллаке». А мистер Белл — этот как раз то, что надо. Перри ощупал внутренний карман своей кожанки. Рядом с бутылочкой с таблетками аспирина в нем лежал острый, величиной в кулак, камень с зазубринками, завернутый в носовой платок. Перри расстегнул ремень — отделанную серебром и бирюзой плеть работы индейцев племени навахо, снял его, па-

ру раз попробовал на гибкость и положил на колени. Перри ждал, пока Дик произнесет: «Эй, Перри, дай-ка мне спичку». По этому сигналу Дик схватится за руль, а Перри раскроит голову мистера Белла завернутым в носовой платок камнем. Потом в каком-нибудь тихом местечке они пустят в ход ремень с бирюзовыми камешками и серебряной пряжкой.

Между тем Дик и приговоренный ими человек обменивались сальными анекдотами. Их смех раздражал Перри, особенно лающее похохатывание мистера Белла. Так смеялся отец Перри Текс Джон Смит. Воспоминание об отце усилило напряжение, в котором он находился: голова болела, появилась ноющая боль в коленях. Он проглотил не запивая три таблетки аспирина. Перри чувствовал, что его стошнит или он потеряет сознание, если Дик будет продолжать оттягивать «дело». Темнело. Перед ними расстилалась совершенно пустынная дорога — ни одного жилища, ни одного живого существа. Кругом, насколько хватало глаз, простиралась голая земля, серая, как листовое железо. Пора начинать. Ну же! Он уперся взглядом в Дика, как бы стараясь передать тому свою мысль. Но Дик и сам решил действовать. Перри понял это по подрагивающему веку и каплям пота над верхней губой Дика.

И все же, когда Дик снова заговорил, это был всего лишь очередной анекдот.

Мистер Белл хохотнул.

— Эй, Перри, дай-ка мне спичку.

Но как только Перри поднял руку и уже готов был опустить камень на голову жертвы, произошло нечто потрясающее. Впоследствии Перри сказал: «Случилось чудо, будь оно проклято». Чудо предстало перед ними в виде невесть откуда появившегося на шоссе солдата-негра. Увидев человека с поднятой рукой, великодушный мистер Белл не преминул остановиться.

■

Дик и Перри бежали под проливным дождем. Перри отставал, потому что ноги у него короче и к тому же он тащил чемодан. Дик первым скрылся в амбаре, стоявшем рядом с шоссе. Предыдущую ночь они провели в Омахе в ночлежном доме Армии Спасения. На другой день шофер грузовика доставил их через границу Небраски в Айову. Последние несколько часов они шли пешком. Дождь застал их в тот момент, когда они были на шестнадцать миль севернее разъезда Тенвилль.

В амбаре было темно.

— Дик, ты здесь? — спросил Перри.

— Давным-давно,— ответил Дик, лежавший на соломе.

Дрожащий и промокший до нитки Перри упал рядом с ним.

— Я до того замерз,— сказал он, зарываясь в солому,— до того замерз, что согласился бы сгореть вместе с этой проклятой соломой.

Он продрог до костей и умирал с голоду. В прошлую ночь они довольствовались супом Армии Спасения, а сегодня их единственной едой были несколько кусочков шоколада да жевательная резинка, которую Дик стащил с какого-то прилавка.

Все упиралось в деньги. Их отсутствие заставило Дика принять решение, которое Перри назвал бредом сумасшедшего. Дик решил вернуться в Канзас-сити. Когда он впервые заикнулся об этом, Перри сказал:

— Сходи к психиатру.

Они возобновили спор сейчас, прижавшись друг к другу в холодной тьме и прислушиваясь к шуму дождя. Да им хотя бы потому нельзя появляться в Канзас-сити, доказывал Перри, что Дика наверняка уже разыскивают за нарушение условий досрочного освобождения. Это «в лучшем случае». Но на Дика аргументы Перри не произвели ни малейшего впечатления. Он утверждал, что именно в Канзас-сити легче всего осуществлять махинации с подделкой чеков. Он продолжал:

— Конечно, нам надо быть поосторожнее. Ордер-то на арест у них есть. За те чеки. Но мы провернем все за один день. Только день — и дело в шляпе. Если сделаем достаточно денег, то можно будет двинуть во Флориду. Проведем рождество в Майами. Пожалуй, и на зиму там останемся, если Майами нам подойдет.

Но Перри жевал резинку, дрожал и хранил угрюмое молчание. Дик спросил:

— В чем дело, дорогуша? Ты все о том же? Да выкинь ты это из головы. Не допрут они никогда до того, что есть какая-то связь.

Перри ответил:

— Думаю, что ты ошибаешься. И если так — не миновать нам «угла».

До сих пор никто из них не упоминал о высшей мере наказания в штате Канзас — о виселице, о смерти в «углу». Так заключенные канзасской тюрьмы называли сарай, в котором приводились в исполнение смертные приговоры.

Дик сказал:

— Остряк. От тебя просто сдохнуть можно.

Он чиркнул спичкой, собираясь закурить. Но в пламени зажженной спички он увидел нечто такое, что заставило его опрометью броситься в глубину амбара. В коровьем стойле находилась машина. Черно-белый «шевроле» выпуска 1956 года. Ключ торчал в зажигании.

■

Дьюи твердо решил скрывать от населения тот факт, что в деле Клаттеров наступил перелом.

По-прежнему не было найдено никаких улик, кроме двух отпечатков следов, одного от рифленой резиновой подошвы и другого с отметкой фирмы «Кошачья лапа». Несомненно, столь опытные преступники должны были давным-давно избавиться от этой обуви. И от транзистора тоже, если считать, что они его украли, в чем Дьюи не переставал сомневаться. Уж очень не вязалась эта кража с грандиозностью преступления, с очевидной опытностью преступников. Совершенно непостижимо, чтобы люди, вошедшие в дом для ограбления набитого деньгами сейфа, пошли на четыре убийства ради нескольких долларов и портативного приемника «Зенит».

— Если они не признаются, нам не удастся добиться осуждения,— сказал Дьюи.— Так я считаю. Именно поэтому мы должны быть в высшей степени осторожными. Они, видимо, уверены в том, что вышли сухими из воды. И прекрасно. Нам не нужно, чтобы они думали по-другому. Чем в большей безопасности они себя чувствуют, тем легче нам будет их схватить.

В Холкомбе никто ни о чем не подозревал. Это отчасти объяснялось тем, что на почте и в кафе Хартмен, то есть в тех местах, где рождались и обсуждались все слухи и события, трагедия Клаттеров была запретной темой.

— Что до меня,— говорила миссис Хартмен,— то я не желаю больше слышать об этом. Я сказала: хватит! Хватит всех подозревать. Хватит запугивать друг друга до смерти. Короче говоря, кому не надоело еще об этом говорить, пусть сюда не заходит.

Ее двоюродная сестра, почтмейстерша Холкомба миссис Мэртл Клэр, выражалась на этот счет весьма недвусмысленно:

— Люди заходят сюда, чтобы купить на пять центов марок, и думают, что это дает им право три часа тридцать три минуты перемывать косточки Клаттерам. А заодно и всем другим. Просто скопище гремучих змей.

■

Еще не было девяти, и Перри оказался первым клиентом прачечного автомата самообслуживания. Он раскрыл толстый соломенный чемодан, извлек оттуда кучу трусов, носков и сорочек (часть была его, часть — Дика), бросил их в стиральную машину и опустил в щель для монет одну из оловянных болванок, которыми они с Диком запаслись во множестве в Мексике. Перри был хорошо знаком с подобного рода заведениями, так как не раз пользовался ими; как правило, ему здесь нравилось, он «отдыхал», глядя, как одежда постепенно становится чистой. Как правило, но не в этот день. Сегодня ему было не по себе. Несмотря на все его возражения, Дик добился своего. И вот они снова в Канзас-сити. Мало того, без гроша в кармане и на угнанной машине! Целую ночь сквозь ливневый дождь они гнали «шевроле» из Айовы. Дважды останавливались, чтобы пересосать бензин из машин, стоявших на пустынных улицах маленьких сонных городков. (Это была работа Перри, причем, как он сам говорил, он «в этом деле собаку съел. Кусок резинового шланга — вот моя транзитная карточка».) Прибыв на рассвете в Канзас-сити, друзья отправились в аэропорт, где в мужском туалете помылись, побрились, почистили зубы. Поспав пару часов в зале ожидания, они вернулись в город. Тогда-то Дик бросил Перри у прачечного автомата, обещав вернуться за ним через час.

Получив чистое и сухое, хотя и не выглаженное белье, Перри уложил его в чемодан. Был уже одиннадцатый час. Дик, который где-то «толкал чеки», запаздывал. На скамейке, где сидел Перри, на расстоянии полуметра лежала женская сумочка. Велико было искушение запустить в нее руку. Но внушительный вид хозяйки отпугнул его. Когда-то, еще хулиганистым мальчишкой из Сан-Франциско, Перри на пару с «одним китаезой» работал в «команде по сумкам». Перри любил вспоминать о детских проказах.

С тех пор мало что изменилось. Перри стал на двадцать лет старше и на сто фунтов тяжелее, но его материальное положение ничуть не улучшилось. Он по-прежнему оставался уличным мальчишкой, существующим только на краденые деньги (просто невероятно для человека его ума и способностей!).

Перри беспрестанно поглядывал на стенные часы. К половине одиннадцатого он начал волноваться, а к одиннадцати его ноги гудели от боли — вернейший признак начинающейся паники. Перри опять проглотил таблетку аспирина и попытался выкинуть из головы — или по крайней мере притушить — яркую и устрашающую картину: Дик в руках у представителей закона, Дик, арестованный при заполнении фальшивого чека или при нарушении правил уличного движения... на украденной машине. Наверно, в этот самый миг Дик сидит в окружении сыщиков — у них квадратные затылки и красные шеи. И они говорят не о пустяках — не о фальшивых чеках или украденных машинах. Нет, они говорят об убийстве, потому что, несмотря на всю уверенность Дика, связь установлена. И теперь целый грузовик полицейских мчится к прачечной.

Нет, этого не может быть, он слишком распалил свое воображение. Дик никогда не сделает этого, не «расколется». Ведь он так часто повторял: «Они могут избить ме-

ня до полусмерти, все равно ничего не скажу». Конечно, Дик — «свистун», вся его «жестокость», как постепенно понял Перри, проявлялась только тогда, когда все было в порядке. Перри подумал, что Дик, возможно, решил навестить родителей. Рискованное дело, но Дик был им «предан». По крайней мере, он так говорил.

Прошлой ночью во время гонки под дождем он сказал Перри, что очень хотел бы повидать своих. Они ничего не сообщат. Не донесут в полицию, ничего не сделают такого, что может повредить Дику и Перри. «Только стыдно. Боюсь того, что скажет мать. О чеках. О том, как мы сбежали. Но я бы очень хотел повидать их. Узнать, что с ними». У Хикоков не было телефона, иначе Перри позвонил бы и спросил, дома ли Дик.

Спустя несколько минут Перри снова был твердо убежден в том, что Дик арестован. Боль хлестнула по ногам, вдоль всего тела, а запах прачечной вдруг показался невыносимым — Перри выскочил на улицу и встал у обочины, его мутило, как с перепоя. Канзас-сити! Разве он не говорил, что Канзас-сити — это к несчастью, разве он не умолял Дика не ехать сюда? Теперь-то Дик, может, жалеет, что не послушался. И Перри подумал: «А как же я? С двадцатью центами и набором болванок в кармане?» Куда ему идти? Кто ему поможет? Сестрица Бобо? Как бы не так! Может, ее муж? Послушайся Фред Джонсон своей совести и гарантируй он Перри работу после заключения, того бы досрочно освободили. Но Бобо слышать об этом не хотела: она сказала, что потом не оберешься неприятностей. Может, это даже опасно. Она написала Перри об этом. Когда-нибудь он ей отплатит за все. Немножко позабавится—поговорит с ней, расскажет о том, на что он способен, детально обрисует, что может сотворить с такими, как она. С уважаемыми, самоуверенными и обеспеченными людьми, точь-в-точь такими, как Бобо. Да, пусть узнает, каким он может быть опасным, а он будет наблюдать за ее глазами. Разве это не стоит поездки в Денвер? Он именно так и сделает — поедет в Денвер и навестит чету Джонсонов. Фред Джонсон поможет ему начать новую жизнь; хочешь не хочешь — поможет, иначе он от него не избавится.

Тут к нему подошел Дик.

— Ты что, заболел? — спросил он.

Голос Дика подействовал на Перри, словно инъекция сильного наркотика. Он вызвал целую бурю противоположных чувств: напряженность и облегчение, ярость и признательность. Перри двинулся к Дику со сжатыми кулаками:

— Сукин ты сын.

Дик осклабился и сказал:

— Давай. Можно снова пожрать.

Но требовались объяснения и извинения, и они последовали, когда друзья склонились над мисками «чили» в «Буфете орла», излюбленной харчевне Дика в Канзас-сити.

— Честное слово, милаша, я сожалею,— сказал Дик.— Я знал, что тебя скрутит со страху. Что ты подумаешь, будто я у легавых. Но, понимаешь, мне так везло, и я решил воспользоваться этим до конца.

Дальше он рассказал, что, оставив Перри, направился в «Маркл бьюик компани», где когда-то работал. Там он надеялся найти новый комплект номеров взамен опасных айовских, что стояли на угнанной машине.

— Никто меня не видел — ни как я пришел, ни как ушел. Маркл раньше много возился с разбитыми машинами. И что ты думаешь? Сзади, во дворе, я нашел разбитое «де сото» с канзасскими номерами. Знаешь, где они теперь? На нашей колымаге, братец.

Айовские номера Дик выбросил на свалку. Затем он остановился у бензоколонки, где служил его дружок, бывший одноклассник по имени Стив, и уговорил его принять чек на пятьдесят долларов. Раньше он никогда не обкрадывал своих. Ну, все равно он Стива больше не увидит. Этой ночью Дик даст деру из Канзас-сити, теперь уже навсегда. Так что почему бы не обобрать пару приятелей? Следуя этому решению, Дик навестил друга, работающего в аптеке. «Заработок», таким образом, увеличился до семидесяти пяти долларов.

— После обеда доведем сумму до двухсот долларов. Я уже набросал список мест, куда заглянем. Их будет шесть или семь. Причем начнем прямо отсюда,— сказал Дик, имея в виду «Буфет орла». Здесь его знали все. Официанты и бармен даже прозвали его «маринадом» за пристрастие к этому блюду.— А потом махнем во Флориду. Ну, как тебе такой план, дорогуша? Разве я не обещал, что мы встретим рождество в Майами как настоящие миллионеры?

(Окончание следует)

Кандидо Портинари за работой над фреской «Война» (здание ООН)

В час, когда солнце бледнеет
И острые пальмы его разрезают,
Каждый камень обмыт им и блещет,
И дали — без края.
И тишь — без конца.
Мерцает тяжелое море.
В этот час я Бразилию слышу,
Слышу бескрайнюю песню ее...

В поэме «Бразилия», откуда взяты эти строки, Роналдо ди Карвальу воспел красоту своей величественной родины: грохот водопадов Игуасу́, похожих на вздыбившийся табун белых диких лошадей, мать-Амазонку, которая на своей могучей груди уносит в океан целые острова, тяжелое дыхание полупустынь-сертанов, где земля со стоном трескается от жары...

Но главное богатство Бразилии — народ. Те, кто по пятнадцати часов в сутки таскают в портах и на плантациях огромные мешки с кофе на сорокаградусной жаре. Те «фавел адас» — обитатели нищих кварталов, которых огнем пытаются выгнать из их хижин — фавел, «оскверняющих» красоту изумрудных холмов над Рио. Те, кто по ночам укладывается спать на газетах и под газетами вдоль тротуаров города кофейных миллионеров — Сан-Паулу. Те, кого запечатлел на своих полотнах «поэт горькой кисти» художник Кандидо Портинари.

Страницы ныне уникально редких альбомов репродукций с работ Портинари поражают многогранностью дарования художника. И прежде всего восхищает любовь, с какой нарисовал Портинари портрет

БЕСКРАЙНЯЯ
песнь
ПОРТИНАРИ

ЭСКИЗЫ РОСПИСИ «ОТКРЫТИЕ БРАЗИЛИИ»

НЕСУТ КОФЕ

ПОРТРЕТ

КРЕСТЬЯНЕ

ГРУЗЧИКИ

ФАВЕЛЫ В РИО

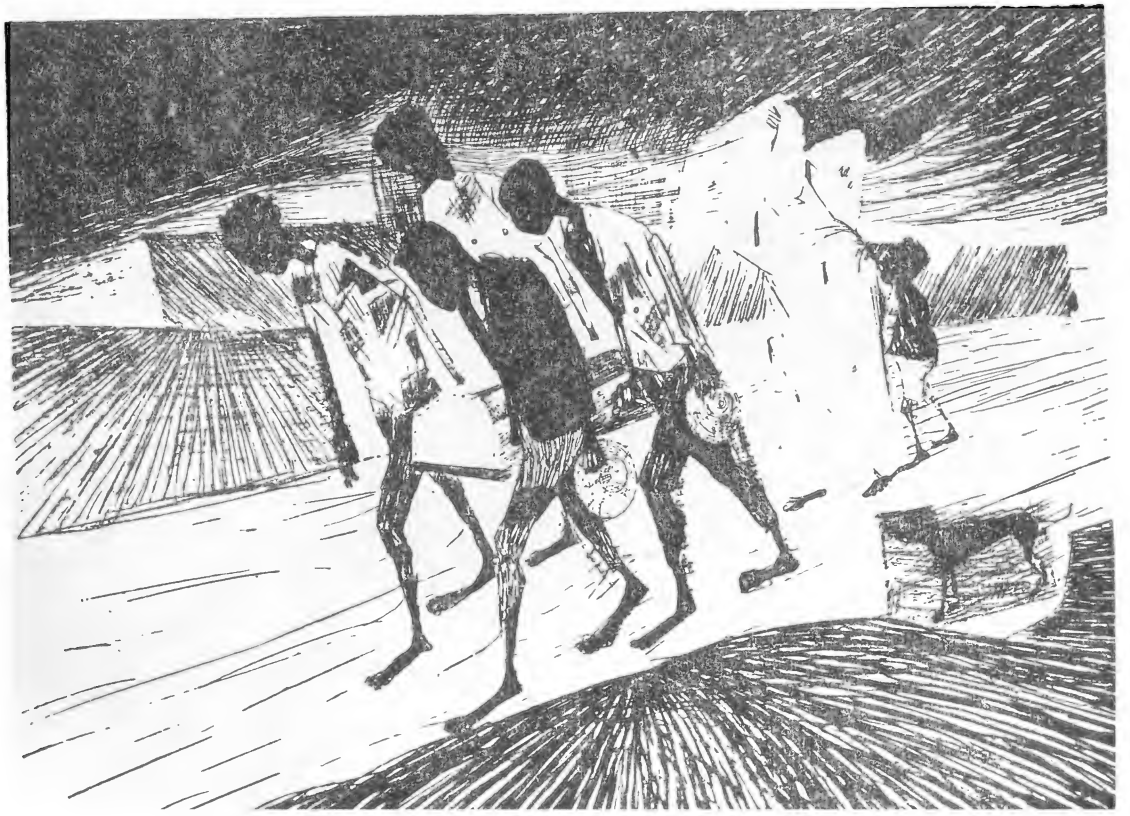
ЖИТЕЛИ ФАВЕЛ

своего народа, точность, с какой он увековечил его черты: выносливость, веселье, несгибаемую волю, неунывающий дух.

Сам плоть от плоти своего народа — один из двенадцати детей итальянского батрака-колона (отца Портинари привезли из Флоренции в тринадцатилетнем возрасте) — мальчик до пятнадцати лет жил в крайней нужде. Детство его прошло на кофейной фазенде Санта-Роза близ поселка Бродовски, километрах в шестидесяти от Сан-Паулу. (Поселок был назван так по имени поселившегося здесь польского инженера.) В девять лет мальчик случайно пристал к какому-то приезжему живописцу, которого местный «падре» пригласил подкрасить церковь в поселке. И первой самостоятельной работой художника были звезды над алтарем этой церквушки. Как и все мальчишки поселка, он голодал. Но это не мешало ему вместе со сверстниками гонять в футбол, пока он не упал и не сломал бедро. Увечье осталось на всю жизнь. В пятнадцать лет Кандидо ушел из дома учиться: ведь он

Серия «Дети из поселка Бродовски»

Серия «Дорогами Северо-востока»



Крестьянки-прачки

«Дети из поселка Бродовски»

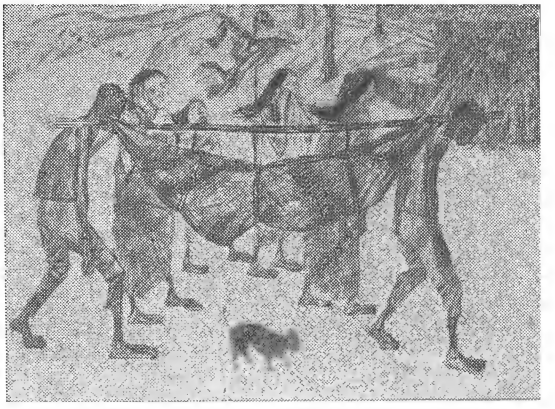
окончил лишь несколько классов начальной школы. Днем мыл тарелки в ресторане, вечером — срисовывал гипсы в художественной школе. День двадцатилетия был отмечен первой национальной премией. В двадцать пять лет за портрет поэта Олегариу Мариану Портинари получает премию, благодаря которой имеет возможность поехать в Европу. Англия, Франция, Италия, Испания — путешествие длится долго, но привозит он из своих странствий домой... только одну картину.

Лишь вернувшись на родину, Портинари начинает работать в полную силу. Он обращается к большим темам, к серьезным обобщениям. В сущности, именно Портинари открыл для Бразилии стенную живопись. А вместе с ней открыл для Бразилии и ее собственный народ. Впервые лицо труженика увидели в салонах живописи, в общественных и административных зданиях: радиостанции Тупи в Сан-Паулу, министерства образования, колледжей, библиотек. Герои работ Портинари начала сороковых годов — рабочий, бедняк, негр, индеец, голодающие дети («Эмигранты», «Похороны», «Голодный поход» и др.)

Проблема вымирания крестьянства засушливого Северо-востока Бразилии продолжает оставаться столь же острой и в конце сороковых, и в пятидесятые, и сейчас — в шестидесятые годы. По офици-

«Дети из поселка Бродовски»

Из цикла «Мальчик с ягненком»



«Дорогами Северо-востока»

Музыкант

альным данным, лишь в 1950 году в поисках спасения с Северо-востока Бразилии ушло два миллиона крестьян!

Вторая мировая война. Новый этап творчества — серия «Ужасы войны». Еще этап — фрески, посвященные истории Бразилии. Грандиозный план не был завершен до конца, но и то, что сделано художником, способно поразить даже самое смелое воображение. «Открытие Бразилии», «Первая месса в Бразилии», «Тирадентис» и другие работы — сотни квадратных метров красочного гимна человеческой смелости, мужеству, благородству, любви к родине. Не случайно шедевр этой серии — 56-метровое панно «Тирадентис» было удостоено золотой медали Вторым всемирным конгрессом сторонников мира. Панно, украшающее стены колледжа городка Катагуаза в штате Минас-Жераис, рассказывает о борьбе и гибели национального героя Бразилии. Вождь освободительного движения Бразилии XVIII века, известного под названием «Инконфиденсиа минэйра», Жоакин Жозе да Силва Шавьер, зубной врач (поэтому его и прозвали «Тирадентис» — буквально «зубодер»), был повешен, затем четвертован, а части его тела выставлены для устрашения свободолюбцев.

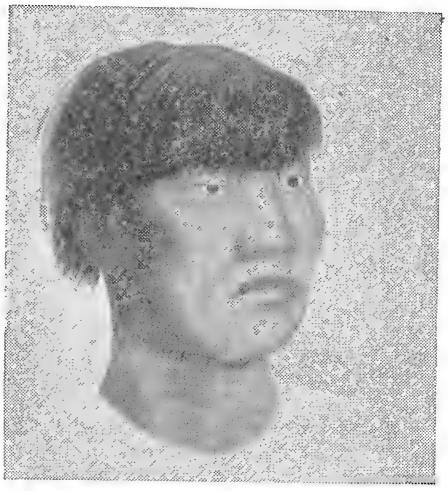
И вновь напрашиваются

Деталь фрески в здании радиостанции Тупи

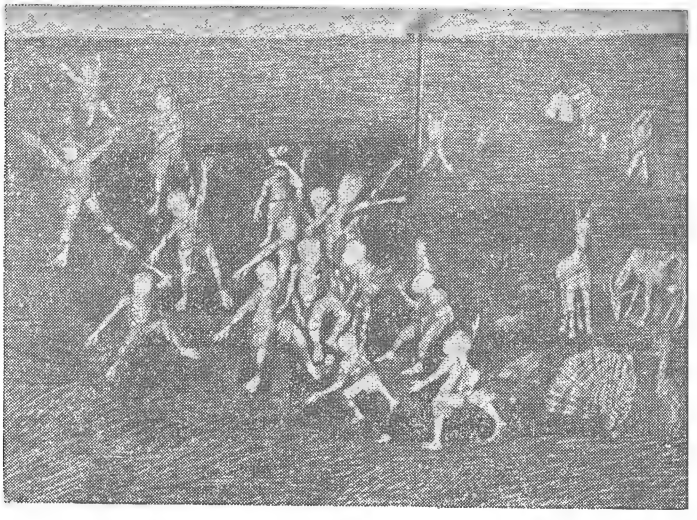
жестокие аналогии с сегодняшним днем. Вспоминается сегодняшняя судьба прогрессивных деятелей культуры — адвокатов, юристов, журналистов, актеров, которых в наши дни подвергают преследованиям, бросают в тюрьмы и даже пытают за демократические убеждения, за стремление вывести Бразилию на антиимпериалистический путь развития.

...Конец пятидесятых годов — серия фресок о современной Бразилии. Снова любимые герои Портинари — добытчики алмазов «гаримпейро», пастухи, рабочие... Круг интересов художника поистине безграничен, невозможно перечислить здесь все его исполненные и задуманные серии, портреты, картины. Не знает пределов и поиск изобразительных средств. В каждой области — будь то станковая живопись, графика, рисунок тушью или керамика — он создавал высокие образцы искусства, едва ли не каждый из которых можно было бы назвать политическим манифестом художника. Недаром рисунки из серии «Дети из поселка Бродовски» были использованы как антивоенные листовки. Текст на обратной стороне рисунка гласил: «Дети из поселка Бродовски. Дети Бразилии. Дети всего мира. От голода у них у всех становятся одинаковыми лица, одинаково испуганными глаза, одинаково изможденными руки... Но настанет день, когда дети, которые не умерли от голода, не за-

Голова индейца



«Дети из поселка Бродовски»



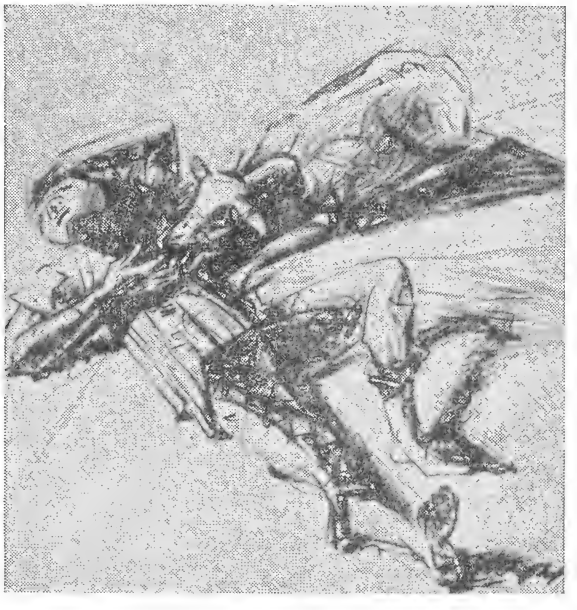
хотят умирать от войны. Достаточно уже было войн. Дети слышали о них и знают, что они помогли богатым стать еще богаче, а злым позволили причинить еще больше зла... Но жизнь должна изменить свое течение. Она будет более справедливой, в ней должно быть больше взаимопонимания между людьми, больше свободы, мира для всех. Одним словом, она должна измениться к лучшему. Не так ли, Портинари?!»

Современник и друг художника Мариу ди Андради вспоминал, что Портинари, порывистый и настойчивый, мягкий и в то же время очень принципиальный, был так разносторонен, что именно поэтому его нельзя ни с кем спутать. В одном он оставался постоянным «консерватором»: он никогда не изменял своему народу.

...Художественная жизнь Бразилии «бьет ключом». Воюют между собой школы и школки, ателье и студии. Воюют художники группами и поодиночке. За место в роскошных выставочных залах, за премии, за участие в знаменитой международной выставке «Биенал де Сан-Паулу», под которую отведены великолепные здания в парке Ибирапуэра. Мелькают имена. Рваный алюминий, бронзовые круглые пластины с дыркой посредине, отполированные деревянные полуконусы на белой плоскости, концентрические круги, от которых ломит в висках. Недаром одного из авторов этих творений, «поп-артиста» Барсотти кто-то остроумно окрестил «визуальным садистом»! И названия соответствующие: «рельеф номер такой-то», «композиция из старой ткани номер...». А где же то веселое, страстное, бурное, неудержимое в радости и горе — то, что связываешь с понятием «бразилец»? Этого на выставках нет. Это в мастерских последних «могикан» — реалистов, например, патриарха бразиль-

«Дети из поселка Бродовски»

«Мальчик с ягненком»



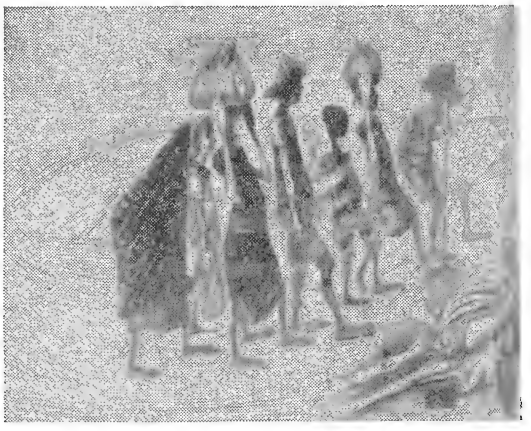
ской живописи Эмилиану ди Кавалканти.

Коммунист, депутат, выдающийся общественный деятель. Таким был Портинари. Он умер ровно пять лет назад. Умер в расцвете творческих сил. Умер потому, что краски свои — излюбленную голубую — он готовил на смертельно вредной для здоровья окиси свинца. И врач часто предупреждал его об этом.

Четверть века назад Рокуэлл Кент сказал о Портинари: «Когда мы видим его пейзаж, мы ступаем на землю Бразилии. Мы видим тех, кто обрабатывает эту землю. Мы видим и нищету, но нищету гордую, без жалоб и стенаний. Его картины — рассказ, полный любви. Но любви не к нищете, а к женщинам, мужчинам, детям Бразилии. И сколь ни чудовищны условия их существования, эти герои как бы говорят нам: а жизнь все-таки стоит того, чтобы жить».

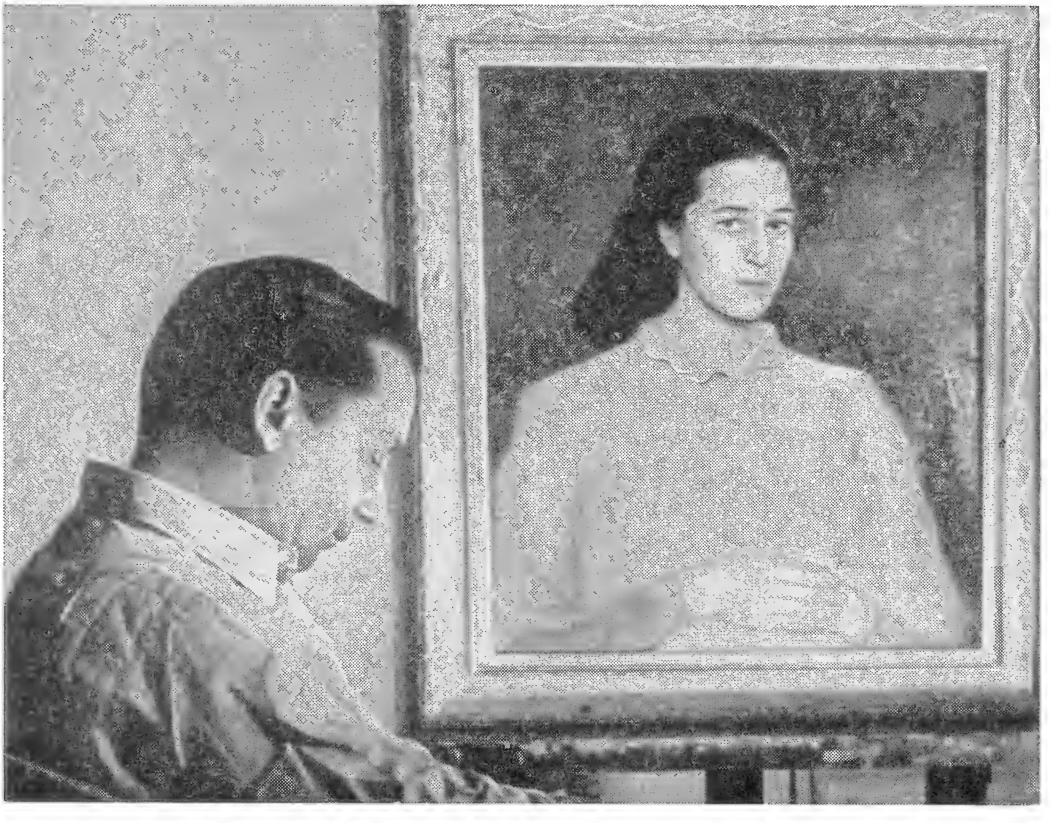
Об этом и спел свою бескрайнюю песнь Портинари.

Л. Новикова



«Дорогами Северо-востока»

Кандидо Портинари у написанного им портрета Ольги Бенарио Престес — немецкой коммунистки, жены генерального секретаря Бразильской компартии Луиса Карлоса Престеса, арестованной вместе с ним перед второй мировой войной бразильской полицией и выданной гитлеровскому гестапо. Ольга Бенарио была казнена гитлеровцами в концлагере Равенсбрук.



Д. ЗАТОНСКИЙ

Немецкие писатели Праги

Известно, что некоторые большие немецкие писатели — например, Райнер Мария Рильке, Франц Верфель, Франц Кафка, Эгон Эрвин Киш, Луис Фюрнберг и другие — родились в Праге, учились в Праге или подолгу жили в Праге. Какую роль сыграло это обстоятельство в их жизни? Какое оказало влияние на их творчество? Почему именно в Праге между 1900 и 1939 годами появилась такая значительная литература немецкого языка?

На эти вопросы была призвана ответить научная конференция, созванная по инициативе Чехословацкой Академии наук и Союза писателей. Она проходила с 18 по 20 ноября 1965 года в замке Либлице (близ Праги). Кроме чешских и словацких литературоведов в ее работе участвовали гости из Германской Демократической Республики и ФРГ, Советского Союза и Венгрии, Англии и Франции, Австрии и США.

Открыл конференцию известный чешский историк литературы Пауль Рейман. Основные доклады прочитали профессор Карлова университета Э. Гольдштюкер, литературовед из Галле К. Кролоп и доцент Оломоуцкого университета Л. Вацлавек. Они говорили об общей исторической ситуации, породившей пражскую немецкую литературу, о ее судьбах в так называемое «экспрессионистское десятилетие», о тех ее представителях, которые активно включились в борьбу за социалистическое будущее человечества.

Вступительное слово, доклады, более двадцати научных сообщений, касавшихся отдельных писательских имен, развернули достаточно полную картину явления в целом.

В девятисотые годы число жителей Праги приблизилось к полумиллиону. И лишь примерно для тридцати тысяч из них немецкий язык был родным. Однако этот крохотный этнический островок дал в первые десятилетия века богатейший урожай писательских имен. Немецкая литература в Праге существовала, конечно, и прежде, но до конца XIX столетия она была литературой провинциальной, далекой от общегерманских, а тем более всемирных интересов. Та пражская немецкая литература, о которой идет речь, началась с Рильке.

Литература эта возникла и развивалась в неестественной, отторгнутой от здорового народного целого, «островной» среде. Ее представители оказались как бы заключенными в «тройное гетто» — немецкое, немецко-еврейское и буржуазное.

Все это достаточно хорошо известно применительно к Кафке. Подобно Кафке, подчеркивали докладчики, всюду чужими, лишними чувствовали себя и другие немецкие писатели Праги.

Особенно много внимания было уделено проблеме «буржуазного гетто». И не случайно. Среди немецкого населения Праги практически не было рабочих. Немецкая языковая колония слагалась здесь из чиновников, торговцев, ремесленников, фабрикантов, учителей, адвокатов, врачей, то есть из дворянства, крупной и мелкой буржуазии.

Писатель, пребывающий в обстановке герметической замкнутости, воспринимает действительность не так, как тот, кто существует внутри жизнеспособного национального организма, в тесном взаимодействии с разветвленной общественной структурой. Окружающее предстает перед ним в необычной, резко остраненной форме. Он видит

еще не приметное многим неблагополучие мира, но склонен это неблагополучие абсолютизировать. Реальное бытие ненавистно ему, оно кажется чем-то искусственным, вымученным, сплошной ложью. Художник, и без того непрочно связанный с реальностью, в припадке отчаяния готов разорвать и те немногие нити, что еще остались. Потому протест Рильке, Кафки, Верфеля, Мейринка нередко выливался в бегство — бегство физическое (или, точнее, «географическое») и бегство духовное, эстетическое. Все они либо покинули Прагу, либо, как Кафка, пытались ее покинуть, неся в то же время, подобно гирям на ногах, свою Прагу с собой. Оттого еще более радикальным выходом казалось для них бегство в фантастику, мистику, католическую, иудейскую, православную религиозность.

Рильке и Кафка, Верфель и Вейс — большие художники, честные в своих исканиях и даже в заблуждениях. И не только их трагедии, слабости и пороки, но и характер их таланта во многом обусловлен своеобразием положения. Эти писатели — именно в силу своего положения — острее многих других современников предчувствовали неизбежность крушения старого, явственнее ощущали абсурдную противоречивость окружающей их буржуазной жизни.

Отрезанные от германской метрополии писатели типа Кафки и Верфеля были лишены соприкосновения с народом, однако — и это один из парадоксов «пражской литературной ситуации» — они в то же время оказались невосприимчивыми к влияниям националистической идеологии, отравлявшей прусскую, баварскую, саксонскую буржуазно-интеллигентскую среду. Из пражских немецких писателей (и в этом смысле их следует отличать от так называемой «богемсконемецкой» или «судетонемецкой» литературы) ни один не заигрывал с милитаризмом. Даже поклонников ницшеанского эстетизма среди них не встречалось.

Само «пограничное положение» рассматриваемых художников делало их своего рода передаточной инстанцией в процессе общения и взаимного обогащения немецкой и славянской национальных культур.

Либлицкая конференция 1965 года показала, что пражская немецкая литература — явление чрезвычайно сложное, явление неоднородное, противоречивое. Пражскую немецкую литературу не понять, если рассматривать ее вне тех общих и частных условий, в которых она формировалась.

Однако не понять ее и в том случае, если условия эти фетишизировать — например, считать творческий путь любого из ее представителей единственно возможным, фатально неизбежным путем.

Выступая на конференции, оксфордский профессор М. Песли согласился с Э. Гольдштюкером в том, что кафковская атмосфера — это «атмосфера безысходности». Но Песли тут же добавил, что в противном случае Кафка не написал бы своих произведений. Это справедливо. Однако при этом вряд ли стоит забывать, что неспособность принять какое бы то ни было решение — тоже своего рода решение, хотя и в высшей степени трагическое.

Кафка колебался, Кафка сомневался, Кафка отчаивался. И он не мог иначе. А если бы мог — не был бы уже Кафкой. И все же это ни в коей мере не означает, будто никто другой в аналогичных условиях не был способен действовать иначе и прийти к иным, более положительным выводам.

Кафка принадлежит своему времени. Мы говорили об этом не для того, чтобы — как полагают те, кто не согласен с такой постановкой вопроса,— объявить его «литературным покойником» и поместить в музей «европейского декаданса первой четверти века». Ни один по-настоящему талантливый художник — хотим мы этого или нет — не может стать музейным экспонатом. О нем пишут, его издают. Однако посмертная жизнь художника может быть разной.

Нынче этого писателя особенно любят рассматривать в аспекте «Кафка и отчуждение». Верно, что творчество Кафки стихийно выразило трагедию отчужденной личности. Но словечко «стихийно» тут не так уж маловажно, как некоторым кажется. Кафка и сам был жертвой отчуждения, что, в свою очередь, тесно связано с его зависимостью от времени и от определенной среды.

Однако на это иногда не желают обращать внимания. Кафку превращают во «вневременного» писателя, правда, уже в несколько ином, так сказать, сугубо социальном смысле. Говорят, что отчуждение человека может быть окончательно преодолено лишь с полной победой коммунизма, а раз так — Кафка поучителен и для читателя социалистического общества, ибо он — «борец против отчуждения внутри отчуждения». Опираясь на довольно абстрактные логические построения, нас подводят к необходимости признать актуальность творчества Кафки в одном специфическом смысле и, по сути, только в этом смысле.

В данном случае дело, собственно, не в терминах: именовать или не именовать «отчуждением» те нарушения и искажения, которые имели место в процессе строительства нового общества. Дело в том, имеет ли сам Кафка ко всему этому какое-нибудь отношение, выразил ли он в своем творчестве такие нарушения и искажения, «предвосхитил» ли их.

Кафка, скончавшийся в 1924 году, был, естественно, очень мало знаком с этим новым обществом. А то, что он о нем знал, вызывало, скорее. его одобрение, нежели осуждение. Его привлекали фигуры Ленина и Горького; о книге Неверова «Ташкент —

город хлебный» он как-то сказал Г. Яноуху, что литература с такими героями имеет будущее.

Следовательно, речь может идти не о сознательном (или даже бессознательном) отражении процессов, присущих нашему строю, но лишь о некоей символизации, метафоризации явлений, вроде бы характерных для разных общественных систем. Например, Кафка рисовал ужасные, тотальные бюрократические механизмы. Бюрократизм есть и у нас. Значит, Кафка писал и о нас. Тем более что его мифы-«конструкции» не прикреплены точно к данной среде и данному моменту, и мы вольны поэтому наполнять их любым конкретным содержанием.

Вряд ли такой подход к вопросу является научным. Вместо того, чтобы попытаться понять, почему мифы Кафки по форме своей столь неопределенны, да к тому же еще разобраться, так ли уж они нейтральны относительно своего времени, начинают играть «в узнавание».

Кому-то показалось, что новелла «В исправительной колонии» напоминает некоторые стороны нашего недавнего прошлого. Это уже относится к области индивидуальных восприятий. Причем о самом Кафке при этом как бы забывают или стараются забыть. Он уже вроде бы не писатель, не художник, не создатель тех или иных эстетических ценностей, а лишь поставщик пищи для «аналогий» более или менее случайного свойства.

Проблема Кафки из сферы объективного литературоведческого осмысления перемещается в сферу субъективного дилетантского восприятия. Аналогии можно искать и находить повсюду. Например, в Апокалипсисе можно обнаружить «предсказание» будущей атомной войны, в свифтовском «Гулливере» усмотреть «критику» новейшего государственного строя и т. д., и т. п. Читатель склонен иногда примерять, так сказать, прочитанное на себя, сравнивать героев книги с собой и своим окружением. Но это процесс не примитивный и не прямолинейный (по крайней мере, он не должен быть таковым). Значение, смысл произведения искусства не в состоянии уместиться в рамках простых «аналогических построений». Да и явления действительности, если мы хотим их понять, требуют четкого, конкретного, исторического рассмотрения, а не подведения под некую условную фигуру. Надо думать, всякий здравомыслящий человек, к тому же еще обладающий литературным вкусом, воспротивился бы попытке оценивать эстетический вес Достоевского, опираясь только на «подобия» современности, которые при желании нетрудно найти в его произведениях. Однако люди, не лишенные ни здравого смысла, ни вкуса, не колеблются поступать именно так с Францем Кафкой.

Получается довольно странная вещь. Те, кто как будто стремится отдать этому писателю максимум должного, примитивизируют его, представляют более мелким, чем он был на самом деле. Напрашивается мысль, что они боятся, будто Кафку не признают, если не загримировать его под «современника», под «нашего Кафку».

Однако Кафка — фигура столь крупного художественного масштаба, что нет необходимости оправдывать его литературное существование, приписывая произведениям художника некую искусственную «злободневность».

Но важно не только это. Приписываемые Кафке качества искажают как его индивидуальный образ, так и картину всей окружавшей его идеологической, исторической, литературной ситуации. Стоит акцентировать «злободневность Кафки», и само собою получается, будто он не заблуждался, даже когда заблуждался, не ошибался, даже когда ошибался; его пессимизм — оправдан, его отчаяние — закономерно: он видел дальше других и предвидел то, чему лишь предстояло случиться. Одним словом, его творческий путь — не только единственно возможный, но и почти «безукоризненный», «идеальный» путь до конца честного художника, сражавшегося за поруганную человечность внутри бесчеловечного мира. Так порой случается, если один, даже очень значительный, писатель рассматривается не в его истинной ценности, а делается неким символом, целиком зависимым от стремлений его интерпретаторов. Символ же всегда неточен, расплывчат.

В этом смысле Либлицкая конференция 1965 года, посвященная пражской немецкой литературе, выгодно отличается от некоторых литературоведческих дискуссий подобного рода. Почти ни одно писательское имя из рассматриваемого круга явлений не было обойдено вниманием — даже такие сравнительно скромные имена, как Пауль Леппин, Рудольф Кайснер, Иоганнес Урцидиль, Вилли Хаас и т. д.

Но дело, конечно, не в самой академической добросовестности, а в тех выводах, которые могли быть сделаны благодаря ей. Пражская немецкая литература предстала перед участниками конференции в своих самых разнообразных видах. И особенно ценно, что была подчеркнута важность тех политических и эстетических решений, к которым пришли Эгон Эрвин Киш, Франц Карл Вайскопф, Рудольф Фукс, Луис Фюрнберг, то есть художники, разорвавшие герметику «пражского гетто», вышедшие в большой мир народных, общественных движений.

Дом, в котором родился Киш, находится в нескольких минутах ходьбы от дома, в котором родился Кафка. И это такой же старый пражский дом. Брат учился в одном классе с Кафкой, а потом и Киш посещал ту же самую гимназию. Родители обоих были мелкими торговцами и т. д., и т. п. Однако пути Киша и Кафки резко разошлись.

И уже само по себе это обстоятельство симптоматично: оно препятствует истолкованию судьбы Кафки как «неизбежной», если не «идеальной», судьбы.

Э. Гольдштюкер отметил в своем докладе, что единственным выходом из неестественного, нездорового состояния замкнутости, отторгнутости от мира, в котором пребывали пражские немецкие писатели, было сближение с чешским народом, приобщение к борьбе сражавшегося немецкого пролетариата. Так поступили Киш и Вайскопф, Фукс и Фюрнберг. «Цари, попы, большевики» (1926), «Азия основательно переменилась» (1932) Киша, «Прыжок в XXI столетие» (1927), «Черновики будущего» (1932) Вайскопфа — это несомненно лучшие художественные репортажи о Советском Союзе, написанные на немецком языке в конце 20-х — начале 30-х годов. Если прибавить к этому блестящий репортаж Юлиуса Фучика «В стране, где наше завтра стало вчерашним днем» (1931), то трудно не усмотреть здесь определенной связи с исторической, идеологической, духовной ситуацией литературной Праги. Очевидно, чувство неотвратимости крушения старого мира, присущее всей пражской немецкой (да и не только немецкой) литературе, помогло писателям, осуществившим «прорыв в реальность», глубже и основательнее, чем то удавалось многим другим, постичь смысл созидания нового.

Ведь репортажи о Советском Союзе были тогда не просто более или менее удачными журналистскими сочинениями. То было открытие будущего, открытие мира революции. И то было открытие не только публицистическое, но и эстетическое — создание не существовавшего доселе жанра художественной литературы, который оказал влияние на развитие всех жанров литературы социалистического реализма за рубежом.

Рассматриваемая в таком аспекте, пражская литературная ситуация предстает перед нами во всей ее сложности и многосторонности. Мы видим тот могучий потенциальный заряд социальной активности, который был ею заложен. Мы видим взрывы израненного и протестующего гуманизма. Но видим мы и неосуществившиеся возможности, несбывшиеся надежды, осыпанные пеплом бессилия. И мы видим, почему все вышло именно так, а не иначе.

В тезисах, предварительно разосланных участникам конференции, сказано:

«Организаторы усматривают главную задачу конференции в доказательстве того, что чешско-немецкие взаимосвязи и исполненное понимания или симпатии отношение представителей пражской немецкой литературы к чешскому народу и его национально-освободительной борьбе следует оценивать как важнейшую предпосылку мирового значения этой литературы».

Такой тезис вызвал раздражение пражского корреспондента «Франкфуртер альгемейне цейтунг» А. Разумовского, который напечатал в своей газете (№ 275 от 26.XI.65 г.) отчет о Либлицкой конференции. Он осудил стремление определить общественные истоки пражской немецкой литературы, намекнув, что одиночество Рильке, Кафки или Верфеля было результатом их свободного волеизъявления. Ни сами фигуры Киша, Вайскопфа, Фукса, ни тем более доклады и сообщения о них, сделанные на конференции, не показались Разумовскому сколько-нибудь интересными. Он отмел все это в качестве «скучных», «псевдодиалектических», «вульгарно марксистских» умствований.

Разумовский сопоставил эту Либлицкую конференцию с прошлой, состоявшейся в 1963 году и посвященной 80-летнему юбилею Кафки. Признавая, что конференция 1965 года носила более спокойный, научный характер, корреспондент «Франкфуртер альгемейне» предпочел, однако, объяснить это тем, что «наиболее упрямые доктринеры отказались от повторного участия».

Выступление «Франкфуртер альгемейне» носило явно тенденциозный характер. Несколько иную позицию заняла другая западногерманская газета — мюнхенская «Зюддейче цейтунг». В статье «Пражская немецкая литература — эпоха» (№ 282 от 25.XI.65 г.) Ф. П. Кюнцель дал объективную оценку как самому явлению, так и занимавшейся им научной конференции. В отличие от Разумовского, он выделил доклады и сообщения о социалистических писателях Праги как заслуживающие самого серьезного внимания.

Кюнцель также сравнил эту Либлицкую конференцию с прошлой и отметил ее менее острый и дискуссионный характер. По его мнению, причину этого следует видеть в том, что на сей раз в Либлице встретились представители Запада и Востока.

Однако думается, что на вопрос, почему Либлицкая конференция 1965 года работала столь плодотворно, точнее других ответил австрийский писатель Бруно Фрей — один из ее участников. Он писал в газете «Фольксштимме» (№ 285 от 8.XII.65 г.):

«Если первая конференция в Либлице была посвящена феномену «Кафка», то литературоведы с Востока и Запада, которые последовали приглашению чехословацкой Академии наук, на этот раз считали своей задачей расширить тему и поставить ее на место».

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ИСТОРИЯ ПОЩЕЧИН

Ганс Вернер Рихтер. Линус Флек, или Утраченное достоинство. Роман. Перевод с немецкого В. Станевич. Предисловие Р. Самарина. Редактор И. Каринцева. Москва, «Прогресс», 1965. 285 стр.

В 1945, 1946, 1947 годах герои Бёля голодали, холодали, спасали детей, работали с утра до ночи. Некоторые молились. Другие думали. Для героев Бёля это были тяжелые годы. Однако большинство из них (и все — если употребить термин советского литературоведения — его лирические герои) добрые, честные, порядочные люди.

Что же чувствовали и как же вели себя в 1945, 1946, 1947 годах люди (и классы) не слишком честные? В годы поражения в Западной Германии было голодно и неуютно— и тому бедняку, который покупал американские сигареты, и тому, который продавал их поштучно. Но рядом с ними жили немцы, покупавшие и продававшие сигареты оптом,— слой спекулянтов, слой жулья, околачивавшихся при оккупационных армиях. Уже 9 мая начали закладываться основы многих состояний и некоей спекулянтско-жульнической идеологии. Роман Рихтера — о тех людях, которых герои Бёля ненавидели и презирали,— о наживающихся на поражении. Одни и те же годы, одни и те же города Бёль описывает в жанре лирической повести, а Рихтер — в жанре социального памфлета.

Тон задан в первой сцене романа.

«Война была при смерти...

— Сын мой,— сказал прусский советник военного суда Карл Фридрих Флек и с трудом приподнялся на своем жестком походном ложе.— Мы во второй раз проиграли войну. Бог не был к нам милостив. Он пожелал нас уничтожить. Стыд и позор обрушатся на нас. А я, сын мой, не могу перенести ни стыда, ни позора. Поэтому я ухожу из жизни, выпрямившись во весь рост, как и прожил ее.

— Так точно, отец,— отозвался сын, стоявший в ногах кровати: его круглое лицо скривилось, он отвесил отцу легкий поклон и задул свечу, горевшую на табуретке возле кровати».

Казалось бы, образцовый дебют реваншистского, прогитлеровского романа.

Однако Рихтер делает второй ход.

Его герой «ненавидел это ежедневное умирание отца. Болтовня насчет стыда и позора казалась ему нелепой... Он-то с жизнью справится. Ему ведь уже исполнилось 16 лет, и до сих пор он ухитрялся уклоняться от всего, что ему было неприятно,— от гитлерюгенда, от службы во вспомогательных отрядах противовоздушной обороны и от школы, где его считали неспособным и лентяем. Сумеет он обойтись и с победителями. Надо только любезно принять их и приветствовать как подобает».

В 1933 году юные прохвосты (а Рихтер ничуть не скрывает, что его роман — история прохвоста) не уклонялись от гитлерюгенда. Гитлерюгенд был их идеологией, их формой существования. Однако прохвосты умеют наплевать на свои традиции, умеют вовремя отказаться от своих отцов.

Отец Линуса все-таки умирает, все-таки кончает жизнь самоубийством. Но какое это смешное самоубийство! Как мало уважения к этой смерти проявляет Линус!

Прусский советник военного суда глотает все свои запасы веронала. Его сын деловито соображает, где раздобыть лекарство, если веронал не сработает. Первое, что делает Линус, удостоверившийся в смерти отца,— выходит навстречу американским танкам и

разбрасывает перед ними цветы. Так начинается карьера Линуса Флека.

Юноши, которые в 1933 году пошли бы с Гитлером, в 1945 году идут на американскую солдатскую кухню. Здесь, в этой кухне, надо было смиряться, быть послушным и выжидать, пока не представится более благоприятная возможность. Здесь они воруют тушонку. Когда это обнаруживается, у них зудит от страха в ягодицах. Здесь они льстят, угодничают, вылизывают американские блюда. Они пробиваются. Пробиваться, кстати говоря, любимый глагол Линуса.

«Что ты в сущности умеешь? Только врать, хвастать да обманывать»,— говорит Линусу его подружка.

Однако этого тройного умения достаточно для успешной карьеры Линуса.

Американский капитан Равицкий дает ему совсем другую оценку:

«Итак, Линус, все идет как надо. Ты из тех мальчиков, которых мы можем использовать. Будущее перед тобой открыто. Американская армия распахнула перед вами это будущее, роскошное будущее».

А вот еще одна оценка Линуса. Она принадлежит американскому сержанту Маклину, шефу кухни, на которой начиналась карьера Линуса: «И хитрая же ты Флякса-клякса, Линус...»

Для успешной карьеры прохвоста, однако, мало врожденных и благоприобретенных моральных качеств. Нужна еще социальная среда.

Рихтер выводит вереницу послевоенных властителей Западной Германии, вереницу офицеров оккупационных войск. Зачем они пришли в Германию? Какие цели преследуют? Чего добиваются? Сержант Маклин ограничивается тем, что с помощью казенной тушонки покупает любовь голодных девушек. Капитан Равицкий руководит сложными спекуляциями, связанными с организацией западногерманского кинематографа. Недалекого сержанта и хитроумного капитана объединяет отсутствие каких бы то ни было целей, кроме личных. Использовать Германию, ее поражение, для того чтобы нажиться и продвинуться,— такова задача, которую они перед собой ставят. Но ведь и Линусу Флеку хочется того же самого: нажиться и продвинуться. Роман Ганса Вернера Рихтера — о том, как встретились, поняли друг друга и использовали друг друга люди, в моральном и политическом отношении очень похожие — немецкие спекулянты и американские оккупационные офицеры.

Площадкой взаимного использования становится сначала кухня, потом листок, который Линус на американские деньги издает для немецкой молодежи.

Майор Говард говорит Линусу:

«— Ты, как я уже успел заметить, ловкий маленький лжец, поэтому, может быть, лучше всего тебя и пристроить в прессу.

— В прессу, сэр?..

— Хорошие лжецы часто имеют все данные, чтобы стать хорошими журналистами. Ты ведь хороший лжец?

— Наверняка, сэр».

Следующей по счету площадкой становится нарождающаяся западногерманская кинопромышленность. И здесь американцы используют Линуса, а взрослеющий и наглеющий Линус — американцев.

На кухне речь идет о консервах. В журналистике и кино — об идеологии, о воспитании подрастающего поколения, о перевоспитании нацистов и т. п. Однако для обеих сторон, участвующих в сделке, и консервы и перевоспитание — товар. Это естественно, потому что в западной части Германии годы поражения проходили в рамках капиталистических отношений.

Годы идут, Линус становится все решительнее, все самостоятельнее, американцы — все уступчивее.

Использование американцами превращается в использование американцев. Рядом с Линусом — продуктом оккупационных порядков выступают «перевоспитанные» им нацисты. Разговоры о демилитаризации умолкают. Друзья Линуса снимают фильмы о людях в мундирах. Сначала это мундиры лесного ведомства. Потом — мундиры кайзеровской армии. Все возвращается на круги своя. Прусскому советнику военного суда не пришлось бы травиться вероналом, если бы он смог заглянуть хотя бы на пять лет вперед.

Роман Рихтера — не только история прохвоста. Это также социальное исследование жизнестойкости немецкого империализма, его приживаемости, его морозоустойчивости.

Рихтер пишет несмешанными красками. Он избегает полутонов. История поставила его героев в обстоятельства, в которых мерзавцы вынуждены быть обаятельными. Рихтер фиксирует эти старания. Но обаяние Линуса действует разве на американских поваров, которым он моет посуду. На Рихтера оно не распространяется. Род иронического сочувствия, с которым Томас Манн описывает злоключения своего Линуса — Феликса Круля,— не близок Рихтеру. Чем глубже он понимает своих героев, тем более их презирает. Презрение — едва ли не господствующее в немецком критическом реализме чувство на протяжении десятилетий, и оно свойственно многим современным писателям ФРГ. Романист бьет наотмашь, и роман — это история пощечин, которыми автор награждает своих героев. Все эти пощечины заслужены.

БОРИС СЛУЦКИЙ

ДНЕВНИК ЖЮЛЯ РЕНАРА

Жюль Ренар. Дневник. Перевод с французского Н. Жарковой и Б. Песиса. Составление и вступительная статья Б. Песиса. Примечания А. Паевской. Москва, «Художественная литература», 1965. 502 стр.

В 1946 году у нас появилась книга избранных произведений Жюля Ренара. В нее вошли и отрывки из его дневника. Столетие со дня рождения писателя, одного

из самых оригинальных и сильных реалистов во французской литературе начала XX века, ознаменовалось отдельным, значительно расширенным изданием дневника. Устранены многие купюры, введены новые автобиографические подробности, произведение куда глубже раскрыло свою индивидуальность.

У большинства писателей дневник носит характер черновых записей, никак не предназначен для читателя и весьма отдаленно приближается к понятию творчества. Дневник Жюля Ренара (изданный во Франции посмертно в 1927 году) — явление иного порядка, он вырастает в произведение полноправного литературного жанра. Ж. Ренар знал цену своему труду. Он писал: «Это лучшее и наиболее полезное, что мне удалось сделать в жизни».

Достоинства произведения предопределились во многом редкостным слиянием особенностей художественного дарования писателя с требованиями избранного жанра. Дневник предоставил абсолютную свободу использования таких тенденций творчества писателя, как сильное тяготение к автобиографизму, лежащему, например, в основе романов «Мокрица», «Рыжик», и очерковости, присущей рассказам о деревне, к отказу от гнета сюжетных схем и стремлению строить действие фрагментарно (принцип композиции дневника). Поэтому обращение к дневнику, творчески закономерное, имело значение художественного поиска форм выражения.

Тривиальным стало называть дневник писателя «творческой лабораторией». Но в чем индивидуальность этой «лаборатории», специфические связи с творчеством, обычно не рассматривается. Так, в дневниках Байрона оформляются эстетические взгляды поэта, отношение к «озерной школе», Томасу Муру, Вальтеру Скотту, де Сталь и другим писателям, но совершенно отсутствуют планы, разработки отдельных произведений. Противоположное у Стендаля — дневник «Путешествие в Италию 1811 года» целиком послужил ему материалом для создания романа. У Ж. Ренара лаборатория особенная, в буквальном смысле экспериментальная. В ней вырабатывается общий прозаический стиль писателя, делаются «пробы» на художественное видение (к примеру, некоторые зарисовки природы написаны под явным влиянием импрессионизма), предвещаются многие произведения, скажем, в целой серии наблюдений над животными — «Естественные истории».

Помимо мучительных попыток осознать, предельно рационализовать свой творческий метод Ренар, вольно или невольно, демонстрирует особенности своего воображения, обнажает сам процесс перехода от факта действительности к литературе. Только автор начинает описывать вполне реальную мадам Бланш, как его фантазия переносит старушку в воображаемую ситуацию новеллы с четой влюбленных, убийством и пр. Художественный образ выступает в качестве новой характеристики реального лица. Чисто писательский интерес к явлениям заметен в дневнике повсюду.

Но принципы «творческой лаборатории» не господствуют в дневнике, смысл его исповедальческой стихии не нарушается присутствием профессионального, как бы стороннего взгляда, человеческое «я» автора остается в центре внимания, раскрывается непосредственно.

Созданный Ж. Ренаром автопортрет привлекает современного читателя напряженностью интеллектуальной жизни, интенсивностью духовных перипетий, не знающим пощады самоанализом, многогранностью внутреннего мира.

Вместе с братьями Гонкур Ж. Ренар мог бы сказать, что изображал в дневнике «текучую человеческую натуру в истинности данного момента». Самой мысли писатель придает печать неповторимого момента ее рождения, силу и свежесть импровизации, чутко реагирующей на настроение, насыщенной эмоциональной жизнью, богатейший диапазон которой — от отчаяния, саркастического смеха, горькой иронии, откровенного умиротворения до страстного гражданского призыва — приобретает оркестровое звучание. Мысль наделяется особой внутренней жизнью, не только исследует объективную реальность, но и сама становится предметом изображения.

В отличие от дневника Гонкуров, Ренару чужда солидная обстоятельность описаний, его анализ схватывает наиболее существенное в явлении, подробности изображения предпочитается выразительность отдельного штриха. Причем писатель любит возвращаться к одной и той же теме (особенно там, где выковывается эстетическое кредо), развивать уже намеченное, открывать новые стороны явления. Порой это приводит к неизбежным противоречиям с ранее сказанным. Образуется своеобразная перекличка мыслей, каждая из которых не претендует на окончательное решение, а соотносится со всеми остальными, выступает на полифоническом фоне.

Эволюция личности автора изображена столь живо, что придает дневнику неожиданную занимательность чуть ли не сюжетного повествования. Несмотря на отрывочность записей, дневник позволяет судить о становлении мировоззрения, о важнейших этапах творческой биографии писателя: резкая критика символизма, утверждение реалистических позиций, гражданской значимости творчества, работа в самых различных жанрах прозы, потом приход в драматургию, оказавшее сильное влияние на Ренара дрейфусарство, убеждение в необходимости практической деятельности (избрание мэром Шитри, опыт просветительских докладов), сотрудничество в «Юманите», увлечение республиканскими и социалистическими идеями. Ренар утверждал: «Будущее за социализмом, потому что социализм обращен ко всему идеальному».

Дневник Ж. Ренара не создает широкой исторической панорамы, летописного свода событий, подобно мемуарам Сен-Симона, Шатобриана. Он интимен, глубоко лиричен. В дневнике не пересказ истории, а непосредственная реакция на нее. Мы обязаны Ренару интереснейшими заметками о бурлящей, полной событиями театральной жизни Парижа, о его лицемерной прессе и сенсационных художественных выставках, о празднике мысли и таланта на литературных вечерах А. Доде и традиционных субботах великой Сары Бернар, о чудачествах Верлена и чопорных обедах в Академии Гонкуров, о Родене, живущем в царстве созданных им шедевров, о кипучей деятельности Жореса, об А. Франсе, Тулуз-Лотреке, Ростане. Пестрые картинки вступающего в XX век Парижа, отпугивающего Ренара фантастическими омнибусами и кровожадными автомобилями, сменяются наблюдениями над веками не изменяющейся французской деревней.

Успех дневника Ж. Ренара был обусловлен и исторически. Знаменательна история развития дневника как особого мемуарного жанра во французской литературе. Если XVIII век выдвинул как наиболее крупные достижения мемуаристики произведения жанра автобиографии — Сен-Симона, Руссо, оставив дневник в тени, то в XIX веке, особенно во второй половине, отношение к нему резко меняется, жанр пользуется несомненной популярностью, вершинами мемуаристики становятся дневники братьев Гонкур, Жюля Ренара.

Очевидно, что лишь в начале XIX века дневник приобретает полную литературную самостоятельность Байрон уже пишет дневники с явной мыслью о последующей публикации. Изданные при жизни Шатобриана «Замогильные записки», писанные в разное время делаются порой в близкой дневнику форме Рядом с «Поэзией и правдой» Гёте появляется дневник Эккермана «Разговоры с Гёте».

Происходят в мемуаристике какие-то внутренние потрясения. Монументальной автобиографии приходится потесниться. После колоссального притока мемуаров, относящихся к временам первой империи, она отходит на задний план. Появляются многочисленные воспоминания — отрывки типа «Встреч и впечатлений» Гюго, «Автобиографические воспоминания» Доде, имеющие смысл дневниковых записей, путевые заметки, также весьма родственные дневнику, к примеру, «Путешествия в Пиренеи» Тэна, «Итальянские впечатления» Бурже и, наконец, дневник, так сказать, в чистом виде. Делакруа никогда не собирался издавать свой дневник, тем не менее перед нами значительный литературный памятник. Разумеется, ничего подобного не было и не могло быть в XVIII веке. Причин для этого множество, и не дело короткой рецензии разбирать их. Заметим только, что научные перевороты XIX века, меняющие представления о человеке, новые художественные течения — романтизм, критический реализм, натурализм, значительно углубившие знания о человеке, оказали сильнейшее влияние на мемуарную литературу. Этому победоносному исследовательскому шествию дневник отвечал особыми принципами изображения человека. Возможность изучать целую жизнь каждодневно, как естественно развивающуюся без ретроспективного «всезнания», свойственного жанру автобиографии, приближенность бóльшая, чем в других мемуарных жанрах, к синхронному изображению реальности, замечательная способность изучать человека в «истинности данного момента» давали дневнику серьезные преимущества.

Дневник Жюля Ренара принадлежит ко времени расцвета жанра — к концу XIX — началу XX века.

В заключение рецензии хочется отметить интересную статью Б. Песиса к «Дневнику» Ж. Ренара. В ней масштабность конкретно-исторического анализа удачно сочетается со способностью статьи служить текстологическим комментарием, путеводителем по дневнику, что значительно облегчает современному читателю правильное понимание этого выдающегося произведения французской мемуаристики.

В. КРАСНОКУТСКИЙ

НЕПРИВЫЧНЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

Дж. Д. Сэлинджер. Повести. Рассказы. Перевод с английского и предисловие Р. Райт-Ковалевой. Москва, «Молодая гвардия», 1965. 254 стр.

Вот передо мной книга, написанная Дж. Д. Сэлинджером, таинственным человеком из Соединенных Штатов, и переведенная Ритой Яковлевной Райт-Ковалевой. Талант выдающегося писателя и талант переводчика, людей столь далеких друг от друга, соединились в небольшой книжке для новой, русской уже, жизни.

Повести и рассказы, вошедшие в эту книжку, в последние годы появлялись на страницах нашей периодики и вызывали чрез-

вычайно живой, чуть ли не трепетный интерес читателей. Дело тут, кажется, состоит в появлении перед нами нового американца, героя этих произведений, американца Дж. Д. Сэлинджера.

Народы, отдаленные друг от друга, да, впрочем, часто и неотдаленные, живут во власти привычных шаблонных представлений друг о друге. Этой осенью в Югославии один молодой парень спросил меня за чашкой кофе:

— В России кофе нет?

Я с изумлением взглянул на него, но потом сработало: ага, понятно, Россия — самовар, стало быть — чай, кофе нет. Дальнейшая беседа с этим образованным человеком вполне убедила в правильности предположения.

Пример анекдотичен, но все-таки, признайтесь, при слове «американец» сразу мелькает где-то на периферии сознания нечто такое ковбойско-гангстерско-спортивное.

Отбросим банальности, я имею в виду здесь совсем другое, а именно тот образ американца, который предстает перед нашим интеллигентным читателем, предположим даже знатоком американской литературы XX века, поклонником знаменитой Большой пятерки, образ героя этой литературы, образ писателя — Эрнеста Хемингуэя, этот привычный образ.

Хемингуэй — человек-миф, легендарный «Хем», «Папа», каждый шаг которого интриговал газетчиков и читающую публику и становился известен всему миру.

О Дж. Д. Сэлинджере мы знаем лишь то, что он «живет в Уэстпорте и имеет собаку».

Фрэнсис Макомбер самоутверждается выстрелами в буйволов, Симор Гласс — выстрелом в собственный висок.

Не будем говорить о последнем выстреле Хемингуэя, но все-таки, если верить посмертной легенде, это тоже был выстрел по буйволам.

Лейтенант Генри, Джейкоб Барнс, писатель Гарри, Роберт Джордан, эти символы личности Хемингуэя, объединились в образ современного Чайльд-Гарольда, и это был образ Мужчины. Не признавать поражения, защищаться, достоинство, достоинство и еще раз мужское достоинство. Преданная женщина, карабин, охота, спокойная ирония, достоинство... Господи, если бы можно было так жить!

Холден Колфилд, Бадди и Симор Глассы, туманный Уолт из воспоминаний Элоизы, эти символы (возможные) личности Сэлинджера (не представляю себе иного) объединились в образ с глазами, полными иудейской тоски, и это есть образ Мальчика. Здесь как раз — незащищенность, почти полная безоружность, тоска, страх.

Похабщина, вызывавшая у героев Хемингуэя гнев или спокойное презрение, у Сэлинджера вызывает почти мистический ужас.

Роберт Джордан видел свою цель во взрыве моста, Холден Колфилд — ловец во ржи. Представим себе сильную фигуру Джордана на совершенно реальной испанской горе перед реально надвигающимися фашистами и нелепую фигуру Холдена, мечущегося в некоей ржи, спасающего неких ребятишек от падения в некую пропасть.

Я вспоминаю фильмы Федерико Феллини, точнее, их финалы: смазливые лица веселых подростков, кружащих на мотороллере вокруг Джульетты Мазины, их аккордеон («Ночи Кабирии»); крохотный лицеист в белой пелеринке, замыкающий со своей печальной ласковой трубой шутовской парад человечества («Восемь с половиной»); две маленькие девочки (опять же в белом), уморительно отплясывающие наивный чарльстон и этим разрывающие лесбийско-педерастический бред («Джульетта, одержимая духами»).

Завершим параллель упоминанием о воображаемом Джимми Джиммирино из рассказа «Лапа-растяпа» и осмелимся добавить, что параллель знаменательна. Знаменательна именно в наше время, когда фашизм не носит нарукавных повязок со свастикой и не называет себя фашизмом, когда он порой приобретает почти иррациональные черты.

Спасение детей, говорит Сэлинджер. Спасение в детях, говорит Феллини. Спасение во спасении, говорит Сэлинджер.

Раз уж так вышло, раз возникло невольное сравнение Хемингуэя и Сэлинджера, следует сказать, что последний не очень-то преклоняется перед первым. Холден Колфилд называет лейтенанта Генри ломакой! Вот тебе на: наш герой, наш лейтенант Генри — ломака!

Категоричность Холдена несколько коробит нас, старых друзей лейтенанта Генри, но, немного подумав, мы понимаем, что нелепо было бы защищать лейтенанта от Мальчика, так же как и Мальчика не ставить ни в грош по сравнению с Мужчиной; разное время и разные войны.

Пожалуй, мы можем понять задиристость шестнадцатилетнего писателя Холдена Колфилда (а он, разумеется, писатель — чего стоят его рассуждения об «отклонениях от темы») и категоричность его суждений, ибо он является новым типом американского писателя, «живущим в Уэстпорте и имеющим собаку». Мы можем даже предположить, что обязанность каждого писателя выносить свои вещи на суд публики является для этого писателя печальной обязанностью.

«Если бы я был пианистом, я бы заперся в кладовке и там играл»,— думает он, глядя на игру знаменитого Эрни и на шумный восторг публики.

И тут уже наш писатель-Мальчик, отбрасывая всякую маскировку, становится в боевую позицию перед писателем-Мужчиной и храбро заявляет:

«Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради правого дела».

Эти слова принадлежат не Холдену, а

мистеру Антолини, но они также принадлежат Дж. Д. Сэлинджеру, вот какая штука.

Не будем искать правую сторону в этой, может быть, даже странной полемике, скажем лишь под занавес, что неверно было бы представлять Сэлинджера мудрецом, унесшим «зажженные светы в катакомбы, пустыни, пещеры», удалившимся от мира.

Общеизвестно, что писатель в своей работе может исходить только из предпосылки огромности человеческого общества и космичности его страстей. Мысль о ничтожности человека уничтожает писателя, хотя размер его личной трагедии увеличивается в бесконечность.

Сэлинджер с фонарем совершает путешествие по космосу американской жизни. Он — настоящий американский писатель нашего времени, непривычный американец.

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

La Poésie russe. Edition bilingue. Anthologiè réunie et publiée sous ia direction de Elsa Triolet. Paris, Editions Seghers, 1965.

Французские литераторы сделали своим читателям великолепный подарок. Издательство Сегер, выпускающее серию поэтических антологий, из которых каждая посвящена поэзии какой-либо одной страны (не говоря о французской, собранной в нескольких томах), порадовало читающую публику антологией русской поэзии, охватывающей период от Ломоносова до наших дней.

Общее руководство работой над антологией осуществила известная писательница Эльза Триоле, которая была и составительницей книги, и переводчицей многих стихотворений.

Пожалуй, ни на одном языке мира нет сборника, в котором русская поэзия была бы представлена с такой полнотой и в общем на таком высоком переводческом уровне. Недаром для Франции выход этой книги превратился в значительное литературное событие.

Но более того. Вероятно, ни сами инициаторы антологии, ни переводчики не думали, что их труд в такой степени перерастет литературные рамки и превратится в яркую демонстрацию дружбы обоих народов.

К выходу книги французское министерство культуры пригласило в Париж на торжественный вечер несколько советских поэтов из числа тех, чьи стихи вошли в антологию. В обширном зале Мютюалитэ, рассчитанном на 2500 человек, число зрителей превысило три тысячи. Еще задолго до вечера его устроители решили распространить приглашения в рабочих и коммунистических округах Парижа.

И что же оказалось?

Нумерованные места действительно были заняты рабочей и служащей публикой, а на ступенях лестниц примостился буржуазно-аристократический Париж — мужчины и дамы в изысканных нарядах, сумевшие достать только входные билеты. Вероятно, привлек эту публику не интерес к поэзии вообще, но интерес именно к советской поэзии. А может быть, и просто желание увидеть и услышать гостей из Советского Союза. Ведь уже не раз посланцы советского искусства завоевывали и покоряли сердца парижан.

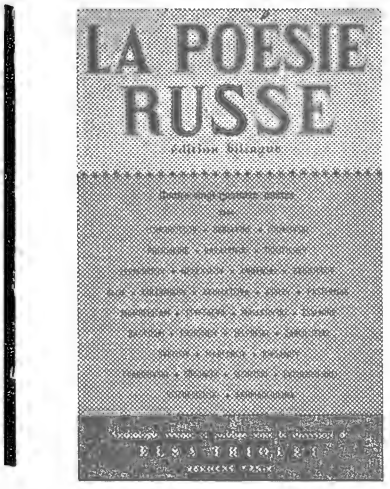
Для нас поэтические вечера в переполненных народом залах давно уже стали рядовым явлением, причем это относится к поэзии не только оригинальной, но и к переводной. Я помню, с каким удивлением атташе французского посольства по делам культуры, придя в Московский Дом дружбы на вечер переводов из Ронсара и Вийона, смотрел на переполненный зал. А для Парижа такой вечер оказался поистине в диковину. Выяснилось, что и парижане могут выдержать целый вечер чтения стихов.

И невольно задаешь себе вопрос: а может быть, ошибаются французские поэты? Может быть, их соотечественники не так уж глухи к поэзии, как это любят утверждать сами французы? Неужели великий народ, в течение чуть ли не тысячи лет занимавший в мировой поэзии одно из первых мест, внезапно утратил способность сочувствовать поэтическому слову? И не дело ли это самих поэтов — снова проложить широкую дорогу к французскому сердцу, к сердцу рядового читателя?

Как и все книги антологической серии Сегер (конечно, кроме томов, посвященных французской поэзии), русская антология двуязычна. Каждое стихотворение дается во французском переводе, а внизу страницы — русский оригинальный текст. В создании этой книги кроме Эльзы Триоле, принимали участие такие поэты, как Арагон, Гийевик, Добжинский, а также профессиональные переводчики и специалисты по славянским литературам: профессор Сорбонны Леон Робель, Жан Марсенак, Андре Либерати, Клод Фриу и Франсуа Керель.

Стихам каждого поэта предпослана краткая биографическая справка, включающая, насколько это возможно в нескольких строчках, и характеристику творчества. Предисловие написано известным литературоведом-славистом Романом Якобсоном.

Создателям антологии удалось показать нашу поэзию во всем ее разнообразии. Здесь и гениальные прозрения Ломоносова и Державина, и высочайшие вершины классического русского стиха в лице Пушкина и Лермонтова, и народники, и символисты, и,



наконец, занимающая едва ли не половину книги советская поэзия. В антологии собраны 94 поэта — больших и малых. Это, конечно, очень хорошо, но кое с чем можно здесь и поспорить. Хотелось бы видеть больших поэтов побольше, а малых — поменьше, иначе нарушаются масштабы и пропорции. Тютчев, например, представлен всего тремя стихотворениями, Баратынский — одним, в то время как Алексей Гастев — двумя. Можно было бы поспорить и относительно выбора некоторых стихотворений. Естественно, когда речь идет о большом поэте, невозможно на такой ограниченной площади сосредоточить все его шедевры. Но разве не досадно, что единственное взятое хотя бы у того же Баратынского стихотворение принадлежит к числу его наиболее ранних опытов и лишь в малой степени обладает тем «лица необщим выраженьем», с которым предстала перед нами зрелая муза Баратынского. Обидно, что в антологию не попал великолепный и буйный Языков, даже и теперь, уже после Есенина и Пастернака, поражающий нас неожиданностью и смелостью метафор.

Конечно, и без объяснений понятно, что составители антологии колебались между двумя безднами: желанием представить возможно больше поэтов и направлений и... отсутствием места. И все вышесказанное вовсе не является упреком составителям. Речь идет о том, к чему привела борьба между возможностями и желанием, и справедливость требует признать, что от недостатков такого же рода не может быть свободна ни одна антология. Надо лишь надеяться, что французские издательства и переводчики подхватят это благородное начинание и что «Русская поэзия» станет краеугольным камнем для их дальнейшей работы. В этом смысле можно напомнить об опыте советских издательств, которые не раз уже начинали серьезное освоение какой-либо иноязычной поэзии с антологии, а потом переходили к монографическому изданию отдельных поэтов.

Кстати сказать, издание монографических сборников полезно во всех отношениях. Углубленная работа над одним поэтом всегда дает переводчику возможность найти какие-то новые приемы для его передачи. И мы знаем по опыту нашей собственной поэзии, что неоднократно переводчики, вводя в отечественный поэтический обиход чужеязычные ритмы, чужеземную строфику, тем самым двигали и оригинальную поэзию своей страны. И то, что на первых порах казалось чужим и неприемлемым, вскоре органически входило в стихию русской поэзии.

Быть может, и французские поэты, узнав на родном языке русскую поэзию, почерпнут в ее мощном лирическом потоке, в ее проникновенной гражданственности, в ее безоглядной правдивости новые творческие импульсы, как это неоднократно бывало и с русскими поэтами, приникавшими к родникам французской поэзии.

Автор предисловия дал очень эмоциональный и динамичный по характеристикам очерк истории русской поэзии; к сожалению, с некоторыми его оценками трудно согласиться. Зато Эльзе Триоле удалось в короткой вступительной заметке «Искусство перевода» ввести читателя в самую гущу проблем, волнующих каждого переводчика, и трудностей, неизменно сопутствующих его работе. Но каковы бы ни были эти трудности, русские переводчики никак не могут согласиться со своими французскими коллегами относительно старой традиции французского языка, которая из всех элементов поэзии расстается при переводе прежде всего и легче всего с рифмой.

Ведь рифма это не просто украшение, висящая на конце строки побрякушка. Рифма — один из важнейших и существеннейших элементов стиля, и отсутствие рифмы часто обезличивает стихи: два стихотворения, разделенные во времени целым столетием, начинают звучать совершенно одинаково. А если при этом рифма в переводе присутствует или отсутствует не в зависимости от оригинала, а только в зависимости от произвола или умения переводчика, и стихи, скажем, Пушкина и Лермонтова, предстают перед нами, одетые рифмой, а потом, спустя десятилетия, Фет и Некрасов оказываются нерифмованными, а Блок опять рифмованным, то смещается историческая перспектива. В этой же книге блестящие опыты Арагона и Гийевика, или самой Эльзы Триоле, или Леона Робеля показывают, что французский язык великолепно справляется с рифмованным переводом.

Уже давно стало трюизмом то положение, что умение переводить — это умение жертвовать частностями во имя целого. Здесь, конечно, действуют те же законы, что и в любом другом виде искусства. И в конце концов, каковы бы ни были придирки к переводу в отношении точности, победителем из борьбы выходит тот поэт, который

умеет поднять свой перевод на уровень оригинального произведения отечественной поэзии. Иногда случается и так, что перевод становится равным оригиналу или даже выше его. Это зависит от умения переводчика компенсировать неизбежные при переводе потери.

Кстати, о соотношении между «обеднением» и «обогащением» очень хорошо написал Густав Монжо в предисловии к антологии итальянской поэзии, вышедшей в том же издательстве Сегер. И что же лучше: создать поэтическое произведение, пускай лишь в основном, в существенном тождественное оригиналу, пускай даже отличающееся от него какими-то деталями, но зато обогащающее отечественную поэзию, или отказаться от поэтического венца в погоне за передачей всех оттенков смысла, поставив себе задачу все равно неосуществимую уже в силу разности языков.

История показывает, что первые попытки переводчиков освоить иноязычную поэзию всегда бывают в том или ином отношении несовершенны. Но то, что уже достигнуто в разбираемой нами антологии, где также большинство стихов переведено впервые, является достаточно крепким фундаментом для дальнейшей работы. Так или иначе, деятели французской литературы завязали еще один прочный узел, соединяющий народы, которые стремятся к дружбе и взаимопониманию.

В. ЛЕВИК

ИСТОРИЯ И ПАТОЛОГИЯ

Ernesto Sábato. Sobre héroes y tumbas. Buenos Aires. Ed. Sudamericana, 1965.

«Дантовы видения», «Спуск в ад», «Один из самых поразительных романов нашего времени» — такими заголовками встретила аргентинская печать новый роман Эрнесто Сабато «О героях и могилах». В короткое время разошлись пять изданий тиражом 50 000 экземпляров. Для латиноамериканской страны это очень много.

Эрнесто Сабато примыкает к той весьма влиятельной в Аргентине группе писателей, которая открыто ориентируется на современную модернистскую литературу. Они считают, что, поскольку в Аргентине развивается «цивилизация западного типа», то аргентинская литература может обрести всемирное звучание, не подчеркивая свою национальную специфику, но, напротив, поднимаясь от внешней, «обыденной» национальной конкретности к общечеловеческим проблемам. Критика часто обвиняет писателей этой группы в отсутствии патриотизма, в своего рода «внутренней эмиграции» из чреватой революциями латиноамериканской действительности. Однако идейные позиции аргентинских сторонников «единой мировой литературы» весьма различны, и такого рода обвинения, быть может и справедливые в отношении некоторых из них, могут оказаться упрощенными, когда их адресуют другим. Новый роман Сабато не относится к тем романам, которым можно бросить обвинение в «непатриотизме», но вместе с тем открывает нам, как ошибочен взгляд на жизнь и на человека, предлагаемый автором этой книги.

Замысел прямо-таки грандиозен. Писатель хочет синтезировать Аргентину — ее прошлое, трудное, жестокое, временами кровавое, ее современность, тоже очень сложную и запутанную. Перед нами космополитический быт большого буржуазного города: и диктатура характерно южноамериканского типа, и толпы нищих иммигрантов, мешающих итальянские, испанские, русские слова, и старые патрицианские креольские семьи.

Однако Сабато не избрал форму многопланового и многолюдного романа-эпопеи, которая кажется нам привычной и, может быть, наиболее подходящей для таких широких замыслов. Сам он говорит во введении к роману, что ему хотелось проложить путь по «темному лабиринту, который ведет к центральной тайне нашего существования». Таким образом писатель хотел исследовать тайное, подспудное движение человеческой души, тонкими нитями связанное с внешним миром, но лишь в катастрофические моменты открыто с этим внешним миром соприкасающееся. Конечно, преступление — именно такой «катастрофический момент», когда тайное становится явным, доступным исследованию. Сабато следует старой и хорошо разработанной в мировой литературе традиции, когда пытается осуществить свой синтез эпох, синтез общенационального и частного, глубоко личного, отталкиваясь от нескольких строчек полицейской хроники о совершенном молодой девушкой отцеубийстве и самоубийстве.

Эрнесто Сабато владеет искусной, временами даже изощренной повествовательной техникой: сплетение разных временных планов (герой романа через несколько лет после трагической развязки вспоминает события, ищет им объяснения, выслушивает рассказ друга о том, что неизвестно ему и что предшествовало мрачной драме), внутренние монологи, «грезы наяву», образы-лейтмотивы. Прошлое входит в книгу, когда героиня романа Алехандра приводит влюбленного в нее юношу Мартина к себе в полуразрушенный дом старинной семьи Ольмос, участвовавшей во всех битвах аргентинской истории. Теперь последыши этой семьи, безумцы и чудаки, живут странной, призрачной жизнью, не замечая настоящего, отгородившись от него, бормоча непонятные молодежи имена,— они вспоминают бои, в которых их деды и прадеды сражались рядом с Боливаром и Сан-Мартином, мятежи, которые поднимали их отцы против тирана Росаса, вспоминают казни на улицах Буэнос-Айреса и мечты о свободе, равенстве, братстве... А потом Алехандра и Мартин выходят на сегодняшние улицы, встречаются в

кафе, парках, редакциях газет. И современность тоже схвачена несколькими острыми мазками — таков, например, портрет газетного магната Молинари с его подлой неокапиталистической демагогией.

Из трех героев, которым назначено выдерживать на своих плечах тяжесть жизненных пластов, поднятых в романе, лишь один наделен таким характером, в котором мог бы «отразиться век». Это Фернандо Видаль, отец Алехандры, являющий собой вырождение старого героизма. Стоицизм превратился в цинизм, гордость — в гордыню, мужественное презрение к смерти — в демоническое презрение к жизни. Его деды становились инсургентами и якобинцами, он же организует шайку анархистских боевиков, «пистолерос», занимающихся экспроприациями. Презрение к буржуазной пошлости и мелочности переходит в насмешку над всеми нравственными нормами. Тип аристократа-рыцаря эволюционирует в новый тип — аристократа-«сверхчеловека». Было бы интересно проследить, как поведет себя этот новый тип в современной жизни, где социальные потрясения так часто делают общественным фактором душевные «бездны» индивидуума (вспомним хотя бы «Смерть — моя профессия» Р. Мерля). Однако автор не развил тему, удачно начатую в рассказе об анархистской молодости Фернандо. Вскоре все облегчается доказательством безумия героя. Характер превращается в болезнь. Начав с вызова не только буржуазии, которую он грабит, но и всему человечеству, Фернандо кончает манией преследования и кровосмесительной страстью к дочери. Точно так же введенная в действие патология наследственности и вырождения снимает все интересное в характере Алехандры, что сквозит поначалу в ее рассказах о детстве, о воспитанной в монастырской школе религиозной экзальтации, сталкивающейся с пробуждающейся в подростке чувственностью. Теперь все это становится только добавочным (и второстепенным) объяснением, почему с такой смертоносной силой овладел ее душой «комплекс Электры». Возможно, автор обнажает патологические корни поведения героев, чтобы убедить нас в реальности довольно-таки жутких событий. Ведь если не сослаться на болезнь, то история взаимной страсти дочери и отца и самосожжения дочери покажется маловероятным нагромождением ужасов. А может быть, писатель исходил из того, что в современном капиталистическом мире безостановочно увеличивается количество психических заболеваний... Можно так и этак толковать намерения автора, но бесспорно, что страшная смерть Фернандо и его дочери Алехандры предстает не как открытие «тайного тайных» человеческой души, а как случай, более уместный в учебниках психиатрии. И весь широко задуманный автором синтез рушится, когда его втискивают в конструкцию этого частного казуса. Герои не выдерживают взваленного на их плечи груза.

Вот Мартин, юноша, любящий Алехандру чистой и преданной любовью, в отчаянии думает о самоубийстве после того, как ему стала известна страшная изнанка ее жизни. И он находит поддержку в грезах о прошлом: о стойкости инсургентов, потерпевших поражение в борьбе против тирана Росаса, о том, как они продолжали надеяться даже тогда, когда все было потеряно. Но две эти ситуации кажутся несоизмеримыми, поражение Мартина никак не сопоставимо с поражением мятежников 1840 года, и нить, которая должна связывать прошлое и настоящее, рвется Вообще же Мартин, по мысли автора, олицетворяет молодые, нерастраченные силы нации. Именно поэтому он — среди грязи и низости сегодняшнего дня — ищет опоры в памяти о былой героике и в естественной доброте своих друзей: шофера грузовика, рабочего, девушки-работницы. Очевидно, писатель вдохновлялся благородной идеей: спасение от духовного распада буржуазного общества — в здоровой нравственности народа. Однако драма, в которую втянут Мартин, настолько лишена всеобщности, настолько болезненна и исключительна, что и преодоление рожденного этой драмой отчаяния не может обрести для нас символический смысл.

Неудача этого произведения Эрнесто Сабато объясняется не безразличием писателя к национальной действительности, а ложным пониманием человеческого характера. В изображении Сабато психикой человека невозбранно управляют извечные, разрушительные, неподвластные воле и разуму силы. Все эти «комплексы» — будучи освобождены от тех реальных духовных и общественных закономерностей, из которых слагается характер человека,— неминуемо превращаются в болезнь. Не драму своего времени и своей страны, а клинический случай, возможный в любые времена и в любом месте, показывает нам писатель. Художественный сплав национального и индивидуального не получился. Роман распался на ярко выписанный фон и кошмарную историю фамильного психоза. Сабато разрушает цельный человеческий характер. В поисках общего, главного в человеке он отсекает все социально-конкретное. Стремление достичь глубины в искусстве на этом пути иллюзорно — реального человека нельзя «расслоить» на «вечное» и «сиюминутное». Поэтому крушение замысла Сабато в романе «О героях и могилах» не случайно.

И. ТЕРТЕРЯН

СОТЫЙ НОМЕР «МАРЖИНАЛЬ»

MARGINALES. Revue bimestrielle des idées et des lettres. Hommage a Albert Ayguesparse, № 100, Avril, 1965.

Бельгия — маленькая страна больших писателей. В искусстве романа ее прославил де Костер, в поэзии — Верхарн, в драме — Метерлинк. Среди выдающихся бельгийских писателей наших дней — Аль-

бер Эйгеспарс. В прошлом году ему исполнилось шестьдесят пять лет. Юбилей Эйгеспарса, участника бельгийского Сопротивления, совпал со знаменательной датой — двадцатилетием победы над фашистской Германией.

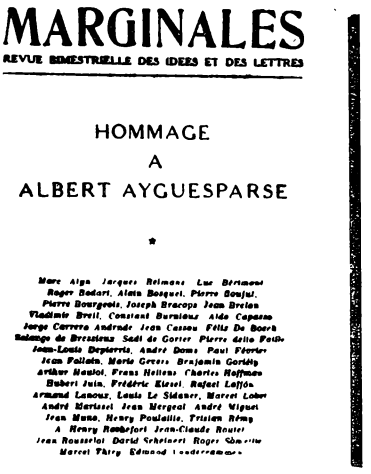
...В первом ряду торжественного заседания Общества бельгийско-советской дружбы в Брюсселе сидит невысокого роста седой человек с удивительно ясным взглядом прищуренных глаз. Альбер Эйгеспарс внимательно слушает рассказы героя Советского Союза летчицы Надежды Поповой, советского партизана И. А. Дядькина, воевавшего с нацистами под Лимбургом. Мы знакомимся. Эйгеспарс вспоминает далекое прошлое, дружбу с Барбюсом, участие в движении «Кларте», сотрудничество в журнале «Монд».

Альберу Эйгеспарсу посвящен сотый номер бельгийского литературного журнала «Маржиналь», что означает «Заметки на полях». Юбилейный номер — интересные «заметки на полях» книг Эйгеспарса. Книг этих немало, Эйгеспарс получил известность как поэт, начавший печататься в двадцатые годы; свидетельством высокого мастерства стала его последняя книга стихотворений «Черное кагорское вино» (1957). Подлинной поэзией исполнены строки, обращенные к родному краю:

Пальцы в клевер уткнув, я приветствую вас, водопои!
Прославляю сады, пробужденные зорькою ранней;
Славлю пламенный цвет на твоем одеянии ржавом —
Прикоснуться бы мог я к мужицкому сердцу Брабанта!

(«Брабант». Перевод А. Голембы)

Советским читателям известна новелла Эйгеспарса «Когда Иуда звался Цицероном...» о славных днях движения Сопротивления, мужестве и героизме одних и предательстве других. Эйгеспарс — популярный романист, запечатлевший в своих книгах жизнь различных кругов современного общества. С большой любовью выписывает Эйгеспарс характеры пролетариев, рядовых участников рабочего движения в первом своем романе «Мертвая рука». Жизни бедняков посвящен и его последний роман «Добряк Симон». О драматических судьбах современной молодежи, людях, лишенных компаса и становящихся жертвами других, куда более предприимчивых, повествуется в «Опасном возрасте». Романиста привлекают проблемы семейной жизни, через которые раскрываются большие социальные вопросы. В романе «Мы идем за своей тенью» на фоне залитых солнцем, напоенных хвоей и жасмином пейзажей юга Франции развертывается жестокая драма людей, во всем подвластных золоту, будь то Рауль Мезарг, продающий себя за наличный расчет, будь то Мадлена, ставящая знак равенства между счастьем и богатством. Эйгеспарс создает впечатляющий образ промышленника Дюмениля, одного из «сильных мира сего», человека властного, жестокого, беспринципного (роман «Потерянное поколение»). Критика справедливо отмечает антибуржуазную тенденцию творчества Эйгеспарса — романиста, новеллиста, поэта, критика и публициста.


MARGINALES

REVUE BIMESTRIELLE DES IDEES ET DES LETTRES

HOMMAGE
A
ALBERT AYGUESPARSE

Эйгеспарс был одним из первых бельгийских писателей, приветствовавших Октябрьскую революцию. «В моем новом романе,— говорит Эйгеспарс в одном из своих писем автору этих строк,— я попытаюсь рассказать, чем была для молодых людей нашего поколения победа советской власти. Несмотря на войну и немецкую оккупацию 1914—1918 гг., вопреки своим учителям, я понял, что произошло рождение нового мира. Человеку всегда радостно сознавать, что он не ошибся, что его анализ и предвидение исторических событий оказались верными. Это чувство я выражал в многочисленных стихотворениях и в различные периоды своей жизни».

На страницах «Маржиналь» дань уважения и любви Альберу Эйгеспарсу отдают известные бельгийские писатели Франц Элленс и Констан Бюрньо, Эдмон Вандеркаммен и Давид Шайнерт, Роже Бодар и Марсель Тири, французы Жан Кассу и Арман Лану, испанский поэт Рафаэль Лаффон и чешский литературовед Владимир Бретт. К выражению этих чувств присоединяемся и мы

Ф. НАРКИРЬЕР

ДВИЖЕНИЕ «КЛАРТЕ» В ШВЕЦИИ

Röda pennor. En clarte-antologi 1924—1964.

В антологию «Красные перья», по замыслу составителей, вошли наиболее показательные в историческом отношении и одновременно наиболее актуальные для сегодняшнего читателя статьи, памфлеты, зарисовки и стихотворения, опубликованные в шведском журнале «Кларте» между 1924 и 1964 годами.

Организация «Кларте», возникшая по инициативе Анри Барбюса, имела международный характер, ее руководящий комитет находился в Париже и включал в себя кроме Барбюса — Анатоля Франса, Эптона Синклера, Бласко Ибаньеса, Георга Брандеса, Сельму Лагерлёф, Эллен Кей и др. Секции «Кларте» были созданы во многих странах, в том числе в скандинавских.

Шведская секция образовалась весной 1921 года, после того как группа преподавателей и студентов Лунда и Стокгольма, среди них будущие редакторы журнала, получила письмо Анри Барбюса с призывом присоединиться к движению сторонников мира и социализма (этот интересный документ опубликован в первом разделе антологии). На основе письма Барбюса был выработан устав организации, во вступлении к которому указывалось, что «Кларте» является внепартийным общественным объединением, критически исследующим социальные идеи и институты, пролагающим путь к социалистическому строю, помогающим рабочему классу в борьбе против капитализма и привлекающим в ряды борцов за социализм представителей интеллигенции. Свои задачи шведская секция «Кларте» выполняла в различные годы по-разному, но она продолжала существовать и тогда, когда в других странах подобные секции давно закрылись. Одной из причин ее жизнестойкости явился выпуск журнала «Кларте», в котором свыше четырех десятилетий бескорыстно сотрудничали многие известные поэты, прозаики и публицисты Швеции и других стран.

Уже первый номер журнала, увидевший свет 1 мая 1924 года, рекомендовал себя как орган «социалистической политики и культуры». В этом номере было опубликовано оповещение, в котором говорилось, что некоторые интеллигенты, примкнувшие к движению «Кларте», ограничивают свою деятельность благими пацифистскими пожеланиями: «Они хотят мира во всем мире, но не хотят добиваться его предпосылок, они хотят устранения войны из жизни общества, но не хотят устранения ее причин». Единственной гарантией того, что войны больше не возникнут, редакторы журнала считали социалистическое общество.

На протяжении десятилетий в «Кларте» сотрудничали синдикалисты, социал-демократы, коммунисты, беспартийные. Первыми авторами журнала были его редакторы и издатели — беспартийные социалисты Ханнес Скёльд, написавший ряд серьезных статей, поэты Арнольд Юнгдал и Стеллан Арвидсон. Их усилия поддержали впоследствии талантливая поэтесса Карин Бойе и видный поэт и эссеист Эрик Блумберг. В разные годы в «Кларте» печатались такие известные шведские писатели, как Юсеф Чельгрен, Нильс Ферлин, Артур Лундквист, и другие прозаики и поэты. Все они представлены в антологии «Красные перья» публицистическими статьями и стихотворениями, не утратившими своего интереса до настоящего времени. Из-за недостатка места ее составители должны были отказаться от перепечатки избранных работ зарубежных писателей, которые сделали значительный вклад в укрепление положения и престижа журнала. Чтобы показать, как велик был этот вклад, достаточно назвать имена Мартина Андерсена-Нексе, Ханса Кирка, Халлдора Лакснесса, Эптона Синклера, Карла Осецкого или Пабло Неруды. Помимо писателей в «Кларте» сотрудничали также политические деятели, философы, правоведы, экономисты, врачи и др. Уже это далеко не полное перечисление авторов журнала может дать известное представление о широте его деятельности и о его характере.

По свидетельству Эскиля Бергена, историка «Кларте», в 20-е годы журнал открыто выражал отвращение к капитализму, к буржуазной культуре и пропагандировал марксизм. При этом некоторые клартисты считали тогда, что марксизм и фрейдизм дополняют друг друга, что первый борется за социалистическое переустройство общества, а второй — за преодоление буржуазных пороков личности. В конце 20-х — начале 30-х годов, с обострением социальных противоречий капиталистической системы (мировой экономический кризис, угроза фашизма, радикализация рабочего движения), фрейдистские выступления в журнале почти совсем прекращаются. Этому способствовала и напечатанная в 1927 году в журнале и опубликованная также в антологии статья Ханнеса Скёльда «Новейшая мистическая религия», где берется под защиту разум и подчеркивается роль народных масс в истории.

Составители антологии поступили правильно, отобрав для ее второго раздела (1924—1932) стихотворения и статьи, связанные с магистральной темой тех лет — темой борьбы за улучшение жизни народа. Стихи и статьи этого раздела взволнованно говорят о тяжком и безрадостном труде рабочих и крестьян, о бедствиях и унижениях безработных, о большой человеческой солидарности трудящихся и их революционной воле, которая подкреплена верой в светлое будущее. Сильное впечатление оставляют третий и четвертый раздел антологии (1933—1945), в которых собраны в основном статьи, направленные против идеологии и политики немецкого фашизма и его шведских сторонников. Следует отметить, что авторы этих статей — Стеллан Арвидсон, Аксель Стриндберг, Гуннар Инге, Стиг Альгрен — глубоко анализируют избранные ими проблемы. Это относится также и к статьям Лейфа Бьёрка и Арнольда Юнгдала, пропагандировавшим в годы разгула фашистского мракобесия учение Карла Маркса.

Пятый раздел антологии охватывает послевоенный период вплоть до 1964 года и говорит о самых острых проблемах наших дней. Большинство включенных в него стихотворений выражает тревогу за судьбы человечества в век атомной угрозы («Солнечная буря» и «В этом городе» Стига Карл-

сона, «Терроризированная лирика» Ингемара Андерссона, «Мольба к Посейдону» Карла Венберга и другие). Верой в победу жизни над смертью проникнуты стихи Артура Лундквиста «Люди надежды», Акселя Лиффнера «Посмотри через границы». В некоторых стихотворениях («Но пасаран — снова!» Стига Дагермана) высказывается горячее сочувствие угнетенным народам, жертвам фашизма, расизма, империализма. Важным вкладом в борьбу за мир во всем мире являются статьи «Откровение журнала «Кольерс» Карла Венберга, «Голиаф американизма», «Разгневанный пожилой человек» Артура Лундквиста и некоторые другие, направленные против американской и шведской реакции. Немалый интерес представляют ответы на анкету «Кларте» о так называемой «третьей позиции», которую занимает в международных делах Швеция. Все они подчеркивают необходимость продвижения страны к социализму, усиления контактов с освобождающимися народами Азии и Африки и борьбы за всеобщее разоружение.

Не со всеми утверждениями этих да и других авторов журнала (в частности, относительно внешней и внутренней политики Советского Союза) можно согласиться, не все статьи и стихотворения, вошедшие в антологию, имеют актуальное значение, слишком мало, как нам кажется, включено в «Красные перья» статей по вопросам литературы и искусства, но в целом книга удалась. Она говорит о силе и устойчивости прогрессивных традиций в Швеции. Выход в свет этой содержательной антологии лишний раз доказывает, что история передовой общественной мысли может успешно служить решению насущных задач современности.

Г. ШАТКОВ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«РАССКАЗЫ БИЛЛИ БОРКЕРА»

В Сиднее вышел сборник коротких новелл известного австралийского писателя Фрэнка Харди — «Рассказы Билли Боркера». Билли Боркер был вначале задуман писателем как персонаж сатирических телевизионных передач. Гуманизм, сердечность, глубокое понимание автором психологии австралийца-труженика, ироническое отношение ко многим условностям, свойственным австралийской буржуазии, помогли ему сделать непритязательный рассказ Билли Боркера (а рассказывает он о жизни современной Австралии) занимательным, остроумным, подчас остросатирическим. Ввиду огромной популярности этих телепередач издательство «Нью уорлд буксэллерс» решило выпустить в виде сборника все написанные Фрэнком Харди «Рассказы Билли Боркера».

Вот названия некоторых рассказов: «Единственная в своем роде ярмарка-лотерея, когда-либо состоявшаяся в Австралии», «Пианистами не рождаются, их делают», «Как был решен спор между Сиднеем и Мельбурном», «Как бы я существовал»... Книга иллюстрирована австралийским графиком-карикатуристом Вэйном.

Клемент Земмлер, один из руководителей телевизионной компании Эй-би-си (Австралийской радиовещательной корпорации), высоко оценивший телепередачи из серии «Рассказы Билли Боркера», в свое время назвал эти произведения Фрэнка Харди «одним из немногих, действительно талантливых вкладов в австралийское телевидение». Ныне, по словам рецензента еженедельника «Трибюн», эта серия превратилась в не менее ценный вклад в современную австралийскую литературу.

Один из рисунков Вэйна к «Рассказам Билли Боркера» Фрэнка Харди.

(Еженедельник «Трибюн»)

АНГЛИЯ

ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ ВО ВЬЕТНАМЕ!

Как сообщает корреспондент газеты «Дейли уоркер», восемь видных деятелей культуры Англии: директор Национального Шекспировского театра Питер Холл и его заместитель режиссер Питер Брук, художники Бен Никольсон и Стенли Хейтер, скульптор Барбара Хепуорт, писатель Нэнси Митфорд, композитор Майкл Типпетт и драматург Роберт Болт — присоединили свои голоса к заявлению 46 деятелей культуры Европы, которое содержит требование прекратить военные действия во Вьетнаме.

Заявление подписали деятели культуры Италии — кинорежиссер Микеланджело Антониони, писатель Альберто Моравиа; Франции — писатели Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и Марсель Дюамель, а также деятели культуры скандинавских стран, Швейцарии и Западной Германии.

В этом заявлении они обратились к своим правительствам с требованием принять все необходимые меры к тому, чтобы были начаты переговоры на основе Женевских соглашений, которые способствовали бы прекращению бомбардировок Демократической Республики Вьетнам и признанию Национального фронта

освобождения Южного Вьетнама в качестве равноправной стороны для переговоров.

О ГРЭХЕМЕ ГРИНЕ И О ЕГО «КОМЕДИАНТАХ»

Как уже сообщалось, в английском издательстве Бодли Хед вышел новый роман Грэхема Грина «Комедианты», действие которого происходит на острове Гаити. Обозреватели газет и журналов, литературные критики широко откликнулись на роман. Журнал «Лейбор мансли» опубликовал рецензию Джеймса Олдриджа на книгу Грина, в которой, между прочим, сказано: «В «Комедиантах» Грэхем Грин занимается теми же мучительными моральными проблемами, которые всегда привлекали его внимание. Дело только в том, что с каждой новой книгой писатель все больше приближается к истине, которую ни один другой писатель, пишущий на английском языке (за исключением, быть может, Силлитоу), даже не осознает — не то чтобы писать о ней...

По-моему, Грин продолжает оставаться единственным из всех английских писателей, который на самом высоком уровне и с величайшим профессиональным мастерством старается выразить в своих произведениях наше время, преследуя при этом какую-то серьезную цель. Уже за одно это ему можно многое простить. Его «Комедианты» оставляют далеко позади все написанное в последнее время, и мы должны быть благодарны за то, что нашелся человек, пишущий на нашем родном языке, который знает, что именно поставлено на карту, и находит в себе мужество откровенно писать об этом».

Положительный отклик на роман поместил еженедельник «Обзёрвер», вслед за ним с хвалебным отзывом на книгу Грина выступила газета «Дейли телеграф». Обозреватель еженедельника «Санди таймс» считает Грина «одним из немногих современных авторов, которые постоянно повышают свое писательское мастерство». Критик «Ивнинг стандард» пишет: «Комедианты» — это роман, созданный мастером, находящимся в расцвете творческих сил. Нам остается лишь принести ему нашу благодарность и высказать нашу похвалу».

Корреспондент газеты «Таймс» считает, что в «Комедиантах» Грину удалось «сочетать все лучшее, чем обладают серьезный роман и развлекательная повесть. Наш человек в Гаване проник... в суть дела».

Однако в США, где он вышел одновременно, роман Грина был довольно холодно встречен определенной частью американской критики. Литературный обозреватель еженедельника «Ньюсуик» обвинил Грина в антиамериканизме, в сгущении красок (быть может, американец Смит, действующий в романе, напомнил этим критикам «тихого американца»?..).

Тем не менее многие критики сходятся на том, что «Комедианты» Грина — без сомнения, важное событие в литературной жизни Англии. Роман будет опубликован в ближайших номерах журнала «Иностранная литература».

БОЛГАРИЯ

«ИЗ МИЛЛИОНОВ ТОНН РУДЫ...»

Корреспондент еженедельника «Литературен фронт» Михаил Шакле посетил старейшую болгарскую поэтессу Дору Габе, которая вот уже 60 лет занимается литературной деятельностью.

Дора Габе говорит, что в настоящее время готовит сборник рассказов о жизни Парашкевы, матери Георгия Димитрова. Он предназначен для детей и юношества и называется «Мама Парашкева».

— Пишу также стихи для сборника, который назвала «Молчание», — продолжает поэтесса.— Готовлю том избранной лирики. Написала сказку для детей с элементами славянской мифологии, читала ее по телевидению. Сейчас она выходит отдельным изданием. Составляю, кроме того, антологию современной польской поэзии, в которую войдут произведения современных поэтов, преимущественно молодых. Над переводами сейчас трудятся известные болгарские поэты: Елисавета Багряна, Блага Димитрова, Петр Караангов, Пырван Стефанов и другие.

— Какие проблемы жизни волнуют вас больше всего? — спросил Шакле.

— Сама жизнь,—ответила Дора Габе.— Тот факт, что я живу и ощущаю жизнь вокруг себя. Считаю, что одна из важнейших задач людей всего мира сегодня — объединиться против войны, которая испепелила бы все добытое талантом, трудом, жертвами, но и лишила бы смысла жизнь на Земле. Чем больше я радуюсь всему талантливому, тому, что рождает наша земля, наша сегодняшняя действительность, тем больше я беспокоюсь за его будущее...

Далее Дора Габе рассказала о творческих исканиях, о бурных спорах в литературе...

— Из миллионов тонн руды рождается чистый металл! — сказала поэтесса.— У нас есть таланты, которые буквально растут на глазах! И самое ценное то, что каждый из этих молодых поэтов и беллетристов, пришедших в нашу литературу, отличается от других, что он — оригинальная личность.

В ПОИСКАХ БОЛЬШОЙ ТЕМЫ

Редакция журнала «Пламк» провела творческую встречу писателей и работников кинематографии. Тема ее — нынешнее состояние болгарского кино.

Заместитель главного редактора «Пламк» Божидар Божилов свое выступление посвятил проблеме киносценариев. В их создании участвует пока что мало талантливых и опытных писателей, отметил он.

О значении современности в кино говорил Альберт Коен. Следует открыть дорогу на экран крупным про-

Кадр из нового болгарского фильма «Встреча в море» режиссера Дучо Мундрова, поставленного по повести Эмила Манова «Бегство Галатеи». На снимке: исполнители главных ролей Илка Зафирова (Мария) и Петр Слабаков (Филипп).

(Журнал «Болгарские фильмы»)

изведениям современных болгарских писателей — таково общее мнение участников встречи. «Фильм «Похититель персиков», например, своим успехом обязан высокому художественному уровню литературного первоисточника»,— сказал Серафим Северняк. Экранизации ждут такие известные произведения, как «Танго» Георгия Караславова, «Железный светильник» Димитра Талева, «Двое в новом городе» Камена Калчева, «Золотое руно» Андрея Гуляшки, «Мертвое волнение» Ивайла Петрова и «В поле» Павла Вежинова,— отметили выступавшие. Круг авторов сценариев должен быть расширен. Повышенные требования участники совещания предъявили и кинокритикам.

В заключение обсуждения Божидар Божилов выразил уверенность в том, что «большая тема займет должное место в болгарском киноискусстве».

БРАЗИЛИЯ

БРОШЕНЫ В ТЮРЬМЫ

Большая группа демократически мыслящих бразильских деятелей культуры — работников кино, театра и журналистов — была арестована полицией Кастелло Бранко во время демонстрации в защиту демократических прав, состоявшейся недавно в Рио-де-Жанейро. Среди арестованных известные режиссеры театра и кино: Глаубер Рош, Мариу Карнейро, Ди Андради, Флавиу Ранжел.

Эти аресты вызвали протест бразильской общественности.

ВЕНГРИЯ

ГАБОР ГАРАИ: «НЕНАВИЖУ ТРЮКИ И ФАЛЬШЬ В ПОЭЗИИ»

«Быть поэтом, по-моему, не профессия, а состояние. Никогда, ни в одном документе я не присваивал себе этого звания». Это сказал Габор Гараи, один из популярнейших поэтов Венгрии, в интервью корреспонденту еженедельника «Элет эш иродалом».

Он дебютировал в 1956 году, когда вышел первый сборник его стихов, а недавно Гараи подарил читателям свою шестую книгу. Ему дважды присуждали литературную премию Аттилы Йожефа, а в 1965 году он стал лауреатом премии Кошута.

«В году я «бываю» поэтом 20—25 дней,— говорит Габор Гараи,— когда собственно пишу стихи. Правда, и в остальное время случаются счастливые минуты, когда я словно впервые вижу мир. Я вхожу в этот мир — и рождаются стихи. Я ненавижу трюки и фальшь в поэзии. Играть можно только рифмой и красками, но словами, бомбами, человеческими жизнями — нельзя. Настоящий стих — это чистая речь».

Гараи отрицает и называет смешным деление поэтов на «стихийных» и «интеллектуальных». Подлинные стихи, по его мнению, рождаются только в результате одновременного эмоционального подъема и усилия мысли.

Что же касается его популярности, то Габор Гараи сказал корреспонденту: «Мне хочется верить, что это не мода. Это, пожалуй, объясняется тем, что все пережитое и выраженное мною, очевидно, что-то значит и в жизни других людей».

Как сообщает корреспондент «Элет эш иродалом», в ближайшее время выйдет в свет сборник критических статей Габора Гараи «Средство и сознание».

ГДР

ПРЕМЬЕРА ПЬЕСЫ ГЕЛЬМУТА САКОВСКОГО

Пьеса лауреата Национальной премии Гельмута Саковского «Последнее лето в Хейдкау» недавно поставлена театром имени Фридриха Вольфа в Нёйстрелице. В ней драматург обращается к теме новой жизни в деревне.

...Роберт Меллин, по призыву партии ставший председателем отстающего сельскохозяйственного кооператива в Хейдкау, прилагает все силы к тому, чтобы наладить хозяйство. На свой страх и риск он затевает большое строительство. Сложной и упорной была борьба с косностью, с пережитками старого в людях. Был момент, когда Меллину казалось, что все напрасно. Ему хотелось уже покинуть Хейдкау... И все же он остался, несмотря на тяжелую семейную драму, остался с людьми, которые поверили ему и постепенно стали на его сторону.

«Сила творчества Гельмута Саковского состоит в том, что он умеет показать новые взаимоотношения между людьми»,— писал обозреватель еженедельника «Зоннтаг». Театральные критики называют эту пьесу «необычной и очень эмоциональной».

По сообщениям печати, премьера пьесы прошла с большим успехом.

В РЯДУ ЛУЧШИХ

Литературная критика ГДР единодушно приветствует нового молодого писателя Юргена Бринкмана в связи с выходом в свет его первого романа «Франк Меллентин».

Бринкману тридцать один год. После окончания школы он переменил несколько профессий — был подсобным рабочим на заводах, сварщиком, телефонистом. Окончив курсы библиотечного дела, начал работать в Лейпциге, где в настоящее время заведует народной библиотекой.

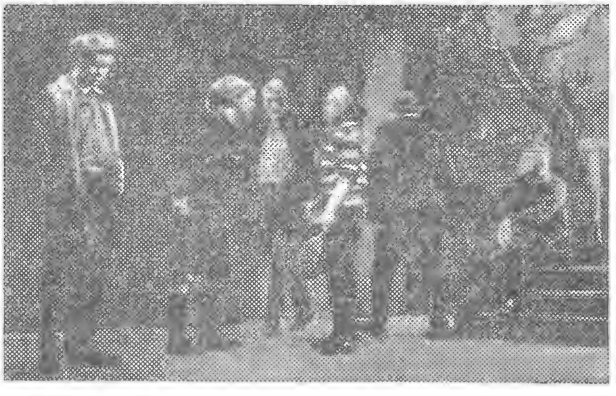
«Своей книге автор дал программный подзаголовок: «Роман о прозрении»,— пишет рецензент «Литератур-65», приложения к газете «Нейес Дейчланд».— Его герой старше героев книг Дитера Нолля и Макса Вальтера Шульца. Но в отличие от этих двух авторов, хотя действие его романа происходит в те же годы — 1945-1946,— Бринкмана меньше интересует прошлое героя. Он упоминает о том, что Франк Меллентин был лейтенантом гитлеровской армии и одно время даже служил в «отборных» парашютно-десантных войсках. Бринкман сосредоточивает внимание на том, с чем пришел Меллентин к концу войны и что он намерен делать в дальнейшем. А намерен он прежде всего выжить. Что станет с Германией — ему безразлично. Правда о Майданеке и Бухенвальде, которую он узнает, вынуждает его лишь еще больше замкнуться в своем равнодушии к окружающему миру. Познакомившись в тюрингском госпитале, незадолго до капитуляции «рейха», с медсестрой Иоганной Дёмер, Меллентин увозит ее к себе на родину, в Западную Германию. Его отец, инженер и предприниматель, встречает сына несравненно сердечнее, чем фрау Хольт — Вернера в романе Д. Нолля. Убедившись, что американские освободители вовсю развернули коммерцию с нацистами, в частности, с его отцом, Франк решает «жить, как все». Он ищет забвения в живописи, пьянстве и приключениях...»

По мнению рецензента еженедельника «Зоннтаг», автору удалось особенно ярко показать жизнь Западной Германии тех лет.

«...После разрыва с Меллентином,— продолжает рецензент «Литератур-65»,— Иоганна встречает настоящего друга — американского лейтенанта Томаса Хорна. Честный человек и убежденный антифашист, Хорн не может мириться с безнравственностью и продажностью своих соотечественников, погрязших в спекуляции и помогающих нацистам снова стать на ноги, и вступает в конфликт с начальством. Американские военные законы жестоки — совместная жизнь Иоганны и Томаса становится невозможной. Меллентин, которого глубоко тронула трагическая судьба Иоганны, начинает наконец прозревать...»

К достоинствам романа рецензент «Зоннтаг» относит то, что мировоззрение действующих лиц проявляется не в идеологических спорах, а в поступках. «Франк Меллентин», по его словам, еще раз показывает, какими различными могут и должны быть стиль и приемы литературы социалистического реализма.

Сцена из пьесы Гельмута Саковского «Последнее лето в Хейдкау» в театре г. Виттенберга.
(Журнал «Театер дер цейт»)



«Роман Бринкмана,— заключает рецензент,— занял место в ряду лучших книг о национальных проблемах Германии».

ФРГ

«С БОГОМ И ФАШИСТАМИ»

Так называется выпущенная штутгартским издательством «Гюнтер-ферлаг» документальная книга западногерманского публициста Карлгейнца Дешнера, разоблачающая союз Ватикана с Муссолини, Франко, Гитлером и хорватским фашистом Павеличем.

Книга состоит из пяти глав: «Ватикан и итальянский фашизм», «Ватикан и гражданская война в Испании», «Ватикан и гитлеровская Германия», «Ватикан и вторая мировая война» и «Ватикан и зверства в Хорватии».

«Наиболее подробно автор на многочисленных примерах исследует связи католической церкви с Гитлером,— пишет рецензент еженедельника «Ди андере цейтунг».— В 1933 г. все немецкие епископы и ведущие теоретики католицизма призывали к сотрудничеству с Гитлером. Ватикан рассматривал нацистскую Германию как «меньшее зло» в борьбе с «большим злом» — коммунизмом. Вполне закономерным было и то, что католическая церковь благословила развязанную Гитлером войну...»

Одной из самых мрачных глав в новейшей истории Ватикана, продолжает рецензент, является создание в 1941 г. так называемого «независимого государства Хорватии». Массовые убийства совершались бандитами Павелича с ведома и благословения ватиканских покровителей...

«Книга Дешнера, насыщенная огромным документальным материалом, которого хватило бы на несколько трагедий типа «Наместника» Хохгута,— пишет рецензент в заключение,— заслуживает внимания самой широкой читательской аудитории».

«ВОСКРЕШЕНИЕ» ПО-ЗАПАДНОГЕРМАНСКИ

В одной из галерей Мюнхена недавно состоялась выставка «работ» Пауля Маттиаса Падуа.

Личность его не совсем «заурядна»: это бывший придворный живописец Гитлера. Случалось, ему позировал и Муссолини.

После разгрома фашистской Германии Падуа в числе других был судим за свои нацистские «художества». Однако прошло 20 лет, и лакей Гитлера счел, что настало время напомнить о себе, и устроил упомянутую уже выставку картин под названием... «Бойкотировавшиеся и другие картины».

«Я требую равных прав, положенных при демократии,— бодро заявил этот воскресший нацист.— Ведь я плачу налоги, как и все...»

ГРЕЦИЯ

«МАКРОНИСОС»

За последние годы в Греции вышло немало книг хроникально - документального характера, рассказывающих о национальном Сопротивлении, о годах страшного послевоенного террора, о жестоких испытаниях, через которые прошел греческий народ. Недавно список этих изданий пополнился еще одной книгой — «Макронисос» Ф. Геладопулоса, человека, который прошел сквозь все круги ада, созданного на маленьком островке греческими неофашистами. Автор книги — простой рабочий — не ставил своей целью нарисовать широкое эпическое полотно; он не делает далеко идущих обобщений и ограничивается лишь собственными наблюдениями и переживаниями. Он не встает в позу героя, не боится назвать страх страхом, отступление отступлением. Но даже тогда, когда он пишет о людях, не выдержавших зверских пыток, он подчеркивает, что и в их душах огонь Сопротивления не угас, что и для них борьба еще не окончена. Тон повествования — естественный и очень непосредственный — убеждает, по словам рецензента газеты «Авги», в предельной правдивости рассказчика.

Обложка книги «Макронисос» Ф. Геладопулоса.

ПЬЕСА О БОРЬБЕ ЗА ДЕМОКРАТИЮ

— Замысел пьесы о «событиях 3 сентября» (в сентябре 1843 года восставший народ Греции потребовал от короля Оттона, по происхождению баварского принца, введения конституции. Требование народа было удовлетворено.— *Прим. редакции)* возник у меня давно,— рассказал в интервью корреспонденту газеты «Димократики аллаги» известный драматург Яковос Кампанеллис.— События минувшего лета послужили решающим толчком для его осуществления. Я воочию увидел героев своей пьесы — воплощение мужества и доблести, вечно живых в нашем народе.

Материалы для своей пьесы я черпал из обеих эпох: в равной степени меня интересовали документы столетней давности и газеты последних месяцев. Особое внимание привлекли некоторые детали, характеризующие обстановку в период «событий 3 сентября»: например, тот факт, что на стенах дворца народ писал слово «конституция»; что греческий король Оттон го-

ворил: «Я нисколько не доверяю вам, грекам»; что в стенах дворца важнейшие вопросы, связанные с судьбами Греции, обсуждались на немецком языке; что самыми близкими советниками двора были послы иностранных государств; что газеты того времени непрерывно подвергались судебным преследованиям, а их редакторы то и дело оказывались в тюрьме, и т. д.

Главным героем пьесы будет народ, время действия — сутки, в течение которых было выдвинуто и удовлетворено требование о введении конституции, место действия — площадь, которая в тот день была названа площадью Конституции...

Яковос Кампанеллис уже заканчивает работу над пьесой, и в этом сезоне она будет поставлена на афинской сцене. По мнению корреспондента газеты «Димократики аллаги», «охотников поставить эту чрезвычайно актуальную историческую пьесу будет достаточно».

ДАНИЯ

МЕДАЛЬ ХОЛЬБЕРГА ПРИСУЖДЕНА ХАНСУ ШЕРФИГУ

Медаль Людвига Хольберга — известного датского поэта, сатирика, драматурга, создателя национального театра, ученого, мыслителя, учрежденная в 1934 г. и с тех пор ежегодно в день рождения Хольберга вручаемая автору, «который отдельным произведением или всей писательской деятельностью доказал свою связь с родоначальником датской литературы», — присуждена в 1965 году крупнейшему датскому писателю-сатирику Хансу Шерфигу, сообщает корреспондент газеты «Ланд ог фольк».

На торжественной церемонии председатель Союза писателей Дании Йорген Вибе сказал: «Мы вручаем медаль Хольберга Хансу Шерфигу — большому датскому писателю-сатирику... Хольберг и Шерфиг имеют много общего. Оба они — мастера острой сатиры, обладающие очень важным даром — способностью заставить людей смеяться». Говоря далее об одной из последних книг Шерфига — романе «Фрюденхольм», Йорген Вибе назвал его монументальным произведением, воспроизводящим с документальной точностью недавнее историческое прошлое страны — время оккупации Дании немецкими захватчиками.

«Уже одно это произведение,— заявил председатель Союза писателей Дании,— дает право присудить Шерфигу медаль Хольберга»

В ответной речи Ханс Шерфиг поблагодарил за присуждение медали и сказал: «Я искренне рад оказанной мне чести. ...Я люблю, как и отец нашей литературы Хольберг, разум и свет. Но сейчас я хочу говорить о том, чем я занимаюсь. Литературные критики на протяжении ряда лет утверждали, будто дела мои идут все хуже и хуже. Когда же вышел роман «Фрюденхольм», газеты «Политикен» и «Берлингске тиденде» написали, что я окончательно скатился в пропасть, «достиг дна». С тех пор я писал книги «ниже уровня дна», — пошутил Шерфиг, вызвав этим смех среди присутствующих.

В заключение Шерфиг сказал, что он утешается нестабильностью оценок нынешнего литературоведения и что с большой радостью будет хранить медаль Хольберга.

ДРВ

«ЮНАЯ САО» НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

...Совсем маленькой девочкой Сао потеряла родителей. Когда она подросла, ее обвинили в колдовстве, чтобы вызвать к ней ненависть односельчан и тем самым принудить к вступлению в «танцевальную группу», потешавшую французских солдат.

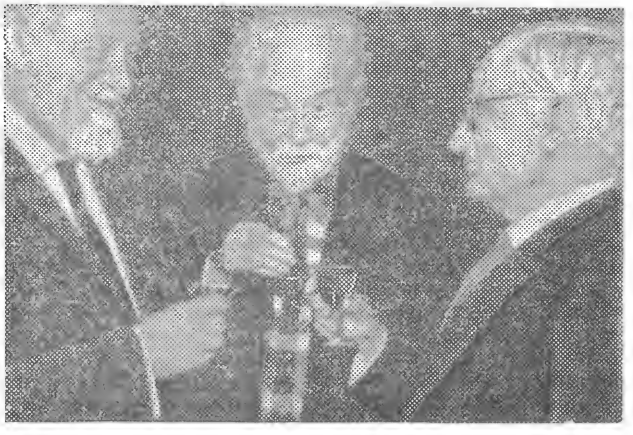
В этот тяжелый для Сао момент на ее пути встретился человек, который сумел пробудить в ее сердце чувство уверенности в своих силах, зажечь в нем мечту о свободе. Этим человеком был политзаключенный по имени Ха.

О судьбе Сао и Ха, неразрывно связанной с борьбой за свободу в Южном Вьетнаме, рассказывает новая вьетнамская опера «Юная Сао».

Судьба Ха перекликается с судьбой автора музыки и либретто оперы До Нхуана, который многие годы провел в тюрьме с особо строгим режимом.

Председатель Союза писателей Дании Йорген Вибе и поэт Отто Гельстед поздравляют Ханса Шерфига (справа) с присуждением ему медали Хольберга.

(Газета «Ланд ог фольк»)



Вьетнамская печать тепло отзывается о новой опере, поставленной в Ханое, оценивая ее как важное событие в культурной жизни страны.

ИНДИЯ

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ШЕКСПИРА

В Калькутте создано Общество друзей Шекспира, в которое вошли известные писатели, переводчики, режиссеры и актеры. Председатель Общества, писатель и переводчик Вигьям Чоттоподхайя, сказал в интервью корреспонденту газеты «Хиндустан»: «Целью нашего Общества является, в первую очередь, пропаганда творчества великого английского драматурга. Мы будем переводить его произведения и способствовать их постановке на сценах калькуттских театров. Намечено поставить комедию «Сон в летнюю ночь», а также трагедию «Ромео и Джульетта». Возможно, один из этих спектаклей будет экранизирован».

«Этим, однако, не ограничится деятельность Общества,— продолжал В. Чоттоподхайя. — Популяризацией Шекспира лишь начнется ознакомление массового индийского зрителя с шедеврами европейской драматургии. Кроме того, мы намечаем перевести и опубликовать на языке бенгали драмы Ибсена, О'Кейси, Чехова, Горького и других великих писателей. Мы считаем, что подобная деятельность поможет индийцам оценить достижения мировой культуры, а также лучше понять, какой вклад сделан в нее индийским народом».

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ

В последние годы в Индии наблюдается весьма интенсивный процесс перемещения центра кинопромышленности. Хотя Бомбей попрежнему остается «индийским Голливудом», кинотеатры страны показывают все больше фильмов, созданных на юге Индии. Особенно быстро растет производство фильмов на языке малаялам (штаты Майсур и Керала).

Премьер-министр Индии госпожа Индира Ганди много внимания уделяет развитию литературы и искусства в стране. На снимке: госпожа Ганди вручает литературную премию известному индийскому поэту Али Сардару Джафри.

«Если еще недавно выпуск не превышал здесь 12 картин в год,— пишет в этой связи в журнале «Линк» известный критик Рамджи,— то в прошлом году было снято более 40 фильмов, и производство продолжает расти». Рамджи отмечает, что в связи с этим бумом на экранах появляется, к сожалению, много низкокачественной, скороспелой продукции. Тем не менее ряд выпущенных недавно в прокат фильмов заслуживает самого пристального внимания. В качестве примера Рамджи указывает на новый фильм режиссера и писателя П. Н. Менона «Рози».

«Это трогательная и очень правдивая картина из жизни сельскохозяйственных тружеников Кералы»,— продолжает критик. Главный герой фильма, батрак Тома, вынужден скрываться от полиции, так как его обвиняют в убийстве. Он знакомится с дочерью рыбака — Рози; молодые люди женятся, но не могут жить вместе: Тома прячется в горах, Рози, готовящаяся стать матерью, живет у друзей. Во время родов молодая женщина умирает, а ее муж, устав от одиночества и скитаний, лишившись любимого человека, отдается в руки полиции.

«Если отбросить в сторону

некоторые сентиментальные моменты,— отмечает Рамджи,— где авторам картины изменяет чувство меры, то фильм можно с полным правом отнести к числу лучших произведений индийского реалистического кинематографа. Он свободен от надуманных трагикомических ситуаций, которыми зачастую перегружены наши фильмы. Его сюжет не служит, как иногда случается, фоном для демонстрации утомительно длинных танцев или песен». Главное, что привлекает в фильме, продолжает критик, это жизненная правда. Показав, в общем, бесхитростную историю деревенской любви, создатели «Рози» как бы говорят зрителям: смотрите, как живут на юге Индии, как борются за свое счастье, и вы поймете, как трудно быть самим собой там, где попирается основное, неотъемлемое право человека — право распоряжаться своей судьбой».

«Фильм не оставит равнодушным никого,— пишет корреспондент газеты «Пэтриот»,— ибо он требует того же, за что сейчас борются миллионные массы индийцев,— социальной справедливости».

ИРАК

«КНИГА НИЩЕТЫ И РЕВОЛЮЦИИ»

Так называется новый сборник стихов известного иракского поэта Абд аль-Ваххаба аль-Баяти, живущего в настоящее время в Каире. Журнал «Аль-Мусавар» напечатал рецензию египетского критика аль-Алима на этот сборник. Критик пишет, что поэзия аль-Баяти печальна, однако эта печаль не имеет ничего общего с пессимизмом; это — печаль борца, страстно желающего видеть свою родину и весь мир обновленными и счастливыми. Стихи нового сборника, по словам аль-Алима, отличаются от прежних произведений поэта большей глубиной содержания, хоть внешне они и менее эффектны. На творчестве аль-Баяти последнего времени плодотворно сказывается влияние классического наследия арабов.

ИСПАНИЯ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРОТЕСТУЕТ

Недавно 66 видных представителей испанской интеллигенции заявили о своей солидарности с пятью профессорами, изгнанными из университетов властями за поддержку студенческих выступлений. В специальной петиции подчеркивается, что насильственная отставка этих профессоров наносит вред не только развитию науки и культуры в Испании, но и национальному самосознанию испанцев. Среди подписавшихся под документом — такие известные поэты, писатели, драматурги и режиссеры, как Игнасио Альдекоа, Хуан Антонио Бардем, Хосе Луис Кано, Хосе Мариа Кастельет, Камило Хосе Села, Хосе Агустин Гойтисоло, Блас де Отеро, Дионисио Ридруэхо, Альфонсо Састре, и другие.

ИТАЛИЯ

В КРАЮ ГИГАНТСКИХ КАТАСТРОФ

Полезине — обширный сельскохозяйственный район в дельте реки По, который оказывается в центре внимания итальянской и мировой печати всякий раз, когда на него обрушивается страшная катастрофа — гигантское наводнение; после очередного наводнения все забывают об этом нищем и отсталом уголке Италии, где население живет под постоянной угрозой стихийного бедствия. Жизни Полезине и его людей, их лишениям, проблемам, стоящим перед ними, посвящен роман Джузеппе Марцоллы «День в Ка'Веньере».

История Полезине, подлинные события, перипетии политической и социальной борьбы тесно переплетены с судьбами героев — Анджело, Ливио, Бандоны. Анджело мечтает о «своем» клочке земли, надеется вырваться из черной нужды, борясь с жизненными невзгодами в одиночку; хотя он смутно и понимает, что «надо жить вместе с людьми», отсталость взглядов, индивидуализм приводят его к тому, что он становится штрейкбрехером. Полная противоположность ему — Ливио, профсоюзный активист, сознательный борец за права полезиненских батраков, подчиняющий всю свою жизнь интересам коллектива. В центре этого со-

Итальянское телевидение показало недавно новый спектакль, посвященный Данте Алигьери (автор и режиссер-постановщик Готтафави). В главных ролях заняты артисты Джорджо Альбертацци (Данте) и Лоретта Годжи (Беатриче), изображенные на воспроизводимых снимках.

(Газета «Паэзе-сера»)

циального романа — забастовка батраков в одном из сельскохозяйственных кооперативов в дельте По, в ходе которой забастовщики сталкиваются со штрейкбрехерами, привезенными из других районов страны. Автор рисует поистине трагические условия жизни полезиненских крестьян и раскрывает демагогический характер политики, проводимой здесь правящей христианско-демократической партией.

Критик газеты «Унита» Армандо Ла Торре, указывая в большой рецензии на отдельные художественные просчеты автора, дает в целом положительную оценку этому роману — одной из немногих книг о северо-итальянской деревне.

КРЕСТЬЯНЕ ПРИСУЖДАЮТ ПРЕМИЮ ГРАВИНЫ

В общине Роджано-Гравина, в южноитальянской провинции Козенца — на родине писателя, теоретика литературы, юриста и публициста-антиклерикала Джана Гравины, в связи с трехсотлетием со дня его рождения учреждена литературная премия его имени. В составе жюри — Карло Леви, Жан-Поль Сартр, Ренато Гуттузо, Рафаэль Альберти, Данило Дольчи. Функции этого жюри весьма необычны: согласно выработанной им новой процедуре присуждения премий, члены жюри лишь отбирают произведения на конкурс (о попытках ввести такую процедуру «Иностранная литература» сообщила в № 9 за 1964 год). Выбор жюри пал на три произведения: «Крестьяне Юга» Рокко Скотелларо, «Передышка» Паоло Леви и сборник стихов Умберто Сабы. Какому из них присудить премию, решать будут жители селения — среди семи с лишним тысяч земляков Гравины вместе с анкетами распространено для ознакомления 400 экземпляров этих книг. На премию, присужденную книге-победительнице и составляющую сумму в миллион лир, будет приобретено несколько тысяч ее экземпляров, которые бесплатно раздадут жителям.

О значении премии Гравины Карло Леви пишет:

«Эти вчерашние неграмотные сегодня проявляют воодушевление, как всякий, кто впервые приобщается к огромным духовным ценностям человечества... Своеобразие этого мероприятия состоит именно в том, что с его помощью мы пытаемся демократическим путем популяризировать литературу, а также в том, что эта премия не имеет ничего общего с обычно снобистскими и не представляющими никакого интереса премиями. Помимо того, сама система голосования, в ходе которого жители должны высказываться за ту или иную книгу, является стимулом к знакомству с литературой, толчком к чтению, она пробудит и оживит интерес народа к книге».

КАНАДА

ДЖО УОЛЛЕС БЕСЕДУЕТ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Почти в каждом номере газеты «Кенэдиен трибюн» печатаются статьи, написанные популярным в Канаде и за ее пределами рабочим поэтом Джо Уоллесом.

В простой, непринужденной форме беседует он с читателями о социализме, о культурных достижениях в странах социалистического лагеря, о «подвигах» американских агрессоров во Вьетнаме, о политике крупных монополий и борьбе трудящихся за свои права.

Недавно прогрессивная общественность Канады отметила 75-летие Джо Уоллеса.

В приветствии поэту руководитель канадских коммунистов Тим Бак отдал должное творческому вкладу поэта в национальную литературу и в борьбу трудящихся Канады за свои права.

МОЗАМБИК

ПОЗИЦИЯ ХУДОЖНИКА

Журнал «Африк» опубликовал интервью с мозамбикским поэтом Вирджилиу ди Лемушем. Португалец по происхождению, уроженец столицы Мозамбика Лоренцо-Маркес, Вирджилиу ди Лемуш прекрасно знает Мозамбик и его коренное население. В 1960 г. он опубликовал сборник «Поэмы сегодняшнего дня», в котором смело разоблачал злоупотребления колониальных властей в стране. Эти стихи вызвали интерес африканцев. Колониальные власти возбудили против поэта судебное дело, он был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения. В 1964 г., преследуемый политической полицией, ди Лемуш бежал из Лоренцо-Маркеса; сейчас он работает в Париже.

В интервью корреспонденту журнала «Африк» поэт рассказал о литературных успехах писателей Мозамбика, таких как Жозе Граверинья, Эжению Усбоа, Руи Балтазар, Асенсиу ди Фрейташ, которых прежде всего интересуют нужды африканского населения, волнуют проблемы антиколониальной борьбы.

«В исторический момент, переживаемый ныне африканскими народами, борющимися за независимость, против неоколониализма, художник должен занять твердую позицию,— заявил Вирджилиу ди Лемуш.— Его работа должна сливаться с мыслями и действиями масс, в противном случае она будет бессодержательной».

ОАР

АЛЬ-ХАМИСИ В РОЛИ КИНОРЕЖИССЕРА

Египетский писатель Абдар-Рахман аль-Хамиси известен советским читателям главным образом как автор переведенных на русский язык ярких рассказов, посвященных жизни и борьбе простых людей. Но аль-Хамиси не только новеллист, он также крупный поэт и драматург, критик и очеркист, публицист и театральный режиссер. Недавно аль-Хамиси выступил еще в одном амплуа — кинорежиссера и киносценариста. Он поставил по собственному сце-

нарию фильм «Возмездие», повествующий о национально-освободительной борьбе египтян накануне революции 1919 года.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Комиссия в составе видных египетских музыковедов и знатоков старинной восточной музыки приступила к составлению энциклопедии, куда войдут записи произведений восточной музыки и песен различных жанров, созданных за последние сто лет. Энциклопедия будет состоять из 32 томов. В ней будет воссоздана история каждого музыкального произведения начиная с 1850 г., названы его авторы и исполнители.

ПОЛЬША

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИНКЕ

На страницах еженедельника «Политика» напечатаны воспоминания об известном польском художнике Брониславе Войцехе Линке, автор которых — его жена Анна Линке. (О творчестве Линке см. «Иностранную литературу» № 10, 1959 и № 6, 1961.)

Основная тема воспоминаний — связь творчества Линке с литературой. Интересно упоминание Анны Линке о том, что незадолго до начала второй мировой войны Линке работал над романом. Однако вскоре он уничтожил рукопись, сказав при этом, что «все это уже написали до него».

В архиве художника осталось множество записей, набросков, неопубликованных рисунков (многие из них впервые увидели свет на посмертной его выставке). Линке никогда не переделывал своих рисунков, рассказывает автор воспоминаний, если они по какой-то причине не подходили, он прятал их в ящики стола.

Линке читал множество зарубежных газет и журналов, был в курсе событий литературной жизни в разных странах мира. Из советских изданий он постоянно

Иллюстрация Б. В. Линке к поэме Юлиана Тувима «Бал в опере».

(Еженедельник «Политика»)

читал «Литературную газету», журналы «Иностранная литература», «Звезда», «Знамя».

Интерес представляет описание встречи Линке с Тувимом после войны. Выдающийся польский поэт пригласил Линке послушать его еще не опубликованную в то время на родине поэму «Цветы Польши». «Тувим написал своего «Пана Тадеуша»,— сказал после этой встречи Линке. Тувим читал также для друзей «Бал в опере» — и тут же предложил Линке сделать иллюстрации к обоим произведениям. Художник с жаром принялся за дело... Над иллюстрациями к стихам Тувима он работал и позднее. Они заняли достойное место в его творчестве наряду с такими известными циклами, как антивоенный «Камни кричат», а также цикл «Атом», которым художник выразил свой протест против испытаний атомного оружия.

Публикуя воспоминания о Брониславе Войцехе Линке, редакция еженедельника «Политика» еще раз отдаёт дань его памяти: последние годы жизни Линке был постоянным сотрудником этого издания.

«СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В еженедельнике «Культура» опубликована обзорная статья польского критика Анджея Ляма, носящая название «Современная польская литература».

Обзор литературы начинается с периода восстановления Польши после освобождения от гитлеровской оккупации и доводится почти до наших дней. Автор отдает должное вкладу в литературу писателей старшего поколения, говорит о непрерывности литературного процесса. «...Многие не пережили войны,— пишет Лям,— погибли от рук оккупантов или в ходе военных действий. Пуля гестаповца сразила Бруно Шульца, пал Юзеф Чехович, покончил самоубийством Станислав И. Виткевич. В Варшавском восстании принял смерть необыкновенно талантливый молодой поэт Кшиштоф Бачинский, творческое наследие которого, опубликованное после войны, было воспринято как откровение. Не все писатели из числа тех, кого война разбросала по свету, вернулись на родину...»

В 1944 году на только что освобожденных польских землях издаются первые польские книги. Появляются новые, послевоенные произведения уже известных писателей — З. Налковской, Я. Ивашкевича, М. Домбровской или вступающих в пору творческой зрелости — Е. Анджеевского, Т. Брезы, А. Рудницкого, К. Прушинского, а также более молодых — К. Брандыса, Ст. Дыгата, В. Жукровского, В. Маха...

Критик тщательно прослеживает двадцатилетний путь развития польской

литературы после войны. При этом он останавливает внимание читателя на литературной жизни 50-х годов, отдавая в равной степени должное произведениям таких мастеров, как К. Галчинский, Ю. Тувим, В. Броневский, Л. Кручковский, так и литераторов, только что вступивших в литературу — Т. Боровского, Р. Братного, Б. Чешко и многих других.

Правда, о последних 2—3 годах Лям рассказывает как бы скороговоркой, называя лишь имена таких известных в наше время писателей, как С. Лем, Ю. Кавалец, Ст. Гроховяк, В. Шимборская, не анализируя их конкретных произведений. Но в целом статья Ляма—интересная попытка обобщить опыт польского послевоенного литературного двадцатилетия.

«ПРОРОЧЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»

Так озаглавлена статья польского кинокритика Станислава Яницкого, опубликованная еженедельником «Фильм», которая посвящена новинкам польского экрана и общему положению польской кинематографии.

На протяжении последних шести лет выходит в среднем от 20 до 25 художественных фильмов в год, пишет критик. В то время как в ряде стран мира наблюдается сокращение выпуска фильмов, у нас он находится на стабильном уровне.

Польская кинематография в настоящее время зачастую черпает сюжеты из отечественной литературы, отмечает Яницкий. Примером может служить хотя бы фильм «Фараон» Кавалеровича по одноименному роману Болеслава Пруса. Среди новых польских фильмов—«Способ существования» режиссера Рыбковского по повести Казимежа Брандыса, «Нелюбимая» режиссера Насфетера по произведению Рудницкого, «Шифры» режиссера Хаса по произведению Киевского, а также «Влюбленные из Мароны» режиссера Зажицкого по повести Ярослава Ивашкевича.

К сожалению, продолжает критик, оригинальных сценариев довольно мало. Те, кто их создает, как правило, сами снимают по ним фильмы. Молодой, недавно дебютировавший фильмами «Приметы» и «Вальковер» кинорежиссер Ежи Сколимовский занят съемками картины «Пустое пространство»; известный писатель, сценарист и режиссер Ежи Стефан Ставинский работает над фильмом «Предпраздничный вечер», режиссер Тадеуш Хмелевский заканчивает сатирическую комедию «Печеные голубки», а писатель Александр Сцибор-Рыльский ждет премьеры своего фильма «Завтра Мексика».

Несколько лент будет посвящено актуальным проблемам современной жизни Польши. Их будет пятьшесть, и среди них «Катастрофа» Хенцинского, «Воскресенье справедливости» Пассендорфера, «Место для одного» Лесевича, «Если кто-нибудь знает о ее судьбе...» Кутца.

Ну, а чего не будет в этом году на наших экранах? — продолжает Яницкий. Не увидит зритель, отмечает критик, ни одного польского детектива, ни одной бессодержательной, салонной «психодрамы». К сожалению, не будет ни одного фильма, предназначенного специально для детей и молодежи.

В нынешнем году в кино дебютируют только два автора: режиссер Пшибыл фильмом «Познанские соловьи» и режиссер Бер фильмом «Всегда в воскресенье».

РУМЫНИЯ

НОВЫЕ КНИГИ МИХАЯ БЕНЮКА

Вышли две книги стихов известного румынского поэта академика Михая Бенюка: «День ото дня» и «Зубья скал». Рецензент еженедельника «Контемпоранул», отмечая органическую связь этих сборников со всем творчеством Михая Бенюка, говорит о том, что для них характерно «возвращение к вещам», то есть к конкретности, «привязанность» к материи, «усталость от пространств и мечтаний».

Рецензент подчеркивает, что при всей их неровности в новых книгах Михая Бенюка есть много замечательных стихов.

СЪЕМКИ РУМЫНСКО-СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА

Корреспондент еженедельника «Контемпоранул» сообщает о съемках в городе Сибиу (Румыния) румынско-советского фильма «Туннель». Это фильм о войне, о том, как восемь солдат обезвреживали мины, поставленные гитлеровцами в туннеле. Сценарий его написан румынским писателем Франциском Мунтяну (одновременно он — режиссер фильма) и советским писателем Георгием Владимовым. «Я хочу сделать фильм-поэму, фильм, в котором было бы видно то, что думают люди, что они чувствуют,— сказал Франциск Мунтяну корреспонденту.— Я хотел бы, чтобы глаза моих героев, если можно так выразиться, играли более важную роль, чем руки. Я уверен, что прекрасная съемочная группа, состоящая из молодых актеров, успешно воплотит мой замысел. Я благодарю режиссера Юлия Райзмана и Катю Народницкую за помощь, которую они мне оказали».

В главных женских ролях фильма «Туннель» заняты румынская актриса Маргарета Пыслару и советская актриса Валентина Малявина. Маргарета Пыслару снимается в кино впервые; Валентина Малявина, как известно, участвовала в советских фильмах «Иваново детство», «Утренние поезда» и других.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА

Тридцать лет работал над памятником классику румынской поэзии Михаилу Эминеску известный скульптор Георге Ангел. В интервью корреспонденту еже-

Памятник Михаилу Эминеску работы Георге Ангела.
(Еженедельник «Контемпоранул»)

недельника «Контемпоранул» Ангел рассказал, что он создал много вариантов скульптуры поэта, однако они его не удовлетворяли. Он все время дорабатывал ее, стремясь к тому, чтобы в облике Эминеску, по его собственным словам, слились призыв и вдохновение. И лишь недавно, говорит Ангел, ему удалось, как он думает, найти, наконец, верное решение. Мраморная скульптура Эминеску установлена сейчас в городе Крайова, недалеко от родных мест великого поэта.

По отзывам румынской печати, кропотливый тридцатилетний труд Георге Ангела увенчался заслуженным успехом — скульптор создал значительное произведение искусства.

СЕНЕГАЛ

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НЕГРИТЯНСКОГО ИСКУССТВА

Печать различных стран помещает сообщения о предстоящем в апреле в столице Сенегала Дакаре Всемирном фестивале негритянского искусства. Фестиваль задуман как широкое международное мероприятие, в котором примут участие деятели негритянской культуры и искусства из стран Африки и многих других стран мира.

Программа фестиваля обширна. Будет организована выставка, посвященная истокам негритянского искусства, на которой будет представлено около тысячи редких экспонатов, присланных крупными национальными музеями. Состоится выставка современного искусства: скульптуры, декоративного искусства, графики, вышивок. В Национальном театре имени Даниеля Сорано каждый вечер будут даваться музыкальные, балетные и драматические спектакли; днем эти спектакли будут идти на только что сооруженном стадионе на 15 тысяч мест. В спектаклях примут участие различные национальные ансамбли, такие, например, как малийский ансамбль «Догон», труппа Виктория Санта Крус из Перу и негритянские ансамбли из США. На экранах фестиваля будут демонстрироваться лучшие фильмы молодых африканских кинематографистов. Пройдут вечера поэзии, посвященные всем формам негритянской лирики.

Предусматриваются премии: за лучший роман негритянского писателя; лучший сборник стихов негритянского поэта; лучший очерк негритянского автора; лучшую работу, посвященную негритянскому искусству,— независимо от того, кто будет ее автором; лучшую пьесу негритянского драматурга; лучшие музыкальные пластинки и т. д. Премиями будут отмечены также: лучший негритянский кинематографист, лучший актер, лучшая актриса, лучший фильм о негритянском искусстве, лучший просветительный фильм об Африке и т. д.

Лауреатам этих премий будет торжественно вручаться инкрустированная золотом антилопа черного дерева работы искусных африканских мастеров.

США

ГРОЗДЬЯ НЕГРИТЯНСКОГО ГНЕВА

На прилавках книжных магазинов США появились новые книги негритянских писателей — Джеймса Болдуина и Лероя Джонса,— нашедшие отклик на страницах печати.

Одновременно в США и в Англии вышел новый сборник рассказов Болдуина «Иду на встречу с человеком», который включает восемь коротких рассказов, в том числе три новых, еще не публиковавшихся. В целом в сборнике собраны произведения Болдуина за последние десять лет.

Сборник открывается новым рассказом «Иду на встречу с человеком», давшим название всей книге. Это история, произошедшая в одном из городков в южных штатах, где помощник шерифа чуть не до смерти избил дубинкой молодого лидера движения негров за свободу и гражданские права.

Сюда же вошли новые рассказы «Прогулка» и «Булыжники», написанный в 1956 году рассказ «Блюз для Сонни» и другие, в которых автор страстно протестует против нынешнего положения негров в «свободной» Америке. Критика отмечает высокий художественный уровень вошедших

в сборник произведений. «Джеймс Болдуин лучший американский писатель нынешнего поколения»,— резюмирует рецензент английского еженедельника «Лиснер».

В США вышла автобиографическая повесть негритянского поэта и драматурга Лероя Джонса «Система Дантова ада».

Джонса знают в США как выразителя взглядов наиболее непримиримо настроенной части негритянской интеллигенции (не все борцы за гражданские права негров поддерживают эти взгляды Джонса), считающей, что разрешить негритянскую проблему в Америке можно лишь с помощью насильственного ниспровержения существующего строя. В свое время американская пресса много писала о семейной драме Джонса, который был вынужден уйти от белой жены; тогда он добровольно переселился в негритянский район Нью-Йорка — Гарлем. Он заявил, что хочет полностью разделить судьбу своего народа. В написанной им и поставленной театром «Блэк артс» пьесе «Раб» Джонс разоблачил ложь официальной пропаганды о якобы равноправном положении негров в стране.

Описывая унижения, которым каждодневно подвергается человек с темной кожей, сравнивая жизнь негра в Америке с Дантовым адом, Джонс пишет: «Когда, наконец, мы пробудимся от этой вечной спячки... Когда, наконец, мы поймем, что общество, в котором нам жить, нужно создавать своими руками, а для этого теми же руками необходимо уничтожить тюрьму, имя которой — современная Америка».

Неудивительно, что реакционная печать обрушилась на Джонса с обвинениями в подстрекательстве к мятежу. «Экстремистские воззрения Джонса,— писал обозреватель газеты «Нью-Йорк геральд трибюн»,— никогда не были секретом, однако то, что появилось сейчас из-под его ядовитого пера, выходит за рамки допустимого в литературе. Это не повесть, это — прокламация с призывом к насилию». «Книгу самозванного негритянского Исайи,— вторил ему корреспондент еженедельника «Ньюсуик»,— отличает лишь бессильная ярость, безграничная ненависть к белым и злобная истерия».

Отвечая на выпады реакционной критики, крупнейшая негритянская газета «Афро-американ» подчеркивала: «Нам понятны чувства тех, кто сегодня проклинает книгу Джонса: ведь за ней — протест многомиллионной негритянской массы. Не разделяя целиком взглядов Джонса, мы не можем не предупредить — берегитесь, ибо если сегодня за ним идут единицы, то завтра за ним последуют тысячи. Долготерпению приходит конец, а гроздья негритянского гнева уже созрели».

СТЭНЛИ КРАМЕР О ГОЛЛИВУДЕ

Во время недавнего пребывания в Париже известный американский кинорежиссер Стэнли Крамер, автор фильмов «На берегу», «Нюрнбергский процесс», «Безумный, безумный, безумный мир» и «Корабль дураков», выступил на пресс-конференции перед французскими журналистами.

— Я не принял за последнее время ни одного предложения Голливуда — все они меня не удовлетворяют,— сказал Стэнли Крамер.— Мне кажется, что тот образец интернационального кино, который мы там «фабрикуем», страдает отсутствием масштабности и индивидуализированности и совершенно не отражает сегодняшней жизни в Соединенных Штатах... Конечно, некоторые мои фильмы, как и фильмы многих моих коллег, в какой-то степени показывают наш образ жизни, вызывающий замешательство, тревогу. Это именно то, что беспокоит нашу молодежь, о чем она спорит, хотя, как правило, ее выступления и не принимают форму открытого бунта... Тот факт, что еще не появилась американская «новая волна» в Голливуде — явление тревожное. Я вовсе не жду от «новой волны» какой-нибудь новой школы монтажа, либо нового творческого почерка парадоксального кино — ветераны Голливуда люди достаточно умудренные, да и не в том заключаются наши слабости... Если учесть, что каждый фильм требует солидной финансовой базы, то станет понятным, что «власть имущим» Голливуда нет охоты рисковать и экспериментировать.

— ...Я не верю, чтобы можно было делать хорошие картины, если они не доходят до широкого зрителя,— продолжал Стэнли Крамер.— Мы, американские кинематографисты, считаем фильм провалившимся не тогда, когда он приносит мало дохода, а когда, завоевав лишь узкий круг специалистов, он не получает признания у широких масс зрителей. Если он не преодолеет эту грань между специалистами и публикой, значит, в его основе или в его форме скрыт какой-то изъян, значит, фильм сделан плохо или автор его придерживается ошибочного направления...

— Я постоянно думаю о будущем кинематографа, мечтаю о том, чтобы в Голливуде совершилась революция, чтобы там дали свободу таланту, оригинальности, подлинному мужеству...— сказал в заключение кинорежиссер.

ТУРЦИЯ

«ГОД НАЗЫМА ХИКМЕТА»

Под таким заголовком литературный стамбульский двухнедельник «Еди тепе» («Семь холмов») поместил статью критика Мехмеда Сейда об итогах литературного 1965 года. «1965 год в нашей литературе прошел под знаком Назыма Хикмета, великого нашего поэта, имя которого долгие годы в Турции нельзя было даже произносить,— пишет критик.— Книги его выходят одна за другой, и трудно

точно сказать, сколько их вышло к настоящему времени».

Наибольшее внимание читателей и критики привлекли стихотворные письма Назыма Хикмета из Брусской тюрьмы и пьеса «Ферхад и Ширин» (в русском переводе пьеса носит название «Легенда о любви».— *Прим. ред.).*

Театральный критик журнала Хаяти Асылязыджи в рецензии на постановку пьесы в Стамбуле пишет: «Помимо нового языка поэзии Назым Хикмет создал — как мы теперь видим — язык современной турецкой сцены».

РЕПОРТАЖИ ИЗ ДЕРЕВНИ

Молодой писатель и журналист Дурсун Акчам выпустил книгу репортажей «Матери и дети». На основании документальных материалов он рассказывает о бесправии женщин, об эксплуатации детей, об ужасающей нищете и диком невежестве, которые царят на востоке Турции.

Девушек здесь выдают замуж в двенадцать-четырнадцать лет, продают, как скот. «С детства их убеждают, что муж — это наместник аллаха на земле, и если он ударит жену, то на месте каждого синяка на том свете распустятся розы»,— пишет Акчам. Муж, который не бьет свою жену, окружен в деревне всеобщим презрением. Здесь, в восточных районах, нет ни школ, ни больниц. Вместо врачей — муллы и неграмотные повитухи. Чтобы облегчить роды, женщин окунают в жидкий конский навоз, заворачивают в ковер и раскачивают, возят на арбе по каменистой дороге... «В деревне Чылдырет,— продолжает Акчам, — повитухи подсчитали, что пятнадцатилетней женщине, которая должна была родить, еще не приспел срок. Чтобы удержать младенца, стянули ей живот веревкой. Когда веревку развязали, на свет появились два младенца. Они были мертвы. Через день скончалась и их мать... Когда я бродил по деревням, одна дама вела по радио репортаж из богатых вилл на Босфоре. «Считаете ли вы,— спрашивала она своих собеседниц,— что революция Кемаля Ататюрка в области эмансипации женщин достигла своей цели?» «Конечно!» — без колебаний отвечали ей обитательницы шикарных особняков».

«Дурсун Акчам создал свою книгу для миллионов людей,— пишет обозреватель журнала «Варлык» в рецензии на книгу «Матери и дети».— Его тема — голод, беспризорность, нищета, невежество. И он без страха выполнил свой долг».

Репортажи Д. Акчама удостоены первой премии на конкурсе газеты «Миллиет».

ФИНЛЯНДИЯ

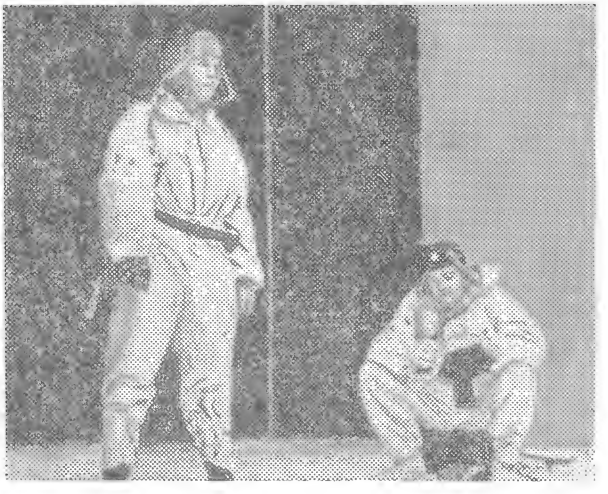
ПЕРВАЯ ПЬЕСА ВЕЙО МЕРИ

Недавно в Финском Национальном театре в Хельсинки состоялась премьера «Свадебного отпуска солдата Ёкинена» — первой пьесы молодого финского прозаика Вейо Мери, автора известного романа о второй мировой войне «Манильский канат». Финская пресса расценила пьесу Мери как важное событие в культурной жизни страны. Обозреватель газеты «Кансан уутисет» Майю Савутиэ приветствует первый драматургический опыт Вейо Мери. «Финский театр,— пишет Савутиэ,— не может позволить себе роскоши обойтись без юмора, широкого и умного взгляда Мери на жизнь, особенно в унылое для нашей литературы время изобилия всякого вида депрессий, когда втаптывается в грязь естественная человеческая радость жизни. Произведения Мери не таковы. Изображаемые им обстоятельства, события, конечно, могут быть жуткими и гротескными, но человек остается в них живым и настоящим, и ценность его измеряется его стойкостью в стремлении достичь берега в море безумия. Эта тема часто повторяется в прозе Вейо Мери; эта же особенность составляет и основу характера солдата Алпо Ёкинена».

Майю Савутиэ считает сущностью писательского

Сцена из пьесы Вейо Мери «Свадебный отпуск солдата Ёкинена» в Финском Национальном театре в Хельсинки. Солдат Ёкинен — артист Пентти Сиимес. Солдат Туло — артист Кости Клемеля.

(Газета «Кансан уутисет»)



мастерства Мери его уважение к жизни и человеку, «не парадное и не риторическое, а искреннее и теплое. Он защищает человека, а не восторгается войной. Противоречия, сурово-жуткие и буднично-милые, трагические и комичные, характерны для мира его героев... Он берет их из реальной жизни. Вейо Мери должен утвердиться на театральной сцене. Жизнь и мысли простого человека в его интерпретации приобретают исключительное значение»,— пишет Майю Савутиэ.

ФРАНЦИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ АНРИ БАРБЮСА

В издательстве Фламмарион полвека спустя после первого издания вышла книга Анри Барбюса «Огонь». В качестве приложения к тексту в книге впервые опубликованы две записные книжки Барбюса, которые он вел в последний период своего пребывания на фронте. Они были обнаружены после смерти жены писателя. С большим трудом их удалось прочесть, так как записи были наполовину размыты дождем еще на фронте.

«ДРУЗЬЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!»

Эти слова любил повторять недавно скончавшийся большой французский художник и общественный деятель Жан Люрса. Страстный антифашист, борец за справедливость, он во время гражданской войны в Испании на собственные средства купил автомобиль и возил на нем медикаменты для бойцов-республиканцев.

Во время немецкой оккупации Франции Люрса боролся в подполье. После освобождения он вступил в Коммунистическую партию Франции. В 1964 г. Люрса был избран во французскую Академию искусств. Он всегда активно выступал в защиту мира.

Жан Люрса возродил старинное ковровое искусство. В настоящее время более пятисот его произведений — картин и ковров—находятся в музеях Парижа, Антверпена, Чикаго, Боготы, Сан-Пауло, Сиднея и Токио. Последние его произведения — «Апокалипсис» и огромная фреска «Песнь мира», которую он назвал своим завещанием, по отзывам искусствоведов,— подлинные шедевры. Незаконченной осталась книга Люрса по искусству, которую он назвал «Во славу человека». По словам корреспондента газеты «Юманите», «политически действенные произведения художника — «Свобода», «Великая бойня», «Человек из Хиросимы», «Страшная угроза», «Конец всего», «Завоевание космического пространства», «Музыка», «Поэзия» — являются летописью жизни этого поэта, влюбленного в справедливость, мир, братство, любовь и жизнь».

«НОВЫЙ РОМАН» В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Один из представителей направления так называемого «нового романа» Роб-Грийе шесть лет не писал романов. Теперь в издательстве Минюи вышел его роман «Дом свиданий», вызвавший бурные споры.

Вот что сказал о своем произведении сам автор в беседе с корреспондентом еженедельника «Экспресс», отвечая на вопрос, вызовет ли книга интерес:

— Три четверти критиков пересказывают содержание книг — для них роман лишь занимательное чтиво. А вот мою книгу им пересказать не удастся. Схема книги такова: некто Джонсон связан в Гонконге какими-то темными интересами с неким Маннерэ. Последний убит при таинственных обстоятельствах, что вынуждает Джонсона покинуть Гонконг. Но он хочет увезти с собой проститутку, за которую в качестве выкупа с него требуют много денег. В поисках денег он обращается к Маннерэ. Получив отказ, Джонсон убивает Маннерэ. Вы что-нибудь поняли? Джонсон покидает Гонконг из-за того, что Маннерэ убит, поэтому ему понадобились деньги, а он их просит у Маннерэ и, получив отказ, убивает его, отчего вынужден оставить Гонконг. Те, кто захочет пересказать эту историю, запутаются в подобных алогичных ситуациях. Кстати, Маннерэ убивают много раз. Если внимательно читать книгу, откажешься всерьез воспринять как эти истории — они алогичны, так и действующих лиц — они совершенно «плоски».

— Что же останется от подобного чтения? — поинтересовался корреспондент.

— Легче всего ответить, что ничего не останется. На самом деле что-то останется. Я считаю, что это самая интересная моя книга. В своем творчестве я всегда стремлюсь рассказать о непонятном. Я начал писать, чтобы поделиться чем-то, чего я и сам не знаю и что ищу для всего мира, а не для себя одного.

Рецензент еженедельника «Нувель обсерватёр» считает, что «новый роман Роб-Грийе «Дом свиданий» может сойти за приключенческий: «Предупреждаем читателей, что роман этот вдохновлен не Александром Дюма, а скорее комиксами и поп-арт. В книге весь арсенал популярного авантюрного романа: экзотический Гонконг, американец, сводни, контрабандисты, наркотики, международный шпионаж, таинственные убийства. При всем том — полная статичность... Никакой хронологической последовательности. Время часто идет вспять. Целый лабиринт бессмысленных нагромождений. Роман Роб-Грийе напоминает музей восковых фигур или альбом порнографических фотографий, который и в руки-то возьмет не всякий. Мы его перелистали, а рассказать нечего. Все эти традиционные элементы, так хорошо известные любителям полицейских романов и комиксов, кажутся здесь фотографиями, обрывками газет и афиш, предметами домашнего обихода, склеенными

на манер модных произведений поп-арт».

Обозреватель еженедельника «Ар» иронизирует: «Этот экзотический полицейский роман со всеми присущими ему аксессуарами приправлен щепоткой вампиризма, разрезан на маленькие кусочки-эпизоды и тщательно перемешан в шляпе автора. Блюду этому дать постоять и подавать в холодном виде... Мы попали на выставку порнографических открыток и рекламных щитов, населенную марионетками из хорошо знакомых тропических «боевиков».

Поклонники Роб-Грийе растерялись: роман вступает в явное противоречие с тем, что «учитель» проповедовал столько лет. Роб-Грийе пытался оправдать себя. В еженедельнике «Ар» он заявил, что не любит, когда его называют теоретиком. Больше всего он опасается, как бы его не сочли писателем, имеющим твердые эстетические убеждения.

СОВМЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ АРАГОНА И ПИКАССО

В виде альбома необычного формата, в ярко-красной обложке, с текстом, отпечатанным особым типографским способом, издательство Серкль д'Ар выпустило в свет десять рисунков пером Пикассо на темы шекспировского «Гамлета» и новое произведение Арагона — поэму в прозе «Шепот». В поэме поэтически переосмыслена драматическая история датской королевы Каролины, заключенной в 1770 году ее мужем королем Христианом Безумным в замок Эльсинор за супружескую неверность. Своей сложностью и многоплановостью поэма в прозе «Шепот» перекликается с последним романом Арагона «Гибель всерьез». Двойствен образ лирического героя поэмы, от лица которого ведется повествование,— это и сам Арагон, и Стрюанзее, любовник королевы, обезглавленный королем. Сновидения переплетаются с реальностью: по Эльсинору бродит тень Гамлета, и на каждой странице поэмы угадывается излюбленный образ лирики Арагона — Эльза.

Жан Роллен в газете «Юманите» отмечает, что основная тема поэмы — идея единства личного счастья и счастья всех людей, но в ней звучит и тема неизбежности смерти и разлуки, и своеобразная интерпретация гамлетовской темы.

Рисунки Пикассо и поэма в прозе Арагона, изданные как одно целое, были созданы их авторами одновременно, но независимо друг от друга.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КРИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

В Словакии стало традицией выпускать критические ежегодники, включающие наиболее интересные и значительные статьи о литературе, рецензии на отдельные книги, материалы дискуссий, статьи, посвященные жизни и творчеству писателей.

Наиболее значительные, по отзыву рецензента газеты «Руде право», материалы недавно вышедшего последнего ежегодника — статья Матушки о поэзии Лацо Новомеского, а также большое исследование Штевчека о состоянии словацкой критики. Автор исследования анализирует многообразие методов социалистической критики, а также многообразие творческих приемов, которыми пользуется социалистическое искусство.

Рецензент «Руде право» подчеркивает неоспоримую ценность этого издания для литературоведения и его большое значение для понимания сложности современного литературного процесса.

ЯПОНИЯ

НОВЫЙ ЖУРНАЛ: «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В Японии начал издаваться ежеквартальный журнал «Всемирная литература», посвященный проблемам современной литературной жизни. Журнал выходит в издательстве Фудзамбо.

В появившемся недавно первом номере «Всемирной литературы» опубликованы статьи о литературе различных стран мира, в том числе — Советского Союза и США.

Рисунки Пабло Пикассо из цикла «Гамлет».
(Газета «Юманите»)

Авторы этого номера

ПАВЕЛ МАТЕВ (род. в 1924 г.)

Стихотворение болгарского поэта Павла Матева, опубликованное в этом номере, взято нами из болгарской антологии «Поэзия» за 1964 год.

Главный редактор болгарского литературного журнала «Септември», Павел Матев — автор многих сборников стихов. Последние из них: «Родословная» («Родословие», 1963) и «Чайки отдыхают на волнах» («Чайките почиват на вълните», 1964). Стихи поэта публиковались ранее в нашем журнале и других периодических изданиях нашей страны.

МЭРИ ГИЛМОР — MARY GILMORE (1865—1962).

Этой австралийской писательницей написано более 16 книг — поэмы, баллады, книги для детей, статьи, эпиграммы, воспоминания; ее стихи составили несколько сборников.

Отмечая ее большую роль в развитии литературы, советы профсоюзов Мельбурна, Брисбена и Ньюкасла учредили «Премию Мэри Гилмор» за лучшее литературное произведение.

Подборка стихов Мэри Гилмор, которую мы публикуем в этой книжке журнала, включает произведения, вошедшие в антологию австралийской поэзии, составленную Мором и Стюартом (1964), а также взятые из последнего сборника писательницы «Четырнадцать человек» («Fourteen Men») и вышедшей в 1965 г. книги «Памяти Мэри Гилмор», состоящей из ее произведений и высказываний о ней.

АНДРЕ СТИЛЬ — ANDRÉ STIL (род. в 1921 г.).

Творчество французского писателя А. Стиля хорошо известно у нас в стране: опубликованы два его романа и многие рассказы. В последнее время на родине писателя вышли романы: «Ведь вы — женщины» («Femmes que vous êtes...», 1963), «Пойдем танцевать, Виолина» («Viens danser, Violine», 1964) и «Соло» («Solo», 1964). В 1965 году появился роман «Андре» («André»).

Рассказ, помещенный в номере, получен от автора в рукописи.

ВЛАДИМИР МИНАЧ — VLADIMÍR MINAČ (род. в 1922 г.).

Видный словацкий писатель Владимир Минач хорошо известен в нашей стране.

В этом номере Минач выступает как публицист и эссеист со статьей «Парадоксы вокруг искусства», полученной редакцией в рукописи.

ЭРИК ДАНИЭЛЬСЕН — ERIC DANIELSEN.

Журналист и радиокомментатор, заведующий отделом культуры датской газеты «Ланд ог фольк». Статья написана по просьбе редакции.

В поэтическом форуме, состоявшемся в нашей редакции, приняли участие поэты европейских социалистических стран, приехавшие в Москву в связи с Днем поэзии.

СТАНИСЛАВ РЫШАРД ДОБРОВОЛЬСКИЙ — STANISŁAW RYSZARD DOBROWOLSKI (род. в 1907 г.).

Польский поэт. Лауреат премии города Варшавы. Стихи Добровольского собраны во многие поэтические сборники.

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН — BENJÁMIN LÁSZLÓ (род. в 1915 г.).

Венгерский поэт. Автор нескольких поэтических сборников. В 1964 году появилась новая книга его стихов «Дым земли».

АННА КАМЕНСКАЯ — ANNA KAMENSKA (род. в 1920 г.).

Польская поэтесса, автор более десяти сборников стихов. Переводчик русской классической, советской и болгарской поэзии.

ЯН ПИЛАРЖ — JAN PILAŘ (род. в 1917 г.).

Чешский поэт и переводчик. Автор многих сборников стихов. Директор издательства «Ческословенски списователь».

ДЖОРДЖЕ ЛЕСНЯ — JORGE LESNEA (род. в 1902 г.).

Румынский поэт и переводчик. Автор многих поэтических сборников, последние — «Ступени лет» (1962), «Стихи» (1965). Дж. Лесня награжден Государственной премией за перевод «Евгения Онегина».

НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ (род. в 1903 г.).

Болгарский поэт. Дважды лауреат Димитровской премии. В 1963 году у нас вышел сборник его стихов «Солнце над горами». Последняя книга стихов поэта «Самое трудное» увидела свет в 1964 году.

ВИОЛЕТА ЗАМФИРЕСКУ — VIOLETA ZAMFIRESCU (род. в 1921 г.).

Румынская поэтесса и переводчица Первый ее сборник — «Сердце человека» — вышел в 1955 году. В последние годы появились сборники «Спокойствие ветра» (1963) и «Нескончаемая красота» (1964).

СТЕВАН РАИЧКОВИЧ (род. в 1928 г.).

Югославский поэт. Автор ряда стихотворных сборников. В 1965 году вышла новая его книга «Избранные стихи».

КАРЛ МИКЕЛЬ — KARL MICKEL (род. в 1935 г.).

Немецкий поэт (ГДР). Начал печататься в 1956 году. С тех пор вышло несколько его стихотворных сборников.

АЦО ШОПОВ (род. в 1923 г.)

Югославский поэт. Автор девяти стихотворных сборников. В 1964 году на русском языке вышел сборник его стихов «Ветер приносит погожие дни».

ФОЛЬКЕР БРАУН — VOLKER BRAUN (род в 1939 г.).

Немецкий поэт (ГДР). Первые стихи были опубликованы в 1961 году. Наш журнал знакомил читателя с поэтическим творчеством Ф. Брауна: в № 10 за 1964 год был помещен отрывок из его поэмы «Революция».

ОНДРЕЙ МАРУШИАК — ONDREJ MARUŠIAK (род. в 1926 г.).

Чехословацкий журналист, автор ряда статей по литературе, театру и кино. Часто пишет о жизни словацкой деревни и о советской литературе.

Статья, с которой Марушиак выступает в этом номере, написана автором для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

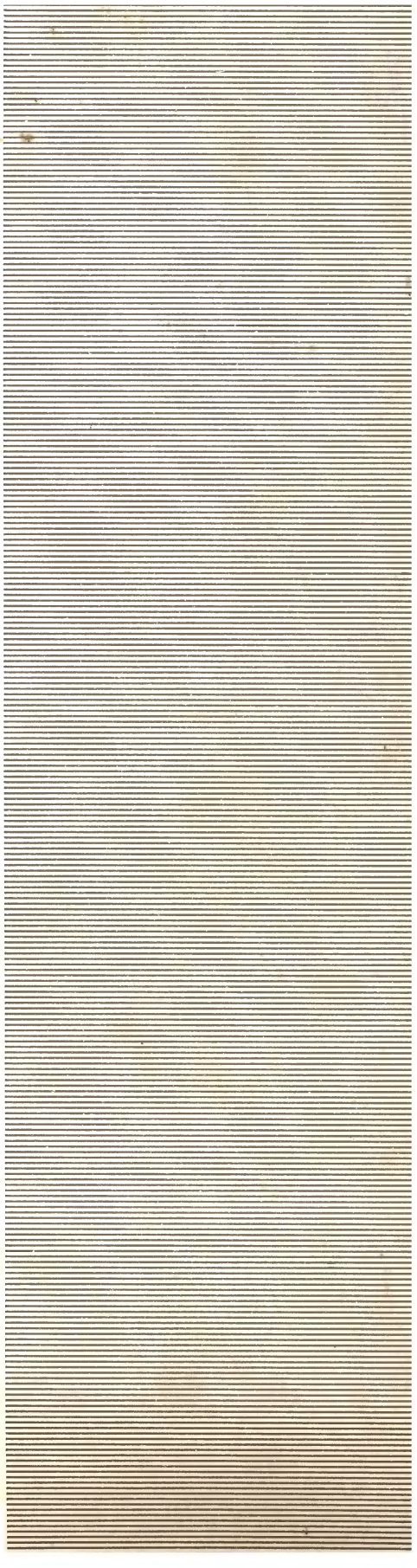
Художеств. редактор **В. Ф. Лактионов** Технический редактор **Л. Д. Богданова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 11343. Сдано в производство 3/I-66 г. Подписано к печати 23/III-66 г.
Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9 бум. л.; печ. л. 18. Зак. 31.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5

ИНДЕКС 70394



Цена 80 коп.